# Вера КЕТЛИНСКАЯ

## *Мужество*







Вера
КЕТЛИНСКАЯ

---

# *Мужество*

Роман



МОСКВА «ВЫСШАЯ ШКОЛА» 1986

ББК 84
К 37

Текст печатается по изданию: *Кетлинская В.* Мужество. М.: Худож. лит., 1970.

Кетлинская В.
К37 Мужество: Роман. — М.: Высш. шк., 1986. — 639 с.

В центре романа «Мужество» (1938) — формирование характера советского молодого человека, мужество комсомольцев — строителей города в дальневосточной тайге, новое социалистическое отношение к труду.

К $\frac{4700000000-341}{001(01)-86}$ без объявл. ББК 84
Р2

© Послесловие, оформление. Издательство «Высшая школа», 1986

# Часть первая

## 1

Паровоз пересекал бескрайние поля, покрытые туманом весенних испарений. У Сергея Голицына было странное ощущение неповторимости всего, что он видит и делает. Паровоз на замедленном ходу проходил мост, и Сергей думал, что уже не услышит больше гудения металлических пролетов. Он оглядывался назад, на длинный товарный состав, и знал, что для него уже не будет извиваться цепь красных вагонов и платформ, что он не услышит тяжелого стука нагруженных вагонов и бойкого тарахтения порожняка. Он протирал на стоянках движущиеся части (то, что на языке паровозников кратко называется «движением») и физически чувствовал, что каждое прикосновение — последнее, и знакомые зазубринки уж не попадутся на глаза, и вот эту промасленную тряпку возьмут завтра другие, чужие руки. Он слышал голос своего отца, старого машиниста Тимофея Ивановича, и грусть расставания сдавливала горло: в последний раз звучат стариковские прочувствованные речи, завтра уже не поговоришь и не посмеешься с отцом и кто-то другой будет слушать притихшего старика.

— Тридцать шесть лет езжу, а все в этих местах, — говорил Тимофей Иванович, и сын без усилий понимал его в привычном грохоте машины. — И какие такие дороги в Сибири — не знаю, не пробовал. А была у меня большущая охота. Еще когда провел Николка дорогу в страну Маньчжурию, в порт Владивосток, я сразу задумался — махнуть бы туда... Интересно! Новые земли. Новые люди. Небось и говорят не по-нашему... свой у них язык, монгольская раса.

Кочегар Свиридов прислушивался, улыбался. Он, наверное, знал об этом больше Тимофея Ивановича н больше Сергея, — неизвестно, откуда бралнсь у него сведения обо всем на свете.

Голос у Тимофея Ивановнча был немного надтреснутый. Сергею казалось, что у отца в горле маленькне трещинки. Ему было до болн грустно, но он снисходительно усмехнулся н подмнгнул Свирндову — чудак все-таки старик!

— У меня не вышло. А ты съездишь по отцовской мечте — расскажешь. И смотри хорошенько, примечай, вдумывайся. С хорошими людьми знакомство заводи, не стесняйся. От интересного знакомства всегда польза, обогащение личности.

Сергей сам вызвался ехать — его привлекали Дальний Восток, строительство, самостоятельность, проба своих сил, — но теперь вся заманчивость поездки забылась перед горечью близкой разлуки.

— Куда еще запрячут нас, — хмуро сказал он.

Старик промолчал, высунулся в окошко. Он знал здесь каждую извилину пути и каждый кустик по краю полотна. Он мог бы вести поезд с закрытыми глазами, по чувству. И молчал просто для того, чтобы подумать.

— Вот я вспомнил большие слова, — сказал он строго и продекламировал, торжественно подняв заскорузлый палец:

В дии бедствия я зиаю, где найти
Участие в судьбе своей тяжелой.
Чего ж робеть иа жизиеином пути?
Иду вперед с надеждою веселой.

Вот так и тебе надо. Идти вперед с надеждою веселой. Да и то сказать, какая нынче может быть тяжелая судьба! Теперь судьба легкая. Вот только не оперился ты еще...

Сергей обиженно хмурился. «Не оперился еще...» Двадцатый год, помощник машиниста, а все не оперился!

Приближалнсь к станции. Семафор задержал их. В окошко ворвался душный запах талой земли. Старик с ненавистью поглядел на станцию:

— Определенно на запасную загонят. Эта мне Кизиловка! Вечный простой...

Загнали на запасную. Тимофей Иванович молодо соскочил с паровоза и побежал ругаться с дежурным.

Сергей привычно, по заведенному правилу, протер

«движение», привычно закурил от уголька папиросу, сел на ступеньку. Свиридов, как всегда, стоял рядом, но разговор не завязался: разлука чувствовалась уже так остро, что и слова не находились. И эта ступенька, и проклятая Кизиловка, и воркотня отца, и папироска, прикуренная от уголька, — ничего этого уже не будет.

Пришел отец. Полез на паровоз и долго возился там, ворча. Потом успокоился, закурил трубочку, сел на верхнюю ступеньку и только тогда вернулся к прежним мыслям:

— Да, вот так-то, сынок! Чего ж робеть на жизненном пути? Робеть никогда не надо. А ты знаешь, кто эти слова сказал?

Он с хитрецой покосился на сына. Сергей равнодушно смотрел в сторону.

— Не знаешь. А сказал это поэт Баратынский. В стихотворении под названием «Дельвигу». А Дельвиг, знаешь, кто был? Тоже поэт, Александру Сергеевичу Пушкину современник...

Не желая показаться неучем, Сергей передернул плечами и небрежно бросил:

— Как не знать! Он еще застрелил Пушкина на дуэли.

Тимофей Иванович даже затрясся весь, даже покраснел от гнева. И сын, поняв свою оплошность, тоже покраснел и оглянулся. Кочегар Свиридов стоял над ними посмеиваясь.

— Дельвиг Пушкина застрелил! — восклицал старик, совсем расстроившись. — Дантес убил, Дантес-Геккерен, прощелыга, вертопрах проклятый! Ну, чему вас учили? Спутать Дельвига с Дантесом!

Сергей метнул на улыбающегося Свиридова сердитый взгляд, огрызнулся:

— Подумаешь, несчастье. Это мне и знать не к чему! — И уже смущенно добавил: — Всего не упомнишь... фамилии-то похожие.

Мимо, обгоняя их, прошел пассажирский скорый. Тимофей Иванович недружелюбно посмотрел ему вслед, вздохнул и сказал не то о поезде, не то о знаниях сына:

— Никуда это не годится.

Сергею было неловко. И черт его дернул за язык! Надо было соваться с этим Дельвигом — Дантесом. Без них есть о чем думать.

Старик снова завел разговор, для виду обращаясь к Свиридову:

— Нет у вас серьезности, у молодежи. Вот как Баратынский говорит:

Я мыслю, чувствую, для духа нет оков,
То вопрошаю я предания веков;
Всемирных перемен читаю в нем причины...

А вы что вопрошаете? Только в кинематограф бегаете, да и тот немой, много не укажет...

— Да ты что, папа! Я же учусь, — раздражаясь не столько от упреков отца, сколько от усмешек Свиридова, буркнул Сергей.

— Ох-ох-ох! Учишься... — не унимался старик. — А как ты учишься? Большую правду надо знать, а у вас правда узенькая, с чужого слова, беспроникновенная... Вот ты гордишься — комсомолец. А я, по-твоему, беспартийная серость. А ты Карла Маркса читал? А друга его, Фридриха Энгельса, читал? У него есть книга — небольшая, а великой мудрости книга, великой образованности. Называется «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Читал?

Свиридов перестал посмеиваться и сказал просто:

— Я читал эту книгу. Отчетливая книга. Только трудновато с первого разу.

Дежурный дал наконец сигнал отправки. Отец и сын весь перегон молчали. Дома, в своем депо, сдали паровоз, выкурили с напарниками папиросы. Зашли потолкаться в комитет. Все жалели Тимофея Ивановича:

— Сын уезжает, с кем же ты ездить будешь?

Старик отшучивался:

— Мне только свистнуть, ко мне всякий побежит. Паровоз-то у меня не простой — голицынский.

Когда шли к дому, старик заговорил все о том же, — видимо, давал последнее отцовское наставление:

— Когда в тысяча девятьсот шестом году я попал в тюрьму, сидел со мной один поэт, огромный мыслитель, большой души. Жандармы били его, а он потом плакал и читал мне такие стихи: «Товарищ, верь, взойдет она, заря пленительного счастья...» И указал он мне тогда на наших учителей и рассказал мне про Карла Маркса и Фридриха Энгельса. И сказал: читай, парень, их большие мысли и радуйся, какие есть люди на свете... А ты что? Ты что читаешь?

— Это я проходил в кружке, — независимо сказал Сергей. — Биографии Маркса, Энгельса, Ленина...

— «Проходил, проходил»... Пройти можно улицу,

можно перегон. А тут надо умом понять, сердцем почуять...

Уже виднелся их домик — бревенчатый, с желтыми ставнями, с желтым забором палисадника. Во дворе возились сестренки Сергея.

— Так что ты не балуй там, учись, постигай умом, — сказал Тимофей Иванович, замедляя шаг.

Сергей слушал рассеянно. Он не представлял себе, как пойдет жизнь в чужом краю — без длинных разговоров на паровозе, без дружбы Свиридова, но, главное, без отца.

— Ты пиши почаще, — жалобно попросил старик и добавил: — Мать волноваться будет...

Войдя в дом, он подавил озабоченность, шутливо поклонился жене и торжественно провозгласил:

— Дорогая супруга, Матрена Спиридоновна, дай пообедать супругу с наследником.

Весь вечер прошел в предотъездной суете и разговорах.

Сергей чувствовал себя безвольным и маленьким: теперь уж ничего не изменишь, еще час-два — и на знакомом перегоне, в чужом поезде начнется самостоятельная жизнь. Неужели правда?

Выпили на дорогу чаю. Вставая из-за стола, Тимофей Иванович цыкнул на девчонок, чтобы не шумели, многозначительно кивнул жене и сказал, опираясь руками на спинку стула:

— Будь молодцом, Сергей, смотри не опозорь свою фамилию. Ты не кто-нибудь — Голицын. Были князья Голицыны — дворянский род. Были, да сплыли... И есть Голицыны и будут Голицыны — другая линия, пролетарии, от деда к внуку — железнодорожники, все вместе миллионы верст наездили... И этот род не опозорил еще никто. Смотри и ты...

Сергей кивал головой, раздосадованный таким напутствием. Чудит старик! Матрена Спиридоновна слушала молча и снисходительно, — слава богу, за двадцать два года знала его, как самое себя. Вечно он чудил, разглагольствовал, ночью книжки читал, стихи говорил на память... А муж хороший, покладистый, не вредный, и что бы он ни воображал — не он, а Матрена Спиридоновна была в доме главою.

Поцеловались, взяли вещи. Тимофей Иванович ни за что не хотел отдать сыну корзинку, сам понес.

Шли знакомой, исхоженной дорогой. Но потом мино-

вали знакомую калитку, прошли через площадь к парадному вокзальному подъезду — и перемена жизни стала очевидна, предметна.

На вокзале собрались комсомольцы-паровозники, приятели, девушки. Девушки улыбались Сергею, он выпрямился, расправил плечи. Вспомнились вечерние прогулки, поцелуи у калиток, нежная болтовня, упреки, шутки, уверения... Он скользнул взглядом по девичьим лицам, искал одну, самую лучшую... Груня, дочка путевого обходчика, жалась в сторонке, теребя каштановую косу. Сергей уже простился с нею вчера вечером. Он спросил, теряя смелость от ее серых глаз и робкой улыбки: «Забудешь?» А она серьезно ответила: «Не такая я, чтобы забыть...»

Груня, неужели надо уезжать от тебя?

Пришли Матвеевы-старики с сыном Пашкой, попутчиком Сергея. Пашка сразу внес оживление, кричал на весь перрон, утрируя свой украинский говор:

— Да як же вы, хлопчики, без меня останетесь? Да як же без меня поезда пойдуть?

Пашка был смазчик и давнишний, с детских лет, приятель Сергея.

Долго ждали поезда, болтали. Секретарь комсомольской организации сказал речь, но Тимофей Иванович остался недоволен речью: не было сказано ничего глубокого, значительного. Молоды еще, молоды! Вся жизнь им в руки дана, а разве знают ее настоящую цену?

Загорелись вдали огни поезда. Все ближе, ближе... Мимо перрона прогремел, мощно отдуваясь струями белого пара, сильный и горячий паровоз. Тимофей Иванович взмахнул руками и закричал взволнованно:

— Работай, Сергей! Работай, Павел! Работайте, ребята, с душой! Комсомол посылает вас, как лучших. Вернитесь же домой героями и коммунистами!

И обнял сына, прижался к его щеке своей жесткой, колючей щекой:

— Не забывай нас, сынок!

Сергей оторвался от него, заглотнул подступившие слезы, вскочил на подножку, весело размахивая кепкой.

## 2

Епифанов пришел на базу в штатском. Серый в полоску костюм сидел на нем молодцевато и необжито, пестрый галстук топорщился, и слишком ослепительно

блестел воротничок на загорелой, обветренной краснофлотской шее. Казалось, что все это не всерьез, что это маскарад, шутка, — стоит скинуть костюм, и все пойдет по-старому.

Его ощупывали, разглядывали, хвалили и высмеивали. Долго строили предположения, как он будет гоголем ходить по родному городу Миллерово, как очарует женский пол своим костюмом, и подводными рассказами, и шиком военной вежливости.

Потом началось испытание новых понтонов. Каждый делал свое дело: мотористы качали воздух, водолазы проверяли обшивку. Епифанов тоже знал свое место, но на его месте работал новый, молодой водолаз.

Он остался один на носу, уже чужой в оживленной суете работы, растерянный, заскучавший...

И вдруг увидел море.

Видел ли он его прежде?

Оно простиралось перед ним до каких-то далеких и неясных границ, скрытых солнечной дымкой. Нежно-синяя подвижная масса воды лежала перед ним. Ветра не было, но море дышало; его чистое дыхание доходило до Епифанова, и он вдыхал его так, как вдыхают дыхание возлюбленной, — растроганно и ненасытно.

Он прикрыл глаза от сверкающего колебания водной массы. Но море продолжало жить, он его видел и сквозь смеженные веки, но видел теперь преображенным наступившей темнотой — черным, тревожным, в молниях и всплесках, — таким, каким оно угадывалось в грозовые ночи на корабле.

Он вспомнил его еще другим: свинцово-серым под серым нависшим небом, в медленно перекатывающихся ленивых волнах, и смутно вспомнил (да было ли это?) одинокое бревно, совершающее безнадежный и бесконечный танец на могучих хребтах волн. И еще другое море вспомнилось ему: бледно-розовое при закате, когда горячие краски охватывают полнеба и красные облачка оседают на водном горизонте, как сказочные острова, и море светится вокруг них, спокойное и нежное, подернутое красным глянцем.

Он открыл глаза. Вот оно — море... Сегодняшнее, теплое, в чистой синеве. Теперь он не охватывал его всего, как картину, а видел его детали, по-новому свежие, как бы впервые увиденные: случайный завиток волны, сине-зеленые тени облаков, бегущие тут и там по мерцающей поверхности, прозрачную желтую глубину внизу у борта

и крохотные волны, монотонно набегающие на береговой гравий; эти крохотные волны, если отвлечься от целого, напоминали настоящий прибой, только уменьшенный во много раз, как на фотографии.

— Мечты, мечты!.. — пропел за его спиной старшина Жариков.

Епифанов быстро повернулся.

— Жариков, — сказал он размягченным голосом, — я схожу под воду... в последний раз.

Он выглядел на боте экскурсантом. И когда стал в каюте раздеваться, неловко путался в неизученных застежках, мучился с запонками, бестолково дергал галстук и сам себе казался новичком и не обижался шуткам товарищей. Но когда он залез в брезентовую рубаху и приятели привычно — раз-два! — растянули резиновый ворот и двумя рывками подняли к шее, водолазное чувство вернулось к нему, и он скупыми и ловкими движениями приготовился к спуску.

И вот он на трапе в последний раз. Товарищи надевают на него шлем, прочно завинчивают гайку за гайкой, и глухо, уже сквозь стекло, раздается голос Жарикова:

— Погуляй, браток, напоследок!

И гулко отдается последний щелчок по шлему — пошел!

Тренированное тело делает привычный прыжок, голова сама нажимает золотник и механически регулирует воздух.

И вот уже ни бота, ни неба, ни солнца. Голые кисти рук чувствуют мягкую свежесть воды. За стеклом струится вверх зеленовато-желтая вода, пронизанная рассеянным светом, а внизу качается многоцветный, насыщенный жизнью сумрак.

Так вот ты какое, море!

Епифанов идет вниз, в сумрак. Затылком регулирует воздух — это движение стало инстинктивным, оно не занимает мыслей — он опытный водолаз. А глаза воспринимают море как впервые, только гораздо острее, глубже, проникновеннее, потому что нет страха, нет озабоченности — не забыть бы чего, не ошибиться бы, — нет затаенной взволнованности новичка.

Тело стало легким, невесомым. Костюм держит в воде, как парашют в воздухе, — ласково и спокойно. Сапог ощущает почву. Глаза ищут дно в сумраке глубины, — вот оно, серенькое, колеблющееся, с причудливы-

ми лапами изогнутых растений. Он срывает скользкое растение с пузырчатыми листьями. Пальцы ощупывают податливое тело стебля.

Стрелкой несется остренькая верткая рыбешка, за нею — вторая. Они воспринимают Епифанова как друга, а может быть, как скалу. Но он поднимает руку, и от его голой поблескивающей руки они бросаются прочь, как от неведомой опасности.

Взволнованный прогулкой, Епифанов раздвигает водоросли, поднимает два плоских отполированных водою камня, постукивает ими, — под водой так ясно слышен каждый звук.

Закидывает голову, смотрит вверх. Какая пестрота красок, как сказочен мир наверху!

Наклоняется, разглядывает дно, шарит среди водорослей грузным сапогом. Поднимает раковину, подносит ее к самому стеклу, разглядывает, проводит по ней пальцем...

И решительным движением начинает подъем.

Снова солнце, мерцающее синее море, замшелая ступенька трапа. С костюма на палубу обильно стекает вода. Стекло отвинчено, и в духоту скафандра врывается упоительно чистый, соленый воздух.

Епифанов скидывает славные, верно послужившие доспехи, говорит новичку:

— Бери мой, хорош, проверен...

И качающейся походкой, задевая штаниной о штанину, несет свой штатский, необжитый, незнакомый облик к комиссару. Комиссар, напутствуя, говорит о его задачах: там, в родных местах, он явится представителем славного краснознаменного...

В поезде он вспомнил о ракушке, засунутой в карман пиджака. Бережно вынул ее, завернул в бумажку и запрятал на дно сундучка. И долго в темноте рассказывал случайному попутчику полуфантастические, полуправдивые водолазные истории, рассказывал о море, о чудной природе морского дна. Попутчик зачарованно слушал, задавал наивные штатские вопросы, и Епифанов чувствовал себя героическим, необыкновенным, уважал себя больше, чем всегда. Родное Миллерово показалось маленьким и скучным. Он поднимался на виадук и долго смотрел на удаляющиеся по обе стороны рельсы, томясь жаждой перемен и событий.

Он не чувствовал никакой потребности в отдыхе. Он не знал, что делать с собой, чем заняться. Дома было

скучно: сестра уткнулась в учебники — готовилась поступать на курсы. Старые друзья разъехались — кто куда. В комсомольском комитете было пусто: все были в районах, на посевной.

Технический секретарь комсомола, заменявший всех и вся, пожаловался, искусно соединяя жалобы, обращенные к Епифанову, с гневной руганью в телефонную трубку:

— А тут еще крайком навалился. — Алло, алло, станция, скоро вы дадите Вешки?! — Вторую телеграмму прислали — срочно мобилизовать трех комсомольцев на Дальний Восток... — Станция, алло, спите вы, что ли?! Давайте Вешки! — Откуда я их возьму, когда посевная? Хоть сам себя посылай! — Алло! Вешки! Вешки! — Прямо не знаю, что и делать!.. — Да, барышня, черт возьми, звоните в Вешки!

— Вот чудак, —сказал Епифанов. — А я на что? Говорил бы сразу!

Он уехал, не погостив дома и десяти дней. Растянувшись на верхней полке, он думал о Тихом океане, о дальневосточных водолазах и о том, какая природа может быть там, на дне теплого Японского и холодного Охотского морей.

В комсомольском эшелоне он сразу со всеми перезнакомился, рассказывал были и небылицы и в короткий срок плотно вошел в новый коллектив с той жадной потребностью общения и дружбы, что вырабатывается всем укладом краснофлотской жизни.

## 3

В заводском тире было много стреляющих и много зрителей. Зрители окружали девушку, которая ждала своей очереди стрелять. Придерживая локтем белокурую, туго заплетенную косу, она озабоченно вкладывала патрон, а вокруг толпились парни, и каждый хотел помочь ей.

— Лиденька, начинай! — крикнул инструктор.

Лиденька легла, сжимая винтовку. Закрыв левый глаз, выпятив губу, сдунула упавшую на лицо прядь волос. Прицелилась...

Цокнул выстрел — и почти у самого центра яблочка выскочила рваная метина. Девять.

Лиденька вздохнула, нахмурилась, снова сдунула капризную прядку. Выстрелила и сразу крикнула:

— Десять!

— Нет, девять.

— Ну так сейчас будет десять!

И снова выстрелила. Мишень казалась нетронутой. Лиденьке хотелось побежать самой, но это запрещалось. Инструктор медленно шел к мишени.

— Браво, Лидок, в самую сердцевину.

Лиденька искоса победоносно оглядела свою свиту и деловито сказала:

— Восемнадцать и десять—двадцать восемь. Еще два выстрела.

Снова выстрел. Свита зашевелилась, несколько человек бросилось к мишени.

— Десять! Браво, Лиденька! Десять!

Лиденька строго скомандовала:

— Отойдите от мишени — стреляю.

Парни напряженно следили за ее востреньким профилем, слившимся с винтовкой. По ее руке прошла дрожь. Она опустила дуло, перевела дыхание, потом быстро вскинула винтовку и выстрелила.

— Сколько? — крикнула она и сама побежала к мишени. В черном яблочке, одна к другой — три рваные точки. — Сорок восемь из пятидесяти возможных, — объявила она и медленно пошла обратно, слегка рисуясь под восхищенными взглядами парней.

Она надела пальто, натянула берет смелым движением девушки, уверенной в том, что, как ни надень, все будет на ней хорошо, и сказала тому, кто стоял всех дальше от нее:

— Коля, пойдем.

Едва они вышли из тира, как торжествующее лицо Лиденьки стало тревожным и виноватым. Коля сказал глухо:

— Значит, решено, Лидок. Откладывать больше нельзя.

— Я подготовлю ее, а ты поговоришь, — испуганно сказала Лиденька. — Она тебя лучше послушает.

Очередь у больницы уже вытянулась длинным хвостом, но еще не пускали.

А в палате тяжелобольных жизнь шла своим чередом. Старуха в хорошем после обеда настроении непрерывно болтала, жадно поглядывая вокруг, все ли ее слушают:

— Я бы и сейчас побежала, ноги-то еще слава богу, да вот туфли не ходят. А вы чего лежите? Э-эх, в ваше время меня не то что в больницу — домой не затянуть

было! Бывало, ветром прохватит — и жар и озноб, а я как пойду-у — никто резвее не плясывал.

В дверях показалась тоненькая бледная женщина с завитыми на папильотках локончиками у висков, с цветком в петлице больничного халата.

— Гроза Морей, заходи, заходи! — крикнула старуха, и заулыбалась, и кивнула на цветок. — Муж приходил, Танюша?

Танюша присела возле старухи, неохотно ответила:

— Муж.

Одна из больных обиженно вздохнула:

— Хорошо, кого муж балует... Небось живете — не замечаете.

— А чего замечать? — со скукой ответила Танюша. — Не лежит у меня душа. Хоть пропади!

Старуха заерзала на постели, заворчала. Но Танюша улыбнулась ей и заговорила, как бы советуясь:

— Ведь вот бывает же, почему — не знаю. Мужа моего взять — ну чем не муж? И любит, и по хозяйству все делает, и заработок большой, и не пьет — положительный человек. А глаз мой на него не смотрит.

— Раньше-то не рассуждали, так жили и жили, — ворчливо сказала старуха.

— Ну, мало чего раньше было! — весело откликнулась Танюша. — Мы и люди теперь не такие. Я из дому в шестнадцать лет сбежала. И ведь как сбежала. Двадцатый год был, фронты. На вечеру познакомились, погуляли — назавтра ему уезжать. Я ему шуткой говорю: «Возьми с собой». И он шуткой: «Отчего не взять, поедем». А назавтра узелок связала — и на вокзал. Удивился очень, а ничего, взял. Три месяца скитались с ним. Известно — фронтовая жизнь. Жалел он меня, не трогал — девчонка ведь. Едем как-то через лес верхом, он и говорит: «Девчонка ты, дура, ведь я что хочу, то с тобой и сделаю». Я смеюсь: «Ничего худого ты мне не сделаешь, а попробуешь — исцарапаю всего, на всю жизнь меченым останешься». А чего береглась? Убили его, тем жизнь и кончилась.

Она опустила голову, и все помолчали из уважения к чужому горю.

— Вот с мужем я скандалю, — снова заговорила Танюша, и кроткая улыбка осветила ее бледное лицо. — Так ведь не от злого сердца — от обиды: не то могло из меня выйти, что получилось. Он, конечно, не виноват. Партийный человек, активист. И меня тянет. А уж не

подняться мне больше — крылья не те. Вот и шумишь...

— Гроза Морей! — смеясь, сказала старуха.

— Вот-вот. В квартире меня так зовут, — пояснила Танюша все с той же кроткой улыбкой. — Так и зовут — Сюркуф Гроза Морей. Придет он домой, не угодит в чем — закричу, захлопаю, из дома гоню, вещи швыряю. Развод! К черту! Не буду жить! А он вещи свяжет, детей поцелует, выйдет на крылечко и сидит, трубочку сосет. У меня от сердца-то отхлынет — и самой смешно. Покуражишься для виду, дверьми похлопаешь, выйдешь к нему: «Чего сидишь на людях, смеются ведь. Иди в дом!» И он сунет мне узелок: «Нá, снеси в комнату, я докурю». Узелок снесу, вещи по местам развешу, обед ему согрею, а потом в кино, или в театр сходим, или в цирк. Так и живем.

Больная с соседней койки смеялась, смотрела на Танюшу проницательным, изучающим взглядом.

— Делом бы занялась, — сказала она. — Работать начни — некогда будет шуметь.

Старуха вдруг вскинулась, со злостью оборвала:

— Ну, завела, партейная совесть. Один совет и знаете — работать! Я вот и не работала никогда, а жила — что в масле каталась, и никому худого слова не сказала. Но уж слову моему — не перечь! Дом в руках держала. И теперь не перечат, как скажу — так и будет. А скучно вам — потому что распустились, строгости нет. Моя Лидка, как на завод поступила, тоже загляделась было — и комсомол, и Асохим, и Доброхим, стрелять задумала. Ну, только у меня не покрутишься. Два раза цыкнула — и делу конец. Зато посмотришь кругом — Лиденька моя как цветочек среди них, среди обстриг-то нынешних с платочками... И что это, право? Нашьют себе платочков с мизинец, зеленых да розовых, хвостик из кармашка выпустят — и пошли, носом шморгают. Тоже мода. Додумались! У меня и сопель таких нет, чтобы в шелковые платочки заворачивать.

В распахнувшейся двери показалась сама Лиденька, с косой на плече, с побледневшим, встревоженным лицом. Она от двери увидела мать — все такую же измученную болезнями, сморщенную, болтливую, капризную, беспомощную, — и выражение тревоги сменилось смешливой гримаской. Мать и дочь вдруг стали очень похожи.

— Пришла, — ворчливо сказала мать и потянулась к гостинцам.

— Соскучилась, небось, солененького хочешь? — сни-

сходительно спросила Лиденька и поцеловала мать в морщинистый желтый лоб.

Лиденьке улыбались со всех сторон, — она давно уже была в больнице своим человеком, и все больные любили поболтать с нею. Но сегодня Лиденьке было не до болтовни. Покраснев, она через силу пробормотала:

— Мама... Здесь Коля Платт дожидается... Можно ему к вам?

Старухе понравилось, что дочка покраснела, что струсила. Понравилось и то, что жених пришел в больницу, — тоже, видать, боится.

— Ну, раз дожидается, проси. Только угощение у меня не по жениху, пусть не обижается.

Лиденька вскочила, не умея скрыть радость.

— Погоди, стрекоза, уж ты и рада бежать. Подайка зеркало да причеши меня. Чай, разговор-то не о погоде, надо авантаж навести.

Лиденьке хотелось заплакать, когда она расчесывала жидкие волоски на маленькой трясущейся голове матери. Старуха прибиралась дрожащими руками, гордая и жалкая.

Но стоило Лиденьке выйти за дверь, как старуха заговорила с хвастливым оживлением:

— Вот посмотрю, может быть, соглашусь, отдам Лидку замуж. Видишь ты, жених пришел в больницу, невтерпеж ему подождать-то...

— Дело молодое, — сказала Танюша. — Хорошо уж и то, что спрашивают.

Старуху распирала гордость и зависть к дочери.

— Моя Лидка без меня шагу не ступит, — сказала она. — Только не пойму я ее — дурная какая-то. Соберутся у нее кавалеры как на подбор, с гитарами, с балалайками... Я хоть строгости-то держусь, да не в том, чтобы веселью мешать, — дома хоть на голове ходи. Сама первая была по веселости, и дочка вся в меня, на гитаре обучена, песни поет, романсы всякие, — прыткая! Ну так вот, говорю, соберутся как на подбор кавалеры, а Коля ее из всех — ну самый, самый худший! Ни сыграть, ни спеть, ни сплясать, и разговор у него никакой не интересный, и лицо — да что с лица? Лицо — лицо и есть, повадка дело решает, повадкой и обкручивают. А у него и повадки никакой — брови насупит, образованность одна... Тихоня. Гвоздь ученый.

Но видно было, что ей очень нравятся солидность и серьезность будущего зятя.

Смущенно обдергивая короткий халат, вошел жених. Все взгляды устремились на него. Коля Платт был высокий, кудрявый, с подтянутым суховатым лицом; он принес старухе кулечек конфет и вежливо поклонился другим больным.

Между женихом и старухой завязался чинный и неторопливый разговор. Коля Платт выжидал, стараясь произвести впечатление, а старуха важничала и держала тон.

Наконец Коля Платт покрутил завязочку халата и приступил к делу:

— Лизавета Артемьевна, Лиденька вам говорила, должно быть, — он начал уверенно, но тут же сбился, — про... о наших отношениях... чтобы пожениться...

Старуха задвигалась, ей вдруг стало неудобно, слежалась подушка, сбилось одеяло. Коля Платт помог ей, как умел.

— Да уж какие секреты, чай, весь город видит, куда дело пошло. Не мне с вами жить — Лиденьке... Я дочери не помеха...

Коля сказал, возвысив голос, чтобы слышали другие больные:

— Мне двадцать четыре года, а квалификация — восьмой разряд. Меньше шестисот в месяц не зарабатываю. А для Лиденьки... я ничего не пожалею, — добавил он тише, от души.

— Ну что ж, — тоже возвысила голос старуха, — совет да любовь... Выйду из больницы — свадьбу закатим, ну и живите, любитесь. И я, старуха, на вас глядя, порадуюсь.

Коля Платт хотел что-то сказать, но старуха не дала ему говорить.

— Только условие вам поставлю: хотите — женитесь, хотите — нет, а вот вам мое слово: жить у меня. Лидку из дома не пущу. Я человек пожилой, мне тоже к старости забота нужна, да и Лидка сама от меня не пойдет — не так воспитана.

— Лизавета Артемьевна...

— Да погоди ты, не торопись, чай, время есть, ваши разговоры впереди, послушай меня, покуда я жива...

Она сбилась с солидного наигранного тона и уже не могла вернуться к нему.

— Дом мой — заведенный, не один год сколачивался. Чего нужно — все есть, и Лидка у меня одета, обута, простыней дюжина да наволочек с прошвами дюжина

непочатых, одних сорочек шестнадцать штук с кружевами, и плиссе, и аплике, и ажур, и как там еще — даже не упомню. Серебра двенадцать кувертов, и не то что теперешнее — тяжелое серебро, рука чувствует...

— Лизавета Артемьевна, да разве мне приданое...

— Помолчи, ну! — прикрикнула старуха. — Еще бы ты приданое хотел. Моя Лиденька и без того хороша, косой прикроется — всякий залюбуется. А только не хочу я, чтобы все мое добро полетело во все стороны — второй раз не соберешь... Я помру — Лидке все останется. Пускай при вещах и живет и хозяйствует — домовитость-то нынче поискать надо, а я Лидку с детства учила: уважай вещь, береги. Деньги-то что! Сегодня — есть, завтра — нету. А вещь — всегда вещь.

Она устала от длинной речи и упала на подушки, маленькая, беспомощная, лишенная всех сил, кроме силы своего убеждения.

— Лизавета Артемьевна, — заговорил Коля, пользуясь передышкой в ее речи, — я бы с радостью, и Лиденька тоже...

— Ты за Лиденьку не отвечай, за Лиденьку я сама скажу, — вставила старуха.

Коля провел рукой по взмокшему лбу.

— Я к тому, Лизавета Артемьевна, что есть одно обстоятельство... Видите ли, я должен уехать... на время... меня посылают на Дальний Восток... Это необходимо... мобилизация... дисциплина.

— Ты меня иностранными словами не пугай, — оборвала старуха. — А на время едешь, так что за беда. Вернешься — поженитесь. Годы ее невеликие, да и твои не к старости, потерпите...

— Да нет, Лизавета Артемьевна, это на два года поездка, на два года!

— Ишь ты... — протянула старуха, притворяясь, будто не понимает, чего хочет жених. — Я вижу, ты запасливый. Ну, дело ваше, женихайтесь, празднуйте. А вернешься — отпируем настоящую. Даст бог, и я к тому времени крепче стану.

— Лизавета Артемьевна, — набравшись решимости, жестко сказал Коля, — вы не так поняли. Мы сейчас поженимся, и мы не хотим расставаться. Лиденька поедет со мной.

Увидев испуганное лицо старухи, он добавил:

— Конечно, когда вам станет лучше...

Но старуха энергично села, затряслась в старческой бессильной злобе и закричала:

— Не будет этого! И обсуждать тут нечего! Иди лучше добром, выгоню!

— Лизавета Артемьевна...

— Выгоню! — крикнула старуха и взмахнула тощей ручкой с набухшими жилами. — Не пущу Лидку, сама не поедет, врешь! А будешь ей голову крутить — так и говорю обоим: прокляну! Так и передай Лидке — прокляну, и кончен разговор...

Она бессильно опрокинулась на подушки и захныкала:

— И уходи ты от меня, пожалуйста. Выйду из больницы, будет время — наговоримся, а сейчас уходи. И что это, право, в больницу прибежали, приспичило... Умереть спокойно не дадут...

Старуха закатила глаза, будто потеряла сознание. Но краешком глаза зорко следила за женихом.

Коля встал, потоптался, сказал растерянно:

— Зря это вы, Лизавета Артемьевна...

Она не двигалась.

— Ну, как хотите, Лизавета Артемьевна, наше дело было сказать...

И пошел к двери.

Старуха поднялась, хотела что-то ответить — и, на этот раз по-настоящему, без чувств повалилась назад.

А Коля Платт бежал домой, весь дрожа от негодования и злости. Его запутали, его обманули. Лиденька принадлежала ему, но он не мог назвать ее своей женой, он не имел власти над нею, он должен был оставить ее здесь. Он вспомнил всех этих парней, которые вечно крутились около нее. Вспомнил ее кокетство, ее шутки, ее песенки под гитару, которые будут слушать другие, другие...

Лиденька сидела на кровати в пальто и берете. Когда он вошел, она только посмотрела ему в лицо — и все поняла.

Он стал рассказывать.

Слезы потекли по ее щекам, но она молчала.

— Подумаешь — ее согласие! — презрительно сказал он. — Мы сделали все, что могли, мы хотели устроить все по-хорошему, а теперь черт с ней! Наше дело было сказать...

Лиденька вскочила, возмущенная:

— Как ты можешь! Она больной человек. Она несчастный, больной человек... Что она будет делать без меня?

— Ну конечно, ты уже сдаешься! — запальчиво крикнул он. — Ты уже струсила, ты готова остаться, лишь бы твоя мама не накричала на тебя!..

Она побледнела, но сказала твердо:

— Ты знаешь, что я хочу ехать... Но как я оставлю ее? Если бы она поняла сама... Я не хочу убивать ее... Я тебе клянусь, что приеду, как только будет можно... А сейчас — нет, нельзя, это убьет ее.

Подавляя раздражение, он сказал:

— Но ведь она хроник... Неужели ты веришь, что она поправится так скоро?

Он думал о смерти, но не смел сказать это.

Лида поняла. Слезы брызнули из ее глаз.

— Я не могу убивать ее! — повторяла она упрямо. — Раз она не хочет, я останусь...

Тогда он дал волю своему гневу:

— Ну что ж, оставайся! Только не надо говорить, что ты меня любишь. Ты запуталась, запутала и меня. Теперь-то я вижу! Вижу! Скажи прямо, что ты испугалась этого дурацкого проклятия. Скажи прямо, что ты мещанка и маменькина дочь, что любовь, комсомол, идеи — все ложь, ложь, ложь!

— Коля!

— Молчи уж! Не притворяйся. Если бы ты любила, ты не стала бы колебаться, ты поехала бы со мною, и пускай все пропадет.

— Да ведь я люблю тебя! — крикнула она в отчаянии. — Ты же знаешь, что я люблю тебя! Если бы она была здорова...

— Она притворяется! — крикнул он вне себя. — Она хитрая старуха. А ты — яблочко от яблони недалеко падает, вот что я тебе скажу.

Она испуганно молчала. Она никогда не видела его таким.

— Ты клянешься что приедешь? — Он зло рассмеялся. — Дурак будет, кто поверит! Да ты побоишься дороги, ты побоишься, что будет холодно, что будет неудобно, ты пожалеешь свои вещи.

Она сказала, дрожа от обиды:

— Я комсомолка, я ничего не боюсь для себя, ты прекрасно знаешь. А мама...

Он подхватил со злостью:

— «Мама», «мама»!.. Ты не комсомолка, а маменькина дочь. Твоей любви грош цена. Ты все забудешь че-

рез месяц, можно не сомневаться. Еще бы! За тобою целый хвост, старуха сама выдаст тебя замуж...

— Коля!

— Что «Коля»! Она прикрикнет на тебя, и ты выйдешь... поплачешь и выйдешь.. Она тебе подыщет женишка, и не такого, как я, а богатенького, с комодами, с подушками, с полтинниками в чулке. Мне противно! Противно!

Он готов был кричать еще долго, выдумывая новые и новые оскорбления. Но Лиденька вдруг опустилась на пол, уткнула голову в подушку и разревелась до судорог.

Это отрезвило его. Он раскаялся в своей резкости, испугался, стал рядом с Лиденькой на колени и взял обратно все свои упреки. Но Лиденька продолжала рыдать и только повторяла с отчаянием: «Я такая несчастная, такая несчастная!..»

Он уложил ее на кровать, отпаивал водой, целовал ее мокрое, дрожащее, несчастное лицо, умолял простить его.

Потом Лиденька спохватилась, — пора домой, скоро вернется тетка, будет скандал.

Он проводил ее, и ему было ясно, что самое худшее произошло: он невольно согласился с нею, Лиденька останется, он уедет без нее.

## 4

Четыре девушки — ткачихи и комсомолки — только что получили путевки на Дальний Восток. Все четыре ехали добровольцами. Тоня Васяева вызвалась первая, потому что ее привлекали трудности и борьба; Соня Тарновская ехала потому, что ехал Гриша Исаков; Клава Мельникова — потому что работать на Дальнем Востоке казалось ей очень интересно, а Лилька — чтобы не отставать от подруг: девушки жили коммуной, вчетвером, и Лилька не хотела остаться одна, да и почему не посмотреть новые места, если представляется случай?

Придя домой, в светлую комнату с четырьмя койками, девушки еще раз со всех сторон оглядели свои путевки и вдруг поняли, что разговоры окончились, дело свершилось — скоро отъезд. И все невольно задумались, — никто из них не уезжал еще из родного города Иванова.

Соня села с ногами на койку, обхватила колени руками и мечтательно заговорила:

— А мы с Гришей думали летом в Ленинград по-

ехать... В музей пойти, в Петергоф съездить, фонтаны посмотреть, белые ночи...

— Ну что же, а на Дальнем Востоке — тайга, — сказала Клава. — Если пойти без компаса — заблудишься. Мне охотник один рассказывал: идешь по тайге, кажется тебе — прямо идешь, а сам по кругу вертишься. Сутки проходишь — на старое место вернешься... Так и гибнут некоторые.

— Медведи могут задрать, — шепотом сказала Лилька, вытаращив испуганные глаза.

Тоня отвернулась, легла на дальнюю койку, закинула руки над головой, глаза прикрыла. Молчальница.

Клава покосилась на нее и сказала многозначительно:

— Открытому человеку везде хорошо. Нам здесь весело жилось — и там весело будет житься... А когда построим Дальний Восток, побываем и в Ленинграде, и в Москве, и на Кавказе.

— Я бы туда поехала, где фруктов много, — со вздохом сказала Лилька. — Вот читаешь: гранаты, бананы. А какие они? Не видала!

— «Королева просила перерезать гранат», — продекламировала Соня с блуждающей улыбкой — она вспомнила Гришу Исакова и стихи, которые он читал ей.

— Ты бы картошки начистила, королева, — не открывая глаз, резко сказала Тоня.

Соня промолчала, но не двинулась с места. Клава сделала гримаску в сторону Тони и начала растапливать печурку.

— Все-таки скучно там будет, — сказала Лилька. — Ни театра, ни кино. Какие там развлечения, если тайга да медведи?

— Развлекаться везде можно, — быстро и убежденно возразила Клава. — Мне вот никогда скучно не бывает. И Соньке тоже. Ну, Сонька влюблена, это понятно, а я сама счастливая.

Она тихонько засмеялась и с улыбкой посмотрела на разгорающийся огонь.

Тоня открыла глаза и переспросила с живым интересом:

— Сама счастливая? Это как же так?

— Я других не жду, — охотно откликнулась Клава, — я сама себя развлекаю... Работаю и песни придумываю. Сама себе пою. И хорошие такие песни получаются, громко так не споешь, голосу не хватит. Или гулять

иду — приключения придумываю. Как в книгах. Вдруг кого-нибудь встречаю и спасаю от смерти, или он меня спасает, и оба влюбились с первого взгляда. Или ночью лягу — сказки составляю. Возьму первую строчку наугад: шел мужик лесом и вдруг видит — сидит на дереве райская птица и говорит человечьим голосом: «Остановись, несчастный!» — а потом придумываю — почему да отчего... Интересно иногда складывается... прямо хоть записывай...

Огонь разгорелся. Если смотреть внимательно и от всего отвлечься, в пламени можно увидеть многое. Клава видела и сражения, и города, и стаи испуганных птиц, и сказочных рыцарей с конскими хвостами на шлемах.

Тоня тоже смотрела на огонь, но ничего, кроме огня, не видела.

— А знаете, девушки, — заговорила Клава с увлечением, — пока мы в горкоме дожидались, я вот что придумала: что, если бы мы все вдруг переменили профессии? Ведь совсем другие люди получились бы! Возьмите хоть Гришу Исакова. Мюльщик, рабфаковец, поэт. Видно это по нему? Видно. На спину посмотришь, сразу скажешь — мюльщик, а в глаза посмотришь — поэт... Помните, мы в Доме культуры балет смотрели? И вдруг Гриша стал бы балетчиком!

Лилька взвизгнула:

— В трико!

И покатилась со смеху.

Соня обиженно покачала головой.

— Не в трико дело, — возразила Клава. Ее мысль была глубже и казалась ей очень занятной. — Вы подумайте. Сейчас он чем живет? Ну, работает, о выработке думает, стихи составляет. А тогда чем? Перед зеркалом тренировался бы, какую позу принять, какое движение сделать, о костюме заботился б, чтоб красивей быть... Ведь совсем заботы другие, все мысли меняются.

Лилька хихикнула, ее смешило — Гришка в трико!

— Или вот я. Если бы я была не я, а цирковая наездница. Могла бы я тогда комсомолкой быть?

Тоня подняла голову, строго отрезала:

— Комсомолкой можно быть везде.

И повернулась лицом к стене.

— Конечно, — неохотно согласилась Клава. — Только вы представьте, девушки, я — и вдруг вылетаю на арену, в юбочке такой, в золотых блестках, в шляпе с

белым пером, стою на лошади на одной ноге и рукой в воздухе: вуаля! Знаете, как они делают...

Она покосилась на спину Тони, подмигнула и продолжала:

— Или вот представьте Тоню знаменитой певицей. Платье на ней шелковое с хвостом, руки голые, на плечах меховой палантин — станет у рояля, музыканту кивнет, чтоб начинал, и запоет на весь зал: «Бьется сердце беспокойное, затуманились глаза...»

Лилька и Соня смеялись. Тоня сказала недовольно:

— Глупости все.

Встала и молча вышла из комнаты.

— Вот ведь сухарь какой! — бросила вслед Соня и вздохнула. Она боялась Тони.

Тоня вернулась с котелком картошки, высыпала картошку на колени и стала чистить ее. Лилька взяла нож и принялась помогать. Клава и Соня молчали. Всем расхотелось болтать из-за Тониного угрюмого лица.

И вдруг мягко заговорила Тоня:

— Девушки, я вам про мать свою не рассказывала?

И в лице ее мелькнуло не то отчаяние, не то просто страх, что не поддержат девушки, не захотят слушать. Клава поддержала:

— Нет, не рассказывала.

А Лилька застыла с ножом в руке — удивилась, что у сухаря Тони есть мать.

— Вот ты сама счастливая, — сказала Тоня и прикрыла глаза. — А во мне ненависти много, зависти много.

Лилька уронила нож.

Тоня говорила резко, чуть хрипловатым голосом, а руки ее аккуратно и быстро обчищали картошку:

— У каждого человека горе бывает. Но не всякий такое видел, что и рассказывать стыдно... А я, как себя помню, в отхожем месте жила. В парке. Парк большой был, общественный. И отхожее место было — целый дом: половина мужская, половина женская. Мать там уборщицей была. Сперва, верно, в другом месте жили, а потом отец помер. Нас было трое, все маленькие: мы с сестрою да братишка. Мы на женской половине жили — по одной стене стульчаки в ряд с перегородками, а по другой стене окошко, известкой замазано. Под окошком и жили. Кровать стояла. Шкафчик. На кровати и ели и спали все четверо. Потом сестренка умерла — трое стало. А вони не замечали — привыкли...

Она помолчала, снова заговорила, ни на кого не глядя:

— Дамы заходили. Девицы разные. Все веселые, с гулянья. Копейки нам давали. Иногда иголку с ниткой спросят. Или туфли почистить. Однажды зашла большая барыня с двумя дочками. Девчонки моих лет. Я так и уставилась на них. Белье с кружевами. Шляпы соломенные на лентах по спине болтаются. Барыня все морщилась, все боялась, что грязно. Все девчонкам приговаривала: «Осторожно, осторожно, ни к чему не прикасайтесь, это же зараза, зараза».

Тоня выронила картошку, нагнулась за нею, да так и осталась.

Лилька вдруг всхлипнула:

— Господи, Тонечка, мы ведь не знали.

Тоня резко подняла голову и продолжала хрипловатым и ровным голосом, будто и не слыхала Лилькиных слов:

— Когда братишка немного подрос — вы знаете его, Николай, математик, он приезжал зимой, — еще хуже стало. Парень высокий, большой, неудобно. Стали выгонять его. Весь день до ночи по улице бегает. Мы поедим, а ему миску вынесем, он и жрет, как собака, на улице. А если холодно, на кровать уложим, тряпьем прикроем, мать прикрывает его с головой, чтобы не заметили, да вдруг как заплачет...

Лилька сопела носом, сдерживая слезы.

Тоня сердито махнула на нее рукой, сказала спокойно:

— Потом тифом заболели. Мать умерла, братишку в приют отдали, а в революцию приехал дядя и меня сюда привез. Мать ивановская была до замужества, а дядю вы знаете — мастером теперь. Пришел Евграфов, старый ткач, он и теперь у Соньки в этаже работает. Он с мамой вот с этих лет знаком был. И пришел меня посмотреть. Мне уже девять лет было. Долго смотрел, по голове погладил. И говорит: «Похожа на мать. Узнаю. Только Олюшка веселая была. Певунья. В перерыв, бывало, выбежит во двор и запоет. А пела — все забудешь, заслушаешься. Даже хозяин останавливался слушать. Любимая песня ее была — «Полянка, полянка...». После, — говорил Евграфов, — в опере бывал не раз, а такого голоса уже не слыхал...»

Тоня вдруг вскочила, уронив картошку с колен, и бросилась из комнаты.

Все молчали, избегая встречаться взглядами.

Потом Клава побежала за Тоней. Тоня стояла в темном коридоре и плакала навзрыд. Клава обняла ее и тоже заплакала.

**5**

Солнечная Одесса вся золотилась в жарких весенних лучах. И снова, как летом, казалось, что в этом городе никто не работает, — столько всякого народа праздно шаталось по улицам, столько было людей, может быть только что окончивших тяжелый труд, но всеми своими движениями, всем своим обликом похожих на бездельных ротозеев, для которых только и существует на свете, что веселая одесская улица, солнце, болтовня и синее море на горизонте. В этой толпе, так же праздно и медленно двигаясь, так же глазея по сторонам и не спеша переговариваясь, шли два молодых человека. Один был мощен, широк, высок — великолепный образец мужской красоты и силы. Другой был худощав, мал ростом, невзрачен — не то подросток, не то юноша. И в то время как первый свободно распахнул куртку, подставляя солнцу румяную грудь в голубой полосатой майке, второй зябко кутался в осеннее пальто.

Это были два друга, известные всей Одессе, и особенно всему судоремонтному заводу, — лучший форвард заводской футбольной команды Геннадий Калюжный и лучший заводской изобретатель Сема Альтшулер — оба токари, оба коренные одесситы, навсегда связанные между собой узами глубокой дружеской любви.

Сема сказал, подняв лохматые брови:

— Они знают, что я могу и чего я не могу?

После паузы ответил Геннадий:

— Я им говорил: если надо ворочать камни — позовут меня. А если надо ворочать мозгами — кто будет это делать, если не Сема Альтшулер? Они говорят, что ты слабый здоровьем и завод тебя не отпускает. Они говорят, что ты будешь инженер и гордость завода.

Поразмыслив, заговорил Сема:

— А ты не гордость завода? Посмотрим, кто будет забивать киевлянам на встрече Киев — Одесса. Может быть, я? Или секретарь райкома?

Они долго шли молча.

Футбольное поле уже манило их своим простором, стиснутым со всех сторон неспокойной и шумной толпой.

И тогда Сема сказал:

— Я пойду и скажу им, что они дураки. И если им нужны только биндюжники вроде тебя, я скажу им, чтобы они убирались сами, пока их не прогнали другие.

Когда Геннадий надумал ответ, Семы уже не было.

Он быстро шел назад, полы его пальто развевались на ходу. Геннадий постоял, поглядел ему вслед и пошел в раздевалку.

Сегодня была первая весенняя игра. Игра — рядовая, тренировочная, но, казалось, вся неугомонная и любобытная Одесса сбежалась «болеть» на трибуны стадиона. И когда две команды — голубая полосатая металлистов и черно-красная пищевиков — мерным шагом выбежали на поле, тысячная масса зрителей разом застыла, готовясь стонать и радоваться при первых же ударах по мячу.

Толстый судья, уже много лет лишенный возможности лично участвовать в игре, но ощущавший острую дрожь наслаждения при одном виде упруго подскакивающего мяча, — толстый судья подтянул живот, строго оглядел публику и поднес свисток к губам торжественным и плавным движением, каким горнист на параде поднимает фанфару.

Мяч взлетел высоко вверх, повертелся, словно поддерживаемый тысячами жадных взглядов, и, потеряв силу, полетел вниз, прямо в середину трепещущего клубка игроков. Клубок закружился как одно пестрое, черно-красно-голубое тело, и вдруг мяч выскочил на свободу, ведомый опытной ногой, но тотчас же другая опытная нога перехватила его, мяч полетел в сторону, его снова поймали... Игра началась.

А в одесском обкоме комсомола перед отборочной комиссией по мобилизации на Дальний Восток Сема Альтшулер произносил речь, гордо скрестив на груди сухие нервные руки:

— Я вас спрашиваю: вы себе отдаете отчет, что вы делаете и что надо делать? Может быть, вы никогда не изучали исторического материализма и ничего не слыхали о роли личности в истории? Или вы знаете, что был Наполеон, и для вас все не Наполеоны — мелочь и барахло?

— Это ты — Наполеон? — сказал председатель комиссии. — Будем знакомы.

Но Сема только отмахнулся:

— А если я вам скажу, что Наполеон был маленького роста, и Суворов был маленького роста, и все-таки их имена знает всякий школьник, — а кто знает ваши имена? Сейчас не царское время, чтобы зашибать маленьких людей. И если я не уродился здоровым, что же, прикажете вешаться или сидеть дома, пока не подрасту? Если для вас люди — это такие жлобы, как мой лучший

друг Калюжный, так возьмите у меня комсомольский билет, и не будем говорить о гордости завода. А если я человек и комсомолец, — пишите мне путевку, и забудем про мой рост. И если я решил строить социализм на Дальнем Востоке, я хочу посмотреть, кто может меня удержать!

Председатель комиссии сказал растерянно:

— Не будем говорить про твой рост, но разве социализм только на Востоке, разве здесь, на заводе, ты не строишь социализм тоже?

Сема взмахнул руками и презрительно рассмеялся:

— Когда здесь будут нужны люди больше, чем на Дальнем Востоке, я приеду обратно, и Генька приедет тоже. Но если сейчас комсомольцев зовут на Дальний Восток — какое право вы имеете не пускать меня? И как вы можете думать, что Калюжный поедет, а я останусь? Когда во всей Одессе знают, что еще не бывало дня, чтобы мы не встречались, и когда команда ездила в Николаев, я взял отпуск и поехал с ним в Николаев.

Комиссия не нашла возражений.

И Сема скомандовал, так как победа осталась за ним:

— Давайте мне анкету, пишите путевку, и не надо задерживать, потому что игра уже началась, и я не понимаю, почему вы сами не бежите на стадион. Или физкультура не дело комсомола?

На стадионе голубые полосатые вели напористое нападение на ворота черно-красных. В центре общего внимания были Генька Калюжный и Борис Хаймович. Никому не удавалось провести мяч мимо их ловких и быстрых ног; мяч прыгал и метался от одного к другому, вот он взлетел вверх, вот его принял головой Борис Хаймович и неожиданно передал крайнему левому голубому, крайний левый стремительным ударом послал его по лабиринту ног прямо в ноги Геньке Калюжному—и мяч в воротах черно-красных; черно-красный защитник растерянно жмурится, вздыхает и оглядывается на трибуны, а на трибунах стоит визг, рев и стон, и только опытное ухо различит отдельные выкрики приветствий победителям и насмешек над побежденными.

Но игра продолжается. Черно-красные рвутся в бой, стремясь отыграться во что бы то ни стало. Под их неудержимым натиском игра перекинулась к воротам голубых, и голубым никак не удается увести мяч со своей половины. На трибунах все повскакали с мест. Толстый судья приседает на корточки, забыв про свой живот.

Генька Калюжный ринулся навстречу черно-красному форварду, ловким боковым ударом выбивает у него мяч, на короткой пасовке передает Борису — и мяч взвился вверх, закружился и сильным ударом головы отброшен на половину противника. Генька летит за ним, как птица, за ним летят и голубые и черно-красные. Генька завладел мячом, он обманывает и обходит противников; с трибун несется вой одобрения, и вдруг из этого воя вырывается пронзительный и хорошо знакомый голос:

— Геньчик, на тебя бегут сзади!

Это Сема. Он протискался к самому барьеру, вцепился в него напряженными пальцами и следит — следит—следит за полетом мяча и неуловимо быстрой и ловкой фигурой друга.

Черно-красные подбегают к нему сзади... Надо кричать, предупредить, спасти!

Но Генька уже ударил по воротам. Мяч отбит. Борис принимает его и снова без прицела шпарит в ворота; мяч снова отбит в ноги черно-красным. Вспотевший защитник вытирает лоб, но Генька молниеносно налетает на мяч и с ходу в третий раз отправляет мяч в ворота.

— Геньчик! Геньчик! Геньчик! — орет Сема вне себя от счастья и хлопает в ладоши. Пальто прыгает на его тощей фигурке, в глазах блестят слезы. На него никто не обращает внимания, вокруг тоже хлопают, кричат, неистовствуют; свисток судьи, возвещающий перерыв, тонет в этом неистовом шуме...

И вдруг с трибуны на поле спрыгивает одна фигура, потом другая, третья, десятая, сотая, — поле заполняется, и никакая сила не может сейчас прекратить этот стихийный напор восторга.

Около Геньки Калюжного, окруженного толпой болельщиков, появляется секретарь комсомольского райкома. Секретарь тоже бледен от возбуждения, он жмет Геньке руку и говорит, тщетно стараясь придать своему лицу и голосу выражение спокойного и уверенного превосходства:

— Вот что, Калюжный. Мы не должны были тебя отпускать. Пиши заявление. По семейным обстоятельствам. Райком пересмотрит решение.

Судья отчаянно свистит. Сторожа загоняют публику обратно на трибуны.

Футболисты расходятся по местам. Игра возобновляется в том же стремительном темпе. Секретарь райкома

задыхается от волнения и вместе с другими кричит, позабыв о спокойном превосходстве руководителя:

— Сам, Калюжный, сам!

В трех шагах от него, вцепившись в барьер напряженными пальцами, истошно кричит Сема:

— Геньчик, держи! Геньчик, сам!

Над шумной Одессой, над тихим морем медленно спускается солнце...

Толстый судья шел домой в плотном кругу болельщиков. Он отдувался, с трудом взбираясь по ступеням, и говорил внимательным слушателям:

— Э, что такое сила без ума? У Калюжного умные ноги!

А Калюжный и Сема шли вдвоем, избегая толпы. Сперва они молчали, переживая радость победы. Потом Сема сообщил:

— Дело сделано. Они попросили прощенья, путевка в кармане, и ты не поедешь один — с тобой поеду я.

Генька обернулся, сверху вниз посмотрел на приятеля. Но спросил только:

— Окончательно?

— Ну да, подписано и припечатано! — радостно подхватил Сема.

Калюжный промолчал.

— А что хотел от тебя секретарь райкома? — спросил Сема.

Генька пожал плечами:

— А я знаю?.. Так, дружеское рукопожатие и пожелание успеха.

И они пошли дальше, к дому Семы Альтшулера. Сема открыл дверь своим ключом, но тотчас по квартире зазвенели звонки — сигнализация от воров, придуманная Семой. Из кухни выскочила испуганная мать — она все еще не привыкла к зловещему трезвону.

— Мама, — сказал Сема, — собери мне вещи, послезавтра мы уезжаем на Дальний Восток.

Друзья прошли в комнату, опутанную проводами, загроможденную радиоприемниками, моделями и металлическим хламом. Сема распахнул окно, нажал кнопку—и перед окном завертелся пропеллер, разгоняя застоявшийся комнатный воздух.

— Мама! — позвал Сема.—Слушай меня внимательно. Этот приемник я подарю тебе, чтобы ты слушала и развивалась. Только ты должна завести календарь и заряжать батареи каждые шесть недель. А тот приемник я

дарю матери Геньки, пусть она развивается тоже. Все эти штуки, которые вам мешали, я заколочу в ящик и спрячу в кладовую, но если оттуда пропадет хоть один винтик, мама, ты отвечаешь своей головой.

Мать плакала. Из кухни донесся разбойничий посвист.

— Мама, перестань плакать, ты же слышишь, закипел чайник, — сказал Сема и ласково подтолкнул ее к двери. Здесь, среди сотен вещей, придуманных и любовно сделанных собственными руками, Сема и сам расчувствовался.

## 6

У прилавка толпились покупатели. Катя Ставрова небрежно кидала на весы сморщенные скользкие огурцы, передавала намокший пакет покупателю и снова хватала из бочки огурцы, чтобы отвесить в сотый раз все те же полкило. Огурцы мелькали без конца. И так весь день с утра до вечера, — ну прямо зелено в глазах! Она даже не разглядела в очередном покупателе знакомого. Ему пришлось шлепнуть ее по руке.

— Фу ты, Петька! — воскликнула она и тыльной стороной ладони откинула со лба волосы.—Откуда ты свалился?

— Запасаюсь на дорогу, — сказал Петька, — завтра уезжаю в Магнитогорск.

— Да что ты? Вот здорово!

— Факт, здорово. Завод знаешь какой будет? Мировой гигант, и даже еще больше.

— И еще значительно больше. Ты что же, по специальности?

— Ну да! А строить будет дядя?

— Черт знает что! Везет же людям...

— А ты слыхала, что Володька едет по монтажу на Днепрогэс?

— Володька?! Эта шляпа? Он же из Москвы в Мытищи и то ленился!

— Вот тебе и «ленился»... А ты в Мытищи ездила, а Днепростроя или Магнитогорска тебе—как своих ушей...

— Иди к черту!

— Да ты сердишься, Катюша?

— Сказала: иди к черту — и катись! Не мешай работать. Только душу растравил...

Петька ушел. И снова огурцы, огурцы, огурцы, весы, покупатели, рассол, разъедающий пальцы... Потом отка-

тить бочку, вытереть прилавок, сдать чеки... Наконец-то!

В комсомольском комитете — Ирина. И газеты, от которых ежедневно разрывается сердце... «Пятилетка — в четыре года», «Нефтяники в два с половиной...», «Рекорд бетонщиков СТЗ»... Лучшие ударники: Молохов и Анисимова... Портрет Анисимовой. Вот кто счастливая, наверно, так это Анисимова... Еще бы!

— Чего вздыхаешь? — спросила Ирина.—На́ тебе повестку на слет ударников прилавка. Завтра в восемь.

У Кати задрожали губы.

— Ты чего?

Катя опустила голову на стол. Ирина услыхала всхлипывания.

— Да ты что? Катюша! Случилось что?

— Ну да, случилось... Держи карман шире... Ничего не случилось... и не может случиться... Живешь... как в банке... Так и жизни не увидишь... Все едут... строят... Люди бетонщиками... монтажниками... а тут с огурца-а-ми...

Ирина сначала не могла понять. Поняв, рассердилась:

— Ставрова, не устраивай демонстраций. Нечего распускать нюни. А еще комсомолка!

Потом Ирина провожала ее домой и выговаривала ей, как маленькой, хотя они были однолетки. Катя ежилась в осеннем пальтишке, после слез ей стало зябко. И она больше не могла.

— Я больше не могу, понимаешь, Ирина, не могу...

— Не будь дурочкой. Если все поедут строить, кто же будет обслуживать? Продавец—это почетная профессия, и надо понимать и любить свою работу... А если ты комсомолка...

— Почему же именно я должна обслуживать? Володька — и тот уехал на Днепрогэс, а он даже в Мытищи-и-и...

— Не реви! Тоже строитель! Глаза на мокром месте...

Дома муж с привычной ловкостью резал колбасу, — у них выдавали сегодня на «индустрию А» по пятьсот граммов.

— Что же ты огурчиков не принесла? — спросил он весело, отправляя в рот колбасную горбушку с розовой лоснящейся кожицей.

И тут Катя не выдержала. Она вдруг возненавидела мужа, она закричала: «Вор, приказчик, кооперативная крыса!» — и кричала на него весь вечер, и даже не попробовала колбасу, хотя была очень голодна.

Утром она побежала в ЦК ВЛКСМ и попросилась в мобилизацию на Дальний Восток. У них мобилизовали двух продавцов, и на «Авиаприборе» мобилизовали знакомого парня. Чем же она хуже? Она докажет...

Из ЦК ее отправили в МК, из МК — в райком, из райкома — к Ирине.

— Романтики хочешь? — с упреком сказала Ирина.

— Да! — ответила Катя с такими сияющими глазами, что Ирина не смогла осудить ее.

От Ирины она снова проделала весь путь, только уже снизу вверх. И в ЦК долго спорила и накричала на комиссию, потому что была щуплая на вид и ее не хотели брать. Она совала им под нос руку: «Что, скажете плохие бицепсы? Что, не гожусь?» Все засмеялись и дали ей путевку.

Она не призналась мужу, что едет добровольно. Он возмущался, как это можно отрывать жен от мужей, ходил грустный, и у него пропал аппетит.

Кате стало жалко его, она была нежна с ним все последние дни и на вокзале не могла оторваться от прощального поцелуя.

Но в вагоне ей стало так весело, как будто с плеч свалилась страшная тяжесть. Она запела авиамарш и весь первый вечер смеялась, и пела, и веселила всех, так что к ночи ее единогласно выбрали затейником.

Она спала, как в детстве, без снов. А утром проснулась как-то сразу, со свежей головой, и почувствовала себя очень счастливой. Ей хотелось двигаться, и она тут же придумала организовать в вагоне ежедневную утреннюю зарядку, чтобы ребята не закисли за две недели пути.

Она растолкала старосту вагона Костю Перепечко. Он сперва удивился, а потом помог ей; они выстроили всех ребят в проходе, и Катя командовала, стоя на скамейке.

Вагон покачивало и потряхивало, ребята падали и сталкивались друг с другом, но всем понравилось.

А Катя командовала, подражая голосу радиодиктора, и чувствовала себя снова пионеркой в лагере и даже ощущала солнце на обновленном и свежем лице.

## 7

Недостроенный дом был мрачен и безлюден в этот ранний сумеречный час. Пустые леса казались излишне просторными. Шаги звучали гулко и неуверенно.

Валька Бессонов прошел по лесам до своего участка стены и сверху посмотрел на город, — город простирался перед ним спокойный и величавый, еще не проснувшийся после ночи. В сизой дымке таяли статуи на крыше дворца, невские воды отливали сталью, строгий шпиль Петропавловской крепости, как нож, разрезал пополам розовеющее на востоке небо.

Утреннее движение на улицах только начиналось. Легковых машин еще не было, зато на полном ходу проносились неутомимые грузовики.

Город был такой же, как всегда. Как будто ничего не изменилось. Валька отвернулся от него и осмотрел стену. Даже рукой потрогал. И отвернулся тоже, потому что ничто уже больше не радовало.

Вчерашний разговор в райкоме вспомнился ему во всех обидных подробностях. И ведь шел-то он в райком весело, охотно, заранее гордясь собой, потому что до вчерашнего дня его вызывали только на почетные совещания — или для премирования, или по делам «легкой кавалерии» — и всегда встречали как героя.

А на этот раз все вышло по-иному. Вызвали к секретарю комсомола; секретарь расспросил немного: женат ли, где родители, сколько лет, да брякнул без подготовки:

— Собирайся, приятель, поедешь на Дальний Восток. Комсомол тебя мобилизует.

В этом еще не было обиды. Валька даже обрадовался и спросил многозначительно:

— Японцы?

— Нет, — сказал секретарь с улыбкой, в которой Вальке почудилась насмешка.—Не в армию, а работать.

— То есть как это «работать»? — не понял Валька.

— Да так, как работаешь. Строить, штукатурить. Комсомольская мобилизация, понятно?

Валька даже побагровел от злости:

— Что же вы, других не нашли?

— А тебя почему же нельзя?

— Меня? Лучшего ударника? Лучшего бригадира стройки?

— Ну да, тебя, лучшего ударника!— И снова в голосе секретаря почудилась насмешка. —Там плохие не нужны.

— Спасибо за ласку! — крикнул Валька и стукнул кулаком.—Работал, работал, а теперь к черту на рога? Три года без прогулов, опозданий, план как из пушки, не меньше ста пятидесяти процентов, качество — сами зна-

те, поищите такое у лучших штукатуров!.. И такая благодарность?! Спасибочки, поезжайте сами!

И тут произошло то самое, что не давало спать всю ночь, и выгнало из дому чуть свет, и привело сюда, на знакомые пустые леса. Секретарь райкома обошел стол, остановился перед Валькой и сказал презрительно:

— Ты ударник и герой, а душа в тебе не комсомольская, а липовая. Понятно? Так рассуждают только шкурники и трусы. Иди домой, подумай на свободе, а потом придешь. Понятно?

Конечно, разговор только начался, надо было объяснить, возразить, исправить... Теперь Валька понимал это. Но тогда он отбросил стул, хлопнул дверью, потом второй, потом третьей, пока не выскочил на улицу. Липовая душа? Сам он липовый! Где это видано, чтобы лучшего ударника в начале строительного сезона — и вдруг снимали со стройки? «Понятно? Понятно?» Нет, держи карман шире, Валентин Бессонов не позволит обвести себя, как дурака. Еще посмотрим, кто кого научит!.. В обком пойду, в обком партии, а не сдамся!

Эти слова он повторял всю ночь. И теперь, на пустых лесах, у голой стены, они звучали гулко и решительно. Но слова не спасали. От себя самого словами не закроешься, а внутри мутило, тоска грызла... В стройной, счастливой жизни вдруг что-то безнадежно испортилось. Конечно, можно работать, можно еще повоевать за славу лучшего штукатура, можно поставить небывалый, на страх врагам, рекорд выполнения плана...

Но в это утро и работа не спорилась.

Валька озадачил свою бригаду свирепым видом и злыми окриками, но руки подвели его — они работали без обычной ловкости, и штукатурка ложилась грубо, шероховато, непослушно, и раздражал холодный ветер, и злость брала, когда с высоты шестого этажа оглядывал надоедливую улицу, трамвайных висунов и бестолковых пешеходов, мешающих друг другу...

Около девяти часов Валька Бессонов заметил на лесах незнакомого человека. Человек хозяйственно и придирчиво осматривал работы, и только настороженная поступь выдавала постороннего. Из треста кто-нибудь? Но из треста никогда не приезжали так рано. А если и придет начальство, сразу вызывает прораба и уже с прорабом обходит стройку.

Человек был немолодой, плотный, невысокий. Тужурка военного покроя, расстегнутая у ворота, обнажала

крепкую короткую шею. Глаза смотрят зорко, с веселым прищуром, энергичные линии рта подчеркнуты озабоченностью. Он наткнулся на двух подсобников, сидевших без дела, о чем-то спросил их, и глаза потеряли веселый прищур, стали жесткими.

А по лесам, спотыкаясь, уже бежал взволнованный прораб.

Валька продолжал работать, искоса и с интересом наблюдая за пришельцем. Но работалось уже по-другому. Вернулась обычная ловкость, ощущение которой неизменно доставляло ему наслаждение. Вальке хотелось, чтобы ловкость его движений была замечена. Он не знал, кто этот человек. Но он видел, что два лодыря сконфуженно схватились за тачки, что все вокруг оглядываются и здороваются с особой приветливостью и человек в тужурке весело отвечает на поклоны, то и дело останавливаясь, расспрашивая, пробуя пальцем штукатурку.

Кто же это?

В его лице было что-то безусловно знакомое, но Валька не мог припомнить, где он видел этот смешливый прищур, твердый рот и короткую крепкую шею, которая так ладно соединяла энергичную голову с коренастой и сильной фигурой.

— А вот Бессонов, наш лучший бригадир,— сказал прораб за спиной Вальки.

Валька оглянулся и неуверенно поклонился.

Незнакомый человек улыбнулся.

И в ту же секунду Валька узнал его — узнал по неудержимо искренней, открытой, простой улыбке, которая светло отличила бы это лицо среди сотни похожих лиц. Улыбка была индивидуальна — так улыбался только он один.

— Здравствуйте!..— восторженно крикнул Валька и запнулся: от растерянности и восторга он забыл имя и отчество, известные всей стране.

— Как работаете, товарищ Бессонов? Какие у вас неполадки?

Голос Валька слышал впервые, но сейчас как будто узнал его, — по мужественному и теплому облику этого человека угадывался мужественный и теплый голос.

— Сто семьдесят пять процентов плана!— отрапортовал Валька, краснея от удовольствия. Но тут же вспомнил и пожаловался:— А неполадок много. Седьмой штукатурили, а за нами пошли наличники менять,

наколупали, пришлось сызнова заделывать. Разве это работа?

Прораб оправдывался.

Валька продолжал работать. Теперь его руки достигли полной виртуозности под наблюдающим и оценивающим взглядом. Они *оба* любили ладную, умелую работу, *оба* понимали в ней толк. Валька чувствовал нити понимания и увлечения, связавшие их, и сердце восторженно колотилось в его груди, и в голове поднялся счастливый туман, но так и не удавалось вспомнить известные всей стране имя и отчество.

А когда он пошел дальше, неохотно оторвавшись от ритма Валькиной работы, сразу все вспомнилось, и Валька крикнул по первому побуждению, даже не зная еще зачем:

— Сергей Миронович!

Киров вернулся. Он смотрел весело и выжидательно, он снова понимающе улыбнулся. В этой улыбке Валька ощутил любовное внимание к нему, к людям, к самой жизни,— жизнь для этого замечательного человека была не трудной повседневностью, а широким счастливым движением, где даже препятствия радуют возможностью их преодоления, где все продумано, пронизано бодрой уверенностью, согрето жаром большого сердца. Валька подсознательно воспринял его мудрую могучую жизнерадостность и сказал с неожиданно счастливой интонацией:

— А меня комсомол мобилизует, Сергей Миронович, на Дальний Восток.

Киров дотронулся рукой до плеча Вальки:

— Молодцом! Смотри не подкачай там, не урони ленинградский авторитет.

И спросил дружески:

— Едешь с охотой?

Валька сам не понимал потом, что с ним случилось в эти минуты, знал только, что случилось большое и хорошее. Он крикнул, восторженно глядя прямо в открытые, дружелюбно-внимательные глаза:

— С охотой, Сергей Миронович! Не беспокойтесь, не подкачаю.

Киров постоял минуту, сказал тепло:

— Ну-ну, желаю успеха,— и пошел дальше, осторожно, но твердо ступая по лесам.

Весь день Валька пел за работой, ощущая в руках виртуозную ловкость лучшего в мире штукатура. Приятно обвевал его весенний ветер, легко и ровно ложилась

послушная штукатурка, и с высоты шестого этажа прекрасным казался город.

Валька долго ждал, не пройдет ли Киров обратно. Он думал, что скажет ему: «До свиданья, Сергей Мироиович...», а может быть, и еще: «Я вам напишу оттуда, Сергей Мироиович». Отчего же иет?

Киров не вернулся, но Валька знал теперь, что напишет. Они *оба* любили хорошую работу — здесь, на Дальнем Востоке, везде... Ого! Киров знает о мобилизации — значит, дело важиое, серьезиое... И что бы секретарю райкома сказать сразу: «Тебе поручают ответственное дело! Нужны самые лучшие штукатуры страны!..»

После работы ои побежал в райком, ворвался в кабинет к секретарю и сказал требовательно:

— Пиши бумагу. Еду.

Секретарь смотрел удивленно, не узнавая.

— Ах, это ты!— вспомнил он наконец и усмехнулся:— Надумал?

Валька вспыхнул.

— Не иадумал, а мие Киров посоветовал, поиятно?— закричал он на оторопевшего секретаря.— Сергей Миронович Киров мне посоветовал лично и дал поручение — поддержать ленинградский авторитет на Дальнем Востоке. Понятно?..

8

Только что прошел первый весенний дождь. На бульварах блестели влажиые пахучие стволы деревьев, с набухающих почек скатывались крупные блестящие капли. Двориики метлами сгоняли воду с тротуаров. А на вокзале грязь была растоптана сотиями людей и черная жижа хлюпала под ногами.

По этой хлюпкой грязи, расталкивая толпу, металась девушка. Она запыхалась, капельки пота проступали над розовым ртом. Рыжеватая прядь волос, откинутая ветром, забавно торчала над маленьким ухом.

На перроне было шумно. Музыкаиты иа разиые лады иастраивали иструмеиты. Кто-то по списку выкликал фамилии, взобравшись иа вещевую корзииу. Здоровые, крепкие, шумливые парни откликались на все голоса, одни серьезно и старательио, другие шутливо.

— Здесь! Здесь!— неслось со всех сторон.

Девушка остановилась, сжимая в руке обернутый

в бумагу цветок. На ее розовых ногтях, как слезы, холодно блестел прозрачный лак.

— Ах, не для меня ли этот цветок?

Она метнулась прочь. Ее оскорбляли веселые лица парней.

Откуда-то сбоку, из густой толпы, донесся обрывок речи — говорил опытный ораторский голос:

— Комсомольское мужество превратит Дальний Восток в богатый и цветущий сад, и в книге социалистических побед ваши имена, имена славных ростовских комсомольцев...

Андрея Круглова нигде не было видно.

Она оглядывалась, готовая заплакать, и машинально обрывала бумагу узкими ломкими пальцами.

Совсем рядом прозвучал нарочито громкий голос:

— Это кого провожает такая хорошенькая?

Она снова метнулась прочь и увидела прямо перед собой Андрея Круглова, его напряженные глаза, его побледневшие губы.

— Дина, наконец-то!

Перед ними расступались без слов. Смотрели вслед — такая красивая пара. Они шли рядом, никого не замечая. Они с ужасом ждали конца. Неделя... одна скупая неделя... И если бы неделю назад он не пришел в контору за справкой, они так и не узнали бы друг друга.

И вся неделя прошла под давлением гнетущего страха, что вот еще пять дней... еще четыре... три... еще два дня... один день... и все оборвется.

— Я буду телеграфировать с дороги. Как только устроюсь, пошлю молнию... Я буду так ждать тебя...

Кажется, был сигнал, все хлынули к вагонам. Оглушительно рявкнул оркестр, медные тарелки нестерпимо лязгали.

Дина вспомнила про цветок, сказала:

— Это сирень... еще парниковая...

Он не успел поблагодарить. Из окон вагона кричали:

— Андрюша! Андрей! Круглов!

Налетел сзади секретарь горкома Шадрин:

— Что за беспорядок? Для кого сигнал?

Он осекся, взглянув на побледневшее лицо Дины, и так же внезапно исчез.

Они неумело поцеловались у всех на виду. Кто-то в окне громко чмокнул. Андрей пошел к вагону, спотыкаясь.

Дина говорила торопливо:

— Пришли фотографии. Напиши про город, про квартиру, про все... обязательно фотографии...

Он бессмысленно повторял:

— Я буду телеграфировать с дороги.

Из вагонов кричали «ура». Шадрин выкрикивал лозунги, размахивая кепкой.

Поезд дернулся и пошел.

Дина бежала вдоль перрона, крепко стиснув пальцами разодранную оберточную бумагу.

Андрей высовывался из окна, пока заворот рельсов не оборвал прощанья.

В вагоне уже пели:

Джим, подшкипер с английской шхуны,
Плавал двенадцать лет...

Пахла сирень.

Тимка Гребень подошел, мягко обнял Андрея и разжал его пальцы. Пахучая ветка, по-тепличному безжизненная, склонилась на край стакана...

Андрей отвернулся, растроганный вниманием товарища.

А Тимка говорил, будто ничего не замечая:

— Андрюшка, пойдем к ребятам! Унывают некоторые, надо подбодрить.

И они шли подбадривать.

## 9

Комсомольский эшелон шел на восток.

Сперва были только отдельные вагоны — ленинградские, ростовские, киевские, московские, харьковские. Потом из разных поездов и вагонов молодежь собрали в один эшелон. Появились начальник эшелона, старосты вагонов, затейники, редакторы стенных газет.

Все ждали Урала. Думали увидеть высокие горные хребты в снегу, как на картинках. Но с поезда горы показались невысокими и малоинтересными. Зато всем понравилась мысль, что сегодня перевалили рубеж между Европой и Азией.

— Ого, мы в другой части света! — кричали по вагонам. У окон всегда торчали любопытные. Каждую станцию внимательно рассматривали, записывали названия. Проводников замучили расспросами: где едем, что за степь, что за гора, какие здесь заводы, что за речку переехали.

Много говорили о Дальнем Востоке. Таежная сторона, опасная граница, край приамурских партизан и героической ОКДВА[1],— больше никто ничего не знал. Но ехали все с большой уверенностью, как едут в гости к друзьям.

Однако оставленное дома еще наполняло мысли, особенно вечерами в полумраке плохо освещенных вагонов, и ночью, когда не спалось. То и дело слышались невзначай оброненные слова: «А ребята сегодня, наверное, в кино пошли...», «Интересно, сдал ли Петька зачет», «Кого-то теперь форвардом поставят», «Глядите, снег, а у нас уже тепло... весна...»

Встречные поезда увозили сотни открыток и писем — в Ленинград, в Одессу, в Запорожье, в Москву, в Петрозаводск, в Баку, в Минск, в города, деревни, станицы, поселки.

Андрей Круглов на каждой станции бегал к окошечку телеграфа и торопливой рукой записывал на бланке слова, адресованные: «Ростов, до востребования, Дине Ярцевой...»

Держались в эшелоне группами — по городам, по месту мобилизации. В каждой группе были свои законы, свои привычки, свои развлечения.

Но уже завязывались новые знакомства, новые скороспелые дорожные дружбы, происходили неожиданные встречи.

Так встретились Коля Платт из Ленинграда и черноморский водолаз Епифанов. Они лежали на смежных полках, наверху, разделенные перегородкой. Было жарко, оба намяли бока и не могли уснуть. Перестилая постель поудобнее, Епифанов заглянул через перегородку — и оба одновременно вскрикнули:

— Колька!

— Алеша!

Они познакомились несколько лет назад в Балаклаве. Епифанов учился в водолазной школе, а Коля Платт приехал в дом отдыха. Они встретились в море, далеко от берега,— два пловца, влюбленных в воду. Потом много раз плавали вместе, ходили вечерами по набережной, разговаривали с той искренностью и доверием, что возникают между случайными знакомыми, которым вскоре предстоит расстаться навсегда.

И вот теперь они соединились надолго.

— Ну, как дела, браток?

[1] Особая Краснознаменная Дальневосточная армия.

Коля Платт был человек замкнутый и мнительный. Ребята в эшелоне сторонились его, считая гордецом. Но перед Епифановым он не мог замыкаться — это была неожиданная удача, поддержка, радость. Он рассказал Епифанову все — про Лиденьку, про старуху, про свои сомнения и страхи: не забудет ли его Лиденька? Не выдадут ли ее замуж? Все эти парни около нее...

Епифанов слушал, положив подбородок на разделявшую их перегородку.

— Гробовое дело!— заключил он с участием.— Только ты, браток, не кисни. Все наладится. Утрясемся там, напишешь ей — приедет. Комсомолка—должна понимать. Старуха тоже ведь не бог весть сколько проживет.

— Я ей смерти не желаю,— с дрожью в голосе сказал Коля,— но она из упрямства еще пять лет проскрипит, вот увидишь...

— Гробовое дело!— подтвердил Епифанов.

И Коле Платту стало легче.

Катя Ставрова скоро сделалась связующим звеном между всеми группами. Ей хотелось, чтобы ребята не скучали, не ссорились, не вспоминали об оставленных друзьях, подругах, семьях. Она затевала игры, оркестры, чтения. И зорко следила, чтобы никто не разлагался,— преследовала водку и карты.

На станции Тюмень группа ленинградцев бегала в буфет пить водку. Один из них пытался потом залезть в вагон москвичей.

Едва тронулся поезд, Катя предложила взять ленинградцев на буксир и отправилась делегатом. Ленинградцы оказались славными ребятами. Катю встретили приветливо и даже изысканно, но, когда она рассказала о цели своего посещения, поднялся крик:

— Что? На буксир?.. Ленинградцев на буксир? Девочка, возьми на буксир свою маму!

Катя хотела рассердиться, но ленинградцы угостили ее мармеладом, который показался ей вкусней московского, хотя был куплен в Москве на вокзале. И было решено заключить договор на соревнование.

Пока писали договор, Катя поглядывала вверх — на верхней полке из-за подмятой подушки торчали светлые вихры волос и туго обтянутое рубахой плечо, да свешивалась с полки откинутая рука, покачиваясь вместе с вагоном.

Взгляд Кати задержался на руке. Катя любила и понимала человеческие руки. Вот у мужа очень ловкие и

аккуратные руки: они искусно режут хлеб, колбасу, сало; легкий жирок приглушает линии костей. Катя ненавидела их за жирок, за ловкость; ей всегда чудилось, что они обманывают, обвешивают покупателей. А у Ирины большие смелые руки, с четкими выпуклостями, с широкими и сильными ногтями. Таким рукам можно доверять. А сколько рук мелькало ежедневно у прилавка! Катя различала руки честные, и руки цепкие, жадные, и руки ленивые, холеные, и вороватые, и трусливые, и руки трудовые, усталые, которым хотелось выдать побольше и получше.

Рука парня, спавшего наверху, была хорошей, честной рукой,— большая, костистая, с гибкими пальцами и обломанными ногтями. Рука беспомощно болталась вместе с вагоном, но в ней угадывалась сила.

— А как насчет водки?— спросила Катя, когда договор заканчивали.

Парень наверху подтянул руку, перевернулся и свесил вниз заспанное, с отпечатком подушки на щеке, обветренно-розовое лицо.

— Разрешите представиться — Валентин Бессонов,— сказал он чуть хриплым спросонок голосом.— Это вам нужна водка?

Катя расхохоталась безудержно, ленинградцы смущенно улыбались.

— Дайте в долг полбутылочки,— сказала Катя.

Но Валька почуял подвох.

— Ишь ты какая хитрая — в чужой вагон за водкой пришла. А в стенгазету не хотите?

Но Катя уже признала в нем того самого парня, который в Тюмени пытался залезть в вагон москвичей. Она не выдала его и с улыбкой рассказала о буксире и договоре.

— А мы думали москвичей на буксире тянуть,— сказал Бессонов заносчиво.

— Я это видела сегодня утром,— тотчас же дерзко ответила Катя.

Бессонов покраснел и молча улегся, но сверху посматривал на Катю с доброжелательным любопытством.

Уходя, Катя оглянулась,— парень смотрел ей вслед. Она показала ему язык и со смехом выбежала из вагона.

Андрей Круглов, приютившись за столиком у окна, писал письмо. Четыре исписанных листка лежали рядом.

— Все пишешь?— спросила Катя с удивлением. Она не понимала, что можно писать в таких длинных письмах.

— А разве тебе некому писать?— неохотно отрываясь от письма, ответил Круглов. В его больших глазах еще блестели нежность и волнение.

Катя дернула головой и пошла дальше. Она мельком вспомнила мужа, но тотчас отогнала воспоминание. Нет, жизнь должна быть совсем новой, с новыми людьми, с новыми чувствами.

## 10

Комсомольский эшелон пересекал Сибирь. Весна чувствовалась и здесь, но весна самая ранняя, начальная, когда первые жаркие лучи солнца еще только тронули зимний покров. Кое-где земля обнажилась, и белый пар колебался в воздухе. В лесах еще виднелись твердые спекшиеся сугробы.

Байкала ждали всю ночь. Наиболее догадливые задолго заняли места у окон. Возле самого полотна неслись им навстречу синие холодные воды Ангары. Мощная река не боялась морозов,— они были не в силах сковать ее.

Ждали «священного камня». Знатоки рассказывали, что в истоке Ангары есть большая скала, выдающаяся над водою. Если бы скала упала, воды Байкала, ринувшись в русло Ангары, затопили бы все окрестности, включая Иркутск. Камень рисовался воображению внушительным и суровым, как страж. Но многие даже не разглядели его: страж спрятался под воду.

А потом начался Байкал.

Огромное ледяное поле простиралось за пределы видимости. Синие трещины бороздили тяжелый лед по всем направлениям. Говорили, что, когда лед трескается, над озером стоит гул, напоминающий канонаду.

Поезд скользил вдоль извилистого берега, осторожно ныряя в бесконечные тоннели. Ребята начали считать тоннели, но скоро сбились. Говорили, что их сорок, некоторые уверяли, что больше. Над самым полотном нависали скалистые обрывы, изредка расступаясь и мимолетно открывая глазу чудесные ложбины с горными ручьями, с полускрытыми густой хвоей домишками рыбаков.

На станции Слюдянка бросились покупать омулей. Рыба как рыба, но даже самым избалованным рыбой волжским и прикаспийским комсомольцам омули показались исключительно вкусными.

Во всем эшелоне шли разговоры о Сибири, о Байкале, о том, что ждет впереди. Какие такие сопки? Почему соп-

ки, а не горы? Почему тайга, а не лес? Правда ли, что Амур три километра в ширину,— значит, с берега на берег почти не видно?

Коля Платт спустился с полки и неожиданно для всех стал рассказывать о Дальнем Востоке. У него были с собою книжки и статьи, он изучал их всю дорогу, не желая приехать на новое место «невооруженным».

Все жители вагона собрались вокруг Коли Платта.

Известие перекинулось в другие вагоны: «У ленинградцев свой профессор по Дальнему Востоку».

А тут у Клавы Мельниковой объявилась книжка Арсеньева «Дерсу Узала». Книжка была о тайге, о следопыте-охотнике, о буреломах, о тиграх, о звериных тропах.

Книжка пошла по рукам. Организовалась запись на очередь. Читать полагалось не больше четырех часов. «Читай быстрее,— говорили они очередному читателю,— заберись наверх и шпарь до последней точки».

Но в книгах не было основного — сегодняшнего Дальнего Востока. А Дальний Восток ощущался все сильнее. Их перегоняли скорые товарные составы, нагруженные автомобилями, тракторами и другими машинами в брезентовых чехлах. Составы шли курьерской скоростью, их вели мощные паровозы и отличные машинисты, их пропускали на станциях в первую очередь, беспрекословно освобождая пути. Комсомольский эшелон тоже перегонял другие поезда, до отказа заполненные народом. Успевали на станциях перекинуться словечком. «Куда?»—«На Дальний Восток. А вы?»—«Туда же. Вы кто?»—«Комсомольцы. А вы?»—«А мы вербованные».

Дни проходили за днями. Уже десять дней шел комсомольский эшелон на Восток,— казалось, конца не будет путешествию. Все такие же поля, горы, леса, реки мелькали за окнами.

— Знали, что страна большая,— говорили ребята,— но все-таки не представляли себе, что такая большая.

Особые любители путешествий собирались, кончив дело на Востоке, на обратном пути осесть где-нибудь на станции с романтическим названием «Тайга», или «Ерофей Павлович», или «Яя»— поскитаться, поглядеть места.

Сергей Голицын скучал, неохотно участвуя в общей дорожной жизни. Он впервые ехал в поезде пассажиром. И его все раздражало: не нравились паровозы, не нравилась работа движенцев на чужих дорогах, не нравились станции.

Томясь бездельем, он пошел на паровоз познакомиться. Но машинист был неприветлив и сказал презрительно:

— У вас всякий дурак сможет. Ты у нас поезди.

И помощник как-то свысока, недоверчиво отнесся к Сергею, как будто даже не поверил, что Сергей действительно помощник машиниста.

Сергей разозлился и ушел, хотя мечтал пройти перегон-другой на паровозе. Он вернулся к себе обиженным и поссорился с Пашкой Матвеевым. Пашка Матвеев спал почти круглые сутки, а просыпаясь, приговаривал:

— Знатно! На два года отосплюсь. Там-то не до сна будет, а я с запасом.

Сергей от нечего делать тоже заснул, решив подождать смены бригад. Но потом побоялся, что и новая бригада не поверит ему.

Через два дня он не выдержал и снова пошел к паровозу. Это было уже на Забайкальской дороге. Машинист и помощник были комсомольцы и славные ребята.

Но когда он попросился на паровоз, машинист сказал твердо:

— Я бы с удовольствием. Только, сам знаешь, посторонним не разрешается.

«Посторонним...» От злости сдавило горло. Это он-то посторонний? Сопляки, формалисты, идиоты!

От скуки Сергей попробовал ухаживать за ивановской комсомолкой Соней Тарновской. Соня была очень мила и пригласила его в свой вагон. Но там выяснилось, что она по уши влюблена в поэта Гришу Исакова; Исаков, как говорили, был настоящий поэт, печатался в областной газете под собственной фамилией. А Соня даже не пыталась скрыть свою влюбленность. Сергею это показалось противным, он ушел, ничего не сказав, хлопая дверьми. И волей-неволей завалился спать.

— Давно бы так,— приоткрывая глаза, сказал Пашка,— потом будешь рад, что отоспался.

А Соня Тарновская даже не заметила ухода своего гостя. Гриша Исаков написал стихи. Он всегда читал свои стихи сперва одной Соне, потом Соне и Клаве, а затем кому угодно.

Но как уединиться в вагоне, где битком набито народу? Вышли в тамбур. Гриша прочитал стихи под лязг колес, потом они поцеловались, и Соня позвала Клаву. Клава выслушала, одобрила, сразу побежала обратно и крикнула на весь вагон:

— Хлопчики! Собирайтесь все вместе! Гриша прочитает стихи!

Гриша поломался для фасона,— шумно, мол, качает, будут мешать. Потом прочитал. Это были стихи о том, что представлялось им всем в еще неясном будущем, к которому они приближались:

...Мы будем строить город из бетона и стекла,
Амур-реку скуем, чтоб в берегах текла.
Мы принесем в задумчивость таежной тишины
Прекрасное содружество упорства и мечты.

Клава повторила мечтательно: «Прекрасное содружество упорства и мечты!»— и затихла, закинув руки над головой.

Сема Альтшулер вежливо обратился к ней:

— Ваш товарищ — настоящий поэт. Поверьте моему слову, у него будущее.

Клава охотно поддержала разговор:

— Он все видит и чувствует. Ведь для поэта главное — чувствовать. Правда?

Сема почему-то растерялся и не ответил. Он ругал себя потом весь день, но возможность разговориться была упущена, а теперь даже стыдно подойти к девушке,— что она подумала о нем? Что он неуч, невежда, дурак?

Вечером он слышал, как в сонной тишине вагона говорила Клава:

— Девушки, посмотрите, какая река. Что это за река? Широкая-широкая и быстрая-быстрая.

— Это Шилка, — вдруг откуда ни возьмись вынырнул Калюжный.

— Шилка? Спасибо,— сухо и как будто разочарованно сказала Клава.

Генька вернулся в свое отделение и сел в углу, насупившись.

— Девушки, а ведь Амур всех рек больше, правда? Я забыла точно, мы ведь учили в школе, он очень широкий и быстрый.

Генька Калюжный дернулся было, но Сема сидел, решительно загородив дорогу ногами.

— Подумайте, девушки, — продолжала Клава, — построим мы с вами новый город, и будет там новая жизнь... Какая она будет? Можете вы себе представить?

Резкий голос Тони сердито откликнулся:

— Да спи ты наконец, ведь поздно.

Клава громко вздохнула, потом весело сказала:

— Ну, спокойной ночи. Только ты погляди, какие мы места проезжаем, ведь мы никогда ничего подобного не видели.

Через полчаса, стараясь не шуметь, два друга, не сговариваясь, пошли по вагону. Клава спала, свернувшись калачиком, по-детски подперев щеку рукой.

Друзья вернулись на свои места и помолчали.

Наконец Геннадий потянулся так, что затрещала рубаха, выжидательно поглядел на Сему и сказал:

— Я, кажется, пришвартуюсь. Подходит?

Сема покраснел.

Снова помолчали.

— Нет, не подходит,— заговорил Сема взволнованно.— Геннадий, мы с тобой друзья много лет. И я тебя буду просить как друга: забудь думать. Ты мировой форвард, ты бесстрашный парень, но в этом — нет! У тебя грубая душа, грубые лапы, а девушка — мечта, цветок, восемнадцать лет... Геннадий, я тебя прошу, забудь думать!

Молчание было длительно и тягостно. Геннадий жевал губами, сопел и смотрел в сторону.

— Ладно,— сказал он вдруг равнодушно и лениво.— Не подошло — и точка. О чем разговор?

И оба, как по команде, стали укладываться спать.

А в соседнем отделении среди спящих подруг бодрствовала Тоня. Она не умела мечтать вслух, но тем ярче и необычайней разгорались ее мечты наедине с самой собою, когда ни один взгляд не мог подсмотреть ее горящих щек, ее слез, ее тяжелого дыхания.

Новая жизнь!

Она впервые увидела жизнь из смрадного полумрака своего детства. Она знала, что жизнь уже стала новой для нее. Но ей рисовались тесные, смрадные углы Лондона, Шанхая, Берлина, Рио-де-Жанейро, Калькутты... И она действовала в мечтах. Ее руки крошили мрачные трущобы, из сырых подвалов выбегали на солнце рахитичные дети, заводили песню женщины: «Полянка, полянка...» Что поют индусские женщины?.. Китаянки носят детей на спине. У них искривляется позвоночник... Хочется ли им петь?..

Она взглянула на улыбающуюся во сне Соню, на детское лицо Клавы. Подруги раздражали ее. Как они беспечны! Как беспечны! И Тоня лежала, не умея заснуть, тяжело дыша, и снова, снова ее сильные руки крошили и взрывали мрачные, смрадные углы...

Вот она — пачка телеграмм:

«6/IV. Москвы. Всеми мыслями тобой любимая».

«7/IV. Вятки. Тоскую мечтаю встрече».

«8/IV. Свердловска. Не дождусь видеть снова единственная».

Дина перебирала телеграммы, раскладывала по числам, искала по карте далекие города — Свердловск, Пермь, Тюмень, Омск... а потом уже и на карте не находила — Яя, Ерофей Павлович, Могоча... Ерофей Павлович — как странно! И странно, что именно из Ерофея Павловича пришла самая лучшая: «Чувствую твою близость возлюбленная для любви нет расстояния...» Она покраснела, прочитав ее в первый раз, и выбежала из темной комнаты телеграфа, не зная, куда деть себя. Она тоже почувствовала его близость, ощущаемую даже на расстоянии... Но как странно — Ерофей Павлович! Или Павло́вич! Где это? И кто был этот Ерофей? Седой, наверное, с инеем на бороде, казак... или партизан?

И вот первое письмо.

Письмо хуже, чем телеграммы. В нем не хватает единства, всепоглощающего чувства... Нет, в нем тоже много любви, и тоски, и мечтаний. Но он как будто стеснялся. Телеграммы, читанные столькими людьми, были обнаженнее, а в письме он словно боялся чужого глаза. Зачем бы иначе он писал: «Но ты не думай, что я унываю. Я полон бодрости. Вера в тебя прибавляет сил. Я буду много работать, я оправдаю доверие комсомола, пославшего меня в ДВК...»

Как в газете: «Оправдаю доверие комсомола...» При чем здесь доверие? Посылают комсомольцев потому, что беспартийные не хотят ехать, вот и все.

Дина забралась с ногами в кресло, с письмами и телеграммами Андрея на коленях. Что-то было в нем, чего она не улавливала. Незнакомое, чужое... «Оправдаю доверие комсомола...» Ограниченность? Нет, нет, возражала она себе самой, он красивый, умный, необыкновенный... Это большое счастье! И она перечитывала первую и третью страницы письма, сознательно избегая смотреть на вторую, где были газетные слова. Ее волновали эти первая и третья страницы — «каждый удар моего сердца для тебя, моя возлюбленная». Так ей еще никто не писал.

Она протянула руку за ящичком, где в беспорядке лежали старые письма. «Дорогая Дина...», «Ты знаешь,

как я тебя люблю, зачем же ты играешь мною...», «Остаюсь твой любящий Коля...»

Непонятно, Коля был инженером, Савин — член коллегии защитников, Виталий — экономист, а вот Андрей — комсомолец, монтер — значит, рабочий. Жена рабочего... Как забавно! Так бывает у Джека Лондона — влюбилась и поехала с ним на Клондайк или на ранчо...

Но ведь это десятки тысяч километров! Там, говорят, морозы, бураны, ветер. Отморозить пальцы. Ничего не заметил, а нос оказался отмороженным, потом всю жизнь будет как слива...

И зачем это Дальний Восток?

А если не ехать к нему, что же делать? Опять служба, флирт, театры, кино, записочки... Разогнать всех? Но как же одной? Два года...

Стук.

Дина торопливо засунула телеграмму в щель кресла. Сказала сухо:

— Войдите.

Она знала, кто это. Она неприязненно смотрела в молодое славное лицо инженера Костько. Она почти разозлилась — не на него, а на себя, увидев цветы в его руке.

— Сирень — еще парниковая...

Это он сказал. Но ведь это ее, ее собственные слова в тот день... Пять душистых ветвей легли на ее колени. Он жадно смотрел, ожидая взгляда, или улыбки, или благодарного слова. Пять ветвей... Она купила тогда одну... Пятью пять — двадцать пять рублей... или подешевела?..

Дина не улыбнулась, не сказала спасибо. Она спросила сосредоточенно:

— Вы не знаете, где Ерофей Павлович?

Он не понял:

— Кто?

Она прикрикнула:

— Не «кто», а станция! — И вдруг вскочила, уронив на пол сирень, и заговорила почти шепотом, истерической скороговоркой:

— Я знаю, зачем вы ходите! Я знаю, что вам нужно! Уходите вон! Я люблю другого человека, я его не забуду, я ему не изменю, сколько бы ни продолжалась разлука... Вы все думаете, что вот, слава богу, человек уехал, и конец, она легкомысленная! А я вам говорю — идите вон, вы никогда ничего не добьетесь!

Потом она плакала, уткнув лицо в кресло, глухо пахнущее нафталином, и ей было очень жаль себя. Инженер

Костько стоял около нее на коленях, придавив цветы, гладил ее плечи и уверял, что он понимает, что ему ничего не нужно, что он еще больше ее уважает, что у нее расстроены нервы, о ней надо заботиться, и пусть она разрешит...

## 12

Комсомольский эшелон перерезал в длину всю Сибирь и мчался по необъятным просторам Дальневосточного края. Теперь Дальний Восток был уже осязаем — горные речки, скачущие по каменистым руслам вдоль железнодорожного полотна то с одной, то с другой стороны, темная, непроглядная тайга, пугающие мари,— попади туда ногой, сразу затянет коварная топь, округлые сопки, кажущиеся одна повторением другой... На сопках еще лежали снега.

На маленьком разъезде вдруг зазвучало по-новому конкретно понятие «граница». Высокая стройная старуха подошла к группе комсомольцев и спросила спокойным низким голосом:

— Однако на границе снова война?

Комсомольцы ничего не знали. Но Валька Бессонов вспомнил первое волнующее ощущение, когда в райкоме сказали: «Поедешь на Дальний Восток». Японцы. Он был не прочь показать японцам, что такое Валентин Бессонов.

— Однако, говорят, война будет,— сказала старуха рассудительно и с лаской оглядела обступившую ее молодежь.— У меня сынок на границе. Как был конфликт, в двух боях участвовал.

И спросила:

— А вы разве не в армию?

— Там уж как придется,— гордо и многозначительно ответил Валька.

— Сынок у меня там,— спокойно повторила старуха.— Иван Разводин. Три благодарности имеет от Красной Армии. Увидите — передайте поклон.

На следующих станциях жадно хватали все газеты — центральные, местные, краевые. Войны не было. Но в газетах ощущалась умная, деловая настороженность. Япония вела себя подозрительно, на КВЖД продолжались налеты и провокации, белые банды щупали границу.

— Что ж, может быть, и повоюем,— многозначительно повторял Валька, листая газеты. И ему уже виделась напористая атака конницы. И сам он скакал впереди, с

винтовкой наперевес, и стрелял на скаку одной рукой, как горцы в кинофильмах.

Сема Альтшулер и Генька Калюжный заявили, что прямо с поезда пойдут в штаб проситься в ОКДВА.

Лилька всплакнула от страха.

Коля Платт стал бледен и написал длинное письмо, в котором просил Лиденьку ни в коем случае не выезжать до получения от него телеграммы.

Катя Ставрова таинственно молчала, но ходила весь день с горящими глазами и с таким решительным видом, что было ясно: в случае чего оставить ее в стороне от событий никому не удастся.

К вечеру во всех вагонах только и разговору было что о войне. Писали заявления в адрес штаба ОКДВА, чтобы сразу подать их в Хабаровске. На станциях выходили героями, грудь колесом. Когда женщина, продававшая молоко, спросила: «Это вы что ж, в армию или как?»— Катя выскочила из-за спин парней и бойко крикнула:

— Будьте уверены, дома сидеть не будем!

Тем же вечером Андрей Круглов пошел по вагонам собирать партядро. Он насчитал в эшелоне восемнадцать членов и кандидатов партии, собрал их у себя, выставив соседей по купе.

— Может быть, я ошибаюсь,— сказал он,— но эти разговоры — вредные разговоры. Ребята увлеклись, на станциях делают важные лица, играют в героев. А результаты какие? Слухи среди населения.

Коммунисты пошли по вагонам. Читали газетные сообщения и доказывали, что войны нет. Разъясняли, что комсомольцы едут на строительство, а если будет война, кого надо — возьмут в ряды Красной Армии, остальные должны работать на своих местах.

Комсомольцы попрятали заявления, а вскоре и разговоры утихли. До Хабаровска оставались сутки езды.

На большой станции к эшелону вышел высокий человек в изящном пальто с блестящими роговыми пуговицами и в мягкой серой шляпе. У него было узкое бледное лицо с глубокой поперечной морщиной на лбу и странные руки — их бледная кожа покрыта извилистыми шрамами и на месте ногтей темнела красная бугристая кожа.

— Здравствуйте, товарищи комсомольцы,— сказал он громко, и в голосе его чувствовалась уверенность начальника.— Кто командует эшелоном?

Незнакомца повели к Андрею Круглову. Его провожала целая толпа любопытных.

— Помощник начальника строительства Гранатов,— назвал себя незнакомец.

Выяснилось, что комсомольцев уже ждут. Гранатов выехал им навстречу, чтобы в пути провести учет по профессиям.

Заместитель начальника строительства был первой реальностью неясного будущего. Его окружили и разглядывали. Темные шрамы на руках волновали воображение. Шляпа смущала. Но больше всего интересовало основное — куда поедут, что будут строить.

— Я сам ничего не знаю точно,— сказал Гранатов мягко,— еще ничего нет. Пустое место. Мы будем строить город и завод. На месте все узнаем.

Позднее Гранатов пошел по вагонам, и старосты помогали составлять списки. Тут же с радостной готовностью сколачивались первые бригады. Гранатов был вежлив и немногословен, комсомольцы робели перед ним и не решались расспрашивать.

Только Тоня со свойственной ей прямотой спросила:

— А вы сами, товарищ, дальневосточник?

Гранатов ответил с грустной усмешкой:

— Пожалуй, теперь уже дальневосточник.

Расспрашивать дальше никто не решался, но Гранатов сам присел на скамью. Катя неотрывно смотрела на его руки. Они были красивы по форме, тонки, коричневые шрамы отчетливо выделялись на белой коже.

— Я работал на КВЖД, — объяснил Гранатов. — Три года—достаточный срок, чтобы стать дальневосточником; особенно, если много пережил за три года, не правда ли?

— Вы были дипломатом?— спросила Катя и покраснела. Мысль о дипломате возникла из-за блестящих пуговиц и шляпы.

— Нет.

В его особой грустной усмешке было обаяние неизвестного. Кате уже рисовались необыкновенные приключения. Но Гранатов объяснил:

— Я инженер-строитель. Партия послала меня на КВЖД. Я работал там три года. В Харбине.

— Там ведь японцы,— сочувственно сказала Катя.

— Да... — медленно произнес Гранатов. — Коренное население — китайцы, хозяева — японцы, заплечных дел мастера — русские белогвардейцы. Когда попадешь в харбинскую контрразведку, не знаешь, где ты — в Японии или в белогвардейском застенке.

— Вы там были?— бледнея, спросила Тоня.

Он поднял свои израненные руки и снова грустно усмехнулся.

Комсомольцы придвинулись теснее и молчали. Большое трепетное уважение рождали в них эти бледные руки в шрамах и грустная усмешка — отзвук незабытых страданий.

— Срывали ногти,— тихо сказал Гранатов,— жгли руки каленым железом и выворачивали суставы. Били нагайками, завернув в мокрую простыню, чтобы не было следов...

— А на руках-то следы остались!— воскликнула Катя. На нее цыкнули. Она виновато оглянулась и прикусила язык.

— Требовали одно,— тихо продолжал Гранатов, строго взглянув на Катю,— они хотели от меня показаний, что советские служащие КВЖД занимаются коммунистической пропагандой. Четыре месяца они добивались этого всеми средствами. Эти четыре месяца стоят четырех лет...

Тоня вдруг рванулась вперед, схватила его искалеченную руку и прижалась к ней горячими губами.

Гранатов вздрогнул, легкая судорога прошла по его лицу.

Он отнял руку и погладил Тоню по голове.

— Все можно перенести,— сказал он скромно,— вы сами поступили бы так же.

Тоня низко склонила голову. Ей было стыдно перед комсомольцами, но они деликатно отвели глаза.

— А теперь,— сказал Гранатов весело,— я попросился на стройку.

Он поднялся и шутливо обнял всех, кого смогли охватить его руки.

— Будем работать! Будем строить! Будем дружить!

Тоня выбежала на площадку и глотала холодный ветер, прикрыв глаза и стиснув на груди руки. О, если бы ее послали туда, если бы ей дали счастье выдержать все пытки мира и выйти после них незапятнанной, с гордо поднятой головой! Она содрогнулась, представив себе мучения пыток и одиночества. Но она не побоялась бы их. Так закаляются борцы. Харбин, Токио, Калькутта, Рио-де-Жанейро... сколько еще борьбы!

— Вы простудитесь, девушка, — раздался над нею голос.

Гранатов прошел мимо нее, приятельски улыбаясь.

Хлопнула за ним вагонная дверь.

Тоня сжалась, как от удара. В его голосе звучала насмешка. Неужели он смеялся над нею?

Что ж, она еще ничем не заслужила права на его уважение. Тем хуже для нее!

И она с презрением покосилась на свои маленькие, простые, обыденные руки.

## 13

В дороге комсомольцы думали: приедем в Хабаровск — все определится. А тут возникла новая цель: надо добраться до строительной площадки. В Хабаровске никто ничего не мог объяснить. Уже существовала контора нового строительства, но строительства еще не было. Был сектор кадров, где измученные люди до ночи регистрировали, размещали, снабжали талонами прибывающих комсомольцев и инженеров. Были инженеры, которые околачивались в конторе и ворчали. Главный инженер Сергей Викентьевич исполнял обязанности коменданта общежития. Молодой инженер Федотов выдавал талоны в столовую и в баню. Существовал и начальник строительства, товарищ Вернер. Его удавалось видеть только мельком, — нервный, худой человек с холодными светлыми глазами и повелительным голосом. Он целыми днями пропадал в краевых организациях и на совещаниях. Дверь его кабинета охраняла секретарша — пожилая, сварливая, неразговорчивая, с длинным носом и недоверчивым взглядом. В первый же день знакомства комсомольцы окрестили ее «Амурским крокодилом».

Никто ничего толком не знал. На любой вопрос отвечали: «Надо спросить у Вернера». Говорили, что ехать на строительную площадку нельзя, так как ниже по Амуру еще стоит лед. И все-таки каждый день возникали слухи, что завтра посадка на пароходы. В общежитии, организованном наспех в дырявых бараках, не было воды, не было света; на ночь выдавали по жесткой норме свечи.

В городе была только одна хорошая улица — имени Карла Маркса. На ней и возле нее группировались все учреждения, магазины, кино, столовые. Улица упиралась одним концом в стадион, другим—в Парк культуры и отдыха, сползавший крутыми дорожками прямо к Амуру. Парк был еще закрыт, стадион тоже. В кино показывали фильм, который все уже видели. Оставался Амур. Необъятно широкий, взъерошенный плывущими льдинами. На него смотрели часами.

Днем комсомольцы подолгу болтались в крайкоме комсомола. Всем интересовались, спрашивали каждого комсомольца:

— Ты здешиий?

И получали ответы:

— Нет, из Усть-Камчатска.

— Из Виахту.

— Из Гродекова.

— Из Ольги.

— Из Тетюхе.

— Из Находки.

Где была Находка? И Тетюхе? И Виахту? И десятки других мест, откуда приезжали по делам озабоченные пареньки, говорившие о путине, об учебниках, о посевной, о передвижках, об оленьих питомниках, о жилищном кризисе и завозе товаров?

После каждого разговора Епифанов загорался желанием поехать в Тетюхе, или в Ногаево, или на Камчатку.

Коля Платт рассудительно сдерживал его:

— Человек нужен там, где нужна его профессия.

Комсомольцы томились бездельем. Им было стыдно, что им не о чем еще хлопотать.

Восемнадцать молодых коммунистов во главе с Андреем Кругловым пошли становиться на партийный учет. Там, куда ехали, партийной организации не было. Они должны были создать ее, так же как город, так же как завод, — как все.

— Вам надо попасть к товарищу Морозову, — сказал им секретарь, — его рекомендуют к вам на руководящую работу. Но он еще не освобожден здесь, и я не знаю, поймаете ли вы его. Сейчас он на крекингстрое, потом у него заседание, и вот его уже ждут из Охи, из Биробиджана, из Спасска...

Они решили ждать тоже. Товарищи из Охи, из Биробиджана, из Спасска косились на комсомольцев с недоброжелательством людей, всецело захваченных собственными неотложными делами.

Дважды в комнату заглядывали люди:

— Морозов здесь? Его ждут на заседание.

— Иван Сергеевич пришел?

Потом торопливо вошел плотный небритый человек в светлой кепке, с усталым лицом и внимательно-зоркими глазами. За ним шло несколько человек, на ходу выкладывая свои срочные дела. Вошедший оглядел группу комсомольцев и весело спросил:

— А это что за табунок?

Комсомольцы поняли, что перед ними Морозов. Секретарь докладывал ему, но Морозов, не дослушав, подошел к комсомольцам:

— Вы когда приехали? А кормят вас хорошо? В баню ходили? А Вернер все бегает? Беседовал с вами? Почему не беседовал?

Он скрылся в кабинете, и оттуда раздался его настойчивый голос, — он говорил по телефону:

— Ну да, митинг. Сразу же, на берегу. Надо же рассказать толково, что и как. И беседы на пароходе. Да пусть проводят сами! Ничего, что молоды, зато энергичны.

Он пригласил комсомольцев в кабинет. Товарищи из Охи, из Спасска, из Биробиджана сгрудились у двери. Снова кто-то звал:

— Иван Сергеевич! На заседание.

Морозов обещал сейчас всех принять, обещал сейчас прийти на заседание, прикрыл дверь. У него было усталое, озабоченное лицо, но глаза внимательно ощупывали, изучали комсомольцев, в них светилась неутомимость.

Комсомольцы ждали первых общих слов, но Морозов заговорил сразу об основном, уткнув жилистую руку в огромную карту, изрезанную голубыми линиями рек и коричнево-желтыми извилинами горных хребтов:

— Вот наш край.

Где-то на карте скрывались названия, уже связанные с вещами и людьми. Хабаровск, Оха, Биробиджан, Посьет, Ногаево... Эти точки терялись в необъятности края.

Но Морозов охватывал его целиком — хозяйским и любовным движением руки:

— Громадина! Все основные страны Европы, вместе взятые, могли бы уместиться на его территории. Англия, Франция, Германия, Испания, Италия, Польша... Япония уляжется восемь раз, Германия шесть раз... Вот его морская граница — восемнадцать тысяч километров. Ледовитый океан, Тихий океан... Тихий! — Он засмеялся и провел рукой по нежно-голубой плоскости океана. — Он горюч, этот океан. Он может вспыхнуть, как нефть!—И без всякого перехода спросил в упор:—Вы что-нибудь знаете о крае?

— Мало, — за всех ответил Круглов.

— Надо знать, — резко сказал Морозов и прошелся по кабинету, устало прикрывая глаза. Но когда он поднял

веки, его глаза совсем молодо блестели. Он протянул руку к ромбообразному коричнево-желтому полуострову:

— Камчатка. Изумительное место. Я там был, но мечтаю побывать еще всерьез, подольше, поскитаться с ружьем. Камчатка — край неразведанных богатств и действующих вулканов. Ученые готовятся к подъему на самый большой вулкан — Ключевскую сопку, чтобы спуститься в кратер. Представляете себе? В кратер действующего вулкана! Об этом мог бы писать Жюль Верн.

Он восторженно улыбался. Улыбку вытеснила новая мысль.

— В школах задние парты называли Камчаткой. А Камчатка — это несметное богатство! У ее берегов плавают миллионы. Мы ловим рыбу, крабов, китов. Вот бы вам поглядеть на ловлю китов! Я видел. Это самая увлекательная из всех охот. Убитого кита надувают воздухом и тянут на буксире к китобойному судну, как баржу... Мы усеем берега Камчатки заводами... Пока основной транспорт — собаки. Есть места, куда на собаках добираются месяцами. Но мы построим там дороги, мы ее победим, Камчатку. Она еще вся в будущем.

Он поднял руку выше:

— А вот наша Арктика... Чукотка, Колыма. Туда добираются только летом, пароходы идут с ледоколами, избегая подводных льдин. Там есть места, куда не ступала нога человека. Но там, где она ступала и несла с собою науку, — какое богатство! Колыма — это золото, золото, советский Клондайк. Мы развиваем там первоклассную золотую промышленность. И какое там золото! Герои Джека Лондона сошли бы с ума от золотой горячки.

Он лукаво улыбнулся:

— Романтика—хорошая вещь, правда? Я сам романтик. Но романтика большевиков соединяется с трезвым расчетом, с уменьем делать полезную работу. Вот это нам и нужно от вас, от молодежи. Ищите романтики, приключений хватит! Но и работайте, работайте как черти!

Бросив эту мысль мимоходом, он скользнул по карте к югу:

— Уссурийский край. Полутропическая флора и фауна. Тигры, изюбры. Таинственный корень женьшень — восточное лечебное средство. Мы широко добываем его и продаем за границу. И оленьи панты — тоже восточное лечебное средство. Теперь и панты у нас—целая промышленность, большие стада, культурная добыча, экспорт.

Вы читали Арсеньева? Если бы Арсеньев пошел сейчас по старым маршрутам, он сбился бы с пути, потому что все изменилось.

Он задумался. Все изменения, все будущее края перебирал он в своем перегруженном заботами мозгу.

— Да, — сказал он, подумав, — мы огромный и богатый край. Спросите, чего у нас нет? У нас есть все. — Его рука снова поднялась к карте и заметалась по ней, перескакивая с одного места на другое: — Вот Сучан, Артем — уголь, и какой уголь! Сахалин—уголь, нефть, рыба, пушнина, золото. Бурея — уголь, руда, золото. Амур — рыба, и какая рыба! Многочисленные притоки — белый уголь, электричество. Вы видали речки со скоростью течения до сорока километров в час?.. У нас нет только соли. С солью пока плохо. Но мы докопаемся и до соли. Мы еще не знаем своего края. Хотите цифры? Природные богатства наших недр исследованы примерно на шесть — восемь процентов. Мы топчем землю ногами, а чтó мы топчем? Какой клад лежит у нас под ногами?

Он провел рукой по лбу, и снова проступили в его лице озабоченность и усталость.

— У нас десятки геологических экспедиций разосланы во все концы. А нам нужны не десятки, а тысячи экспедиций. У нас стройка в десятках мест. А нам нужно строить не в десятках, а в тысячах мест. Людей, людей мало. Да что же вы стоите? — вскричал он, только сейчас заметив, что комсомольцы все еще стоят толпой посреди кабинета. — Садитесь, садитесь! — Он всех рассадил, а сам продолжал ходить взад и вперед, все время возвращаясь к раскинутой на стене карте.

— Хотите заглянуть в будущее? Это во многом мечта, но это будет! Вот — дорога. Вы по ней проехали. Жалкая полоска рельсов. Куда это годится? Краю дышать нечем с одной колеей! Рельсы удвоятся. И удвоятся скоро. Но этого мало. Вот здесь, — он схватил карандаш и с точностью, которая угадывалась по движению карандаша, провел изломанную черту от голубого рожка Байкала к океану, — вот здесь тайгой, районами вечной мерзлоты пойдет БАМ—Байкало-Амурская магистраль. Вместе с нею переродится тайга — вокруг нее так и пойдут в рост новые промышленные районы. Потому что, куда ни ткни, везде надо строить. Шутка сказать! Мы ищем золото, а находим попутно медь, уголь, цинк, железо. Мы ищем уголь, а находим попутно нефть, олово, мышьяк, золото... И все это надо развивать, добывать, обрабатывать... БАМ—это

путь в будущее края. А вот здесь, — он поставил на карте жирную красную точку, — вот здесь будем мы.

Он поманил к себе комсомольцев. Они окружили его. Красная точка на карте мерцала и волновала.

— Здесь нет ничего...—сказал он тихо и прищурился, будто вглядываясь в пустоту. — Вы! — с ударением воскликнул он.—Вы построите здесь город, заводы, жизнь... Вот здесь, — его рука с карандашом метнулась к карте и задержалась под зеленым крючком Кореи,—здесь когда-то царская Россия была побита, да так побита, что потеряла весь свой флот. Но Советская Россия никогда не была и не будет бита.

Он оторвал руку от места, где была побита царская Россия, и снова уткнул карандаш в красную мерцающую точку будущего города.

— Вы едете решать одну из важнейших задач обороны. И вы ее решите. А вместе с тем это одна из важнейших задач освоения края. Это новый центр, столица тайги. Это дружеская рука, протянутая Сахалину, Камчатке, Колыме, Николаевску...—Он помолчал. Сунул карандаш в карман. — Ну вот что, ребята. Вы — комсомольцы. Большевики. Надо понять и прочувствовать: работы столько, что вздохнуть некогда. Темпы самые напряженные. Не мы их придумали, их диктует международная обстановка... Условия будут поначалу тяжелые. Но край того стоит. Край богат и прекрасен, надо только освоить его. В каждой сопке золото — были бы силы его добывать. Да что золото!

Он шагнул вперед и взял Андрея Круглова за плечо.

— Что золото! — повторил он с пренебрежением, отпустил плечо Круглова, потрепал другого парня по руке, мимолетно обнял третьего, пощупал мускулы четвертого. — Что золото! — повторил он снова.—Люди у нас дороже золота. А без человечьей руки и золото, и нефть, и уголь — ничто.

Он неожиданно засмеялся, и веселые морщинки побежали по его лицу.

— Был у нас такой парень—Кирюша Попов. Послали его на Камчатку. Одного. Ворчал, чертыхался. Написал два слезных письма: рыбу не знаю, не справляюсь, культуры нет. Пробыл год, слезные письма писать перестал, все больше хвастался достижениями. Приехал в отпуск, опять закис: устал, говорит, переведите в Хабаровск или Владивосток. Мы его на два месяца в санаторий. Смотрю—через месяц является: «Ну его к черту, лунные ван-

ны принимать. Там пока путину завалят, потом не распутаешься». На самолет — и домой, на Камчатку. Вот уже второй год работает...

Нежность осветила его лицо, и все поняли, как близок и дорог ему Кирюша Попов.

— Вот и вам так надо. Мало создавать города—надо создавать людей. Большевиков, дальневосточников, энтузиастов, исследователей, горячих патриотов своего края.

Секретарь уже давно заглядывал в дверь.

— Ну вот и все. Понять надо. И полюбить. С вами тут договора позаключали. На год, на два. Чепуха! Что вы сделаете за год? Вы — большевики. Смотрите правде в глаза. И готовьте других. Надо стать дальневосточниками, надо осесть, притереться, полюбить. Вот ваша задача.

— А вы к нам скоро? — спросил Андрей.

Морозов засмеялся.

— Сами, сами, ребята, действуйте. Что, сил у вас мало? Не справитесь? Вы меня не ждите, вы сами молоды.

В дверь заглядывали ожидающие. Звонил телефон.

— Вы видите, мне еще тут дела расхлебать надо. Новый работник только завтра приедет... а впрочем, самолет — птица быстрая, соскучиться не успеете — догоню.

Андрей Круглов ушел из кабинета с ощущением, будто на его плече все еще лежала тяжелая и ласковая рука. Он пошел в столовую, и привычное шумное легкомыслие обедающих комсомольцев вдруг поразило его. Валька Бессонов на всю столовую требовал добавки. Катя швырялась хлебными шариками. Около Клавы Мельниковой царило возбуждение: после двухдневного знакомства парень из Усть-Камчатска сделал ей предложение. Клава отказала и была смущена: не подумал ли он, что она просто боится ехать в Усть-Камчатск?

Готовы ли они к тяжелым условиям борьбы? Как им сказать, что они не должны возвращаться домой ни через год, ни через два, что отныне их родина — незнакомый, суровый, необжитый край? Поймут ли они? Захватит ли их грандиозность задачи?

Андрей чувствовал тяжесть партийной ответственности за них всех перед человеком, который сказал ему: у нас людей меньше, чем золота.

Комсомольцы набросились на Круглова с вопросами: когда уедем, куда, что строить, как? Андрей вспомнил вопросы, которые хотел задать Морозову и не успел. Беседа была короче, сбивчивей, бестолковей, чем он ожи-

дал. Но именно в этой сбивчивости и внешней бестолковости беседы было то настоящее, что волновало Андрея. Морозов не сказал ничего конкретного о стройке. Он просто излил перед ними то, что чувствовал сам,—любовь к необжитому краю, тревогу, мечты, страстное желание, чтобы осели, притерлись, загорелись энтузиазмом люди... Он отмахнулся от договоров, как от пустой бумажки, не заботясь о впечатлении. И он был прав. Мысль заронена. И требование...

Андрей вдруг, впервые за день, с острой болью вспомнил Дину... А что, если Дина откажется приехать?

Остаток дня он ходил, отравленный сомнениями.

Поздно вечером Вернер собрал комсомольцев и сделал то, чего ждал Круглов от утренней беседы, — подробно и обстоятельно, с цифрами и сравнениями, рассказал о задачах строительства. Андрей задал все свои вопросы. Но, слушая и расспрашивая, поймал себя на том, что смотрит на все новыми, проницательными, жадными глазами того человека, который утром так и не сказал о стройке ничего конкретного.

## 14

Вниз по Амуру плыли льды и пароходы.

Таких льдов комсомольцы еще не видали. Целые острова двигались по воде, крутясь и бултыхаясь. Они были громоздки, тяжелы, неповоротливы, они лезли друг на друга со скрежетом и гулом, разбрасывая по мутной воде тысячи вертких льдинок. Они воздвигали сказочные горы поперек Амура, налезая на еще не тронувшиеся ледяные поля и с грохотом обрушиваясь на берега.

Пароходы шли медленно, будто спотыкаясь, сразу вслед за льдами.

Когда основная масса льда проходила, берега казались израненными. Серые ледяные глыбы стояли дыбом, держась одна за другую.

— Красиво! — говорили комсомольцы.

— Смотрите, смотрите, какая красота! — кричала Катя Ставрова.

Зрелище было не только красиво, — оно было сурово и страшно. Но об этом никто не стал говорить.

Отставшие льдины стукались о борт парохода. Иногда сверху, сквозь мутную воду, были видны очертания подводных льдин, — их острые края казались таранами.

— Ничего, доплывем, — голосом знатока уверял Епи-

фанов. Матросы заделывали пробоины, лениво ругаясь. Епифанов помогал им и рассказывал водолазные истории про раздавленные льдами, затонувшие и спасенные корабли.

Деревянный «Колумб» отстал. «Коминтерн» шел первым, нащупывая дорогу, и тянул за собою тяжелую перегруженную баржу.

У тихих селений и стойбищ подолгу стояли, так как впереди еще не тронулся лед. Весна и вода делали свое дело там, далеко впереди, где льды грохотали, трескаясь и налетая друг на друга.

На берег выходили нанайцы.

На них были расшитые меховые халаты. Комсомольцев интересовали их халаты, их черные, туго заплетенные косички и непонятный язык. Впрочем, нанайцы говорили и по-русски. Они кричали капитану:

— Твоя рано плыви!

Капитан отворачивался, — нанайцы были правы.

Товарищ Вернер ходил по капитанскому мостику с биноклем. Он был диктатором ледового похода завоевателей. Он совещался с капитаном, утверждал меню обедов и каждый вечер собирал короткие совещания коммунистов и комсомольских бригадиров. В кают-компании не хватало стульев, ребята усаживались на полу. Все с уважением смотрели на подтянутую фигуру и строгое лицо товарища Вернера.

— Дисциплина никуда не годится, — резко начинал Вернер, оглядывая всех по очереди холодными светлыми глазами. — Работа с людьми не ведется. Разговоры. Слухи. Беспорядок. Прошу объяснить, почему вы допускаете подобные безобразия?

Безобразий, собственно говоря, никаких не было. Несколько сотен молодых людей, веселых и любопытных, были собраны на тесном пароходе и плыли уже четвертый день среди суровой природы в незнакомые места. Их кормили плохо, потому что плыть полагалось двое суток и продукты были на исходе. Комсомольцы обращали мало внимания на скудный паек, но они ни за что не хотели тихо сидеть в общих каютах и тихо гулять по палубе—их тянуло на капитанский мостик, в машинное отделение, они хотели все рассмотреть и пощупать. И они хотели спрыгивать на берег на каждой стоянке, чтобы попробовать ногой талую землю незнакомого края, чтобы разглядеть вблизи нанайцев и перекинуться с ними словом. Они хотели удить рыбу и стрелять пролетающих птиц.

И они хотели шуметь, кричать, возиться, бегать, потому что энергия просилась наружу.

— Предупреждаю, — говорил Вернер, — за самовольный спуск на берег буду арестовывать. Я отвечаю за ваши буйные головы и буду поступать со всей строгостью.

Круглов смотрел на Вернера с восхищением. Вернер говорил коротко, его ударения были жестки, его глаза выражали сильную волю и самоуверенное спокойствие. Он немного рисовался строгостью, но Андрею нравилось и это.

— На красоту работает, — говорили комсомольцы.

После долгого безделья в пути и хабаровского томительного ожидания было приятно почувствовать себя в твердых, уверенных руках.

Но «безобразия» тем не менее продолжались.

Первыми подверглись наказанию Катя Ставрова, Костя Перепечко и Валька Бессонов, за дорогу совершенно прижившиеся среди москвичей. У Кости Перепечко было охотничье ружье. Он подстрелил коршуна прямо с борта, хотя стрелять с борта было запрещено категорически. И в то время как выстрел взбудоражил весь пароход, сам Перепечко, Катя и Валька с визгом и ревом побежали спускать лодку. Подстреленный коршун бился на волнах, его уносило течением. Матросы не давали лодку. Катя со слезами убеждала их, что коршун погибнет. Но тут подоспел Вернер.

— А ну-ка, смирно! — негромко, но властно сказал Вернер. — Это что за развлечение? Стрельба, слезы, беспорядок. Кто виноват?

Перепечко, Катя и Валька посмотрели друг на друга, и каждый сказал: «Я».

Еще не сдаваясь, Катя еле слышно добавила:

— Коршун тонет...

— Идите в мою каюту, быстренько! — скомандовал Вернер и сам пошел за комсомольцами.

В каюте было уютно и чисто, в открытое окно врывался холодный воздух. Вернер закрыл окно и оглядел притихших преступников.

— Давай ружье, — сказал он Косте.

Костя молча протянул ружье. Вернер разрядил его, сунул патроны в карман и повесил ружье на крючок.

— Посидите здесь и подумайте. Как хорошо! Передовые, столичные комсомольцы срывают дисциплину на корабле.

Он вышел и закрыл дверь на ключ.

Они просидели под арестом два часа.

В пароходной стенгазете появилась карикатура, где были изображены три героя. Гриша Исаков сделал под карикатурой подпись:

Ловили коршуна с пальбой и со слезами,
Но вместо коршуна попались сами.

К общему восторгу, в тот же день провинились инженеры. Инженеров на пароходе ехало около тридцати человек. Они занимали каюты первого класса и считали, что приказы Вернера для них необязательны. На каждой стоянке они вылезали на берег с удочками и ружьями. В первый же день инженер Федотов увлекся рыбной ловлей и чуть не отстал от парохода. Инженер Слепцов, щеголявший в новеньком охотничьем костюме, чуть не пристрелил домашнюю козу, приняв ее за дикую.

После приключения с козой Вернер издал приказ, запрещающий всем без исключения сходить на берег. И все-таки пять инженеров, в том числе главный инженер Сергей Викентьевич, сошли на очередной стоянке и уселись на берегу с удочками.

— Убрать сходни! — весело скомандовал Вернер.

Комсомольцы подпрыгивали от нетерпения и удовольствия.

Сходни убрали.

Инженеры хватились слишком поздно. Побросав удочки, они столпились на берегу, суетились и кричали. Комсомольцы выражали им сочувствие и поглядывали на Вернера. Вернер тотчас же приказал послать лодку, но отвезти инженеров не на пароход, а на баржу. Протесты и жалобы не помогли. Пять инженеров были водворены на баржу и просидели там до вечера.

Перед заходом солнца Вернер перевез инженеров на пароход и долго разговаривал с ними в каюте.

— Прошу меня извинить, но приказ есть приказ. Вы на глазах у тысячи комсомольцев. Будьте любезны подавать пример.

Эту основную мысль Вернер подкрепил хорошим ужином.

— Самодержец всероссийский! — возмущался потом Слепцов.

— Молодец! — говорил Сергей Викентьевич. Ему было смешно, что его наказали как мальчишку, но он любил и уважал решительных, властных людей и втайне завидовал Вернеру, потому что сам никогда не посмел

бы вот так, из-за пустяка, запереть на грязной барже солидных, уважаемых специалистов.

Поздно вечером состоялось очередное совещание в кают-компании. Капитан сообщил, что впереди крепкие льды, что река еще не вскрылась и придется к ночи стать на якорь, возможно на целые сутки.

— Хлеб на исходе, — сообщил Вернер. — На барже есть консервы, но их мало. Придется резко сократить паек. Надо мобилизовать людей. Каждый комсомолец должен проникнуться сознанием, что это первый экзамен. Впереди трудностей больше. Надо привыкать самим и приучать людей.

До ужина оставалось сорок минут. На ужин решили выдать по полбанки рыбных консервов на человека и хлеба по ломтю, — иначе не хватит до конца пути. Надо подготовить ребят к неприятному сюрпризу.

После совещания коммунисты и бригадиры разошлись по всему кораблю.

Андрей просто рассказал о совещании и положении с хлебом. Комсомольцы поняли с полуслова и сказали:

— Ну что ж, затянем ремешки.

Тоня произнесла целую речь. В том возбужденном состоянии духа, в каком она находилась всю дорогу, и особенно после встречи с Гранатовым, перебои с хлебом показались ей первой жертвой, которую она должна принести ради идеи. Она готова была голодать с радостью и хотела внушить ту же радость комсомольцам. Ее выслушали вежливо и холодно. Почему-то всем казалось, что Тоне легко агитировать, что она сама не голодна и вообще не может проголодаться так, как другие.

Помогла Клава:

— Герои, да вы приуныли! Подумаешь, два дня потерпеть. Кому будет невтерпеж, приходите, я вам свой ужин отдам, только бы не плакали.

За ужином выступил Пашка Матвеев.

— Ребята! — сказал он. — Самое лучшее средство против голода — сон. А нам вообще выспаться невредно — на площадке будет некогда. Поэтому предлагаю немедленно завалиться на койки и спать, сколько хватит терпения. Да здравствует сон!

Утром проснулись от шума. Недалеко от «Коминтерна» стоял на якоре второй пароход, и на этом пароходе раздавались выстрелы, крики и грохот якорных цепей. Пароход казался переполненным, — на всех палубах, на капитанском мостике, на трапах было черно от людей.

Какие-то фигурки копошились на носу, пытаясь вытащить якорь.

Это был «Колумб» со второй партией комсомольцев.

— На «Колумбе»! — кричал капитан в рупор.

Но с «Колумба» отвечали только нестройные крики.

Вернер оглядел свой актив:

— Кто поедет на «Колумб»?

Андрей Круглов выступил вперед:

— Я поеду.

Спустили лодку. С Андреем отправился Тимка Гребень.

— Помирать, так вместе, — шутил он, налегая на весла.

Никто не вышел их встречать. Они долго крутились вокруг парохода, не зная, где пристать и как закрепить конец. Зато на палубе их сразу окружила кольцом шумная толпа.

— Кто у вас старший? — растерявшись, спросил Круглов.

— Никто, — заносчиво ответили ему.

Ни капитана, ни матросов на палубе не было. Капитан заперся в своей каюте и отказался выйти, пока на пароходе хозяйничают «эти пираты». Тимка Гребень с трудом уговорил его открыть дверь.

Андрей Круглов остался лицом к лицу с молодыми «пиратами». «Пираты» были голодны и, главное, весело взбудоражены необычайностью своего положения.

Андрей легко определил вожаков: рослый парень с вялыми губами, которого звали Николка, и веселый веснушчатый парень, видимо совсем по-детски развлекавшийся происходившим.

Андрей начал разговор с побочных вопросов, подсказанных и тактическими соображениями и непосредственным юношеским любопытством:

— А зачем вы стреляли?

— А мы — в воздух... Мы капитана пугали...

— А зачем вы пытались поднять якорь?

— Дальше ехать надо! А чего стоять? Что нам здесь делать?

— А кто у вас поведет пароход?

— А хотя бы я — подумаешь, хитрость! — выскочил вперед все тот же веснушчатый паренек.

— Да ты разве умеешь?

— А что тут уметь! Вперед и вперед. Это не море, тут наука небольшая.

— Вот и видно, что ты большой капитан, — сказал Андрей насмешливо. — В море легче, чем на реке. Здесь фарватер знать надо, здесь мели, створы, сигналы, без карты не пройдешь. Здесь и капитаны садятся.

Веснушчатый паренек смутился, но за него заступились.

— Нам стоять тоже смысла нет! — закричал Николка.

— Мы со вчерашнего голодные! — кричали другие.

— Эх вы, комсомольцы! — крикнул Андрей, переходя в решительное наступление. — Пока в поезде ехали, все храбрые были. На войну собирались, все трудности нипочем. А как первая трудность — сдрейфили?

Андрей не осуждал ребят, — он осуждал себя и всю партгруппу, что они не подумали о политическом руководстве на втором корабле, не предусмотрели случившегося. А теперь, предоставленные самим себе, комсомольцы сгоряча натворили глупостей и взвинтили нервы, да так, что не скоро наведешь порядок. Он вспомнил слова Морозова. «Надо создавать людей». Наступил час проверки — сумеет ли Андрей переубедить, повести за собой людей.

Он готовился к схватке.

Но все разрешилось неожиданно просто.

— Ты нас не подкусывай! — закричал растрепанный черномазый парень в полосатой футболке, — мы любые трудности перенесем, трудностями нас не запугаешь!

— Здесь трудности ни при чем! — подхватил веснушчатый паренек. — Капитан — бюрократ, на ключ закрылся, как от чумных... Если бы с нами поговорили... Да если бы нам сказали, что это первая трудность, да мы бы и рта не раскрыли...

Андрей расхохотался. Смущенно засмеялись ребята.

— Так вы и не знали, что это и есть трудность, думали — просто нет хлеба?

— Ничего мы не думали, — буркнул красивый озорной парень и вдруг рассмеялся. — Мы жрать хотели, а с нами и поговорить некому. Разве это порядок? А трудности давай нам любые — не заплачем.

Николка отступил назад, спрятался за спинами товарищей.

Тимка Гребень остался на «Колумбе» негласным комиссаром, а Круглов с веснушчатым вождем «пиратов» отправился в лодке на «Коминтерн». Андрею было ясно, что хлеба и консервов надо непременно достать. Веснушчатого паренька звали Петей Голубенко, он год назад

кончил фабзавуч в Днепропетровске. Он объяснил заносчиво и виновато:

— Все начальство засело на «Коминтерне», а нас запихали, как сельдей в бочку, и бросили, никому до нас дела нет.

— Ты уж молчи, — добродушно сказал Андрей.

И Петя смолк.

На «Коминтерне» с продуктами было плохо, но запасы поделили поровну. На долю колумбовцев досталось семь хлебов и сто банок консервов.

Круглов и Голубенко возвращались на «Колумб» торжественно. Круглов слегка гордился тем, что Вернер уполномочил его остаться на «Колумбе» начальником, а Голубенко был преисполнен важности как хранитель продовольственного запаса.

— Кто здесь математики? — крикнул он, взойдя на родную палубу, где еще недавно верховодил «пиратами».

Математики нашлись.

— Трудность номер два! — кричал Голубенко во всеуслышание. — Разделить семь хлебов так, чтобы все были сыты.

— Иисус Христос! — шутили комсомольцы.

Добровольные повара сварили из консервов похлебку. И хлеба и похлебки было мало. Но комсомольцы угостили матросов и отправили делегацию к капитану. Делегация понесла миску похлебки, ломоть хлеба и самые искренние извинения. Комсомольцы просили капитана сменить гнев на милость.

Капитан поломался, съел похлебку и согласился.

После бурного и голодного дня молодежь рано улеглась и крепко спала.

Когда укрощенные «пираты» проснулись и вышли на палубу, старый «Колумб», победно взбивая воду старинным колесом, быстро шел вниз по течению. Он шел зигзагами, то вплотную приближаясь к берегу, то выходя на середину реки. Петя Голубенко присматривался к сложному фарватеру и радовался, что никто не вспоминает его вчерашних слов.

— Глядите в оба, — сказал подобревший капитан. — Как появится по левому борту деревушка — мы у цели.

Справа тянулись скалистые крутые склоны сопок, вплотную подступивших к воде. Берега были еще скованы ледяной оболочкой. Но на склонах сопок уже выделялись нежно-лиловые, веселые пятна. Когда пароход

приближался к берегу, удавалось разглядеть кусты, усыпанные цветами.

— Это багульник, — объясняли матросы. — Он сразу за снегом цветет.

Левый низкий берег постепенно сменялся холмами, подступившими у горизонта к далекому горному хребту. Весенний разлив затопил низменности, местами из воды торчали верхушки деревьев. Черная глухая тайга подходила к самой воде.

— Земля! — вдруг закричал Петя Голубенко, размахивая кепкой. По левому берегу, еще далеко впереди, виднелись неясные очертания деревушки.

Все бросились к левому борту.

Деревушка приближалась. На высоком песчаном берегу теснились черные рубленые домики с маленькими окнами. Из труб вились дымки. Было видно, как из домов выбегают люди.

— Земля! — кричал Петя Голубенко, крутя над головой кепку. Он чувствовал себя матросом, увидевшим с реи воображаемую Индию.

А Круглов чувствовал себя самим Христофором Колумбом, во главе взбунтовавшихся и укрощенных матросов открывающим новую землю. Так вот он, заветный берег, где «будет город заложен»! Подражая Вернеру, Круглов большими шагами прохаживался по капитанскому мостику и старался сохранить на лице выражение властного и сурового спокойствия.

Пароходы медленно разворачивались у берега, носом против течения.

Капитаны кричали: «Вперед! Малый назад! Малый вперед!»

Эхо терялось в тайге, за невзрачными домишками селения.

На берегу стояли люди. Они смотрели на шумное население пароходов без всякой радости. Рядом с ними, насторожив уши, стояли пушистые северные псы.

Пароходы остановились.

Матросы не торопясь налаживали сходни.

— Кобылину давай! — кричали они, покачиваясь в лодках. Коварная льдина затесалась между пароходами и берегом, она едва не перевернула лодки.

— Берегись! — кричали матросы, отталкивая льдину шестами.

Стоя у выхода, Андрей мысленно подгонял их: «Да скорее же, скорей!»

— На берег не сходить. Построиться цепью. Ждать моей команды! — в рупор командовал Вернер. Он построил комсомольцев в ряды. Он хотел сойти вместе с ними, но первым.

Андрей Круглов тоже построил своих комсомольцев и тоже хотел сойти первым. Он уже не мог сохранять на лице выражение властного и сурового спокойствия. Он забыл подражать Вернеру и Колумбу. В нескольких метрах от него была земля, и ему предстояло ступить на нее в числе завоевателей.

Вернер уже шагал по мосткам. Уже качались под ним гибкие доски. И он не давал команды.

Боясь опоздать, Круглов рванулся вперед, в три прыжка сбежал по качающимся сходням, спрыгнул на мокрый песок, высоко в воздух подкинул сорванную с головы ушанку и закричал срывающимся, мальчишеским голосом:

— Земля-а!

## 15

Песчаный берег истоптан, взрыхлен каблуками, завален чемоданами, корзинками, узлами.

Перепутав свои и чужие вещи, наэлектризованной толпой сгрудились на берегу комсомольцы. Куда ни погляди — везде молодые лица. И над ними, с высоты сложенных в кучу ящиков, — отчетливый, ясный, согретый возбуждением голос Вернера:

— Комсомольцы! Не каждому человеку дано сделать в жизни дело, остающееся в веках. Вам это счастье дано.

Местные жители, втягивая головы в коренастые плечи, настороженно вслушивались в новые слова. Пушистые псы недоверчиво принюхивались к запаху новых людей. Перечеркивая одним взмахом руки сегодняшний пейзаж, Вернер создавал на его месте город будущего:

— Комсомольцы! Комсомолки! Вы оденете в гранит обрывистые берега седого Амура! Вы зальете асфальтом широкие проспекты нового города! Вы построите завод, красоте и мощи которого позавидует любой завод мира! Вы молоды, вы энергичны, вы бесстрашны — обещайте же по-комсомольски, по-ударному перевыполнить правительственное задание и за два года построить цветущий город.

— Построим! — первою закричала Катя Ставрова. — Урр-ра!

— Комсомольцы и комсомолки! Сегодня начинается новая, замечательная страница истории построения социализма. Так начнем же ее ударным трудом, — за работу, товарищи! За работу!

Он засучил рукава и крикнул молодым, счастливым голосом:

— Бывшие красноармейцы, вперед!

Он послал их ставить палатки, чтобы к ночи обеспечить ночлег для строителей.

— Печники, столяры, плотники — налево!

Он поручил им оборудовать столовую.

— Повара, официанты, девушки — направо!

Он послал их получать продукты и посуду.

— Все остальные — на месте. Бригадиры ко мне. Наша ударная задача — до ночи разгрузить пароходы.

И началась работа.

Ух, до чего же застоялись без движения ноги! Как соскучились руки, как истомились мускулы без дела! Работа показалась такой желанной, заманчивой! Никакая тяжесть не была непосильной, и сходить по сходням шагом казалось невозможным — все делалось бегом, бегом, бегом. И нравилось все — и простая, грубая, подвижная работа, и то, что девушки готовят обед, и то, что рядом шумит и трется льдинами о берег суровый Амур, и то, что в тихое, сонное село комсомольцы ворвались шумными вестниками перемен.

Тут же выделялись организаторы. Незаметно для себя и других, оттеснив Вернера и Гранатова, стал командовать выгрузкой Геннадий Калюжный. Он работал когда-то грузчиком в Одесском порту. Для него было ясно, как организовать такую массовую и спешную работу. И так же само собой получилось, что помощником его сделался Сема Альтшулер. «Туда! Там! Вот так!» — бросал Генька, дополняя слова образными жестами, и Сема прекрасно понимал его.

Постепенно пустели трюмы.

И все плотнее заполнялся берег, и вырастали на нем горы всевозможных грузов. Чего-чего тут только не было! И станки, и мешки с мукой, с сахаром, и мешки с цементом, и бухты веревок, и ящики всех размеров, и несгораемые шкафы, и связки матрацев, и пишущие машинки, и унитазы.

Девушки дважды прибегали:

— Может быть, пообедаете?

— К черту! — кричали ребята. — Сперва докончим. На пустой желудок легче.

Уж темнело небо, предвещая вечер. Уж без удали, с усилием двигались ноги. И ощутительнее становилась тяжесть. И все острее чувствовался голод.

— Кон-ча-ай! — зычно крикнул Калюжный.

Последние ящики, последние мешки медленно проползали по сходням на спинах пригнувшихся, истомленных людей.

Сбросив последний ящик, Валька Бессонов с удивлением разглядывал растертые до крови ладони.

— Вот так раз! — бормотал он, морщась от боли и пытаясь смеяться.

Победно оглядывая заваленный грузами берег, Калюжный с видом знатока сказал подошедшему Вернеру:

— Таких грузчиков я не видал даже в Одессе!

После горячего и сытного обеда комсомольцы рассыпались по деревне. В домах разместились инженеры, но комсомольцы и не претендовали на комнаты. Сараи, бани, чердаки, амбары, сеновалы — все было приспособлено под жилье.

Сергей Викентьевич так и не решил, является ли он уже главным инженером строительства или должен пока выполнять обязанности коменданта общежития, и на всякий случай занялся выдачей матрацев. Матрацев не хватало.

За селом, на берегу Амура, в березовой роще, возник палаточный лагерь. Бывшие красноармейцы быстро справились с привычным делом. Теперь они на скорую руку мастерили топчаны. Среди них выделялся особым рвением Епифанов. Он никогда не имел дела с палатками и никогда не делал топчанов, но хитрости тут никакой не было, зато охоты — хоть отбавляй. Все сложилось именно так, как ему мечталось: из ничего надо было создать все. От начала до конца своими руками. Глазеть по сторонам было некогда, но, даже не глядя, он чувствовал за собой дремучую, неисхоженную тайгу, перед собою — просторный, плавный, почти как море, красивый Амур, а над собою — большое, свободное, ветром и весной дышащее небо.

Когда прибежал Коля Платт: «Дружище, пойдем, я занял для нас чудесный угол в бане», — Епифанов даже руками замахал:

— Что ты, что ты! Уйти отсюда? Да здесь санаторий!

Лесной воздух! Шум прибоя! Да я и палатку уже присмотрел — вот ту, крайнюю, под двумя березками. Весь Амур виден.

И Коле пришлось отказаться от бани.

Палатки быстро заполнялись. Хозяева спешили закрепить за собою облюбованное жилище. Петя Голубенко, сколотив группу земляков, первым повесил над входом дощечку с надписью «Днепропетровск». Через минуту Костя Перепечко прицепил напротив издалека заметную надпись «Москва», а через полчаса на всех палатках запестрели дощечки: «Киев», «Одесса», «Ленинград», «Сормово», «Вятка», «Ростов», «Калинин»...

Сема Альтшулер и Генька Калюжный отбились от земляков. Сема занял довольно чистый чердак, оставил Калюжного сторожить и побежал за ивановскими девушками. Девушки чистили котлы. Чердак их не соблазнял.

— Мы хотим в палатку. Обязательно в палатку!

Но Гриша Исаков поддержал Сему: в палатках холодно, да и все палатки заняты. Завтра поставим новые, тогда можно перебраться, а сегодня — на чердаке.

Клава подозрительно оглядела парней:

— А вы где будете?

И все девушки в один голос объявили: или все — на чердак, или все — в палатку. Ни Сема, ни Гриша не возражали. Они подождали, пока девушки кончат работу, и повели их на чердак.

Сема осторожно спросил Клаву:

— Вам не холодно на ветру?

— Нет! — возмущенно ответила Клава, пряча в рукава закоченевшие руки.

Устраиваться на чердаке было весело. Их немного напугал хозяин дома, мужчина неопределенных лет, длинный, с настороженным взглядом исподлобья и синим швом у виска. Он поднялся по лесенке, всех по очереди оглядел и вдруг, ни слова не сказав, ушел.

— Сердится... — прошептала Клава.

Но через несколько минут хозяин снова застучал сапогами по лестнице. Клава виновато прикусила язык и смирно отошла в сторонку. Она боялась, что он прогонит их с чердака. Но он потоптался у порога и сказал неожиданно застенчивым голосом:

— Я тюфячки могу дать. Для барышень...

Девушки готовы были отказаться: на полу так на полу, без нежностей. Они не барышни. Но Сема закричал:

— Тащите! Здóрово! Тащите!

Хозяин принес тюфяки. Он не уходил и все тем же настороженным взглядом наблюдал, как устраиваются комсомольцы. Девушки, притихнув, быстро улеглись, до подбородков натянув одеяла. Генька невозмутимо растянулся на полу. Сема растерянно вертелся по чердаку, не зная, как и о чем заговорить со странным человеком, и волнуясь оттого, что человек может обидеться. Нашелся Гриша Исаков. Он пододвинул хозяину чемодан, сел на краешек сам и сказал простецки:

— Садись, отец, закурим.

Неторопливо закурили. Хозяин, видимо, обрадовался приглашению, но молчал.

— Как звать? — спросил Гриша.

— Тарас.

— А по отчеству как?

Тот искоса поглядел, подумал и хрипловато сказал:

— Ильич.

Разговор не вязался. Но Гриша знал, что разговор уже зреет, что не зря пришел человек, что надо только нащупать заветную ниточку.

— Вы что же, Тарас Ильич, один живете?

И снова короткий, неохотный ответ:

— Один.

Грише все любопытнее казался этот нелюдимый и одинокий человек.

— Дом-то велик для одного?

— Да разве это мой дом! — живо воскликнул Тарас Ильич. — Я такого дома за две жизни не нажил бы.

Ниточка была нащупана. Гриша ждал. И Тарас Ильич действительно заговорил:

— В двадцать девятом году прошло у нас раскулачивание. А кулаков было полсела. Ну, раскулачили. И уж тогда меня сюда поселили. А мое место было даже не на чердаке, а вон в том сарайчике, с лошадьми рядом.

— Батраком были? — понимающе спросил Сема и подсел на чемодан с другой стороны.

Тарас Ильич пожал плечами.

— Зачем батраком? Батрак было для меня много. Я никто был. Ни человек, ни скотина. Тень. И есть человек, и нету.

Девушки вытянули из-под одеял головы.

Тарас Ильич горько улыбнулся.

— Так и было, барышни. Вам и не понять, вы таких сел не видали. Крепкое было село. Кулацкое гнездо. Хо-

зяин к хозяину — богачи, купцы. Которые покрупнее — по восемь домов имели. Детей учили в городском училище. Сыновей выводили в офицера, в купцы. Здесь народ жил богатеюще. Нечистое богатство, да скорое. В три года богатели.

Сема спросил деловито:

— А на чем богатели?

— Вот, вот, на чем — это вопрос, — подхватил Тарас Ильич. — На чем, это я досконально знаю. Вот слушайте. Первая статья — почтовая гоньба. Зимою гоняли почту по всему Амуру насквозь — от Хабаровска до Охотского моря. От почтового ведомства давались подряды с торгов. Допустим — восемь пар лошадей. Вот он берет подряд на семьсот пятьдесят рублей с пары. А у самого, скажем, четыре пары. Остальные четыре от бедноты берет. А ведь как делали! Идет к нему бедняк: «Степан Иванович, возьми почту гонять». — «Ладно. Согласен». — «А почем дашь, Степан Иванович?» — «Триста рублей». — «Степан Иванович, побойся бога! Тебе ведь семьсот пятьдесят платят». А Степан Иванович только посмеивается: «Чего ты в мой карман смотришь? Ступай на торги, может и тебе дадут. А я не при деньгах». Так и опутает.

— Четыреста пятьдесят чистых, — подсчитал Сема.

— Вот это первая статья. Вторая — торговля. Наш кулак — торговый кулак. Купцы. В марте месяце нарты снаряжает и на собаках — в стойбище к гольдам. Теперь их нанайцами зовут, а раньше говорили гольды. Скупают пушнину. Деньгами не платят, а все товарами. За бутылку водки по десять соболей брали. А потом, весною, нагрузят баркас и по Амуру вверх, на Сунгари или Сахалин. Через границу, китайцам продавали. Тоже доходная статья. А теперь — рыба. Рыбалки были от обчества, и в ход рыбы на рыбалке очередь, кому сеть запускать. Так у кулака сеть двести аршин, а у бедноты — двадцать пять. А кулак еще стоит над ним: скорей да скорей. Или взять — дрова. Дрова в зиму заготовляли для пароходов и складывали на берегу штабелями. Конечно, и беднота заготовляет, да где им с кулаком тягаться! Ведь как делалось? Подойдет к берегу пароход, хозяин выйдет к борту, кричит: «Почем дрова?» А наш кулачина и сам кричит: «А у тебя что есть?» Продавали больше на муку, на соль, на сахар. Ну, и начинают рядиться. Каждый хочет продать подороже и купить подешевле. Бедняку тут соваться нечего. Вот он и продает кулаку заранее, а уж тот зараз перепродаст с прибылью. Вот они — до-

ходные статьи. Была еще статья, или, проще сказать, — разбой.

— Разбой? — переспросил Гриша.

— Ох, что ж и делали! Особенно вокруг золота, так что ни год — разбой. Скажем, к осени возвращаются старатели. Пароходов ждут. Кулак их приютит, угощает, на постель кладет. А ночью стукнет — и золото себе. И везет в Благовещенск, китайцам продавать. Случалось, то же золото по четыре раза оборачивали. Продадут, подстерегут, угробят китайца, а золото снова продают. Купец китайца обхаживает, и китаец купца — кто кого обманет. Бывало, и купцов резали.

Тарас Ильич смолк. Вздохнул. Задвигался, будто собираясь уходить, но не ушел. Гриша Исаков смотрел на него с острым любопытством. Сколько зловещих и диких историй должен был знать этот угрюмый и странный человек! И кто он был?

Тарас Ильич вдруг засмеялся. Смех был невеселый, кудахтающий, и глаза не смеялись, а горели гневом.

— Алимур — не слыхали такого слова? — спросил Тарас Ильич и медленно повторил: — А-ли-мур. Игра такая. Тоже купеческая выдумка. Денег в народе мало. И вот придумали затею — талончики. Приедут, продают талончики — по двадцать копеек, по полтиннику, по рублю. А потом садятся на талончики в карты играть. Играют иногда суток двое подряд, пока талончики в одних или в двух руках не скопятся. В такой азарт входили, что по суткам не спали, не ели. А сыграют — один товары берет, а другие... Вот что такое «алимур».

Гриша взглянул на его руки. Худые, беспокойные, длинные руки. Сколько раз эти длинные пальцы, дрожа, перебирали проклятые талончики? А может быть, он стоял где-нибудь в углу, горящими глазами наблюдая игру, в которой не мог принять участия? «Тень». «И есть человек, и нету».

— А вы сами здешний?

— Нет, какой здешний! Черниговский.

— Из крестьян?

— Родился, конешно, в деревне. А потом в городе жил. Садовник я... был когда-то.

— Переселенец?

Тарас Ильич ответил не сразу, и голос его звучал глухо:

— Если правду говорить, переселенцем не назовешь. Ехал за решеткой, провожали со свечками. С Сахалина я,

с каторги. И оттуда переезд без почета был — в пургу, через Татарский пролив, ползком полз... а после в тайге, как зверь... Кору грыз...

Каторга... Комсомольцам рисовалась романтическая страшная история, и Тарас Ильич выступал в ней невинной жертвой, жертвой социальной несправедливости.

— А вы на каторгу за что попали? — звонким голосом в упор спросила Тоня.

— Подрядчика одного зарезал... ну и ограбил, конешно, — просто отвечал Тарас Ильич.

Сема и Гриша невольно отшатнулись, — уж очень прост и неожидан был ответ. А Клава даже глаза закрыла, — но не от страха, а потому, что ей было стыдно за Тараса Ильича и неловко, что она слышала его признание.

Тоня не мигая смотрела на Тараса Ильича с пытливым и суровым вниманием.

Сема как бы в раздумье сказал:

— Это уж не так хорошо — то, что вы сделали, а?

Тарас Ильич с какой-то жадной поспешностью обернулся к нему, увидел доброжелательное, спокойное лицо Семы, вздохнул и сказал:

— Да уж что говорить... хорошего тут, конешно, мало.

В тишине раздавался лишь мерный храп Геннадия.

— Ничего, — сказал Гриша, дотрагиваясь до его руки, — ничего, Тарас Ильич, дело ведь давнишнее. Мало ли что бывало.

— И сейчас вы на честном трудовом пути, — захлебываясь, подхватил Сема, — и никто не станет вас попрекать прошлым, и кто его знает в конце-то концов, стоила ли жизнь этого подрядчика хоть половины ваших страданий.

— Страдания наши не мерены, — откликнулся Тарас Ильич, — нет такого аршина, чтобы мерить... А подрядчик — бог с ним. На покойника клепать неохота. Да если бы не крайность, разве бы я пошел!.. А вот судите, что люди делали. И не от нужды делали! — Оживившись, он с тою же жадной поспешностью оглядел молодежь, все ли его слушают, и тотчас начал рассказывать:

— Вот взять хотя бы меня да этого Степана Ивановича, главного нашего богатея. Прибег я с каторги, — раздет, бос, голодный, без паспорта, как пес паршивый. Он меня взял к себе, накормил, под крышу пустил — благодетель. На паспорт не смотрит — только работай. И уж как я работал! — одному богу известно. И лес рублю, и

нарты гоняю, и с лошадьми, и рыбачу, и собак кормить, и коров доить, и сети чинить, и ямы выгребные чищу, и огород копаю — ну, все. А плата — вот только что от пристава спасал. Толстый такой. Ездил два раза в год — зимою с почтой, а летом на пароходе. Беглых вылавливал. Так вот взятка приставу за беспаспортного — это и была моя цена. Да и не я один тут был. Местных батраков они не любили брать, ловили беглых. Даровщина!

Тарас Ильич закурил, помолчал, снова заговорил:

— И только одна у нас мечта была: денег собрать, уехать, вырваться. С деньгами и паспорт достанешь и откупиться можно. А деньги откуда взять? Только один путь — золото. А золото тоже найти надо. Однако по горным речкам, бывало, находили. Нападешь на место — тайком работаешь, следы запутываешь и крупинки эти готов в землю на сажень зарыть, только бы хозяину не попались. Но Степан Иванович носом чуял. И не спрашивает, и не мешает, выслеживает тебя, как зайца. По следу ходит. В кустах хоронится. Даст намыть, что найдешь, — и тут же, в тайге, топором... Если и найдут потом тело — кому забота о каторжнике, о беглом?

Гриша сидел, охваченный возбуждением. Вставала перед глазами неведомая горная речка, крадущаяся за кустами тень, блеск топора, слабый вскрик и медленно сползающее в воду окровавленное тело... Из картины рождались стихи. Он слышал будто со стороны возникшую строку: «За камешек желтый, за блеск золотой...»

— Это тоже доходная статья? — спросил Сема.

Тарас Ильич, не отвечая, поднял палец и тихонько сказал:

— Уснули.

Девушки слушали, слушали и неожиданно для себя заснули. Только Тоня еще не спала и все так же прямо, не мигая, смотрела на Тараса Ильича, — он интересовал ее и навевал большие, волнующие мысли о людях, проживших несчастно целые жизни, о людях, не сумевших занять свое место в строю. Как страшно одиночество таких людей!

— Мы барышням мешаем. Поздно, — сказал Тарас Ильич, поднимаясь.

Сема вышел за ним на лестницу.

— Подождите, — сказал он и потянул Тараса Ильича за рукав, приглашая сесть на ступеньку. — Это очень интересно, что вы говорили, и если только вы не торо-

питесь спать, потому что сам я все равно сейчас не засну...

Было уже совсем темно. Ветер, пролетая над палатками, сараями и чердаками, уносил с собой звуки разноголосого храпа.

Гриша Исаков сидел на полу, опираясь локтем на чемодан, и писал стихи в неровном свете оплывающей свечки. Стихи шли медленно, спотыкаясь. Образы были ярче и необыкновеннее слов.

Рокотала в камнях река, тихо покачивались вековые сосны, громоздились скалы. Оборванный и тощий человек, озираясь, склонился к воде. А сзади, не дыша, полз с топором другой...

И хлынула кровь, и мучителен хрип,
И холодом скрючило пальцы...

Слова бледнее, чем образ. Где найти упругие, сильные, бьющие в цель слова? Как у Багрицкого: «Чтоб брызгами вдрызг разлететься».

Гриша уже пережил период безудержного наивного стихотворчества, когда радовало сочетание любых слов. Он познал увлекательный и мучительный процесс отбора, поисков нужного слова. Он любил и знал наизусть многих поэтов. Он знал, в чем их сила. Он знал, чего надо добиваться. Но слова не слушались. Они ломали строку, лезли в стороны, действовали вразнобой... Ничего! Он был упорен. Стихи горели в его мозгу. Он не хотел и не мог отказаться от мышления стихами. Значит, надо учиться, надо преодолевать, побеждать разбегающиеся непокорные слова.

И он, отгоняя дремоту, шептал, записывал, перечеркивал, снова писал и радовался, как другу, каждой отчетливой, энергичной строке.

Соня повернулась, вздохнула, ее веки дрогнули, но не открылись. Гриша оторвался от стихов. Она казалась ему прекраснее всех красавиц мира. Он любил ее. Неужели она не почувствует его взгляда? Ведь она тоже любит!

Она открыла глаза сразу, будто откликаясь на зов.

— Гриша, — еще сонно пробормотала она. — Ты не спишь?

Он смотрел на нее влажными от нежности глазами.

— Люблю тебя, — еле слышно сказал он. Соня не столько расслышала, сколько поняла по движениям губ.

И ответила одними губами:

— И я.

Они смотрели друг на друга, счастливые своим безмолвным разговором.

За дверью пылко разглагольствовал Сема:

— Что такое преступность? Это социальное зло. Вас отравила социальная среда, — вы понимаете, что я хочу сказать?

— Как интересно, что мы сюда приехали, — сказала Соня.

Гриша кивнул головой и прошептал:

— Спи! Ты устала. Завтра рано вставать...

## 16

Утро выдалось чудесное. Вслед последним уходящим на север льдинам пахнуло с юга весенним теплом. Сверкнула серебром освобожденная амурская ширь. И сразу поднялось от земли живое, трепетное дыхание пробуждающейся жизни, потянуло из тайги лесными неведомыми запахами, в чистом воздухе были видны дрожащие испарения.

Сергей Голицын проснулся с трудом. После вчерашней непривычной работы болело все тело. Проснувшись, он не сразу сообразил, где он. Он до сих пор еще не свыкся с переменой жизни, и казалось ему, что стоит крепко заснуть и вдруг проснуться — все окажется по-старому, и глаза увидят знакомые обои, семейные фотографии и крестиками вышитый рушник.

Но глаза увидели холстину палатки, тесно сдвинутые топчаны — и за порогом палатки... да что же это такое? Он вскочил и выбежал на воздух. Сверкающая красота природы потрясла его. Все как будто изменилось за одну ночь. Дурманящие весенние запахи ударили в голову.

— Черт возьми! — вслух произнес Сергей. И подумал: «Надо написать отцу».

Он побежал на реку мыться. Было свежо, но Сергей скинул рубаху и ожесточенно обтирался холодной водой, ухая от наслаждения.

— Хорошо! — раздался над ним голос.

Он обернулся и увидел Вернера. Вернер внимательно разглядывал его ноги в крепких сапогах. Сергей тоже посмотрел на свои ноги, но не нашел в них ничего примечательного.

— Как вас зовут? — спросил Вернер и внимательно посмотрел Сергею в лицо.

— Голицын. Помощник машиниста.

Вернер остался доволен ответом. Спросил очень серьезно:

— Значит, на вас можно положиться?

Сергей подтянулся, ответил возможно внушительней:

— На все сто.

И так же, как до сих пор он чувствовал себя неуверенным, выбитым из колеи, так с этой минуты он поверил в свою решительность, смелость и безусловное мужество.

— Я вас назначаю начальником партии, — не задумываясь, решил Вернер. — В тайге заготовлен для стройки лес. Надо свалить его в речку Силинку и сплавить сюда, пользуясь высокой водой. Возьмите человек двадцать крепких ребят. Пойдете после завтрака. Подбирайте партию по сапогам.

— По сапогам?

— По сапогам, — подтвердил Вернер. — Пройдите по улице, кого увидите в сапогах, тех и берите.

Сергей торопливо оделся и побежал подбирать партию. Он с сожалением вспомнил, что у Пашки Матвеева нет сапог. Хорошо бы вместе! Полный гордости, Сергей небрежно сказал ему:

— Взять бы тебя, да ты без сапог.

Но Пашка отнесся с неожиданным равнодушием к предстоящей разлуке:

— Ничего. У меня и без сапог ноги скорые.

И побежал вперед к столовой. Сергей с возмущением заметил, как он с разбегу подкатился к Клаве Мельниковой. Вот она, старая дружба!

И тут он увидел Гришу Исакова в прекрасных болотных сапогах. Гриша шел в столовую вместе с Соней. Они не смели идти под руку, но шагали согласованным шагом, касаясь плечами. Сергей вспомнил свою дорожную обиду и не без злорадства крикнул:

— Товарищ поэт, постой-ка! Ты мне как раз и нужен.

— Я?

— Собственно говоря, твои сапоги, но вместе с тобою. — Он записал фамилию и велел после чая прийти на угол против церкви. И тут же отвернулся, заметив другого обладателя сапог.

Стоя у входа в столовую, он смотрел в ноги проходящим и быстро пополнял список.

Епифанов заинтересовался:

— А куда вы пойдете?

— В тайгу, сплавлять лес, — важно проронил Сергей,

как будто для него это было совсем привычное и хорошо знакомое занятие.

— Ух ты! Вот это я понимаю.

Епифанов покосился на свои щегольские желтые ботинки, потом махнул рукой и заявил:

— Где наша не пропадала! Пиши. Пойду с вами.

— Да ты без сапог. Нельзя.

— А на кой черт мне сапоги? — закричал Епифанов. — Я сам хорош. Наше дело водолазное, воды не боимся.

Через минуту он уже хвастался в столовой и уговаривал своего приятеля Колю Платта:

— Пойдем, браток! В тайге сейчас красота. А к воде нам не привыкать. Пойдем, жалеть будешь.

Но соблазнить Колю Платта ему не удалось.

Составив список и позавтракав, Сергей побежал в контору. «Амурский крокодил» вызвала местного жителя, который должен был идти проводником, и послала обоих к Гранатову. Гранатов выдал две палатки, хлеб, консервы, спички, табак и соль. Сергей выпросил еще несколько кружек, но чайника не нашлось. Проводник сказал, что возьмет свой.

Группа обладателей сапог и Епифанов в желтых ботинках уже поджидали на углу. Сергей распределил грузы на всех.

Увидав проводника, Гриша Исаков радостно вскрикнул:

— Тарас Ильич, и вы с нами!

Тарас Ильич сдержанно ответил:

— До места доведу — и все. Без меня вы и в месяц не найдете. — И взвалил на себя скатанную палатку, ловко привязав к ней охотничий, видавший виды чайник.

Соня провожала маленький отряд за деревню. Сергей мрачно поглядывал на нее. До чего глупо так влюбляться!

— Шла бы лучше домой, — сердито сказал он, — ноги промочишь.

— И в самом деле, мокро, — беззлобно подхватила Соня и стала прощаться с Гришей.

Оба отстали.

Отряд пошел не по речке, оставшейся где-то сбоку, а напрямик через тайгу, еле заметными тропами. В тайге местами еще лежал почерневший снег, но весна уже торжествовала, сочась томными, сладкими древесными запахами. И хотя спутавшиеся ветви деревьев были черны и голы, чувствовалось, что весна уже колдует над ними

и не сегодня-завтра все это воспрянет, распустится, расцветится весенними нежными красками.

Идти было тяжело. То и дело перелезали через вывороченные бурями деревья. Ноги вязли в болоте. Чавкала под сапогами вода. Ботинки Епифанова уже насквозь промокли, но Епифанов безмятежно шагал своей флотской развалочкой, восторженно втягивая в ноздри весенние запахи и поглядывая вокруг с жизнерадостным любопытством. В начале пути переговаривались, шутили. Потом устали, пошли молча.

На исходе третьего часа впереди мелькнул просвет. Еще сотня шагов — и показались штабеля бревен.

— Пришли, — сказал Тарас Ильич.

— При-шли-и! — заорал Сергей и побежал вперед.

Усталости как не бывало. Все побежали за Сергеем, один Тарас Ильич продолжал шагать неторопливой, размеренной походкой привычного к ходьбе человека. Комсомольцы бежали, перепрыгивая через бревна, обегая штабеля.

Снова они услыхали рокочущий шум воды, потом вдруг открылось глазам: в низких берегах, обмывая затопленные кусты, несется небольшая и бурная горная река. И весь правый берег, сколько видит глаз, в поваленных очищенных стволах.

Комсомольцы жадно пили вкусную студеную воду. Закусили хлебом, немного отдохнули. Сергею хотелось спросить Тараса Ильича, что надо делать, но самолюбие помешало, — как-никак он начальник партии, а Тарас Ильич был только проводник. Да и мудреного ничего нет.

— Вали в воду! — крикнул Сергей и со всей силой толкнул ближайшее бревно. Бревно подскочило и тяжело плюхнулось в воду, взметнув серебряные брызги. Всем понравилось. Один-другой, развлекаясь, схватились за бревна. И пошло. Не то работая, не то играя, комсомольцы наперегонки сталкивали в реку пахучие, верткие, скользкие стволы.

Тарас Ильич остался в стороне. Он растерянно улыбался. Казалось бы, он знал в этой работе все, что только можно знать. Он мог безошибочно сказать, какие мускулы будут после нее болеть. Он знал, в каких местах появятся на ладонях свежие мозоли. Он знал все возможные случаи, осложняющие работу: то зацепится корявое бревно, то рухнут разом несколько, то щепа занозит руку. Но он не знал, не догадывался, не мог даже предположить, что в этой работе есть радость, игра, увлечение...

«Ну, я пойду», — сказал он сам себе... и остался.

Комсомольцы забыли о нем. Только Епифанов азартно крикнул:

— Давай к нам, отец! Гляди, как пошло!

Непрерывно шлепались в воду бревна, воздух серебрился от брызг.

Тарас Ильич не ответил Епифанову. Какая-то глубокая обида за себя поднималась в нем при виде этого неожиданного веселого порыва молодежи.

Но молодежь не знала, как работать. Парни сталкивались, толпились в одном месте, мешали друг другу. Тарас Ильич оживился, вмешался, накричал на одного, убедил другого, расставил людей правильно.

— Вот так-то лучше, — сказал он Сергею.

— Ничего, научимся, — подмигивая, ответил Сергей.

И, быстро уловив сущность указаний, переставил комсомольцев по-своему, шире раздвинул фронт работы, — это не противоречило указаниям Тараса Ильича, но исходило от Сергея, от начальника, и потому казалось ему лучше.

Первый азарт увлечения давно прошел, но теперь уже появились навыки, организованность, соревнование. Многие считали сброшенные бревна, хвастаясь перед другими. Работали напористо и дружно.

Тарас Ильич бродил одинокий, — то станет помогать, с какою-то жадностью ловя улыбки и шутки молодежи, то вдруг отстранится ото всех и мрачно, исподлобья, поглядывает сухими горящими глазами.

Никто не замечал его. Но когда к вечеру выяснилось, что все проголодались и падают от усталости, — костер был разложен, консервные банки открыты, чайник кипел, и на сухом пригорке стояли палатки, устланные внутри сухими листьями и мхом.

— Ну и папаша! — восторгались ребята. — Вот это постарался! Вот это молодец!

— Ну ладно, чего там, — пробурчал Тарас Ильич, — я ж привычный...

За чаем Сергей завел с ним деловую беседу:

— Как думаешь, отец, сколько дней мы здесь провозимся?

Тарас Ильич полагал, что дней пять.

— Да больше пяти и нельзя. Ниже по реке еще участок заготовлен. Так там и торопиться не надо — до июля бери. А здесь через неделю-две вода спадет. Тогда жди осеннего паводка.

Он подумал и сказал:

— Чайник я вам оставлю. Вернетесь — отдадите.

— А вы бы остались с нами, Тарас Ильич, — сказал Гриша Исаков. — Вместе бы и ушли.

— Мне расчета нет, — помрачнев, сказал Тарас Ильич. — Я на стройку не нанятый. Чего же мне лезть?

Сергею было боязно оставаться здесь без опытного человека.

— Оставайся, отец, — мягко попросил он. — Мы тебя в бригаду запишем, заработаешь. Будешь у нас вроде инструктора.

Тарас Ильич не сказал ни да, ни нет, только заметил:

— У меня ведь тоже хозяйство страдает...

Гриша Исаков украдкой наблюдал его потускневшее лицо. Нет, не в хозяйстве дело. Какие-то другие, противоречивые чувства томили этого странного человека. И после вчерашней откровенной беседы сегодня он чуждается, молчит, настороженно приглядывается ко всему, и кажется, словно обидели его.

При свете дня лицо Тараса Ильича было серо, морщинисто. Рваный шов на виске выделялся бугристыми желваками синей кожи.

— Отметка — от топора? — осторожно спросил Гриша.

Тарас Ильич отмахнулся:

— Нет. От медведя.

Все заинтересовались:

— От медведя? Расскажите! Как от медведя?

— Да что же тут рассказывать. Обыкновенно как. Лапой. — Он оглядел обращенные к нему молодые лица, подобрел, сказал с удовольствием: — Это что. Вот старик один был, сейчас помер. Батурин. Так у него все лицо покорябано было. На тигра ходили — он, четыре охотника с ним и племянник. Племяннику о ту пору четырнадцать годов было, впервые пошел. А вышло так, что тигра они подстрелили, а добить не успели. Он как прыгнет — и прямо на Батурина, повалил, когтями в голову вцепился — смерть пришла старику. Охотники разбежались — и верно, страшно. Ну, а племяш — родная кровь, куда бежать? Жалко ведь. Схватил топор и ахнул тигра в голову — топор по рукоятку вошел, Батурина всего кровью залило, и не разберешь, — где своя, где тигриная. Тигр так на нем и подох. А следы тигриные на всю жизнь остались.

Из тайги наползали сумерки. Стрекотала поблизости вода. Шуршали ветви.

— А тигров здесь много? — спросил чей-то напряженно-спокойный голос.

— Нет. Теперь что-то не слышно.

Растирая голые ноги и следя за ботинками, подсыхавшими у костра, Епифанов рассказывал:

— А в океанах зверь такой водится — осьминог. Лапищи страшенные, восемь ног, не то ноги, не то щупальца. Как захватит этими щупальцами — пропал человек! Засосет. Водолазы на них охотятся.

Комсомолец из Кабардино-Балкарии рассказал:

— Поднимались мы запрошлый год на вершину. И вдруг — обвал. Трех человек оторвало и понесло. Одного льдиной ка-ак хлопнет — умер. Другой альпенштоком в расщелине льда зацепился. Его бьет, а он уцепился и держится, потом еле руки разжали. А третьего ка-ак понесло — ну, думаем, прощай, дорогой. А нет, жив остался. Из-под снега откопали. Весь избитый, а дышит. В прошлом году снова ходил.

Комсомолец из Княжьей Губы рассказал:

— Я еще, значитца, маленький был. И были тогда у нас англичане. И вся наша деревня, значитца, партизанила. А мы, ребятишки, были мастаки на лыжах бегать, как у нас с малолетства все бегают. Ну, значитца, бегали мы в горы, батькам хлеб носили. И вот однажды идем — батюшки! Англичане! Только мы хлеб покидали в снег, а сами бежим, будто, значитца, катаемся. Схватили нас — где батьки? Щипали, били, за уши драли. Я, значитца, реву, отбиваюсь. А сказать ничего не говорю. И все ребятенки, как один, ревут во весь голос, а не сказывают. Так и не сказали.

Сергею Голицыну тоже захотелось рассказать что-нибудь страшное или героическое, но ничего такого в его жизни не было. В памяти всплывали рассказы отца... Но что же чужие слова пересказывать?

Стало темно.

Комсомольцы запели. Тарас Ильич сидел, опустив голову.

— А нас выселяют, — вдруг сказал он, резко подняв голову. Злоба светилась в его глазах. Но злоба погасла. Ее сменила тупая обида. — Ваш начальник сказал: каждому дадим денег, проезд и полную стоимость хозяйства, на новое место перевезем. А здесь строительство. Город. Нельзя.

Тотчас вспыхнул спор — правильно или неправильно выселять деревню. Всем было жалко Тараса Ильича.

— Ну как же неправильно, — вступил в спор сам Тарас Ильич. — Все одно, хозяйству здесь конец. Стройка. А только почему меня не спросили — хочу я эти деньги или нет? На что мне деньги? Я бы захотел, давно уехать мог. Не старое время. Раньше я все, бывало, мечтал — в Россию. А здесь-то что ж — не Россия разве? Поглядишь кругом — иной раз аж дух захватывает, ширина какая!

— А вы бы на стройке не остались? — неуверенно предложил Гриша.

Тарас Ильич поднял на него глаза, не ответил.

— Слыхали, на митинге Вернер что говорил? Гранитные набережные, асфальт, бульвары... — поддержал Гришу Епифанов. — Такой город построишь, отец, потом и помирать не жалко. Вроде памятника.

Но Тарас Ильич промолчал. Сидел отчужденно, понуро. Гриша не знал, как раскрыть ему в жизни новое, светлое содержание, ему, видевшему только каторгу, волчью слежку, власть ножа и золота.

Гриша вспомнил стихи, написанные ночью. А что, если прочитать их? Поймет он или не поймет?.. Если не поймет, значит стихи никуда не годятся.

— Я вчера стихи написал, — срывающимся голосом заявил Гриша, — по вашему рассказу. Называются «Волки».

Он прочитал их, сильно побледнев.

Тарас Ильич сидел, по-старчески согнувшись. После долгого молчания он грустно сказал:

— Волки и были, — и понурился еще безнадежнее.

Гриша понял, что читать стихи не следовало, что эти стихи не то, что нужно.

— Почитай-ка еще, — попросил Епифанов, — в этой природе только стихи и слушать.

Гриша мог читать стихи сколько угодно — и свои и чужие. Но что прочитать? Когда он был с Соней, он находил десятки стихотворений, как бы для нее написанных. «В тот день всю тебя, от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову , носил я с собою и знал назубок...»

Но что же прочитать сейчас? Что прочитать, чтобы Тарас Ильич остался на стройке и полюбил ее, чтобы комсомольцы работали завтра еще азартнее, чем сегодня?

Из памяти выплыл «Перекоп». Он любил его. Эти стихи о них обо всех: о Тарасе Ильиче, о комсомольцах, о больших чувствах и о больших делах.

Но мертвые, прежде чем упасть,
Делают шаг вперед...

В них была мечта о завоеванном счастье, быть может, и о новом прекрасном городе на Амуре.

Нам снилось, если сто лет прожить,
Того не увидят глаза.
Но об этом нельзя ни песен сложить,
Ни просто так рассказать.

Читая, он вдруг испугался за Тихонова. А вдруг не поймут? Но все поняли.

Епифанов мечтательно и размягченно смотрел прямо в рот Грише. Когда Гриша кончил, он сказал:

— Вот о нас тоже напишут когда-нибудь стихи...

Гриша прочитал «Балладу о синем пакете». Он плохо помнил ее и читал медленно, иногда замолкая, чтобы вспомнить строку или слово. Но вместе с ним все слушатели морщили лбы и шевелили напряженными губами, как бы помогая ему вспоминать... «Но люди в Кремле никогда не спят...»

— А кто из вас в Кремле был? — спросил Тарас Ильич.

— Никто не был.

Через минуту он спросил:

— О вашей стройке там знают?

— Факт, знают, — ответил Сергей.

— Ну скажи еще какие стихи, если знаешь, — попросил Тарас Ильич Гришу.

Гриша перебирал вещь за вещью стихи Багрицкого. Все они сейчас не подходили. Гриша обрадовался, вспомнив Маяковского. Он ухватился за него как за желанного друга, вступившего в светлый круг огня — для действия, для борьбы, для помощи. Уже не стесняясь, не боясь забыть или спутать, он вслух вспоминал, досказывал своими словами забытые строфы и полным голосом читал все, что звало, объясняло, заражало, било в цель:

Сочтемся славою, —
ведь мы свои же люди, —
пускай нам
общим памятником будет
построенный
в боях социализм.

И, прямо обращаясь к Тарасу Ильичу, он говорил ему:

Надо
вырвать
радость
у грядущих дней.

В этой жизни
помереть не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.

Уже много позднее, ложась спать рядом с Гришей в переполненной палатке, Тарас Ильич наклонился и сказал вполголоса:

— Видно, мне от вас не уйти... — и тотчас грубовато добавил: — Безрукие вы, все одно без меня не справитесь.

Гриша был так утомлен, что сразу же заснул. Но среди ночи он вдруг проснулся, как от крика. Было темно, тихо, холодно. Стрекотала река. Все спали... Что же? Что? Было ощущение чего-то несделанного. Ах, да! Это! Надо писать, как Маяковский. Прямо, дерзко, звонко, не идти окольными путями, а бить в лоб.

И он снова заснул — тяжелая физическая усталость брала свое.

## 17

Оставшиеся в деревне еще много часов томились неопределенностью и скукой. В это великолепное, свежее утро хотелось поскорее размять мускулы после вчерашней выгрузки.

А работы не было.

На барже у Вернера бесконечно тянулось совещание. Все начальство заседало.

Комсомольцы бродили, не зная, чем заняться, предоставленные самим себе. Откуда-то пополз неясный слух, что их привезли сюда по ошибке, что стройка перенесена на другое место.

Местный житель, поглаживая почтенную бороду, подтвердил:

— А как же! Сюда комиссия прилетала. Говорили, нельзя здесь строить. Почва не позволяет.

— Чепуха! — ответили ему. — Не может быть.

Но осадок неуверенности остался. Кто его знает, может быть, оттого и заседают без конца руководители?

После полудня заседание кончилось. Небольшую группу комсомольцев позвали распаковывать инструменты. Распаковывали прямо на берегу. Кругом стояла толпа.

Ожидали разных инструментов, каждый по своей специальности. Но получили только топоры и пилы.

Коля Платт презрительно разглядывал пилу.

Раздался властный голос Вернера:
— Комсомольцы, построиться по бригадам!

Бригад еще не было. Те, что возникли в поезде, распались, участники бригад не могли найти друг друга. Построились по дружбе, по городам, как придется.

Зазвучала новая команда:
— Двести человек на второй участок!
— Двести человек на третий участок!

В группах спрашивали:
— А это что — второй участок?
— Механические мастерские.
— А третий?
— Лесозавод.

Комсомольцы перебегали из группы в группу. Особенно много охотников стремилось на второй участок.

Прорабом второго участка оказался маленький толстый человек в очках на сизом носу, Павел Петрович Михалев. Он, видимо, не знал, что делать с комсомольцами, и бегал взад и вперед, бросаясь то к Вернеру, то к Гранатову, растерянно озираясь поверх очков.

Коля Платт подошел к нему, вежливо поклонился:
— Прошу вас учесть — я механик восьмого разряда.

Павел Петрович молча поглядел на него, беспомощно усмехнулся и сказал:

— А я, голубчик, техник-строитель, тридцать лет стажа. Учтите тоже.

Второй участок — механические мастерские — оказался тихой и темной тайгой. Под ногами шуршали полусгнившие прошлогодние листья и мягко хлюпала насыщенная водой почва. Над головою замыкались, едва пропуская солнце, сцепившиеся ветви деревьев.

Группа несла с собою пилы, топоры, походную кухню и продукты.

— Товарищи кухня! Располагайтесь вон там, — умоляющим голосом приказал Павел Петрович и указал на сухой пригорок с двумя березами.

Клава и Лилька весело раскладывали свою утварь. Это было интересно — готовить обед в лесу. Сема Альтшулер присоединился к ним, чтобы сложить из камней очаг.

— Ну-с,—протянул Павел Петрович, испуганно оглядывая группу, — здесь будут механические мастерские. Надо расчистить площадку. Деревья рубить, обчищать, пни выкорчевывать. Приступайте.

— Вот вам и новая квалификация, — смеялись комсомольцы.

Топоров и пил не хватало.

Коля Платт с удовольствием отдал пилу и стоял, сердито передергивая плечами. Валька Бессонов попал ногой в яму с водой и сидел на коряге, веточкой счищая грязь с ботинка.

Первые деревья полетели на землю, со свистом продираясь сквозь кусты.

Петя Голубенко сладеньким голоском обратился к прорабу:

— А нам что делать? Ворон считать?

Павел Петрович и сам точно не знал, как быть. Он впервые корчевал тайгу. Ему сказали: «Пусть одни рубят, другие пилят, третьи корчуют» Петя, Коля Платт, Валька Бессонов были как раз эти третьи, которые должны корчевать. Их набралось человек сорок.

— А вы будете корчевать, — сказал Павел Петрович и неопределенно помахал в воздухе руками. — Пни корчевать, не понимаете, что ли? — сердито добавил он и отвернулся.

Петя Голубенко первым подбежал к большому пню, толкнул его ногой, попробовал расшатать руками, потом вскочил на него и звонко крикнул, озорно подмигивая:

— Павел Петрович, оно не корчуется!

— Не умеем мы. Вы бы научили, а?

А когда Павел Петрович, пыхтя, направился к нему, сказал добродушно:

— Ну, чего же тут уметь!

Павел Петрович приблизился к упрямому пню.

— Дай-ка топор! — Он стал обрубать вросшие в землю корни. — Навалитесь-ка! Раз-два! — Пень ни с места. Ребята стояли кругом. — Ах, ты дьявол! — Павел Петрович, вспотев, вместе с Петей и Колей Платтом пытался перевернуть пень. Слегка стонали корни. Пень стоял.

— Уж чего тут не уметь? — сладким голосом сказал Петя.

Павел Петрович изо всей силы нажал, потом плюнул, выругался:

— В конце концов я не дровосек...

И оглядел ребят поверх очков взглядом несправедливо обиженного человека. Генька Калюжный уже взялся за пень, чтобы испробовать силы, когда раздался ясный, отчетливый и злой голос:

— В конце концов я тоже не дровосек. Я механик восьмого разряда, и я считаю, что использовать специалистов на такой работе просто глупо. Я не для того сюда послан.

Коля Платт произнес это громко и отчетливо, глядя на Павла Петровича спокойными и злыми глазами. Его всегда уважали на заводе. И он сам привык уважать себя. Он считал, что на Дальнем Востоке встретит еще больше уважения, получит еще более ответственную работу, будет оценен еще выше. Но его никто не выделял из общей массы, его послали с пилой в тайгу, его ботинки отсырели в болоте, его сравняли с чернорабочими. Он был уверен, что это досадная, легко исправимая ошибка.

Но тут взъерошился Валька Бессонов:

— Ты специалист, а я кто? Меня тоже послали не пни ворочать, я, брат, лучший штукатур Ленинграда!

Мощно рявкнул Генька Калюжный:

— В чем дело? Все специалисты! Я тоже квалифицированный токарь!

Ребята бросали топоры и пилы:

— А я монтер!

— А я слесарь!

— Я шестого разряда!

— Что шестого, я седьмого разряда, и то молчу!

Коля Платт отчеканил:

— Я говорю обо всех. Нас используют неправильно. Я предлагаю вызвать сюда Вернера.

Тоня Васяева, обчищавшая ветви с поваленных деревьев, врезалась в гущу ребят и закричала звенящим голосом:

— Это же чепуха, товарищи! Я тоже не лесоруб, а ткачиха. Так что же, я буду требовать, чтобы мне поставили под елкой ткацкий станок?

Ее слова прозвучали убедительно. Но Валька Бессонов перебил ее:

— Плевать мне на твой ткацкий станок! Меня посылали штукатуром. Тут вообще буза какая-то. Для чего Гранатов списки составлял? Да здесь и почва черт знает какая! Пускай Вернер скажет. Вернера!

— Вернера! Вернера! — закричали ребята.

— Товарищи, товарищи, стыдно, — кричала Тоня.

Пашка Матвеев поддержал ее:

— Дисциплина, ребятки. Вечером спросим, так не годится.

— Вернера! Вернера! — орали парни, заглушая их голоса.

Петя Голубенко зорко наблюдал происходящее. Желтые веснушки выделялись на побледневшем лице. Он вспомнил «пиратов» на «Колумбе». Еще не зная, как быть, он выскочил вперед:

— Я мигом слетаю,— и вприпрыжку поскакал обратно в село.

Когда впереди показались крыши села, Петя остановился в нерешительности. Он не знал, что́ сказать Вернеру. Вернер рассердится: «Пираты вы или комсомольцы, черт возьми?» Петя чувствовал себя представителем нового «пиратского» возмущения. Но он не хотел им быть. «Товарищ Голубенко,— скажут ему,— вы уже второй раз за три дня срываете дисциплину». И зачем им дали этого смешного Павла Петровича?

Он тихим шагом пошел по селу. На барже было тихо. Вернера не было. «Амурского крокодила» втягивать в эти дела не стоило.

Петя ушел и столкнулся на сходнях с плотным небритым человеком в светлой кепке.

— Ты что?— спросил человек в светлой кепке.

Петя вспомнил: этот человек прилетел поздно вечером на самолете и обходил вчера ночью палатки.

— Ничего...— сказал Петя.— Я со второго участка. Меня послали за товарищем Вернером.

— А что случилось?

Петя сбивчиво объяснил, что ребята «бузят». Он попросил:

— Вы бы сходили туда, а?

— Слушай, парень,— сказал человек в светлой кепке.— Вернеру я даже говорить не стану. Пойди и скажи своим ребятам: Морозов сказал, что посылали сюда не токарей и слесарей, а лучших комсомольцев. И все. Пусть поймут сами. Не маленькие.

Петя кивнул головой и побежал обратно. Но, выбежав за село, снова остановился в раздумье. Кто станет его слушать? Скажут — твое дело маленькое, второй разряд.

Он прислушался к далеким стукам топоров и побежал на стук разыскивать Круглова. Первый участок работал вовсю. Молодой инженер Федотов толково расставил людей. Петя сразу увидел Круглова, тащившего на плече печально поникшую березу.

Петя помог дотащить березу до места и зашептал, чтобы не услышали другие ребята:

— Андрюша, буза. Пираты. Ты бы сходил со мною, а?

Андрей расспросил, что да почему. Вполголоса переговорил с инженером Федотовым, позвал Катю Ставрову:

— Катя, пошли усмирять «пиратов». Твой Бессонов хочет штукатурить сосны.

— Он не мой!— сказала Катя, но пошла.

На втором участке ждали Вернера. В ожесточенных спорах комсомольцы раскололись на две враждебные группы. Спокойные доводы Коли Платта действовали на многих. Те, кто не мог и не хотел согласиться с ним, с ожесточением накинулись на работу. Пашка Матвеев валил одно дерево за другим, он обливался пóтом, ни на минуту не давая себе отдыха. Оставив свои кастрюли, схватилась за пилу Клава.

— Как вам не стыдно, а еще парни!— добродушно бросила она.

И несколько непокорных, ворча, отняли у нее пилу и стали на работу.

Сема Альтшулер продолжал возиться с очагом. Он был не прочь вмешаться в спор, но чувствовал, что нужны особые, продуманные методы. Павел Петрович не годился, он не умел организовать людей. Но и ребята не годились. Семе было мучительно стыдно за них, и больше всего за Геньку, за друга. Он долго обдумывал положение, прежде чем позвать его.

Генька подошел неохотно. У него был насупленный, готовый к сопротивлению вид. Но Сема указал на тяжелый камень, вросший в землю.

— Ну-ка, силач, подсоби.

Генька рванул камень из земли и легко перенес его на нужное место.

— Ух ты, силища!— восхитился Сема.— А теперь...— он прятал лицо, чтобы друг не заметил краски стыда, вызванной его поведением.— А теперь пойди и покажи этим жлобам, как надо работать.

Генька сопел, красный от смущения.

— Я тебе придумал одну вещь,— сказал Сема.— Вот видишь это пустяковое бревнышко? Я обчистил его и заострил конец. Ты подсунь его под корни. Принцип рычага. Понимаешь?

Генька взял пустяковое бревнышко, но не уходил.

— Кстати, ты не знаешь, чего они там подняли шум?—

безмятежно спросил Сема, старательно пряча лицо.

— Э, пустяки!

— Ну-ну! Так ты иди, попробуй. Принцип рычага — подсунул и жми. Должно выйти.

И Генька, пристыженный, но довольный тем, что найден выход из неприятного положения, с азартом бросился к пенькам. Он выбрал тот самый пень, который пытался корчевать Павел Петрович. На пне сидел Валька Бессонов.

— Слазь!— свирепо крикнул Генька и всадил под корни свой рычаг. Рычаг вошел плотно. Генька примерился к нему руками, поплевал на ладони и нажал с такой злобной силой, что заскорузлые корни со стоном лопнули и освобожденный пень тяжело повалился набок.

Оглянувшись, Генька увидел благодарный взгляд Семы и крикнул, задыхаясь от чувства необычайной любовной дружбы:

— А ну-ка, хлопцы, навались! По три-четыре человека — пойдет.

Кое-кто присоединился к нему. Тоня обрубала верхушки деревьев, заостряла клинья, всем предлагала готовые рычаги.

Но все-таки человек пятьдесят еще болтались без дела, поджидая Вернера.

— Идет!— крикнул кто-то.

Шел Круглов, сопровождаемый Петей Голубенко и Катей Ставровой. Круглов подошел не торопясь:

— Ну, что у вас не ладится?

— Все,— сказал Валька Бессонов и отвернулся, заметив насмешливый взгляд Кати.

Тоня швырнула топор и рванулась к Круглову.

— Это стыд!— кричала она, со злобой оглядываясь на парней.— Черт знает как подбирали людей. Опозорили весь участок! Ты понимаешь, Андрей, им подавай работу по специальности! Они не привыкли. Им не нравится болото! У них шестой разряд...

— Восьмой,— поправил Коля Платт.

Андрей оглядел комсомольцев. Среди них было немало квалифицированных рабочих. Но вот старый знакомец — Николка. Один из руководителей «пиратов»... Андрей уже знал его — деревенский парень, работал чернорабочим, землекопом... Он-то чего бузит? А вокруг него уже целая группа наиболее горластых парней.

Он подошел к Николке, взял его за плечо:

— А ты по какой специальности ждешь работы?

Николка вырвался, отвернулся, буркнул:

— Я не один... Я как все...

— Я спрашиваю: какая у тебя специальность?

Николка молчал. Тогда Андрей обернулся к Коле Платту:

— Полюбуйся! Тебя послали как пролетария, а ты что показываешь? Шкурничество развел? Работу срываешь? А ты, Бессонов, туда же? Здание еще не построили, а тебе подавай штукатурить! А если война и тебя пошлют окопы рыть, ты тоже откажешься?

— Вот это ты не смей говорить!— крикнул Валька, багровея.

— Почему же не сметь? Свою сознательность доказать надо. А тут позор на всю стройку. Ведь стыд, ребята! Послали как лучших комсомольцев. Партия рассчитывала, что мы не побоимся трудностей. А мы что же, неужели сдрейфим?

— Нет, не сдрейфим! Не ошиблась партия!— выкрикнула Тоня со слезами в голосе. Она стыдилась за товарищей и глубоко страдала. Боясь заплакать, она снова схватилась за топор.

— Отдай!— рявкнул над ее ухом Валька Бессонов и стал размашистыми ударами не подрубать, а сокрушать первое подвернувшееся дерево.

Коля Платт поднял руку:

— Может быть, я ошибся. Но ведь и сейчас есть другие работы. На берегу лежат станки. Разве нельзя пока разбирать их в сарае?

— Вздор!— снова ринувшись в бой, прервала Тоня.— Мы должны сделать другое. В три дня раскорчевать площадку! В три дня построить здание мастерских! Через неделю открыть мастерские. И тогда пожалуйте, товарищ Платт, работайте по специальности. Верно я говорю, ребята? Андрюша?

— Вот это верно,— раздался со стороны спокойный бас.

Все оглянулись на голос. В сторонке стоял плотный небритый человек в светлой кепке. Он снял кепку и стал гораздо старше — над моложавым лицом сверкнула белизна седых волос.

— Горячиться не надо,— сказал Морозов.— Девушка права. В этом городе вы должны сделать своими руками все. И притом в самые короткие, невиданные сроки. Вы не думайте, что я пришел вас уговаривать. Уговоры тут не нужны. Вот я вспомнил сейчас такой факт. Три года назад в деревне было трудно. Не хватало сил.

Партия сняла с производства двадцать пять тысяч рабочих-коммунистов и послала в деревню. Заметьте — коренные горожане, пролетарии, сельского хозяйства не нюхали. И они создали образцовые колхозы. Или другой факт. Война. Кронштадт. Делегаты Десятого съезда партии шли в первых рядах на штурм Кронштадта. Они умирали и проваливались под лед. Это были передовые квалифицированные люди нашей партии. Фактов много. Нужны вам еще факты?

Коля Платт сказал:

— Ясно.

— Может случиться, — сказал Морозов, — что среди нас есть отдельные люди, которым трудности не под силу, которые боятся трудностей. Такие люди могут только повредить. Время сейчас такое, что нянчиться с ними некому. И я предлагаю: кто чувствует, что задача ему не по силам,— выходи из рядов. Без шума и споров — отправлю домой первым пароходом.

Никто не говорил, но шум по кругу все возрастал. Последние слова были заглушены ревом негодования. Клава подскочила к Морозову и закричала дрожащим голосом:

— Да нету здесь таких! Это же комсомольцы!

Через несколько минут Андрей Круглов начал запись в ударную бригаду имени Комсомола.

— Записывай меня,— вертясь около, торопил Петя Голубенко.— Наша судьба такая — куда ты, туда и я.

Валька Бессонов не выдержал:

— А ну, вали ко мне, ребята! Объявляю сверхударную бригаду имени Нового города. Записывайтесь в сверхударную, непобедимую, несокрушимую!

Через пятнадцать минут все работали. Новые бригады вызывали друг друга на соревнование. Павел Петрович ходил с Морозовым, улыбаясь и смущенно поглядывая на березовые рычаги, выдиравшие из земли тяжелые корявые пни.

Валька Бессонов все так же размашисто сокрушал деревья. Неподалеку работала топором Катя. Они видели друг друга.

Катя первая крикнула в пространство:

— Развоевались, петухи!

Он крикнул в ответ, не глядя:

— И зачем сюда девчонок пустили!

Катя не могла оставить за ним последнее слово:

— Обойдитесь вы без нас, мы-то без вас обойдемся!

Так они перекликались, не желая уступить, оба с упоением отдаваясь веселой перебранке под стук топоров.

Поздним вечером в лагере комсомольцы с других участков любопытствовали:

— У вас, говорят, буза какая-то была?

Но за день второй участок стал родным.

— Никакой бузы. Понятия не имею. Сплетни!— отвечали ребята единодушно.

Был заключен договор на соревнование с третьим участком. Катя собирала заметки в стенгазету. В палатках появились разные усовершенствования — гвозди для полотенец, полочки, веники. Быт налаживался. В лагере, где мелькали названия десятков городов, уже чувствовалось возникновение нового, еще безымянного города.

И в тот же вечер у костра Генька Калюжный как бы невзначай сообщил:

— Между прочим, я видел нанайских комсомольцев.

Все заинтересовались. Нанайцы, да еще комсомольцы! Генька подождал, чтобы ему задали вопросы, и тогда сказал вялым голосом:

— Ну где — на берегу, конечно.

— Да где же они?

— Ну где — уехали. Поговорили и уехали.

Катя Ставрова чуть не заплакала от огорчения:

— Да что же ты их не привел? Да как же ты их не задержал?

— Видали! — сказал Генька. — Люди едут по делу, а я должен их задерживать.

— Да откуда они?

— Издалека откуда-то. По Амуру километров шестьдесят, а потом вверх по горной реке еще километров двести. В тайге. Я пожелал им счастливого пути. А что я мог еще сделать, когда люди торопятся и до дому им девять суток езды?

— Шляпа!— с чувством сказал Сема.— Приезжают комсомольцы-националы. Видят — палатки, люди, строительство. И ты не мог им сказать, что мы строим большой город, что мы все комсомольцы, что мы зовем их в гости, что мы несем в тайгу культуру лучших центров Советского Союза...

— Таки да, сказал, — флегматично ответил Генька. — Почти такими же словами. Только я не звал их в гости, я им сказал просто: бросьте трепаться, приезжайте к нам работать вы и вся нанайская молодежь.

— Вот это да! А что они?

— Они спросили, сколько стоят николаевские рубли.
— Николаевские рубли? А им зачем?
— А я знаю!
— Нет,— со вздохом заметил Сема,— ты мой лучший друг, но ты все-таки шляпа. Такой случай — и ты не мог позвать хотя бы меня!
— Но зато он принес им культуру лучших центров: «бросьте трепаться»,— добавила Катя.— Они тебя не спросили, что это за чудесное слово?
— Зачем же? Один парень засмеялся и сказал: «Наша не любит трепаться, наша приедет».
— Значит, они обещали приехать?
— А разве я сказал, что нет?
— Фу, с тобой невозможно разговаривать!
С этого дня, второго дня существования нового города, его первые жители стали ждать гостей из тайги.

## 18

Ничто не прикрепляет к месту так сильно, как труд. Можно прожить месяцы в новом месте и чувствовать себя посторонним. Но достаточно один-два дня поработать, как вложенное усилие привязывает человека, и он уже сроднился с местом и смотрит кругом, как хозяин, как участник этой жизни, как необходимая частица целого. Поваленные стволы и пеньки сами по себе неинтересны, но они возбуждают чувство гордости и удовлетворения, если вы знаете, что часть из них повалена вами, что ваш топор надрубал эти желтые срезы, что ваша мускульная сила вырвала этот корявый пень, что капельки вашего пота затерялись на его мшистой коре.

Работа на корчевке была тяжела. Но настроение на участках царило превосходное. Не было первоначальной толчеи,— все бригады рассыпались по тайге и шли навстречу друг другу, перекликаясь цоканьем топоров. Вечером на видном месте вывешивали показатели бригад. Валька Бессонов вызвал на соревнование все бригады всех участков: а ну-ка, пусть кто-нибудь сумеет повалить столько деревьев, сколько повалят его молодцы! Отстающих немедленно подхватывали на «буксир». Все стремились выбиться в передовые.

Разрушая обособленность землячеств, Сема Альтшулер организовал бригаду «Интернационал», где собрались комсомольцы двенадцати национальностей. Катя Ставрова организовала девичью брнгаду из самых рос-

лых деревенских девушек и с первого дня перевыполняла нормы.

Клава и Лилька, превратившиеся в поваров, дали обязательство кормить «на убой». Из крупы и консервов они стряпали изумительно вкусные похлебки.

Они придумали новшество — разносить обед прямо по бригадам. Это было выгодно для бригад и удобно для девушек: можно было спокойно накормить всех по очереди, обойтись имеющимися тридцатью мисками.

...Накормив ближайшие бригады, Клава и Лилька приспособили палку, чтобы нести тяжелый бачок, и пошли на самый дальний участок — к бригаде Круглова.

Бачок покачивался на палке в такт шагам. За спинами позвякивали в мешках миски и ложки, и еле уловимый теплый запах хлеба вливался в запахи расцветающей тайги.

Тайга жила весной и звуками работы. Сзади, с боков, спереди раздавались размеренные удары топоров и пронзительные голоса пил. Время от времени вздымался стремительный шорох ветвей, будто пролетал ветер,— падало подрубленное дерево.

Девушки шли просекой, усеянной пеньками. Потом свернули в тайгу на стук топоров. Ветви с пахучими почками ударяли их по плечам. Все вокруг было пестро от солнечных бликов.

— А что, если бы мы шли-шли и вдруг пришли совсем не туда? И вдруг совсем не наши ребята, а какие-то незнакомые люди?

Лилька не понимала мечтаний Клавы:

— Да здесь, кроме наших, и нету никого.

Клава продолжала про себя. Конечно, все могло бы случиться... А почему бы и нет? Костер. Загорелые, обветренные лица. Убитая птица жарится на вертеле. И от костра встает навстречу юноша в кожаной куртке и болотных сапогах, с веселыми и нежными глазами... «Вы кого ищете, девушка?»— спросит он, улыбаясь. «Мы искали других,— скажет она, не таясь,— но я так рада, что встретила вас...»

Ветка шлепнула ее по щеке. Клава засмеялась и остановилась. От ее неожиданного движения чуть не расплескалась похлебка.

— Осторожней, шальная!— крикнула Лилька.

— Ты смотри, какие листья, — восхищалась Клава.

Пригретый солнцем куст поторопился расцвесть. На верхних ветвях зеленели распустившиеся листочки. Ли-

сточки были мягкие, клейкие, полные жизненных соков.

— И тебя срубят, бедненький,— вслух пожалела Клава.

Ее заботила судьба деревьев. Весна, расцвет жизни, а их рубят. «Мы обрубаем расцветающие ветки и бросаем в огонь. Как им больно гореть... Во времена инквизиции колдунов и безбожников жгли на кострах. Сожгли Джордано Бруно... Могла бы я умереть так, как Джордано Бруно, и не отречься, не крикнуть: «Отрекаюсь, уберите огонь!..»? Вот Гранатову прижигали руки и загоняли под ногти иголки... Если бы я попала к врагам и меня стали бы пытать, главное — молчать и не заплакать, молчать и не заплакать... Говорят, откусывают себе язык, чтобы не проговориться во время пыток...»

Клава попробовала зубами свой язык. Язык был подвижной, теплый и такой родной, что откусить его, казалось, невозможно.

— Сегодня мы идем — лес, а завтра одни пеньки останутся,— сказала Лилька.

Клава смотрела кругом и с гордостью и с грустью. А вдруг каждое дерево прислушивается, и дрожит, и молит: только не меня...

Клава вспомнила сказку, одну из тех сказок, что в детстве ей рассказывала бабушка. Стал мужик рубить березку — тяп да ляп!— а березка белая такая, заколдованная. И взмолилась березка: «Не руби меня, мужик, мало ли других деревьев».—«А ты что за барыня! У меня всем деревьям честь одинаковая». А березка просит: «Не руби, скажи, чего хочешь, все для тебя сделаю». Как золотая рыбка у Пушкина. И кончилось, как у Пушкина. Разохотился мужик, подавай ему и дворянство, и богатство, и губернаторское звание. Рассердилась березка на мужика да на завистливую жену и превратила их в медведей. А нанайцы, если верить Арсеньеву, считают медведя человеком. «Большой умный люди». Поговорить бы теперь с настоящим нанайцем...

Совсем рядом за кустами раздался вскрик и сразу вслед за ним — сильный шум, скрежет, шелест... И как будто сдавленный стон. Дерево? Или медведь?

Клава даже не успела испугаться, потому что тотчас увидела сквозь кусты спокойно-размеренные движения лесорубов. Тропинку перегораживала дощечка на шесте: «Участок ударной бригады Круглова имени Комсомола».

Нет, это не были незнакомые, неизвестно откуда взявшиеся охотники. Это были свои, родные комсо-

мольцы. И Петя Голубенко рванулся навстречу, заорав на весь лес:

— Девчата! Обе-ед! Ур-ра!

И свои, родные парни окружили Клаву и Лильку, всячески стараясь услужить. Только несколько человек, в том числе Круглов, продолжали работать. Предоставив Лильке разливать похлебку, Клава залюбовалась работающими. Ей нравилось смотреть, как дрожит и кренится подрубленный ствол, как лениво отходят парни от падающего дерева, рисуясь своей ловкостью.

— Осторожнее, вы!— крикнула Клава, чтобы доставить им удовольствие.

Круглов работал в одной майке, его руки и шея успели загореть. Свободные, размашистые движения подчеркивали мужественную красоту его тонкого мускулистого тела. Клаве было приятно смотреть на него. Он был самый красивый из всех. Как она не заметила раньше, что он самый красивый?

— Ударники, обедать!— позвала она.

Парни располагались с мисками на пеньках и прямо на земле. Петя Голубенко присел на пенек и тотчас подскочил, уверяя, что приклеился. На свежих срезах выступали древесные слезы.

— Дерево плачет,— сказала Клава.

Но сейчас грусти не было. Клава восхищалась победителями.

Круглов сел на пень, положив рядом с собой топор и широко расставив ноги. Он вытирал рукой вспотевший лоб. Он жадно вонзил зубы в ломоть хлеба, и Клава заметила крепкие, чистые, красивые зубы. У него была курчавая непокрытая голова. У него были веселые и нежные глаза.

— Ну и похлебка!— похвалил он, глядя на Клаву.— От такой похлебки работоспособность потеряешь.

И правда, пообедавшие развалились на земле, блаженно жмурясь и вздыхая.

— Отдохнуть надо же,— заступилась за них Клава.

— Вечером отдохнем. Мы должны знаешь сколько сделать? Вон до того дуба — видишь, большущий виднеется?— и в обе стороны по пять метров.

Он ел быстро, с аппетнтом, но от добавки отказался. «Отяжелеть боится»,— с жалостью подумала Клава.

— Спасибо, девчата!— сказал он, поднимаясь, и снова поглядел на Клаву. Клава радостно улыбнулась ему.

Разомлевшие лесорубы требовали перерыва.

— Бросьте вы, лежебоки! — шутливо крикнул Круглов и пошел к своему месту. Играя топором, он с размаху ударил подвернувшуюся сосну.

Клава с удовольствием смотрела, как он размахнулся топором, но не разглядела и не поняла, что произошло потом. Она только видела, что сосна повалилась назад, слышала крик, треск сучьев, по лицу прошло дуновение ветра, да щелкнула по руке случайно отскочившая сосновая шишка.

Тотчас же заорала Лилька:

— А-а-а!

Клава бросилась к упавшему дереву. Круглов лежал в стороне от ствола, раскинув руки. Пальцы еще сжимали топор. Глаза были закрыты и губы сомкнуты.

Упав на колени, Клава провела руками по его лбу и щекам. На лбу еще держались капельки пота. Лицо было неподвижно и холодно.

— Воды, — шепотом приказала она.

И нежно приподняла его голову двумя руками. Он не шевельнулся. Черты его лица были безжизненны. Прямой нос, четкие губы, темные веки с прямыми ресницами. От ресниц падала строгая тень на побелевшие щеки. В волосах запутались порыжелые сосновые иглы.

— Андрюха! Андрей! — призывал Петя Голубенко, стоя на коленях рядом с Клавой и не стыдясь своих крупных детских слез.

Над ним переговаривались парни, отыскивая виноватого:

— Дождались! Говорили ведь: подрубил — вали, не оставляй. Это твоя сосна?

— Нет, Петькина...

Петя плакал навзрыд.

Клава наклонилась над Кругловым и приложила губы к его губам. Губы были теплые и чуть вздрогнули.

— Он жив! — крикнула она, и слезы выступили на ее глазах.

— Оглушило, — говорили парни, — его не ударило, он и лежит в сторонке. Просто оглушило.

Клава припала ухом к груди. Сердце стучало, — медленно, будто задумчиво, но стучало.

— Он жив, — повторила Клава и проглотила слезы.

Прибежала Лилька с водой. Андрея осмотрели, — плечо было ободрано, под красноватым загаром расползался по телу огромный синяк.

Клава обмыла ссадины, смочила платок и положила

на высокий чистый лоб, отведя рукой курчавые пряди волос. Ее рука невольно задержалась в мягких, обвивающих пальцы волосах.

Андрей вздохнул протяжно и жалобно.

— Работайте,— шепотом сказала Клава комсомольцам.— Вы же знаете, он расстроится, если вас обгонят другие...

Ей хотелось остаться около него одной.

Парни неохотно расходились.

Петя, всхлипывая, пнул ногой предательскую сосну.

— Андрюша,— тихонько позвала Клава и побрызгала водой неподвижное лицо.

Его веки заколебались. Легкое дуновение жизни прошло по лицу. Он с усилием открыл глаза, вздохнул и сразу же поморщился,— ему было больно. Клава сменила платок на его лбу, и снова задержалась ее рука, поглаживая мягкие волосы. Возвращаясь к жизни, он силился понять, где он и что с ним. В каком-то обрывке воспоминаний прошел перед ним образ Дины, ее тонкая рука с длинными ломкими пальцами. Он открыл глаза и увидел над собой замирающее, преображенное тревогой и нежностью лицо Клавы. Он беспомощно улыбнулся ей. В порыве благодарности и еще неясного чувства Клава склонилась и поцеловала его.

Когда она поднялась с колен, она знала, что будет любить его, что уже любит.

## 19

Среди не тронутых человеком молчаливых и темных сопок протекала узкая горная речка. Ее воды бежали стремительно, играя с обрывистыми берегами, весело разливаясь в низинах и образуя тенистые, задумчивые протоки, где прямо из воды тянулись к солнцу красные ветви тальника. Временами на ее пути попадались сгрудившиеся скалы; река обегала их, подтачивая их основание. Она точила податливые песчаные холмы и сама же намывала отмели на своих прихотливых изгибах. Она казалась веселой и тихой, но если надломившаяся ветка падала на ее чуть колеблющуюся гладь, ветку уносило от родного дерева с такой скоростью, что и взглядом не догонишь.

По этой реке против течения шла лодка. Это была длинная плоскодонная тупоносая нанайская лодка. В ее носовой части были навалены грузы, и лодка зарывалась носом в воду. Два молодых нанайских парня, широкоску-

лых и узкоглазых, гиали лодку вдоль берега, нзо всех снл отталкнваясь шестами от дна. На корме сндел русскнй — красивый пожнлой человек с обветрениым лнцом и зорким взглядом охотинка, в нанайскнх расшнтых унтах н солдатской фуражке без кокарды. Он держал весло н лениво рулил, направляя лодку. Его спокойные глаза вглядывалнсь в очертания берегов. Иногда он говорнл негромко, властиым голосом человека, прнвыкшего повелевать:

— А ну, иажимай!

Смуглые лица парней лоснились от пота.

А солице уже садилось, н пепельно-розовые блнкн упалн на воду, а за кормою лодкн разбегалнсь голубые и розовые лучн.

— Нажнмай, Кнльту,— сказал русскнй.— До ночи надо прнехать.

— Двадцать кнлометров будет,— сказал старшнй нз парней, оглядывая берега.— Моя не могн быстрей.

Но все-такн навалился на шест, ожесточенно толкая лодку вперед.

Темнело. На самых высокнх сопках еще золотнлнсь косые лучн солнца, а вннзу уже смеркалось, стали прнчудлнвее и мрачнее снлуэты скал, и гладь воды потемиела, как старое зеркало, неясно и сбивчиво отражая берега.

Кнльту смотрел на темную воду, убегавшую из-под шеста. Украдкой оглядывал русского,— русскнй был здешннй человек, чужне не умеют так рулнть веслом. И унты иа нем нанайские. Зачем он едет? К кому?

— Твоя едет работать?— спросил он, пересилнв робость.

— Нет,— резко бросил русский н отвернулся.

Семь дней поднималось онн вверх по реке, н семь дней думал Кильту, зачем едет русскнй человек и кто он такой. Может быть, он едет торговать? Но у него нет с собой товаров.

На учнтеля ои тоже ие похож. И ои местный: нанимая лодку, сразу сказал правильную цеиу. И разговаривал так, что Кнльту все хорошо поннмал, чужне говорят непонятно.

— Твоя живет на Амуре?— спроснл он снова.

— Моя жнвет Хабаровск,— резко н неохотно ответил русскнй н прнкрикнул:— А иу, подналягте! Уснули!

Кнльту с интересом вглядывался в иедовольное лнцо русского. Русскнй человек не хотел рассказать, кто он такой. Это было ново для Кильту. Все прнезжие охотно болтали о своих делах и за семь дней путн выспрашива-

ли все, что только можно выспросить. А этот молчит и молчит; на ночлегах сразу ложится спать или ходит по берегу, сцепив за спиною руки. Но варит пищу и разводит огонь умело, как охотник.

Русский вдруг засмеялся, заметив изучающий взгляд Кильту, и сказал добродушно:

— Ты любопытный, Кильту. Ты хочешь знать, зачем я еду? Я еду покупать пушнина. Понял?

— Интеграл?— спросил Кильту.— У нас интеграл товарищ Михайлов. Он покупай пушнина.

— Я главный начальник, понял?

— Понял,— с уважением сказал Кильту.

Позади, над сопкой, загорелась яркая желтая звезда. Совсем стемнело. Лодка скользила в темноте у самого берега; иногда ветки ударяли по плечам или лодка вздрагивала, натыкаясь на корягу.

Кильту боялся темноты. Он запел песню, чтобы подбодрить самого себя.

«На небе горит звезда, лодка идет по реке. Очень долго идет лодка против течения. Но вниз по течению она летит сама, как летит птица, и не надо грести, только править веслом. Десять дней я не был дома, с тяжелым сердцем я уехал из стойбища, но теперь я потороплюсь домой, и мне весело потому, что Мооми стоит на берегу и перебирает сети, а глаза ее смотрят на реку, не видна ли лодка Кильту».

Он пел все громче, чтобы отогнать страх. Ходжеро слушал и тоже хотел петь, но Кильту пел свою песню, и Ходжеро не мог помешать другу.

Мооми, наверно, давно спала. Черная ночь упала на тайгу, пронесся ветер, по воде пошла пестрая рябь. Шелестели деревья.

Когда ветка ударяла Кильту, он вздрагивал и напряженно вглядывался в черноту берега. Он уже кончил песню. Ему было страшно. Злой черт шумел в деревьях, злой черт играл ветвями и пугал Кильту.

Но вот небо над дальней сопкой озарилось, стали видны колючие торчки лиственниц на самой макушке сопки, бегущие облака засветились. Кривая розовая луна выползала в небо, бросая в тайгу и на воду бледные лучи.

«Ой, хорошо, ой, хорошо,— запел Ходжеро, налегая на шест,— луна вышла на небо, чтобы помочь людям. Нам было страшно плыть в темноте, луна взошла и все осветила. Спасибо доброй луне».

И вдруг, врываясь в звуки песни, донесся издалека страшный, протяжный крик. Кильту упал на дно лодки. Крик повторился снова и снова. Это было монотонное, зловещее повторение одного слова: «Га! Га! Га!» И это были человеческие голоса. Много голосов.

— Ну!— крикнул русский и толкнул Кильту в бок.— Чего трусишь? Вставай!

Но ему самому было жутко от повторяющегося зловещего причитания, несущегося из темноты.

— Это наша стойбища,— дрожащим голосом сказал Ходжеро.— Беда в стойбище — больной кто есть. Черта давай выгоняй.

Кильту поднялся и снова заработал шестом; но русский видел ужас на его лице, освещенном луной. Ходжеро тоже работал, втянув голову в плечи и пугливо оглядываясь на еще невидимое стойбище.

«Га! Га! Га!»— все ближе раздавалось зловещее причитание.

Впереди блеснул огонек—дрожащий неровный, быстро погасший огонек. Кто-то закурил у берега. Залаяла собака.

— Приехали,— сказал русский весело.— Эй, кто там, на берегу!— крикнул он в темноту.

Лодка ткнулась носом в песок. Кильту и Ходжеро выскочили из лодки и втянули ее на отмель. Русский разминал ноги, вглядываясь в темные силуэты фанз. «Га! Га! Га!»— неслось ему навстречу.

— Муй дичени?[1]— спросил рядом старческий голос.— Кильту?

— Ми, Кильту,— ответил парень.— Хай бичени, Беджэ?[2]

Кильту, Ходжеро и старик быстро заговорили по-нанайски. Русский ждал, вслушиваясь в малопонятную скороговорку.

— Ну, что там случилось?— спросил он нетерпеливо.

— У старого Наймука Алексея,— взволнованно объяснил Кильту,— вторая жена не могу роди, второй день роди; старики пришла, черта выгоняй.

— Второй день роди,— подтвердил старик,— плохо Урыгтэ, мало-мало помирай.

В фанзе Наймука было полно народу, но света не зажигали. Собравшись в кучу, все громко и страшно крича-

---

[1] Кто приехал?

[2] Я, Кильту. Что случилось, Беджэ?

ли: «Га! Га! Га!» Изредка кто-либо открывал дверь и тотчас быстро захлопывал, чтобы испуганный криком черт выскочил на улицу и не успел заскочить обратно. Когда решили, что черт уже наверняка удрал, все повалили на улицу и пошли вокруг фанзы, всё так же крича. Надо было отогнать черта и от фанзы, чтобы не вертелся около. Только старшая жена, Сакса, осталась в фанзе. Она засветила огонек и сидела в углу на циновке около своих младших спящих детей, медленно раскуривая трубку и недобрыми глазами наблюдая за страданиями Урыгтэ. С тех пор как Алексей Наймука взял вторую, молодую жену, Сакса работала с рассвета до темноты, и ела худшие куски, и эти худшие куски делила с детьми. А Урыгтэ спала с Наймука, сидела дома, не работала, не гребла, не собирала в тайге валежника, не кормила собак, не чистила убитого зверя, не разделывала рыбы, а только вышивала шелком халаты, курила красивую трубочку и в веселые часы играла с ребятами. Ребята любили ее... Старшая дочка Мооми шепталась с нею и выбирала ей узоры для вышивки, но Сакса знала, что родится сын Урыгтэ, и ее дети будут в доме нелюбимыми, а сын Урыгтэ будет любимый. Тяжелые роды Урыгтэ внушали ей неясные надежды.

Русский смело вошел в фанзу и направился к роженице. Она корчилась и тихо стонала; по ее посиневшему лицу текли струи пота и слезы. Она сидела, привалясь к стене, в полном изнеможении уронив руки. Нанайский закон запрещал роженице лежать.

Русский постоял над умирающей, не то возмущенно, не то презрительно поморщился и отвернулся.

Крики на улице смолкли.

Щелочкой приоткрыв дверь, в фанзу проскользнул хозяин, старый, сморщенный нанаец с реденькой седой бородой и слезящимися глазами.

— Наймука, здравствуй,— окликнул его русский, выходя на свет.

— Парамонов!— воскликнул Наймука и поднял руки не то испуганно, не то подобострастно.

— Парамонов, да,— сказал русский властно,— только болтать не надо. Я пойду ночевать к Михайлову, завтра приду.

— Да, да, завтра приду,— бормотал Наймука, почтительно провожая русского до двери. — Бидемену, бидемену! [1] — повторил он, кланяясь и прижимая руку к груди.

[1] Счастливого пути!

Парамонов пошел берегом мимо сетей, вешал и перевернутых лодок уверенным шагом человека, знающего дорогу. У вновь прибывшей лодки шла работа: нанайцы выгружали из лодки ящики. Им светил русский старик с фонарем.

— Михайлов!— негромко позвал Парамонов.

Старик удивленно поднял брови. Узнав Парамонова, он поднял брови еще выше, и в его удивлении было больше испуга, чем радости.

— Вот и свиделись снова,— сказал Парамонов с улыбкой.— Я пойду к тебе. Жена спит?

Он пошел дальше и почти наткнулся на молоденькую нанайку в светлом халате. Нанайка метнулась в сторону к темному силуэту мужчины под деревом, и в этом силуэте Парамонов узнал Кильту.

В рубленом доме с высоким крыльцом, в опрятной, по-русски обставленной комнате, на постели спала женщина. Седые пряди волос сливались с белизной наволочки. На столе слегка коптила керосиновая лампа.

— Марья Андреевна, вставай,— сказал Парамонов, прикручивая фитиль.— Не узнаешь?

— Господи!— вскрикнула женщина и вскочила с кровати.— Откуда вы?

— Откуда бы ни был, хоть с того света,— засмеялся Парамонов,— все равно, голоден и спать хочу. Молоко есть?

Лодку на берегу выгрузили.

Михайлов трясущимися руками запирал склад.

Под деревом, рука к руке, стояли Кильту и Моомн.

— Большие новости на Амуре,— шептал Кильту.— Приехало много людей. Комсомол. Будут делать большой город, как Хабаровск. Построили юрты из полотна, кушают на длинных столах, весь берег завален грузами, уже рубят тайгу, вырывают из земли пни. Будут строить завод.

— Завод?— повторила Моомн. Она не знала, что это такое.

— Комсомол говорил — большой-большой дом, только там не живут, а делают пароходы. Будут большие пароходы. Комсомол говорит — надо ехать туда. Я поеду туда, и Ходжеро поедет.

Он замолчал, потому что подумал о Моомн.

— Опа Самар приедет через три дня,— сказала Моомн с выражением тупой покорности на лице.— Опа Самар и отец виделись на рыбалке. Отец говорит — решили.

— Нет,— сказал Кильту твердо,— ты поедешь тоже. Мы завтра пойдем к Ивану Хайтанин. Сейчас есть советская власть. Сейчас нет закона, чтобы покупать девушек.

— А Урыгтэ?— спросила Моами и заплакала. Урыгтэ была подругой Моами с детства. Моами было шестнадцать лет, а Урыгтэ семнадцать. Отец Моами заплатил за Урыгтэ большой калым: пять кусков китайского шелка, четыреста рублей николаевскими деньгами, меховой халат, иовое ружье и миого пороху. Урыгтэ стала женой Наймука. Она стала скучная и раздражительная и уже смотрела на Моами как хозяйка на работницу и только в отсутствие старого Наймука или в случаях, когда старик обижал ее, по-прежнему шепталась с Моами, обнимала ее и плакала.

— Нет,— повторил Кильту, и лицо его стало злым,— теперь советская власть. Советская власть против калыма и продажи девушек. Ты поедешь в большой город, где все — комсомол. И Ходжеро поедет. Урыгтэ сама виновата. Она могла идти к председателю, а она пошла замуж за большие деньги.— И он засмеялся.— Ходжеро спросил русских комсомол, что стоят николаевские деньги. Русские комсомол говорят: можно оклеить стеиы, только стеиы будут некрасивые.

— Урыгтэ умрет,— сказала Моами, продолжая плакать,— тогда отец возьмет новую жену. Кто знает, какая будет иовая жена?

— Какое тебе дело? Ты поедешь со мной. Завтра я пойду говорить с Иваном Хайтанин.

И Кильту обнял Моами.

А в избе Михайлова до утра горел свет. Жена Михайлова спала тревожно, часто просыпалась и поднимала голову, чтобы посмотреть на мужа. Старик сидел у лампы с Парамоновым: у него посерело лицо, и трясущиеся пальцы то и дело свертывали махорочные цигарки. Вся изба уже заполнилась едким дымом, а они все сидели и говорили вполголоса. Старуха ничего не могла разобрать, но, и ие разбирая слов, поимала, что приятного в разговоре мало. Оиа крестилась, крестила издали мужа и снова засыпала, но и во сие тревожилось сердце — сиы виделись иевеселые, суматошные.

Когда новый день занялся над стойбищем, Алексей Наймука вышел из фанзы и стал обтесывать доски для двух гробов — большого и маленького. Сакса, плача, одевала покойницу. Урыгтэ лежала вся белая, с обострившимися широкими скулами и маленьким запавшим ртом.

Ее глаза были перевязаны шелковой повязкой, но из-под повязки темнели провалы глазных впадин, и казалось, Урыгтэ смотрит на лежащего рядом ребенка. Ребенок был очень маленький и уже посиневший, с подсохшими пятнами крови на голове.

Мооми уехала на рыбалку за родителями Урыгтэ.

Солнце было уже высоко, когда лодка вернулась. Старая мать бежала по берегу: ее волосы развевались, выбившись из-под повязки. Она вбежала в фанзу, даже не взглянула на Наймука, громко закричала, упала на пол рядом с мертвой и завыла во весь голос.

Отец и Наймука молча собирали вещи покойницы. Отец принес из дому все, что осталось у него от дочери,— берестяной узорчатый ларчик, детские халатики, маленькую трубку, которую сделал для Урыгтэ ее друг, соседский мальчик Ходжеро.

Сам Ходжеро пришел тоже. Он ни с кем не поздоровался, ни на кого не посмотрел. Он пошел прямо к покойнице, брезгливо отвел глаза от мертвого ребенка и долго стоял, вглядываясь в изменившееся любимое лицо молодой женщины.

К вечеру хоронили.

Урыгтэ и ребенка понесли на кладбище на тех досках, на которых они лежали дома. Старики несли вещи покойницы. Женщины, плача, следовали в хвосте процессии.

На кладбище, у свежей ямы, остановились. Женщины разожгли костер и сели вокруг, громко причитая и воя. Мужчины поставили на край ямы гробы и начали укладывать покойников.

Толпа на кладбище все прибывала. Никто не хотел пропустить зрелища похорон Урыгтэ, богатой жены.

Сначала в гроб постелили два новых одеяла из приданого молодой женщины. Укладывая, их надрезали ножом по самой середине. Потом стали приготавливать покойницу. На ней был светлый шелковый халат с китайскими вышивками вокруг ворота, на рукавах и по подолу. На ногах поверх расшитых белых чулок были надеты туфли лосиной кожи и синие наколенники.

Наймука положил у гроба ворох одежд. Он поднял в воздух бархатный, украшенный тесьмою и раковинами халат, не торопясь повертел, чтобы все успели разглядеть, затем полоснул его ножом, бросил отрезанный лоскут в толпу и стал надевать халат на мертвую. Все старались помочь, торопясь увидеть, сколько халатов наденут на Урыгтэ. Халаты были меховые, суконные, шелковые и

сатиновые; с китайскими вышивками, и расшитые нанайским сложным узором, и отделанные лентами и кружевами; были два халата из рыбьей кожи, были халаты с пуговицами, и с морскими ракушками, и с бронзовыми побрякушками, которые звенели при каждом движении.

Надев на Урыгтэ все, что было возможно натянуть, Наймука и отец взяли бесформенный труп и осторожно опустили в ящик. Женщины у костра завыли громче. Мужчины стали бить посуду, принадлежавшую Урыгтэ, черепки складывали в гроб. Но вещей оставалось еще много. Наймука поднял кусок пестрого китайского шелка, пожелтевшего на сгибах от долгого лежания в сундуке, проткнул его ножом и положил в гроб. За шелком последовали ситцы, бархат, шерсть, сатины. Потом полетели в гроб трубки, и лоскутная кукла, и нитки, и крючки, и много других мелочей, принадлежавших Урыгтэ. Непрерывно мелькал в воздухе нож, летели в толпу лоскутки, обрезки, черепки; их подхватывали и прятали на счастье: у самых ловких зрителей раздувались карманы.

Снова появился Ходжеро.

Ходжеро заглянул в гроб, но уже не увидел Урыгтэ,— она была завалена вещами. У него задрожали губы и подбородок. Опустив голову, он бережно положил в гроб маленькую камышовую трубку и ушел. Трубку подарила ему Урыгтэ в обмен на его подарок. Трубка принадлежала ей. Она должна была уйти в землю вместе с Урыгтэ.

Ходжеро сел в лодку и пустил ее по течению — так, без цели, чтобы разогнать тоску. Если бы у него были деньги на калым, Урыгтэ была бы его женой. Но денег не было, теперь не стало и Урыгтэ.

На тропинке, ведущей из соседнего маленького стойбища, Ходжеро увидел приезжего русского с Михайловым. Они шли рядом, вяло переговариваясь. Немного дальше Ходжеро увидел Степана Парамонова, быстро удаляющегося в сторону своего стойбища. Степан Иванович был русский охотник. Он приехал сюда пять лет назад, построил избу на окраине маленького стойбища, завел огород, корову, собак, жил молчаливо и замкнуто, зимою подолгу ходил в тайге за зверем, а летом огородничал, рыбачил, мастерил забавные вещицы из дерева и бересты. Нанайцы сперва косились на русского пришельца, а потом привыкли к Степану Ивановичу, покупали у него забавные вещички, расплачивались беличьими шкурками, а нанайские ребятишки стали играть с ребятишками Степана.

Только комсомольцы не любили, избегали Степана, потому что он неизменно спрашивал при встречах:

— Ну, комсомол, а что значит ком-со-мол? Ве-ка-пе-бе?

Комсомольцы не умели толком объяснить, и Степан смеялся над ними.

«Сволочь!»— мысленно обругал его по-русски Ходжеро. Потом подумал: «Русские были у Степана в гостях». И забыл о них.

А Парамонов и Михайлов прошли мимо кладбища, мимо интеграла и подошли к самому большому дому в стойбище, стоявшему на пригорке над рекой. Дом был глубоко врыт в землю, как фанзы, но крыша была железная, стены побелены, окна со стеклами, полы не земляные, а дощатые и крашеные, и комната отделялась от улицы широкими сенями, где были свалены в кучу корзины, сети, нарты, плетеные круги для рыбы и всякая хозяйственная утварь.

— Деламдени джегдо бы?[1]— вежливо спросил Парамонов и вошел. Вслед за ним вошел и Михайлов.

В просторной комнате вдоль стен тянулись широкие каны, покрытые камышовыми циновками. В очаге горел огонь, и две женщины — молодая и старая — возились возле очага. Старый нанаец сидел с ногами на кане и большим ножом стругал кусок дерева. За ним, в углу, стоял нанайский бог — почерневший от времени коротконогий уродец в остроконечной шапке, с продырявленными точками вместо глаз. Другие боги — поменьше — висели над ним на веревочках, покачиваясь в струе воздуха. Старый нанаец не вставал, но выронил нож и молча уставился на Парамонова.

— Здравствуй, Самар,— сказал Парамонов.— Узнаешь?

Гости сели. Нанаец молчал, раскуривая трубку. Парамонов предложил ему папиросу, и Самар охотно взял ее, отложив трубку. Улыбка мелькнула на его лице и пропала. Парамонов угостил женщин,— обе смутились, спрятали лица, но папиросы взяли.

— А я думал, тебя нет здесь,— как бы вскользь сказал Парамонов.— Совет ничего не говорит?

Нанаец качнул головой, но промолчал.

— Тебя считают — кулак,— сказал Парамонов.— Голоса нет. На собрания тебя не пускай?

— Не пускай,— сердито заговорил нанаец.— Моя сам

[1] Хозяин здесь?

не ходи, и Совет не пускай. Моя голос нет, налог есть. Хайтанин сегодня приходи, кричи, руками маши. Сын невеста покупай. Хайтанин кричи покупай нет, советская власть не могу покупай.

— Это про дочку Наймука,— объяснил Михайлов.

Парамонов вспомнил светлую тень под деревом и песню Кильту. Он усмехнулся, но спросил участливо:

— Большой калым платишь?

Нанаец закивал головой. Старая нанайка быстро заговорила с молодой, и обе чему-то смеялись.

— Бóльшой калым польза есть,— сказал нанаец.— Малый калым плати — первый год халат шей, унты шей, все купи, все шей. Большой калым плати — пять лет ничего не шей. Наймука много халат давай, одеяла давай, все давай. Богатый. Сегодня жену хорони — богато хорони. Дочка замуж давай — тоже богато давай.

— А Хайтанину какое дело?

Нанаец плюнул и потянулся к своей трубке.

— Комсомол кричи нельзя,— сказала старая нанайка не то возмущенно, не то вызывающе. Молодая фыркнула и выбежала из комнаты.

— Это везде так,— сказал Парамонов.— Здесь еще хорошо. Не добрались. Скоро и тебя раскулачат. Голоса лишили? А теперь и дом заберут. Ты кулак. Торговал. На Сунгари лодку гонял. Китай ездил, товар привозил, продавал.

— А твоя торговал, Степан торговал — ничего?— обиженно возразил нанаец.

— Так разве нам хорошо? Плохо тебе, плохо всем,— сказал Парамонов.— Хайтанин задавил. Интеграл задавил.— Он вдруг улыбнулся, вспомнив про сидящего тут же Михайлова, и спросил, показывая на него пальцем:— Товарищ Михайлов тебя не обижает?

Нанаец засмеялся шутке и крикнул жене:

— Чепчи бы? Лача чепчи буру![1]

Парамонов, видимо, понял его распоряжение и добавил:

— Да позови Наймука Алексея, пусть девочка сбегает.

Обедали только мужчины,— женщинам полагалось есть отдельно. Алексей Наймука пришел мрачный и подавленный. Присутствие Парамонова, видимо, тоже не веселило его. Но Парамонов поставил на стол бутылку

[1] Кушать есть! Русским надо дать кушать!

спирта, и после нескольких глотков «горячей воды» Наймука оживился. На низеньком столе, установленном на кане, появилась юкола — сушеная рыба — и копченая, отделенная от костей рыбья мякоть; белое перетопленное сало сохатого — его резали кусками — и такое же сало, растопленное в миске на огне, — в него макали хлеб; вареные кишки с белым мясистым жиром внутри — их нарезали ломтиками, как колбасу. Под жирную закуску незаметно выпили по чашке спирта. Парамонов привычно по-нанайски брал рыбу и сало руками, чокался с нанайцами чашкой, и нанайцы охотно выполняли приятный русский обычай. Михайлов тоже чокался, но ел неохотно, брезгливо оттопыривая губу и часто вытирая пальцы платком.

А женщины уже разрубили на большие куски темное сохатиное мясо, и на очаге булькал в горшке кипяток. Хозяйка бросила мясо в кипяток — бульканье прекратилось. Потом потихоньку запела, вновь закипая, вода. Но хозяйка уже вытаскивала из горшка темное, слегка обваренное мясо и укладывала его на тарелку.

Гости встретили мясо приветствиями. Наймука уже напился и повторял:

— Хороший вода! Моя любит горячий вода!

Нанайцы и Парамонов хватали мясо руками, вгрызались зубами в его твердоватую массу и быстро ножом у самого рта отрезали кусок за куском. Михайлов с уважением следил, как ловко орудует ножом Парамонов, но сам не решался следовать его примеру и вяло ковырял мясо в тарелке.

Еще не докончили мяса, как старуха с дочкой притащили к столу дымящийся котел с вареной уткой в лапше.

Парамонов снова налил в чашки спирт.

Наймука прослезился. Самар смеялся, икал и гладил себя по животу.

Все были сыты.

Женщины уже присели в другом углу, доедая обильные остатки. И тогда Парамонов сказал:

— А помните, друзья, как мы с вами собирали ружья?

Нанайцы вздрогнули. Жена Самара подняла голову от еды. Михайлов равнодушно смотрел в окно, только руки его дрожали.

— Сто ружей собрали, да?— продолжал Парамонов.— И для белых собирали, да? За это теперь не похвалят.

— Такое дело надо забывай, — сказал Наймука быстрым полушепотом,— моя не хочу вспоминай. Много солнца прошло, белый борода стал, не надо вспоминай.

— Да,— медленно протянул Парамонов,— хочу не хочу, а если другие люди вспомнят, плохо будет твоей бороде.

Нанайцы настороженно молчали. Они чуяли, что не зря приехал нежданный гость и богатым обедом от него не откупишься.

— Вот я теперь большой начальник,— сказал Парамонов, как бы размышляя вслух,— и если скажу—после водки или по обиде — большая беда вам будет. Большая беда!

Нанайцы сосали трубки, ждали.

— На Амур много людей приехало,— продолжал Парамонов,— два парохода, четыре парохода. Люди идут в тайгу, строят большой город, большие заводы. Плохо будет нанайцам. Зверь не любит дыма, рыба не любит нефти. Уйдет рыба, уйдет зверь. Что будет делать нанаец без рыбы и без охоты?

Нанайцы задвигались. Им хотелось расспросить, но они боялись, они выжидали, куда клонит Парамонов.

— Люди будут приходить сюда,— резко сказал Парамонов,— требовать рыбу, мясо, сено. Иван Хайтанин будет говорить: надо давать! А я говорю — не надо давать! Если давать — останутся люди, уйдет рыба, уйдет зверь. Если не давать ничего — нечего кушать людям, голод будет, лошади будут умирать, люди болеть,— уедут обратно.

Жена Самара возбужденно сказала с места:

— Совет скажет давай, как наша моги не давай?

— Хамабису![1] — крикнул Самар, метнув на женщину злобный взгляд.

— Я приехал вас предупредить, дать совет, — объяснил Парамонов, пропуская мимо ушей слова женщины.— Я хочу вам помогать. Но если вы не хотите слушать, я могу сделать вам большая беда: могу вспомнить дело, которое все забыли.

— Зачем вспоминай? Тебе польза нету, тебе тоже беда, — сказал Наймука, уже протрезвев от страха.

— Мне беда — не страшно. Я сегодня—здесь, завтра — Хабаровск, послезавтра — Харбин. А куда пойдете вы? Куда дети, жена, дом?.. Ничего не давать! — вдруг

[1] Молчи!

властно крикнул он, зорко вглядываясь в перепуганные лица нанайцев. — Приказываю вам не давать ни-че-го! Сами не давать и все стойбище не давать!

— Почему стойбище будет слушай? — снова подняла голос женщина.

— Хамабису! — вторично крикнул Самар, но вопросительно посмотрел на Парамонова: женщина спрашивала правильно.

— Надо делать так, — мягко заговорил Парамонов, — надо говорить с каждым хозяин отдельно. Каждому хозяин надо объяснить: уйдет рыба, уйдет сохатый, уйдет белка и лиса — беда будет. Помирай нанаец. Иван Хайтанин может жить, советская власть платит ему деньги, а другие не могут жить. Поняли?

Наймука и Самар кивали головами.

— А теперь выпьем, — сказал Парамонов ласково и налил в чашки еще спирту.

Жена Самара поставила на стол печенье и конфеты.

Михайлов развернул пеструю бумажку и медленно обсасывал твердый леденец. Его руки уже не дрожали, но ему томительно хотелось, чтобы ушел Парамонов, и чтобы можно было тихо сидеть у окошка, и чтобы жена сидела напротив с рукоделием.

— Товарищ Михайлов уедет месяца на два, — сказал Парамонов. — Если что надо, к вам будет приходить мой брат Степан.

Когда они шли домой, Михайлов сказал сдавленным голосом:

— Стар я, Николай Иваныч... если бы кого другого...

— Зажился! — побагровев, прикрикнул Парамонов.— Ждешь, когда и отсюда вычистят? Шляпа!

Вечером в «красной юрте» происходило комсомольское собрание. Комсомольцев было всего шесть человек, но сбежалась вся молодежь стойбища, да и пожилых людей немало собралось на манящий огонек керосиновой лампы. Кильту рассказывал о том, что на берегу Амура строится город, что на строительство города приехали комсомольцы и что они зовут к себе нанайскую молодежь.

Председатель сельского Совета Иван Хайтанин сидел в уголке за печкой. Он был очень молод, ему едва исполнилось двадцать два года, но он учился в далеком городе Ленинграде, в Институте народов Севера, и чувствовал себя и старше и опытнее окружавших его сородичей.

Когда Кильту рассказал все, что знал, вышел вперед

Иван Хайтанин. Его карие глаза светились, широкоскулое загорелое лицо вспыхнуло темным румянцем.

— Товарищи, — сказал он и поднял натруженную маленькую руку, — товарищи, мы живем дико, не видали даже Хабаровска. У нас нет больниц, нет бани, нет кино. У нас умерла вчера молодая женщина — некультурность убила Урыгтэ, дикость, грязь. Нет больницы, а старики шаманят, старики гонят черта, — а кто его видел, черта? Сказки, обманывать дураков! А теперь советская власть строит на Амуре город. Будет больница, театр, автомобиль, магазин. В городе есть другой свет, он горит сам, не надо спичек, он идет по проволоке, надо только двинуть такой крючок на стене — и стеклянная бутылка дает свет. В городе магазины — что хочешь купи. И в городе школа, институты для детей, для больших людей, кто хочет — учись. Мы, нанайцы, жили не как люди, а как паршивые собаки. Мы хотим жить как люди. Мы хотим город. Мы поможем строить город, товарищи!

В тусклом свете лампы по лицам бродили улыбки.

Ходжеро сказал с места:

— Я поеду первый.

У двери стояла Мооми. Она замирала от предвкушения чего-то большого и нового, что надвигалось на нее. Она до головокружения боялась перемены, но все-таки чувствовала, что перемена похожа на свежий ветер, обжигающий лицо, и знала, твердо, что ничто не сможет удержать ее от смелого, отчаянного шага прямо навстречу ветру.

## 20

Они были завоевателями, Колумбами. Эта земля принадлежала им, но она лежала кругом неизведанная и немного страшная, как только что открытая Америка.

Катя Ставрова рвалась в таежную глушь, чтобы изведать ее тайны. Она предложила друзьям большую прогулку в первый же выходной день. Она была уверена, что стоит отойти от села и от участков работ — и на каждом шагу будут ожидать необычайные и прекрасные приключения. Ее поддержал Епифанов; вернувшись со сплава, он воспринимал палаточный лагерь уже как город, и его тянуло в глушь, к неожиданно пересекающим путь горным ключам, к тихим зарослям незнакомых кустарников, в мягкие дебри прошлогодних засохших трав, в

которых запутывается, проваливаясь, нога... С ними пошли Тимка Гребень, Круглов и Катин приятель Перепечко. По дороге к ним присоединился Валька Бессонов,— он вечно попадался на Катином пути.

Было раннее утро. Жаркое солнце разгоняло туманную дымку, повисшую над берегом Амура.

Они поднялись на тенистый пригорок над самой рекой. Белоствольные березы мягко шуршали молодыми листьями. Под березами торчали незатейливые кресты сельского кладбища. С пригорка были далеко видны Амур, плавный и широченный, как озеро, и темные сопки правого берега, упирающиеся в воду скалистыми подножиями.

На этом берегу комсомольское наступление уже видоизменило общий вид побережья. Под открытым небом лежали груды ящиков, бочки, тюки, бухты канатов. Горбились под брезентами станки. Над скатом все так же подслеповато глядели домишки села, но сразу за ними стояли бесчисленные палатки, и сама сельская улица совершенно видоизменилась: по ней группами ходили, бегали, играли в городки и в лапту сотни молодых людей. На церковной паперти чистили картошку.

Налево тянулся пустынный и болотистый берег, перерезанный протокой, соединявшей озеро Силинку с Амуром.

Сквозь листву, заслонявшую Силинку, поблескивала ее гладкая поверхность и видна была угрюмая черная баржа, грузно осевшая в протоке. На барже помещался административно-технический штаб наступления.

А от берега на север, сколько глазу видно, вплоть до далекого горного хребта, замыкавшего горизонт, лежала перед ними тайга — расцветающая, опьяневшая от напора живительных весенних соков. Тайга карабкалась и на горы, теснилась в распадках, цеплялась за камни на скалистых кручах. Только на самых вершинах, обнаженных и острых, тяжелыми пластами лежал снег.

— Это вечные снега!—восторженно утверждала Катя.

Но Круглов смотрел не вдаль, а на то, что расстилалось прямо перед ним. Он видел дикую, нетронутую гущу тайги и верил, что она недолговечна.

— Вот здесь, — произнес он торжественно, указывая рукой на лежащую перед ним низину,—вот здесь вырастут доки, перед которыми самые высокие лиственницы— жалкие карлики.

— А ну, пошли знакомиться с карликами, покуда они целы, — сказал Епифанов и первым вразвалочку спус-

тился с пригорка. Все двииулись за ним. Под ногами мягко подавался рыжий мох, склоиялась молодая травка. Им попался куст багульника, усыпаный не лиловыми, а белыми цветами. Оии удивились, каждый сорвал себе по ветке. Катя приколола цветок к волосам.

— Кармеи! — бросил Валька Бессоиов и засуиул цветок за ухо.

Идти приходилось медлеиио. В ямах стояла весеиияя вода. Иногда дорогу перегораживали огромиые деревья, с корнями вырваиные бурей. Комсомольцы с удовольствием перелезали через иих, разглядывали мощные, уже обветрениые кории.

— Идея! — вдруг сказал Круглов и остаиовился иад повалеиным деревом, сощурив один глаз и что-то соображая.

Как ии добивались от иего друзья, в чем дело, так и ие узиали.

— Озеро! — крикнул Епифанов, шедший впереди.

Все побежали, ие разбирая дороги, как будто озеро могло исчезнуть, если ие прибежишь быстро. Только Круглов остался позади, заиятый своими мыслями.

В теиистых заросших берегах лежало малеиькое тихое озеро. В иего смотрелись деревья; упавшая ветка неподвижно застыла иа поверхиости воды.

— Силиика! — объявил Валька Бессоиов.

— Ты с ума сошел! — возмутилась Катя.—Силиика большая и с протокой, там пароходы стоять будут, а где же здесь пароход стаиет? Да в Силинку бревиа сплавляли — где же эти бревиа? Голова!

Валька сам поиял, что иапутал, и ограничился добродушиым замечаиием в стороиу:

— Ну и заиоза! Женись иа такой — пропадешь.

— А ты не женись, — сверкнув глазами, ответила Катя и засмеялась. Вот уже месяц, со дия отъезда из Москвы, ее распирало все возрастающее ощущение счастья. Истоком этого ощущеиия была иовизна и ромаитичиость обстаиовки и то созиаиие девичьей свободы и легкости, которое охватило ее, как только поезд уиес ее от Москвы — от мужа. Валька Бессоиов ие заиимал особого места в ее мыслях, оиа просто включила его в общий круг веселых и радостиых переживаиий.

— Спаси бог!—с шутливым ужасом вскричал Валька.

— Бог ие спасет, спасайся сам, — быстро отрезала Катя и побежала к самой воде, чтобы оставить последиее слово за собой.

Ноги увязали в тине. Из воды торчали какие-то водяные растения с жесткими четырехлистными шишками. Катя сорвала шишку и чуть не порезалась: шишка была чугунно-серая, с очень острыми на концах листками,— не шишка, а металлический цветок. Друзья с интересом исследовали странное растение. Сходство с металлом было так велико, что Костя Перепечко даже заволновался: чем черт не шутит, может быть, на Дальнем Востоке железо растет из воды?

— По весу не подходит — легок! — поправил его Тимка Гребень, но продолжал с интересом ощупывать растение.

На той стороне озера раздался треск сучьев и заколебались ветви кустов.

Комсомольцы насторожились. Не смотрели друг на друга, чтобы не признаться, что страшно.

Из кустов вышел человек с дробовиком и дружески помахал комсомольцам рукою. Это был высокий, тонкий, сухощавый человек с коричневым загаром, с резкими чертами сухого лица. На поясе у него болтались головами вниз две утки.

Комсомольцы и охотник пошли навстречу друг другу вокруг озера. Охотник шел быстрее, — он умел выбирать путь, меньше спотыкался, легко обходил препятствия.

Катя бежала впереди всех, обуреваемая любопытством. Она бежала кратчайшим путем, оцарапывая руки и колени. В густом кустарнике она запуталась, — светло-коричневые гладкие ветви не ломались и не клонились, они охватили ее со всех сторон. Она разозлилась, ободрала ладони и уже готова была зареветь от обиды, когда раздался дружеский голос:

— Запутались, дорогой товарищ?

Сильной рукой оттягивая непокорные ветви, охотник помог Кате выбраться из ловушки.

— Держидерево, —объяснил он. — Крепкое дерево, нанайцы гвозди делают.

Забыв обиду, Катя во все глаза разглядывала охотника.

— Вы в тайге живете?

Он засмеялся и не ответил. А тут подошли все остальные. Круглов поздоровался с незнакомцем за руку и сказал обыденным голосом:

— Здоро́во, Касимов! Как охота?

Касимов кивнул на уток, снял с плеча дробовик и уселся на корягу. Катя села рядом. Она была разочарована. Нет, это не человек из тайги. Это Касимов, местный работник. Он помогал при разгрузке пароходов. Он курил ленинградские папиросы «Совет».

— Запомните это место, ребята, — сказал Касимов, закуривая папиросу, — скоро здесь не будет ни озера, ни держидерева, — он, усмехаясь, покосился на Катю,— и никто не поверит, что здесь охотились на уток.

Катино разочарование прошло. Она с восторгом смотрела на маленькое озеро, на тихие травы, полускрытые водой. Костя Перепечко предъявил металлический цветок и требовал объяснений.

— Озерный орех, — еле взглянув, сказал Касимов.— Медвежье лакомство. Разгрызешь — внутри орешек. Ничего, вкусный.

— А вы медведя видели? — с уважением спросил Валька.

Касимов показал рукой куда-то в сторону:

— Вон там однажды удирал от него. Шел на рябчиков, пулевого ружья не было. Гляжу, медведь поднялся. Я давай удирать.

— А убивать не убивали?

— Ну как. Убивал...

Он был немногословен.

— А как убивали? Один на один?

— Разно бывало, — сказал Касимов. — Случалось и в одиночку. А чаще несколько человек ходили. Ради мяса били: оно сладкое, вкусное. Убьем одного — две недели сыты.

— А вы с кем ходили? С охотниками?

— С партизанами. Ну, партизаны все охотники.

Вспомнилась песня: «Шли лихие эскадроны приамурских партизан...» Вот он, один из легендарных партизан!

— А вы долго партизанили? — спросил Валька.

Катя с благодарностью посмотрела на него. Она сама хотела, но не решалась начать расспросы.

Касимов, видимо, не любил рассказывать. Он кивнул головой, спросил, зачем пришли сюда комсомольцы, и вызвался проводить их к Силинке.

— Это Малая Силинка, — сказал он. — Есть Большая Силинка и еще река.

— Я же говорил! — победоносно воскликнул Валька.

Катя промолчала.

— А почему Силинка, знаете? Был здесь старик Си-

лин, из первых переселенцев. Богатый старик. Мельницу имел. От него и река стала Силинкой и озеро.

Он повел их тайгой. Останавливался, указывал комсомольцам новые породы деревьев. Всех заинтересовала черная береза: кора черная, как будто ее покрасили.

Озеро Большая Силинка было просторное, гладкое, такое же тихое. Справа по воде шла неторопливая рябь,— там озеро сливалось с Амуром.

Касимов повел комсомольцев вдоль берега, иногда отходя в тайгу, чтобы укоротить дорогу. Чувствовалось, что ему знакомы здесь каждая кочка, каждое дерево.

Они вышли на просеку. Вывороченные пни торчали корнями вверх. Дощечка сообщала, что здесь «Третий участок. Ударная бригада Симонова». Просека утыкалась в озеро; под высоким берегом, в запани, покачивались пригнанные сплавом бревна.

— Наши голубчики! — с гордостью говорил Епифанов. — Дожидаются.

И все как будто увидели на месте оголенной просеки уже готовый, уже действующий лесозавод. И у каждого в душе на миг шевельнулась зависть к тем, кто попал на третий участок. Ведь бревна уже готовы, только работай.

Они прошли по участку бригады Симонова и снова углубились в тайгу.

В третий раз Силинка предстала рекой. Ее порывистое течение начисто промыло русло, и сквозь хрустально-прозрачную воду был виден обкатанный гравий. На извилинах реки образовались перекаты, — здесь неглубоко, можно перейти вброд. Но зато течение так и крутит, того и гляди собьет с ног.

— Вам не перейти, — сказал Касимов Кате, — мужчине и то тяжело. А вода круглый год студеная.

Все по очереди попробовали. Застывали пальцы, но на вкус вода была изумительна.

— Летом она пересыхает. А в паводок все кругом заливает, деревья выворачивает, несет, как перышко.

По берегам лежали почерневшие коряги, обглоданные водою стволы. Епифанов столкнул одну корягу в воду — река подхватила ее, закружила и легко понесла вперед. Но на перекате коряга застряла, и вода побежала дальше, через и вокруг нее, с насмешливым говорком.

Касимов уселся, прислонил к дереву дробовик.

— Мальчишкой нанялся возить дрова, — отрывисто начал Касимов, и сразу не понять было, о себе ли он рассказывает или о ком другом.—Были кулаки Зотовы. Ни-

же по Амуру. Сынок Алексей потом в офицера вышел. А в то время вроде хозяина со мной в лесу работал. Злобный человек. Нагрузим сани — не стронуть лошади. Сугробы ведь. Он ее палкой. Рванется лошадь, да в такую трущобу заскочит — ни взад, ни вперед. Зотов кричит: «Тащи!» А где ее вытащить? На меня замахнулся. Этой же палкой. Я сказал: «Не тронь». Чуть не убил со злости. Слово за слово. А что я, раб какой? Скинул полушубок— ихний был, бросил лошадь — и в тайгу! По зимовищам ночевал. Смерз совсем. Сюда пришел, снова нанялся. А с Зотовым в двадцатом посчитался.

Где-то неподалеку сонно закуковала кукушка. Однотонное кукование подчеркнуло тишину.

— А как вы в партизаны пошли?

— Обыкновенно.

Он встал, вскинул дробовик на плечо и повел комсомольцев дальше, вверх по реке. Он шел, как следопыт, ко всему внимательный, все подмечая, спокойный. Только курил папиросу за папиросой. И вдруг, обернувшись к спутникам, сказал:

— А как было не пойти? Положение такое: или бороться, или гибель. Справа — беляки, слева — японцы; в «вагон смерти» не попадешь — так на месте карательный отряд зарубит. Да еще надругается. Знаете, что делали? Повесят, живот распорют да мороженую рыбу воткнут — жрите, мол. Куда денешься? Я в шестнадцать лет пошел. С рыбалки. Сеть запустил под лед. Тянуть надо. Слышу, партизаны. Сеть, топор—все бросил, пошел.

Его скулы судорожно сжимались. Пальцы кромсали изжеванный окурок. Комсомольцы ждали, любопытные и слегка взволнованные. Касимов снова сел и движением руки пригласил сесть комсомольцев.

— Враг — всегда враг. Но самураи — хуже врагов. Провокаторы. Льстивые люди, с улыбкой, с поклонами. Нейтралитет объявили. Ихние офицеры с нашими партизанскими начальниками дружбу заводили. Красные бантики нацепляли: «Мы любим русский большевика...» А ночью оцепили штаб, сонных перерезали. Некоторые спаслись. Три дня сражались. Зима, на улицах — сугробы выше человека. Вдоль домов расчищено — окопы. Они всех резидентов вооружили, женщины ихние и те с винтовками. А с нами — все рабочие. Винтовок не хватало. Бывало, придет рабочий и сидит, пока винтовка освободится. Случалось, убьют, прежде чем дождется. Ничего, одолели все-таки. Потом называли — николаевский инци-

дент. А какой инцидент? Просто звери, провокаторы!

Он рассказывал не торопясь. Помолчит, вспомнит, расскажет. И снова помолчит. Вопросы сбивали его. Он шел по цепи своих воспоминаний, дорогих и страшных:

— Был партизан Орлов. Молодой парень, смелый. Любили его у нас. Подошли к Николаевску. В Николаевске — японцы и белые. С белыми война, а японцы — этот самый нейтралитет. Послали парламентера. Орлов поехал. Схватили его японцы, свечкой палили, на плите поджаривали... На плите! Потом уж, после взятия Николаевска, мы откопали труп... Лицо обезображено, глаза выжжены, нос и язык обрезаны, спина исполосована...

Тогда же замороженных отрыли. Выведут они наших партизан на Амур — могилы во льду колоть. Проткнут лед, чтобы вода в могилу поднялась, свяжут человека по рукам и ногам — и в воду. Так и вмерзает вместе с водой. Таких тридцать трупов нашли... Все целые, мороженые... И каждый — в японских отметинах: или руки вывернуты, или штыком истыкан, или поджаренный... Мы тогда выставили эти наши партизанские трупы в бывшем гарнизонном собрании: вот они, жертвы японско-белогвардейского террора, смотрите! Партизаны плакали...

Как я жив остался — и не пойму. Что стоит жизнь, тогда не думали. Думали — как дороже отдать ее. Пусть умру — лишь бы на мою жизнь их жизней побольше взять. Как в беспамятстве были. Был у меня друг, однолеток мой, Сашка. И пулемет — в бою отбили. Сашка был на пулемете вторым номером, я — первым. Однажды бой. Нащупали беляки наш пулемет, так и шпарят по нему. А пулемет у нас — единственный. Сашка на пулемет бросился, лег, обхватил руками. Будто ума решился. Я тащу его, кричу: «Сашка!», а он отбивается. «Боюсь, — кричит, — пулемет попортят гады!» Ничего, и сейчас живой... В Средней Тамбовке в кооперации служит...

Так и воевали. Смелостью да нахрапом... Где сотня нужна — двенадцать человек брали. Где тысяча нужна — сотней шли. Крепость Чныррах брали с берданками против артиллерии да с деревянными трещотками — для страху. А то еще делали так. Сани у нас. Наложим сена, гоняем вдоль фронта взад и вперед — гляди, мол, сила какая... Киселевка тут есть. Казачье село. Казаки окопались крепко, камнем обложились, снегом, водою облили — заледенело все. И дома рядом — греться можно. Нам бы их силой никогда не взять. У них—сопка, а мы с Амура, с голого места. И численное превосходство за ними. «Ре-

бята, — кричит наш командир, — одна смерть! Силой не взять — на испуг возьмем сукнных сынов!» Знамена вперед, нас человек пятьдесят с берданками да возчики следом с палками — тоже будто ружья, и кричим во всю глотку: «А-а-а!», и с криком на приступ. Ошалели казаки, раз-другой выстрелили, на коней — и тикать...

Был у нас командир — Тряпицын. Анархист, из матросов, отчаянный, под пулями никогда не ложился. И свободу он так понимал, никогда ее не видавши, что анархисты за самую вольную свободу. Знамя у него было красное с черным и надпись: «Первый анархо-коммунистический отряд». А лозунги были: за советскую власть, против беляков и японской военщины. Мы за ними и шли. А в политике тогда мало понимали, потом опытом узнали, когда переметнулись анархисты к бандитам да к белякам. Ну, сперва ничего. С партизанским центром связь держали, с Лазо. Шли к Николаевску. Кругом белые. Податься некуда. Силы нету терпеть, и воевать тоже сил нету. И вот Тряпицын в Мариинское поехал, в белый штаб. Один в санях, только возница с ним. Часовой останавливает: «Стой, кто идет?» А он встал в санях, ответил: «Командующий Красного Николаевского-на-Амуре фронта Тряпицын». Часовой и винтовку выронил. А он в штаб. Офицеры чай пили, совещались. Он вошел: «Вы Тряпицына ищете? Я Тряпицын. — Наган вынул, на стол положил.—И вы кладите. Будем разговаривать». Положили. Сидят, ничего не понимают, чай предложили— выпил. Офицеры спрашивают: «Где ваши солдаты?» А он говорит: «Вот пойду поговорю с вашими солдатами, и будут они мои». А солдаты уже во все щели смотрят, в окнах торчат, пулеметы тащат, разоружаются. Ну, он и сказал офицерам: «Уходите! Сила моя. Все равно от партизан вам конец». Вышел, в сани сел и поехал обратно. Километра три все ждали погони и залпа. Ничего. А офицеры тут же собрались и удрали; с ними некоторые солдаты, преданные белогвардейцам. А которые революционно настроены — к нам перешли со всем вооружением и амуницией...

— Чистая работа! — сказал Епифанов.

— Была у него секретарша или вроде начальника штаба — Нина. Авантюристка. Хитрая женщина, говорить умела. И вела свою линию незаметно, да ловко. Чтобы, значит, оторвать Тряпицына от коммунистов, от советского пути. На свой бандитский путь его сворачивала. Дружков ему подсовывала... И набежало к Тряпицыну

всякого народа. Лапта тоже. Спиртонос он был, контрабанду из Китая носил. Потом у Калмыкова служил. А потом к партизанам перекинулся. Предатель был, сукин сын! Сперва притаился, в доверие вползал, а когда Николаевск пришлось оставить, тут его бандитское нутро сказалось. Нашу партизанскую честь грязью пятнал. Никого не щадил. Мы воюем, жизни своей не жалеем, а наши партизанские дома Лапта разоряет. И Тряпицыну голову задурил... Или анархистский дух заговорил в нем? Не знаю. Только продали они нас...

Касимов резко поднялся. Провел сухой мускулистой рукой по влажному лбу:

— Однако пошли. Солнце уже высоко.

Разговориться уже не удалось. На вопросы Касимов просто не отвечал, как бы не слыша их. Он шел быстро, с какой-то змеиною гибкостью пролезая сквозь кустарники, и комсомольцы не посмели догонять его — расстроился человек.

Они тихо переговаривались: надо пригласить его к костру, пусть расскажет всем. Жалко, глядите, как разволновался... столько пережить, конечно, тяжело...

Андрей Круглов снова задержался над поваленным бурей деревом, а потом побежал догонять Касимова. Когда остальные подошли, Касимов говорил:

— Это правильно. Корень здесь неглубокий. С одной стороны подрубайте корни, с другой — тяните. Мы, бывало, тоже так делали.

У входа в село он совсем было распрощался — и вдруг вернулся, оглядел комсомольцев и не то с грустью, не то с обидой сказал:

— Так-то, товарищи родные! По всему краю пройти— партизанской кровью земля смочена. Без нас и вас бы здесь не было...

И пошел, размахивая утками.

На следующий день Андрей Круглов применил на корчевке новый способ: комсомольцы веревками зацепляли верхушку дерева и сильным рывком, подобно бурному ветру, валили дерево, с корнями выдирая из почвы.

А когда от села к участку протянулась по тайге первая дорога, ей дали торжественное название проспекта Красных партизан.

## 21

Ночь была тиха. Весь лагерь спал. И вдруг — точно взорвался застоявшийся, душный воздух. Точно вдребезги разлетелось небо.

Раскатистый удар обрушился прямо на палатки, на головы спящих людей. Они проснулись все сразу, ничего не соображая, в темноте наталкиваясь друг на друга. Порыв ветра пронесся над лагерем, отдергивая пологи палаток. И в просветы входов все увидели, как, треснув, действительно раскалывалось небо по извилистой кривой. И тотчас услышали грохот обвала.

Снова загрохотал гром. Ослепительная голубовато-белая молния прорезала небо и ткнулась острым концом в землю.

Когда гром затих, все облегченно перевели дыхание,

Но это было только начало. Только пробные, перед настоящей игрой, удары. Природа разыгралась всерьез. Синие прорези молний непрерывно полосовали небо, бросая мимолетные отблески на деревья, на серые грибы палаток, на мечущиеся фигуры полуголых людей. И вслед за каждым взмахом молний следовало оглушающее сотрясение воздуха, заставлявшее пригибать головы и съеживаться, чтобы не раздавило, не опрокинуло навзничь.

Лилька закрылась подушкой и плакала, пронзительно вскрикивая каждый раз, когда синее пламя озаряло внутренность палатки. Катя Ставрова, задрав любопытный носик, взвизгивала от удовольствия:

— Ну и гроза! Ну и красота!

Но и она начинала уставать от напряжения, разлитого в атмосфере, от грохота, от мерцания молний, слепивших глаза.

Снова порывом пронесся ветер. Потом еще и еще. Молния осветила темную сплошную массу, надвигавшуюся из-за дальних сопок. Сперва эта масса была далека—туча как туча. И вдруг она раскинулась на половину неба и стала быстро приближаться. Порывы ветра участились, освежая воздух и неся на своих крыльях предчувствие перемены.

— Сейчас кончится, — зевая, сказал Епифанов и полез обратно в палатку — спать. Но сильный порыв ветра рванул полотнища палаток, кое-где выдернул из земли колья и взметнул паруса освобожденных полотнищ.

— Караул, летим! — закричал Валька Бессонов, повиснув на бесующемся парусе.

Комсомольцы бросились закреплять палатки. Вспышки молний озаряли их напряженные руки, склоненные спины, взволнованные и смеющиеся лица. Раскаты грома неистовствовали над их головами.

Выскочив из палатки, во весь голос ревела Лилька. Сосредоточенная и опьяненная борьбой, вцепившись слабыми руками в непокорное полотнище, боролась с ветром Тоня.

А ветер налетал новыми, все более мощными порывами. Темная туча надвигалась все ближе... И вот разом, как бы прорвав небесную плотину, хлынула сверху вода. Это нельзя было назвать дождем, — это рушилась на землю масса воды, сплошная и неудержимая. В одну минуту все вымокли с головы до ног.

Началась суматоха.

Все одевались как попало, спасали от воды чемоданы, сапоги, одеяла. То и дело раздавалась отчаянная ругань, когда чья-либо палатка не выдерживала напора воды и ветра и обрушивалась на головы своих обитателей. Бессильные что-либо сделать, комсомольцы натягивали над собою парусину и сидели под нею, сбившись в кучу, шутя и злобствуя, прикрытые одним чехлом. Намокшая парусина топорщилась и холодила, с боков пронизывал ветер, снизу журчала и хлюпала вода.

А извержение воды продолжалось, и молнии с трудом пробивались сквозь завесу ливня, окрашивая ее в зеленовато-желтый цвет. Когда затихал гром, от реки доносился новый пугающий звук: это бился, шипел, лез на берег, плевался пеной растревоженный Амур.

Баржа, на которой помещались руководители строительства, жалобно скрипела и качалась на волнах. Морозов проснулся и несколько минут прислушивался,—в промежутках между раскатами грома явственно слышался беспокойный гул реки. Морозов любил грозу и с интересом следил за сверканием молний, освещавших каюту. Потом он с тревогой подумал: «Затопит участки работ, будет тяжело работать...» И вдруг подскочил, стал лихорадочно одеваться. Грузы! Грузы на берегу!

На палубе он столкнулся с Вернером. В свете молний он увидел необычайно взволнованное, искривленное отчаянием лицо.

— Это гибель... гибель всего! — простонал Вернер и стиснул рукою виски.

— Вот перед этим человек бессилен, — сказал рядом Гранатов. — Глядите, как быстро поднимается вода.

Морозов стоял, закусив губу. Да, с этим бороться трудно. Если погибнут грузы, это настоящая катастрофа... А как их спасешь?

— Врешь! — рявкнул он и схватил Гранатова за край плаща.—Давай плащ, живо! Не может быть!

Он скатился, спотыкаясь и скользя, по сходням и побежал к палаточному лагерю, увязая ногами в набухшем водою песке. Ливень бешено колотил по резине плаща, по кепке, по шее. Кепка превратилась в холодную мокрую тряпку. Плащ не спасал, — вода струилась за воротник, под рубаху. Ноги стали тяжелы и неповоротливы в намокших и облепленных песком и грязью сапогах. Но Морозов бежал, грузно переваливаясь, хрипло дыша, втянув голову в плечи. Молнии помогали находить дорогу. Когда он добрался до лагеря, он не узнал его: на месте палаток — бесформенные кучи парусины, все размыто, исковеркано, залито водой.

— Ребята, станки! — крикнул он, приподымая край ближайшей палатки.— Станки на берегу, комсомольцы! Станки зальет!

Палатки ожили. Парусиновые чехлы поднимались, выглядывали испуганные лица.

— Станки на берегу! — кричал Морозов, бегая от палатки к палатке, засовывая голову под чехлы.—Станки зальет, ребята!

К его голосу присоединились новые:

— А цемент? Цемент!

— А ящики с крупой!

— А мука!

И все заглушающий вопль Пашки Матвеева:

— А моторы! Моторы! Моторы!

Андрей Круглов рванулся к реке. Но когда он, шлепая по воде и скользя по намокшей глине, спустился на берег, там уже копошились десятки фигур, а Коля Платт стоял по пояс в воде у затопленных моторов и кричал:

— Скорее, товарищи, все к черту залило!

И тогда же он увидел долговязую стройную фигуру Вернера в резиновых сапогах и зюйдвестке. Вернер метался по берегу, увязая в песке, и с отчаянием смотрел на свои богатства, уничтожаемые водой.

А по обрывистому скату, падая и перегоняя друг друга, сбегали все новые, новые, новые добровольцы. Никто не командовал, никто не спрашивал, что делать. Всем была ясна задача, и рассуждать было некогда. Ветер гнал волны на пологий берег, безудержно струилась вода. Над

берегом стояли сараи, где жил народ. Этот народ—комсомольский, неприхотливый, понятливый — тоже высыпал на берег. И все стали поднимать, таскать на спине, волочить в сараи и к сараям трубы, станки, ящики, мешки. Подъем был глинист и крут, люди падали, спотыкались, увязали в глине, но никто не ушел с берега.

Потом, перебирая события минувшей ночи, комсомольцы никак не могли установить, кто что делал. Видели Морозова, тащившего на себе ящик на пару с Епифановым. Бригада Бессонова, волочившая наверх моторы, рассказывала, что Морозов был с ними. Катя Ставрова, таскавшая мешки с цементом, уверяла, что Морозов добрый час таскал с ними цемент. Казалось, он был одновременно всюду. И это он, спасая залитый инструмент, бросился, как был, в воду, и уже за ним попрыгали другие.

— Вот вам и романтика! — кричал он комсомольцам. — Кто любители приключений? А ну-ка, давайте сюда!

Тарас Ильич пришел на берег в самый разгар работы. Он постоял на пригорке, оглядывая торжественную и жуткую картину, озаряемую блеском молнии. Его худая фигура помаячила над берегом и скрылась. Гриша Исаков заметил его и с горечью подумал: «Пошел сушиться». Но часом позднее он столкнулся с Тарасом Ильичом на берегу. Тарас Ильич, задыхаясь и отплевываясь, вытягивал из воды ящики с электрооборудованием.

— Сердится на вас! — кивнув головой на небо, крикнул Тарас Ильич и улыбнулся — и не понять было, шутит он или говорит серьезно.

Тоня Васяева наткнулась в сарае на Сергея Голицына. Сергей стоял босиком на земляном полу и выливал из сапога воду. Он знал, что отдыхать и сушиться еще не время, но ему было так плохо в мокрой одежде, в наполненных водою сапогах под этим невиданным ливнем, на резком ветру.

— Греешься? — дружелюбно крикнула Тоня, сбросив с плеч мешок и тяжело переводя дух.

Но Сергей был зол на себя, и присутствие девушки взбесило его, — надо же было ей появиться как раз в минуту его слабости!

— Уйди с дороги! — буркнул он и тряхнул перед ее носом пропитанным водою пиджаком.

Тоня была слишком мокра, чтобы чувствовать брызги. Но грубость Сергея заметила и поняла, что он укрывается в сарае, вместо того чтобы работать.

— Неженка! — крикнула она с презрением.—Пойди попросись к старикам на печку.

И ушла.

Сергей побежал из сарая на берег и с остервенением принялся за работу и все надеялся, что встретит на берегу Тоню, чтобы Тоне стало стыдно. Но в этой суматохе, в темноте, под проливным дождем встретиться было трудно.

А дождь все лил стремительными, колючими струями, и земля напиталась водою до отказа, — было трудно вытягивать ноги из топкого месива. Ветер по-прежнему рвался вперед, нагоняя на берег холодные волны; целые потоки воды с неба, берегов, из всех падей и горных речек устремлялись в Амур. И Амур, бурля и ворча, упорно вылезал из берегов.

Сараи не вмещали и половины грузов. Ценные станки стояли под открытым небом. Коля Платт метался возле них, закусив губы.

И тогда Клаву осенила счастливая мысль: использовать палатки, чтобы накрыть станки и грузы. Проваливаясь в ямы босыми ногами, грязная, мокрая, задыхающаяся от усталости, она притащила из лагеря тяжелый сверток парусины.

У самых сараев она поскользнулась и чуть не сорвалась с кручи, но чьи-то руки подхватили ее на лету. Она не увидела, но почувствовала, чьи это руки. Она задержалась в неожиданном объятии, прикрыв глаза от усталости и счастья.

Блеснула молния, и Клава увидела мокрое, оживленное лицо Круглова. И он увидел мокрое, нежно улыбающееся лицо Клавы. Грянул гром. Клава на миг прижалась всем телом к Круглову, ее губы уткнулись в мокрую рубаху. Ливень поливал их сверху. Клава отстранилась:

— Спасибо, Андрюша!

Она побежала дальше, согнувшись под тяжестью парусины. Она тихо смеялась про себя. Она любила и еще не знала, что любовь бывает безрадостна.

Рассвет долго терялся за темной пеленою дождя, но все-таки пробился сквозь нее. Наступило бледное утро. Оно осветило страшный разгром, произведенный бурей: почти все палатки были сорваны, и остатки их оснований торчали из воды, как жертвы кораблекрушения. Над берегом, между сараями и прямо на улице, были свалены кучами ящики, моторы, станки, бухты веревок и тросов,

мешки, трубы. Моторы и станки угадывались в бесформенных глыбах, окутанных парусиной. В сараях и банях громоздились ящики и подмокшие мешки. Цементная пыль образовала на полу серую цементную кашу.

На берегу еще продолжалась работа. Измученные люди, по пояс в воде, вытаскивали затопленные трубы. Вокруг них бурлили мутные пенистые волны. Наклоняя головы, чтобы защитить лицо от ветра и дождя, люди нащупывали на дне трубу, вытягивали ее за конец и бегом, стараясь разогреться, тащили на горку. И снова, наклоняя головы, скользили по глинистому скату вниз, чтобы в сотый раз окунуться в ледяную воду...

Среди них находился бледный, осунувшийся за ночь Гранатов. Его тонкие руки посинели, и багровыми змеями обозначались на них шрамы.

Рядом с ним, не сдаваясь, работала Тоня. Она ни за что не соглашалась уйти от непосильной для нее мужской работы. Временами ее охватывало такое утомление, что хотелось тут же упасть и заснуть. Но она сдерживала себя усилием воли, и глаза ее горели гордостью. Она смотрела на Гранатова с преданностью и упоением, ей казалось, что в эту ночь она завоевала право стоять рядом с ним как товарищ.

Комсомольцы заполнили столовую, контору, бани, чердаки, сеновалы, кое-кто пытался устроиться в уцелевших палатках, но сырость и холод выгоняли их на поиски лучшего убежища.

Коля Платт и другие механики осматривали и протирали станки.

Круглов с монтерами проверяли и сушили электрооборудование.

Плотники мобилизовали девчат и вместе с ними рассыпали по столовой гвозди из подмоченных ящиков. Их ругали и гнали прочь, — гвозди были отнюдь не самым важным из того, что надо было спасать, — но плотники стояли на своем:

— Ржавый гвоздь хуже смерти. Поработайте сами, тогда узнаете.

А девчата обрадовались теплому и сухому месту, развесили свои чулки и платья, закутались в пальтишки и в одеяла и с веселым ожесточением тряпками перетирали гвозди.

Морозов, покачиваясь, прошел по селу, добрался до баржи, медленно вскарабкался по сходням. В каюте уборщица подтирала воду, протекшую сквозь потолок.

— Победили все-таки, — прохрипел Морозов и, чтобы не мешать уборщице, сел на край койки у двери, привалившись к стенке. Через минуту он уже спал.

Уборщица попробовала стянуть с него сапоги, но они разбухли от воды и не слезали. Она прикрыла Морозова одеялом и тихонько вышла.

К полудню прояснилось. Серая завеса дождя уползла на восток. За нею поплыли по обновленному небу белые прозрачные облачка. Жаркое летнее солнце ощупывало мокрые деревья, мокрые дома, мокрую землю, мокрых людей. И куда девались усталость, раздражение, лихорадочный озноб от бессонницы и холода!

С криками, с хохотом, с шутками высыпало на улицу подмокшее население будущего города. Все заборы, плетни, кусты запестрели раскинутыми на них штанами, рубахами, портянками, одеялами. На крылечках и завалинках выстроились рядами сапоги, ботинки, туфли, тапочки. Голые спины золотились на солнце.

И вот пронесся на улице клич:

— Ку-па-ться!

Забыв все неприятные переживания ночи — бух! бух! бух! — прыгали в воду грязные, в глине, муке и цементе перепачканные парни. Вода была мутная и холоднющая, но грязь смывалась отлично и усталость вместе с нею, и сразу становилось жарко и радостно, — ну, подумаешь, гроза, ливень, бессонная ночь! И ценные грузы спасены, и палатки восстановить нетрудно, и выспаться всегда успеешь... А все-таки Амур прекрасен, и Дальний Восток — замечательный край, и гроза была совсем не плохая, и поработали на славу. И стоило сюда приехать хотя бы для того, чтобы видеть вот такую сумасшедшую, сногсшибательную грозу.

## 22

Катя Ставрова проснулась очень рано. Утренняя свежесть ползла в духоту палатки из всех щелей. Сквозь щели сочился яркий веселый свет. Пахло тайгой.

Катя вскочила, наскоро оделась и выскользнула из палатки. И сразу ахнула—так чист и свеж воздух, так хороша тайга в эту раннюю пору.

Сквозь густую листву пробивались красноватые солнечные лучи. Ветерок с Амура слегка колыхал листву, и световые пятна покачивались как живые. Бархатистая бабочка порхала с листа на лист, высовывая длинный

язычок и складывая пугливые крылья. У Катиных ног прополз черный жук с длинными усами. Он посмотрел на Катин башмак, загудел и взлетел, распустив черные крылышки. Катя проводила его взглядом,—он летел как будто стоя, подняв над собой внушительные усы.

Хруст, шелест, шепот шел из тайги...

Катя потянулась, раскинула руки, блаженно вздохнула. (Ну кто теперь поверит, что была когда-то Старослободская улица, и прилавок, и бесконечные огурцы, и муж?)

Она осторожно ступала по старым, гнилым листьям, по молодой траве, по сухим веткам, — шаг за шагом отходила от лагеря в тайгу, и тайга замкнулась вокруг нее, и ухо чутко воспринимало таинственный невнятный говор.

Она трогала глянцевитые, влажные от росы листья. Склонялась над мшистыми кочками и ласково дразнила ретивых муравьев, перегораживая им дорогу палочкой.

Она подолгу разглядывала гигантские, поваленные бурей стволы. Обветренные корни раскорячились, переплетались узлами, они были плоски — они не уходили в землю, а стлались по верхнему покрову земли. Вот почему их выдергивала буря! Круглов валит деревья так же, как буря, — сразу с корнями. Каждое дерево тянут шесть — восемь человек. Какова же сила ветра? И Катя, содрогаясь, представляла себе ночной шум тайги, свист ветра, падающее под напором ветра дерево, и треск, и скрип, и грохот лопающихся корней.

Она ощупывала мертвые ветви сухостоя: бедняжки, они хотели жить, но для них не хватало солнца.

Пролетали бабочки — она замирала на месте, затаив дыхание, чтобы не испугать их.

Где-то в стороне трещала ветка — Катя расширяла зрачки и молча вглядывалась в сумрак тайги: может быть, сейчас вон там, из-за густой заросли, выскочит изящный пятнистый олень с чуткими ноздрями, с изогнутыми сильными рогами, с глазами восточной красавицы.

Потом она шла дальше, и ей не было обидно, что олень не выбежал. Все было впереди: и олени будут, и медведи, и даже, наверное, тигры... Ведь тайга принадлежит ей, и все ее тайны будут открыты...

— А-у-у! — закричала она, чтобы услышать эхо.

Тайга ответила измененным голосом, издалека, неизвестно откуда.

Сверху упала ветка.

Прокричала птица — неизвестно какая.

Катя рвала молодые ветки. Влажные листья и кора пахли остро, вкусно, необыкновенно, как могут они пахнуть только весной, в чудесное свежее утро, в незнакомом лесу. Она зарывала лицо в эти пахучие ветки, ненасытно вдыхала их запах и вдруг начинала петь — еле слышно, для себя одной.

Но тайга вокруг нее была такая вдумчивая, такая послушная и чуткая... И Катя запела громко, уже не для себя, а для нее — для сумрака зарослей, для ярких пятен света на листве, для молодых побегов тальника, для мшистых кочек, для птиц, для оленей, которые могли же быть где-то рядом, вон там или здесь, в нескольких шагах, замаскированные под древесный цвет. Она пела что пелось, не думая, — какую-то дикарскую мелодию на победные слова завоевателя...

И вдруг застыла на месте.

Впереди явственно трещали и чавкали тяжелые шаги.

Олень? Медведь? Тигр?

Она не испугалась. Нет. Она знала, что́ надо делать, если мелькнет оранжевая спина и сверкнут из темных кустов зеленоватые кошачьи глаза. Надо только не двигаться и крикнуть те слова, что знал Дерсу Узала: «В тайга место много. Моя твоя не трогай, иди, иди, иди!» Только весело кричать, как другу. И зверь уйдет, и будет немного страшно или даже очень страшно, но зверь не гронет...

Катя обхватила руками березку и ждала. Березка была такая дружественная, теплая, клейкая, от нее пахло грибами и древесным соком. И жизнь была такая чудесная, жизнь не могла кончиться вот так, ни с того ни с сего... «В тайга место много. Моя твоя не трогай, иди!» И зверь уйдет... Но треск сучьев, и чавканье мха, и шелест раздвигаемых ветвей приближались. Сердце громко стучало, так громко, что заломило в висках... «В тайга место много...»

Из-за поваленного дерева показалась высокая шапка, потом дымок из трубки, и вот уже весь человек виден — старый, обтрепанный, в болотных сапогах с присохшей грязью, с трубкой в углу беззубого серого рта.

— Дедушка, здравствуйте! — крикнула Катя.

— Здравствуй, девушка, — ответил он и медленно пошел навстречу Кате, разглядывая ее с головы до ног. Катя тоже разглядывала старика, — такого в селе не было.

— А вы откуда взялись, дедушка? — спросила Катя.

Старик поднял брови и продолжал разглядывать Катю. В его глазах мелькнул веселый огонек. Но он не засмеялся, а сказал веско и неторопливо:

— Тайга большая, места хватит... Зверю в ней свободно, и птице свободно, и человеку... Всякого гостя она принимает одинаково... Но если скажет человек — моя тайга! — крепко отомстит тайга... ой, крепко!

— Вы, значит, в тайге и живете? — замирая, спросила Катя.

И сам старик, и его странные слова, и прокуренная трубочка, и сапоги с присохшей грязью вызывали уважение и трепет восхищения. На этот раз сомнений нет— это человек *оттуда,* человек тайги. Русский Дерсу Узала...

— А ты откуда? — спросил старик и выколотил свою трубку о ствол березки — той самой, которая должна была заслонить Катю от тигра.

Катя охотно и гордо рассказала о себе, о стройке, о комсомольцах...

— Люди говорили, — скупо подтвердил старик и еще раз внимательно оглядел Катю. — А ты что — с мужем?

Катя возмущенно тряхнула головой. Она запальчиво объяснила, что приехала строить, как и все, что она самостоятельна. Старик закуривал с непроницаемым лицом. Но так и надо было. Люди тайги должны быть молчаливы, суровы, сдержанны.

Катя с восхищением изучала первого человека из тайги.

— А вы... куда идете?

Старик спрятал спички, затянулся, кивнул головой в сторону села и спросил с явным осуждением:

— А ты чего одна ходишь? Не боишься?

— А чего мне бояться? Я ничего не боюсь,—сказала Катя. Она не лгала, она просто забыла про тигра.

— Зверя бояться надо, тайги бояться, человека бояться, — медленно сказал старик. — Пуще всего человека надо бояться. Поживешь, дочка, узнаешь: самое страшное — человек. Человек человеку — враг. Человек изобретает и строит, и огонь поднимает не для другого человека, а во вред, на смерть, на гибель...

Катя слушала, не смея возражать. Может быть, сейчас он откроет ей заповедные законы тайги, законы страшные и темные, которые ей и другим — всем, всем, комсомольцам — предстоит изменить, переделать на веселые и светлые.

— А вы где живете?.. В тайге? — прошептала она, мотнув головой в гущу деревьев.

Он кивнул, подтянул сапоги, подбросил на плечо мешок, сказал с лаской в голосе:

— Хорошая ты. Молодая. Жалко тебя.

Катя дрожала, сама не зная почему. Старик пошел дальше, не позвав ее, и она робко поплелась за ним к селу. Он шел тихо, с трудом передвигая ноги.

— Вы устали. Вы, может быть, к нам зайдете? — спросила она, когда впереди мелькнули белые полотнища палаток.

Старик остановился, спросил:

— Твое имя как?

— Катя. Ставрова.

— Иди, Катя. Я к тебе зайду. Вечером зайду, когда солнце уйдет за сопки. Расскажу тебе, как люди живут... Много расскажу... Как медведь живет. Как птица живет. Как человек убивает человека... Прощай!

Катя смотрела ему вслед. А затем понеслась к лагерю, врывалась в палатки, размахивала руками и кричала:

— Ребята! Какого я человека встретила! Настоящего! Из тайги!

Вечером старик сидел у костра и рассказывал. Вот здесь, на этом самом месте, стояли солдаты. Солдаты поленились разложить костер. Ночью подкрался тигр, задрал коня и унес человека. В тайге, в истоках горной реки, живут гольды. «Лача орки най», «русский — плохой человек», — говорят они. Их женщинам нельзя смотреть на русских. Если придет русский, они оставят его помирать с голоду, но не дадут ни рыбы, ни воды... Зимою стоят морозы, за ночь метель заметает дома выше труб. Он сам видел, как падали, на лету замерзая, птицы.

— И вы, комсомол, — говорил старик, посасывая старую трубочку, — вы настоящие герои, что решились поехать сюда...

Катя задыхалась от гордости. Она была главным героем. Она привела старика. Она решилась — нет, она сама вызвалась поехать сюда. И пусть свирепствуют метели! Уж она-то, во всяком случае, не даст себя замести.

## 23

В середине июня погода резко изменилась. Стало холодно, как в первые дни весны. Дул нескончаемый колючий ветер, сверху, с сопок, холодные массы воздуха вры-

вались в низкую лощину, трещали и гудели в тайге, вздымали на Амуре крутые волны. Часто шел дождь, холодный и мелкий.

Работать стало тяжело. Тело покрывалось холодной испариной. Приходили с корчевки измученными, грязными, мокрыми. Переодеться было не во что. Чтобы обогреться и обсушиться, разжигали костры. Доморощенные сапожники без конца латали прогнившую обувь. Когда ложились спать, постели были влажны от сырости, а к утру сапоги покрывались белым налетом. Многие кашляли, у Пашки Матвеева на ногах появились странные бурые пятна.

Кормились пшеном. Пароходы с продовольствием почему-то задерживались. Приходили станки, колеса, рельсы, а мяса и овощей не было. Сперва пшенная каша понравилась. Потом говорили: «Опять пшено». Потом стали кричать: «К черту пшено, мы не куры!»

Вернер посылал телеграмму за телеграммой. Он успокаивал комсомольцев: «Потерпите. Все идет. Все уже на колесах».

Морозов ходил по участкам работ во время обеда. Он не уговаривал и не обещал ничего, но иногда бросал самому шумному ворчуну: «Если ты сейчас такой ворчун, что же из тебя к старости получится?» — или говорил сочувственно: «Ну вот, хотели романтики да трудностей, — а дома-то, признаться, лучше!»

— Ничего не лучше! — кричали ему в ответ те самые парни, которые только что проклинали пшено и погоду. — Разве мы жалуемся?

Пшено было все то же, а настроение поднималось.

Вечерами не знали, куда деваться. Не было ни клуба, ни просто крыши над головой. Андрей вел регистрацию комсомольцев, но провести конференцию для выборов комитета не мог, — негде собраться. Ждали хорошей погоды.

Маленькие клубы возникали вокруг костров. Мокрые сучья шипели, пламя и дым метались во все стороны, — того и гляди спалит лицо. Но комсомольцы не унывали. У костров пели песни. Клава, покашливая, рассказывала деревенские смешные или страшные сказки, подражая интонациям старой сказительницы. Ораторствовал Сема Альтшулер. Читал стихи Гриша Исаков. Иногда приходил Морозов, садился поближе к огню, говорил запросто:

— А ну, сдвигайтесь потеснее. Чем так скучать, послушайте лучше, что я вам расскажу.

Он рассказывал о соседних странах — Японии, Китае,

о международном положении, или вспоминал гражданскую войну, или увлекал ребят мечтами о будущем, о том, как будут жить при коммунизме, какие чудеса принесет развитие науки и техники. Морозов не был хорошим рассказчиком, но его любили за ясность и убедительность речи, за умение посмеяться, подчеркнуть смешное и за серьезные знания, которые чувствовались под внешней грубоватой простотой.

Приходил Гранатов и рассказывал о пленниках харбинских застенков. Таежный гость — старик — подсаживался к костру, попыхивая прокуренной трубочкой. Его звали Семен Порфирьевич. Он рассказывал о диких трущобах, о людях, бродящих по тайге и убивающих охотников и собирателей женьшеня, о грубых нравах, о страшных морозах, о стаях изголодавшихся волков, нападающих на деревни.

Приходил и Тарас Ильич. Но он больше молчал, думая свою думу. Его считали своим — он работал на стройке в интернациональной бригаде Семы Альтшулера. Его хотели премировать и долго спорили — чем. Но Тарас Ильич неожиданно исчез. Его ждали день, два, неделю... Он ушел с ружьем, с мешком за плечами и затерялся в тайге. «На косачей пошел», — мрачно сказал Семен Порфирьевич, с первого дня невзлюбивший бывшего каторжника. Комсомольцы уже знали, что охотники «на косачей» — это таежные душегубы, грабители. Они поверили старику, но огорчились. Сема Альтшулер и Гриша Исаков ходили пришибленные, удрученные — они считали Тараса Ильича своим подшефным.

Коля Платт писал длинные письма Лиденьке. Он не жаловался, но только писал: «Хорошо, что ты не поехала со мной. Девушке здесь не выдержать. Мы работаем в болоте, как чернорабочие. Я рад, что не завлек тебя сюда...»

Партийный комитет обсуждал доклад Вернера о положении на строительстве. Вернер был озабочен, резок, утомлен. Он держал про себя свои заботы. Властным голосом с неврастеническим раздражением он обрушился на членов партийного комитета. Стоило ему заняться проблемами строительства и отстраниться от непосредственного наблюдения за комсомольцами, все пошло хуже. Выработка снизилась, настроение портится. Что это за комсомольцы, если пшенная каша может повлиять на их энтузиазм? И что делает партийный комитет для их воспитания? Почему слаба дисциплина?

Морозов резко прервал его:

— Вы лучше скажите — когда вы начнете строить дома?

Круглов молчал. Ему очень хотелось сказать, что энтузиазма много, но заботы о людях мало. Он знал своих товарищей. Они не были виноваты в том, что за последние дни упала выработка. Половина из них ходила без сапог, ночью было трудно заснуть от холода. Слова Вернера звучали издевательски. Но Круглов любил Вернера за властность, за четкость мысли, он угадывал под неврастенической раздражительностью Вернера тревогу и утомление.

Вернер сказал:

— Пустим лесозавод — начнем строить дома. До осени еще далеко. Я знаю, что делаю, и напрасно вы отклоняетесь в сторону, когда ваша обязанность — обеспечить воспитание масс.

— Наша обязанность — интересоваться всем, и критиковать, если вы работаете плохо, и спрашивать с вас хорошую работу, — резко сказал Морозов.—Так что ты уж извини, но я прошу ответить на мой вопрос как следует.

Заговорил Гранатов:

— Нельзя терять историческую перспективу. Конечно, сырость и пшено — плохо. Возможно, что будут болезни, жертвы. Это тяжело. Это наши люди, молодежь. Но я вас спрашиваю, — он говорил тихо, с грустным лицом, по которому пробегала судорога, — я вас спрашиваю: разве можно перестроить жизнь без жертв? Мы должны строить в легендарно короткие сроки. И надо иметь мужество сказать самим себе: да, будут жертвы! Да, этот город вырастет на костях... Я готов к тому, что и мои кости лягут под один из фундаментов.

Вернер склонил голову. Круглов видел в его лице страдание. Он сам страдал. Он не знал, кто прав. Слова Гранатова произвели на него сильное впечатление. «Как хорошо, что я не взял слово, не опозорился, это было бы шкурничество», — думал он. Да, раз нужно для блага страны, можно и нужно отдать жизнь. Гранатов готов. А я? Он знал, что готов тоже. Но мысль о Дине наполняла его глубокой печалью. Как мало он жил, как мало любил. Он думал о цинге Пашки Матвеева, о робком покашливании Клавы и ее усилиях развлечь товарищей сказками, о восемнадцатилетней беззаботности Пети Голубенко...

Гранатов продолжал:

— Партком должен понять: главное — это корабли. Корабли, а не люди. И мы должны пойти на любые жертвы, но в кратчайший срок построить завод.

Морозов прервал его грубо, недружелюбно:

— «На костях, на костях»!.. Вздор! Кому это нужно? Вы здесь разводите теории, да еще вредные теории, а нужно заниматься снабжением, строить больницу, выписать врача, достать сапоги. Партия никогда не позволит нам разводить тут такие настроения. И кто это выдумал ставить вопрос подобным образом — или корабли, или люди? Это паника какая-то, а не политика! В чем дело — лес кругом, а дома построить нельзя? Или в стране, кроме пшена, кормить нечем? Врачей нету? Вот о чем надо говорить. А вы — «на костях»!

Он злился. Он был груб. По лицу Гранатова прошла судорога. Он сказал холодно, не глядя на Морозова:

— Товарищ Морозов прекрасно знает, что Вернер и я делаем все возможное, чтобы улучшить снабжение. Мы бомбардируем Хабаровск телеграммами. Мы послали агентов. На днях я поеду лично. Надо считаться с фактами. И надо понять: корабли, корабли во что бы то ни стало — вот чего от нас ждут, вот по чему будут судить э нашей работе.

Круглов напряженно взвешивал: кто прав? Ведь сам Морозов предупреждал: вас ждут большие трудности. Легко не будет. Но разве это не значит строить, хотя бы и на костях? Нет. «Люди дороже золота...»

— Нет! — крикнул он, откинув томившую его неуверенность. — Гранатов неправ.

— Ну? — неодобрительно откликнулся Вернер. — В чем же?

У Морозова посветлели глаза.

— Я думаю о своих товарищах, — сказал Круглов.— Это золотой фонд края. Люди дороже золота — разве это не так? Без людей корабли — мертвое тело. И ничего мы не сделаем, если не будет заботы о людях. Я не о себе говорю, — заволновался он под изучающим грустным взглядом Гранатова, — я готов на все. Но ребята болеют, кашляют. Выработка... Неужели нельзя временно построить хоть какие-нибудь бараки? Или землянки хотя бы! И что за безобразие в вашей конторе — не могут они прислать картошки, мяса, луку.

Заговорив, он потерял власть над собой. Он чувствовал за спиной горячее дыхание своих друзей, молодых,

жаждущих жить и бороться, полных надежд на будущее.

— Пшено днем и вечером — разве это питание для людей, работающих в лесу с утра до вечера? Люди ходят — пальцы наружу, без подметок. У половины ребят и матрацев нет — спят на досках.

Морозов остановил его движением руки:

— Ясно, товарищи? Так говорит Круглов, один из наиболее стойких комсомольцев. Надо будет — они сумеют и умереть. Но этого *не надо*. Товарищ Вернер, доложи, пожалуйста, какие мероприятия вы думаете провести, чтобы исправить положение.

Круглов закрыл лицо руками. Ему было стыдно. Как это вышло, что он раскричался? Он, умевший убедить товарищей, что и пшено — прекрасная вещь, и спать на холоде — хорошая закалка для организма...

— Я не вижу оснований для споров, — резким голосом говорил Вернер, — и напрасно Морозов пытался представить дело так, что мы не заботимся о людях... Надо помнить об условиях стройки здесь, в тайге, вдали от железных дорог и центров. Круглов это забыл...

— Это ты брось! — снова грубо прервал Морозов.— Вопрос стоит так: корабли построить и людей сохранить. Или — или, так вопрос стоять не может. Продолжайте...

Партком решил немедленно послать Гранатова в командировку для обеспечения стройки на зиму, провести собрания для разъяснения затруднений, начать строить временные жилища, выписать врачей, парикмахера, сапожников, закупить обувь, одежду, матрацы.

Круглов ушел с заседания парткома в смятении. Если бы он пережил то, что пережил Гранатов, он никогда не поддался бы этим шкурным, низменным настроениям. Пшено и сырость — подумаешь, беда!

— Не вешай нос, ты же прав, — сказал ему Морозов.

Но Круглов все-таки не был уверен. Он мучился сомнениями, ворочаясь на голых досках, в сырой палатке, под шум ветра, гуляющего над тайгой.

Наутро комсомольцев отправили на строительство шалашей. Плетенные из прутьев стенки обмазывали глиной. Делали двери, окна, настилали крыши. Ставили на скорую руку простые, сложенные из камней печурки.

— А что? Тепло будет, как в бане, — разглагольствовал Сема Альтшулер, придумавший для шалашей десятки мелких, но важных усовершенствований.—Конечно, это еще не дворцы, но ничего не бывает сразу. Я вам гово-

рю — запишите мои слова, — мы с вами еще поживем в настоящих дворцах, с паровым отоплением и люстрами! Но эти халупы мы вспомним добрым словом. Запишите мои слова.

## 24

У костра было весело. Все как будто сговорились не замечать плохого. С азартом пели песни, смеялись каждой пустячной шутке. Только Андрей Круглов лежал неподвижно, уткнув лицо в руки, — не то спал, не то грустил о чем-то.

Епифанов был доволен, даже счастлив. Ему нравилась кочевая, неустроенная жизнь в палатках, в тесном общении со множеством новых людей. И он это выразил так:

— Вот оставь человека одного в такой неустроенности — пропадет. Не от болезни, не от голода — от тоски-скуки... А вместе — все хорошо. Я бы на всю жизнь согласие дал — в одном месте построить, в другое перекочевать, и опять сначала. Страна еще невозделанная, пустоты много. А за мною так след и тянулся бы — города, мосты, железные дороги.

— Ну, я тебе не товарищ, — сердито буркнул Бессонов. — Что до меня — я отсюда ни ногой. Дудки! Это что же — мы все построим, а другие на готовенькое придут? Здесь и останусь. На заводе. Такого штукатура, как я, с руками оторвут. А нет — другую квалификацию возьму. Ого! Я любую квалификацию в два счета...—Он увидел смеющиеся глаза Кати и неуверенно кончил:—Мне вот сварка очень нравится. Я бы сварщиком пошел.

Катя живо откликнулась:

— Почему сварка? Уж остаться здесь — только сборщиком! Корабли собирать. Деталь к детали... Пока не выйдет он готовенький, чистенький, свежепокрашенный. Другие мечтают: гранитные набережные, большие дома А мне ничего не надо, только бы увидеть, как первый корабль в воду пойдет!

Вальке Бессонову было приятно согласиться:

— Что ж, сборщиком тоже хорошо.

И оба испытующе поглядели друг на друга.

Заговорила Клава. Она очень мерзла, кашляла, сидела у костра притихшая, закутанная в теплый платок. И вдруг заговорила, да так, будто беседует с глазу на глаз с душевным другом:

— Вот если спросить — что самое замечательное в жизни? По-моему — мечта... Когда мечтаешь, все хорошо кажется, и плохого не видишь, и вынести можно все что угодно. Оттого мы и не сдаемся, когда трудно. А кто мещанин — ноет. Мещанин потому и мещанин, что мечтать не умеет.

Она закашлялась, потуже завернулась в платок, продолжала:

— Я вот иногда мечтаю: построим мы большой город. И какая жизнь пойдет! Город новый, социалистический. Комсомольцы все... а мещане, обыватели — зачем им сюда? Мы их не пустим.

— Глупости! — веско обрезала Тоня. — Вздор болтаешь.

— А ты не слушай, — кротко ответила Клава.

— Вздор болтаешь, — наставительно повторила Тоня.—Ты все мечтаешь, а вокруг не смотришь. Думаешь, среди нас мещан мало? Думаешь, человека за год переделаешь? А ведь через год здесь город будет, и понаедет сюда всякий народ и обыватели — вот увидишь, — да еще с самоваром, со всем барахлом прикатят.

— Мечтаю познакомиться, — вежливо обратился к Тоне Сергей Голицын.

— Что? — не поняла Тоня.

— Мечтаю познакомиться, чайку попить из самовара.

— Вот вам, пожалуйста, — проворчала Тоня, презрительно морщась.

Она и Сергей терпеть не могли друг друга.

— Ты, Тоня, еще не доросла, — вкрадчиво продолжал Сергей, подмигивая ребятам. — Только ты не огорчайся. Подрастешь, от перегибов откажешься, будем вместе чаек пить.

Лилька пропела, блеснув глазами:

— У самовара я и моя Тоня...

— Иди к черту! — огрызнулась Тоня.—Глупые шутки.

Андрей Круглов приподнялся, сел, и все увидели, что он вовсе не спал. Лицо было ясное, задумчивое, глаза грустные.

— Бросьте ссориться, — сказал он. — Тут Клава о мечтах говорила. Самое замечательное в жизни — мечта. Как же так, Клава? Значит, в настоящем плохо, только мечта хороша?

Клава растерялась, до слез покраснела: когда Круглов обращался к ней, она всегда чувствовала себя ничтожной, маленькой, глупенькой. Ведь недаром же он так мало

обращает на нее внимания! А вот теперь она высказала при нем свои мысли и, конечно, оказалась неправа.

— По-моему, самое замечательное — дружба. Все мы — из разных мест. У всех дома остались любимые люди. Нам бывает трудно. И все-таки мы веселы и счастливы. А почему? Да потому, что каждый чувствует рядом локоть товарища, потому что нас объединяет крепкая комсомольская дружба. Ведь об этом и говорил Епифанов: один пропадешь, а вместе — все хорошо.

Епифанов сказал:

— Мы, водолазы, без дружбы и жить не можем. Идешь под воду—а наверху моторист воздух качает. Тут мало обязанность выполнять — тут душа нужна; моторист должен чувствовать водолаза, дыхание его понимать. Когда наверху стоит друг — ничего не боишься. Знаешь: и мало воздуху не даст, и много не даст, а как раз в точку. Да и здесь тоже — куда без дружбы денешься? Я вот только высказать не умею, а дружбу я сильно чувствую...

Его мысль подхватил Сема Альтшулер. Он встал, словно то, что он хотел сказать, требовало торжественной позы. Он откинул назад отросшие курчавые волосы:

— Ты не умеешь говорить, но ты думаешь правильно, а я умею говорить, и я скажу за тебя. Дружба—это да, самое большое чувство на свете! Какая радость будет радостью, если нет друга, чтобы разделить ее? И разве горе не убивает человека, если нет друга, чтобы в нужную минуту сказать ему: «Э, в чем дело, смотри веселей!» Буржуазия может обойтись без дружбы, ей нужны деньги, а когда делишь деньги, то чем меньше людей, тем веселее делить. Но я спрашиваю — какой пролетарий работал в одиночку? И разве мы смогли бы построить социализм, если бы у нас не было великой дружбы народов, и дружбы рабочих и крестьян, и дружбы каждого из нас со своим коллективом?

Клава закашлялась. Сема метнул на нее тревожный взгляд, сбросил с плеч пальто, прикрыл им плечи девушки и прекратил смешки суровым, почти величественным жестом:

— Кто смеется и почему? Неужели среди нас найдется хоть один пошляк, который не понимает движения души, когда для друга не только пальто — рубашку снимешь, и тебе будет тепло, потому что тепло другу? Вот, смотрите, сидит мой лучший и несравненный друг Геннадий Калюжный. — Генька смущенно потупился, он гордился красноречием Семы и немного стыдился его.—

Вот с этим Геннадием Калюжным нас не разделит ничто, кроме смерти. Я был мировой токарь, я был изобретатель и гордость своего завода, но, когда Калюжный сказал, что едет на Дальний Восток, за десять тысяч километров от Одессы, Альтшулер сказал: «Ну и что? Мы поедем вместе, и пусть кто-нибудь попробует меня удержать!» Дружба есть дружба, и да здравствует дружба, товарищи! Да здравствует дружба Геньки Калюжного и Семки Альтшулера и дружба всех нас, членов великого комсомола!

Среди возгласов одобрения раздался скептический голос Сергея Голицына:

— И дружба Семы с Клавой Мельниковой...

Сема наклонился к костру и скрыл лицо, деловито подкладывая сучья...

После речи Семы настроение поднялось, каждому хотелось сказать что-нибудь значительное. Гриша Исаков, мрачно озираясь, спросил неожиданным для него самого басом:

— Я тут стихи написал. Прочитать?

Все поддержали: конечно, прочитать.

Гриша встал на то место, где только что ораторствовал Сема, откашлялся, подождал, чтобы установилась тишина, и начал читать медленно, нараспев, любовно выделяя каждое слово:

Тайга свистела, дрожала и пела,
Свирепая буря стволы сгибала,
Дубы вековые из мшистой постели
Рвала она с корнем и наземь бросала.
И лопались корни, трещала кора,
Янтарные слезы роняла она.
Пред этой стихией, упрямой и страстной,
Тайга склонялась рабою безгласной.
Но я прихожу с топором и пилой,
Я буре кричу: «Состязайся со мной!»
Рублю топором — и деревья летят,
Деревья ложатся в послушный ряд.
На месте тайги, покоренной мной,
Я город построю, дворцы возведу,
И в дебри душистые в день выходной
Я с девушкой светлой гулять пойду.
Ей страшно не будет — пусть буря ревет, —
Она у меня защиту найдет.

Все хлопали в ладоши, не жалея сил. Только Соня забыла похлопать: она знала, о какой светлой девушке идет речь, ее сердце замирало от нежности.

Тоня похлопала вместе со всеми, но потом сказала:

— А ты, Гриша, все-таки перегнул. Где же у тебя

комсомол? Все я да я... Это индивидуализм. И почему девушка будет искать у тебя защиты?

Катя Ставрова поддакнула:

— Девушки покоряют тайгу не хуже тебя! Моя бригада дает сто пятьдесят процентов, а твоя — сто тридцать семь.

Гриша Исаков обиженно замолчал. Ребятам было жаль Гришу, но они не знали, как заступиться за него. Уж эти девушки!

Но тут вмешалась Клава:

— Девушки, ведь это стихи! Это образ. И что же такого? Я тоже смотрю на тайгу и думаю: она моя, я ее покоряю. А ведь она не моя. Она наша. Гриша за всех сказал: покорю!

— Ты говоришь — покорю, а у Гриши получается, что он тебя покорять будет, — язвительно сказала Тоня.

— Ты просто не понимаешь... Это же стихи!

Настроение испортилось. Круглов снова улегся, спрятав лицо. Клава смотрела на него, вздыхая про себя: и что ему надо? О чем это он? Сколько дней прошло с той грозовой ночи, когда верилось в счастье... а он все дальше, все дальше отходит от нее и ни разу не взглянул на нее так, как тогда, сквозь струи ливня, в темноте, на миг озаренной молнией.

Сема подмигнул Лильке, и Лилька запела своим низким звучным голосом деревенской запевалы:

Ревела буря, дождь шумел...

Соня потихоньку встала, принесла вязанку сучьев и пошла в тайгу за другой. В тайге было темно и страшно Из темноты тянуло мертвенным холодом, пронизывал ветер. Но рядом с нею появился Гриша; они без слов упали друг другу в объятия — и стало тепло. Они целовались, тесно обнявшись, — ветер проносился мимо них, стороной, и шелестел вокруг, подпевая песне у костра.

Гриша сказал:

— Ты понимаешь, это совсем не индивидуализм. Это полное ощущение жизни. Разве я не могу говорить от имени всех нас?

Соня не совсем поняла его, но сказала:

— Ну да, конечно. У тебя такие замечательные стихи.

Ему было приятно. Он сам думал то же. Но он отрекся от себя:

— Нет, они еще не замечательные. Но я напишу, Соня, я еще напишу настоящие стихи. Ты верь мне, Соня!

Иногда мне страшно нужна поддержка. Иногда я думаю: ведь каждый поэт, когда пишет, считает себя гением. А как мало гениев! За всю историю человечества — единицы. А быть посредственностью — зачем? Стоит ли ради этого мучиться?

Она сказала именно то, что должна была сказать:

— Нет, Гриша, я верю в тебя...

Как он был благодарен ей! Не за слова, за самое ее существование...

Ей было очень хорошо. В черном небе над ее запрокинутым лицом качались неспокойные ветви, и небо тоже словно качалось в сладком дурмане.

— Вот мы сейчас живем, и мне часто кажется: об этом надо написать поэму — такую, чтобы каждая строка прожигала сердце. Надо написать картину, чтобы посмотреть — и дыхание перехватило. Симфонию для громадного оркестра — чтобы потрясала, вертела, сбивала с ног. А начну писать — и слов нет. И рисовать не умею. И нот не знаю.

Она провела ладонями по его щекам. Сказала:

— А ведь жизнь еще большая! Сколько мы еще сделаем! Сколько научимся делать!

Она так хорошо понимала, так умела направить его мысль простыми словами.

И он спросил:

— Соня, будем жить вместе, хорошо?

Она ответила быстро:

— Да.

И прикрыла глаза, чтобы полнее и сосредоточеннее почувствовать счастье.

Они медленно шли обратно. И к ним донесся от костра торжественный голос Семы:

— Стихи? О! Это то, что поет душа, когда ей грустно, и когда ей весело, и когда она стремится вперед, — вот что такое стихи! А если у тебя, Тоня, душа не поет, не прикасайся к стихам, умоляю тебя, потому что ты видишь сама: вот мы спели песню, и нам стало весело. Мы слушали стихи — каждый был героем. И если ты тоже герой и каждая наша комсомолка — герой, то разве она все-таки не девушка, и разве ей не приятно, что вот около нее стоит друг и друг готов защищать ее, и разве им обоим от этого не веселее на сердце?

Вынырнув из темноты навстречу подмигиваниям и шуткам, Гриша провозгласил срывающимся высоким голосом:

— Ребята! Друзья! Разрешите сказать — вот моя невеста. Ребята! Благословите нас по-комсомольски.

В сутолоке и шуме жених и невеста совсем растерялись. Их обнимали, хлопали по плечам, качали так, что у Сони закружилась голова и Грише пришлось заступиться за нее. На общем совете решили, что первым молодоженам надо построить отдельный, самый лучший шалаш.

И тогда заговорил Круглов:

— Мы говорили здесь о дружбе. Вот она — дружба. Вы видите: счастье наших двух товарищей — общее счастье. И мне стало стыдно, ребята. Я скрывал от вас свое горе, а скрывать не надо было...

Он сказал это — и испугался. Отступать уже поздно, рассказывать — трудно.

— Говори, говори, Андрюша,—звонко сказала Клава.

Он посмотрел на Клаву и на миг смутно понял ее, но тотчас отстранился от мелькнувшей догадки, потому что собственное волнение было слишком сильно.

— Да, я скажу... Видите ли, ребята... у меня в Ростове, в общем, у меня тоже есть невеста... И я бы хотел, чтобы она сюда приехала... если только вы согласны...

— Если я правильно понял, — пробасил Калюжный,— поступила заявка на два семейных шалаша.

А Сема Альтшулер сказал короткую прочувствованную речь:

— Вы думаете, это так, пустяки? Поженились — и все? Нет, друзья! Это здесь, на месте будущего города, рождается новая жизнь. К сожалению, нет вина, но будем думать, что оно есть, и я поднимаю бокал за комсомольскую семью, за наше будущее, за новый быт комсомольского города.

И он поднял руку с воображаемым бокалом.

Так обычный вечер неожиданно превратился в торжество; и когда много позднее друзья разошлись по палаткам, никто не ощущал промозглой сырости своих жестких постелей.

У костра осталась одна Клава. Она не двинулась, когда около нее осторожно уселся Сема Альтшулер. Может быть, она и не заметила его.

— Э, в чем дело, Клава? — сказал Сема и дотронулся до ее руки. Она дала ему свою руку и вдруг заплакала.

— Любовь проходит, Клава, а дружба остается, — сказал Сема и вытер ее мокрые щеки краем шерстяного платка.

Клава всхлипнула и виновато улыбнулась.

— Ты, пожалуйста, не думай... — пробормотала она.

— Нет, Клава, я ничего не думаю. Я только думаю, что ты мужественная девушка и ты не будешь плакать, а если тебе очень нужно немного поплакать — плачь сейчас, я вытру твои слезы, и тебе будет легче...

Но она уже не плакала.

Сема проводил ее до девичьей палатки и сказал, прижимая ее руку к груди:

— Вот это перед тобою такой друг, Клава, такой друг...

В этот раз красноречие ему изменило.

— Э, не в словах дело! — Он махнул рукой и пошел через лагерь, спотыкаясь в темноте.

## 25

Группа комсомольцев скатывала бревна, заготовленные прошлой зимой на реке Силинке. Лес был сложен вдоль берега высокими штабелями. То и дело за одним бревном валилась целая куча; и тут уж приходилось отскакивать и ловчиться вовсю, чтобы не сбило с ног, не ударило, не отдавило пальцы.

Сергей Голицын был обижен, что бригадиром назначили Геньку Калюжного, тогда как он, Сергей, имел уже некоторый опыт и сноровку. Ворча про себя, он устроился ниже по течению — багром отталкивать бревна, притертые к берегу и застревающие на обмелевших перекатах. Еще ниже, еле видный среди деревьев, стоял Сема Альтшулер.

А выше грохотали бревна, мощным басом распоряжался Калюжный и раздавались бурлацкие возгласы Пашки Матвеева.

Сергей злился на Пашку. Больной, с цинготными пятнами на ногах, и все-таки лезет в самое пекло. И лопает пшено, упорно заявляя: «Ну и вкусно! Век не надоест!» Ему разрешили уехать для лечения, а он упорствует, как будто нарочно хватаясь за наиболее тяжелые работы: «Клин клином вышибают». А потом, весь в испарине, с нездоровой желтизной на припухшем лице, говорит своим невозмутимым ироническим голосом: «Ще не вмерла Украина...»

День был пасмурный, но в середине дня солнце пробилось сквозь облака и все осветило. Река стала блестящей и прозрачной до дна, бревна — золотыми, а Семка

Альтшулер с багром — как сказочный карлик с волшебным жезлом.

И вдруг карлик выронил багор, взмахнул руками и побежал вдоль берега к Сергею. По́лы толстовки развевались, как два крыла, руки смешно взлетали над головой; он прыгал через рытвины, через бревна, через кочки и что-то кричал отчаянным голосом. Сергей подумал: «Тигр!» Тигры все еще волновали воображение. Никто не верил, что их здесь нет. Сергею уже мерещились желтые голодные глаза зверя. «Бежать! Прыгать в воду!..» На всякий случай он покрепче ухватился за багор.

Но никакого тигра не было.

— Геннадий! Геннадий! — кричал Сема. Он пронесся мимо Сергея, даже не взглянув на него. Сергей побежал за ним.

У штабелей что-то случилось. Комсомольцы столпились у берега. Их было много, но не раздавалось ни одного голоса.

Сема уже не кричал. Он ринулся прямо в толпу, распихивая людей с неожиданной силой, хватаясь за чужие плечи, заглядывая в лица, — и наткнулся на Калюжного, волочившего бревно.

— Ты живой! — вскричал Сема, обхватив его за шею, повернулся к Сергею и заорал восторженно: — Он живой!

И сразу же смолк.

Под рухнувшими со штабеля бревнами чернело неподвижное человеческое тело. Видны были подогнутые ноги в рваных башмаках.

— Пашка! — ошеломленно сказал Сергей. И, оттолкнув ребят, начал с дикой энергией откидывать навалившиеся бревна.

Пашка лежал, закрыв лицо рукой. Из-под руки текла густая струйка крови.

Сема Альтшулер дрожащими пальцами совал Сергею смоченный платок. Сергей вытер Пашке лоб и щеку, замазанную кровью. Кровь уже едва сочилась. Сергею показалось, что веки задрожали. Он смочил веки водой, позвал:

— Пашка... Пашенька!

Пашка Матвеев не ответил.

Его подняли, положили на макинтош, как на носилки, и понесли к лагерю. Сергей шел сзади, на его руках лежала безжизненная голова с побуревшими от крови волосами.

Пашка очнулся в середине пути. Мутным взглядом огляделся, обрадовался Сергею и сказал внятно:

— Не вмер Данило, бревном задавило.

И снова потерял сознание.

Когда его принесли в лагерь, стало ясно: смерть. Но все-таки не верили. В этот вечер ждали пароход, на котором должен был приехать врач. На пристани дежурили комсомольцы, чтобы сразу вести врача к Пашке: «А вдруг невозможное произойдет?»

Пашка лежал на куче пальто и одеял. Около него сидел Сергей, без слов и без слез.

Уже в темноте Сергей потрогал скрюченные пальцы своего друга, отдернул руку и позвал девушек. Девушки обмыли и одели покойника, накрыли его лицо.

Пароход пришел без врача. Но врач был уже не нужен.

Всю ночь дежурили по очереди, по четыре человека, у застывшего тела. Сергей не ложился совсем и ни с кем не разговаривал. Он потерял представление о времени, о сне, о людях, окружавших его. Он был во власти своего погибшего друга, его жизни, его словечек, его бойких, лукавых повадок, его дружбы, оцененной слишком поздно, его бессмысленной смерти.

Утром хоронили. Над Амуром, на пригорке, вырыли могилу, посыпали мхом и ветками. Спели «Вы жертвою пали...». Амурский ветер сдувал с лопат землю и щелкал знаменем по древку.

Тимка Гребень произнес речь:

— Спи, дорогой товарищ! Мы докончим твое дело.

Сергей стоял один, в стороне, хмуро глядя перед собой. Его мучило навязчивое воспоминание: подогнутые ноги в рваных башмаках. «Спи, дорогой товарищ!..» «Какое там спи, когда бога нет, и того света нет, и Пашка сгниет в земле... К черту!»

До его сознания дошли рукоплескания. Говорил Андрей Круглов:

— Мы призваны покорить тайгу большевистской воле, и мы ее покорим. Сомкнем ряды над могилой комсомольца, погибшего на славном посту...

Спели «Молодую гвардию». Слова песни звучали вызовом всем грядущим трудностям. Но сквозь вызов просачивалась боль. Пашку любили. Его полюбили еще больше теперь, когда его не стало.

Уже начали расходиться, когда на могилу вскочила Клава:

— Ребята! Комсомольцы! Что же вы головы повесили? Вспомните Пашу Матвеева — у него была цинга, он вечером лежал, отдышаться не мог, а на работе был первым, и на каждый случай у него находилась шутка. А все потому, что он мечтал... — Она прикусила язык и посмотрела на Круглова, боясь осуждения, но Круглов одобрительно кивал головой. — Он мечтал о комсомольском городе, он хотел построить его. А разве мы не хотим, разве мы не мечтаем о том же?

Сергей слушал Клаву. Эта девушка нравилась Пашке, он становился при ней смирным и мягким. И они дружили. Вчера Клава плакала. А сейчас она возбуждена и говорит с самозабвением и теплотой, доходящей до каждого сердца.

— У меня, ребята, предложение. Мы ведь вчера не кончили сбрасывать бревна. Не кончили ведь, правда? Так пойдемте туда сейчас же, все, с песнями пойдем, и покажем всем, как надо работать, чтобы... ну, как это... ну...

Сзади подсказал Сема:

— Чтобы отомстить природе...

Но Клава сказала просто:

— Вы же понимаете, для Паши это было бы самое приятное...

В этот день работа на реке шла напористо и зло, как никогда. Сергей работал вместе со всеми, остервенело, безмолвно, лез в самые рискованные места, в одиночку поднимал самые тяжелые бревна. Но в середине дня бросил работу, ушел в тайгу, ломал ветви, рвал и топтал листья, ударом сапога сбивал цветы и повторял упоенно:

— К черту! К черту! К черту!

И плакал бессильными слезами над своим неожиданным одиночеством.

## 26

Кончилось собрание строителей. Оно происходило в недостроенном дощатом бараке, пышно названном клубом. При свете одинокой свечи Вернер сделал доклад о положении на строительстве. Разрозненные усилия бригад и участков были суммированы и показаны так, что каждый присутствующий понял свое место в общем деле и впервые увидел целое. Уже кончают строить лесозавод — пусть еще небольшой, на две рамы, но две рамы

обеспечат стройку лесом. Начат монтаж первой электростанции — правда, крошечной, на 35 лошадиных сил, но 35 лошадиных сил дадут первый электрический свет. Пущена столярная мастерская. Оборудуется кузнечная (плохо только, что организатор кузнечного цеха Епифанов стащил тиски с парохода, — так делать не годится). Заложен фундамент механической мастерской. Идет корчевка заводской площади. Построено сорок шалашей, строится жилой дом для инженеров. Недалеко время, когда начнется строительство самого завода.

Тесно заполнив темный зал, комсомольцы аплодировали каждому сообщению. Они забывали в этот момент о надоевшем пшене, о сырости, о рваной обуви, о начавшихся болезнях.

Вернер прочитал телеграмму Гранатова — все на колесах. Отгружено мясо, лук, жиры, картошка, футбольные бутсы и одеяла.

После доклада говорили много и горячо. Клялись перенести все трудности, лишь бы увидеть вот здесь, в тайге, у неспокойного Амура, электрическую лампочку, мастерские, завод, корабли. От величия будущего слезы подступали к глазам.

Когда Соня с Гришей выходили под руку из клуба, Гриша вдруг споткнулся и чуть не упал. Она засмеялась и нежно упрекнула его:

— Ну вот, чуть меня не свалил.

Но когда они пошли к своему шалашу, отстав от всех, она вдруг поняла, что он ведет ее не по тропинке, а в сторону. Она взглянула на него — его спокойные глаза мерцали в темноте. И все-таки он вел ее в сторону, прямо на белеющие стволы срубленных берез. От страшного подозрения по всему телу прошел ледяной озноб. Да, на втором участке был такой случай... Очевидно, она вздрогнула, потому что он спросил:

— Звездочка, тебе холодно?

Она вся подобралась, ответила как ни в чем не бывало:

— Чуть-чуть... Возьми меня покрепче под руку, ты такой теплый.

И незаметно, ужасаясь мысли, что он сейчас все заметит, повела его сама. Его нежность пугала: как сказать ему, когда он так счастлив?

А он говорил:

— Знаешь, я никогда не писал так много стихов, как сейчас. Я переполнен непристроенными строчками. Рабо-

таю — стихи, отдыхаю — стихи. На тебя смотрю—целые поэмы.

Она сказала, чтобы подготовить его:

— Когда живешь стихами, как ты, никакое несчастье не страшно, правда?

— Правда, — легко согласился он.—Но ты понимаешь, от счастья стихи сами рождаются, только обрабатывай... И вот сегодня, в обед, я написал специально для тебя... тебе...

Так как она молчала, он нетерпеливо спросил:

— Хочешь — прочитаю?

И начал читать вполголоса, наклонившись над ней. От стихов, от голоса, от наклоненного лица тянулась к ней глубокая нежность.

Соне хотелось плакать. Она вела его и все заботливее выбирала дорогу, чтобы он не споткнулся. Он удивился ее молчанию и спросил напряженным голосом:

— Отчего же ты не скажешь ничего? Тебе не нравится?

Она не ответила. Обиженный, он заговорил сам:

— Я знаю, формально это еще плохо. Четвертая строка пустая... Ты думаешь, я не понимаю. Я еще буду работать над ним... Но мне хотелось прочитать тебе сразу, я не могу не читать тебе сразу...

Тогда она не выдержала, бросилась к нему на шею и в припадке отчаяния закричала, теребя его от нетерпения:

— Гриша, ты видишь меня? Ты видишь меня? Скажи мне, что ты видишь!

Он смотрел на нее, расширив зрачки. И вдруг стал неуверен. Его руки поднялись и странно засуетились в воздухе, как будто он что-то искал. Упавшим голосом произнес:

— Нет, я не вижу.

Он хотел добавить: здесь так темно. Но он не дал себе обмануться. Он понял. Значит, это правда, — на втором участке...

Они молча стояли рядом.

Они слышали, как бьются их сердца.

Потом она взяла его под руку уверенным движением и сказала:

— Пойдем.

Она ни разу не дала ему споткнуться, — ее глаза зорко выбирали дорогу. Он молчал. Не было слов. Он не сразу понял, чего она хочет, когда услышал вопрос:

— Ты говорил, Багрицкий был очень болен?

Поняв, он подхватил, с благодарностью цепляясь за ниточку спасения, которую она протянула ему, но голос противоречил словам, прерывающийся, глубоко несчастный:

— Да! Да! Он задыхался, сгорал и все-таки писал: «Я встречу дни, как чаши, до краев наполненные молоком и медом...»

Горечь была так свежа, несчастье обрушилось так неожиданно и грубо, он был так не подготовлен к страданию, он так хотел жить и радоваться и столько радостей ждал впереди — как помириться с тем, что эта радость закрыта для его глаз! Любимая с ним, но он не увидит больше ее милого лица!

Ее теплое объятие на короткое время оттеснило холод темноты. Она просила с истерической настойчивостью:

— Повтори мне свои стихи! Повтори мне свои стихи!

Он повторил безжизненно, как чужие:

С тобой я готов всю жизнь идти
Сквозь бури, и метели, и ветер ледяной.
Звездочка моя, ты только посвети,
Только, моя светлая, побудь со мной.

По щеке из невидящих глаз скатилась слеза, потом другая.

— Да, да, да, — твердила она, прижимаясь к нему и пересиливая ужас, охвативший и ее тоже.—Я буду всегда с тобою... каждый шаг... я буду записывать твои стихи...

Но когда она повела его дальше, он шел за нею без радости, неуверенно, шаря в воздухе дрожащей рукой. От движений этой неуверенной руки Соне было нестерпимо жутко.

## 27

Слепота оказалась не такой уж страшной. Заболевшие слепли только к вечеру, утром зрение возвращалось. Но никто не знал причин болезни и не знал, как ее лечить.

Соня неотлучно сопровождала Гришу. Его томил страх — а вдруг завтра утром зрение уже не вернется?

Как-то перед вечером в шалаш Исаковых зашел старик Семен Порфирьевич.

Гриша встретил его как спасителя. Предложил табаку, чаю. Затопил печурку, чтобы старик просушил сапоги.

Было еще рано, но слепота уже подкатывалась из сумерек, а с нею и страх: вдруг завтра?..

Старик казался мудрым древним сказителем — из тех, про которых любила рассказывать Клава.

— Тайга мстит человеку, — медленно, будто нехотя говорил старик.— Разве вы первые! Еще в девятисотых годах... Ну да, как раз перед японской войной... Приехали сюда вот так-то, вроде вас, покорители. И не как вы приехали — во всей амуниции, одной только теплой одежи что напасено было! И чтó ж ты скажешь — из сотни один уцелел, к староверам прибился, ихнее лечение воспринял, оженился у них... А то все перемерли. Кого слепота ослепила, кого цинга раздула, кто легкими страдал, а некоторых — и сами не знали, какой недуг в могилу свел. Занеможет человек, свалится с ног, помучится и богу душу отдаст. Были такие, что медведь загрызал. А одного кошка.

— Кошка? — вскрикнула Соня.

— Да, девушка, верь не верь, — кошка. Он еще днем видал ее, ну — кошечка, все равно что домашняя, серенькая с крапинкой, только чуть побольше да глаза горят диким светом. Он еще поманил ее: кис-кис-кис... А ночью она его загрызла.

Соня поежилась, встала и плотно прикрыла дверь.

Старик пососал пустую трубку, выколотил ее о каблук и стал неторопливо набивать.

— Но ведь живут же люди. Вот вы. Переселенцы...— пробормотала Соня, кутаясь в пальтишко.

Старик молчал.

Гриша сидел на топчане, низко опустив голову.

— Где живут, а где и нет, — сказал наконец старик.— На Зее, на Бурее чего ж не жить! А каторжных еще сто лет назад сюда гоняли... Про декабристов небось слыхали?

Гриша быстро поднял голову, — таежный старик знал о декабристах!

Старик как будто смутился от быстрого любопытного взгляда, но засмеялся и гуще потянул табачный дым:

— Ты думаешь, откуда мне знать? Я все знаю. Книжная мудрость — ваша, а только и вы того не знаете, что молвой идет от стариков, от бывалых людей. То-то! А ваши начальники на книжки понадеялись, на карты разные. Выбор сделать — тут не карты нужны...

— Какой выбор? — раздраженно спросил Гриша.

— Выбор места, сокол ты мой, вот какой выбор,—так же раздраженно ответил старик и смолк.

Гриша и Соня испугались — уж не обиделся ли старик? Но он снова заговорил с прежним спокойствием мудрого сказителя.

— Жалко мне вас, — сказал он и весь окутался голубым спокойным дымом.—И как это можно — молодость такую на смерть посылать? Из всех окрестных мест это— самое гиблое. Болото кругом, низина, комар здесь лютый, болотный, лихорадочный... Растение здесь — болотное, отравное. Медведь — и то на лето прочь уходит; волк-- и то стороной обегает.

— Но ведь была же здесь деревня! — дрожащим голосом перебила Соня.

— Так ведь местный народ привычный, — ласково ответил старик.—Да и то, много ли здесь осталось? Я еще помню — большое было село, тесное. Сам когда-то жил здесь, да убрался, покуда цел. Нету здесь для человека счастья. Сюда за рыбой шли, за зверем. Бывало, рыба идет — сплошняком, вода замутится, хоть рукой лови. А нынче что? Бывало, что лисиц было, да барсуков, да выдр, да белки пушистой... Песцов десятками били! А нынче про песца и не слышно, и лисицы нет. Дичь и та выводится. Нет, гиблое здесь место, не человеческое. И уж будь ваши начальники знающие люди, доверчивые— спросили бы стариков-старожилов, другой выбор сделали бы... Ну, да мне здесь не жить. Меня и не спрашивали. А вот вас полюбил я, так жалко.

Он поднялся, собираясь уходить, и Соне показалось— даже слезу смахнул.

Гриша сидел не шевелясь. Темнота уже пришла. Он тщетно расширял невидящие зрачки. Соня встала, мимоходом погладила Гришины волосы и подошла к старику:

— Дедушка, вы местное лечение знаете?

Старик пожевал губами, достал было трубочку, но раздумал и засунул ее обратно в карман:

— Дак что ж. Вы пока, слава богу, здоровые, так ничего, живите.

Гриша вдруг подскочил, закричал не своим голосом:

— Какой черт «здоровые»! Дедушка, научите! Не вижу я! Опять не вижу!

Его трясло, как в лихорадке.

Соня быстрым шепотом рассказала, что ребята стали слепнуть к ночи, что врача все еще нет, что никто не знает, как лечиться.

Старик слушал молча и строго; весь вид его говорил, что все совершается правильно, так и следовало ожи-

дать: тайга мстит, и гиблое место, как сказано, так и погубит.

— К ночи слепнет? — спросил он только.

— К ночи...

Гриша резко повернулся, спустил ноги с топчана и спросил:

— Ну, скажи, дед, что делать? Чем это кончится, ты же знаешь? Совсем я ослепну или как? Что будет, то будет, но я хочу знать, к чему мне готовиться.

Он казался совершенно спокойным.

— Обманывать не буду, — сказал старик. — До зимы бояться нечего. А зимы бойся. Зимой ослепнешь. И все, кто глазами болеет, все ослепнут, так им и скажи. И мой тебе совет: пожалей жену, если не себя. Ну куда ей, молодой, со слепым мужем? Уезжайте, пока зима не ударила. Уезжайте, уезжайте скорей. Молодости мне вашей, любви вашей жалко... Эх, да что говорить!

Он махнул рукой, нахлобучил шапку и быстро вышел, не прощаясь.

Соня села рядом с Гришей, прижалась к нему и затихла. Гриша сказал, помолчав:

— Это же не может быть.

Потом, после долгой паузы, вскричал с гневом:

— Да что же, разве они этого не знали!

Много времени спустя он сказал тихим, примиренным тоном:

— Ну что ж, Сонюшка, будем спать. Поздно уже...

И Соня долго слушала, как он ворочался, вздыхал, скрипел зубами. Потом заснул. Среди ночи он разбудил ее. Она не видела лица, но слышала рядом с собой его учащенное дыхание.

— Соня, — сказал он, обнимая ее и приникнув щекой к ее плечу. — Соня, лучше я буду слепым, но большевиком, чем зрячим подлецом. Да, Соня?

Они долго не засыпали, лежали обнявшись и убеждали друг друга, что все еще будет хорошо, что не может быть, чтобы их привезли сюда на гибель, что главное — не сдаваться.

## 28

Шли дни. В городе «сорока городов», в палатках и шалашах с названиями, написанными на дощечках, в бригадах и на участках комсомольцы жили, работали, смеялись, болели, ели пшено и сушеную рыбу, пели песни и скучали.

Слепота уже получила название — куриная. Говорили, что она вызвана недостатком овощей и жиров.

Когда заболел Валька Бессонов, он закричал отчаянным голосом, а потом успокоился и начал издеваться над собою, подражая квохтанью курицы. Ночью, укладываясь, он длинно выругался и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Уеду к чертовой бабушке, наплевал я на их дисциплину!

Ему не стали возражать: расстроен человек, что с ним спорить.

Из девушек не заболел никто. «Живучие, кошки!» — зло говорил Валька. Когда он слушал вечерами, как поет и хохочет Катя Ставрова, его трясло от злости.

— И чего их привезли сюда! — ворчал он, расширяя зрачки в смутной надежде хоть немного разглядеть ее непоседливую фигурку. — Силы у них как у цыпленка, а шуму на всю стройку.

Но когда Катя подходила к нему, он забывал воркотню, квохтал по-куриному, шутил, искал ее руку. Она ласково подбадривала его и уходила. У нее было много хлопот: одному рубаху зашить, другому пришить пуговицу, третьему постирать. Ей помогала Лилька. Лилька жалела ребят, и даже слишком жалела. Катя возмущалась, когда видела, какие вольности позволяла она ребятам.

— Ты смотри, Лилька! — предупреждала Катя. — На такой жалости далеко не уедешь.

— Так им же скучно, — неохотно отзывалась Лилька.

— А ты купаться пошли — вода холодная, остудит.

— Да я и сама не каменная. А парни все хорошие, ласковые... — вяло отвечала Лилька и снова бегала вечерами то с одним парнем, то с другим: девушек было мало.

Костры надоели, а развлечений не было никаких.

В свободные часы девушек все настойчивей окружали. Начались ссоры. Особенно ссорились между собой представители разных городов и областей: москвичи отгоняли «чужих» парней от московских комсомолок, ивановцы защищали своих. Придумывали всякие способы, чтобы отвадить посторонних. Костя Перепечко сделал на двери шалаша, в котором жила Катя Ставрова, специальную хлопушку, которая била по лбу непосвященного, пытавшегося войти. Катя возмущалась, хохотала, как сумасшедшая, когда, забыв про хлопушку, получала удар по лбу, и ти-

хонько научила своих иногородних приятелей открывать дверь в шалаш.

В один из выходных дней разразился скандал.

День начался с митинга, стихийно возникшего на берегу. Вернулся из поездки Гранатов. К пароходу моментально сбежалась толпа. Но Гранатов ничего не привез с собою, кроме накладных и нарядов, зато накладных и нарядов привез много. Все грузилось, все было «на колесах», но ничего еще не было на месте.

Со дня на день должен был приехать врач. Гранатов уже видел его и сообщил для успокоения комсомольцев: его зовут Пальцев, он пожилой, в пенсне, холостяк, везет с собой ящик медицинских книг. Пенсне и ящик с книгами всех убедили.

— Но, — сказал Гранатов, — я хочу говорить с вами о другом. Я хочу говорить о вас. Вы меня знаете?

— Знаем! — дружно крикнули комсомольцы.

— Верите мне?

— Верим!

— Верим! Верим! — кричала Тоня, бледная от возбуждения.

— Трудности только начинаются, — сказал Гранатов. — И я боюсь, что вы их недооцениваете, что вы к ним не готовы. Мы как-то беседовали в парткоме. Партком озабочен тем, как вы перенесете предстоящие лишения. Недалека осень. Снабжение неизбежно будет хромать, пока не проведут сюда железную дорогу. Будет морозная зима. И я хочу поговорить с вами по душам.

Он говорил о том, как много надо перенести, преодолеть, чтобы в кратчайший срок выполнить ответственное задание — построить завод.

— Товарищ Круглов, заботясь о вас, жаловался на то, что нет матрацев, что сыро, что нельзя работать, когда на обед пшено и вечером пшено. Ну, а если все-таки еще целые месяцы будет пшено и не будет матрацев? Тогда что? Откажемся? Не будем строить завод? Разбежимся?

Комсомольцы кричали: «Нет! Нет!» Многие задавали вопросы: что делается по снабжению, по строительству жилья? Энтузиазм и тревога взбудоражили собрание.

Андрей Круглов был красен от стыда. И некому было защитить его — Морозов болен. Да и что Морозов! Круглов сам не мог себя оправдать, вспоминая свое неудачное выступление на парткоме.

Он поймал удивленный, упрекающий взгляд Клавы.

Он ринулся вперед, потребовал слова.

— Товарищи знают, что я не трус и не шкурник! — кричал он, и голос его пресекался и звенел. — Я говорил о трудностях, чтобы по возможности облегчить их. Но если нужно, чтобы фундаментом завода легли не только амурские камни, но и наши кости, — товарищи знают, я отдам свою жизнь, не то что здоровье или удобства.

Собрание зашумело.

— А кому это нужно — кости складывать? — громко спросил Валька Бессонов.

— Так нас что, на удобрение привезли? — выкрикнул Николка.

— Надо будет — все отдадим! — кричала Тоня.

— Вы лучше снабженцев с песочком протрите — вернее будет.

— Помирать легко, вы работать научитесь!

Позднее Гранатов сказал Андрею:

— Насчет костей это ты зря... Слишком откровенно...

Андрей смутился, но промолчал.

Комсомольцы расходились медленно. В группах спорили, шумели, возмущались.

— Что нам тычут в нос трудностями? — говорил Валька Бессонов. — Мы сами знаем, что трудно. А какие же они начальники, если ничего достать не могут? Вот я, например. У меня бригада всегда обеспечена, и материал и инструмент — все! Осипну от ругани, а вырву!

— Он пугает! — рассуждал Сема. — Это знаете что? Это он проверяет, какие мы комсомольцы. А пароходы идут, мясо едет, картошка! Бутсы выдадут! Чего же еще надо? Бутербродов с икрой, что ли?

Нет, о бутербродах с икрой не мечтали.

— Погибать так погибать, — сказал Тимка Гребень.— А пока пошли купаться.

Но Валька не пошел купаться. Он был возбужден и зол. Что же, он приехал сюда для того, чтобы ослепнуть и сложить кости? Начальники не умеют работать, а ты погибай... Э-эх, ерунда какая-то...

— Погибать, так с музыкой! — крикнул Валька со злостью. — Айда к девчатам, погуляем напоследок!

И, направившись к девичьему шалашу, заорал петушиным криком.

— Чумовой! — откликнулась из шалаша Катя.

Но тут и разразился скандал. Костя Перепечко преградил ему дорогу и запальчиво бросил:

— И чего ты здесь шатаешься? Не лезь, куда не зовут!

Валька развернулся и с размаху ударил его кулаком в ухо.

Перепечко охнул и что есть силы толкнул Вальку в грудь.

На помощь Косте бросились его приятели.

А тут появилась новая группа — девушки прогуливались, густо окруженные парнями. Они шли стайкой, болтая и смеясь. У Сони был смущенный вид, — она никак не могла отделаться от ухаживаний Геньки Калюжного и боялась, что Гриша увидит, — с тех пор как он стал слепнуть по вечерам, он сделался ужасно ревнивым. Парни щеголяли перед девушками остроумием и вежливостью. Это не мешало соперникам язвительно вышучивать друг друга; но все было мирно, скрыто, пока они не увидели драку Бессонова и Перепечко. Сперва они кинулись разнимать дерущихся. Но как только узнали, что́ послужило причиной драки, скрытые чувства прорвались наружу и завязалась бестолковая перебранка, очень скоро превратившаяся во всеобщую потасовку.

Гриша Исаков прибежал и пытался уговорить дерущихся, еще не понимая толком, в чем дело. Но Генька Калюжный подлетел к нему, размахивая кулаками.

— Уйди! — закричал он, зловеще вращая глазами. — Женился, сукин сын, и молчи! Вот разженим — тогда посмотрим, что ты запоешь.

— Негодяй! — выкрикнула Соня, заслоняя собой Гришу.

— Дикари! Обезьяны! Орангутанги! — кричала Клава, бесстрашно становясь между дерущимися. — Да что́ мы, вещи, чтобы из-за нас драться? Да мы с вами и разговаривать не будем после этого!

Потасовка кончилась смехом. Пока парни дрались, Сергей Голицын подхватил Лильку, очень довольную разыгравшимся петушиным боем, и увлек ее гулять в тайгу. Драка прекратилась сама собой. Пристыженные нелепой вспышкой, парни смеялись и потирали синяки. Раздавались глухие, но уже не злобные угрозы.

Девушки взялись под руки и демонстративно удалились.

Валька Бессонов бросился вдогонку, виновато улыбаясь подбитыми губами:

— Катя, на минуточку!

— Дурак! — отрезала Катя, ускоряя шаги и не оглядываясь.

Валька постоял, упрямо пригнул голову и быстро пошел в свой шалаш.

Тоня побежала к Андрею Круглову. Надо было действовать, осудить, разоблачить, прекратить... Круглов и Тоня пошли на баржу к больному Морозову.

Морозов шел им навстречу, в валенках, опираясь на палку, — с той грозовой ночи, когда он работал в воде, его мучил острый приступ ревматизма.

— А я к вам тащусь, — сказал он. — Вы, говорят, кулачные бои развели. Москвичи за москвичей, тверяки за тверяков. Ну, пойдемте потолкуем.

Они пошли в каюту.

— Таких комсомольцев исключать надо! — говорила Тоня. — Скорей бы конференцию да комитет, и выкатить их всех с треском.

Морозов улыбался.

— Всех? С треском? Ишь ты... горячая! — Потом он стал серьезен. — А вот конференцию откладывать больше нельзя, это ты права. Мы сами виноваты: работу с ребят требуем, а занять их в свободное время не умеем. Предоставили их самим себе.

— Они не маленькие, должны понимать, — сказал Круглов.

— Научим — будут понимать. Вот гляди, как Васяева рассуждает — всех с треском исключать. А ведь тоже не маленькая.

Тоня сидела вся красная.

— Ты не красней, я никому не скажу. А вот что надо сделать сразу — это ликвидировать «города». Расселим по бригадам — живо забудут, кто откуда. В бригадах — комсомольские группы, по участкам — ячейки. И конференцию поскорее. Да комитет выбрать покрепче, потолковее, чтобы не давал скучать без дела.

Он начал обсуждать, как провести выборы, но тут прискакал Петя Голубенко с последней новостью дня: Бессонов собрал вещи и пошел на пароход.

Круглов, Тоня и Петя побежали на берег. Уже прогудели два гудка, уже выбирали якорь, — а Вальки Бессонова не было видно.

Андрей взлетел по наполовину разобранным сходням, разыскал капитана и вместе с ним пошел искать Бессонова.

Валька мрачно сидел на своей корзине. Он не удивился и как будто даже обрадовался приходу Круглова,

вскинул корзину на плечо и молча пошел за Кругловым на берег. Его подбитые губы вздрагивали.

Через полчаса тут же, на берегу, в сарае, собрался товарищеский суд. Народу набилось — не повернуться. Комсомолец Бессонов Валентин, 1914 года рождения, обвинялся в нанесении побоев и дезертирстве.

— Чего же говорить, раз виноват! — сказал Бессонов, и губы его задрожали еще сильнее. — Только я не дезертир. Меня разозлили, вот и все. Я бы все равно вернулся.

Для соблюдения правил стали допрашивать свидетелей. Но в это время перегруженные нары треснули, и члены суда полетели на пол. Судьи, зрители и подсудимый хохотали.

Катя Ставрова сказала:

— Ну и хорошо! Парень сам признался, чего же еще рассусоливать.

Она увела Вальку с собой.

— Дурак! — говорила она ласково. — Ну и дурак! И что Киров в тебе нашел, не понимаю.

Они бродили по тайге, пока не стемнело.

— Ну вот и все, — сказал Валька. — Петух весь вышел, осталась мокрая курица. Хочешь—режь, хочешь—милуй.

Катя решила миловать. Она повела его домой и весь вечер проявляла к нему заботливое участие. Он квохтал по-куриному, пробовал клевать хлеб, который она ему протягивала, и оба хохотали во весь голос, очень довольные друг другом.

Через несколько дней «города» были ликвидированы. Всех расселили по бригадам. На участках создали комсомольские ячейки. На конференции комсомольцы стройки выбрали общепостроечный комсомольский комитет, куда попали Круглов, Бессонов, Ставрова, Альтшулер. Валька пробовал сделать самоотвод (он еще переживал позор своего дезертирства), но ему ответили: «Ничего, крепче будешь».

Собрание происходило на поляне, за селом. Все сидели на траве, на пеньках, на бревнах.

Кончив выборы, запели песни.

И вдруг песня прервалась. На тропинке, ведущей из села, показались две странные фигуры. Это были юноша и девушка, круглолицые, скуластые, с узкими раскосыми глазами. На девушке был темный халат с желтым поясом, мелко заплетенные черные косы спускались на плечи и на спину, на дорожную котомку. Она была мала ро-

стом, тонка и пуглива. Увидев столько народу, она попятилась, прячась за своего спутника.

— Да это же он! — вскричал Генька Калюжный.

Гостей окружили. Генька взволнованно обнимал Кильту:

— Здравствуй, парень! Ого, ваша не любит трепаться! Сказал — приеду, и приехал. Правильно!

Кильту бормотал, с любопытством оглядываясь:

— Зачем трепаться? Наша комсомол! Комсомол.

Он ткнул пальцем в сторону девушки:

— Тоже комсомол. Девушка — комсомол.

Мооми стояла, опустив по бокам тонкие смуглые руки и несмело улыбаясь.

Катя взяла ее за руку:

— Здравствуй! Ко мне в бригаду пойдешь?

Валька схватил Кильту:

— А ты ко мне! Вот и поделили!

Но девушка испуганно прижалась к своему спутнику:

— Моя с ним. Моя с ним.

Это вызвало всеобщий восторг. Мооми тоже смеялась, не совсем понимая, в чем дело. Через десять минут комсомольцы узнали всю историю — попытку родителей продать Мооми замуж за кулацкого сына Опа Самара, бегство Кильту и Мооми на лодке ночью, страх Мооми, что Самар или отец будут разыскивать их.

— Дудки! Теперь вы наши! — заявил Валька. — Пусть только сунется — ноги выдернем.

— С этого дня вы члены бригады «Интернационал», — заявил Сема. — И если что — будут иметь дело со мной.

Их устроили ночевать в шалаше, хотя Кильту и Мооми уверяли, что привыкли спать в лодке. Их угостили пшенной кашей, которая страшно понравилась обоим. И дали им самые толстые матрацы,—таков закон гостеприимства.

## 29

В шалаше Исаковых собрались одни девушки.

Гриша, ожесточенно закусив папиросу, сидел перед шалашом на пеньке и мрачно прислушивался к девичьим голосам.

На другом пеньке, скрестив на груди руки, сидел Сема Альтшулер.

— Нет, ты понимаешь! Ты понимаешь! — вскричал Гриша и оторвал зубами изжеванный конец папиросы.

— Уж если женщина вобьет себе в голову... — сказал Сема и тоже не докончил.

Из шалаша донесся обрывок возбужденной речи:

— Я считаю, что это комсомольский долг...

И резкий окрик Тони:

— Чепуха!

— Это все она, — со злобой сказал Гриша. — Ханжа!

— У нее есть взгляд на вещи, — спокойно объяснил Сема и вздохнул. — Да, у нее есть взгляд на вещи. Это хорошо. Только она не умеет видеть несколько вещей сразу. И даже одну вещь не умеет видеть с разных сторон.

— Что? — недоброжелательно переспросил Гриша. Он думал о другом.

— Она знает: надо строить. Это она видит. Но она не видит всей жизни, — охотно объяснил Сема. — Но мы строим не один город, мы строим всю жизнь.

— Да! Да! — подхватил Гриша. — Ведь это же надо! Надо! С общей точки зрения!

— Не будем волноваться, — сказал Сема, — у нас есть доводы — раз. У нас есть комсомольский комитет — два. Пусть девушки пошумят, пусть спорят и решают тысячу раз. Но если комитет постановит — я спрашиваю, чего стоят все их решения перед решением комитета?

Гриша удивленно и испуганно повернулся к Семе:

— Какой комитет? Ты с ума сошел!

— Нет, дорогой товарищ, — язвительно и нежно сказал Сема, — я с ума не сошел, а вот ты — да, ты не в своем уме! Все эти женские штучки задурили тебе голову. Ты уже не можешь рассуждать как мужчина. Ты думаешь, вы будете решать мировые проблемы, а комитет будет стоять в стороне и делать вид, что это его не касается?

— Но при чем комитет? Да разве такие вещи...

— Вот именно, такие вещи!.. Или ты думаешь, что нас выбирали вместо мебели и каждому будет удобно сидеть развалясь?

Гриша долго не отвечал. Он успел свернуть и до конца выкурить папиросу. Сема не прерывал молчания, так как у Семы тоже были свои взгляды на вещи: он считал, что новая мысль может быть усвоена только наедине с самим собою, а Грише предстояло усвоить новую мысль.

— Да, — решительно заявил Гриша, усвоив ее. — Ты прав. Но Соня никогда не согласится. Она ужасно рассердится.

— Сперва рассердится, а потом скажет спасибо, — философски рассудил Сема.

В шалаше было шумно.

Соня одиноко стояла в углу. Она не участвовала в споре. Она слушала, впитывала в себя разноречивые мнения, взвешивала доводы, жадно ждала, к чему же они приведут.

— А ты чего молчишь? — бросила ей Катя Ставрова.

Она не ответила на упрек. Она молчала потому, что спор слишком глубоко затрагивал ее, а правды она еще не нашла.

Соня ценила в жизни ясность, и до сих пор в ее жизни все было ясно. Она привыкла поступать так, как должна поступать хорошая комсомолка, а это давалось ей без труда, от этого жилось и радостней и легче. Работа, ученье, поездка на Дальний Восток — тут не могло быть ни сомнений, ни разногласий. Когда она вышла замуж, тоже все было ясно. Они создавали новую семью в новом, социалистическом городе. «Учебно-показательная семья», — говорил Валька Бессонов. И вдруг впервые Соня стала перед запутанным и трудным вопросом, касавшимся самого существа ее жизни. Она была беременна. Имеет ли она право родить ребенка теперь, когда стройка едва начата, когда не хватает рабочих рук, когда так трудно жить даже взрослым, сильным людям?

— Это эгоизм — сесть на шею стройке с пеленками и сосками! — утверждала Тоня.

И она была как будто права. Соня жила в центре интересов и забот строительства. Она сама понимала, как много усилий потребует ребенок. Разве может ребенок расти в сыром шалаше? И откуда брать молоко? Ведь нет ни коров, ни полотна для пеленок, ничего. И ей, ударнице Соне Тарновской, придется стать «иждивенкой» — что может быть хуже?

— Да при чем здесь иждивенка? — возражала Катя.— В новом городе должны быть дети. Ты себе представь: бульвары, сады — и ни одного ребенка! Да нас же засмеют!

В первом порыве комсомольского самоотречения Соня заявила, что сделает аборт. Но теперь она со страхом ждала решения подруг. Неужели эта жертва действительно неизбежна?

— Нет, нет! — говорила Клава. — Да вы подумайте, девушки, это же убийство!

Дилька рассуждала более просто:

— Ну как ты его будешь растить? Ты сама изведешься и ребенка изведешь! Мороз сорок градусов, сугробы, а ты в шалаше снег топишь, чтобы ребенка купать!

— Не в этом дело, девушки. Но это же эгоизм, мещанский эгоизм! — заявила Тоня. — Приехали, поженились, расплодились, а стройка ухаживай, заботься!

— Да к тому времени, — кричала Катя, — ведь все уже будет! Ведь сроки-то какие! Да пока она родит, шалашей уже в помине не будет. Девять месяцев — это же целая вечность!

В разгар спора в шалаш вошли Сема и Гриша. Девушки разом смолкли. Густо покраснев, Соня с равнодушным видом заговорила о чем-то постороннем.

— Об этом мы поговорим после, Соня, — решительно перебил Сема. — Зачем вы прячете от друзей свои больные вопросы? Простите меня, Соня, но если вы просто не хотите сына — это чудовищно, я не могу поверить. А если вы думаете про комсомол, про стройку — так почему комсомолу вам не помочь? У нас деликатные, чуткие люди, Соня, разве ты не знаешь сама?

— Правильно! — крикнула Клава, и слезы заблестели в ее глазах. — Сонечка, родная, это же правильно.

— Он говорит, что надо посоветоваться с комитетом, — пробормотал Гриша, с отчаянием и страхом глядя на Соню.

Соня промолчала. Она не рассердилась на Гришу. Она думала о том, что вот она комсомолка, ее жизнь сплетена с комсомолом, — значит, у нее не может быть личных вопросов, неинтересных ее организации. Она думала также, что стыдно, стыдно, стыдно пойти к товарищам и обнажить самое сокровенное... Но то, что ей стыдно, это плохо... это признак недостаточной, неполной связанности с коллективом... В то же время ее серьезно тревожило — а вдруг кто-нибудь начнет смеяться над нею? Вдруг начнут дразнить?.. И тут же примешивался девичий страх перед жизненной переменой, и вспоминались рассказы о родовых муках, о детских желудочных болезнях, о скарлатине... Конечно, без всего этого жить легче. Но лучше ли? Она думала обо всем сразу, потому что состояние крайней взволнованности, в котором она жила уже несколько дней, не позволяло ей отделить главное от побочного и навести порядок в мыслях.

— Когда человеку трудно, — изрек Сема, ни к кому

не обращаясь, — как хорошо иметь друзей, чтобы они поддержали тебя за локоть и сказали: мы с тобой!

Соня улыбнулась. Высокопарное красноречие Семы всегда забавляло ее. Оно забавляло всех. Но никто не умел лучше Семы выразить волнующие и смутные ощущения комсомольцев. И часто случалось, что шутливо встреченные изречения Семы играли решающую роль в трудную минуту.

Так и теперь Соня насмешливо встретила слова Семы, но почти сразу же все неясные, мучительные мысли оформились в решение, которое она высказала со страдающим и отчаянным видом:

— Ну и ладно. Зовите сюда Андрюшу и кого там еще... Пусть!

Катя ринулась к двери и уж от двери, усомнившись, спросила: — Весь комитет?

Гриша отрицательно мотнул головой. Зачем всех? Хватит и Круглова. Но Соня, побледнев, прикрыла глаза, резко сказала:

— Да всех. Или всех, или никого!

Заседание комитета в шалаше Исаковых было совершенно исключительным. Катя по дороге всем рассказывала, в чем дело. И члены комитета понимали, что, может быть, впервые в истории комсомола такой вопрос решается на комсомольском заседании.

— И протокол писать? — испуганно спросила Катя, выполнявшая в комитете обязанности секретаря.

— Да ну, что ты, — так же испуганно ответил Круглов и начал заседание: —Все знают, в чем дело? Так... Ну, давайте говорить, кто что думает. С душой, начистоту. Соня — ты?

— Я хочу поступить так, как нужно. С комсомольской точки зрения, — краснея и снова бледнея, твердо заявила Соня. — Чего я хочу, роли не играет.

— Да, но!.. — крикнул Гриша.

— Погоди, друг, — мягко остановил Круглов. — У вас что, разногласия?

— Да! — отчаянно выкрикнул Гриша и, как бы боясь, что его снова остановят и что он не решится высказать все, что думает, заговорил быстро, обращаясь ко всем по очереди, взывая к каждому, чтобы не дали свершиться неправому делу: — Ведь мы строим новую жизнь, ты же сам говорил, Андрей! И ты, Сема! Мы должны создать новую семью, новое поколение, ведь да? А если трудности, так ведь вы сами говорили: если сообща, все преодо-

леть можно. А ты, Валька? Ведь будут же строиться дома, будут же! Неужели не найдется места для ребенка? И потом, ведь это же нельзя, — ведь что будет, если делать так, как говорит Тоня?!

— А что говорит Тоня? — недоброжелательно спросил Валька.

— Я говорю вот что, — строго сказала Тоня. — Я думаю, что нам еще рано обзаводиться семьями, пеленками, кастрюльками. Ничего мы еще не построили. Дел впереди — уйма. Каждая пара рук на учете. Забот по горло. И в такое время — как можно садиться на шею стройке добавочным грузом?

Вокруг нее поднялся ропот. Тоня резко докончила:

— Вот мое мнение. И мнение Сони. Это ведь не шуточки. С кондачка решать нельзя. Куда мы денем и Соню и ребенка? А если болезни?.. Да мало ли что!

— Ну, рано, ну, пусть! — сказала Катя обиженно. — Кто же говорит, что это вовремя? Но факт остается фактом: ребенок должен родиться; значит, надо говорить, что сделать для него. Как же иначе? Ведь он уже есть!

Соня покраснела и закрыла лицо руками. Ей казалось — вот сейчас ребята засмеются... Сейчас Валька что-нибудь ляпнет насчет факта... Нет, она не выдержит, она заревет или накричит на всех...

— Прошу слова! — сказал Валька.

«Вот оно... вот... сейчас ляпнет...» И зачем она допустила это нелепое заседание?

— Разрешите доложить, — начал Валька обычным шутовским тоном. — Моя мама рожала меня в конюшне. Что? Именно в конюшне, где помещаются четвероногие. Так называемые лошади. И кормила меня грудью до двух лет, потому что кормить больше было нечем. А было это во время войны. Беженцы они были, а потом гражданская война...И что же? — крикнул он, от шутливого тона переходя к возмущению. — Вырос я или нет? А мать одна была, заботиться некому. Мы же здесь все вместе. Неужели мы не сумеем одного ребенка вырастить? Да это позорище будет.—И потеплевшим голосом сказал Соне:— Так что, дорогая, не сомневайся. Вытянем. Рожай на здоровье!..

Соня первая улыбнулась, и в улыбках других не было ничего обидного.

Сема Альтшулер встал, видно собираясь произнести речь. Но потом, пробормотав что-то невнятное, повернулся и выбежал из шалаша.

— Мне кажется, ясно, — сказал Круглов. — Хорошо это. Вот я шел сюда и думал: хорошо! Приехала молодежь, комсомольцы. Строим. Трудно. Но все мы видим будущий город — в мечтах ли, во сне, но видим. И вот ожидается ребенок. Так ведь это гражданин нашего города! Так я говорю?

Соня бросилась к нему, схватила за руку, проговорила:

— Я про себя и сама так думала...

И заревела, уткнувшись лицом в плечо Круглова.

Еще не успели ее успокоить окончательно, как в распахнувшейся двери показались Сема Альтшулер и Генька Калюжный. Генька держал в руках сверток и был багров от смущения, — он не забыл свою недавнюю попытку ухаживать за Соней и был уверен, что все об этом немедленно вспомнят.

Сема развернул сверток и торжественно поднял перед собою две голубые сорочки — одну большую, другую поменьше.

— Вы не смейтесь, друзья, и ты, Соня. Может быть, это и не то, что нужно, — мы с Геней не специалисты. Но я ведь знаю, что здесь нет Мосторга и Шелкотреста, а будущему гражданину надо помогать делом, и ему нужны всякие там пеленки, и рубашки, и распашонки, и даже, как первому гражданину, ему полагались бы всякие крепдешины и шелка. Но раз их нет и нет даже ситца, мы принесли вот эти две рубашки — не думайте, они совсем новые, линонез, голубые, как ваши глаза, Сонечка. И, может быть, вы сумеете их перешить?

— Молодцы, ну, прямо молодцы! — восклицала Клава, хлопая в ладоши.

Соня подошла к двум приятелям, крепко поцеловала Сему в обе щеки, потом слегка смутившись, так же крепко поцеловала Геньку.

— Но вы же себя разоряете, — говорила она. — Ведь они же новые! Тут можно что-нибудь старенькое...

— Э, нет, — вмешался Валька, хватая рубашки и на ощупь пробуя материал. — Первому гражданину из старенького? Протестую! Делаю заявку на простыню! Честное слово, — уверял он всех, боясь, что ему не поверят, — у меня привезена с собой совсем новая, я не спал на ней. Какие же простыни без матраца? Вам ребята подтвердят: совсем новая. Из нее пеленок выйдет чертова пропасть!

В ближайшие дни комсомольцы — друзья и малозна-

комые — подходили к Соне и совали ей в руки пакеты, старательно обернутые газетой:

— Рубашка... платок... Прекрасные кальсоны, из них распашонки выйдут...

Епифанов предложил: в нерабочее время построить барак для тех, кто согласен строить его вечерами, и в этом бараке отвести комнату Исаковым. Договорились с Вернером, сорганизовались, вечерами и в выходные дни с азартом работали над «своим» бараком.

Новые друзья — Кильту и Мооми — мастерили из бересты на редкость прочную и красивую колыбель.

Через две недели Круглов объявил на комсомольском собрании, что Соня Исакова просит материалов больше не носить, так как есть уже все необходимое. Соня не хочет никого обижать, но раз больше не нужно — делать нечего.

В тот же вечер Исаковы нашли у себя в шалаше сверток. В нем находились два больших носовых платка и записка, написанная Петей Голубенко с полным знанием дела: «Годится на подгузники».

На этом приношения прекратились.

## 30

Порывистый ветер рвал платье, спутывал волосы, колол глаза. Катя боролась с ветром, очень довольная. Ей хотелось раскинуть руки и кричать: свобода! Но раскидывать руки нельзя, — чего доброго, унесет ветром, а в Амуре сейчас, бр... не вода, а ледышка... Мужа бы сюда, скис бы в два счета.

— А мне хорошо! Хорошо! Хорошо! — напевала Катя. И вдруг замолкла, удивленная. В волнах мелькала черная точка: не то голова, не то арбуз. Но откуда здесь быть арбузу? Конечно, голова. Вот и руки видны — крупными взмахами загребают волну. Замерз, бедняга, торопится. Но откуда взялся на реке человек?

Катя оглядела всклокоченную ширину Амура — нет ли где обломков от затонувшего корабля или днища перевернутой лодки.

Она придумывала объяснения — это нанаец-рыбак. Или матрос затонувшего парохода. Или нет — это заблудившийся охотник, голодный, усталый, бросившийся на дымок лагеря через трехкилометровую реку, — все равно: или рисковать жизнью, или погибнуть от голода в тайге.

Пловец был все ближе. Катя замахала руками, закричала. Пловец заметил ее и переменил направление; волны били его сбоку и толкали вниз по течению, но сильное тело пловца преодолевало течение.

Катя обдумывала: что же делать с ним? Дать ему свою юбку? Схватить за руку и бежать во весь дух в лагерь, пока бедняга не закоченел на ветру?

Пловец уже у берега... нащупывает дно ногою... фыркает, вытирает руками лицо и волосы. А с волос струится вода, и с плеч — вода, и за ним тянется мокрый след.

Катя деликатно отвела глаза. Пловец карабкался наверх, к Кате. И прежде чем Катя опомнилась, две сильные руки подхватили ее и мокрые губы крепко поцеловали ее приоткрытый от удивления рот.

— Фу ты, Бессонов! — вскрикнула Катя.

Она не рассердилась, а просто удивилась. Валька заметил это и тотчас же повторил поцелуй. На этот раз Катя больно шлепнула его по плечу:

— Дурень, замочил всю! Нашел время ухаживать...

Тоня сидела одна на берегу озера.

Она заметила на естественной песчаной дамбе, отделяющей озеро от Амура, веселую парочку, но ее рассеянный взгляд скользнул по ним, не узнавая.

Потом они пробежали совсем недалеко от Тони. Валька старался поймать Катю, а она увертывалась, хохотала и дразнила его. Они не видели Тоню: они были слишком увлечены игрой.

Тоня поглядела им вслед и снова погрузилась в свои думы. То, что она переживала последние дни, было неожиданно и ново для нее, и она не знала — хорошо это или плохо.

Началось с того дня, когда парни подрались из-за девушек. Тоню возмутила их грубость. Но никто не дрался из-за нее, ради нее. Ее обходили. И была минута, когда Тоня глубоко и мучительно обиделась на всех. Если бы у нее было зеркало, она побежала бы смотреться в него, — неужели она так нехороша, что даже здесь, где на тридцать парней одна девушка, никто не остановит на ней взгляд? Зеркала не было, но Тоня знала сама, что она совсем не уродлива... Так почему же? Почему? Ей было двадцать три года, но любовь шла мимо нее, как толпы гуляющих в парке проходили мимо нее в детстве, равнодушные, чужие, непонятные.

Желала ли она любви? До сих пор она не думала о ней или почти не думала. Она изгоняла любовь, как слабость.

Она ненавидела прошлое, ненавидела мещанство, от которого веяло смердящим духом недобитого прошлого, ненавидела легкомыслие, кокетство и наряды подруг и невыдержанность парней. Ей казалось, что пока не кончена борьба (и борьба до победы коммунизма во всем мире), шутить, кокетничать, веселиться — преступно. Выйти замуж — измена. Какой из нее борец, если она связана семьей, детьми, любовью!

Она была строга к себе и старалась вытравить в душе всякое стремление к нежности, к ласке и уюту. Она боялась размякнуть, потерять свою ненависть, свою решительность, свою силу. Она любила читать про то, как работал в тюрьме Ленин. Она задыхалась от возбуждения и желания быть такой же, когда читала о том, как принял смерть Овод, презрев возможность спасения, как борцы революции шли в тюрьмы и на каторгу, пронося через все пытки свою гордость пролетарских революционеров.

Тоне хотелось все так же, стиснув зубы, страдать и не склонять головы. Забывая про различие условий и времени, она стискивала зубы сейчас, когда страданий не было, когда ее самоотречение становилось фальшью и обедняло ее жизнь в той же мере, в какой оно обогащало души великих борцов, проносивших сквозь страдания и боль не только презрение к ним, но и глубокую человеческую любовь к народу, ради которого они страдали. Тоня не понимала этого и строила свою жизнь по выдуманной схеме, исполненная лучших намерений и не видя никаких результатов от своего иллюзорного подвижничества.

И вот теперь, в героической обстановке строящегося города, Тоня вдруг отчетливо поняла, что ее жизнь фальшива и бесцельна. Она была примером выдержки, принципиальности, дисциплины. Но ее пламенные речи падали в холодную пустоту. Ее не любили. Никто не звал ее к себе в трудную минуту. А Клава добивалась всего, чего хотела. Она сказала несколько простых слов своим детским голосом, и парни пошли сплавлять лес и работали как никогда, азартно и дружно. Во время «бузы» на корчевке она взялась неумелыми руками за огромную пилу, и парни бросились, чтобы занять ее место. Клава сказала: «Ну, то-то, у меня уж руки заболели», — и стояла без дела, всем улыбаясь, всех замечая, и все были довольны. А Тоня работала несколько часов, и никто даже не подумал предложить ей более легкую работу.

Катя была легкомысленна и смешлива, она никогда

не выступала на собраниях, но она затевала песни, игры, организовала утреннюю зарядку, тянула ребят купаться и гулять и создавала атмосферу жизнерадостной бодрости, улучшавшей и выработку, и отдых, и самую жизнь.

Соня вышла замуж. Тоня была возмущена—не время! Безобразие! — но первая свадьба вдохновила всех, и Сема Альтшулер приветствовал первую семью нового города, а будущий ребенок стал коллективной заботой всей стройки; еще не родившись, он заранее освещал жизнь беспечной детской улыбкой.

Лилька — даже грубая, себялюбивая, ветреная Лилька — и та вносила в жизнь лагеря оживление! А что внесла Тоня? Две рабочие руки — и больше ничего.

Эта мысль открылась ей только теперь и ошеломила ее. Она увидела себя со стороны, глазами товарищей — сухую, недобрую, придирчивую, требующую самоотверженности, но не умеющую вызвать ее теплыми словами и ободряющим участием. «Сухарь Тоня». Да, ее звали так. Такою она и была.

Она требовала исключения виновников драки из комсомола, а Бессонова вернули, простили, и вот он работает, и выбран в комитет, и пробежал мимо нее с Катей, веселый и довольный... А ее не выбрали, и она сидит одна... Недаром ее высмеял тогда Морозов!

Но самым тяжелым было то, что она поняла: «сухарь Тоня» — это же не она! Это видимость, маска. Она неожиданно почувствовала в себе такое неуемное, страстное желание любви, участия, нежности, что сама испугалась. Она ловила себя на том, что завидует Клаве, что ей хочется со всеми дружить и что она вместе с Катей с наслаждением штопала бы вечерами чужие рваные, плохо простиранные, загрубелые носки за простое слово благодарности, за добрый взгляд. Но она не могла перемениться. Никто не догадывался помочь ей сделать первый шаг. Ей и не поверят, от нее ждут другого. Сухарь. Ханжа...

На землю падали сумерки. Предвечернее сияние окрасило озеро в искристый бледно-лиловый цвет. В тайге шумел ветер. Небо — высокое, строгое, без облака, без красок.

Тоне захотелось плакать, но она не умела плакать. С детства она плакала только раз — перед отъездом из Иванова, рассказав подругам о матери. Тогда девушки поняли ее... но надолго ли? Она сама оттолкнула их резкостью. Если бы она знала тогда все то, что знает сейчас... Разве в ней не таились силы огромной человеческой люб-

ви? Ведь ее мать—замученная, рано увядшая, затравленная жизнью, — ее мать была так ласкова, так смешлива, так участлива... И пела так, что вся фабрика слушала ее «Полянку».

Тоня запела. Мелодия родилась сама собою, и слова пришли сами, простые и грустные, — потом она никогда не могла вспомнить, что́ она пела. Она слушала свой голос, летевший над озером, — голос был сильный, глубокий, свободный. Она даже не знала, что у нее такой голос. Ей случалось петь в хоре, но она никогда не вслушивалась, как звучит ее пение. А у нее голос настоящий, большой голос. Лилька — певунья-запевала, но Тоня чувствовала, что поет красивее, звучнее, чище.

Она вздрогнула и смолкла, потому что две грубые, пахнущие древесной корой руки прикрыли ее глаза.

— Кто это? — крикнула она испуганно.

Это был Сергей Голицын.

— А я думал — Лилька, — пробормотал он виновато.

Тоня уже готова была ответить привычной резкостью (они с Сергеем вечно пререкались и изводили друг друга), но Сергей присел на траву рядом с Тоней и попросил:

— Ты продолжай, Тоня. Я ведь не мешаю.

Он был настолько изумлен, что забыл сказать что-либо язвительное.

Тоня помолчала и запела. Теперь она запела старую деревенскую песню, из тех песен, которые певала Лилька. Она выбрала ее женским инстинктом, подсказавшим, что она споет лучше. Ее щеки порозовели. Она наслаждалась звуками своего голоса, и захотела услышать восторженную похвалу, и захотела во что бы то ни стало, чтобы в нее тут же, моментально, влюбился Сергей Голицын — тот самый Голицын, которого она терпеть не могла. Ей казалось, что наступил момент перелома, что с этого вечера все пойдет иначе, что она сама станет иною.

Сергей слушал и сбоку смотрел на ее изменившееся, смягченное лицо, на ее поющий рот, на ее высокую, возбужденно дышащую грудь. «Вот так Тоня! — думал он, не находя прежних слов насмешки и осуждения. — И как это я не замечал, что она такая? Может быть, она влюбилась в кого-нибудь? Здо́рово поет... А может быть, и в меня? Почему бы и нет? Может быть, она уже давно влюблена в меня и все ее штучки — одно притворство?»

Он томился одиночеством и со свойственным ему легкомыслием был не прочь поверить своей выдумке.

Тоня кончила песню и смотрела вызывающе.

— Еще! — сказал Сергей и дотронулся до ее руки.

Тоня отдернула руку и запела другую, любовную, томительно-страстную песню.

«Определенно влюблена... И как я не заметил раньше? Вот и песню такую выбрала. Забавно! А я, дурак, за всеми девчонками бегал по очереди, а Тоньку не видел. Она сейчас совсем хорошенькая и нисколько не колючая. Дурак я, дурак!»

И он уверенно положил свою руку на трепещущую руку Тони. «Что со мной? Что со мной? — спрашивала себя Тоня, не отнимая руки и прислушиваясь не столько к зовущим и замирающим звукам своего голоса, сколько к блаженному смятению, охватившему ее. — Что же это такое? Почему я не отнимаю руки? Ведь это Голицын, я же его терпеть не могу, это бузотер и наглец, он мне всегда не нравился... Что со мною?..»

Он сжал ее пальцы и сказал многозначительно:

— Я и не знал, что ты такая...

И начал гладить ее руки и плечи торопливыми, жадными руками. Он сам не знал, как это получилось. Ему самому было странно, что это Тоня, «сухарь Тоня». Но прежнее представление о ней исчезло, и, не успев еще освоиться с новым, он чувствовал только неудержимое желание.

Тоня не оттолкнула его. Она ужасалась и радовалась нетерпеливо-жадным прикосновениям ласкающих рук. Она поняла как-то сразу, в огромном напряжении душевного кризиса, всю пустоту своей одинокой жизни, крепкую жизненность Кати Ставровой, счастливое простодушие Клавы, беззаботность Лильки, могучее счастье Сониной любви, все радости человеческого сердечного общения, всю пламенность своей нетронутой души, всю страсть, всю веру, все величие надежд, которые несет любовь.

Она испугалась, растерянно взглянув на Голицына, еще больше испугалась, увидев его нетерпеливое лицо... И, не зная, как укрыться от этого нетерпения, снова запела. Она пела украинскую веселую девичью песню, которая раньше не нравилась ей, но сейчас показалась прекрасной. Да она и сама показалась себе веселой и прекрасной. Откуда пришло это ощущение? Что случилось в эти полчаса, разом изменив ее жизнь?

Она слышала, что голос ее становится все сильнее и звучнее. Но Сергей уже не слушал. Он внимательно огляделся—берег был пуст. Тогда он резко схватил Тоню,

запрокинул ее на свои руки и впился в ее губы. Она ответила на поцелуй без колебаний, без попыток сопротивления. Она отвечала на поцелуи охотно, пылко, с неожиданной страстностью. И, не прикрывая глаза, как обычно делают девушки, смотрела на Сергея острым, горячим, вопросительным взглядом.

Она чего-то ждала. Он не знал — чего. Ее глаза смущали.

— Что же это такое? — доверчиво и восхищенно спросила она.

И тогда Сергей начал говорить. Он говорил все, что мог придумать и вспомнить, все, что подсказало нетерпение: он ее любит, любит давно, но нарочно ссорился с нею, чтобы скрыть свои чувства, она красивая, у нее чудесный голос, он давно ищет этой минуты, он ее выслеживал, чтобы застать одну, он умрет, если она не будет принадлежать ему... Обрывки читанных романов, ласковые слова, которые говорили ему девушки и которые он говорил им, — все это он пересказывал Тоне, горячо, быстро, умоляюще, перемешивая слова с поцелуями.

Тоня отвечала ему радостно и взволнованно; ее сердце ширилось от ласки, в ее душе звучала песня — необычайная, раздольная, дурманящая песня. То ей казалось, что она поет сама, то казалось, что поет все кругом: озеро, тайга, высокое небо, — отовсюду лились на нее небывалые звуки. И она поверила, что это любовь.

Они вернулись домой порознь, чтобы не вызвать подозрений.

Тоня посидела у костра — бледная, счастливая, с припухшими губами и сосредоточенным взглядом; она прислушивалась к песне, звучавшей в ее душе.

Сергей растянулся на траве, прикрыв глаза.

Ребята упрашивали Лильку спеть.

— Да что все Лилька да Лилька! — резко сказал Сергей. — Спой ты, Тоня.

— Что же спеть? — покорно спросила Тоня.

Никто не ответил. И Тоня испугалась, что ребята не поверят ее умению, и Лилька запоет первая, и минута будет упущена, и никто не узнает, не догадается, какая она в самом деле. Она запела украинскую веселую девичью песню, начатую и не доконченную на берегу озера. Когда она дошла до слов, на которых ее прервал Сергей, Сергей поднял голову и подмигнул ей. Тоня запнулась, вспыхнула и продолжала петь, вкладывая в песню всю страсть своего нежданного чувства.

К ней неслись возгласы удивления, похвал, упреков.

— Так вы же меня никогда не просили... — сказала Тоня и убежала.

— К каждой девушке надо подобрать ключ... — сказал Сергей и снова уселся. К нему приставали с вопросами, но он отнекивался, загадочно усмехался и рано пошел спать.

А Тоня бродила по лагерю, не находя себе места. Любовь переполняла ее и требовала новых впечатлений, новых проявлений. Ей хотелось позвать Сергея, но Сергей ушел спать. Тоня с нежностью подумала, что он устал, и удивилась: она ощущала в себе такую силу, что могла бодрствовать ночь напролет.

Она очутилась у шалаша Исаковых. От внезапной мысли кровь ударила в голову: да, да, и они тоже будут вместе, будут нераздельны. Как же это будет?.. Он — муж, ее муж...

Она толкнула дверь и вошла в шалаш. На нее пахнуло теплом и спокойствием. Земляной пол был устлан мхом. Топчаны тщательно прикрыты одеялами. На печурке, сложенной из камней, грелся чайник. Самодельная коптилка освещала Гришу на постели и склоненные головы Сони и Клавы. Соня и Клава шили.

Они оглянулись на шум двери, но со света не видели Тоню.

— Это я! — радостно сказала Тоня. — А вы что это здесь рукодельничаете?

Соня испуганно смяла в руках шитье. Клава тоже насторожилась, — она знала, что Тоня осуждает и замужество и беременность Сони, и ей было неловко, что они пойманы на месте преступления, с детскими распашонками в руках.

Но Тоня нашла, что в шалаше уютно, одобрила мох на полу, заинтересовалась распашонками и вызвалась помочь.

Соня как-то суетливо дала ей работу.

Все молчали.

— Хорошо у вас. Счастливые вы... — сказала Тоня, умоляюще улыбаясь Соне.

Гриша сухо сказал:

— Ты же осуждаешь.

Тоня жалобно огляделась. Ее не любили, ее боялись, ее приход смутил и огорчил их: всем троим было хорошо до ее прихода и неприятно теперь.

Клава с особенной, чуткой догадливостью сказала примиряюще:

— Ну что ты, Гриша?.. Разве ты не понимаешь, мы просто вам завидуем!

Тоня обняла ее, прижалась к ее плечу горящей щекой.

— А как Лилька сегодня пела! — заметила Соня, чтобы переменить разговор.

— Вот это? — лукаво спросила Тоня и полным голосом пропела первую строфу песни.

— Так это ты пела?

— Я пела, — все с тем же новым, лукавым выражением сказала Тоня и продолжала петь вполголоса.

Она ушла домой вместе с Клавой, обняла ее и повела вокруг всего лагеря, чтобы пройти мимо шалаша, где жил Голицын. Из шалаша несся громкий храп.

— Храпит-то как — наверно, Голицын, — сказала Тоня и остановилсь. Если бы не Клава, она могла бы простоять здесь до утра.

— Нет, это Епифанов, — деловито ответила Клава, — ребята жаловались, очень храпит.

Тоня вздохнула и пошла дальше.

Лежа в холодной жесткой постели, она смотрела в темноту и смеялась от радости. То ей представлялось, как они с Сергеем устраиваются в своем собственном, семейном шалаше, то она мечтала о завтрашней встрече, о его смелых ласках и нежных уверениях, то думала о Сонином ребенке и замирала от необычности своих мечтаний.

— Сережа! Сережа! — еле слышно повторяла она, беззвучно смеялась и, уже засыпая, представляла себе, что качает берестяную люльку и поет колыбельную песню, и песня укачивает ее самое, и движение люльки укачивает, и счастье укачивает...

Проснувшись утром, Лилька с удивлением увидела, что «сухарь Тоня» улыбается во сне.

## 31

С тех пор, как Андрея Круглова выбрали секретарем комсомольского комитета, он брился каждый день. Морозов говорил: «Лучшее противодействие всем лишениям — внутренняя и внешняя подтянутость». Андрей старался привить эту подтянутость комсомольцам. Но это было нелегко, когда не было ни парикмахера, ни одежды, чтобы переодеться после грязной работы, ни клуба, где можно развлечься, ни электричества, чтобы почитать дома.

Андрей «в порядке комсомольской дисциплины» велел Пете Голубенко научиться брить и стричь. Петя по-детски обожал Круглова и безропотно подчинился приказу. Он открыл в палатке парикмахерскую и повесил вывеску: «Парикмахер Пьер — мастер на все руки. Здесь же хвойная настойка против слепоты».

Варить настойку из хвойных игл посоветовал комсомольцам Касимов. Она помогала,—если и не вылечивала, то предупреждала заболевания: новых случаев куриной слепоты не было. Пользуясь свободными часами, когда клиентов не было, Петя варил настойку и продавал ее «в пользу приобретения патефона».

О патефоне страстно мечтали. Как только темнело, скука вступала в свои права. Заняться было нечем.

Андрей организовал работающих на монтаже электростанции и вечерами занимался с ними электротехникой, вспоминая пройденное в вечернем техникуме. Иногда он приглашал инженера Слепцова. Но инженер Слепцов увиливал от занятий, все свободное время проводил на охоте и цинично говорил Круглову:

— Охота с выпивкой и выпивка без охоты — вот и вся жизнь.

Инженеры доставали и водку и вино, хотя Вернер категорически запретил спиртные напитки на площадке. Потихоньку доставали водку и некоторые комсомольцы.

На берегу, в сарае, принадлежавшем Паку, маленькому юркому корейцу, вечерами собирались оставшиеся местные жители и кое-кто из комсомольцев. Одни комсомольцы приводили за собою других. Здесь сидели при свете керосиновых ламп, играли в карты и в домино, здесь же из-под полы продавались водка и спирт. Пак уверял, что спирт — лучшее средство от куриной слепоты, и продавал его как лечебное средство по повышенной цене. В тумане табачного дыма обросшие бородами комсомольцы выглядели разбойниками из захудалого притона.

Андрей скоро научился отличать комсомольцев, не бывающих у Пака, от тех, кто у него бывает постоянно: завсегдатаями Пака были самые недисциплинированные, среди них оказались первые трусы, дезертировавшие со стройки.

Как только ухудшалась погода, шел дождь или налетали холодные ветры, появлялись дезертиры. Они пытались проникнуть на пароход. На берегу дежурили члены комитета и группы активистов-комсомольцев. Они уговаривали, стыдили, уводили домой дезертиров. Бывало, уже

прибежавший с чемоданом паренек, выслушав уговоры товарищей, расплачется, виновато скажет:

— Да я ведь сам... Я сгоряча. Вот, говорят, зимой все равно не выдержать.

И вернется в лагерь успокоенный.

Андрей обратил внимание на работу бригад. Бригада должна воспитывать, подтягивать, отвечать за каждого члена.

Он добился премирования лучших бригад, причем бригаду Альтшулера специально отметил как бригаду, где все комсомольцы делают утреннюю зарядку и совместно проводят свободные часы.

В июле наконец приехал врач. В пенсне и с ящиком медицинских книг. И с неуживчивым, ворчливым характером, который, как скоро выяснилось, прикрывал неудержимую доброту его одинокой души. Он не одобрил и не запретил хвойную настойку, но в тот же день накричал, не стесняясь, на Вернера и Гранатова, требуя, чтобы комсомольцев кормили овощами. Ему показали наряды и телеграммы. Он пробурчал: «Скорей, скорей надо, из телеграммы борща не сваришь», — и открыл врачебный прием в пустовавшей комнате Тараса Ильича, так и пропавшего в тайге. Больница еще только строилась.

Круглов видел, что у «медицинской» избы с утра выстраивается очередь. И в этой очереди стоят самые отъявленные лодыри, самые распущенные завсегдатаи Пака. Андрей прошелся вдоль очереди, расспрашивая. Каждый жаловался на боли, на общее недомогание, на загадочные симптомы неведомых болезней.

Он зашел на прием.

— К маме захотелось, соскучились? — сердито глядя поверх пенсне, крикнул ему врач.

Круглов представился.

— А! Начальство, значит? Ну-ну, извините. Хорошо, что зашли.

Он рассказал, что ежедневно отклоняет просьбы о справках на отъезд по состоянию здоровья. Просят справки не те, кто действительно болен, а те, кто болен скукой.

— Скука! — крикнул он и машинально выслушал легкие Круглова. — Хрипите, молодой человек. Хрипите, а лечиться не приходите... Ску-ка! — повторил он. — Займитесь, займитесь ими. Безобразие! Девушек мало. Балалаек нет, гармошек нет. Я бы знал — вместо аптечки волейбольные мячи привез бы. Игры нужны, музыка!

И брить, брить, брить всех подряд, в обязательном порядке.

Вечером Андрей пошел в обход по лагерю. В холодные вечера он любил подсаживаться то к одному костру, то к другому. Его радовали рассказы, песни, сказки, споры, мечтания. Это была жизнерадостная душевная болтовня обо всем понемногу. Но сегодня костров не было.

Часть комсомольцев веселыми группами расположилась над берегом Амура.

Круглов пошел по шалашам.

В полумраке, на нарах и прямо на полу, вповалку лежали парни. Их было человек двенадцать. В рабочей одежде, в облепленных грязью сапогах или в рваных ботинках, перевязанных веревочками, они с цигарками в зубах валялись на смятых постелях и пели протяжно, нудно, без удовольствия:

Позабыт, позаброшен с молодых, ранних лет...

Андрей осветил их спичкой:

— Да что вы это, хлопцы?

— Отдыхаем, — зло сказал кто-то.

Песня тянулась.

Андрей попробовал заговорить, но вялый голос откликнулся:

— Не мешай. Видишь — люди заняты.

В соседнем шалаше играли в очко. Увидев Андрея, метавший банк бородатый парень торопливо сунул под себя новенькую колоду. Андрей с трудом узнал в этом парне Николку.

— Картеж развели? — раздраженно спросил он.

— В театр ходили, да не понравилось, — ответил Николка, глядя на Андрея злым, вызывающим взглядом.

— Отдай карты. Комсомолец!

Парень, не возражая, порылся в тряпье за спиной и протянул истрепанную колоду.

— А новые где? Ты не финти, ты новые давай.

— Новые еще не купили, — нагло сказал Николка. — А не веришь — обыскивай.

— Вы что же это, ребята, — мягко упрекнул Круглов, — разложение разводите?

Игроки озлобленно косились на Круглова и молчали. Из темного угла раздался обиженный простуженный голос:

— А что делать-то? Хоть бы мандолина была... Тощища!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В шалаше Исаковых горела коптилка.

Соня с карандашом в руке сидела у стола.

Слепой Гриша ходил по шалашу — два шага вперед, два шага назад — и диктовал, размахивая рукой в такт словам:

Дезертиры, стойте! Я болен и слеп.
Мои глаза пеленою вастланы...

Соня записывала. Одинокая слеза задержалась на ее щеке.

— Зачеркни, — бросил Гриша и продолжал диктовать:

Дезертиры, стойте! Глаза мои слепы,
Но правду я вижу острее зрячего.

— Теперь пропусти. Ты как записала? Сбоку где-нибудь заготовка: «Лучше слепым вечерами горбиться, чем зрячим мерзавцем...» В стороне записала? «Но правду я вижу острее зрячего...» Это кто? — быстро поворачиваясь к двери, спросил он.

— Это Андрюша, — сказала Соня и виновато смахнула слезу.

— А, Круглов! — обрадовался Гриша. — Вот это хорошо. А я стихи пишу. Ты понимаешь, Андрей! Я думаю — если я не могу написать такие стихи, чтобы каждый дезертир устыдился, вернулся, — какой я к черту поэт? Были же стихи, которые вели в бой! Это проверка: или я поверну их назад, с берега, со сходней, с палубы... Да, да, я влезу на сходни, на бочку, на что угодно и буду кричать свои стихи.

Соня умоляюще смотрела на Круглова. Новая слезинка выскользнула на ее щеку.

— Ты в стенгазету дай, — посоветовал Андрей.

— Нет! — громовым голосом крикнул Гриша. — К черту стенгазету! Я пойду сам и поверну их всех, или я не поэт, или я брошу раз навсегда бесполезное рифмоплетство. С бочки, с трапа, с груды ящиков... Так учил Маяковский! Он бы не постеснялся полезть хоть на мачту!

На самом краю «Шалашстроя», на длинном бревне сидели десять парней — бригада лесогонов в полном составе. Это были дюжие, рослые парни: на стройке они творили чудеса. Сейчас они сидели все в ряд, сложив на коленях натруженные руки, опустив широкие, могучие

плечи, и дружно пели густыми, басистыми, хорошо спевшимися голосами:

> Ведь все равно наша жизнь давно пропащая,
> И тело женское проклято судьбой.

Они были неподвижны; только крайний в ряду толстый парень, уставясь глазами в землю, механически покачивался и по-цыгански потряхивал плечами.

Андрей остановился и хотел заговорить с ними, но спазмы сдавили горло, и стало щекотно глазам от набежавших слез.

В сарае Пака было людно и накурено. В открытую дверь валил клубами табачный дым. У входа торчал парнишка. Он что-то крикнул в дверь, и, когда Андрей вошел, люди сидели, разговаривая, зевая, читая газеты. Сам Пак, угодливо улыбаясь, подошел к Круглову:

— Старика навестить пришел, сынок?

— Я вам не сынок, — сухо сказал Андрей и оглядел собравшихся. — Что вы тут делаете, ребята?

— Разговариваем, — отвечали деланно-беззаботные голоса. — Так, зашли поболтать... Время коротаем...

Уходя, Андрей оглянулся. Парнишка снова караулил у дверей. Из сарая доносился сдержанный смех.

В девичьих шалашах было пусто. Гуляют девчата? Андрей с горечью подумал о том, что только несколько счастливцев могут погулять с девушками. Он догадывался: с Катей — Валька Бессонов или, может быть, Костя Перепечко; с Тоней — Голицын. А с кем Клава? Его тягостно задела мысль, что Клава может уступить настойчивости кого-либо из парней. Он вспомнил ее глаза, полные затаенной грусти. Он не был виноват перед нею, но чувствовал себя виноватым.

Задумавшись, он почти натолкнулся на Лильку и парня, которого не разглядел в темноте, — они стояли на тропинке и целовались.

— Лучше на глазах, чем за углом, — вежливо одобрил Андрей.

Перед ним возникла Дина, ее рыжеватые искристые волосы, ее удлиненные блестящие ногти, аромат ее пряных духов. Дина писала:

«Я не успею приехать до ледостава, никак не выходит — масса дел, ты сам пишешь, чтобы я взяла побольше теплых вещей, а у меня ничего нет. Мне интересно, как это ехать по льду на автомобиле, — должно быть, очень холодно. Выеду в начале декабря; у меня будет попутчик,

инженер Костько; он какой-то судостроительный специалист и едет к вам в годовую командировку. Мой любимый, черноглазый, о вашем новом городе была небольшая статья, ужасно все романтично. Я стосковалась по тебе безумно, и я мечтаю о твоем шалаше. Хорошо бы украсить его медвежьими и волчьими шкурами, у вас в тайге ведь много медведей и волков... А лошади у вас есть? Коньки я купила тебе и себе. В энциклопедии я читала статью о Дальнем Востоке, что у вас много соболя и песцов. Вот бы достать голубого песца — мне будет страшно к лицу с черным шелковым платьем, ты себе представляешь?»

Он себе представлял: стройная, тонкая, в черном шелку с воздушно-голубым мехом... У него кружилась голова. Но он почти желал, чтобы Дина не приехала. Как совместить этот изящный и легкомысленный образ с буднями стройки? Он краснел, представляя себе, как пойдет она по этой вот тропинке среди шалашей своей легкой походкой на зыбких каблучках, как станет она рядом с Епифановым, с Валькой Бессоновым, с лесогонами, как будет она говорить с Катей Ставровой, с Лилькой, с Тоней... с Клавой!

Он ясно вообразил встречу Дины с Клавой. Дина — в шелку, в кокетливой шапочке, в облегающих руку перчатках, которые он готов был целовать... И рядом Клава в потрепанном халате или в своем простеньком голубом платье, которое кажется здесь почти роскошным...

Он чувствовал, что страдает за Клаву...

И вдруг она выросла перед ним, в бушлате Епифанова, с растрепавшимися кудряшками на лбу.

— Андрюша! — вскрикнула она.

Они молча смотрели друг на друга.

— Откуда бежишь? — неожиданно охрипшим голосом спросил Андрей.

Клава не ответила, припала к плечу Андрея и горько расплакалась.

Беспомощно, как все мужчины перед женскими слезами, Круглов топтался на месте, гладил ее волосы, пробовал расспрашивать... и боялся признания, на которое не мог ответить, не оскорбив ее.

— Парни... пристают... — вдруг сказала Клава и заплакала еще горше.

Андрей увел ее в свой шалаш. Там никого не было. Он растопил печку и поставил чайник. Рассеяв хлопотами душившую его тоску, он спросил:

— Кто пристает?

Притихшая Клава испуганно замахала руками:

— Нет, нет, Андрюша... Ты не думай. Разве они виноваты? Им же тоже скучно.

Он снял с нее бушлат и посадил ее к огню. И хотя вечер был тепел, она с благодарностью грелась у огня, так как озябла от слез.

— А Епифанов... тоже?

Клава порозовела.

— Нет, — сказала она. — Епифаныч хороший. Он меня всегда спасает. Но теперь у них монтаж, он и ночами работает...

— Влюблен в тебя?.. По совести?..

Клава совсем раскраснелась и спрятала лицо:

— Не знаю, Андрюша. Как их поймешь? Им же всем скучно... Только Епифаныч хороший. Он да Сема Альтшулер — мои лучшие друзья.

— А почему ты к Соне не ходишь?

— Да ведь мешаю я! Ты пойми! Им же тоже хочется вдвоем побыть... Как же я пойду?

Клава порывалась уйти, но Андрей ласково удержал ее, и впервые за все время знакомства они разговорились как друзья. Клава спросила, когда приедет Дина. Она не сомневалась, что Дина соберется в путь по первому вызову, — она судила по себе. У нее было печальное, покорное лицо. Андрей видел, что ей тяжело. Но от Клавы исходила женская задушевная теплота, а Круглов уже давно не разговаривал с девушкой вот так вдвоем, с дружеской искренностью. В порыве откровенности он показал ей письмо Дины и спросил:

— Как ты думаешь, уживется она здесь, с народом нашим?..

Клава не отвечала. Сдвинув брови, она грустно и удивленно вглядывалась в изящные волнистые строчки чужого письма — это был иной, непонятный мир.

— Она красивая?

Он достал из бумажника фотографию. Изумительно красивое лицо заученно улыбалось в аппарат, широко раскрыв огромные светлые глаза.

Клава даже зажмурилась.

— Работает? — почти шепотом спросила она.

— Машинисткой... И потом она учится на курсах стенографии... Я думаю, здесь в конторе ей найдется много работы.

— Комсомолка? — совсем шепотом спросила Клава.

— Нет, — еле слышно ответил Андрей.

И оба отдались течению своих мыслей, тревожных и печальных.

— Ничего, — сказала, подумав, Клава. — Ей будет трудно... знаешь, ребята — народ грубоватый... Но ты не бойся... мы ей поможем... Надо будет втянуть ее в комсомол, да?

Андрей крепко пожал маленькую худую руку.

Клава не смотрела на него, плотно сжав губы.

И разговаривать по душам стало невозможно. Они ухватились за то, что было спасением для обоих.

— Что-то надо сделать, — заговорил Андрей.—Ребята гибнут от скуки. Видишь, и тебе от них проходу нет. И этот Пак притон завел, черт знает что устраивает!.. Разлагаются ребята...

— Мы с Катей уже говорили, — оживилась, откликнулась Клава. — Катя с Валькой что-то затевают, джаз какой-то... Если бы нам клуб устроить — по-настоящему... Ты позови их, обсудим.

— А где их взять?

Клава вышла из шалаша, приставила ладони ко рту и звонко крикнула:

— Катя! Валька!

Тишина ожила. Из темноты откликались десятки голосов. Круглов слышал, как кто-то заговорил с Клавой, и Клава сказала умоляюще:

— Да отстань ты, Тимоша, ну прошу тебя, ну что ты лезешь, ведь сказала я...

Андрей высунулся за дверь и со смехом втянул за воротник Тимку Гребня, своего веселого земляка. Тот шутливо отбивался. Вслед за ним в шалаш вернулась Клава, и почти сразу за нею прибежали Катя с Валькой.

— Этот субъект пристает к Клаве, — сказал Андрей, держа Тимку за воротник.— Отвечай немедленно — чего пристаешь? Не оправдаешься — убьем на месте!

Тимка, нисколько не смущаясь, изображал глубокое смущение:

— Жалко!

— Чего жалко?

— Жалко, говорю, пропадает такая девушка!

Клава принужденно засмеялась. Круглов покраснел— он понял намек товарища. Их выручил Бессонов.

— А мне тебя жалко, — сказал он Тимке.

— А меня чего? Жених пропадает?

— Нет, — вздохнул Валька, — бить придется, а жалко — еще карточку испортишь.

Катя хохотала, обняв за плечи Бессонова. Ей одной было всегда весело. Они с Валькой занимались акробатикой, атлетикой, плаванием на дистанцию. Они проводили время вместе как два товарища, которые могли бы быть и более близкими, но еще не торопятся кончать веселую и сложную игру. Катя не хотела связывать себя. Она совсем не вспоминала мужа, — она жила настоящим, и в этом настоящем больше всего ценила напряжение борьбы, веселость и свободу. И все ей нравилось — даже борьба с комарами не раздражала, а смешила ее: они с Валькой зажигали сосновые ветки и носились с ними, как с факелами.

— Ну ладно, с Тимкой вопрос отложим, — сказал Андрей. — Есть дело. Срочное заседание инициативной группы по борьбе со скукой и разложением объявляю открытым. Докладчик я. Все знают — народ пропадает от скуки. Вечерами некуда деваться. Картеж развели. А песни — вы слыхали, какие поют песни? От них и на веселого тоска нападет. Водка из-под полы появилась. Сарай Пака. Ну и все. Доклад окончен. Прошу говорить. Что сделать, чтобы ребята не раскисли совсем? Имейте в виду, мысли о дезертирстве возникают не на работе. Они возникают тогда, когда парень лежит грязный в темноте и поет кабацкие песни. А от Пака к дезертирству — прямая дорожка.

— Антискуколин! — с удовольствием провозгласил Валька.

— Что?

— Антискуколин, — повторил Валька. — Это название для нашей группы. А теперь — слово имеет Катя. У нее всегда пропасть предложений.

Катя, не ломаясь, начала говорить.

## 32

Чтобы заглушить тоску по Дине, Андрей всячески загружал себя работой, производственной и комсомольской. Он монтировал электростанцию, проводил электрическую сеть в шалаши и на участки, принимал горячее участие во всех затеях Катиной группы, за которой утвердилось шутливое название «Антискуколин».

И получилось так, что тоска исчезла. Все чаще он чувствовал себя счастливым и свою жизнь — полнокровной и богатой.

На электростанции шли последние испытания. Механические мастерские уже высились серыми оштукатуренными стенами, и Коля Платт кончил установку станков.

Лесозавод готовился к пуску. Залезая в воду, чтобы выкатить на берег намокшие бревна, бригады Калюжного и Тимки Гребня волоком тащили бревна вверх по крутому скату, на лесную «биржу», откуда в ближайшие дни они поползут на вагонетках в завод, под ножи лесопильных рам.

Результаты общих усилий с каждым новым днем становились нагляднее. И веселее, счастливее, удовлетвореннее становились люди.

В бригадах шло соревнование на веселость. Валька Бессонов повесил над шалашом девиз: «Бригада Бессонова никогда не скучает». Вечерами в шалаше шли сыгровки джаз-оркестра. Все инструменты, кроме свистулек, были выкрадены из столовой. Валька еще страдал куриной слепотой, но это его не смущало: он уверял, что от слепоты обостряется слух.

В ответ на девиз Бессонова бригада Исакова повесила стихотворный лозунг:

Можете объехать целый свет —
Веселей комсомольцев народа нет.

Ждали электричества. Вот когда заработает клуб! Уже организовался драмкружок. Все грамотеи, пыхтя, сочиняли пьесы, обозрения, фельетоны для «живой газеты». Пьесы писались «из нашего быта», и не только по агитационным соображениям, но и потому, что ни для какого другого быта имевшиеся костюмы не годились. У Сергея Голицына оказались в запасе новые ботинки, и ввиду такого преимущества он получил в первой постановке роль инженера.

Круглов читал пьесы и чувствовал себя счастливым. Он читал их Морозову, и всегда угрюмое лицо Морозова светлело. Пьесы были отчаянно плохи, нередко безграмотны, но зато насквозь пронизаны жизнеутверждающим оптимизмом. Их главной темой был труд, труд как радость, как воспитатель, как высшее призвание человека.

— Да ты посмотри в жизнь, — говорил Морозов, — пройдись по участкам, приглядись. Это же так и есть.

И Круглов научился видеть в жизни радость труда, часто замаскированную для невнимательных глаз воркотней, усталостью, внешним равнодушием. Он видел,

что никто из бригадиров не хочет уступать первенство. Он слышал, как измученные тяжелой работой парни, возвращаясь домой, без конца хвастались процентами выполнения плана, рекордами, организованностью своей бригады. Вечерами все сбегались к столовой, к щиту соревнования, и ревниво изучали цифры дневной выработки.

Круглов видел отчаяние Геньки Калюжного, когда бригада Тимки Гребня обогнала его бригаду.

— Наклепали вам? — ехидно сказал Тимка. — И еще наклепаем! Первого места вам больше не видать!

Таким распаленным Калюжного видели только раз — во время злосчастной драки из-за девушек. Круглов испугался, что Геннадий и сейчас пустит в ход кулаки. Но Калюжный побежал к Семе и закричал, вырывая из его рук неотесанную фигурку шахматного коня:

— Брось игрушки, Сема! Сиди и думай, и придумай что хочешь — рационализацию, механизацию, любую «ацию», должны мы как угодно обогнать Гребня!

Сема делал шахматы для будущего клуба. Но он отложил шахматы и стал думать; если для друга надо пошевелить мозгами — пожалуйста, за ним дело не станет! Он думал, морщился, вздыхал, наконец сообщил притихшему Геньке:

— Ручная лебедка и крюк — это уже кое-что! Пошли на место, поглядим.

Они побежали на место и, чиркая спичками, прикидывали, что и как сделать.

Круглов видел Кильту, который на рассвете, крадучись, пополз будить своих товарищей по бригаде и убеждал каждого, хитро сощурив узкие нанайские глаза:

— Рано работай — больше сделай. Рано вставай — первое место наша.

Если Кильту, не понимающий как следует слов «пятилетка», «социализм», просыпается среди ночи от мысли, что его бригада должна победить, — значит, велика и неудержима сила социалистического соревнования, увлекшего его за собой!

Круглов подружился с Мооми. Эта маленькая худенькая женщина, похожая на девочку, садилась на корточки и подолгу следила за работой монтеров. Она опасливо касалась кончиком пальца роликов, проводов, лампочек. Разглядывала конец провода, колупала ногтем золотые волоски и спрашивала:

— Туда огонь?

Андрей рассказывал ей про все, что может делать электричество, широко дополняя слова жестами. Она узнавала про свет, про электровозы, про электросварку. Она делала вид, что верит, и просила рассказать еще. Она уже не боялась разлучаться с Кильту и охотно болтала с девушками, но серьезные вопросы задавала только мужчинам.

Однажды Мооми осмелела и сама закрепила ролик. Андрей проверил, одобрил и стал учить ее.

— Монтер! Мон-тер! — повторяла Мооми, смеясь, и с этого дня ни за что не соглашалась работать в бригаде Альтшулера. Она хотела быть монтером. И Андрей принял Мооми подручной.

Он радовался ее успехам и вдвойне мечтал о том дне, когда в тайге загорится свет, — и потому, что приятно снова увидеть электричество, и потому, что это электричество впервые увидит Мооми, нанайская девушка, энтузиаст непонятной для нее профессии проводников огня.

Однажды Мооми спросила его:

— Мы самые первые или нет?

Он не понял.

Мооми всеми силами старалась объяснить:

— Другая бригада первые или наша первые? Кильту была первый, теперь первый нет. Теперь наша первый?

Она хотела знать, какое место они занимают в соревновании. Монтеры ни с кем не соревновались. Мооми смолчала, но огорчилась.

Круглов организовал соревнование монтеров с монтажниками, и Мооми каждый день требовала объяснений — кто первый.

— Вот видишь, — говорил Морозов, когда Андрей делился с ним наблюдениями, — что значит труд, если он дело чести и славы. Каждый наш паренек обогащается душой, вырастает в настоящего, нового человека. И Мооми станет им, перескочив в несколько лет целые века развития.

Наступил день первого празднования, первых итогов.

Незадолго перед тем прибыла партия мужских костюмов, и Морозов специально задержал их выдачу, чтобы приодеть комсомольцев к празднику. Он сам помогал выдавать и каждого парня уверял, что костюм удивительно к лицу. Костюмы были все одинаковые, из синей грубошерстной материи.

— Тысяча братьев! — смеялся Морозов, оглядывая парней, которые вдруг все сделались похожими друг на друга. И жалел девушек: — А вам, сестрички, ничего не досталось!

Но девушек он привлек к делу, которое пока держалось в строгой тайне. Девушки писали какие-то билетики, что-то мастерили из веток в Катином шалаше. Шалаш запирался на засов, — кроме Морозова и Круглова, туда никого не пускали.

День начался, как всегда. До пяти часов работали. Никто не знал, что будет, но все чего-то ждали.

И вот, наполнив вековую тишину, раздался новый, странно знакомый и в то же время непонятный звук. Набирая силы, звук все расширялся, разносясь по участкам работ, свободно летя над ширью Амура, забираясь далеко в тайгу и вспугивая озадаченных птиц. Что это? Отвыкший слух уловил что-то знакомое.

— Да ведь это гудок!

— Ну конечно, гудок! Гудок!

Ну как можно было не узнать сразу — ведь гудок это! Гудок! Гудок!

И сотни людей, бросая лопаты, пилы, топоры, не разбирая дороги, по ямам, по бурелому, сломя голову бросились к лесозаводу.

Тоненькая струя пара вилась в чистом небе у первой заводской трубы, и вибрирующий протяжный гудок победно кричал небу, тайге, Амуру, людям: «Я здесь, вот я какой! Слушайте! Уважайте! Никто из вас меня не перекричит!»

Тысячи молодых глаз смотрели вверх, на струйку пара и в прозрачный воздух, где носился этот полузабытый, родной, возвещающий победу звук.

Когда он смолк, Сергей Голицын крикнул вне себя:

— Еще! — и даже не заметил, что в его глазах дрожат слезы.

— Еще! Еще! — поддержали другие.

— Громче! — кричал Петя Голубенко.

Снова, послушный воле своих создателей, заорал во всю силу гудок.

И комсомольцы, обнимаясь, размягченные волнением, слушали вибрирующий голос, как чудесную песню.

А вечером ждали света. В восемь часов тридцать минут электростанция обещала дать свет.

Никто не уходил от шалашей. Распахнув двери в душную ночь, сидели во мраке и ждали. Нетерпеливо

щелкали выключателем, проверяли, хорошо ли ввинчена лампочка.

Кильту и Моома боялись сидеть в шалаше. Охваченные все растущей тревогой, они страстно желали и суеверно боялись огня, который сам бежит по проводам.

— Ничего, — говорила Моома, пересиливая страх и судорожно сжимая руку Кильту, — ничего. Он хороший огонь.

И оба отчаянно вскрикнули и шарахнулись прочь, когда разом, по всей линии шалашей, вспыхнули круглые огни, уткнув в землю желтые лучи.

Кильту дрожал и пятился. Он боялся вступить в полосу света, падающего из двери. Его дрожь передалась Моома. Но ей надо было говорить, хвастаться, смеяться, потому что провода, по которым бежит огонь, были протянуты и ее руками тоже, потому что она обещала Круглову не бояться, потому что она мечтала о стеклянной бутылочке, дающей свет, с того далекого вечера в стойбище, когда Иван Хайтанин открыл ей, что жизнь бывает иной.

Она кинулась прямо в полосу света и столкнулась с Кругловым, схватила его за руки и закричала, показывая на провода:

— Это наш огонь! Наш огонь!

Гриша Исаков метался по своему шалашу:

— Горит? Да? Ты не обманываешь, Соня? Горит?

Он брал в руки электрическую лампочку, — лампочка была теплая, живая, приветливая... Он долго всматривался в то место, где она была.

— Ты знаешь, Соня, я немного вижу... Я вижу светлое пятно...

Он видел потому, что слишком хотел видеть.

— И я скоро поправлюсь. Вот увидишь, я начну видеть. Я чувствую, что болезнь кончается.

Он поднял кружку, как бокал:

— Да здравствует свет! Да скроется тьма! — И залпом выпил очередную дозу хвойной настойки.

А по шалашам катился смех. Парни разглядывали друг друга и хохотали до упаду — ну и бороды! Ну и ноги! А почему такие черные шеи? Нельзя ли смыть этот чудный загар?

Под каждой лампочкой висел маленький плакат: «Стыдно быть грязным в культурном городе».

Морозов ходил по шалашам и проверял действие своей выдумки. Действие превзошло его ожидания. Все

бритвы, запрятанные в сундуки, были вытащены и приведены в боевую готовность. Спешно кипятили воду. Бежали на реку мыться, схватив мочалку и мыло. Клянчили у девушек иголки, нитки, лоскутки для заплат.

Петя ходил по шалашам и объявлял, стараясь говорить в нос, по-французски:

— По случаю электрического освещения парикмахерская мосье Пьера открыта всю ночь.

А девушки разносили заранее приготовленные веники и скромно преподносили хозяевам шалашей:

— Мы слышали, вам нечем подметать?!

## 33

«Тоня скоропостижно влюбилась», — говорили комсомольцы, с любопытством наблюдая Тонину безудержную любовь.

Как часто бывает у замкнутых людей, любовь Тони прорвала созданные самой Тоней заслоны, все сокрушая и сжигая на своем пути. Еще недавно Тоня считала Сергея бузотером и наглецом — теперь она восхищалась им, оправдывала его, находила в его поведении проявления сильного характера. Она сделала своим руководящим принципом суровость в быту и презрение к удобствам, она требовала того же от других — теперь ее умиляла потребность Сергея в уюте, в чистоте, в удобной постели, и она была счастлива, если могла хоть чем-нибудь побаловать его. Она осуждала любовь Исаковых и ту расточительность, с которой они тратили время на устройство семейного быта, — теперь она только и мечтала о том, чтобы создать такую же семью, и не замечала, что в своих мечтах она идет гораздо дальше Сони и Гриши, так как для нее уже не существовало ничего вне любви к Сергею.

Захваченная любовью в момент глубокого душевного кризиса, Тоня не обогатила себя любовью, а растворилась в ней и потеряла самое себя. И оказалась беспомощной и ослепленной как раз тогда, когда ей нужны были твердая воля и зоркость.

Чем пламеннее мечтала Тоня о семье, тем противоречивее и непонятнее становились ее отношения с Сергеем. Они встречались в тайге почти каждый вечер. Сергея пленяла страстная порывистость Тони, свежесть ее чувства, ее самоотверженная преданность. Он гордился, что возбудил такую любовь. Но в одну из первых же встреч сказал ей:

— Мне всегда нравилось, что ты осуждаешь Исаковых. Конечно, от любви отказываться глупо. Но обзаводиться семьей сейчас — гадость. Это не по-комсомольски.

Тоня так растерялась, что не ответила.

С конца июля зарядили дожди. В дождливые вечера Тоня бродила сама не своя и искала встречи с Сергеем в лагере. Но Сергей уклонялся от этих встреч и однажды резко прикрикнул:

— Да не ходи ты за мною по пятам, ведь смеются же!

Создав себе образ любви, Тоня не видела и не хотела видеть, что в этой большой любви она дает все, а Сергей — ничего, что он пользуется ее любовью, ничего не давая взамен. Она прощала ему резкость, эгоизм, капризы, она радовалась, если он чего-либо требовал от нее, — от своей покорности она получала наибольшее счастье, потому что этим могла доказать силу своей любви.

Сергей часто просил ее починить его белье или заштопать носки, и она делала это с радостью. Случалось, что он просил об этом Лильку или Катю, подчеркивая, что шитье — дело девичье и ему все равно, кто из них поможет ему. Тоня не могла видеть рубаху или носки Сергея в чужих руках. Она не решалась открыто хозяйничать у Сергея и потому стала хозяйничать у всех парней. И комсомольцы скоро привыкли к ее услугам.

Но однажды Сергей сказал ей:

— Это просто глупо, ты им не прислуга, чего они все лезут к тебе?

И Тоня стала уклоняться от обслуживания товарищей, ожесточая и обижая их.

Ее и так недолюбливали. Конечно, за последнее время она переменилась. Но эта перемена вызвала не похвалу, а снисходительное презрение: в глазах ребят Тоня была лицемерка и ханжа, ее прежние проповеди стоили так же мало, как теперешняя кротость.

Но Тоня уже не интересовалась, любят ли ее другие. Для нее существовал только Сергей. И она обратила на него всю пламенность нетронутого чувства, подавляя Сергея серьезностью и необъятностью своей любви.

Сергей стал понемногу отдаляться от нее.

Начало дождей испугало ее до полной растерянности. Встречи в тайге становились все реже. Она была готова идти с ним и в дождь и в холод, но Сергей сказал ей, что она сошла с ума, что умирать из-за нее он не намерен.

В одно из редких свиданий на берегу озера Тоня бросилась к нему на шею и спросила в глубокой тоске:

— Сережа, что же будет дальше? Ведь осень уже. Как же мы?

Сергей шутливо успокаивал:

— Ну что же делать, Тоня. Мы ведь не для того сюда приехали.

Он был ласков и страстен, как всегда, но Тоня ушла в полном смятении.

В этом состоянии смятения и страха возникла ревность.

Тоня знала, что Сергей нравится Лильке. И вдруг заметила, что и Сергей охотно болтает с Лилькой и не прочь поддержать ее кокетство игривыми шутками. Она стала следить за ними и дважды видела, как Сергей помогал Лильке собирать хворост, — они уходили в тайгу, их фигуры мелькали среди деревьев. Тоня слушала смех Лильки и ужасалась тому, как Сергей может искать общества другой девушки, в то время когда она, Тоня, страдает и мучится одна.

В выходной день девушки сидели на солнышке и штопали мужские рубахи и штаны: парни пошли «в баню» — на реку. Только Сергей и Круглов остались в лагере: Сергей лежал на солнце, рядом с выставленными для просушки сапогами, а Круглов занимался благоустройством своего шалаша. Круглов попросил девчат принести из тайги зелени.

— Так мы же шьем, Андрюша, — сказала Клава. — Ребята вернутся — им надеть нечего.

Лилька отложила иголку.

— Я сбегаю! — И обратилась к Сергею: — А ты чего валяешься, лежебока? Пойдем, поможешь нести!

Сергей видел испуганный и умоляющий взгляд Тони, но поднялся и как будто нехотя стал обуваться. Лилька посмеивалась и торопила его.

Они скрылись за деревьями. И сразу раздался смех и веселый визг Лильки.

Уронив работу, Тоня смотрела им вслед.

— Хорошо бы и нам пойти, — сказала Катя. — Разве они найдут, что нужно. Я таких красных листьев принесу, каких, кроме меня, никто не найдет.

— А вот дошьем и сходим, — сказала Клава.

Тоня схватила работу и кое-как, наскоро, докончила ее:

— Ну, я кончила. Пойду за ветками. А вы, девчата, догоняйте.

И побежала в тайгу — но не за Сергеем, а в другую сторону.

— Ужас! — сказала Клава и вздохнула.

А Тоня, скрывшись из виду, пробиралась туда, где могли быть Сергей и Лилька. С громко бьющимся сердцем, припадая к стволам деревьев, она шла на звук их голосов. И вдруг увидела их: они сидели рядышком на траве, они даже не думали собирать ветки, они болтали и смеялись. Сергей что-то шепнул, наклонившись к Лильке, она вскочила и с визгом побежала от него, а Сергей бросился за нею вдогонку.

Прижав руки к сердцу, ничего не замечая на пути, Тоня понеслась за ними.

Сергей обнял и не пускал Лильку. Лилька, смеясь, отбивалась.

— Ну чего ты упираешься? Чего ты упираешься? — услыхала Тоня задыхающийся, веселый голос Сергея.

— Не хочу, и все тут!

— Ты не была такая сердитая раньше.

— Так то было раньше.

— А что теперь переменилось?

— Ты.

— Я? Наоборот...

— У тебя есть Тоня, целуйся с нею!

— Тонька скучная, а ты веселая. Ты славная. А помнишь, как мы гриб нашли?

Оба рассмеялись, и Лилька позволила себя поцеловать.

— Значит, мир?

— Тебе за этот мир Тонька глаза выцарапает!

— У нее таких прав нет — глаза выцарапывать.

— Ну да, нету! Ты думаешь, я не знаю? Думаешь, я не вижу?

Тоня припала к дереву в двух шагах от них. У нее темнело в глазах. Она хотела кинуться на обоих, кусаться, кричать... Но она стояла, боясь дышать, чтобы ее не услышали.

— Было — и сплыло, — сказал Сергей. — Тонька мужа ловит, это мне не на руку.

— Ну-у? — протянула Лилька и недоверчиво отстранилась от Сергея.

— А ты что думала?

— Подлец! — вдруг закричала Лилька, и слезы брыз-

нули из ее глаз. — Тонька любит тебя, а ты над нею смеешься! Я тебе уступлю — ты и надо мною посмеешься! Подлец ты, вот что, так и знай — вот нравишься мне, а не уступлю тебе никогда, не верю тебе, знать тебя не хочу! Так и знай — не верю и не уступлю!.. Подлюга! Обманщик! Все мужчины такие.

И она заревела, сердито всхлипывая.

От волнения не сознавая всего значения происшедшего, Тоня со злой радостью слушала отповедь Лильки.

— Да ну вас всех!.. Очень-то мне нужно! — в сердцах крикнул Сергей и зашагал обратно в лагерь.

Лилька послала ему вслед довольно крепкое словцо и тоже побрела обратно. И только тогда, оставшись одна, Тоня со всей отчетливостью поняла, что все рухнуло, что она одинока больше, чем прежде, потому что обманута и опозорена. Она вскрикнула и упала в траву.

Здесь, уже под вечер, разыскала ее Клава. Тоня встретила ее равнодушно и враждебно. В сумраке надвигающегося вечера ее лицо было бледно и злобно, глаза горели, как у кошки, руки были холодны и неподвижны. Клава сразу все поняла, обняла Тоню и заплакала, чтобы смягчить ее. Но Тоня оттолкнула ее и встала. Она дала увести себя из тайги, но отказалась от ужина и только позднее, уже в постели, жадно выпила кружку горячего чая, принесенного Клавой. Она пила, ее губы и пальцы, казалось, не чувствовали обжигающего жара жестяной кружки, глаза горели все тем же диким, кошачьим блеском.

У шалаша раздался голос Сергея:

— Тоня, ты здесь?

Тоня выпустила из рук кружку и с ужасом смотрела на Клаву.

— Она нездорова. Тебе что? — загораживая вход, тихо сказала Клава.

— Мне комбинезон нужен, она брала чинить.

Клава делала Сергею знаки, чтобы он ушел. Но Тоня неожиданно вскочила, отстранила Клаву и, как была, в одной рубахе, встала перед Сергеем.

— Твой комбинезон у Епифанова, — сказала она спокойным, ровным голосом. — А ко мне ты больше не подходи, понял?

И закрыла перед носом Сергея дверь.

Клава дрожала с ног до головы.

— Не дрожи, Клава, это все глупости, — сказала Тоня тем же ровным голосом. — Ложись спать. Поздно.

Она легла, отвернувшись к стене. Клава долго прислушивалась, но не слышала ни вздохов, ни рыданий — ничего. Потом пришли другие девушки. Клава тихо попросила их не шуметь, но тотчас раздался холодный голос Тони:

— Я не сплю, можете шуметь сколько хотите.

И снова — ни звука.

С тех пор все ее видели спокойной, ровной, со злым огнем в глазах, очень молчаливой. Она работала, участвовала в репетициях, посещала собрания — только не выступала и не пела. Это была третья, новая Тоня. И этой новой Тони боялись все, даже Клава.

Сергей с неделю ходил обиженным, надеясь, что Тоня сама сделает первый шаг к объяснению. Потом ему стало стыдно и скучно. Теперь, когда Тоня не обращала на него никакого внимания, ему все более недоставало ее. Он подозревал, что Лилька сдуру проболталась. Он допросил Лильку. Лилька поклялась, что нет, и высказала подозрение, что Тоня выследила их в тайге.

Сергей не был злым. Он видел, что Тоня несчастна из-за него, он жалел и ее и Лильку. Кроме того, он терпеть не мог историй. Он убеждал себя в том, что Тоня сама виновата: она его отпугнула своей несдержанной пылкостью, она хотела закабалить его любовью, женить его на себе. Он относился к женитьбе благожелательно, но для себя считал ее делом далекого будущего.

Во всяком случае, жить и работать бок о бок с девушкой, которая несчастна из-за него, Сергей не мог. И без того скука смертная, а тут еще неприятности...

Сергей сделал шаг к примирению. Боясь подойти к Тоне при других и видя, что она всячески избегает оставаться одна, Сергей передал через Клаву записку, в которой умолял Тоню прийти вечером на берег озера.

Весь день он ловил ее взгляд, но она была спокойна и холодна, как всегда, и упорно не смотрела на Сергея. Он был почти уверен, что она не придет.

К вечеру начался дождь. Сергею самому не хотелось мокнуть под дождем, но он все-таки пошел на условленное место и, к своему удивлению, увидел поджидавшую его Тоню. Растроганный и почти счастливый, он подбежал к ней и хотел обнять ее, но Тоня отвела его руки и спросила коротко:

— Ну что?

Мелкий дождь поливал их, лицо Тони было совершенно мокро, только глаза горели сухим и жестким огнем.

— Тонечка, ты прости меня... — пробормотал Сергей и начал сбивчиво объяснять, что вышла ошибка, что он любит ее, что надо забыть...

— Чепуха! — обрезала Тоня и усмехнулась. — Ты все преувеличиваешь, друг мой. Какая любовь? Любовь — это для Клавы и Сони, я не школьница.

— Тоня, да ведь ты сама... Как же так, Тоня?

— Чепуха! Была половая потребность у тебя и у меня, вот и все. А теперь кончено. Ты нашел себе другую, и я тоже. Понимаешь? Все это просто. И незачем обсуждать.

— Ты нашла себе другого? Это неправда, Тоня!

Как ни был ошеломлен Сергей, он понимал, что это невозможно.

— Пожалуйста, без драм! — сказала Тоня и вытерла лицо мокрой рукой. — Ты все преувеличиваешь. Любви нет. Есть половая потребность. Было — и сплыло. И незачем мокнуть под дождем ради таких пустяков. Умирать из-за тебя я не намерена, и ты из-за меня также, не правда ли?

И она пошла по болотистой почве, не разбирая дороги.

Сергей догнал ее. Он силился понять, чего она хочет, зачем она все это выдумала.

— Тоня, подожди, Тонечка... Неужели все прошло? Ты все забыла?

Тоня шла немного впереди Сергея. Она ничего не видела и с ужасом понимала, что силы ее на исходе, что еще несколько минут — и она не выдержит, сдастся, упадет. Она слышала, как дышал за нею Сергей, как чавкали в воде его рваные сапоги. Она любила его сейчас сильнее, чем когда-либо, — вот такого, непонимающего, жалкого, незначительного... Но она не верила, не могла, не хотела верить ему, не могла рисковать ради него еще раз своим сердцем, потому что нового удара боялась в тысячу раз больше, чем одиночества.

И она повернула к нему холодное, злое лицо и сказала так презрительно, что Сергей не увидел за этим презрением нестерпимой му́ки, толкнувшей ее на последнюю крайность:

— Это глупо, Сергей. Я же тебе сказала, что люблю другого. Неужели у тебя нет самолюбия? Ты жалок.

Она побежала вперед, а Сергей остался на месте, до того ошеломленный, что даже не чувствовал холода болотной воды, заползавшей в рваные сапоги.

В тот же вечер в клубе, по случаю дождя, устроили вечер самодеятельности. Каждый делал все, что мог, и, что́ бы ни было сделано, все принималось под гром рукоплесканий.

Тоня развеселилась и спела. Она пела лучше, чем всегда, и слушатели требовали все новых и новых песен. Со смехом отказываясь, Тоня искала глазами Сергея — ей хотелось, чтобы он видел ее торжество.

Он стоял в углу, понурив голову, подавленный.

Тоня прикрыла глаза, помолчала и запела — запела украинскую веселую девичью песню, напоминавшую обоим лучший день их любви.

Когда она окончила и открыла глаза, Сергей сидел, спрятав лицо в ладонях. Тоня засмеялась, даже не думая, как поймут ее неожиданный злой смех, и спела еще песню, тоже веселую.

А когда общее внимание привлек шумовой оркестр Вальки Бессонова, Тоня незаметно выскользнула из барака, побежала к себѐ в пустой шалаш и впервые за две недели выплакалась на свободе.

34

Строительство комсомольского жилого дома подходило к концу. Строили его на артельных началах в неурочное время, из бросовых материалов. Приземистый, простой барак. Но внутри барак разделили дощатыми перегородками на маленькие комнаты. Валька Бессонов старательно оштукатурил все комнаты и при распределении их добился отдельной комнатки с окнами на Амур. Он сердился, когда товарищи допытывались, что он будет делать один в своем жилище.

Вечером Валька и Катя Ставрова сидели на берегу Амура на перевернутой лодке. Они, как всегда, болтали и смеялись, потом примолкли, — уж очень тепел и тих вечер, уж очень ласково плещется у берега крохотная волна.

Валька нарисовал палочкой на песке сердце:

— Видишь?

Катя кивнула головой и приняла независимый вид.

Валька нарисовал короткую ручку. Катя подумала, что это стрела, и ей стало стыдно, что он так плохо рисует.

— Кельма, рабочий инструмент штукатура, — пояснил Валька, и Кате стало стыдно за себя, что не поняла

сразу: она много раз видела кельму в руках Вальки. И к тому же, зачем станет Валька рисовать пронзенное стрелою сердце?

— И обе вещи тебе, — сказал Валька. Но Катя была сегодня непонятлива, и Валька добавил: — Сердце и заработок — все твое.

— Ну, заработок у меня собственный, — не удержалась Катя.

— А если объединить?

Катя наконец поняла, но смолчала.

— Не могу я больше, — жалобно сказал Валька. — Что хочешь, Катя, не могу! Извела ты меня. Жить — так жить, как люди. Что тебя держит?

— Ничего не держит, — просто ответила Катя.

Валька хотел обнять ее, но Катя отклонилась:

— Погоди. У меня сорок одно условие. Хочешь — соглашайся, хочешь — нет.

— Подписываю сорок два, не глядя!

— Нет, слушай.

Она была упряма и требовательна. Вальке больше всего нравилось в ней это независимое упрямство. Он и сам был упрям, но ему было приятно, что Катя вертит им как хочет.

— Во-первых, утренняя зарядка. Во-вторых, гулять в любую погоду — и никаких нежностей.

— Никаких?..

— Никаких! — закусывая губу, чтобы не рассмеяться, повторила Катя и все-таки рассмеялась. — Ну вот, ты меня сбиваешь... — Ей было очень смешно, и потому она решила рассердиться: — Вот видишь, с тобой невозможно серьезно разговаривать!

— Так это же хорошо!

— Это ужасно! — сказала Катя и вдруг сама обняла его.

— Вот так и проживем, смеясь, до самой старости.

— И будем веселые старички.

— С палочками, ноги волочить и... смеяться.

Сергей Голицын бродил по лагерю неприкаянный. Его товарищи по шалашу переезжали в новый дом. Сергей поленился работать, а теперь оставался один. Он попросил Епифанова:

— Вы бы меня взяли к себе... Разве не поместимся?

— Ишь ты какой! — сказал Епифанов. — Строить — тебя нету, а переезжать — рад стараться? Ребята орга-

низуются второй дом строить — иди запишись, пока не поздно.

Паша Матвеев лежал в земле — близкий друг, последняя связь с далекой родной станцией. Другого друга не нашлось. Была любовь, но он сам потерял Тоню. И вот — одинок. Все девушки отвернулись от него. И парни, никогда не любившие Тоню, теперь подобрели к ней и явно осуждают Сергея.

Он ее встретил как-то одну. Крикнул:

— Тоня!

Она сказала не глядя:

— Кажется, все переговорено. Не трать времени попусту.

Он тосковал по дому, по отцовским рассуждениям, по материнским ненавязчивым и желанным заботам. Гудок лесозавода будил память о родном паровозе, о степях, бегущих навстречу.

Николка привел его в сарай Пака. Пак был угодлив и осторожен с новичками. Он забормотал о своем восхищении комсомольцами.

— Не крути, дядько, — огрызнулся Сергей. — Водка есть?

Пак развел руками. Разве он не знает, что Вернер запретил водку? И откуда у него водка? Он не торгует, он скромный рыбак. Он для комсомольцев рубаху снять готов.

Потом он куда-то ушел и принес бутылку водки. Сергей выпил ее тут же, не закусывая, в компании завсегдатаев Пака. Эти парни давно отбились от коллектива, — многие по неделям не работали, прохлаждаясь на берегу.

— И чего стараться? — говорили они Сергею. — Денег куча, а купить нечего.

Сквозь пьяный туман у Сергея на миг прорвалось трезвое подозрение:

— Да вы кулаки, что ли?

Парни уверяли, что они не кулаки, а просто умные. «Нас не проведешь! Красивые слова говорить можно, а что толку? Сапог-то нет? Пшеном давимся? В больницето полно?..»

Сергей спьяну поддакивал. Подняв ноги в непомерно больших бутсах, полученных в конторе, он кричал вместе с другими:

— Разве это обувь для болота? Я здесь новые сапоги сгноил!

Он проснулся поздно, под скамейкой у Пака, и от стыда не вышел на работу.

Стояла жара. Воздух был коричнев от зноя. Только у самой воды дышалось свободнее, — веял легкий ветерок; даже не ветерок, а еле заметное освежающее дыхание речного простора.

Сергей встретил на берегу вчерашних приятелей. Одни купались, другие удили рыбу.

— Уху варим, — объяснили они. — Примазывайся в компанию.

Сергей мялся, — он понимал, что компания неважная. Он долго купался и лежал на песке, но когда его позвали есть уху, пошел.

— Скоро пароход придет, — говорили парни. — Довольно, помучились!

Сергей пришел домой больным и улегся на жесткий топчан, натянув на голову одеяло. Он притворился спящим, когда пришли Епифанов и Коля Платт.

— А наш лодырь никак прогулял сегодня, — сказал над ним Коля Платт.

— Человек болен, а ты!.. — крикнул из-под одеяла Сергей и выругался.

— У Пака все заболевают, — спокойно сказал Епифанов. — Эпидемия!

Утром Сергей побежал к доктору. Ему мечталось, что врач скажет: «Да у вас цинга, надо уехать немедленно». И вот он дома. Мать взбивает подушки и стелет чистые простыни. Отец ходит вокруг, радуется и вздыхает: «Осунулся, сынок, пожелтел. Надо поправляться. Кушай больше, сынок...»

— Вы совершенно здоровы, абсолютно здоровы, — сердито сказал врач. — Стыдитесь, молодой человек! Работать надо! И бриться. Бриться, бриться каждый день! Через эти бороды и мысли лезут ненужные... К мусью Пьеру идите, вот что! А у меня вам делать нечего...

Сергей разозлился и снова отправился на берег, — все равно на работу опоздал. Николка сообщил, что к вечеру ждут пароход. Сергей сбегал домой и уложил вещи. Вещи он снес к Паку, — так делали все, кто собирался уезжать. «Черт с ним, — убеждал себя Сергей, — все равно мне здесь не жить! Пусть исключают. Пойду в ЦК, все объясню...»

Сергей сидел на ящиках среди других парней. Уже дымил вдали пароход. Парни стыдливо прятали за спиной свои чемоданы и корзинки. Сергей думал: только

бы не прибежали Круглов, или Тоня, или Семка Альтшулер... Только бы проскочить незамеченным... А там — будь что будет!

Он отвернулся, заметив Мотьку Знайде. Но Мотька подошел, и в руках у него была корзина. Он поставил корзину рядом с Сергеем и сел.

— Куда? — спросил Сергей. Он знал, что Мотька Знайде — ударник и весельчак.

— В Африку, — ответил Мотька и выпятил грязные пальцы, торчавшие из разодранного ботинка. — Попробуй поноси. Ходил к Вернеру — послал к Гранатову. Ходил к Гранатову — отказал. Нету. А у меня есть?

Пароход шел вдоль правого берега по фарватеру, под самыми сопками. Потом он повернул и начал наискось пересекать Амур. Уже видна была фигура капитана на верхнем мостике. Уже прогудел гудок...

По селу бежала Клава.

Она скатилась по круче и с разбегу остановилась, тяжело дыша. Они могли не прятать своих чемоданов, — она по лицам угадала, что́ они задумали.

— Ребята, да что же вы! — сказала она, стоя перед вереницей обросших бородами обозленных парней. — Что вы задумали? Как не стыдно! Какие же вы комсомольцы?

Один из парней посмотрел на Клаву лениво прищуренными глазами и широко зевнул.

— Иди ты... знаешь куда?

И отчетливо произнес ругательство.

Клава отшатнулась. Она почувствовала, как хлынула кровь к лицу. Сквозь слезы обиды и стыда она видела грубые лица хохочущих парней. Бежать... скорее бежать!.. Но она не побежала. Ее обуял дикий гнев. Не помня себя, с пылающими щеками, она бросилась вперед, к обидчику.

— Негодяй! — закричала она. — Я б тебя послала туда же, если бы не была комсомолкой! Негодяи! Дезертиры! Несознательные! Тебе говорят дело, а ты ругаешься, сукин ты сын, мерзавец!

— Ох-хо-хо! — грохотали парни. — Отбрила!

— А вы чего смеетесь?! — в исступлении кричала Клава, бесстрашно наступая на парней. — Вы посмотрите на себя. Вы на людей не похожи! Опустились, заросли. При вас комсомолку оскорбляют, а вы смеетесь.

И она всхлипнула.

— Девочка права! — раздался голос. — И что это, ребята, в самом деле? Комсомольцы мы или кто?

Клава поглядела из-под руки — Мотька Знайде смущенно уговаривал парней:

— Не дело, хлопцы! За что девочку облаяли? Фомка, извинись, биндюжник, извинись сейчас же, а то, гляди, отдубасим за милую душу.

Фомка неуверенно отругивался.

— Ты сам хорош! — крикнула Клава Мотьке Знайде. — Бородища! Руки-то вымыть воды нет? Смотреть страшно.

Парни ежились, прятали руки, втягивали головы в плечи.

— Я вас уговаривать бежала, — сказала Клава, — а теперь не буду! Уезжайте! Такие комсомольцы, как вы недостойны чести строить социалистический город!

Она говорила со злостью, глотая слезы.

Все парни закричали разом. Как недостойны? Каждый кричал о своих заслугах, о цифрах выполнения плана, о подвигах известных всей стройке бригад. И тут же, переплетаясь с похвальбой, раздавались жалобы: сапоги сносились, слéпнем, теплой одежды нет, комары заели...

Пароход подходил. Поднятая им волна набежала на песок.

— Я девушка — и то не жалуюсь, — горячо убеждала Клава. — Смотрите, я сама почти босая хожу. Так что же, по-вашему, значит, и социализма не нужно, были бы сапоги?

Парни промолчали.

Фомка сказал глухо:

— Ты это... не обижайся, что я матюкнулся... Я сгоряча...

Клава слышала за спиной шум пароходных винтов и грохот якорных цепей. Надо было решать быстро, пока сила на ее стороне.

— Ладно, — сказала она, заставляя себя улыбнуться. — Забудем, и делу конец. Кто в лагерь — пошли.

Раздались голоса:

— Так мы... да мы... мы что ж... — Несколько человек поднялись. Они со стыдом тянули обратно свои чемоданы и корзинки.

Им навстречу бежал Круглов. Клава мигнула ему на парней и на берег, где остались другие.

Бежали Гриша и Соня. Оба были бледны и взволно-

ванны. Клава даже испугалась — не случилось ли у них чего-нибудь.

Сергей вскинул корзину на плечо и стоял в сторонке, пользуясь поднявшейся у парохода сутолокой и вечерними сумерками, чтобы не попасться на глаза Круглову. Только бы сейчас избежать разговоров... а там пусть прорабатывают сколько угодно! Решил — и кончено, отступать глупо. К черту все на свете!

Круглов подходил то к одному, то к другому. Он, не сердясь, выслушивал упреки и жалобы, спорил, объяснял.

— Сам невесту выписал, а мы как? — кричали ему.— Сам небось в столовую ИТР ходишь!

Круглов отказался от талонов в столовую ИТР. Но держался упорный слух, что активисты питаются лучше других.

— Вы скажите, кто пускает эти слухи? — спросил Круглов. — Пойдемте и поглядите, что я ем. То же, что и все! Кто вас баламутит? Вы же комсомольцы! Подумайте, ребята, подумайте хорошенько. Враги среди вас орудуют, а вы клюете на вражью удочку.

Сергей прислушался, прячась за чужими спинами. Он подумал: да, Пак... Конечно, Пак нарочно спаивает... и разговорчики ведет... А старик? Разве старик не сеет паники своими рассказами?.. Хотя что же, ведь он говорит правду. Морозы страшные — все подтверждают. И климат гнилой. Ведь слепнут же ребята! И цинга...

Вдруг раздался голос — зазывающий, отчаянный голос:

— Слушайте! Слушайте! Я обращаюсь к вам, ко всем! Слушайте!

Гриша Исаков стоял на бочке у самых сходней. Его поддерживала Соня.

Дезертиры, стойте! Глаза мои слепы,
Но правду я вижу острее зрячего...

Произошло общее движение. Это было необыкновенно. Стихи. На бочке. У отходящего парохода. Кто-то вскрикнул: «Глядите, он и вправду слепой!» Вокруг бочки собирались. Смотрели на Гришу как на диковину. Соня поддерживала его двумя руками, припадая к бочке, потому что сама еле держалась на ногах. Она знала все томительные приготовления к этому чтению, все значение, которое придавал Гриша успеху или провалу. А Гриша, размахивая руками, во всю силу голоса выкрикивал свои стихи, — и дрожь, начавшись в коленях, забилась в пальцах, судорогой свела рот. Но он кричал,

пересиливая дрожь, пробиваясь сквозь стену своей слепоты в глухо шумящий мрак:

Комсомольцы! Вернитесь! Шагайте назад!
Счищайте работой
клеймо дезертиров...

Сергей стоял, стиснув зубы, потупясь. Каждое слово было обращено прямо к нему. Все, что было в нем честного, комсомольского, звало его откликнуться, вернуться, проклясть свое отступничество. Да, Гриша прав... И он слеп! Слеп! И все-таки он пришел убеждать его, сильного, здорового, зрячего...

Он видел, как Гриша спрыгнул с бочки и шел в целой группе парней. Да, они шли обратно. А он? Нет, он пойдет сам по себе, вот еще, ходить целым взводом штрафных... Очень надо!

И тут он увидел Соню. Бледная, счастливая, заплаканная, она вела Гришу под руку и всем улыбалась благодарной улыбкой. Она разделяла славу и несчастье Гриши.

Ну, еще бы... Исакову хорошо! Тут и агитировать легко, когда есть кому водить под ручку. А кто поведет его, Сергея?

Он стоял раздраженный, обессиленный внутренней борьбой, смутный...

— Серега! — окликнули его из темноты.

— Чего тебе?

— По сходням не попасть, — зашептал Николка, — Круглов караулит. А тут лодка... Объедем... с того борта. Пошли.

Сергей хотел сказать — нет. Но ничего не сказал.

Они кинули вещи в лодку. На веслах сидел Пак. Еще не поздно — можно выпрыгнуть... Странное безволие сковало его. Лодка беззвучно отделилась от берега, повернулась носом против течения и пошла в обход к пароходу.

Сергей подсчитал — их было пятеро. Пятеро из полусотни. Пятеро и Пак...

Чуть всплескивала вода под веслами. Уже близок темный борт. И вдруг сверху звучный голос капитана:

— На берегу-у! Ваши подлецы-ы лезут с левого борта-а!

Рулевой бросил лодку в сторону.

На левом борту что-то кричали, насмехаясь, матросы, Пак спрашивал:

— Чего, чего? Чего говорил капитан?

От берега отвалила вторая лодка. Сергей по силуэту гребца узнал Круглова.

Он крикнул:

— Налегайте! К черту! Пускай по течению!

Лодка вертелась на месте. Пак не сразу понял, в чем дело. Потом он навалился на весла, рулевой направил лодку по течению, и она скользнула во мрак.

Над рекой несся голос Круглова:

— Ребята! Комсомольцы! Вернитесь!

Ему ответили матерщиной и угрозами.

Пароход дал прощальные гудки и стал удаляться.

— Куда же мы теперь? — вяло спросил Сергей.

Плыть было некуда. Лодка неслась по течению, слегка подгоняемая взмахами весел. Темные безлюдные берега, темное небо, темная река — только удаляющиеся огни парохода и редкие блестки огоньков в лагере...

Андрей Круглов сидел один на опустевшем берегу. Один со своими мыслями, со своим отчаянием. Он не знал, сколько их было в лодке. Пусть немного. Большинство поняло, осталось. Но ведь и те беглецы — комсомольцы! И дезертирство продолжается. А каждый человек — дороже золота. Чего же еще он не сделал, не сумел сделать, не догадался сделать?

Кто-то тронул его за плечо. Он увидел сухое, строгое лицо и длинную согнувшуюся фигуру.

— Тарас Ильич!

Тарас Ильич присел около него на песок:

— Я за тобой, сынок... Ты зайди ко мне, я тебе золото сдам. Только сейчас зайди. Я тут на чердаке поместился пока. Доктор у меня поселен, бог с ним, пусть живет. А ты зайди, золото прими.

— Какое золото, Тарас Ильич?

— Намыл я нынче летом, сынок. И что раньше припас, все сдам. Под квитанцию, пусть государству идет...

Он совсем приблизил лицо к Андрею:

— Не судьба мне уезжать, сынок... Я ведь убежал тогда. От вас убежал. Пригрели вы меня, а я думал: какая я им компания — каторжник! Все лето ломал себя. А не сломал. Брожу один и думаю — ребята там. Вспоминаю: «Отец, отец»... Ну, намыл золото. Ну, уеду. А куда? Помирать промеж чужих людей?.. А с вами я словно и человек другой стал... Всю жизнь, как пес одинокий, прожил, чего же мне от счастья своего убегать? Принимают — и ладно... Так что ты золото возьми, чтоб не смущало. А я на работу встану.

Андрей обнял Тараса Ильича за плечи и ничего не сказал.

Он смотрел на звезды, на темные массы быстро несущейся воды и на спокойные очертания сопок. Как хороша жизнь, когда знаешь, зачем живешь, когда умеешь читать в ее явлениях сокровенный глубокий смысл! Возвращение Тараса Ильича — разве могла приготовить жизнь более ценный подарок, и как раз сейчас, в минуту отчаяния и сомнений...

И сколько светлых подарков дарит, рождает жизнь в ежечасной борьбе здесь, повсюду — во всех концах необъятной Родины. Ведь что такое Тарас Ильич? Одна стосемидесятимиллионная частица. И что такое этот берег, этот будущий город? Точка на карте. Маленькая точка. Но из частиц создается целое. Все точки связаны.

Он вспомнил карту края такою, какой она предстала ему под рукою Морозова, с голубыми линиями бесчисленных рек и коричнево-желтыми извилинами горных хребтов. И карта ожила в его представлении. Он увидел весь край, необъятный, живой, многообразный, — и увидел его населенным, работающим, меняющимся, насыщенным славой человечества — трудом.

Тысячи флотилий выходят в море на лов. Китобои тянут на буксире надутую воздухом тушу кита. В чреве краболовного судна копошатся, сцепляясь клешнями, жирные крабы. Консервный завод сбрасывает с конвейера миллионы банок тихоокеанских сардин. Нефтеналивные баржи идут по Амуру на крекинг-завод. Геологи ползут по скалам, зорко вглядываясь в напластования неисследованных пород. Растут новые города. Бегут из шахт вагонетки с углем. Летят самолеты — семена на Сахалин, шоколад и газеты на Чукотку, фрукты на Камчатку. Мчатся по рельсам тяжелые составы — машины, товары, люди... Гидростанции плотинами перегораживают реки. Тянутся широкие полосы автострад. Чукчи, гиляки, нанайцы, такие же как Мооми и Кильту, на плоскодонных тупоносых лодках спешат туда, где загораются электрические огни. Пограничники стоят в дозоре. Зорки перископы подводных лодок. Дула орудий строги и грозны. И песня, свободная песня летит над краем, над сопками, над тайгой — советский радиоголос.

Как хороша жизнь! Тарас Ильич, отец, пойдем отдавать твои золотые крупинки. Ты их меняешь на жизнь, на подлинную, изумительную жизнь.

## Часть вторая

### 1

У дверей кабинета начальника строительства выстроилась очередь посетителей. «Амурский крокодил» регулировала очередь, каждого предупреждала: «Не больше десяти минут».

Клара Каплан приоткрыла дверь, локтем отодвинув секретаршу, и в ее низком голосе зазвенели нотки возбуждения:

— Товарищ Вернер, я прошу вас принять меня!

Секретарша схватила ее за руку, но Клара держалась за дверь и требовательно смотрела туда, в кабинет, где стояли, беседуя, два человека. Она сразу узнала Вернера, хотя никогда не видала его. Подтянутая, изящная фигура, властное лицо, строгое спокойствие осанки. Властен, требователен, самоуверен — так сказали ей в крайкоме.

— В чем дело, товарищ? — спросил он вежливо и сухо.

Клара покраснела, но все же вошла, притворив дверь, и быстро, как школьница, объяснила, что она инженер-архитектор, приехала работать, надо договориться.

Вернер слушал, слегка нагнув голову, быстро поглядывая на Клару. Поклонился, не подавая руки:

— Очень рад. Садитесь. Я сейчас освобожусь.

Он взял под руку своего собеседника и вполголоса продолжал разговор, прогуливаясь по кабинету. Клара Каплан не могла упрекнуть его в излишнем щегольстве, но его изящество вызывало раздражение и недоверие. Также раздражало чинное и комфортабельное убранство кабинета, заставлявшее забыть, что это комната деревенского кулацкого дома, что кругом — неустроенность, шалаши, болото, тайга. «Сработаюсь ли я с ним?» — подумала она с тревогой.

Он кончил разговор, проводил собеседника до двери, сел в кресло. Клара разглядела узкое темное лицо с тонкими губами, умные, светлые, жесткие глаза.

— Я к вашим услугам, — сказал Вернер скупо.

«Нет, не сработаюсь», — ответила себе Клара и неохотно, коротко рассказала: она инженер с пятилетним стажем, работала в Ленинграде, затем по собственному желанию (она вспыхнула при этих словах, и красные пятна долго играли на ее бледных щеках) поехала на Дальний Восток, здесь два года работала в стройтресте, теперь ушла оттуда...

— Можно узнать, почему вы ушли оттуда? — холодно поинтересовался Вернер.

— Причины моего ухода разбирает Контрольная комиссия, — сказала она, стараясь говорить спокойно и веско, но голос изменил ей, и снова зазвенели в нем нотки возбуждения. — В двух словах: там царило благодушие и очковтирательство. Партком прикрывал и то и другое. Я подняла общественное мнение, довела дело до крайкома, но в это время меня уволили «по сокращению штатов». Я могла восстановиться через райком, но я не хотела. Впрочем, — прервала она свой рассказ, — вы можете справиться сами.

Вернер наклонил голову, не возражая.

Она сидела напряженно, полная недоброжелательства.

— До архитектуры мы еще не дошли, — сказал Вернер и чуть-чуть улыбнулся. — Вы познакомитесь с нашей стройкой и увидите, что пока...

— Я познакомилась, — быстро перебила Клара. — Я уже три дня здесь. Я была на всех участках. В шалашах, на лесозаводе и в мастерских. Скажите, как это вышло, что на такой стройке за четыре месяца построили всего три жилых дома?

Вернер не ответил на вопрос. Он с любопытством и симпатией изучал тонкое бледное лицо этой молодой и неврастеничной женщины. Она ему нравилась.

— Три дня? — повторил он. — Как же мне не доложили? Почему вы пришли только сегодня? Где вас устроили?

Клара недоброжелательно засмеялась:

— Вам не хотели докладывать и сегодня. Ваш «Амурский крокодил»...

— Кто?

— Вы не знаете, что вашу секретаршу зовут «Амурским крокодилом»?

Он искренне рассмеялся.

— Честное слово, не знал. А ведь, пожалуй, это метко... — Он не дал себе развеселиться, спросил: — Так что же она вам сказала?

— Она сказала, что кадрами ведает Гранатов, что устройством кадров и жилищным фондом — понимаете, жилищным фондом! — ведает Кочанер, производством — главный инженер, а к вам надо идти, если направит кто-либо из них...

Вернер поморщился, но не возражал.

— Я была у всех троих. Кочанер просто не знает, что со мною делать. Он так и спросил: что же здесь будет делать архитектор? Ну, он не в счет, — она отмахнулась от Кочанера, как от ничтожества. — Ваш главный инженер — очень славный человек, коммунист, повидимому. Но он тоже не знает, что со мною делать. Ваш заместитель Гранатов показался мне бюрократом и неврастеником. Я пришла к вам.

Она говорила, повинуясь потребности высказать все, что в ней накипело за три дня, и сама чувствовала, что говорит лишнее. Но ей казалось — надо прорваться сквозь холодную завесу, отделяющую ее от Вернера, или прямо сказать себе и ему, что они не сработаются.

Вернер встал, подошел, наклонился над нею.

— Год назад мой заместитель Гранатов сидел в харбинском застенке. Ему загоняли иголки под ногти, прижигали руки раскаленным железом... Не торопитесь делать заключения. Можно легко ошибиться.

Уничтоженная, она съежилась в кресле. Сердце мучительно билось.

— Вы производите на меня хорошее впечатление, — сказал он, глядя в сторону, чтобы дать ей оправиться. — Вы, очевидно, энергичны и, очевидно, любите работать толково, деловито. Я не склонен преувеличивать значение вашей опрометчивости, хотя думаю, что она сыграла роль в пережитых вами неприятностях.

— Если у вас имеются сомнения...

Он быстро и мимолетно положил руку на ее плечо.

— Оставим это, — сказал он. — Я рискую и принимаю к себе в штат беспокойный элемент, так как то, что вы элемент беспокойный, действительно не вызывает у меня сомнений.

— Я выполняю только партийный долг, — бросила она.

Ей было неудобно говорить, глядя снизу вверх. Она злилась оттого, что Вернер так бесспорно превосходил ее выдержкой.

Вернер отошел от нее, заговорил о предстоящей работе, о недостатках строительства и управления стройкой.

— Вас поразило, что мы построили всего три жилых дома. Нас гонят темпы. Все силы идут на стройку завода. Вы видели шалаши?

— Я сама вот уже три ночи сплю в шалаше.

Теперь вспыхнул Вернер. Его палец с силой нажал кнопку звонка. «Звонок все-таки провел», — отметила Клара.

— Попросите товарища Кочанера, — зло приказал он секретарше.

— Мне хорошо и в шалаше, — сказала Клара, наслаждаясь его злостью. — Меня приютили комсомолки. Я за три дня узнала столько, сколько не узнала бы и за месяц в другой обстановке.

Она помолчала.

— Вы мало цените людей, — добавила она. — Ваши комсомольцы — замечательный народ!

Вошел Кочанер.

— Когда приезжают новые работники, обязываю вас докладывать мне немедленно, — глядя мимо Кочанера, приказал Вернер. — И прошу вас объяснить, как получилось, что товарищ... товарищ Каплан... живет в шалаше?

— Я вас уверяю... — вмешалась Клара, но Вернер жестом остановил ее.

Кочанер бормотал объяснения.

— Сегодня вечером товарищ Каплан будет устроена в доме дирекции, — спокойно приказал Вернер. — Если вы не найдете места, предоставите ей свою комнату. Вы меня поняли?

Когда они остались вдвоем, Клара рассмеялась. Ей понравилась его властная манера. Ей хотелось поговорить с ним сейчас по-хорошему.

Но Вернер вел беседу так, как хотелось ему.

— Люди у нас замечательные, — сказал он, — но беспорядка и безобразий много. Я стараюсь выправить их. Помогите мне — я буду благодарен. Хороший коммунист нам сейчас дороже архитектора. — Он встал. — Вы меня простите, я не располагаю временем. Я прошу вас устроиться, оглядеться, просмотреть планы, поговорить с инженерами, с начальниками участков. С Гранатовым. Вы же умная женщина, подойдите к нему с умением, и

он раскроется. Он прекрасный человек и работник. Я опираюсь на него больше, чем на кого-либо другого.

Он прошелся по кабинету.

— Я должен вас предупредить. — Его голос стал требователен и жесток. — Никакого шума я не потерплю. У меня большие полномочия. Условия исключительно тяжелые. Работать нужно — давайте. Создавать беспорядок, споры не позволю. И еще — вы ворвались ко мне сегодня вне очереди. Мне это понравилось. Я не люблю робких людей. Но давайте условимся раз и навсегда — я требую порядка и четкости.

Он усмехнулся, заметив настороженный взгляд Клары.

— Вам, наверное, кажется, что я страшный бюрократ, которого надо скорее выводить на чистую воду. Я надеюсь, что вы поработаете и поймете. Это не бюрократизм, а четкость. В суете никакого дела не сделаешь.

Клара думала: «Почему я выслушиваю его дерзости, как школьница? Не сработаюсь», — повторила она себе.

— А я надеюсь, — весело сказала она, вставая, — что мы сработаемся. Я тоже люблю порядок и четкость. Не скрою, меня предупредили, что с вами будет трудно, что вы человек особого стиля.

Она тотчас пожалела, что сказала это. Вернер не поддержал разговора, только поглядел на Клару острыми светлыми глазами.

— Сколько вам лет?

Клара ответила с трудом, как на экзамене:

— Двадцать... восемь...

Он нажал кнопку звонка.

— Составьте приказ о зачислении в штат инженера-архитектора Каплан, — как бы диктуя, говорил он секретарше, — передадите Сергею Викентьевичу, что я прошу его договориться с товарищем Каплан и определить размеры и характер ее работы, а также ввести ее в курс дела, а затем доложить мне. Все.

Он проводил ее до двери.

— Я вас прошу зайти ко мне, когда вы хорошо ознакомитесь и продумаете свою работу. Если у вас будут вопросы лично ко мне, в порядке совета или помощи, если захотите поговорить — всегда буду рад.

«А что же, может быть, и сработаюсь». Она ушла от Вернера, полная неуверенности и тревоги.

«Амурский крокодил» ворчала, — Клара, ворвалась вне очереди и пробыла полчаса.

— В какие часы принимает товарищ Вернер? — спросила ее Клара.

— От девяти до одиннадцати, от четырех до пяти и с десяти вечера до двенадцати, — заученно отчеканила секретарша.

Клара вышла на улицу. «И с десяти вечера до двенадцати», — повторила она.

— Ничего, я пошел к Вернеру, провернул! — поймала она обрывок чужого разговора.

Она остановилась над крутым спуском к Амуру. Комсомольцы мечтали о гранитных набережных. Пока было три жилых дома, шалаши, кустарный лесозавод, игрушечная электростанция, примитивные мастерские, раскорчеванные пустыри. Она оглядела все то, что должно было стать ее городом. Она спроектирует здесь дома, улицы, целые архитектурные ансамбли. Она жадно разглядывала фон, на который лягут контуры города, — необъятный Амур, далекие горные хребты, близкие и дальние сопки, покрытые тайгой. Она рисовала себе завод — один из лучших в мире. Он войдет в общее целое как составная часть. Он должен органически связаться с архитектурой города. Завод как уродливое пятно окраины — это старый мир. В новом, социалистическом городе основная идея — единство всех элементов жизни, взаимодействие труда и отдыха, труда и развлечения, труда и физической культуры. Завод, Дом культуры, стадион, удобные жилища, магазины, школы — все должно быть связано, подчинено одной идее. Как назвать эту идею нового города? Счастье? Гармония? Социализм?

Она вдыхала свежесть амурского ветра. Ее взбудораженное сердце еще напоминало о себе неровными толчками.

Вернер был насмешлив и снисходителен: «Сколько вам лет?..», «Я рискую...», «Никакого шума я не потерплю...» Что он такое, этот Вернер?

А город она построит, цельный в своем величественном, гармоническом единстве. Его будут строить тысячи работников, чертежи его будут создавать сотни людей, но всеми ими будет двигать одна руководящая идея, дающая смысл любому произведению человеческих рук. Ее идея. Ее ли? Да. Она ее задумает, разработает, приведет к осуществлению. Она заимствует ее, эту идею. Нет, не у греков, не у римлян. Ее идею подскажет величие диктатуры пролетариата, пафос и напряжение пятилетки, чистота счастливых детских глаз, горделивый расцвет

индустрии, жадное стремление вперед, к счастью, поднявшее миллионы людей...

— Товарищ Каплан! — кричит с крылечка «Амурский крокодил». — Получите ордер на комнату.

Клара смеется, сама не зная чему. Она получает ордер и отказывается от машины, — комсомольцы помогут. Она идет по деревенской улице, как по проспекту, легкой походкой, подставляя лицо солнцу и ветру. В ней рождаются еще не оформленные воспоминания. О чем? Она не знает. Что-то связанное с Вернером. Движение руки, наклон тела, лоб... Что? Кто? Кого он напоминает?

Она не углубляется в эти воспоминания, не ищет их смысла. Она идет по своему городу и думает: «Да, так что же такое Вернер?»

## 2

В начале сентября подули с сопок пронзительные ветры, понесли над котловиной леденящие дожди, в непролазную грязь размыли дороги и тропы, с избытком напоили влагой и без того болотистую почву.

А потом выглянуло солнце, заигрывая последними, уходящими лучами; затухающими порывами проносился ветер, подсушивая лужи и густую дорожную грязь, — снова установились теплые, но уже иные, по-осеннему молчаливые дни.

На корчевке, на лесозаводе, на стройке работалось тяжело. В грязи увязали ноги, мокрые стволы были неподатливы и скользки. Ругань неслась по участкам работ. Но иной парень, бросив крепкое словцо, выпрямит заболевшую спину, поглядит кругом и затихнет, будто околдованный сказочным видением. Совсем рядом, безмолвная и нежная, неподвижно стоит тайга: теплым золотом осыпаны белые березы, жарким пламенем рдеют клены, сиреневыми листьями поникли ольхи, топорщатся синие ели, а темный мох под ними весь разукрашен пестрыми пятнами. И вся тайга словно поредела от начавшегося листопада, — далеко-далеко видна между стволами прозрачная лесная даль, и в этой прозрачности то тут, то там медленно кружатся, опадая, золотые, красные, сиреневые листья.

А если выйти на просторное место и поглядеть во все стороны — как быстро изменилось все вокруг! Давно ли казались такими суровыми и однообразными угрюмые темно-зеленые сопки. А теперь каждая сопка играет на

солнце всею гаммою веселых красок во всем многообразии тонов и оттенков, а если набежит облако — границы красок сливаются, и кажется, накинуты на сопки прекрасные восточные ковры.

А над ними — небо. Высокое, легкое, в подвижных облаках, — то небо, которое не обманывает видимостью свода, а дает ощущение воздушности и бесконечности.

В такой прозрачный осенний день по влажной тропинке среди пеньков несколько товарищей несли Сему Альтшулера от лесозавода к больнице. Сема лежал на носилках, закинув восковое лицо, и воспаленные глаза смотрели прямо в бесконечность неба.

— Тропосфера... стратосфера... а потом... — проговорил он вдруг, испугав товарищей. — От Солнца до Земли сто сорок девять миллионов километров...

— Бредит, — содрогаясь, сказал Генька Калюжный.

— Нет, — сказал Епифанов, — кажется, так и есть.

— Когда будут летать в стратосфере, — снова заговорил Сема и улыбнулся, — мы станем ближе к Москве по крайней мере в десять раз...

Около носилок появилась Тоня, склонилась и посмотрела на Сему потеплевшими глазами. Чужое страдание смягчило ее.

— Вы идите, ребята, — сказал Сема, когда его принесли к больнице и посадили на крыльце.

Друзья стояли, нерешительно переминаясь. Сема привалился к стене и слегка улыбался прозрачному небу. В его живых глазах отражалось золото осени, он был ясен. Но друзья знали, что у него сорок и две десятых.

— Идите, идите, — повторил Сема. Он заметил ненавязчивый, спокойный и ласковый взгляд Тони и выбрал ее инстинктом больного, который тянется к уверенным рукам. — Тоня остается со мной, а вы идите работайте.

Тоня молча кивнула и вошла в больницу, приняв на себя бремя забот. Сиделка бестолково бегала взад и вперед — коек не было. Тоня влетела в приемную врача, не обращая внимания на полуголого парня, подставившего грудь под докторскую трубку.

— Мы принесли Альтшулера, лучшего ударника, с температурой сорок и две десятых! — крикнула Тоня. — Он на улице. Если вы его сейчас же не устроите, я вас отдам под суд!

Врач уронил трубку и, наклонившись за нею, уронил пенсне. Тоня подала ему пенсне и сказала тихо:

— Пойдемте, дело серьезное.

Полуголый парень, кутаясь в пиджак, поддержал:

— Идите, доктор, я подожду.

И сказал Тоне:

— Вот ведь бедняга... Тиф?

Но и врач не мог найти койку, раз коек не было. Тоня сказала, энергично тряхнув волосами:

— Значит, надо кого-нибудь выписать.

Она смело вошла в палату, кивнула знакомым комсомольцам и крикнула:

— А ну, ребята, кто здесь покрепче?

— А что? — с любопытством откликнулись больные.

— Заболел Сема Альтшулер. У него сорок и две десятых. Он на улице. Кто согласен уступить ему койку?

Несколько человек не колеблясь спустили ноги с кроватей.

— Пожалуйста, доктор, — сказала Тоня. — Теперь ваше дело, кого из них выписать.

Врач с удовольствием и недоверием разглядывал распоряжавшуюся в его больнице комсомолку. Он смеялся про себя, но ворчал и выписывать кого-либо отказался наотрез. Один паренек, Петрунин, мог быть выписан дня через три, другой, Сафонов, через неделю. Но не сегодня. Врач не может, не имеет права...

— Ну так что же! — отклинулся Сафонов. — Мы с Митькой на одной койке будем, по очереди. Несите Сему.

Оставленный один, Сема прилег на крыльце, и в его потемневших глазах уже не отражалось золото осени, — они были напоены густым туманом.

— Берите! — скомандовала Тоня врачу и мягко взяла Сему за плечи. Они вдвоем внесли его в палату. Тоня уверенно раздела Сему и натянула на его горячее, воспаленное тело чистую рубаху. Потом она вышла, оставив врача около больного.

— Предполагаю крупозное воспаление легких плюс общее изнурение организма, — сказал врач, выйдя к Тоне. — Положение скверное. У меня одна сиделка. Вы останетесь?

— Да.

— Ломаться и нос воротить вы не будете, это я вижу. Но вы что-нибудь понимаете в медицине? Лекарства разбирать умеете? Грамотная?

— Я не понимаю, но пойму, — сказала Тоня. — Вы хотите, чтобы я работала в больнице?

— Мне нужна медицинская сестра. Я вас научу. А la

guerre comme à la guerre[1], — добавил он, но тут же сообразил, что Тоне непонятна его французская пословица, и объяснил, сердито поправляя пенсне: — С волками жить — по-волчьи выть. Я думаю, вы пригодитесь. Только судом не угрожайте, меня не запугаешь, имейте в виду.

— Хорошо, — сказала Тоня.

Сема лежал на спине, маленький и горячий, с блестящими от жара глазами.

— Вы видели сегодня небо? — спросил он Тоню с живым интересом и взял ее за руку. — Вы видали когданибудь такое небо? О, в Одессе оно лучше, чем везде, но здесь небо грандиознее... Здесь широта... Вы только поглядите; здесь видишь все: и стратосферу и выше...

Больные невольно посмотрели в окно, но ничего такого не увидели.

— Нет, — сказал Сема, — надо смотреть лежа, прямо вверх... вверх... Я хотел бы летать в стратосфере.

— Вот это да! — согласился Сафонов, пристраиваясь в ногах Петрунина.

— Хорошо бы взлететь разок так высоко, чтобы всю землю увидеть, какая она есть, — сказал Петрунин.

— Есть такой летчик, мастер высшего пилотажа, — сказал Сема. — Он очень маленького роста, его не брали в летчики, он написал письмо Калинину, что будет летать стоя, лишь бы взяли. Калинин приказал взять. Когда мы построим город, я пойду в летчики.

Он дышал с трудом, губы потрескались от жара, но он не бредил, — он только интенсивнее, пламенней думал.

— Я бы хотел лететь и заблудиться в облаках, — сказал он. — Года через три... Сбиться с пути и вдруг увидеть внизу город. Большой город на берегу большой реки. Чтобы к воде широкие ступени, чтобы на набережной, в тени акаций, белые столики, и чтобы за столиками сидели парни в белых костюмах и девочки в цветных платьях, и пили лимонады, и тянули кофе-гляссе через соломинку, и ели мороженое всех сортов. И я бы пошел через город, а улицы все в деревьях и ровные, как стрелы, и по широким бульварам ходит народ, и все переговариваются, смеются, глазеют, во все стороны, как на Дерибасовской в летний день... И я бы шел через весь город и вошел бы в огромные ворота... На новых заводах надо строить такие ворота, как строили для царей, чтобы входил человек и смеялся от радости... И я бы вошел

[1] На войне как на войне *(франц.)*.

в те ворота, и пошел по асфальтовой аллее, и увидел бы изящные, воздушные строения, как дворцы... И мне кричали бы: «Скорее, Семка, беги со всех ног и гляди во все глаза!» И я бы смотрел, как открывают шлюз... Вы знаете как? Нажим кнопки — и все! — и хлынет вода, и закачается на волне голубой корабль, красавец, каких еще не было, и красный флаг взлетит по сигналу вверх, и будет играть музыка, и люди будут плакать... И на корабле будет название «Комсомол». И город будет называться — имени Комсомола.

Все слушали. Из угла раздался хриплый голос лесогона Феди Чумакова: — Твоими бы устами да мед пить.

Сема весь вскинулся, даже сел в постели:

— А ты что думаешь? Ты думаешь, для чего мы строим? Для чего мы болеем, и мокнем в болоте, и не хотим сдаваться? Ты думаешь, если мы строим бомбовозы, это для того, чтобы воевать? Это для того, чтобы не было войны! И если мы торопимся, и плохо едим, и не имеем сапог, и девочки не имеют платьев — это для чего? Чтобы устроить монастырь? Нет! Чтобы жизнь была красивая и легкая, чтобы всего стало много, чтобы жили смеясь!

Врач вбежал в палату, негодуя. Он увидел сидящего Сему с лихорадочно горевшим лицом и на всех койках приподнявшихся, возбужденных больных.

— Это что за митинг? — закричал он фальцетом и мигом уложил Сему. — Кто разрешил разводить митинг? А вы что смотрите? Тоже медицинская сестра! Неужели у вас нет никакого понятия о медицине?

Когда врач ушел и пристыженная Тоня заставила всех улечься, снова раздался хриплый голос Феди Чумакова:

— Посмотреть охота. Вот только цинга заела. Ну да ведь пройдет, я думаю?

Сафонов откликнулся, переворачиваясь на своей половине койки:

— Притом же обидно. Мы начали, а жить будут другие? Я уж дождусь, хрен с ней, с цингой. От цинги не помрешь.

### 3

Клара Каплан заняла очередь к Вернеру. Вернер встретил ее приветливо, с искренней радостью. Никакой чинности, ничего педантичного в тоне голоса. Он расспрашивал, как она устроилась, и обещал прислать ей кресло.

— Вы говорили мне в прошлый раз, что хороший коммунист сейчас важнее архитектора, — сказала Клара. — Я пришла говорить с вами и как коммунист и как архитектор. У меня серьезные и спешные предложения.

— Я вас слушаю.

— По приезде я взяла на учет трех комсомольцев: Клаву Мельникову, Сему Альтшулера и Епифанова. Вы их знаете?

Вернер быстро посмотрел на нее, насторожился, отрезал:

— Нет.

— Напрасно, — так же прямо отрезала Клара. —Надо видеть людей. Когда оратор говорит речь, он выделяет из толпы несколько лиц и по ним проверяет себя. Не так ли?

— Так. — Он стал очень внимателен.

— Я выбрала трех, очень характерных. Неужели вы не знаете Клаву Мельникову? Как можно руководить этой стройкой, не зная Клаву, Сему? А Сережу Голицына вы знаете?

— Вспоминаю. Помощник машиниста. Такой энергичный, красивый парень.

— Вы знаете, что он дезертировал?

Клара с наслаждением отметила, что ему стыдно. Она заговорила дружелюбно:

— У вас плохое положение, товарищ Вернер. Кадры тают. Из трех моих комсомольцев Клава кашляет — сухой плеврит, Сема Альтшулер — в больнице. Епифанов — здоров, весел, чувствует себя прекрасно. До сих пор вы равнялись на Епифанова. Я хочу чтобы перед вашими глазами стояли также Клава и Сема. В этом суть моих предложений.

— Нельзя узнать, в чем выражается эта суть конкретно, вещественно?

Он был очень заинтересован, но Клару коробила педантичность его гладких, хорошо построенных фраз.

— Суть такая: немедленно, за счет промышленного строительства, строить большое число домов облегченного типа. Это компенсируется. Без жилищ кадров не будет.

Она хорошо продумала свое предложение и теперь ждала расспросов, возражений, чтобы развить мысль.

— Я хотел бы отложить нашу беседу, если вы не возражаете.

Клара вскочила. Переменчивые пятна заиграли на ее щеках.

— Вы меня не поняли, товарищ Клара. Я прошу вас

отложить разговор до вечера. Вопрос важный. Я хочу пригласить несколько руководящих товарищей, чтобы обсудить совместно и всесторонне. Без бюрократизма. Вас это должно устраивать, насколько я понимаю.

Она волновалась до вечера. Кого он позовет?

Она застала у него Круглова, Клаву Мельникову и Епифанова. Сразу вслед за нею пришел Морозов, затем Гранатов и Сергей Викентьевич — главный инженер. Морозов опирался на палку, был сер и небрит. Клара слышала, что у него цинга, но Морозов уверял, что разыгрался ревматизм.

Клара доложила свои предложения прерывающимся от волнения голосом. В середине доклада Гранатов удивленно переспросил: — Как? Повторите.

И Клара вдруг почувствовала, что она взяла на себя огромную политическую ответственность, что ее предложение может быть истолковано как паника перед трудностями. Она взглянула на Круглова — он был серьезен и удивлен. Клава приоткрыла рот и смущенно оглядывалась. Епифанов сердито отвернулся и шепотом заговорил с Гранатовым. Гранатов засмеялся, потирая руки. «Что же я говорю? — с ужасом подумала Клара. — За счет промышленного строительства?.. Да ведь это оппортунизм!..»

Ее голос еще говорил, а мысль уже не следила за словами, судорожно билась, искала выхода, оправданий... Нет, это не оппортунизм! Ведь потом строительство пойдет быстрее.

— Я не хочу упрекать товарища Каплан в оппортунизме, — сказал Гранатов, отвечая на ее мысли. — Я надеюсь, что это простая ошибка. Вы просто не поняли, не учли серьезности и спешности нашего задания. — Он глядел на Клару настойчиво, изучающе, и какое-то нервное движение пробегало по его щеке от виска к шее. — Если бы вы знали, у вас язык не повернулся бы требовать остановки промышленной стройки! — Он сделал дружелюбный жест в сторону комсомольцев: — А впрочем, надо послушать молодежь.

Круглов думал, — думал упорно и тревожно. Предложение Клары Каплан совпало с его затаенными мыслями, но эти мысли он гнал от себя, как неправильные, чуждые, вредные... Сколько раз он хотел сказать Морозову: надо обеспечить ребят жильем, тогда у них и силы и энтузиазма прибавится! Но он не смел. И когда Морозов сказал однажды: «Пока нет домов, толку не бу-

дет», Андрей стал убеждать его, что в шалашах прекрасно, что ребята готовы перенести любые трудности. «Это хорошо, что ты так думаешь, — сказал Морозов ласково, — но я обязан думать иначе».

— Можно мне? — не смущаясь, спросил Епифанов.

Он заговорил о том же — о трудностях. Но для него все вопросы решались просто. В нем бродила молодая и хорошо тренированная сила. И он осудил Клару Каплан:

— Вы, дорогой товарищ, не приобвыкли еще. Оттого и страшны показались наши шалашики. А мы в них переезжали, как в палаты. Электричество провели. А теперь сами дом построили. И еще построим. Подумаешь, вечерами работали! А чего же вечерами делать? В кино ходить? Нет, дорогой товарищ, нам завод всего дороже.

Клава смирно подняла руку, прося слова. Вернер с любопытством разглядывал комсомолку, которую стыдно не знать. Чем она примечательна?

— Епифанов правильно сказал, — розовея, заговорила Клава. — Наши ребята во сне и наяву все о заводе мечтают, все о заводе. В этом для нас смысл всего. И как же товарищ хочет помедлить с заводом? Ведь нельзя же это! Мы сами себе никогда не простим, если хоть на неделю задержимся...

Вернер выхватил из ее речи одну фразу: «В этом для нас смысл всего». Она сказала так просто, так задушевно, с такой милой скромностью. Да, у Клары Каплан есть чутье на людей. По почему же она тогда до сих пор не почувствовала, не поняла Гранатова, его аскетическую, нервную самоотверженность? Неужели она не видит, какой это превосходный, глубокий, болезненно чувствительный человек?

— Вот видите! — вскричала Клара. — Вот видите, какие у вас комсомольцы! Я ничего другого от них и не ждала. Но тем более наша задача сберечь их, сохранить! Подумайте — идет зима. Неужели вы оставите их в шалашах?

Вернер оторвался от своих мыслей. Надо было решать. Он с утра обдумывал. И все-таки не знал, что сказать. Его страшила мысль подписать приказ: «С 15-го прекратить строительство промышленных объектов»... Два месяца жилищного строительства — это большое дело!

— Я не берусь решать вопрос политически, — сказал Сергей Викентьевич. — Но вы учтите — сейчас рабочая сила в большом проценте занята корчевкой и земляны-

ми работами. Если их бросить целиком на жилье — откуда взять лес? Притом же у меня такой вопрос: мы ждали архитектора в уверенности, что план города позволит строить рационально, сразу, надолго. Есть у вас такой план? В каком соответствии с генеральным планом ваше сегодняшнее предложение? Не является ли это кустарщиной — забивать площадку времянками?

Вернер внимательно слушал. Он любил и немного презирал своего главного инженера. Мягок, расплывчат, но знающий и деловитый человек. Вернер ценил деловитость и сам был деловит и сух. Может быть, поэтому его пленяла нервная приподнятость и чувствительность Гранатова? Сам он был неспособен решать чувством вместо ума.

Главный инженер дал ему нить — будущий город. Вернер взял эту нить и спокойно размотал ее перед Кларой и участниками совещания. Город надо строить по-настоящему, без перепланировки: кварталы социалистических домов, театры, парки, бульвары, магазины.

— Подумайте, товарищ Клара. Ведь у вас же есть своя архитектурная мечта? Творческая мечта?

Ей было приятно, что он угадал в ней мечту, о которой она стеснялась говорить сама.

— И вдруг мы наляпаем домики, дешевые и грубые. Нет, надо строить большие, настоящие дома, а пока шалаши, временные бараки — их и снести не жалко.

Гранатов сказал:

— Надо потерпеть немного. Спросите любого комсомольца, готов ли он потерпеть недолгий срок в плохих условиях, чтобы потом жить в настоящем культурном городе и работать на первоклассном культурном заводе?

— Факт, готовы! — поддакнул Епифанов.

— Да разве мы сейчас жалуемся? — воскликнула Клава.

Морозов выдвинулся вперед и громко, в упор спросил Гранатова:

— Вы серьезно думаете, товарищ Гранатов, что мы так скоро построим и завод и город?

— Ну конечно! — быстро откликнулся Гранатов. И, помолчав, так же громко, в упор спросил: — А вы серьезно думаете, товарищ Морозов, что большевистские темпы ничем не отличаются от обычных?

Морозов с досадой махнул рукой и не стал отвечать.

Клара Каплан заговорила в сильном волнении:

— Это несерьезно, этот разговор об оппортунизме!

Разве кто-нибудь предлагает снижение темпов? Надо подготовить жилье, чтобы тем скорее ринуться вперед. Да, у меня есть свой план. Своя мечта. Но будем говорить прямо: строить городские дома еще рано. Нет материала, нет механизации, нет многого. Я предлагаю квартал-два временных домов. Они простоят пять лет, может быть десять. Все равно сразу весь город вы не построите. Приближается зима — как можно экономить на жилье, на здоровье людей? А если мы растеряем кадры, что мы будем делать тогда? Это же безумие! Это экономия, имеющая оборотной стороной самую дикую, глупую, преступную расточительность.

Круглов знал, что ему нужно высказаться. Его молчание становилось заметным. Но он не мог, не смел говорить, потому что для него не было ясно правильное решение. Свое мнение он мог сказать, но разве он имел право говорить только за себя? Он руководитель комсомольской организации.

— Круглов, а твое мнение?— окрикнул его Морозов.

— Да, да, послушаем Круглова!— сказал Гранатов и ободряюще кивнул ему.

Клара Каплан, прижав холодные ладони к горящим щекам, с надеждой и тревогой смотрела в лицо Круглову.

Он опустил глаза и, ни на кого не глядя, сказал:

— Мое личное мнение такое, что я готов вытерпеть все, что угодно. Но я думаю, что товарищ Каплан во многом права. Ведь об этом же говорил Морозов еще месяц назад. У нас мало заботы о людях. Клава на все готова, но, Клава, у тебя уже сейчас плеврит, а впереди холодная зима. И потом, что скрывать, не все наши ребята одинаково сознательны. С питанием до сих пор плохо. Грузы идут, но где они? Пока что их нет!

— Так что же ты предлагаешь?— перебил Гранатов. — Прекратить промышленную стройку?

Круглов испуганно откинулся назад, крикнул:

— Нет, нет! Ни в коем случае!

— А что же?— настаивал Гранатов.

У Круглова еще не было предложения. Но оно родилось тут же, сразу, под скрестившимися на нем взглядами Гранатова и Клары Каплан.

— Я предлагаю не ослаблять стройку, но помочь комсомольцам сверхурочно строить дома. Нам не нужно послаблений. Надо, чтобы инженеры руководили, чтобы нам давали материал и лошадей для перевозок, чтобы мастер-

ские принимали наши заказы. У нас хватит сил построить дома сверхурочно. Верно я говорю, ребята?

Клава и Епифанов поддержали его: «Верно, верно!»

Клара Каплан кусала губы.

Гранатов хлопал комсомольцев по плечам, радовался: с такими молодцами горы свернем!

Морозов поднялся и вышел на середину комнаты, опираясь на палку. Он стоял неуклюжий, небритый, с серым и злым лицом.

— Вот что,— сказал он угрюмо,— комсомольцы правы. Если бы они рассуждали иначе, они были бы плохими комсомольцами. Плох боец, который не готов умереть в бою за свою социалистическую Родину! Но плох и командир, который без нужды ведет на смерть своих бойцов, который не дорожит жизнью каждого бойца. А товарищ Гранатов забывает, что от него требуется рассуждать как командиру. Вот в чем твоя ошибка, дорогой Гранатов. Мы, командиры, обязаны сделать так, чтобы сберечь каждого комсомольца и хорошо подготовить наступление, прежде чем наступать. Наступление без подготовки— провал. Я предлагаю принять в основе предложение Каплан и временно снять со стройки на жилье такое количество рабочей силы, какое можно использовать на жилстроительстве при сегодняшней мощности лесозавода.

Вернер наклонил голову в знак согласия.

Он подводил итоги, спокойный и властный:

— Я принимаю решение: темпы ослаблять не будем. Сергей Викентьевич выяснит, в какой мере лесозавод может давать пиломатериалы. Товарищ Каплан разработает типовой проект жилого дома облегченного типа. Товарищ Гранатов ускорит строительство кирпичного завода. Я беру на себя содействие сверхурочному строительству комсомольцев и выделю часть рабочей силы для регулярного строительства. Новые жилые дома — только для лучших ударников. Это будет стимулировать большевистские темпы и, возможно, перекроет по результатам сегодняшнюю производительность. Я надеюсь, что мы покажем себя хорошими командирами, товарищ Морозов. А бойцы у нас действительно хорошие, в том числе и девушки-бойцы, товарищ Клава.

Так, полушутя, кончил Вернер совещание. И еще не успела сойти с его лица приветливая улыбка, как он уже взглянул на часы и встал.

Комсомольцы ушли с Морозовым.

— Я не совсем понял Вернера,— сказал Круглов.— Как-то вышло у него и «да» и «нет» одновременно.

— Если ты хочешь быть дипломатом,— ответил Морозов,— учись у Вернера. Все тонкости изучишь.

— А по-моему, Вернер такой решительный,— сказала Клава.— Сказал: принимаю решение — и кончено.

— По-командирски,— добавил Епифанов.— Порядок любит!

Морозов тяжело ступал, налегая на палку, изредка ворчал под нос, так что комсомольцам не понять было, о чем это он.

— Иногда командирский голос может продиктовать неверное решение,— сказал он, прощаясь.— Голос еще не делает командира.

Клара Каплан осталась в кабинете, чтобы поговорить с Вернером. Но Гранатов тоже остался и нетерпеливо постукивал пальцами, ожидая ее ухода.

— Вы зайдите ко мне послезавтра с планом и соображениями конкретного характера,— вежливо, но сухо сказал ей Вернер.

Клара повернулась и почти бегом покинула кабинет. «Ну, Гранатов истеричный человек — это ясно. Но Вернер? Что такое Вернер?..»

А Вернер и Гранатов испытующе смотрели друг на друга. По лицу Гранатова пробежала судорога. Он отвел взгляд и сказал глухо:

— Ты меня прости, Георгий Эдуардович, но этого я не ждал. Ты достаточно самостоятельный работник и крепкий большевик — почему ты пошел на поводу у Морозова и этой жалостливой барышни?

Вернер подтянулся, отчеканил:

— Я поступил так, как считал правильным.

— Вот это и пугает меня,— подхватил Гранатов, и пальцы его забарабанили по столу, и нервная дрожь непрерывно пробегала по щеке.— Вот это и страшно. Лес — на жилье, кирпич — на жилье, рабочих — на жилье... Да мы не имеем права отдать для жилья хотя бы одного рабочего!

Он прошелся по кабинету, бросил иронически:

— Видно, и на тебя влияют трудности!— и вышел.

Вернер пошел было за ним, но не позвал его и заперся у себя в кабинете. Он принял решение, но не был уверен в его правильности. «Паника... Влияют трудности... Растеряем кадры... Быть хорошим командиром... Кто прав?»

Мооми и Кильту разговаривали с Морозовым.

— Да, да, рыба скоро иди,— говорил Кильту,— неделю иди, две иди, потом иди нет.

— Пак предложил организовать для нас рыбную базу,— сказал Морозов.— Как ты думаешь, Кильту, и ты, Мооми, можно доверять Паку?

Мооми покачала головой:

— Нет.

— Он хороший рыбак,— сказал Кильту.— За ним надо смотри. Мало-мало не смотри — воровал.

— Воровать будет?

Кильту засмеялся, подтвердил, добавил:

— Деньги любит.

И снова повторил:

— Пак — хороший рыбак. Много рыбы лови. А деньги любит.

— Это нам не страшно, пусть себе любит,— сказал Морозов.— Нам важно, чтобы рыбак хороший и рыбы побольше. А смотреть за ним будем. И другое хорошо: переселим на рыбную базу, сарай его закроется. Пусть рыбу ловит. Верно?

— Верно, верно,— сказал Кильту.

— Мы Касимова послали покупать сети,— рассказал Морозов,— будет Касимов начальник, а Пак—помощник. Хорошо?

— Касимов хорошо,— уклончиво ответила Мооми.

— А вы пойдете работать на рыбную базу?

Кильту кивнул.

— Нет, нет,— испуганно сказала Мооми,— моя монтер. Монтер.

Они ушли, взявшись за руки, и пошли вдоль берега Амура, тихо разговаривая. Они были счастливы, они любили друг друга и жили вместе. Но едва ли не бо́льшим счастьем были широкие горизонты жизни, раскрывшиеся обоим. Мооми не раздумывала над тем, что́ ей дороже, но если бы Кильту захотел оторвать ее от проводов, роликов и лампочек, она не пошла бы за Кильту. Слово «монтер» наполняло ее никогда еще не испытанной гордостью и ощущением своей самостоятельности и значимости.

Из темноты реки вынырнула лодка.

Лодка пристала к берегу.

Высокий человек в фуражке выпрыгнул на песок и, оглянувшись, тихо пошел наверх, к сараям.

Кильту и Мооми стояли и смотрели на черный силуэт. Такого человека здесь не было. И лодка чужая, нанайская, плоскодонная.

— Чужой человек,— прошептала Мооми.

Человек взобрался по крутому спуску и исчез между сараями.

Они услышали осторожный стук: человек постучал три раза согнутым пальцем.

Скрипнула дверь.

Шепот.

Снова скрип двери.

И тишина.

Мооми и Кильту обошли сараи. Ни в одном из них не было света. Ни в одном из них не было слышно голоса.

И вдруг прямо перед ними распахнулась дверь.

Мооми и Кильту отпрянули к стене.

Чужой человек прощался с Паком. Он сошел по круче неслышной, охотничьей поступью и столкнул лодку в воду, прыгнув на ходу. И сразу заработал веслами, исчезая во мраке ночи.

Пак постоял над берегом, пока не скрылась лодка, зевнул и вошел к себе. Он не заметил Кильту и Мооми, застывших у стены.

— Парамонов,— прошептал Кильту.

— Не заметил нас,— шепотом откликнулась Мооми.

И они крадучись побежали домой.

Они все еще боялись преследования из своего далекого, полузабытого стойбища.

## 5

Тоня выхаживала Сему, выхаживала других больных и незаметно вылечивалась сама.

В том состоянии ожесточения и гордого одиночества, в котором она находилась, чужие страдания благотворно влияли на нее, смягчая ее и отвлекая от внутренних затаенных переживаний.

Она впервые поняла, что такое любовь и участие. Маленький, незаметный, немного смешной Сема Альтшулер привлек заботливое внимание всей стройки. Куда бы ни пошла Тоня, ее встречали расспросами о Семе. В больницу приходили делегации от участков справляться

о здоровье Семы. Клара Каплан, архитектор, дважды навещала его и сказала Тоне:

— Вы хорошо заботьтесь о нем. Вылечить его — это так важно!

Частенько заходил Морозов. Он не выделял Сему — он каждого замечал, с каждым беседовал, подбадривал тяжелобольных, мягко вышучивал унывающих, рассказывал новости. С Семой он беседовал не больше, чем с другими. Но однажды, уходя, он взял Тоню за локоть и сказал:

— Присмотрись к нему, Васяева. Поговори. Тебе тоже полезно будет. Он знаешь какой человечище?

Тоня думала ночами — почему? Почему? Ведь не в том же дело, что он ударник и изобретатель? Ведь и она ударница... Почему же столько любви и участия вызвал этот маленький, незаметный, немного смешной юноша?

Она присматривалась к Семе.

Говорила с ним.

Сам того не зная, он открыл ей секрет простой человеческой теплоты. Тяжелобольной, он умел найти для каждого больного дружеское слово. Он не уговаривал, и не агитировал, и не сулил ничего — он нащупывал в человеке заветную струну и заставлял ее звучать.

У Семы Тоня научилась видеть людей.

Однажды заговорили о Лильке. Сафонов сказал, что Лилька глупая.

— Почему глупая? — тотчас откликнулся Сема.— Лилька не умеет себя вести. Но разве все умеют? А ты умеешь? Лилька сердечная. У нее хорошая основа, а сверху — шлак. Почисти шлак — другой человек будет.

В другой раз зашла речь о Коле Платте. Коля Платт прекрасно работал мастером механической мастерской.

— Нет, он сухой,— сказал Сема.— Ему нужно еще во многих переплетах побывать, чтобы стать человеком. Он никого не любит, кроме себя.

Сема никогда не говорил Тоне, что любит людей, но именно у него Тоня научилась любить их, и любить по-настоящему, во всей сложности и противоречивости. Это была суровая любовь, без снисхождения и поблажек, но пронизанная активностью; полюбив, хотелось помогать людям жить, совершенствоваться, бороться.

Такую любовь к людям Тоня угадала у Морозова. Он и ее любил и о ней думал. «Присмотрись, поговори... тебе будет полезно...» Значит, Морозов знал, что ей тяжело?

Но ей стало уже не так тяжело.

Как-то вечером, когда больные спали, а Сема лежал в лихорадочном вечернем оживлении, Тоня вдруг спросила:

— Ты любишь Клаву, да?

В тот день Клава приходила в больницу, и Тоню мучительно задела радость, с какою встретили Клаву все больные.

Сема не смутился. Он даже немного подумал, прежде чем ответить.

— Нет, Тоня, я ее не люблю. Она для меня не женщина, а сон, мечта, восход солнца. Мне хочется плакать, когда она грустная. У меня разрывается сердце, когда она кашляет... А вы ведь слыхали, Тоня, как она кашляет? Но если бы мне сказали выбрать ей жениха, я взял бы ее за ручку и повел бы ее к Андрею Круглову и сказал бы ему: «Андрей, ты лучший парень среди нас и самый красивый, возьми ее и береги — лучшей девушки ты не найдешь».

Он горько вздохнул.

— Но у него есть какая-то краля, и я не знаю почему, Тоня, но эта ростовская краля мне уже не нравится. Вы не замечали, Тонечка, что хорошие люди часто попадаются на всякую дрянь и становятся несчастными? Почему это так, я не знаю, но хорошим людям не везет в любви. И я уверен, что эта краля — какая-нибудь вертлявая пигалица, а здесь рядом пропадает девушка, которая могла бы сделать его счастье и быть счастлива сама... Так что вы видите, Тоня, не надо думать, что я люблю ее. Я любуюсь ею — вот и все.

Тоня задумалась над словами Семы. Хорошим людям не везет в любви. Она не могла не считать себя хорошим человеком — и вот ей не повезло.

— Мне тоже не повезло,— произнесла она.

Сема был первым человеком, с которым она решилась поговорить о себе.

— Вам не повезло, да,— повторил Сема и внимательно посмотрел на нее.— Ну что же, Тонечка, вам еще повезет. Вы не Клава и не Круглов. Вы сильная.

— А разве Круглов не сильный?

— Как вам сказать... Он мужчина, он имеет характер... Но сердце у него беззащитное, открытое, все наружу. Таким людям трудно быть счастливыми, потому что, если встретится неважный человек и видит это сердце, он вертит им как хочет.

— А я... не такая?

— Вы не такая, Тоня, нет. Я даже думал сперва, что вы плохой человек. А потом... Вы не сердитесь, Тонечка, но я все наблюдаю, у меня такие глаза... Я видел, как вы пели тогда в бараке, помните, и у вас было очень тяжело на сердце, я это видел — да что видел! — я это знал. У вас было тяжело на сердце, но вы пели веселые песни и смеялись, и все думали, что вы веселая, и ваш Голицын со злости кусал себе локти... Нет, Тоня, у вас сердце в броне, вы стойкая, вы не сдадитесь.

— Я не сдалась,— сказала Тоня.

— Я не знаю, Тоня, чтó у вас было. Мне нет дела, отчего вы разошлись. Но это хорошо, Тонечка. Сергей легковесный человек. Не скверный, но легковесный. Он даже страдать не умеет, а так, знаете, не гроза, а слякоть, не рычание, а мышиный писк.

— Я его очень любила,— со стыдом прошептала Тоня.

И ей стало легче. Впервые высказанное чувство как будто отодвинулось; оно уже принадлежало не только ей одной.

— Я догадался,— сказал Сема.— Я догадался, когда ты пела и смеялась, а на душе у тебя было плохо,— я ведь знал, что плохо. Ты хорошая, Тоня, у тебя сердце в броне, ты можешь жить и будешь жить.

Он запнулся. Его лицо побледнело и напряглось. Слово «жить»— обычное, часто повторяемое слово — приобрело для него особое, всеобъемлющее значение.

— И я бы жил...— с обидой закончил он.— Да вот, видишь...

Он помолчал. Тоня искала слов ободрения. Но он нашел их сам. В его расширенных зрачках вспыхнуло пламя неутолимой страсти.

— Нет, нет, Тоня, я буду жить! Я не дам скрутить себя. Что? Ты думаешь — доктора? Нет, не в докторах дело, надо захотеть жить... Пока во мне бьется сердце, пока работает мозг, пока у меня есть нервы — я буду бороться за жизнь и не позволю! Не позволю!..

Тоня склонилась к нему в безотчетном порыве любви:

— И я не позволю, Сема! Я тебя отстою...

Сема выпростал руку из-под одеяла и потянул к себе Тонин палец. Она не понимала, чего он хочет. Наконец она догадалась: надо положить ладонь на его горячий лоб.

— Вот так,— сказал он и закрыл глаза.— Вот так... Кто знает, Тоня, может быть, судьба не зря столкнула нас, и нам еще будет хорошо. Может это быть, Тоня?

Она ответила наугад:

— Конечно, может. Ты увидишь, все будет хорошо.

Он открыл глаза и улыбнулся. Улыбка была странная: и мудрая и насмешливая — как будто он видел многое такое, что недоступно другим людям, не оценившим до конца понятие «жизнь».

— Ты что, Сема?

— Ничего,— сказал он все с той же улыбкой.— Пора спать, Тоня, у тебя совсем усталые глаза. А жизнь впереди большая, и знаешь, сколько еще понадобится сил!

С этого вечера Сема стал самым дорогим и необходимым для Тони человеком. Это был друг. Она не боялась открывать ему любые затаенные мысли. Она высказывала то, что наболело, и то, что было неясно, и то, о чем мечталось по ночам. А Сема хорошо слушал и потом говорил, говорил, говорил, высказывая все свои теории, и наблюдения, и советы. Тоню не утомляло его многословие... Она всегда находила в его речах свежие и новые мысли.

Эти мысли обновили ее. Сема прививал ей вдумчивое, чуждое всякой опрометчивости отношение к людям и событиям. У нее пропало ожесточение, потому что Сема пробудил в ней глубокую человеческую теплоту, не оставлявшую места мелочной злобе. Она выздоравливала — не от любви, нет! любовь прошла бы и так,— она выздоравливала после глубокого душевного кризиса.

Сема уважал ее и называл хорошим, сердечным человеком, но именно поэтому она поняла, что до сих пор не была ни хорошей, ни сердечной. Кому какое дело, что она думала, чего желала! До сих пор она не умела осуществлять хорошие порывы, не умела передавать свои чувства другим, увлечь за собой других...

Она ценила влияние Семы и не догадывалась, что ей самой нужно было переболеть и измениться, чтобы воспринять его.

— Ты заметил, Сема, ребята не любят меня?— пожаловалась она однажды.

— Это зависит от тебя, — сказал Сема. — Ты смотри на ребят попроще, поласковей. У них ведь ни семьи, ни девушки. А ты гордишься. Улыбки бережешь...

Тоня засмеялась. Нет, она не берегла улыбок, у нее их просто не было. И кто знает, почему именно сейчас, когда от усталости темнеет в глазах, когда и оснований для радости никаких как будто бы нет, — почему сейчас в ней забродили новые соки и стало так естественно улыбаться людям?

## 6

Сергей Голицын часто, как от толчка, просыпался ночью, и все, что с ним случилось, представлялось ему кошмаром.

Лодку несло течением всю ночь.

С рассветом они остановились в селении на правом берегу. Пак советовал ждать здесь парохода и сразу повернул домой. Сергей с ненавистью смотрел, как прыгает на волнах лодка, как тяжело ворочает весла Пак, толкая лодку против течения.

Потом он поссорился со своими спутниками. Кулацкие сынки! Им было наплевать и на стройку, и на комсомол, и на угрызения совести, томившие Сергея.

Он два дня ничего не ел. Можно было зайти в любой дом и попросить хлеба, но ему было стыдно.

На третий день он сел на проходивший пароход. Пароход шел в Николаевск. Сергею надо было в Хабаровск. Но не все ли равно!

Увидев его корзинку и бутсы, какой-то пассажир спросил:

— Из экспедиции?

Сергей неопределенно кивнул.

— Я уж знаю, — сказал пассажир, — нынче летом две экспедиции видел, и все в бутсах.

Пассажир был из местных жителей. Он хвастливо рассказал, что прошлый год работал в тайге с геологами— искали нефть. Нефти не нашли, но многие признаки указывают, что нефть должна быть.

Пароход остановился у большого села. Над крышей деревенского домика качалась на ветру полосатая сигнальная колбаса. У берега отдыхал, распластав крылья, серебристый гидросамолет.

Сергей вступил в беседу с механиком.

Потом подошел летчик — подтянутый, синеглазый, самоуверенный. Сергей смотрел с восхищением и на летчика, и на механика, и на серебристую легкую машину.

— Куда летите? — спросил Сергей.

— На Камчатку, — будничным тоном сообщил механик. — Почта и два пассажира.

Сергей не мог оторваться от самолета.

— Нравится? — спросил летчик, и синие глаза его с доброй насмешкой остановились на лице Сергея. —

Что ж, парень, дело доступное. Поступай в школу. Учись. Будем не то что на Камчатку — на полюс летать.

И он, подмигнув Сергею, пошел по узкому мостику в машину. Сергей смотрел, как закрутился пропеллер, как пробежала по волнам и пошла вверх послушная машина, как исчезла в небе серебряная точка.

Кто примет его в летную школу?

Дезертир...

В Николаевске он встретил Касимова.

Они столкнулись лицом к лицу. Касимов сразу узнал его.

— Ты как попал сюда? — растерянно озираясь, спросил Сергей.

— Сети покупаю. Рыбу для вас ловить. А ты как попал сюда?

Сергей наспех придумал предлог — покупку физкультурных принадлежностей. Касимов посмеялся: «Кто это придумал? Откуда здесь физкультурные принадлежности?» Он увлек Сергея с собой получать сети.

Когда они уселись на громоздких свертках, Касимов сказал:

— Знаешь, парень... У нас в партизанском отряде был такой партизан, Гордеев фамилия. В зиму тяжело было. Жрать нечего, обуть нечего. Болели. Патронов не хватало. Кругом японцы. И вот Гордеев не выдержал. Удрал. Встретил я его три года назад. Смотрю я на него—а он в глаза не глядит. Стыдно.

Сергей слушал, весь похолодев.

— Так что, парень, поразмысли.

Позднее Касимов спросил:

— Так вместе вернемся или как?

Сергей сказал — вместе. Но когда ночью представил себе возвращение в лагерь, встречу с Кругловым, презрительный взгляд Тони, — вскочил и побрел в темноту куда глаза глядят, за город, от людей...

Под утро он наткнулся на рыбачью хижину. Хозяин рыбачил в море, женщина без расспросов впустила Сергея и накормила жареной рыбой.

Он сидел с женщиной у моря и вместе с нею волновался,—начинался шторм, огромные волны наваливались на берег и со скрежетом откатывались обратно, волоча за собою песок и гальку.

Когда хозяин вернулся, Сергей помог выгрузить рыбу и научился чистить ее и развешивать на вешалах.

Под вечер второго дня, когда шторм разбушевался

в полную силу, Сергей заметил на волнах черную точку. Он позвал хозяина. Рыбак поглядел, сказал:

— Кавасаки.

— Однако надо согреть уху, — сказала женщина. — Поди, промерз.

Сергей понял, что рыбачка заранее заботится о неизвестном «кавасаки». Сергей смотрел на волны: они были размашисты, свирепы, могучи — как пристать к берегу при такой волне?

Он так и не понял, как пристал неизвестный с загадочным именем «кавасаки». Сергей успел увидеть повернутую боком лодку, а затем лодка оказалась на боку в песке, и из лодки выскочил белокурый парень в брезентовой робе, в плаще, с мокрым, утомленным, но смеющимся лицом.

В тот же вечер Сергей узнал, что лодка—это моторный рыболовный баркас, по-местному — «кавасаки», что парень — моторист рыбного промысла на Сахалине, что его два дня трепало штормом, что он уже боялся за «Красавицу». «Красавицей» он называл свой кавасаки — лучшее моторное судно промысла.

— Мы с нею кругом премированные! — похвастал парень, жадно глотая горячую уху.

Моторист ночевал вместе с Сергеем на сеновале.

— Охотник? — спросил моторист.

— Нет.

— Вербованный?

— Нет.

— А кто?

Сергей объяснил: работал с экспедицией в тайге, искали нефть, не нашли. Теперь хочет попасть в Хабаровск, а еще лучше во Владивосток, на железную дорогу.

— Чепуха! — сказал моторист.

— Что?

— Зачем тебе во Владивосток? С жильем худо, интересного — ничего.

— А ты был там?

— Где я не был! — сказал парень. — Поезжай на Сахалин. Нефть хочешь? Пожалуйста! Уголь? Рыбу? Что хочешь, то и найдешь. Слесарное дело знаешь? Тогда в Александровске устроишься, в порту, в мастерских. Ты не радист? Там в аэропорт нужен. Машину водить умеешь? С руками оторвут! В совхозе...

— Я машинист, паровозник, — гордо сказал Сергей.

— Это что! — равнодушно отмахнулся моторист. —

Конечно, на Сахалине и по этой специальности можно работать. Оха — Москальво. А ты на море не работал?

— Нет.

— Самая красота! Второй год работаю, вот на этих, на кавасаки. Красота! Так поедем?

Сергей мялся.

— Опять же из Александровска пароходы чаще, здесь — гроб.

На второй день моторист вывел в море «Красавицу». Море еще бурлило, но ветер утих. Волны подхватили кавасаки, мягко подкинули, опустили — и пошла непрерывная, веселая, нестрашная игра.

Сергей сидел на корме, прижимая к себе корзинку. Берег быстро исчез в синеватом мареве, кругом были только волны, широкие и плавные, ритмично качавшие бот. Моторист стоял у штурвала и пел во весь голос, подчиняясь ритму водяных качелей:

Бе-лые, бле-дные, не-жно души-стые,
Э-ти цветы от-цвели...

Сергея укачало. Как-то тяжело и неспокойно чувствовался собственный желудок. Сергей лег на свернутые сети и уснул. Его разбудил легкий толчок. Качки уже не было, кавасаки лежал на боку на мокром песке.

Смеркалось.

С пригорка, из поселка, бежали люди. Люди окружили моториста, спрашивали:

— Ну как?

Понятно было, что о нем беспокоились. Но никаких рассказов не последовало.

— Занесло на материк, — сказал моторист и снова полез в кавасаки.

Сергей не знал, что делать, как представиться. Его молча разглядывали.

— А это гостя привез,—сказал моротист и спросил:— Доронин здесь?

— В город пошел.

— А!

Люди стали расходиться.

Прибежала женщина в торопливо накинутом на плечах платке, с румяными губами, с заметно выдающимся животом. Они с мотористом обнялись, оглянувшись на поселок.

— Возьми этого парня, — сказал моторист. — В гости к нам. Обед есть?

Женщина оказалась словоохотливой. Она рассказала, что Колька — это ее теперешний муж, он ее отбил пять месяцев назад у милиционера. Милиционер грозился убить, но это одни слова. Сегодня на промысле тишина — в море не ходили, но к утру пойдут. Дом у них лучший в поселке, для ударников. Нет клопов. В холостых бараках везде клопы, а Колька брезгливый.

Сергей долго не мог уснуть. Растянувшись на полу на жидком тюфячке, он прислушивался к близкому шуму прибоя и томился тревогой. Жизнь кидала его из стороны в сторону. Вот занесло на Сахалин. Раньше здесь была каторга. «Кругом вода—в середине беда», «Кругом море — в середине горе», — так говорил Тарас Ильич. Но партизаны бились и умирали за Николаевск, за Сахалин. Что хочешь, то найдешь, говорит моторист.

Совсем близко, за стеной, шумели волны, набегая на песок. Сергей заслушался и заснул. Его разбудили громкие голоса. По косому, розоватому солнечному лучу, уткнувшемуся в стену, Сергей понял, что еще рано. На кровати лежала Нюша — жена моториста, самого Кольки уже не было. Высокий рябоватый мужчина стоял над Сергеем и говорил повышенно громко, подкрепляя слова взмахами руки:

— Вечное самоуправство! Кто ему велел, кто разрешил, когда Лукошин третью очередь пропускает? Когда Пантелея очередь? Я ему сказал и тебе говорю: за деньгами гоняться — платить перестану. У меня, знаешь? У меня забота о человеке! Я не могу допускать черт те што.

— А-а, проснулся! — закричал мужчина и сел около Сергея на стул. — Ты что же, совсем к нам? Или в гости? Комсомолец, говорит Нюша, — верно?

Откуда взяла Нюша, что он комсомолец? Сергей не стал отпираться и нехотя ответил, что он здесь проездом.

— А вы кто?

— Я Доронин, — сказал мужчина и повернулся спиной к кровати, чтобы Нюша могла одеваться. — Я здесь партия, комсомол и советская власть. Потому что, видишь ли, у меня полтора коммуниста — я да еще кандидат один, из рыбаков. Комсомольца два, и оба щенки еще, неученые, без году неделя. До города двенадцать верст, а вроде как Москва — туда да назад, ведь это двадцать четыре? Двадцать четыре! Варимся в своем соку. А дело, знаешь, какое? Бо-о-гатое дело! Я написал в центр докладную записку: надо строить консервный завод. Я тебе покажу, записка — во! Мертвого убедит!

Ты вставай, пойдем на промысел, сейчас кунгасы пришли, рыбу отцепляют. Посмотришь.

Нюша повязала голову платком, накинула широкий клеенчатый фартук и убежала.

Сергей встал, удивляясь любезной настойчивости Доронина.

— Чаю у меня попьем, — сказал Доронин. — Ты знаешь, для меня каждый человек — золото! Я людей берегу. Вот Колька в море пошел, я ему выговор дам, очередь не его, зачем лезет? Я каждого человека берегу. Колька, знаешь, уходить хотел. С Нюшкой спутался — муж, дурак, в амбицию. Нюшка ревет. Дело семейное, а мне лучшего моториста терять? Взял Нюшку за руку, свел к Николаю — живи! А милиционеру лекцию: свобода личности и самоопределения. Разлюбила — сам виноват. Ищи другую, а Нюшка тю-тю! И беру ее под охрану закона.

Широкий песчаный берег был покрыт темными квадратами разложенных для сушки сетей. Несколько кунгасов лежало на боку, указывая на поселок склоненными мачтами. В поселке было домов двенадцать. Неподалеку, на склоне горы, лепились домишки деревенского типа.

— Корейский колхоз, — сказал Доронин. — Мой младший сын. Они ловят и мне сдают. Сходишь к ним, посмотришь. Чисто живут! У меня там три невесты растут для моих хлопцев. Воспитываю, слежу. Женский вопрос — это знаешь что? ОСУ! ОСУ — особые сахалинские условия. Так у нас говорят.

Они пришли на пристань. Им навстречу неслись вагонетки с мокрой, еще трепещущей рыбой. На кунгасах, вернувшись с лова, работали женщины. Тут же была и Нюша. Они быстро и бережно отцепляли рыбу, запутавшуюся в сетях.

— Отцепщицы, — пояснил Доронин Сергею. — Мой ударный батальон! Самые лучшие отцепляют за восемь часов до пяти центнеров. Дело тонкое, женское. Рыба у нас нежная. Солить надо сразу. Проволынишься — получается второй сорт. А отцеплять надо по одной, не попортить, не порвать. Вот я тебе покажу.

Доронин подсел к отцепщицам и сам удивительно ловкими, нежными движениями отцепил несколько десятков рыбок.

— Видишь, — сказал он хвастливо, вытирая руки о штаны. — Я вот умею — старый рыбак! А посади другого — всю рыбу перепортит.

Под ногами скрипела соль, рассыпанная по пристани.

Сергей шагал за Дорониным, мучаясь голодом и удивляясь, зачем понадобилось водить его по всему промыслу.

Засолочный цех начинался сразу за пристанью. В большом темноватом сарае были врыты в землю огромные чаны. Остро пахло рыбой. Под ногами угадывалась соль — каждый шаг отдавался скрежетом. Около одного из чанов копошились люди.

— Вот оно — наше богатство! — воскликнул Доронин. — Сельдь, иваси, корюшка. Деликатная рыба, уход любит. Одна беда — не справляемся. Укладка, отгрузка, тара — вот что нас губит. Казалось бы, тара — пустяк, а самый больной вопрос! Теперь бондарную организовал — полегчало.

Двое рабочих черпаками выбирали из чана засоленную рыбу. Жирные и нежные сельди поблескивали мокрыми боками, усыпанными солью. Сверкающей струей выливались они из черпаков в вагонетку.

— Вот посмотри, — сказал Доронин, перехватывая на лету рыбу. — Сорт определяется по чистоте глаз. Если глаза и жабры начали ржаветь — уже второй сорт.

И он сердито отбросил рыбу, — глаза ее подернулись рыжим налетом.

Доронин потянул Сергея в бондарную мастерскую. Совершенно пьяный бондарь возился над бочкой, весело и деловито ругаясь во весь голос.

— Опять? — строго спросил Доронин и пощелкал готовые бочки.

— Иннокентий Павлович! — жалобно вскричал пьяный бондарь и усиленно застучал молотком. — Я же работаю! — добавил он, исподтишка поглядывая на Доронина.

— Еще бы ты не работал, — бросил Доронин и пощелкал новую бочку. Звук, видимо, удовлетворил его, и он сказал мягче: — В последний раз говорю тебе, Семен: или ты не пьешь, или все наше условие к черту!

Когда они вышли, Доронин объяснил:

— У него сын в тюрьме. За хулиганство. Скоро на выписку. Я обещал сделать из него человека. У меня таких трое. Один — золотой парень стал. Нынче патефоном премировал. Другого женил, в колхоз отдал. Парень благодарен, всегда подсобляет. Весь колхоз приучил к глубинному лову.

Сергей не знал, что такое глубинный лов, но Доронин сам объяснил:

— С глубинным ловом я намучился. Местные рыба-

ки ловят у берега. Это старый способ. В открытом море улов куда больше. Навез я сюда астраханцев, рыбников. В отпуске был — сам вербовать ездил, весь отпуск провел. Сам и привез, чтобы не отбили дорогой. Рыбаки опытные, а к нашему Татарину[1] не привыкли, страшно. Шторма здесь крутые, ветер переменчивый. Глубинный лов на энтузиазме вводил, на подначке. Кольку я оттого и ценю — первым пошел. Отчаянный парень! И Евдокимов пошел. Золотые ребята!

Они пришли к чистенькому домику с аккуратными железками у порога. Доронин заставил Сергея обчистить сапоги и ввел его в комнату, разукрашенную флажками и елками.

Человек тридцать ребятишек ползали и ходили в большой загородке посреди комнаты.

— Манеж! — гордо объявил Доронин и провел рукой по белым крашеным поручням. — Ходить приучаются, и носы целы. Я такой в Москве увидел. Приехал, сам сделал. И кубики сделал. Вот кукол мне женщины сшили. Нюшку и еще одну снял с работы, посадил в конторе, тряпки дал, срок поставил: в три дня чтобы были куклы! А ты столярное дело знаешь?

— Нет...

Доронин потребовал меню, и Сергей мог убедиться, что дети промысла едят манную кашу, компот, суп со свининой и рыбные котлеты.

— Свиней завел, коров — шесть штук. Сам вез их с материка пароходом. В шторм попали, коровы мычат, свиньи ревут — жуть. Сердце за них болело. Высадили их в Александровске — похудели, бедняги, не жрут, не мычат. Я испугался, ищу ветеринара — нету. Пришлось такого доктора привести, прямо силой приволок. Не понимает, пугается. Скажу тебе по секрету, я им валерьянки дал — каждой твари по пузырьку. Вы́ходил. Пригнал сюда. Поправились. Вот ты увидишь.

Сергею пришлось пойти и в коровник и в свинарник. Потом Доронин повел его в клуб. Это был небольшой барак, украшенный внутри портретами в рамах и бумажными гирляндами.

— Здóрово? — страшно довольный, крикнул Доронин. — Приехал бы месяц назад, ничего не было! Вечером деваться некуда. После получки повальная пьянка. И осудить нельзя — ну ведь некуда податься! Сам с го-

[1] Татарскому проливу.

ря, бывало, запрусь на замок снаружи, в окно влезу, занавески спущу и напиваюсь, как сукин сын. Мне иначе нельзя — авторитет. А теперь, видишь, какой клуб завернули? Патефон, сорок две пластинки, книг целый шкаф!.. Доклады сам делаю, из города три раза докладчиков возил. Вот еще кино нужно. Я уже написал, просил. Ты с кино возиться умеешь?

— Нет.

Сергей все сильнее чувствовал голод. Болтливость Доронина раздражала его. Но было еще что-то, томившее его сильнее голода, — была ли то зависть к этому неутомимому работнику или сожаление, что ему самому нечем похвастаться, нечего рассказать?

Доронин направился было снова на промысел, но тут увидел истомленное лицо Сергея и хлопнул себя по лбу:

— Старый чурбан! Я же тебя голодом заморил! А ты что молчишь? На меня смотреть нечего, я и до вечера могу не евши, у меня привычка.

В комнате Доронина было тесно от нагроможденных повсюду ящиков, инструментов и всякой хозяйственной мелочи. Под окном стоял ветхий токарный станок. В углу сиротливо притулилась гитара.

— Что делать, ценное у себя храню, девать некуда, — сказал Доронин, торопливо убирая наиболее заграждающие путь предметы. — Это временно. У меня ведь женка есть. Хорошая женка. И ребят двое. Женку я послал во Владивосток, в рыбный техникум. Через два года окончит — ребятишек с бабушкой выпишу. Заживем!

Пока Доронин хлопотал по хозяйству, Сергей взял гитару и заиграл самую грустную мелодию, которую знал.

— Хорошо играешь! — вскричал Доронин, с восторгом глядя на умелые пальцы Сергея, перебирающие струны. — Я купил гитару, мандолину, три балалайки, надо бы оркестр, да учить некому. Роздал балалайки, говорю — учитесь. А сам не умею. Самоучитель выписал — три месяца прошло, не шлют. А деньги послал, все как надо.

Сергей не ждал ничего хорошего от холостяцкого хозяйства Доронина и был приятно обманут: Доронин поставил на стол селедку, жареную рыбу, свинину, студень, картофельный салат с огурцами, водку, галеты. Он придвигал Сергею то одну тарелку, то другую, подливал водку, чокался:

— За расцвет Сахалина и его строителей... За дорогого гостя!

Сергей не понимал, чего ради его обхаживает Доронин. Он чувствовал себя самозванцем на чужом пиру. Но Доронин скоро открыл карты. Когда Сергей развалился на стуле, разомлев от еды и водки, Доронин наконец заговорил:

— Слушай, парень. Ты сейчас на перепутье — так? Во Владивостоке тебе делать нечего. Ты комсомолец, организатор, у тебя есть способности, я вижу. Ты оставайся здесь, вот что я тебе скажу! Назначу тебя завклубом и руководителем струнного оркестра. Жить будешь со мной. Не хочешь — даю тебе комнату возле Николая, без клопов. Нюшка тебя кормить будет, белье стирать. Захочешь, дам тебе и бондарную мастерскую, по совместительству. Тысячу в месяц заработаешь. Через год учиться пошлю в техникум. А через два наверняка пошлю: женка приедет — ты поедешь. Захочешь — в отпуск отпущу на материк. По рукам?

Сергей сидел весь красный. Надо было сейчас же, немедленно признаться, что он уже не комсомолец, что он дезертир... Доронину можно сказать, он поймет, он все равно возьмет его, простит, уладит...

— Да ведь я не играю, какой я руководитель струнного оркестра! — хрипло сказал он.

— Вздор! Чепуха! — закричал Доронин, весь сияя. — Подучишься, самоучитель придет — теорию подучишь. Я ведь совсем не знаю. Ты по слуху, по слуху! У тебя руки золотые, я ж вижу!

— Да я и клубом никогда не занимался...

— Вздор! Сумеешь! По глазам вижу — сумеешь! А не хочешь— назначаю тебя своим заместителем. Работа — о-го-го! Одно жилстроительство на зиму — восемь домов, новый коровник, новый засолочный цех, бондарную расширять, клуб надстраивать, ясли расширять. Соглашайся, парень. Заживем — не нарадуешься!

— Да почему я? Вы же меня не знаете!

— Вздор, голуба! Я людей носом чую. Ты Сахалин не знаешь. На материке человек серебро, а на Сахалине — золото. Я за человека душу продам. Кольку я женил. Панферова в люди вывел. Скворцова женил, в колхозе три невесты растут — ого! Я каждого человека на учете держу. Милиционер на меня за Нюшку обижается — так то милиционер, его Александровск держит, пускай сами заботятся. А своих людей я как нянька обхаживаю.

Сергей томился. Еще не поздно признаться. И сказать, что он раскаивается, что ему стыдно, что он хочет рабо-

тать вот так, как Доронин, от души... Доронин поймет.

— Ты, может, думаешь — наш промысел мелочь? Думаешь, социализм — это не рыба, а машины, нефть, уголь, гиганты? Нет, голуба, ты ошибаешься! Социализм — это богатство страны, а рыба у нас — знаешь, какое богатство? Только вычерпывай, только поспевай! Завод будем строить!

Сергей все молчал. Он взвешивал: тысяча в месяц, хорошая кормежка, заботы Доронина, комната, отпуск. Из отпуска можно и не вернуться... Нет, уж если соглашаться, то до конца. Честно. По-комсомольски... Но ведь не комсомолец он, ведь и билет его, возможно, объявлен недействительным.

— Согласен? — напирал Доронин, снова придвигая Сергею свинину и салат. — Ты ешь, ешь!..

— Подумать надо, — сказал Сергей. — Дело неплохое. Но у меня старики дома... Я подумаю...

Он ушел от Доронина в полном смятении. Он так и не признался ни в чем, а теперь поздно. Он боялся новых уговоров. Но и Доронин и Колька с Нюшкой, видимо, были в заговоре и, ни о чем не спрашивая, постепенно втягивали Сергея в круг интересов промысла. И получилось, что дело — решенное. Сергей — свой человек, и возвращаться к старой теме нечего.

Наутро третьего дня Колька привел с моря целый караван переполненных рыбой кунгасов. Убирать богатый улов вышли все работники промысла.

Увлеченный общим порывом, Сергей десять часов подряд работал на пристани, нагружая и разводя вагонетки с рыбой. В эти часы трудового азарта он знал, что остается на промысле и все люди ему интересны, как будущие товарищи.

К ночи он свалился на постель, измученный и счастливый. Его окружали простые, дружелюбные, славные люди. Конец скитаниям, конец тревогам, — он остается. Сон уже надвигался, приятно спутывая мысли. Возможно, что Сергей даже задремал... и вдруг подскочил, как от толчка. Дезертир! Стоит сказать им всем, кто он такой, и от него отвернутся, как от зачумленного!

Промучившись ночь, он выскользнул из дома на рассвете, готовый бежать куда глаза глядят, лишь бы уйти от позора, от разоблачения, от презрения Доронина, Кольки, Нюши — всех этих честных, дружелюбных людей.

И натолкнулся прямо на Доронина.

— А я за тобой! — воскликнул Доронин и обнял Сергея от полноты чувств: после вчерашней работы Сергея никто не сомневался, что он остается. — Тут машина пришла из города. Я тебе бумажку написал, поедешь в обком комсомола, станешь на учет. Учетная карточка у тебя с собой?

— Да нет, в том-то и дело.

— Пустяки, вздор! Объяснишь ребятам — оформят, карточку затребуют, не в первый раз. Скажи — от Доронина. Шофер — комсомолец, он тебя проводит. Я ему объяснил. А следующим отливом обратно приедешь, он тебя на грузовик устроит; все договорено.

В эту минуту Сергей хотел только одного — уехать, уехать как можно скорее. Остается корзинка — черт с ней!

Поодаль от пристани, на песке, стояла потрепанная полутонка. Сергей пошел к ней, переступая через канаты, обходя разложенные по песку сети. Запах рыбы и моря окутывал их. Неожиданно родным показался Сергею машинный, бензинный запах автомобиля.

Совсем молодой шофер возился у машины.

Доронин подробно повторил, что делать с Сергеем.

— Ладно, — сказал парень, — поехали.

Машина развернулась и покатила полным ходом по широкой полосе мокрого, утрамбованного морем песка. Шины беззвучно скользили. В двух шагах билось море, с другой стороны поднимались крутые обрывистые склоны сопок.

— Асфальт? — спросил шофер, подмигивая. — То-то! Это наши асфальтовые шоссе. На них только и отводишь душу. А чуть от берега в сторону — мама родная! Ухаб на ухабе, замаешься!

— А если прилив? — заинтересовался Сергей.

— А прилив — спасайся, кто может! Я один раз чуть не влип. Мотор заело. Вожусь час, вожусь два, а вода все прет, прет! В последнюю минуту справился и полетел на третьей скорости. В первый распадок заскочил — отдышался. Берег-то, видишь, какой, деваться некуда. Просидел в щели шесть часов, всех святых помянул! Тоска!

— Значит, надо по морю следить, когда ехать!

Шофер презрительно покосился на Сергея.

— Ну да, еще следить! У нас расписание.

И он показал Сергею типографски отпечатанное расписание приливов и отливов.

Шофер оказался хорошим парнем и вовсе не уговаривал Сергея оставаться на промысле.

— Ты что, астраханский? На кой черт тебе рыба? — сказал он. — Ты Доронина не слушай, он шальной, он те зубы заговорит — лучше не надо. Я сам краденый, так знаю, что такое на Сахалине специалист.

— Краденый?

— Ага!

И он не объяснил, а загадочно улыбнулся, наслаждаясь удивлением Сергея.

Потом рассказал:

— Привез я сюда четыре машины. Наладил, объездил, сдаю по акту. Дело было осенью, последний пароход вот-вот придет, надо сматываться. Иду к начальнику автобазы: так и так, принимай, подписывай, мне некогда. Он подумал, говорит: ладно, завтра. А назавтра — бац! — на двух машинах свечи покрадены. Я — туда, сюда. Начальник ведет меня к себе, запирает на ключ :«Сажаю под домашний арест, пока идет следствие». Я кричу, требую прокурора. Пароход уходит. А начальник ставит закуски, водку, жена заводит патефон. А он говорит: «Так и так, Валя, вот твои свечи, а я тебя украл, потому что у меня нет механика, а без механика все одно не жизнь. И ты, парень, не обижайся, сам знаешь — ОСУ! Притом же судиться тебе смысла нет — все равно раньше весны не выберешься». Выпили мы с ним, подружились. Второй год работаю. Две премии. На книжке шесть тысяч лежит. ОСУ!

Сергей признался, что хочет уехать, и спросил, часто ли ходят пароходы.

— И дурак будешь! — сказал шофер, не отвечая на вопрос. — На промысел не возвращайся, а уезжать незачем. Попал — и пользуйся случаем. Ты разве знаешь, что такое Сахалин? Ты слышал — каторга, каторга. Была — да нету. Ты думаешь, зря японцы за него цеплялись? Сахалин — это сокровище. Остров сокровищ, вот он что!

Краденый шофер говорил с жаром.

— Я вижу, ты патриот, — сказал Сергей, пытаясь улыбнуться.

— Э-э! Посмотрю я на тебя через год, чем ты будешь! У нас все патриоты. ОСУ! Или удирай, или люби. Умный человек любит, идиоты — бегут.

7

Больницей назывался бревенчатый, наскоро сколоченный барак, разделенный на шесть палат и коридор. Его заполнили больными еще в процессе стройки, а потом все

некогда было, и больница осталась без печей. Летом о печах не думали, да и не было кирпича. Осенью оказалось, что печи не включены в планы работ, да и кирпич только начал поступать с недостроенного кирпичного завода.

Тоня была слишком встревожена состоянием Семы Альтшулера, чтобы думать о чем-либо другом. Сема был безнадежно плох. Врач тяжело вздыхал, выходя от него, и не скрывал от Тони своих опасений.

Однажды Тоня выбежала за врачом и спросила, замирая.

— Есть ли надежда?

— Какая надежда? — раздраженно крикнул врач. — Какая надежда может быть в таких условиях? Разве здесь можно лечить? Все замерзнут, печей нет и не будет, все плюют на больницу. Мы можем подыхать, как суслики, — вот как!

В тот же день Тоня побежала в комсомольский комитет. И впервые заметила, что листья уже облетают, что даже на солнце ощутителен веющий осенний холодок.

— Больные замерзают! — крикнула она, врываясь в комитет. — Если немедленно не будет печников, я снимаю ответственность... Ну, я не знаю, Андрюша, это черт знает что, печи нужны немедленно, понимаешь?!

Круглов сам побежал хлопотать о печах. Решили мобилизовать комсомольцев и сделать печи сверх плана, но трудность заключалась в том, что комсомольцев-печников не было, а беспартийный печник упирался, — он и так работал сверхурочно на строительстве нового здания конторы.

Когда Тоня рассказала Семе про положение дел, Сема даже рассердился:

— Отчего ты не спросила меня? Или я уже ни на что не годен? Беги сейчас же, зови Геньку и Вальку, пусть везут кирпич, пусть готовят раствор, я сам буду руководить работой.

— Да ты разве печник?

— Что значит «печник»? У меня есть голова, она коечто понимает в технике! И если надо, чтобы печь топилась и тянула, она будет топиться и тянуть.

— Брось, Сема, ты же болен... придет печник...

— Я просто удивляюсь, Тоня, зачем говорить глупости. Какой печник, кто пойдет, когда нет наряда, когда его разрывают на части? Будут волынить целый месяц! И потом, что же, я должен лежать и умирать без пользы, когда я могу делать дело? Иди, я тебе говорю, иди и зови

ребят, только пусть поторопятся, понимаешь... Мало ли что, а я уже не хочу помереть, не доделав эти печи, — это вопрос самолюбия... Пусть назовут больницу моим именем... Именем Альтшулера — почему бы нет?

Сема так волновался, что Тоня подчинилась и снова побежала в комитет. Круглов сообщил грустную новость: нет кирпича.

Морозов ходил к Гранатову и добился у него обещания дать кирпич через неделю-полторы. Вчера привезли немного кирпича для нового здания конторы, но он уже получен прорабом Михалевым.

Тоня побежала к Михалеву.

— Да вы рехнулись! — закричал на нее Михалев. — Я месяц дожидался этого кирпича, у меня план, у меня сроки! И какое там заимообразно? Кто вам поверит? Кто вы такая? Я не дурак, и просить бесполезно, прощайте.

— Вы не дурак, — крикнула Тоня, — но вы бюрократ и черствая душа!

Выбегая, она чуть не сбила с ног входившего Епифанова. Захлебываясь от возмущения, Тоня рассказала ему про печи, про Сему, про бюрократизм прораба.

Епифанов крепко выругался, тотчас же извинился перед Тоней и, поразмыслив, сказал таинственным шепотом:

— А мы наплевали. Выход найден. С Епифановым не пропадешь. Подбери человек пятнадцать абсолютно верных ребят — ясно тебе? Таких, которые не струсят. И я подберу. И пусть соберутся после ужина за столовкой, на пустыре. Кирпич будет.

Вечером на пустыре собрались человек тридцать. Среди них были Гриша Исаков и Валька Бессонов — они только недавно вылечились от слепоты, и вечером их прямо распирала жажда деятельности. Остальные тоже были не прочь проявить себя. Таинственное начало сулило что-то интересное.

Командовал Епифанов.

— Ребята! — сказал он, оглядываясь. — Среди нас предателей нет?

— Ты спятил! — за всех откликнулся Валька.

— Добре! — сказал Епифанов. — Предстоит большое дело. Надо спасать больных, в больнице нет печей. Ясно? Для печей нужен кирпич. Михалев кирпича не дает. Кирпич лежит возле конторы. Ясно?

Очевидно, все было ясно. Никто не возражал, но на всех лицах отразилось удовольствие.

— Я человек военный, — продолжал Епифанов. —

Командую я. Дисциплина и порядок нужны строжайшие. Мои распоряжения должны выполняться бес-пре-ко-словно. Ясно?

— Давай к делу, ясно.

— Так вот. Сейчас все расходятся. Гуртом не ходить — засыплемся. Лошади нет, и лошадь не нужна — с лошадью засыплемся в два счета. Прикрытие — темнота. Ясно? Каждый тихонько подходит к конторе (Епифанов даже изобразил, как надо крадучись подходить и брать кирпич), осторожно берет несколько кирпичей, сколько сможет унести, и стороной, никому не попадаясь, несет кирпичи к больнице. Тоня организует приемку кирпича. Абсолютная тайна. Ясно? Если встретите Круглова или кого другого из комитета — молчать. Дело сделать нужно, но это все-таки воровство, и комитет должен быть ни при чем.

— А я — член комитета, я-то как же? — раздался отчаянный выкрик Кати Ставровой.

Валька Бессонов мигом смастерил из газеты полумаску, скрыл под нею лицо и безмятежно заявил:

— А я и не Бессонов вовсе. Я неизвестный в полумаске. Пришел, сделал дело и скрылся.

Епифанов почесал затылок и нашел выход:

— Ну что же, вы оба ничего не знаете. Вам сказали таскать кирпичи — вы и таскали. Вот и все. Кстати, и каждый из вас, если попадетесь, ответ один: не знал, не ведал. Позвали — и пошел. Отвечаю один я!

Комсомольцы запротестовали: отвечать, так всем.

— Слушаться бес-пре-ко-словно, — повышая голос, напомнил Епифанов. — А ну, расходитесь! Каждому придется сделать несколько рейсов. Много не набирать — надорветесь. Всем ясно? Пошли.

И началась работа, самая веселая из всех работ, какие только приходилось выполнять на стройке. Каждый проявил инициативу: Генька раздобыл мешок и таскал в мешке штук по двадцать, другие приспособили пояса, веревки, даже одеяла. Клава носила всего по четыре кирпича, но зато обратно бежала, чтобы выгадать время.

Епифанов таскал кирпичи наравне со всеми, но ему доставалось больше всех, — он олицетворял командование, рационализацию и охрану труда. Он бегал туда и назад, по пути высматривая, нет ли опасности. Он следил, чтобы ребята не надорвались, так как все старались нагрузиться до предела. Особенное беспокойство внушали

ему девушки, а больше всех — Соня. Он попытался отправить ее домой, но Соня обиделась до слез:

— Что я, домашняя хозяйка, дома сидеть? Оставьте меня в покое, а то я пойду и все расскажу...

С нее взяли слово таскать не больше трех кирпичей зараз, но Епифанов видел, что она берет и по пять и по шесть.

К концу работы возникло непредвиденное затруднение. Кирпичей было принесено достаточно, в больнице уже началась укладка первой печи, а ребята ни за что не соглашались прекратить работу.

— Ты не понимаешь, — со слезами в голосе кричала Катя Ставрова, — если мы так оставим, все сразу поймут, что кирпич покрали! А так — будет пусто, нету и не было, иди доказывай, что кирпич был.

— Да ведь довольно уже!

— Ничего не известно, — многозначительно заметил Генька Калюжный. — Сема знаешь какие печи спроектировал? Голландские, экономичные, двухтяговые печи. На них пропасть кирпича идет.

— Двухтяговые? — задумчиво повторил Епифанов и вдруг скомандовал: — А ну, валяйте, черт с вами, воровать, так уж дочиста!

И вынесли все дочиста.

С последними четырьмя притащилась Соня. Она сбросила — почти уронила — кирпичи на землю и села рядом, бессильно свесив руки.

Епифанов кинулся к ней:

— Ты что, Сонюшка?

Соня подняла потное счастливое лицо.

— Здóрово! — сказала она восторженно. — Ну пусто и пусто, как будто и не было. Мы с Клавой еще подмели и листьев накидали...

А в больнице поднялась суматоха. Больных выносили в коридор, топчаны ставили подряд, вплотную, не оставляя прохода, — иначе не помещались. Если кто-либо из больных просил что-нибудь, ему говорили:

— Потерпи, браток, видишь, аврал какой. Для вас же стараемся.

В тазах и ведрах месили раствор.

То и дело раздавался крик:

— А ну, тащите сюда инженера!

И Сему носили из комнаты в комнату.

Прибежал врач, заспанный и взволнованный. Он не узнавал своей больницы и своих больных. Везде хозяй-

ничали перемазанные, веселые и совершенно незнакомые молодые люди.

— Это самоуправство! Я не позволю!.. — наскочив на Епифанова, начал врач. И смолк. Епифанов побагровел, схватил его за отвороты пиджака и сказал тоном, не допускающим возражений:

— Вы человек сознательный. Печи нужны вам, а не мне. Кирпич краденый. Утром за ним прибегут. Значит, к утру все печи должны быть готовы. Ясно? Командую сейчас я, и только я.

— Но позвольте... как же так — краденый? Ведь меня тоже спросят...

— Пожалуйста, пусть спрашивают, — вежливо сказал Епифанов. — А вы возьмите ваши очки, протрите их и спросите интеллигентным голосом: «Какие печи? Печи здесь всегда стояли, ничего не знаю, я принял больницу с печами, можете посмотреть акт...»

Больные хохотали вокруг, как здоровые. Врач машинально снял пенсне, протер стекла и пожал плечами:

— Но какой же акт? Никакого акта не было!

— А вы скажите — акт. Это производит впечатление. Да и потом — какое вам дело? Раз печи поставлены, никто их ломать не позволит.

— Но будет скандал!

— А вы скажите, что обнаружен случай холеры, или черной оспы, или чума бубонная... Смоются в два счета, только их и видали...

Врач ежился и смеялся. Он возмущался и радовался одновременно.

— Доктора! Доктора! — выглянув из крайней палаты, закричала Тоня.

И по ее лицу все поняли, что случилось серьезное несчастье.

Сема Альтшулер задыхался, кашлял и выкрикивал бессвязные, полубредовые распоряжения, воображая, что все еще руководит работами. Тоня держала его за руки и умоляла успокоиться.

— Ваша авантюра может стоить ему жизни, — сказал врач присмиревшим комсомольцам и открыл приемную, чтобы перенести туда больного.

Работа продолжалась, но всех охватила растерянность. Никто не знал, что делать. Валька Бессонов наладил кое-какую работу, но довести до конца установку печей не мог. Епифанов метался из палаты в палату.

— Приналягте, братки... Хоть как-нибудь, ребятки,

братoчки, хоть для вида... — бормотал он, чувствуя свое полное бессилие, — он даже не видел никогда, как ставятся печи... И ему было ясно, что блестяще начатое дело должно бесславно и глупо провалиться.

Но дело не провалилось.

Никто не заметил исчезновения Клавы, а в полночь она вдруг влетела в больницу, ведя за собой здоровенного мужчину с красными, заспанными глазами и помятым лицом. Это был печник. Клава разбудила его, упросила и привела за руку с таким видом, словно это был ее трофей.

— А он не выдаст? — спросил Епифанов, недоверчиво оглядывая печника.

— Не знаю... я уже говорила ему... Ты поговори сам...

Епифанов приступил к делу прямо.

— Здравствуйте, — сказал он. — Молчать умеете?

— А чего же говорить-то? — вяло откликнулся печник и покосился на обступившую его толпу комсомольцев.

— Понимаете, печи надо поставить к утру, и поставить так, будто они здесь всегда стояли. Можно?

— Отчего же нельзя? Только ведь не успеть.

— Успеете. Вот вам тридцать подручных, ребята — огонь, только направляй да покрикивай. Ясно?

— А ясно, так чего же говорить? Работа бесплатная али как?

— Это как хочешь. Мы не постоим.

— Водочки бы... — ласково сказал печник. — Литровочку!

Епифанов развел руками. Продажа водки на стройке была запрещена.

— Будет водка! — гаркнул за спиной Епифанова Мотька Знайде. — Завтра получишь. Чистую, сорокаградусную, без обмана.

Работа возобновилась, да так, что печник только посмеивался и покрякивал — никогда еще не видел он таких расторопных и неутомимых подручных.

— Ай да печники! — восклицал он, распаляясь в атмосфере общего трудового подъема. — Ай, разбойнички, теплые ребята, душа с тебя вон!

Всю ночь больница не спала. Беспартийный печник и пятьдесят комсомольцев — тридцать здоровых и двадцать больных — всю ночь волновались, посматривали на рассветающее за окнами небо, подбадривали друг друга и радовались каждому успеху.

Зеленый от волнения и бессонницы, между ними сло-

нялся врач. Он был доволен и испуган, и то пытался помочь работающим, то устремлялся к больным. Но больные не хотели никакой помощи.

— Ничего, ничего, мне хорошо, — отвечали все, как один. — Вы лучше им подсобите, успеть бы...

Сема Альтшулер лежал в бредовом полузабытьи. Тоня месила раствор в углу коридора, через дверь то и дело поглядывая на Сему. Она уже не радовалась успеху. Она тупо крутила в ведре палкой, проклиная себя за то, что послушалась, что позволила ему погубить себя непосильной работой. Сема умрет. Что будет с нею тогда? Потеря Семы была бы новым крушением, и она не знала, как перенести его. Что останется ей в жизни, если уйдет единственный друг?

Она заплакала, увидев, что Сема успокоенно заснул, и прикосновением губ к его влажному лбу уловив падение температуры.

К утру все шесть печей были готовы, только без заслонок. О них забыли в суматохе, да и взять их было неоткуда.

Перепачканные, бледные, возбужденные, тридцать подручных и печник вышли из больницы, облегченно вдохнули холодный утренний воздух и разошлись во все стороны, чтобы разными путями, в одиночку, подойти к столовой. Только Соня, всю ночь не позволявшая себе отдохнуть, сейчас еле дотащилась до постели, с ужасом чувствуя ломоту во всем теле и тягостную боль в пояснице. Гриша принес ей кружку чаю, но Соня уже спала и жалобно стонала во сне.

В больнице Тоня, врач и сиделка выметали мусор, протирали полы, втаскивали в палаты топчаны с больными. Вооружившись тряпкой, врач с упоением смывал следы ночного погрома и напевал себе под нос бравурную песенку. И даже самые тяжелые больные смеялись.

Кирпича хватились сразу же, в начале рабочего дня. Прораб своими глазами видел вчера сложенный штабелем кирпич, а сегодня своими же глазами увидел, что кирпича нет и как будто не было, — на месте, где надлежало быть кирпичу, тлели осенние листья и валялись почерневшие стружки.

Михалев протер глаза, потоптался вокруг стройки и вызвал завхоза.

Завхоз тоже протер глаза, дважды обошел строящийся дом и, не обнаружив кирпича, сердито заявил, что это

не его дело, что кирпич сдан по накладной и надо было охранять.

Собрались вышедшие на работу комсомольцы. Среди них были Валька Бессонов и Генька Калюжный, работающие у Михалева, и Катя Ставрова, привлеченная неудержимым любопытством. Прораб и завхоз кричали, комсомольцы недоумевали. Валька, Генька и Катя переглядывались и кусали губы, чтобы не рассмеяться. Прибежал Сергей Викентьевич — главный инженер. Никто не понимал, в чем дело. Был кирпич — и нет кирпича.

— Да, вы, наверное, ошибаетесь, Павел Петрович, — участливо сказала Катя, подходя к прорабу, — где же здесь был кирпич? Здесь и следов не видно, посмотрите — листья и стружки, какой же кирпич? Может быть вы его где-нибудь в другом месте сложили?

Но Михалев, как следопыт, разглядывал землю, щепочкой разметая листья.

— Следы! — победно возгласил он и вызывающе оглядел присутствующих. — Здесь были воры! — сказал он страшным голосом. — На земле ясные отпечатки ног!

— Так это мы же с вами натоптали! — невинно заметил Валька Бессонов. — Уж если выслеживать, надо было место оцепить, милицию позвать, собаку привести. Вот как оно делается. А теперь что же — любая собака заплутает и вас же за икры схватит!

Собаки-ищейки на строительстве не было, но Михалев пришел в ярость. И в ярости вдруг вспомнил, что комсомолка из больницы просила вчера кирпич и обругала его бюрократом и черствой душой.

— Я знаю, кто украл! Я ее в тюрьму упеку! — вскричал Михалев и рысью побежал к больнице. За ним побежали завхоз и главный инженер. Комсомольцы постояли, посмеялись и тоже пошли к больнице.

Ввалившись в больницу, прораб, завхоз и главный инженер налетели на врача. Врач побледнел и запахнул халат, как бы подчеркивая, что белый халат делает его личность неприкосновенной.

— Где кирпич, мать вашу!.. — закричал Михалев и осекся.

Врач отступил, снял пенсне, заботливо протер стекла, снова надел и сквозь пенсне строго посмотрел на прораба.

— Вы в больнице, гражданин, потрудитесь не кричать! — прошипел он с угрозой, скрывая под угрозой томивший его страх скандала.

— Где кирпич? — свистящим шепотом спросил Михалев.

— Какой кирпич? Вы пьяны? Здесь не склад, здесь больница! — таким же шепотом ответил врач.

— Я не пьян, — с отчаянием крикнул Михалев, — а меня обокрали! Вы разбойник, гражданин доктор, и нечего прикидываться младенцем!

Врач покачал головой, как будто перед ним был интересный случай неожиданного помешательства, и обратился к главному инженеру:

— Да что случилось, Сергей Викентьевич? Я прошу у вас защиты, я прошу объясниться... я не желаю выслушивать...

— Печи! Печи! — раздался возглас завхоза, украдкой заглянувшего в одну из палат. — В палатах печи!

Врач позеленел, но равнодушно передернул плечами и сказал тем самым «интеллигентным голосом», который рекомендовал ему Епифанов:

— Какие печи? При чем здесь печи? Печи есть и были, я принял больницу с печами... Я, право, не понимаю... Можете посмотреть акт...

— А вот мы посмотрим, всегда ли они стояли! — решительно вскричал Михалев и устремился в палату. Но Тоня решительно стала в дверях.

— Это что за базар? — строго спросила она. — Я запрещаю вам тревожить больных. Понимаете? Запрещаю!

А врач поймал за рукав завхоза, пытавшегося проникнуть в другую палату.

— Куда вы лезете без халата? — кричал он, забывая, что минуту назад требовал тишины. — У меня заразные больные, у меня инфекция, а вы лезете!

Завхоз отступил.

Сергей Викентьевич порывался прекратить смешную и нелепую сцену, но Михалев снова разъярился, — он узнал Тоню.

— Вот она, вот воровка! — закричал он, хватая Тоню за руку. — Не отпирайся, за халатом не скроешься! Я тебя узнал сразу!

Сергей Викентьевич потянул к себе Михалева:

— Объясните мне, Павел Петрович, в чем вы ее обвиняете? Вы говорите, что она украла кирпич. Но как же можно за одну ночь поставить столько печей?

— Абсурд! Совершенный абсурд! — поддакивал врач, протирая пенсне и подмигивая Тоне смеющимися близо-

рукими глазами. Он увлекся и начинал испытывать удовольствие от происходящей перепалки.

— Я вам говорю, это она! — с отчаянием утверждал прораб. — Это она, это они, комсомольцы! Я знаю их повадки! Увезли, построили, листочков насыпали!

— Да что вы, Павел Петрович, за одну ночь шесть печей?

— Да, за одну ночь! Шесть печей! Они и двадцать поставят! Они и сорок поставят, я их знаю, ударников, знаю их, сукиных детей!

— Это кто же сукины дети? — за спиной Михалева громко и вежливо осведомился Валька Бессонов, пробравшийся со двора в больницу.

— А вы почему здесь? — закричал на него Михалев. — Вы почему не на работе? А это что за толпа? — вскричал он, увидев за приоткрытой дверью любопытные лица комсомольцев.

— Так вы же нарядов не дали, — простецки объяснил Валька и низко поклонился: — Доброе утречко, доктор!

Наступило молчание, прерванное истерическим выступлением врача.

— И вообще прошу немедленно очистить больницу! — закричал он фальцетом, наступая на прораба и тесня его к выходной двери. — Я не кладовщик, а врач, мне нужен покой! Да, да, покой! И прошу вас выйти вон!..

Чувствуя, что дело непоправимо, Михалев ушел, но у порога подобрал невыметенный осколок кирпича и торжествующе помахал им в воздухе, угрожая следствием, судом и тюрьмой. За ним поплелся завхоз. Врач поспешил скрыться в палату.

Сергей Викентьевич и Тоня с улыбкой смотрели друг на друга.

— Ну, а теперь расскажите, как было дело. Это всетаки безобразие, вся эта история! — сказал главный инженер.

Тоня вздохнула и рассудительно ответила:

— Так что же было делать, когда больные замерзали? Посудите сами, Сергей Викентьевич. Я вам советую дело замять, все равно кирпича не вернешь.

Главный инженер сам склонялся к тому, чтобы дело замять. Но замять не удалось.

По всему строительству уже разнеслась веселая новость: комсомольцы украли кирпич и за одну ночь поставили шесть печей. Новость приняли одобрительно, но это

и было самым опасным: стоило дать поблажку, и никакой дисциплины не будет.

Андрей Круглов был раздражен и возмущен. Особенно его возмущало то, что ребята обошли комитет, обманули его самого и даже утром не пришли покаяться.

Морозов сказал:

— Они, конечно, молодцы. Но наказать их придется показательно.

А тут еще прораб принес в комсомольский комитет лаконичное и категорическое заявление:

*В комитет комсомола*
*от прораба П. П. Михалева*

ЗАЯВЛЕНИЕ

*Или виновники, подлые воры, будут исключены из комсомола, или я, П. П. Михалев, немедленно бросаю работу и уезжаю со стройки, потому что с ворами работать не могу.*

*П. П. Михалев*

Установить виновников было нетрудно. Круглов узнавал их по глазам, по скромным улыбкам, по тихим и невинным голосам.

Епифанов сам подошел к Круглову:

— Виноват, Андрюша, виноват, товарищ Круглов! Что хочешь, то и делай. Мое командование — мой и ответ. Ребята ни при чем, моя ответственность. Так что имей в виду.

Андрей не знал, что делать. Исключать виновников было немыслимо, но и потеря прораба грозила крупными осложнениями: Михалев был опытным строителем, а достать другого, да еще осенью, при отдаленности от центра, нечего было и думать. К тому же самоуправство комсомольцев требовало решительного и безусловного осуждения.

К вечеру случилась новая неприятность. Перепившийся печник разбуянился на улице и орал во весь голос, подставляя ветру голую волосатую грудь:

— Расступись, Амур, комсомол идет! Ай, разбойнички, теплые ребята, душа с них вон! Кто хочет на соревнование? В одну ночь сто печей поставлю! Тыщу печей поставлю! Миллион поставлю! С моими дорогими черта не боюсь! Теплые ребята, воровской народ!

Увидев Круглова, он подошел к нему, раскачиваясь, распахнув объятия:

— Комсомол дорогой, запиши в комсомольцы! Запиши на старости, душа с тебя вон! Прошу тебя, запиши.

К ночи собралось срочное заседание комсомольского комитета. Присутствовали главный инженер и Морозов, были вызваны Тоня и Епифанов, к обвиняемым были причислены Катя Ставрова и Валька Бессонов — как члены комитета, допустившие воровство кирпича и принявшие в нем участие. Катя сидела притихшая и добросовестно записывала в протоколе все плохое, что о ней говорили.

Валька Бессонов не явился, — за ним посылали, но Вальки не было ни дома, ни на работе, и никто не знал, куда он девался.

— Понятия не имею, — сказала Катя, когда спросили ее. — Он ко мне не пришит.

Тоня, волнуясь, рассказала о положении в больнице и об отказе Михалева дать кирпич. Она признавала себя виноватой, но заявила, что еще больше виноваты руководители, — больница нужней, чем контора, а в больнице мерзли больные товарищи — ударники стройки.

Епифанов честно рассказал всю историю кражи кирпича, но попробовал взять всю вину на себя, уверяя, что другие не знали о краже и считали ночную работу очередным авралом.

— А вот это ты врешь! — вскакивая и краснея пятнами, крикнула Катя. — Все мы знали, и вовсе мы не воровали, а взяли для больницы, потому что больным холодно... И если уж надо за это исключить, исключайте меня — я член комитета, я больше всех виновата!..

— Погоди, Ставрова, — сказал Морозов. — Ты говоришь — не воровали, а просто взяли. Это что же значит — просто взяли?

Катя растерянно оглянулась.

— Ну, я не знаю, как объяснить, — пробормотала она. — Мы же не для себя, как вы не понимаете... Мы же не для себя!..

Андрей Круглов был всей душой на стороне Кати и ее соучастников, но он чувствовал себя обязанным строго осудить анархический поступок комсомольцев. Он заговорил о воровстве, о несознательности, о вреде анархии, о примере, который должны бы показывать комсомольцы, о пьяном печнике...

В это время в коридоре раздался грохот. Казалось, сам пьяный печник пришел подтвердить слова Круглова. Дверь с шумом распахнулась — и в комнату повалили комсомольцы, предводительствуемые Валькой.

— Это еще что такое? — сурово спросил Круглов.

— Вот мы все участники, — сказал Валька, снимая шапку и усиленно приглаживая свои вихры. — Вот здесь нас двадцать шесть человек. Соня Исакова не пришла, потому что нездорова, остальных троих вы знаете.

— А кто вас звал, ты не знаешь? — подавляя смех, спросил Круглов.

— Совесть! — торжественно провозгласил Валька и оглянулся на свою ватагу, чтобы получить одобрение. Ребята одобрили. — Комсомольская совесть нас привела. Ребята хотят, чтобы отвечали все или никто. При чем здесь Епифанов, когда все таскали? Ребята требуют, чтобы наказали всех.

— Не бойся, всем достанется.

— Так мы и не спорим. Я только хочу сообщить, что мы все, двадцать шесть человек, только что были у Павла Петровича и с ним договорились.

— То есть как это договорились?

— Так же, как насчет кирпича? — вставил Морозов.

— По-другому, — вздыхая, сказал Валька, — по-хорошему... Попросили прощения. Сказали, что больше не будем. Обещали ударно работать. Ну и обещали ему в конторе печи поставить вот так же, по-ударному, в одну ночь... Опыт-то теперь есть!

— Старик сперва раскричался, а потом даже заплакал, так мы его умаслили, — вынырнув из-за спины Вальки, сказала Клава и покраснела.

Морозов хохотал.

Круглов не мог больше сдерживаться и хохотал тоже. Напряжение разрядилось. Вопрос был решен. Надо было поругать комсомольцев, но Андрею не хотелось: он понимал их и любовался их товарищеской сплоченностью.

— Ну вот что, — сказал он наконец. — Вам ясно, что вы поступили не по-комсомольски, что вы совершили вредный, антиобщественный поступок?

— Ясно! — дружно крикнули все виновники.

— Вы понимаете, что вас придется осудить перед лицом всего города?

— Понимаем... Ну что ж... Ну конечно... — вразнобой, неуверенно отвечали сдавленные голоса.

— Вы знаете, что за такие штуки надо исключать из комсомола?

Раздался общий вздох, но никто ничего не сказал.

— Ну, а теперь идите... Или нет, можете оставаться, только не шуметь.

И комсомольский комитет, коротко посовещавшись,

постановил: вынести порицание всем комсомольцам, участвовавшим в краже кирпича; Васяевой и Епифанову, как организаторам, а Ставровой и Бессонову, как членам комитета, вынести строгий выговор с предупреждением.

— Правильно! Правильно! — восклицал Епифанов. — Я водолаз, военный человек, демобилизованный Красного Рабоче-Крестьянского Флота, я вдвойне заслужил! Первый раз имею взыскание — но заслужил!

Он был совершенно искренен, но после заседания, когда все расходились, так же искренне воскликнул:

— А печи все-таки стоят, что и требовалось доказать!

Морозов вышел вместе с главным инженером:

— Все виноватые наказаны или нет? Как вы думаете, Сергей Викентьевич?

— То есть... все ли они пришли?

— Они-то все пришли! Народ честный. А вот кто виноват в том, что в больнице не было печей? Кто виноват в том, что кирпич выдали для новой конторы раньше, чем для больницы? Я бы хотел, чтобы эти виновники сами пришли на партком. Впрочем, я человек не гордый, могу пригласить.

Сергей Викентьевич пробормотал:

— Конечно, вышло очень неудачно...

— Неудачно?.. Вы знаете, дорогой, иногда мне кажется, что у вас слишком часто выходит неудачно. А люди все умные. Так, может быть, не в удаче дело?

Их догнала Тоня:

— Сергей Викентьевич!.. Там у нас заслонок нет... Нельзя ли выписать со склада?

— Что ж, заслонки стащить пороху не хватило?

— Нет, пожалуйста, Сергей Викентьевич, — настаивала Тоня. — Ведь уже топить пора, как же без заслонок?

Морозов погладил ее по плечу и ласково подтолкнул:

— Иди, иди, не волнуйся, Сергей Викентьевич завтра же сделает все, что нужно. Верно, Сергей Викентьевич?

На следующий день, усмехаясь и балагуря, по наряду из конторы в больницу пришел протрезвившийся печник докончить установку печей.

## 8

В комнате было темно, окно едва виднелось. Гриша спал, посапывая и вздыхая.

Соня не знала, что заставило ее проснуться. Что-то было неладно. Давила тревога.

Она прислушалась, зорко вглядываясь в серый мрак, — не оттуда ли наплывает ощущение беды. Но в бараке и вокруг барака все было спокойно. Тревога была в ней самой. С нею что-то происходило — только что? Она не могла понять.

Она лежала, не смея встать. Ее пугали тишина и серый мрак. Пугал тяжкий сон Гриши. У нее было такое ощущение, будто она одинока и предоставлена самой себе в еще не ясной беде, возникшей сегодня ночью.

«Что?.. — спрашивала она себя. — Ну что же? Что?..»

Утро надвигалось так медленно, так неохотно пробуждалась жизнь! Только раз стукнула чья-то дверь, и снова установилась сонная тишь. «Ну, пора, просыпайся», — мысленно обращалась Соня к поселку. Но поселок цеплялся за ночь последним крепким сном.

За окном дул ветер. Его холодное дыхание сочилось в щели. Соня поежилась, подбирая одеяло; ее нога коснулась холодного края простыни, и по телу пошли мурашки — ее знобило от остывающей испарины. Она повернулась на бок, чтобы согреться, и вдруг почувствовала, что под нею густая, клейкая сырость. Она поспешно откинула одеяло и вскрикнула, — густая, клейкая кровь покрывала простыню.

— Что это? — произнесла она вслух, беспомощно озираясь. — Гриша! — крикнула она через минуту, натянув до подбородка одеяло, чтобы не видеть этого ужаса. — Гриша, проснись!

И тотчас вспомнила кирпичи. Кирпичи, кирпичи, кирпичи... Они мелькали перед нею, красноватые, пористые, облупленные, с отбитыми краями, тяжелые, не больше двух-трех... а потом азарт, спешка... пять, и шесть, и семь... Боль в пояснице, тяжесть, тяжесть, тягучая боль... Но разве она могла отстать?.. И раствор — крутое тесто с лопающимися пузырьками и вращение, вращение палкой... вращение, от которого заломило в спине... Но разве можно было уйти?

— Гриша! — крикнула она отчаянно и потянула мужа за плечо.

Он сразу подскочил. Заспанное лицо улыбалось, глаза были закрыты. Она не нашла слов, чтоб объяснить. Ей стало стыдно и страшно.

— Пора на работу, Гриша, — сказала она. — Вставай, вставай же!

— Рано еще... — пробормотал он и повалился на подушку. — Я еще чуть-чуть... я сейчас...

Она с ужасом видела, что он засыпает снова. Как сказать ему? И что ей теперь делать? Она не чувствовала никакой боли, только страх и ощущение беды.

И вдруг ее ощущение передалось ему. Они были слишком едины, настроение одного всегда передавалось другому. Он сразу открыл глаза и спросил испуганно:

— Что?

Она сама не знала — что. Она схватила его руку и сказала:

— Не знаю. Очень плохо.

И заплакала, окончательно поняв, что с нею случилась непоправимая беда.

Через полчаса они вышли из барака. Поселок еще спал. Раннее утро встретило их ветром. Ветер был приятен Соне. Он бодрил. Она шла медленно, поддерживаемая Гришей, и с каждым шагом слабела, и все труднее было делать новые шаги.

— Я больше не могу, — сказала она побелевшими губами и остановилась. Она почти падала. Они стояли, полные отчаяния.

— Я тебя понесу, — сказал он наконец и осторожно поднял ее.

Обхватив Гришу за шею, Соня лежала на его руках покойно и удобно. Так уже было однажды. Они еще не были женаты. Они гуляли в тайге, перелезали через поваленные стволы, через старые коряги, перепрыгивали через ручейки, с кочки на кочку пробирались по болотистым низинам. Они целовались, держались за руки, радуясь каждому прикосновению. Соня замочила ноги. «Я понесу тебя», — сказал он. Нет, нет! Она не решалась. Но он так просил: «Ну, позволь, я только подержу тебя...» Он обнял ее и не смел прижать к себе. Она сама робко обняла его за шею. И он понес ее, немного задыхаясь, счастливый, гордый...

Он и теперь слегка задыхался. Она слышала его сильное прерывистое дыхание. Но как они сейчас несчастны оба! Он иногда заглядывал в ее лицо, тихо спрашивал: «Ну как?» — «Ничего, — отвечала она шепотом, — ничего... Тебе не тяжело?»

Ему было очень тяжело, у него немели руки. Но он нес ее, упорствуя, не желая признаться в том, что ему не под силу донести ее. Да и выхода другого не было.

У больницы он бережно опустил ее на землю. У него темнело в глазах от усталости и тревоги. Врача еще не было. Тоня спала на табуретке, приткнувшись в углу.

Санитарка только что пришла и неприязненно посмотрела на Соню.

— У меня кровотечение... очень сильное... — сказала Соня, и губы ее задрожали.

Санитарка узнала ее.

— Ах ты боже мой! — вскрикнула она и засуетилась. Она кое-как уложила Соню, накинула платок и побежала к дому, где жил доктор. Она бежала, не замечая холода.

— Семен Никитич! Семен Никитич! — кричала она, стуча кулаком в дверь.

Тарас Ильич впустил ее. Доктор был в нижнем белье, но она не обратила на это никакого внимания.

— С ребеночком нашим... беда... — говорила она, чуть не плача.

— С каким ребеночком? Вы что?

— С будущим... с первым... — сказала санитарка и всхлипнула.

Обратно они бежали втроем. Тарас Ильич, доктор, за ним санитарка. У больницы к врачу бросился поджидавший больной, но врач только отмахнулся:

— У меня тут с ребенком беда, а вы... с пустяками!

Гриша стоял у двери палаты, ничего не видя, в шапке, с белым лицом.

Тарас Ильич подошел. Пожал руку у локтя.

— Может, обойдется, — сказал он неуверенно.

— Может, обойдется, — одними губами ответил Гриша.

Врач вышел, долго мыл руки. Подозвал Гришу.

— Удар? Тяжесть? Падение? — спросил он отрывисто, пряча глаза.

Гриша не сразу понял, потом сказал:

— Кирпичи.

У врача передернулось лицо.

— Ну-ну, не волнуйтесь, — сказал он привычно, а у самого трясся подбородок. — Для нее опасности нет. Полежит — посмотрим.

— А для?..

— Гм-м... М-да... Пусть полежит — посмотрим. Если операция, — отправим в Хабаровск... Да не стойте истуканом! — вдруг закричал он, отворачиваясь. — Идите! Ступайте! Приходите днем!

Тарас Ильич взял Гришу за плечи и увел его.

Гриша пришел днем. Ему встретилась Тоня. Она покачивалась на ходу: она уже много ночей не ложилась.

Гриша рванулся к ней:

— Ну, что Соня?

— Да что вы все по очереди ходите! — огрызнулась, Тоня и тотчас узнала Гришу. — Гриша, ты меня прости, я не узнала, а тут все ходят и ходят, отвечать надоело.

— Кто ходит?

— Ну, кто! Ребята ходят. С самого утра все бегают: «Как Соня?» И каждому объясняй.

Соня чувствовала себя хорошо, но кровотечение продолжалось. Гришу пустили к ней на минутку. Она лежала в общей с мужчинами палате: ее только завесили простынями. В палате царила полная тишина, — больные знали о несчастье и берегли Соню.

У занавески, невидимый для Сони, сидел Епифанов в халате, и крупные слезы катились по загорелому, обветренному лицу.

Соня встретила Гришу лихорадочно блестящим взглядом.

— Я все думаю, думаю... — сказала она. — Я одна виновата, одна я. Все говорили. И ты меня гнал, и Епифаныч...

Слез у нее не было, и голос был сух.

— Соня... главное — ты. Лишь бы ты была здорова...

— Никогда, никогда не прощу себе! — сказала Соня и сжала губы.

Когда Гриша уходил, его догнал Епифанов.

— Лучше бы исключили меня, — сказал он. — Ну, выругай меня хоть ты! Мочи нет... Ведь это я... я один виноват.

Соню отправили в Хабаровск на пароходе. Гриша поехал с нею.

Пока она лежала в больнице, Гриша выполнял десятки поручений комсомольского комитета. Он считался в командировке, и его нагрузили делами. Он доставал спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, яблоки, учебники для общеобразовательной школы и лук для цинготных.

Соня вышла из больницы такою же, какою была раньше. Она не казалась ни похудевшей, ни побледневшей. Она помогала Грише получать и грузить товары. Они пошли в кинематограф, гуляли по улицам, радовались мостовым, уличным фонарям, магазинам, автобусу.

О случившемся не говорили.

Гриша ждал худшего. Она перенесла несчастье как будто бы очень легко. Иногда он думал: «Может

быть, она и рада, что меньше хлопот, меньше трудностей?»

Когда пароход подходил к строительству, пассажиры заполнили палубу. Соня и Гриша стояли у борта, на носу. Они впервые охватили взглядом все построенное ими. Темнели острые крыши шалашей, желтели новенькие бараки; освобожденное от заслона деревьев, блестело озеро; видно было, как ползут по лесотаске бревна в прожорливую пасть лесозавода.

Здание временной электростанции поднимало к небу прямой столб дыма. У берега разгружалась баржа с цементом. По узкоколейке бежала дрезина, волоча за собою вагонетки с камнем. На промышленной площадке копошились сотни землекопов.

Как все изменилось с того дня, когда они вот так же, стоя рядом у борта, приближались к месту будущего города! Тогда они увидели только пустой берег и приземистые домики селения, стиснутого с трех сторон нетронутой темной тайгой.

— Гляди, Соня, — восторженно сказал Гриша. — Ведь это уже почти город... Еще год...

Он замолчал, потому что Соня спрятала лицо, и видно было, как судорожно дрожит ее щека.

— Соня... родная!..

— Нет! Нет! — вскрикнула Соня, отстраняя его рукой. — Это был мальчик, а я убила его! Убила...

Они жили по-прежнему. Работали, читали стихи, пытались учиться, очень часто (чаще, чем раньше) проводили вечера с товарищами, в компании. Когда они оставались вдвоем, они сразу искали себе занятие, как бы боясь, что в молчании прорвется то, что надо держать в себе, глубоко.

## 9

После истории с печами здоровье Семы Альтшулера настолько ухудшилось, что врач объявил его безнадежным. Сему перенесли в крошечный докторский кабинет. Тоня почти неотлучно сидела возле него, держала руку на его воспаленном лбу, когда Семе было плохо, и вела с ним тихие задушевные беседы, когда Семе становилось лучше. Врач протестовал против разговоров: они утомляли больного. Но у Семы была огромная потребность передавать другим все то, что скопилось в часы одиноких размышлений, обостренных болезнью. Тоня чутьем пони-

мала, что, несмотря на утомление, беседы повышают активность организма, а следовательно, и его сопротивляемость.

— Вы его приговорили к смерти, — резко сказала Тоня врачу, — зачем же его мучить? Я не верю, чтобы у разных людей болезнь была одинакова. Мне кажется, я понимаю, как лечить Альтшулера. Оставьте его мне и не мешайте!

Врач подумал: «Какая неприятная, резкая девушка!» — и сказал:

— Пожалуйста. Я подожду. Скоро вы меня учить начнете.

Он был вознагражден предупредительностью Тони во всех других вопросах.

Беседы продолжались.

— Вы когда-нибудь читали о самоубийствах, Тоня? — спрашивал Сема. — Подумайте, ведь есть такие люди! Разочарование в жизни. Вы это понимаете, Тоня?

— Я бы этого никогда не сделала, — сказала Тоня. Она вспомнила жестокое разочарование, пережитое ею так недавно. Мысль о самоубийстве даже не приходила ей в голову.

— Да, вы бы не сделали, — подтвердил Сема. — Да и как можно это сделать, если в голове есть мысли, есть сознание? Говорят — это трусость. Нет, это не трусость. Ведь тоже нужна смелость, чтобы пустить себе пулю в лоб! Во всяком случае, это не всегда трусость. Если человек боится отвечать за то, что сделал, — это трусость и подлость. Но если человек не хочет бороться, устал бороться, — это глупость. Простая глупость, сколько ни наворачивай высоких слов. Разве бывает безвыходное положение? Умный человек, поразмыслив, всегда найдет какой-нибудь выход. Самоубийца не понимает самого основного... Жизнь! Что есть лучше жизни? Ну, пусть горе, пусть болезнь, пусть невероятные трудности, — но все-таки есть жизнь, есть солнце, есть дыхание, а значит — есть возможность борьбы... Как не хочется умирать, Тоня! Ты не знаешь, как это страшно.

Тоня спросила по неожиданному побуждению:

— А ты заметил, Сема, что я сегодня веселее, чем обычно?

— Да, — невольно солгал Сема: он так верил Тоне, что поверил и этому; ему даже вспомнилось что-то вроде ее смеха. Было это или нет? Он не знал точно, но так вспомнилось.

— А знаешь почему?

Ложь возникла сама собою.

— Доктор очень доволен тобою. Сегодня он сказал мне, что ты вылезешь наверняка.

Сема вспыхнул; розовая краска залила его желтые щеки и лоб.

— Правда?

— Да.

Сема долго молчал. Он был счастлив: в эти минуты он хотел поверить и поверил; ощущение близкой смерти было слишком страшно. И он подхватил ложь всем своим существом, и ложь стала правдой.

— Да, он прав. Я вылезу, Тоня. Я это чувствую сам. Я не могу не вылезти. И не надо называть больницу моим именем — черт с нею, верно? Лучше назовем моим именем какой-нибудь дом, где будут жить и радоваться тысячи людей. Большой дом с широкими окнами, с паровым отоплением, с видом на Амур, с цветником у входа... Или нет. Зачем имя? К черту имя! Не надо имени — ведь что такое Альтшулер? Рядовой член комсомола, строитель города — вот и все! Правда, я изобретатель, но что я такого изобрел, чтобы заслужить имя нового дома? Оно даже неважно звучит — Альтшулер... Впрочем, фамилия изменяется от человека. Если бы нашелся такой Альтшулер — вождь, полководец, мировой ученый, пусть даже боксер или шахматист, — уже иначе звучит! Фамилия уже приросла.

Он помолчал.

— Если я буду жить, Тоня, я еще много сделаю...

В другой раз он заговорил о славе:

— Я хочу прославиться, Тоня. Я часто думаю — хорошо ли, что я этого хочу? Это ведь честолюбие, да? Мне хочется сделать что-нибудь такое значительное, чтобы, когда говорят о комсомоле, о людях, которых он воспитал, называли бы и меня. Вот есть тормоз Казанцева. Кто он, этот Казанцев, я не знаю. Но тормоз есть, он существует, и в нем существует слава человека. Я думаю, что слава страны — в людях. И у нас все больше будет славных людей с каждым годом. Что такое слава у нас? Это уважение к человеку, который сумел сделать передовое дело. Шахтер Изотов создал свою школу шахтерского искусства, как были школы в литературе или школы в живописи. Он двинул вперед свою профессию. Я тоже хочу совершить максимум возможного в своем деле, достичь высшей точки. Мне страшно думать, что я могу про-

жить и пропасть, как песчинка. Это честолюбие? Пусть! Но ты никогда не посмеешь сказать, Тоня, что это плохо!

— Это не плохо, — сказала Тоня. — Я часто мечтаю о разных вещах... таких... Мне хотелось бы работать в подполье. Пусть бы меня истязали, пытали... Или мне хочется отдать все силы нашему городу. Все без остатка. Я бы умерла, но город стоял бы, как памятник. Это тоже слава. Неважно, что забудут фамилию. Важно сделать что-то большое и знать, что сделал все. Верно?

— Верно. В крайнем случае пусть забудут фамилию. Но я бы хотел, чтобы меня помнили. Чтобы рассказывали детям и приезжим: был такой комсомолец, Альтшулер, он спроектировал этот мост или построил вот эту дамбу...

Однажды он заговорил о любви:

— Вот вы меня спрашивали, Тоня, люблю ли я Клаву? Я вам сказал насчет Клавы. Но я ничего не говорил насчет любви, а у меня есть своя теория, и я вам ее скажу, Тоня, потому что вы поймете.

Тоня приготовилась слушать, но Сема закрыл глаза и как будто впал в забытье. Тоня дотронулась прохладной рукой до его лба. Сема благодарно улыбнулся, открыл ясные глаза и сказал совершенно свежим голосом (Тоня поняла, что он обдумывал):

— И еще вам скажу потому, что вы та девушка, Тоня, которую я мог бы полюбить. Я не люблю кокетства и не люблю болтливых девушек. Я люблю, когда характер и сильная душа, когда девушка умеет чувствовать и не боится.

— Чего? — робко спросила Тоня.

— Чувствовать, — сердито ответил Сема. — Неужели ты не поняла? Не боится чувствовать — вот что важно! Отчего люди выдумали, что девушка не должна первою говорить о любви? Отчего люди выдумали, что девушке нужна застенчивость?

Тоня вспомнила первую встречу с Сергеем на берегу озера. Она не боялась чувствовать, но к чему это привело?

Сема понял ее мысли.

— Видите, Тоня, выдумали все это не зря. Это оборонительное сооружение, вроде проволочных заграждений или баррикады. Но моя теория в том и состоит, что этого больше не нужно. Я не хочу, чтобы девушка была опутана проволокой, потому что я подхожу к ней с нежностью в сердце и с громадным уважением, с грандиозным уважением. И чем она прямее и честнее, тем больше это уважение, и я никогда не сделаю ей зла...

— Но ведь не все же так подходят!

— Вот это и плохо. От этого и проволока и дымовая завеса. Но я ведь не такой, и я хочу девушку, которая не будет бояться, и она поймет, какой я, и будет со мною простой и открытой, и я буду уважать ее и любить ее, и она будет уважать меня... Вот вы такая, Тоня. Вы пострадали раз из-за своей прямоты... Но со мною вы бы не пострадали Тоня, я бы вас любил...

Тоня сама не понимала, что́ рождают в ней эти странные речи. Но она тянулась к ним всей душой, и ей становилось все радостней и легче жить.

— Вот если бы я знал твердо, что вылезу, — сказал Сема, — я бы сейчас просил тебя: посмотри, Тоня, посмотри на этого замореннго, маленького человека, помирающего на больничной койке, — может быть, это и есть тот самый человек, который тебе нужен для счастья? Посмотри хорошо, не думай, что маленький рост — это маленькая душа, посмотри и скажи — не выйдешь ли ты замуж за этого человека, ведь он дает тебе свое сердце, он тебя будет уважать, как лучшего друга, больше Геньки Калюжного, хотя Калюжный — это большой друг... Я бы сказал: выходи за меня замуж, Тоня!

— И я бы сказала — да! — легко ответила Тоня и улыбнулась.

Впоследствии она сама не знала, думала ли она то, что говорила, или этого требовал метод лечения, — но слово было произнесено.

— Спасибо, Тоня! — сказал Сема и сжал ее руку.

Больше об этом не говорили. Только назавтра Сема спросил:

— Скажите, Тоня, если бы для спокойствия человека вам пришлось солгать, вы бы это сделали?

— Не знаю, — ответила Тоня, и даже не вспомнила свой вчерашний ответ: он не казался ей ложью.

— Ну, а вы могли бы сказать человеку, что любите его, если бы на самом деле не любили?

— Нет, — твердо сказала Тоня.

Сема удовлетворенно кивнул головой и заговорил о другом.

Только ночью, оставшись наедине со своими мыслями, Тоня поняла, зачем он спросил про ложь. И покраснела от стыда. Да, она солгала. Она обещала ему любовь. Но разве она может любить его? Разве она не любит еще Сергея?.. Она вспомнила того, кого запрещала себе вспоминать, и почувствовала такую острую и мучительную

боль, что вскочила и выбежала в коридор и стала ходить взад и вперед быстрыми шагами. Нет, нет! Она не хотела любить Сергея. Она презирала его. Мелкий, трусливый человек! Но она любила... Вопреки всему она вспоминала то самозабвенное счастье, то ощущение наполненности жизни, которое дала любовь, ту необыкновенную, удивительную музыку, которая лилась на нее с темного неба, которую проносил над нею ветер, которая звучала внутри нее. Разве такое чувство повторяется? Разве оно не единственное на всю жизнь, упоительное и неизбывное? Нет, она не хочет видеть Сергея. Если бы он вернулся, она не сделала бы ни шагу навстречу ему. Он в прошлом. Он вычеркнут. Но любить другого — это так же невозможно, как отречься от самой себя. Тогда зачем же она солгала? Для того, чтобы Сема выздоравливал? Для того, чтобы сопротивление болезни усилилось до предела?

Она вернулась к Семе и долго смотрела на спящего друга, прижав ладони к щекам, покачиваясь от волнения. Он не был красив, Сема. Какое худое, желтое, измученное лицо! Но под темными веками спрятались его глаза — пламенные, лучистые, внимательные, наблюдающие, умные. Глаза выражали его всего. Глядя в них, читая в них, Тоня не видела невзрачной и немного смешной внешности. Сейчас глаза были прикрыты веками. Но она все-таки видела их. Может ли смерть, смеет ли смерть закрыть их навсегда?

Мысль о его смерти была невыносима. Он не мог умереть! Она не могла перенести даже мысли о том, что останется без него.

Что же это? Любовь? Нет, она знала, что это не любовь. Но, может быть, существует чувство сильнее и глубже любви — более цельное, более чистое, более человечное? Она не хотела от этого человека ничего, кроме одного — чтобы он жил. Чтобы он был. Будет он — и не надо ни любви, ни песни, звучащей с неба, — она сядет с ним рядом, и приложит ладони к его теплому лбу, и будет тихо слушать его неровную, быструю, немного смешную речь.

Утром она смотрела на врача как на спасителя. Она ловила в его лице мимолетные тени огорчения или удовлетворения. Она выбежала за ним во двор в одном халате и схватила его за рукав.

— Ну что? — крикнула она, мертвенно побледнев.

— Не знаю, — сказал врач и внимательно поглядел на

Тоню. — Он оживлен и кажется лучше, чем обычно. Но я боюсь этого. У него слишком мало сил.

С отчаянием в душе, но с веселым лицом Тоня вернулась к больному и неосторожно дотронулась до его руки.

— Какие холодные пальцы, — сказал Сема. — Ты была на воздухе?

— Да.

— Уже холодно?

— На дальних сопках снег. Скоро зима.

— Если бы я мог хоть разочек подышать воздухом! — сказал Сема и вздохнул.

Тоня, нахмурив лоб, смотрела в окно. Новая мысль томила ее: не вынести ли Сему во двор хоть на минуту?

— Ты чего? — спросил Сема.

— Я думаю, не устроить ли тебе прогулку.

— Да, да, Тонечка, да! — Он просиял от радости. — Я все время мечтал об этом. Только я, наверное, не смогу ходить...

И Тоня решилась так, как умела решаться: быстро, порывисто, без размышлений. Она закутала Сему, чтобы нигде не просочился холод, приказала дышать носом и с помощью санитарки вынесла его на кровати во двор.

— Дыши осторожно, чуть-чуть, — умоляла она. — Тебе не холодно? Не дует нигде?

Через несколько минут она ужаснулась тому, что сделала, и позвала санитарку вносить больного. Сема смотрел умоляюще, но подчинился — он и сам немного боялся.

Вечером Тоня дрожащим голосом призналась врачу.

— Это ничего, — сказал врач. — Как он ел?

— Хорошо, Семен Никитич, лучше обычного.

— Спал?

— Три часа спал.

Врач протер пенсне и сквозь сверкающие стекла долго разглядывал Тоню.

— Вы, Тоня, сердитая барышня, — сказал он нежно,— но у вас есть способности и темперамент. Вы не хотите учиться на доктора?

С этого дня Тоня ежедневно выносила Сему на воздух. Она сговорилась с Геннадием Калюжным, и он прибегал в обеденный перерыв, чтобы помочь ей. Геннадий и Тоня стояли около кровати. Геннадий рассказывал новости, а Сема блаженно улыбался.

Однажды он посмотрел на обоих и сказал:

— Вы не можете понять, до чего это хорошо, что вы

оба тут. Разве у меня есть более близкие люди, чем вы? Их нет, и смотреть на вас обоих сразу — очень большая радость.

Немного погодя он добавил:

— Ты ничего не знаешь, Геньчик... А ведь если я поправлюсь, мы поженимся.

Тоня страшно покраснела.

Геннадий не сразу нашелся, что сказать. Как и все комсомольцы, он недолюбливал Тоню; за время болезни Семы он оценил ее заботливость и подобрел к ней, но видеть ее женою друга все-таки не хотел. К тому же все еще слишком помнили ее роман с Голицыным.

— Ну, поздравляю! Значит, еще одна свадьба, — сказал он наконец.

Тоня не отрываясь смотрела на Геннадия. Она догадалась, о чем он думает. Да, он недоволен. Он вспомнил про Сергея. Он, пожалуй, думает, что это она, Тоня, добивается мужа. «Мужа ловит», — содрогаясь, вспомнила Тоня грубые слова Сергея. Когда Сема поправится, Геннадий, чего доброго, станет отговаривать Сему. Он не будет стесняться в выражениях, рассказывая, как она бегала за Сергеем и подслушивала в тайге, как она спешила на свидания и ждала, трепещущая и подозрительная, а он медлил и подшучивал над нею с приятелями... Ну что ж! Пусть рассказывает все, правду и вымысел. Она ничего не боится. Она не боится чувствовать.

— Спасибо, — сказала она спокойно. — Только сначала надо его как следует вылечить...

И новым, женственным и властным движением погладила волосы Семы.

Что-то случилось с нею в эту минуту. Злая гордость вспыхнула в ней со страстной силой. И если до сих пор она просто не верила в осуществление этого брака, теперь она думала о нем как о неизбежном, она хотела его — да, назло всем, вопреки всем, — могут любить или не любить ее, но Сема ее любит и женится на ней, и она будет счастлива, и ей наплевать на всех...

Как-то раз, встретившись с Тоней во дворе, с глазу на глаз, Геннадий грубовато спросил:

— Это когда же вы успели любовь закрутить?

Он улыбался, но Тоня понимала, как он зол.

— А что? — спросила она жестко и недоброжелательно.

— Да просто любопытно — какая скорая любовь!

Тоня вспыхнула и сказала скороговоркой:

— Можешь думать что хочешь. Но показывать этого Семе не смей, понимаешь? Сейчас важно одно — важно его вылечить. Что будет потом, я не знаю. Сейчас ему должно быть хорошо. И я делаю все, чтобы ему было хорошо. А то, что ты думаешь, это подло... подло!

И она быстро ушла, глотая злые слезы.

Сема сидел в постели. Он явно поправлялся, это видели все, об этом, пожимая плечами, говорил врач.

— Вас, комсомольцев, не знаешь, как и лечить, — говорил он. — У вас все по-новому, и болезни какие-то особенные, и смерть вас не берет.

Сема сидел в постели, чистенький, в свежей, только что надетой рубашке, с посвежевшим лицом.

— Тонечка, а ведь я голоден, Тонечка! — с детской радостью сообщил он.

Она осталась, как была, у двери. Она видела его будто впервые. Вот такого, озаренного детской радостью, чистенького, трогательного, выздоравливающего. И он принадлежал ей, и она его не отдаст, никто не сможет отнять его...

Тоня рванулась вперед, упала на колени, прижалась к его рукам пылающим лицом и зарыдала.

— Тонечка, вы что? Тонечка...

— Я так рада, что тебе лучше... — сквозь рыдания проговорила она. — Ты ведь один у меня, один, один...

## 10

Осень была трудная. Зима обещала быть еще труднее. Хабаровская контора систематически срывала планы снабжения. Были нередки случаи, когда запасы хлеба на строительстве приходили к концу, и день-два строители перебивались на самой жесткой норме. Ощущались перебои с крупой, с консервами. Мясо привозили редко, овощей почти не было. Телеграммы сообщали о том, что все «на колесах», все в пути, но жизнь опровергала телеграммы.

Партком требовал試Вернера к ответу. Вернер порывался сам поехать в Хабаровск, но дела на площадке задерживали его. Гранатов нервничал и ругался,—все его распоряжения, сделанные в прошлую поездку, остались невыполненными. Он посылал угрожающие телеграммы и наконец вылетел в Хабаровск на самолете. Он метал

молнии. Раскаты грома доносились из Хабаровска на площадку, — стало известно, что Гранатов выгнал двух агентов, объявил несколько выговоров и отдал под суд начальника снабжения. Письмо, присланное Гранатовым, было полно тревоги: заказы не были сделаны своевременно, есть опасность, что до окончания навигации не удастся перебросить основные зимние запасы. Он остался на месте, чтобы повседневно нажимать на снабжающие организации, и просил Вернера организовать в районе строительства, в деревнях, заготовки всех возможных продуктов и сена для лошадей.

Вернер и Морозов занялись заготовками. Организованная Морозовым рыбная база открылась как раз вовремя,— начался осенний ход рыбы. Касимов, Тарас Ильич и Кильту дневали и ночевали на рыболовных участках. У них не было помощников, — никто из комсомольцев не умел рыбачить. Епифанов вызвался учиться и старательно изучал профессию рыбака. Он скоро узнал, что существует множество законов для озер и для рек, для быстрого течения и для медленного, для мелководья и для больших глубин, для ночи и дня. Он был прилежным учеником — но только учеником. Кильту снисходительно посматривал на него, Тарас Ильич покрикивал, а Касимов посмеивался и терпеливо объяснял.

На рыбной базе кореец Пак принимал и солил рыбу. Здесь работа была проще, но требовала быстроты и оперативности. Огромные уловы надо было немедленно засолить, пока рыба не испортилась. Здесь нужны были сотни рабочих рук.

Морозов и Круглов ходили вечером по поселку. Комсомольцы работали, строя себе бараки или отепляя на зиму шалаши. Но они охотно откликались на зов и работали на рыбной базе. Рыба шла массами. Касатки, муксун, сазан, караси. Комсомольцам было весело отбирать рыбу, укладывать в бочки, посыпать хрустящей крупной солью и знать, что они сами, своими руками, готовят свой будущий обед.

— А какое разнообразное меню! — говорил Морозов, работая бок о бок с комсомольцами. — Сегодня уха из касаток, завтра муксун жареный, а там, глядишь, расстегаи с кетой.

— Карась по-аргентински, соус тартар! — восклицал Валька Бессонов, заставляя себя радоваться рыбным перспективам: в глубине души он предпочитал мясо с картошкой.

Рыба была подспорьем. Ход лова показывал, что подспорье будет существенным. Но этого было очень мало для длинной зимы и большого строительства. Вернер и Морозов отобрали наиболее энергичных комсомольцев и разослали их по деревням и стойбищам закупать овощи, сено, скот, заключать договоры на поставку копченой рыбы, дичи, медвежьего и лосиного мяса.

Андрей Круглов не должен был ехать с ними. Но когда первые посланные вернулись из ближайших деревень с жалкими результатами и уверениями, что крестьяне и нанайцы саботируют заготовки, Андрей вызвался поехать. Он выбрал то самое нанайское стойбище, откуда пришли Моомн и Кильту. Он много знал о нем от Моомн. Ему казалось, по опыту общения с Моомн, что он сумеет найти нужные слова. Он самонадеянно думал, что понимает не только Моомн, но через нее и всех нанайцев. Он чувствовал страх перед испытанием своей уверенности, так как внутренний голос предупреждал его о трудностях. Но Андрей был коммунистом, и страх не подавлял его энергии, а усиливал ее потребностью преодоления. Он поехал.

Он был не прочь взять с собой Моомн. Но Моомн отрицательно качала головой и повторяла: «Моя не могу! Не могу!»

— Но почему? Чего ты боишься? Родителей?

Моомн приблизила к нему встревоженное лицо и рассказала: — Они меня ищут. Они хотят меня домой. Они посылали сюда человека. Человек спрашивал Пака. Моя видела этого человека.

— Какого человека? Ты все равно уже замужем, зачем они будут посылать человека?

Моомн упрямо твердила:

— Нет, посылали. Парамонов человек. Кильту возил его, Кильту знает. Парамонов. Злой человек. Он приехал ночью и ночью уехал. Он узнавал... Моя спряталась, и Кильту спряталась.

— Чепуха! — сказал Круглов. — Я зайду к твоим родителям, передам им привет от тебя и скажу, что ты монтер.

В первый же день путешествия его захватило очарование дикой природы, и с каждым днем очарование возрастало, потому что все более дикими и неисхоженными казались места, мимо которых шла лодка. Подъем по течению был непрерывной и ожесточенной борьбой человека со стихией. Человек побеждал, но обливался тяжелым пóтом. А вода бежала дальше, сливая за кормой разре-

занные лодкой струи, и в ее веселом говоре звучала насмешка. Вдоль берега стояла тайга—миллионы деревьев, и каждое дерево было отлично от другого, имело свой изгиб, свои прихотливые повороты, свою таинственную прелесть. Иногда лодка часами шла мимо скал и каменных обрывов, нависающих над головой. Скалы блестели, начисто обмытые водой. Глаза уставали от острых линий и вдруг получали отдых на чистой ложбине, где из воды торчали светло-зеленые камыши и красные язычки тальника. А вокруг высокие сопки выглядывали одна за другой, все одинаково округлые и все-таки совершенно различные, с неповторимыми очертаниями изогнутых спин.

На коротких ночевках Андрей не мог заснуть, лежал с открытыми глазами у костра, вслушивался в звуки тайги и мечтал. Он думал: «Я это или не я? Неужели это я — этот смелый и самоуверенный человек, который будет закупать сено и скот, заключать договоры и читать в сердцах нанайцев? Неужели это я — руководитель тысячной комсомольской организации, пользующийся авторитетом и доверием?» Он не был плохого мнения о своих способностях, но размах работы на строительстве намного превышал его прежний опыт. Андрей был в том переходном состоянии, когда юноша становится взрослым мужчиной, но еще не осознал этого и не привык к своей зрелости. В нем еще билось мальчишеское недоверие к своей серьезности, но именно серьезность была его новой сущностью.

Вырванный неожиданной поездкой из обычного круга забот и волнений, Андрей с интересом изучал самого себя и свою работу. Он был доволен результатами изучения. К собственному удивлению, он понял, что счастлив, и счастлив именно полнотой, глубиной своей жизни. Он был руководителем. Ему удалось заслужить уважение, не отдаляясь от ребят, а укрепив дружескую близость с ними; и в дружеской близости он умел направлять их достаточно твердой рукой. К нему часто приходили посоветоваться, пожаловаться, излить тоску и сомнения. Перебирая в памяти беседы, он понял, что комсомольцы охотно раскрываются перед ним, охотно отдаются в его молодые, но более опытные руки. Ему было приятно знать их болезни и недостатки с их же слов. Сема Альтшулер был самолюбив и честолюбив, — его честолюбие подхлестывалось боязнью, что маленький рост делает его незаметным. Валька Бессонов был эгоистичен и неустойчив, он поддавался быстрым вспышкам раздражения; когда

вспышки проходили, он мучился от стыда и скрывал стыд под внешней развязностью, но этим еще более усиливал свои мучения; только Андрей (а может быть, еще и Катя) знал о том, как он страдает от сознания, что чуть не стал дезертиром, а главное — оттого, что все это знают и в любой момент могут припомнить. Андрей знал о Катиных романтических стремлениях, восстававших против порядка, четкости, благоустройства, упорядочения быта; она призналась ему, краснея, что никак не может наладить свою новую семейную жизнь, что «глаза смотрят на улицу, а не в дом» и что это вызвано не недостатком любви к Вальке, а неусидчивостью. «Такая я, знаешь, непоседа...» Епифанов был необуздан и склонен к анархическому самоуправству; он всегда искал самостоятельных тропок, пусть рядом с проложенными, только бы шагать по целине, не оглядываясь на других; это уживалось в нем с прекрасным, воспитанным во флоте чувством коллектива и душевной близостью к товарищам; но, может быть, одиночество в подводных глубинах, колебания моря и веселый риск, необходимый водолазу, усилили в его характере и другую, романтическую, буйную сторону, заставили ее проявиться и затем напоминать о себе? Труднее всех был Коля Платт — спокойный, рассудительный, гордый своими знаниями, требующий к себе уважения и внимания. Он не снисходил до откровенности с Андреем, но иногда приходил жаловаться или требовать. Он болезненно реагировал на всякую попытку обойти его, но не горячился, а разумно доказывал, что он стоит того внимания к себе, которого добивается, и настаивал, чтобы комсомол «обеспечил ему условия». Если Андрею удавалось доказать, что требования невыполнимы или идут вразрез с интересами строительства, Коля соглашался. Андрею ни разу не пришлось видеть его взволнованным. Он был близок к этому, когда пришел требовать, чтобы ему дали комнату в доме инженеров, так как он собирается выписать Лиденьку (он сказал: «Мою невесту»). Андрей отказался хлопотать, но объяснил, что инженеры и так живут скученно, что его невеста («К тому же комсомолка?» — «Да») может жить и в бараке.

— Моя жена не должна жить в бараке, — сказал Коля гордо.

Андрей пробовал разубедить его, потом высмеял, потом снова стал разубеждать.

«Ну что ж! Значит, я подожду ее выписывать», — сдержав волнение, холодно сказал Коля Платт и ушел.

Да, их было много, и у каждого свои достоинства, свои недостатки. Андрей научился руководить ими. Он их впрягал в общее дело — спотыкайтесь, брыкайтесь, каждый на свой манер! — у них у всех было одно общее, объединявшее их: комсомол. Внешне это иногда проявлялось примитивнее: дисциплина. Но это была самая свободная в мире дисциплина. Она существовала потому, что ее хотели. Она была им нужна, она помогала им обуздать себя, свой юношеский темперамент, бросавший их из стороны в сторону. И если им случалось подчиняться ей со скрипом, с внутренним протестом, они потом были благодарны, потому что порыв проходил и одной глупостью меньше было сделано. Сознание у них — комсомольское, а поступки шли иногда вразрез с сознанием. Дисциплина помогала согласовать поведение с сознанием. Андрей был руководителем этого процесса, они получали указания из его рук. Он должен был думать за всех, больше всех, правильнее всех.

Он впервые руководил самостоятельно таким крупным коллективом. Он уставал, нервничал, порою готов был отказаться от огромной ответственности. Но сейчас, бодрствуя один у костра, рядом со спящим гребцом (два человека на сотни километров безлюдной тайги!), он увидел целое, понял его как искусство воспитания, которому надо учиться без конца, и осознал, что именно от этого изнуряющего напряжения сил он получает наибольшее наслаждение. Он ждал Дину, но мог обойтись и без нее. Он не был уверен даже, не помешает ли она ему. Его сегодняшнее счастье лишено женской любви, но зато так чисто, так мужественно, так интересно. Сумеет ли он совместить?.. Он вытащил из бумажника изящный листок с волнистыми строчками. Последнее, недавно полученное письмо: «...Если два человека так стремятся друг к другу, ничто не может помешать им. Я приеду к тебе, любимый...» Он поцеловал эти строки. Тоска и желание поднимались волнами... Нет, он сможет все. И она сможет. Она будет с ним, не мешая, а помогая. Она поймет его. Когда сильно любишь, разве трудно понять любимого?

Круглов приехал в стойбище счастливый, отдохнувший, внутренне определившийся. Он бросил в дело накопившиеся освеженные силы. Иван Хайтанин помогал ему как мог. Помогали и комсомольцы. Но комсомольцы не были хозяевами. Старики охотно слушали Круглова, со всем соглашались, но ничего не хотели продавать. Анд-

рею удалось после больших усилий закупить сено. Комсомольцы начали строить плоты, чтобы сплавом отправить сено на строительство. Но что — сено? Нужна была рыба, а хозяева не продавали ее и даже не соглашались заключить договоры на продажу рыбы осенью, после нерестового хода.

Андрей выбивался из сил, когда к нему пришел комсомолец Ходжеро. Он спрашивал про Кильту и Мооми. Он сам поедет на стройку, когда запасет для семьи рыбу. Его семья бедная, но она согласна заключить договор. Ходжеро объяснил:

— Наши люди думай, что рыба не будет. Наши люди говори: «Рыба не любит нефть. Стройка пачкает Амур, рыба уходи».

Кто пустил эту выдумку? Андрей без труда выяснил: сам Ходжеро не знает, что такое нефть и откуда она берется в воде. Чужие слова, страшные вдвойне потому, что непонятны. Круглов стал выяснять, какие русские люди, приезжие люди есть в стойбище. Ему указали жену Михайлова — «Интеграл». Сам Михайлов уехал весной и только раз приезжал на несколько дней. Андрей расспросил — кто такой Михайлов? Старичок, седой, тихий, разговорчивый. Острая догадка заставила Андрея спросить: как имя, отчество? Старик из тайги... разговоры... «нанайцы говорят про русских: русские плохие люди...» Мооми и Кильту думают иначе. Имя-отчество Михайлова Иван Потапыч. Нет, не то... Встречались ли Мооми и Кильту со стариком? Он не помнил этого. Но старик снова ушел в тайгу после их приезда... Да, но старика зовут Семен Порфирьевич... Глупости!

Андрей побывал у жены Михайлова. Спокойная, домовитая женщина с седыми волосами. Она с интересом расспрашивала о стройке. Она звала Андрея «сынок»... И ее муж был в командировке. Приезжал начальник, послал его. Как зовут начальника? Она замялась... Нет, она не знает, сынок, она простая женщина, ее дело — постелить постель и накормить гостя, остальное — дело мужа.

Андрей сходил в соседнее стойбище к русскому охотнику Степану Парамонову. Парамонов? Это о нем говорила Мооми? Степан принял его любезно, много рассказывал про охоту, про повадки зверей и птиц. Продал Андрею волчью шкуру (Дина приедет, так обрадуется!).

— Я и сам волк, — сказал Степан. — Забрался в тайгу и не вылезаю.

— Неужели вы и на стройку не поглядели? — осторожно спросил Андрей.

— Далеко больно! — сказал Степан. — Вот когда построите, магазины откроете, тогда и поеду. А так — чего же? Интеграл снабжает, тайга кормит.

Он посмеялся над опасениями нанайцев по поводу рыбы:

— Дикий народ! Только сами себя пугают.

И обещал поговорить с ними. Но сам рыбы не продал: «Я ж не рыбачу. Я охотник да вот мастерю кое-что. Тем и живу».

Когда Андрей рассказал Ивану Хайтанину о своем разговоре со Степаном, Иван Хайтанин возмутился:

— Как не рыбачит? У Степана лучшая сеть в стойбище!

Но подтвердил, что Степан никуда не выезжал.

Андрей побывал у родителей Мооми. Они не хотели пускать его в дом, отец и слушать не хотел о Мооми, а мать отвернула лицо, и не понять было, слушает она или нет. Но вечером она прибежала в слезах к Ивану Хайтанину и умоляла расспросить приезжего о дочери. Хайтанин переводил, мать плакала и улыбалась. Андрей заговорил с нею о рыбе и картошке. Она сказала, что это дело мужа. Но украдкой притащила мешок картошки: «Для Мооми».

Нагрузив две лодки (а он мечтал о целом караване), Андрей уехал из стойбища. Сено уже шло впереди на плотах, ведомых Ходжеро. Андрей не мог не признаться себе, что сделал очень мало. Он был уверен, что кто-то противодействует, кто-то работает во вред стройке. Прощаясь с Иваном Хайтаниным, он поручил ему:

— Главное — выясни, кто их баламутит. Понимаешь? И напиши мне с Ходжеро.

Лодка отошла от берега и сразу, подхваченная течением, ринулась вниз по реке. Все то, что медленно развертывалось перед глазами по пути в стойбище, теперь мелькало как кинематографическая лента, пущенная с огромной быстротой. Андрей сидел на руле, невольно подчиняясь радости, внушаемой быстротой.

И вдруг вскрикнул, еще не понимая, что случилось. Его кепка слетела на дно лодки, и одновременно он услышал выстрел. Лодочник бросился на дно лодки. Испуганный и возбужденный, Андрей пригнулся и посмотрел в

сторону выстрела — между деревьями вился расходящийся дымок...

Вернувшись на площадку, Андрей побежал к Морозову. Гордясь простреленной кепкой, он старался спокойно и равнодушно рассказывать о своих приключениях. Морозов повел его к уполномоченному НКВД Андронникову. Андронников приехал несколько дней назад, он еще очень мало знал, но в то же время знал гораздо больше Круглова. Чекистское чутье и опыт определили точное знание. Они подсказывали ему, что на строительстве и вокруг строительства работают враги, подкапываясь под самые основы развития стройки. Он еще не выяснил, на каких участках и какими методами ведется подкоп, но был уверен, что враги от него не укроются. Он не удивился тому, что противодействие заготовкам так сильно, но удивился выстрелу.

— Открыто действуют, — сказал он, качая головой.

Он внимательно слушал Андрея, разглядывая его сквозь очки близорукими глазами.

— А кто виноват в дезертирстве? — спросил он неожиданно.

Круглов вспыхнул. Когда кто-либо из комсомольцев совершал некомсомольский поступок, Андрей знал, что это его вина. Он не сумел воспитать... Он чего-то еще не сделал...

— Я! — сказал он решительно.

Андронников усмехнулся:

— Ты? Да. Ты, и я, и другие. Если враг не пойман, виноваты мы, большевики. При хорошей работе любого врага можно поймать. Так кто же эти враги?

Это был вопрос его, Андрея: «Кто вас баламутит?» Он не знал кто. Он рассказал о Николке и о других случайных комсомольцах, которые разлагали молодежь. Он со стыдом назвал Пака. Со стыдом потому, что сарай Пака был уже давно на замке, а сам Пак проводил дни и ночи на рыбной базе. Круглов не раз работал ночью на засоле рыбы. Пак был юрким и хитрым, слишком уж ласковым, его вид не вызывал доверия, но комсомольцы отдавали ему должное: он не жалел себя, всегда был на ногах, работал за троих, у него глаза покраснели от бессонных ночей, зато рыба никогда не портилась, — она быстро исчезала в бочках с рассолом, быстро ложилась в подземном леднике штабелями, пересыпанными солью. Пак был хорошим рыбаком, он знал свое дело...

— Присмотритесь получше к нему, к другим. У тебя

ведь зоркие глаза. Молодые. — Андронников пожал руку Андрею и снова усмехнулся: — Насчет молодых — это я так. Старые глаза зорче бывают: не разбегаются.

Андрей пошел по знакомому, но уже (за две недели!) изменившемуся поселку. Ревнивый глаз отмечал все изменения: над новым бараком настлана крыша, возле шалашей проложены деревянные мостки, у Кати Ставровой занавеска на окне, на двери столовой вывесили меню. Он даже подошел прочитать: «Свежая жареная рыба». На углу появился ларек. Катя Ставрова восседала там, окруженная рыбами и рыбьим запахом. Она замахала рукой Андрею и закричала во весь голос, подражая уличным разносчикам, вся розовая от смеха:

— Рыбы! Рыбы! Кому рыбы?!

Круглов подошел поболтать с нею. Катя хвастала — кета пошла. Рыбы, сколько хочешь, столько и лови. Морозов заставил в один день выстроить ларьки и продавать всем желающим. Клара Каплан с комсомольцами построила их за ночь. Рыбу берут нарасхват. Морозов агитирует, чтобы ребята покупали и сами солили себе на зиму, — рыбная база не справляется. Касимов подвозит все новые и новые массы рыбы. Валька уже засолил бочонок. А сейчас вечерами делает бочки. Он не умеет? Ну да, не умеет. Когда он захочет, он все умеет!

Клава сидела в другом ларьке. Круглов, не останавливаясь, ласково приветствовал ее. Чувство вины заставляло его избегать встреч. Но разве он виноват? Разум подсказывал ему, что жизнь совершила несправедливость, столкнув его с Диной за неделю до отъезда, когда Клава — такая хорошая, такая милая Клава! — уже собиралась в дорогу, общую и для нее и для него...

Следующий день был выходной. По Амуру лавиной шла кета. И вместе с нею вернулось лето. Было тепло и немного душно. В нежном небе тихо двигались облака, лишенные плотности и очертаний, легкие, как тающий дым.

Амур был так тих, что в его зеркальной глади было незаметно течение.

Андрей вышел из дому и столкнулся с Кларой Каплан. Ее окружили инженеры, чисто выбритые, в белых рубашках, в лучших костюмах, — они шли к берегу Амура насладиться последним летним теплом.

— Товарищи инженеры, приглашаю на рыбную базу! — полушутя-полусерьезно сказал Круглов, здороваясь с инженерами.

Инженеры предпочли принять эти слова только как шутку.

— Я уже две ночи работала, честное слово! — сказала Клара Каплан. — Какой день! Какой день! — воскликнула она, глубоко дыша, порозовев от воздуха и тепла. — Удивительно не хочется работать.

— Вы можете почить на лаврах, — сказал ей Слепцов. — Вы первый инженер, увидевший здесь законченное воплощение своей идеи.

Клара не поняла.

— Я говорю о ларьках.

Клара, обиженная, заставила себя рассмеяться и ответить:

— Моя идея на этом не остановится, но каждая идея хочет кушать. Лучше поработать на пользу этому питанию, чем ждать, когда вас накормят другие.

На берегу, у моторной лодки, возился Касимов. Он был в брезентовой робе и резиновых сапогах. Лицо его было коричнево от загара.

— На правый берег, — ответил он на вопросы инженеров, — халку потяну.

Новенькая халка казалась чистенькой и удобной. Инженеры стали проситься с Касимовым.

— Мы никогда не видели, как ловят рыбу неводом, — говорил Слепцов. — Ну что вам стоит?

— А сколько вас?

Начали считать желающих. Клара колебалась. Видно было, что ей очень хочется поехать. Но она обещала комсомольцам прийти на стройку бараков. Она вздохнула и вопросительно посмотрела на Круглова:

— А вы?

— Нет, нет, —сказал Касимов. — В ущерб делу никого не возьму. Оставайтесь, товарищ Каплан, в другой раз прокачу вас отдельно. И тебя, Круглов, тоже.

Он хитро улыбнулся обоим и сам пересчитал инженеров. Их набралось восемнадцать человек. Они испугались этой цифры, — не возьмет Касимов. Но Касимов весело кивнул головой:

— Добро! Лезьте поскорее, сейчас отчалим.

Клара и Круглов грустно глядели вслед удаляющейся халке.

— Соблазн преодоленный — уже не соблазн, — сказала Клара. — Пусть веселятся. А мы займемся делом.

И они пошли на стройку бараков.

А моторная лодка быстро тянула халку через реку,

перерезая течение. Инженеры развеселились от неожиданного развлечения, затянули песню. Инженер Федотов, рискуя свалиться за борт, сидел на корме и дирижировал хором. Касимов из моторной лодки улыбался им и не в лад подпевал.

На рыбалке было тихо. Два неводчика растягивали сети, да Тарас Ильич варил в котелке уху. Казалось, и кета не идет и не торопится никто. Но Касимов, обернувшись, крикнул:

— Смотрите!

И указал рукой на пустынный берег.

Берег шевелился, как будто весь гравий пришел в движение. Касимов развернул халку и прибил ее к берегу.

— Да это рыба! — кричали инженеры, перегибаясь через борт.

Весь берег был завален крупной, сильной, трепещущей рыбой. Огромные рыбы, разевая рты, подпрыгивали и ожесточенно били хвостами, зашибая друг друга, обезумев от желания спастись.

Инженеры сбежали по доске и с интересом разглядывали богатый улов.

— Товарищи инженеры, пойдите-ка сюда, — позвал Касимов.

Он встал на камень: его сухая стройная фигура была великолепна на фоне скал и опадающих осенних листьев.

— Он просится на полотно, — тихо сказал Федотов. — Если бы я был художником...

— Так вот что, товарищи инженеры, — сказал Касимов четко и решительно. — Улов, сами видите, какой. А погода жаркая. Если сразу не засолить — попортится рыба. Надо грузить, и грузить быстро. Так что делать нечего, придется поработать. Рыба для вас же нужна, зимою будете благодарны.

Инженеры пятились и переглядывались. Кое-кто пытался превратить все в шутку, кое-кто возмущался: «Да разве в таких костюмах можно грузить?»

— Мы не грузчики! — крикнул Слепцов. — Это просто глупо!..

— Слушайте, товарищи инженеры! — сказал Касимов, и лицо его потемнело. — Предлагаю вам по-хорошему, по сознательности. Погибнет рыба — вам же хуже. Но даю вам честное слово, слово партизана: кто откажется помочь — не возьму обратно. Оставайтесь здесь. На халку никого не возьму.

Поднялся шум. Дело принимало дурной оборот. Многие еще не верили, что это всерьез, и пробовали отшутиться.

Касимов отошел, засучил рукава и стал швырять рыбу в халку размеренными, плавными движениями. Неводчики и Тарас Ильич присоединились к нему.

— Послушайте, товарищ Касимов, — подходя, вполголоса заговорил Слепцов, — я вас прошу освободить меня. Вы же меня знаете. Я больной человек, у меня сердце, потом в этих брюках...

Касимов швырнул рыбину и вытянулся во весь рост. Его лицо побагровело, на щеках вздулись желваки.

— Что вам зимою нужно — жрать или в парадных брюках гулять? Стыдно, товарищ специалист!

И, принужденно смеясь, обратился к смущенно переминавшимся инженерам:

— Торопитесь, граждане! Мое слово крепкое. Оставлю ночевать — не обижайтесь.

— Это возмутительно! — крикнул Слепцов и отошел. — Это насилие, вы нас заманили, а потом — в грузчики!

— А как же не заманивать, — добродушно отозвался Касимов. — Где же я людей возьму? Комсомольцы и так ночами не спят. Сами понимать должны.

— Да ну, что́ там, грузить так грузить! — вскричал Федотов, быстро разделся и в одних трусах, мускулистый и довольный, стал рядом с Касимовым.

Ругаясь и посмеиваясь, инженеры один за другим присоединились к работающим. Один Слепцов медлил, прохаживаясь в отдалении.

— Смотрите, ночью теперь холодно! — кричали ему инженеры. — А комары здесь лютые, заедят!

Инженеры, кто в трусах, кто в парадных костюмах, дружно работали. Рыбья кровь забрызгала белые сорочки, грязными пятнами растекалась по брюкам и голым ногам. Но работа была веселая, размашистая, и день был чуден.

— Ты просишься на полотно! — посмеивались над Федотовым. — Великолепный сюжет! «В плену у партизана».

— А ну, веселей! — покрикивал Касимов, лукаво поблескивая глазами.

Слепцов еще упрямился. Касимов не обращал на него никакого внимания, инженеры шутили, и Слепцов понял, что его положение становится глупым, — все работают, кроме него, а потом разыграется нелепейшая сцена: от-

чаянный партизан может и в самом деле оставить его здесь. Да теперь, пожалуй, и товарищи поддержат Касимова: они-то работали!

Повесив на сучок новенький пиджак, Слепцов вразвалку подошел к работающим и небрежно, словно шутя, стал помогать. На его лице застыла деланная снисходительная улыбка.

— Побыстрее, побыстрее, товарищ Слепцов, — крикнул ему Касимов, — вам догонять надо, вон мы сколько уже накидали!

Через час халка наполнилась, а берег опустел. Касимов горячо благодарил за помощь, как будто инженеры сами вызвались грузить. Инженеры молчали, разглядывая свои закапанные брюки и голые ноги, покрытые липкими пятнами. Но когда, наскоро искупавшись в холодной воде, инженеры забрались в халку и расселись по бортам, уже не боясь испачкаться, и Касимов, улыбаясь до ушей, громко запел песню, все рассмеялись и невольно подтянули.

На левом берегу их ждала новость: пришел пароход. Оживленный Гранатов следил за выгрузкой муки и консервов. Тут же были Вернер, Клара Каплан, Круглов, Морозов, Андронников. Касимов подошел. Он представил инженеров как своих добровольных помощников. Он смеялся, переглядываясь с Кругловым и Кларой.

Гранатов спрашивал, как уловы, справляются ли с засолом. Касимов предложил пойти посмотреть и тут же, в сбежавшейся к пароходу толпе комсомольцев, навербовал новых помощников.

— Я пойду погляжу, — сказал Гранатов. — А ты, пожалуйста, не уходи с рыбалки, пока не выловишь последнюю рыбешку.

Мооми тоже пошла с комсомольцами солить рыбу. Ради выходного дня она изменила своему упрямству — из «монтера» согласилась на несколько часов превратиться в рыбачку. Но не успела она побыть минут десять на рыбной базе, как выбежала оттуда, размахивая руками. Она подлетела к толпе руководителей, не стесняясь схватила за руку Вернера и кричала ему в лицо, вращая испуганными глазами:

— Останови все! Останови все!

Никто не понимал.

Андрей взял ее за плечи:

— Ты что, Мооми?

У нее на глазах блеснули слезы.

— Останови ты! — сказала она жалобно. — Нельзя чистить нет! Рыба пропадай, пухни, нельзя чистить нет!

— Что за чепуха? — спросил Гранатов. — Ты что-нибудь понимаешь?

Мооми повторила, чуть не плача:

— Пропадай рыба, пухни, пропадай все!..

Они побежали на рыбную базу. Морозов бежал впереди, за ним Мооми, Андронников, Гранатов, Круглов, Вернер.

Пак кланялся, растерянно мигая глазками.

Андронников открыл несколько бочек. Распухшие касатки всплыли, матово белея вздувшимся брюхом.

Морозов схватился за голову и в смятении закричал на Пака:

— Да как же ты говорил, что чистить нельзя? Как же ты уверял, что чищеная рыба портится? Говори, лукавый черт, не отпирайся, ты не мог не знать, что рыба погибнет!

Пак бормотал, кланялся, щурил испуганные глазки.

— Ясно, — сказал Андронников. — Зовите Касимова, надо спасать то, что еще не погибло.

Гранатов тряс за плечи Пака:

— Вредить? Вредить вздумал? Вредить?

У него дрожало и дергалось лицо. На него страшно было смотреть. Сотни бочек свежезасоленной рыбы... зимний запас... Неужели все погибло?

Андронников увел Пака. Уходя, он успел сказать Круглову:

— Видишь, молодые глаза? Лучше стыдиться, когда ошибся, чем стыдиться, когда не поверил правде.

С этого дня Мооми временно покинула бригаду монтеров. Она стала помощником Касимова, заведующей засольным цехом.

Андрей Круглов гордился выдвижением Мооми. Она была его ученицей. Он воспитывал ее изо дня в день, он открыл под примитивным мировоззрением дикарки ясный и насмешливый ум, смелый характер и дремавшие под спудом жизненные силы. Глядя, как Мооми пылко и уверенно руководила засольным цехом, Андрей испытывал гордость. Но в то же время ему было мучительно стыдно перед нею и перед самим собою. То, что она раскрыла вредительство Пака, было случайно. Она могла пойти и могла не пойти на рыбную базу. Она не любила Пака, инстинктивно сторонилась его. Но что сделал Андрей, чтобы привить ей чувство бдительности? Ничего. Она радовалась новой жизни — и он радовался вместе с нею.

Он не научил ее понимать, что эту новую жизнь пытаются уничтожить враги.

Весть о разоблачении Пака привела в возбуждение весь коллектив строителей. О том, что враги существуют, знали все. Но вот он был перед ними — конкретный враг, маленький, юркий, лукавый, ласковый, укрывшийся под маской ударника. И оказалось, что о нем многое можно было сказать и раньше. К Андрею прибегали комсомольцы: «Он водкой спекулировал», «Он говорил, что, кто хочет жить, должен удирать отсюда», «А ты знаешь, Андрюша, старик-то, Семен Порфирьевич, дружил с ним... Его-то разговоры тоже вредительские».

Катя Ставрова пришла к Андрею и сказала с видом обреченной на позор: «Вот моя романтика! Это я привела в лагерь врага!»

Семена Порфирьевича не было. Он очень редко появлялся в поселке и давно уже не подсаживался к кострам. Но выяснилось, что он встречался со многими комсомольцами. Некоторые из них дезертировали. Гриша Исаков рассказывал о том, как старик запугивал его полной слепотой и уговаривал бежать как можно скорее. И тут же стало известно, что другим заболевшим куриной слепотой старик говорил то же.

Андрей стал противен самому себе. Шляпа! Как мог он просмотреть и старика и Пака? Как случилось, что он не сумел, не додумался всерьез поговорить с комсомольцами, предупредить их, научить их видеть коварную и осторожную работу врагов?

Романтика? Романтика хороша для Кати. «Человек из тайги... тигры... собиратели женьшеня...» Но он, руководитель, коммунист, какое он имел право не видеть истины?

Все его счастливые мысли о результатах своей работы сразу померкли. Нет, он не сделал почти ничего. Он прозевал основное. Он не справился...

Ему хотелось, чтобы его осудили. Он заговорил с Морозовым. Но Морозов встретил его словами: «Я безмозглый дурак! Я помогал ему солить рыбу и водил к нему комсомольцев, ни разу не проверив, правильно ли он руководит... Я виноват кругом!»

И Андрей не сказал уже приготовленной фразы: «Снимите меня, я недостоин». Уйти от руководства — это легко. Это самое легкое. Исправить, стать достойным — тяжелее, действеннее, правильнее. Воспитывать людей — искусство, которому надо учиться без конца. Он это знал, он же думал об этом еще там, в тайге (ночевки у костра

казались ему сейчас бесконечно далекими). Но он не знал тогда, что учит этому искусству сама жизнь, подгоняя, требуя, нанося удары, проверяя каждый шаг.

## 11

На рассвете хлынул ливень. Он хлестал землю до позднего утра, а потом выдохся и, уже не имея сил хлестать, поливал землю мелкими обессиленными струями.

Клара Каплан вышла из дому, защищая зонтиком лицо и осторожно ступая по скользкой, размытой глине.

— Алло, товарищ архитектор!

Покрасневшее от ветра мокрое лицо Вернера было мальчишески весело.

— Мы, кажется, служим с вами в одном учреждении?

Она прикрыла его своим зонтиком. Дождь барабанил по набухшему шелку. Клара с любопытством разглядывала мокрое оживленное лицо, полускрытое кожаным шлемом. Он был похож на летчика.

— Вы рано идете, — сказала Клара.

— Я имею обыкновение гулять по утрам. А вы действительно рано вышли. По вашему виду нельзя сделать заключение, что вы любительница прогулок под дождем.

— Я люблю работать утром, до посетителей.

Он взялся рукой, обтянутой кожаной перчаткой, за ручку зонтика:

— Тогда пойдемте. У «Амурского крокодила» будет обморок, когда она увидит, что я пришел раньше ее.

Его мальчишеский тон был приятен. Неразгаданный Вернер вдруг повернулся неожиданной, симпатичной стороной. Они пошли, ступая в лужи, оба держась за ручку зонтика.

— Вы не изменяете своему обыкновению гулять даже в такую погоду? — Клара не могла не подметить педантичности его речи: «Я имею обыкновение», «Нельзя сделать заключение». Но сейчас это не раздражало, а только забавляло.

— Да, — охотно ответил Вернер, не замечая иронии. — Если уж заводить такой обычай, так надо принять за правило: никогда не отступать. Кроме того, это дает мне возможность с утра обойти стройку и поселок.

Он спросил, как она устроилась, получила ли кресло. Она уверяла, что устроилась великолепно, с полным уютом.

— Вам не мешает гранатовский патефон?

Она засмеялась.

— Он не мешает, но удивляет.

Гранатов, видимо, тосковал по вечерам. Он часами заводил патефон. Клара, жившая рядом с ним, и Вернер, живший над ним этажом выше, были невольными слушателями.

— Вечерами его душа жаждет, — сказал Вернер. — Вы не замечали?

Клара передернула плечами и не ответила. Она искоса поглядела на Вернера: что он знает? И знает ли что-нибудь? Гранатов оказывал ей самое нежное внимание. Ей это было не нужно. Она избегала его. Нет, он герой не ее романа! Она боялась нервных, неуравновешенных людей: в обществе таких людей ее собственная неврастения поднимала в организме лихорадочную возню. Нет, нет, никаких переживаний! Она хотела работы, одиночества и покоя. Довольно!

— Я когда-нибудь приду к вам в гости, — все тем же мальчишеским тоном сказал Вернер. — Мне очень интересно, как выглядят у себя дома такие женщины, как вы.

— Какие же такие женщины?

Он смотрел на нее улыбаясь:

— Ну, скажем, такие беспокойные, страшно принципиальные женщины, всегда готовые вывести вас на чистую воду.

Это было сказано шутливо. Но именно в этом вопросе Клара не умела шутить. Она помедлила с ответом. Она вспомнила сразу слишком много. «Твои принципы приведут тебя в сумасшедший дом...»

— Знаете, товарищ Вернер, что я вам скажу? Можно относиться к этому с улыбкой, но свою принципиальность я выстрадала и отношусь к ней серьезно.

Он молчал, обдумывая. Они уже подходили к управлению. Дождь перестал. Клара закрыла зонтик, взглянула на Вернера — и сразу исчезло очарование этой краткой прогулки под дождем.

— У вас много замечаний? — спросил он отчужденно. Она поняла. Она противилась этой отчужденности. Но ее голос сказал резче, чем ей хотелось бы:

— Да. Это больше чем замечания.

— Может быть, вы поделитесь со мною? Я буду очень обязан вам.

«Я буду очень обязан». Раздражение всплывало снова.

Она прошла за ним в его кабинет, бросила на стол мокрые перчатки, сказала с нарочитой фамильярностью:

— Ладно. Слушайте.

Он был готов слушать. Но Клара сидела задумавшись. Она с трудом подбирала слова помягче. Все то, что обдумывалось и говорилось наедине с собою, было трудно сказать здесь, под внимательным и умным взглядом Вернера.

— Мое мнение еще предварительное. Возможно, я буду говорить бессистемно и резко...

— Очень хорошо. Вам виднее, чем мне. По роду своих обязанностей я вижу людей с вышки, с капитанского мостика, а вы — рядом с собою.

Почему он настаивал? Чтобы исправить? Или потому, что хотел выяснить, какие обвинения против него может поднять «беспокойный элемент», «страшно принципиальная женщина»? Как бы то ни было, он получит сполна.

— В этой вышке, по-моему, ваша беда. В наше время капитан обязан жить одной жизнью с командой, а вы не слезаете с мостика...

— Но когда я позвал сюда команду, и позвал по вашему выбору, она поддержала не вас, — быстро отпарировал Вернер.

— Вы хотите вернуться к этому злосчастному совещанию? — не сдаваясь, подхватила Клара. — Хорошо! Это одно из главных замечаний, даже обвинений. Вы как будто бы поддержали меня и Морозова, но поступили затем как раз наоборот.

— На это у меня были свои соображения, — сказал Вернер, не снисходя до объяснений. — Ну, а еще что?

Она сбилась. Тон превосходства, звучавший в его ответе, лишил ее уверенности. Она заторопилась, говорила сбивчиво, забывая доказывать, обрывая мысль на полуслове:

— Вы слишком уверены в своей непогрешимости. Вы создали между собой и коллективом пафос дистанции. У меня такое впечатление, что вы создали себе идеал руководителя, фикцию четкого управления. Вы играете эту роль иногда худо, иногда хорошо. Вы сумели поднять энтузиазм масс, но закрепить его не умеете. Или не хотите? Провал!.. У вас мало настоящих людей. Ваши благие намерения тонут в болоте вашего аппарата. Чиновники и сухие спецы... Вы не видите истинного положения. Если отбросить вашу иллюзию, это не управление, а пустота. Король гол.

— Сколько обвинений сразу! — воскликнул Вернер,

шутливо хватаясь за голову. Он слушал с насмешливым интересом. Он, видимо, не очень верил ей. Кларе хотелось, чтобы он защищался.

— Вот, например, ваши приемные часы, — сказала она вызывающе. — Как будто бы прекрасно. Утром, днем и еще до полуночи. Приходи, спрашивай, получай директивы. Но эта организованность — формальная. Комсомольскому бригадиру к вам не попасть. Их не пускают. Этот ваш «Амурский крокодил» и этот Кочанер — хронометр в очках, бритое ничтожество! — вот кто встречает комсомольцев, говорит с ними, создает впечатление о стиле руководства. В крайнем случае они попадают к Гранатову.

— Разве это плохой случай?

— Да ваш Гранатов не справляется и со снабжением!

— А вы бы справились? В наших-то условиях?

— Бросьте говорить об условиях! Это одна из ваших фикций. Трудности! Трудности! Надо лучше работать, лучше руководить — и половины трудностей не будет. Может быть, я и не справилась бы. Это не моя специальность. Но паники я бы не допустила. А у Гранатова — вечная неврастения. Комсомольцы уходят от него разочарованными, а производственные вопросы он не решает вовсе, он отправляет к Сергею Викентьевичу.

— Так они ведь в его ведении...

— Ведение! Ведение! Он добродушная шляпа. Он хочет всех удовлетворить, а поэтому не удовлетворяет никого. Посмотрите сами! У вас в приемной с утра до вечера инженеры, прорабы, десятники. Если бы он решал вопросы, они бы не бегали к вам.

Вернер морщился. Ему уже не было смешно. Этот бурный поток обвинений озадачил и раздражил его.

— Подождите немного. Вы что же, считаете, что мои приемные часы — формальная организованность, и все?

— Да! — сказала Клара запальчиво, хотя вовсе этого не думала. Чувство справедливости вынудило ее добавить: — Не все, конечно. Я за четкость, за порядок. Многие умеют изложить все за семь минут. Но многие и не умеют. Вы смотрите на часы еще до того, как изложено самое наболевшее. А эти очереди! Этот ваш «Крокодил»! Я не говорю, что надо пускать без очереди, но от священного трепета вашей приемной меня воротит! — Она засмеялась. — Причащение святых тайн. Вот бы поглядели. Даже толстяк Солодков старается подтянуть свое пузо перед дверью вашего кабинета.

Вернер перебил ее быструю речь:

— Вы остроумны, товарищ Каплан. Мне жаль, что я не могу этого увидеть. Но мое оправдание в том, что настоящие люди, вроде вас, пафоса дистанции не чувствуют и не боятся даже кричать на меня, как вы сейчас. А потом, что плохого, если Солодков раз в день подтянет свое брюхо?

Клара не ответила. Она поняла, что уклонилась в сторону, что дала себя увлечь от основного, принципиального к второстепенному, на котором не стоило настаивать.

— Не в этом дело. У вас чудесная стройка, чудесные строители и плохой аппарат. Живое дело глохнет в канцелярии.

— Вы преувеличиваете.

— Вы сами не видите, что вас окружает. И если хотите, — она разгорячилась и уже не выбирала выражений, — если хотите, корень зла — в вас. Вы властны и самоуверенны. Вы полагаетесь только на себя. Вы в стороне от комсомольцев, вы поставили себя над партийной организацией, попытки критики вы встречаете в штыки... Если вы отчитываетесь перед парторганизацией, то лишь формально, для очистки совести... Вы забываете, что один — самый умный человек — двигать такое дело не может...

Она замолчала задыхаясь. Сердце болело и неровно прыгало в груди. У нее темнело в глазах от боли и возбуждения. Откинувшись назад она ожидала, что́ он возразит.

Он сидел, прикрыв глаза.

На минуту ей стало жалко его. Порыв нежности охватил ее. Она заметила на его лице следы большого утомления. Она вспомнила его мальчишескую веселость, — неужели это было всего полчаса назад? Ей хотелось сказать: «Простите, я погорячилась. Я, должно быть, преувеличила».

И вдруг все рухнуло. Он осторожно (не открыто, а тайком, скосив глаза) взглянул на часы и сказал с холодной и снисходительной вежливостью:

— Ну что ж, спасибо за откровенность. Я не буду возражать вам. Вы сами оговорились, что мнение — предварительное. У таких людей, как вы, часто бывает сильно развитое воображение.

Клара сидела, как школьница, с яркой краской на щеках. «Сильно развитое воображение...», «Предварительное мнение...»

«Амурский крокодил» заглянула в дверь. Клара мет-

нула на нее такой взгляд, что дверь тотчас же закрылась.

— Я рад вам, хотя вам и хочется «вскрыть» меня во что бы то ни стало, — сказал Вернер, приподнимаясь, и уже открыто взглянул на часы.

Клара с трудом преодолевала смущение и связанность. Как глупо, как обидно повернулся разговор!

— Я считала, что мое мнение поможет работе. Зачем бы иначе я стала говорить так откровенно?

Вернер проводил ее до двери и у двери пожал ее горячую руку.

— Я ничего не имею против вашей откровенности, — сказал он.

Нет, он ничего не понял. Ничего не принял. Он выставил ее из кабинета, как девчонку, не нашел нужным даже возразить, оправдаться... А она высказала кучу сбивчивых мыслей, оробела, подчинилась.

— Если я разговариваю с Вернером, значит мне нужно, и нечего совать свой нос в дверь! — резко крикнула она секретарше, чтобы сорвать на ком-нибудь злость.

Она выскочила на крыльцо. Она не могла сидеть в помещении. Ее душило возбуждение, ей казалось, что сердце подкатывается к горлу. Это было странное ощущение. Оно бывало и раньше. Но сейчас ей нечем было успокоить себя.

— Я устала, — сказала она вслух, подставляя лицо мелким каплям дождя. Ее усталость не имела значения. Жить — значит бороться.

## 12

В комнате стояли кровать, маленький шкаф, стол у окна и в углу, сбоку, — одно большое, глубокое кабинетное кресло. Клара Каплан легла на кровать не раздеваясь.

Груду дневных впечатлений надо было разобрать, «привести к одному знаменателю» — так она называла вечернюю подытоживающую работу мысли. Совещание партийного актива... Она ждала от него многого. А Морозов? Он ждал еще большего. И он сумел ярче, толковее, сдержаннее, а потому убедительнее изложить ее — нет, свои — мысли, в которых она нашла воплощение того, что горело в ней, но не было продумано до конца. Руководители строительства не сумели возглавить энту-

зиазм комсомольцев. Качество руководства отстает, а потому тормозит размах стройки. «Уверенность некоторых товарищей в том, что они всё могут и со всем справятся, по меньшей мере неоправданна. А она создает благодатную почву не только для бюрократизма, но и для прямой вражеской работы». Если бы это сказала она, многие не заметили бы. Но это говорил Морозов. И он подкрепил свои слова несколькими предложениями, простыми и вескими, требующими коренного изменения методов руководства.

«Дорогой... Умница», — шептала Клара, слушая его неторопливую речь. В ее коллекции человеческих типов он попал в самую почетную рубрику «настоящих»... Во время борьбы в стройтресте был вот такой же, Петя Иванов. Никогда ничего лишнего. Никакой горячки. Спокойствие и требовательность. И какая железная непримиримость!

А Гранатов произнес блестящую речь. Она признала в нем ум и талант. Он говорил о зиме. Только дело. Смелые и серьезные проекты. Ни одна мелочь не была забыта. Проект... даты... исполнители... Было ясно, что он может руководить. В нем не было сегодня никакой неврастеничности. Может быть, это и расположило к нему Клару. Она аплодировала ему. Он ответил ей исподтишка благодарным и нежным взглядом. Они шли домой вместе. Он говорил с вдохновением о своей работе. О радости строить... Что ей не понравилось? Она не могла разобраться. Она вдруг не поверила ему. Вдруг закрылась для него, отчужденно и с грустью. Как тогда с Вернером, после прогулки под зонтиком.

Она даже присела на кровати. Она вспомнила. Он говорил о снабжении, о расхлябанности, о неумении доводить дело до конца. Говорил хорошо. Но Клара поймала очень внимательный и удивленный взгляд Вернера. Клара не задержала внимания на Вернере. Она была слишком поглощена существом спора, а сейчас вспомнила и этот спрашивающий взгляд и то, что он возник перед ней по дороге домой.

Чему удивился Вернер? Вернер многое прощал Гранатову. Он ценил его и, по-видимому, любил. Ах, вот чего он не мог простить!.. Гранатов ездил в Хабаровск дважды. В первый раз он был там около месяца. И все-таки ничего всерьез не обеспечил на зиму. Во вторую поездку он метал молнии, отдавал под суд, выгонял, сыпал выговорами, но время было упущено. Если бы летом...

Клара усмехнулась. Она перенеслась в недавнее прошлое. Стройтрест. Солодихин. Какое величие планов! Как он умел разработать и «закруглить» вопрос! Его мысль скакала неудержимо, увлекая слушателей. Клара увлеклась и голосовала «за». Разочарование пришло позже. Пункт 1-й. Не выполнили. Почему? «Видите ли, товарищи, была целая цепь причин... Товарищ В. должен был.. Мы ставили вопрос...» Пункт 2-й. Не выполнен. «Правда, нам не удалось придать массовый характер, но мы провели более узкое совещание аналогичного характера...» Пункт 4-й. Сорвалось. «Как вам сказать... мы развернули подготовку... зато сейчас... о, сейчас предполагаем провести новое, значительно более широкое и эффективное мероприятие...» Неужели и Гранатов такой же?.. И Вернер это понял?..

Клара курит. Слушает перебои сердца. Прислушивается к течению мыслей. Нет, она недовольна совещанием. Оно растревожило ее. Она ничего не выяснила. Мысли, предоставленные своему течению, плывут по кругу лиц, слов, впечатлений и сходятся в центре круга — к Вернеру! Вернер! «Я вижу, что требовал недостаточно. Я предупреждаю, что теперь я буду требовательнее и строже, я буду бес-по-ща-ден». Он пришел с опозданием. Он выступил коротко, гневно, как безапелляционный начальник. По всем лицам прошел холодок. Вернер был прав, но прав односторонне. Он не видел, что он авторитетен и еще любим, что люди тянутся к нему с искренним желанием помочь, подать руку. Он не принял помощи. Он стал выше ее. Когда он кончил, он остался наверху, над всеми — но один.

«Амурский крокодил» вовремя заглянула в дверь. Шепотом вызвала. Он ушел задолго до конца совещания. Языки развязались. В страстных спорах коммунисты искали путей, самых коротких, самых удачных — к победе. Вернер не вернулся.

Клара бросает папиросу, тотчас закуривает вторую. Она видит его стройную, легкую, ловкую фигуру, одиноко проходящую по комнате... Что? Какое ей дело?.. Ее томит навязчивое ощущение невыясненности. Воспоминание... Движение, наклон тела, лоб... Что? Кто? Кого он напоминает?..

Она сжимает похолодевшие руки. Предчувствие опередило мысль. Она прячет лицо в подушку. Не хочу! Не хочу! А мысль вертится, вертится в мозгу... Вот склоняется над нею изящная подтянутая фигура. Звучит голос:

«Вы производите на меня хорошее впечатление. Я рискую...» Знакомый наклон тела, знакомая властность голоса. Она уже встречала его?..

И вот мысль прорывается сквозь мгновенное видение: она видит себя в ложе театра, и склоненного над нею мужчину, и коробку конфет на бархате барьера, и мягкий, вкрадчивый голос говорит ей вполголоса: «Я рискую отдать вам свою свободу. Берите». Левицкий...

Она вскрикнула. Крик принял очертания имени. Закрыв глаза, сжав зубами папиросу, она старалась отогнать образ, о котором помнить не надо. Левицкий. Он вернулся в чертах другого. Но это невозможно. Это неправда. Они не похожи. Ничего общего. Ведь так же нельзя работать...

«...У вас сильно развито воображение... Такие принципиальные женщины, как вы...»

Когда она порвала с Левицким, он бросил ей в лицо, издеваясь: «Твои принципы приведут тебя в сумасшедший дом!» Он был ее мужем полгода. И полгода оказалось достаточно, чтобы узнать его и пойти в Контрольную комиссию...

Она его любила. Да. Еще сейчас, через три года, при мысли о нем ползут из глубины ее существа ощущения неясные, как отражения на льду. Она заледенила в себе эту любовь. И сколько острой боли принесла с собой победа сознания над чувством! Теперь, через три года, острой режущей боли уже нет, есть только легкое нытье, неопределенное покалывание...

Клара сжала руками бок, стараясь унять покалывание в сердце. Синий дым не растворялся в воздухе, а висел тяжелыми качающимися пластами. Если в этой комнате выкурить пять или шесть папирос, пласты заполнят всю комнату, станет еще труднее дышать. Стены давят, потолок кажется тяжелым, несмотря на свежую белизну. И с каждым глотком воздуха все затрудненнее дыхание и все ощутимее толчки сердца.

«Твои принципы приведут тебя в сумасшедший дом». Он должен был сказать: в могилу. Ведь именно тогда впервые сдало сердце, расплачиваясь за то напряжение и боль, которые Клара сама, силой сознания причинила себе...

Принципы. Все шесть месяцев Левицкий доказывал, что Клара играет в принципиальность, что ее нетерпимость смешна, нелепа, надуманна, является плодом нервного раздражения. Это началось в первые же дни.

Это ворвалось в хмельное очарование первых ночей, как далекий голос сирены, предупреждающий об опасности. Клара не сразу поняла сигнал. Она мягкой рукой отстраняла неосознанную опасность: «Не надо Вадима Лебедева, пусть не приходит больше...» И он так же мягко отводил ее руку: «Дорогая, он мой друг, присмотрись к нему, не выпускай коготки преждевременно». Она присматривалась. В конце концов она готова была любить всех его друзей... Но Лебедева? Щупленький, худосочный Вадим Лебедев, с красивой головой древнего римлянина, с великолепным, всегда послушным ему даром речи! Стоило ему впервые войти в квартиру, как Клара настороженно сжалась: он вошел как хозяин, слишком громко смеясь, слишком уверенно двигаясь, слишком властно покровительствуя. «Он удивительно интересный человек! — говорил Левицкий. — Такой ясный, оригинальный ум. Он мог бы быть большим философом». — «Мог бы? А что же ему мешает?» Лебедев вошел в их жизнь. Левицкий и Лебедев — они беседовали часами. Через приоткрытую дверь Клара прислушивалась ревниво и недоверчиво. Ее поражала эрудиция Лебедева. Она не все понимала. Она прониклась уважением к Левицкому, — он мог вести такие сложные философские разговоры! Клара чувствовала себя маленькой и некультурной, — от этих разговоров ей хотелось спать. Потом уважение сменилось тревогой. Высокоинтеллектуальные темы начали раскрывать перед Кларой свою враждебную сущность. Маска учености валялась на полу, под ее ногами. Клара уже все понимала, сквозь шелуху слов добравшись до сути: до пессимистических, реакционных рассуждений, в которых причудливо смешивались обрывки разных философских систем, слабо прикрытые контрреволюционные теории и сентиментально-идеалистическое воспевание «свободной, ни от кого не зависящей личности».

Она уже не чувствовала себя маленькой и некультурной — она чувствовала себя иной. «Он отравляет твой мозг! — сказала она Левицкому. — Мне стыдно, что ты позволил себя ослепить». Левицкий упрекал ее в том, что она ограничивает себя и свой кругозор, что она позволяет себе думать только по учебнику — «от сих и до сих».

Споры прекращались тогда, когда оба уставали спорить. Они забывались в любви. Но в минуту, когда Левицкий был размягчен и покорен, она вздыхала: «И откуда

он только взялся?» — «Мы познакомились случайно». — «Печальный случай!» — «Но, Клара, дорогая, мы ведь и с тобою познакомились случайно». — «Мы познакомились как члены одной партии». — «Клара, смешная ты девочка, не смешивай партию с сектой. Нельзя отгораживаться от всех некоммунистов». — «Но он чужой, чужой! Иногда мне кажется, что он враг». Он смеялся, обнимая ее: «Чудачка! Ты просто плохо понимаешь его. У него большой, оригинальный ум. Его мысли тесно в рамках, к нему нельзя подходить с общей меркой». Однажды в пылу спора Левицкий крикнул ей: «Да знаешь ли ты, что он был коммунистом еще до того, как ты знала это слово!» Он сразу спохватился. Он ничего не сказал больше. Он отрицал. Он имел в виду систему взглядов — и только. «Ну чтó ты вообразила, дорогая?»

Принципы. Именно тогда научилась Клара настоящей идейной принципиальности. Она пыталась участвовать в их беседах. Она вступала в спор как равная. Лебедев снисходительно шутил. Он соглашался. Он не принимал ее как равную. И он исчез. «Он уехал в командировку», — говорил Левицкий. Его не было полтора месяца. Пожалуй, за все шесть месяцев любви это были единственные ничем не отравленные дни. Страсть поглощала их, они с трудом отрывались друг от друга. Иногда тень тревоги проходила по его спокойному лицу. Она знала, как много у него преподавательской и административной работы, она понимала, что тени дневных забот приходят и ночью. Она снимала их лаской. И однажды забежала к нему в институт, чтобы доставить ему радость. Нежное ожидание сменилось гневным удивлением: она увидела Лебедева. Она сделала вид, что не узнала его, и поторопилась уйти, унеся с собой погасший порыв. Она ничего не сказала Левицкому. Она узнавала постепенно, осторожно, сдерживая гнев. Вадим Лебедев уже полтора месяца работает в институте помощником Левицкого. Левицкий сам рекомендовал его. Никакой командировки не было. Они встречались теперь в институте. Клара была лишней, ее отстранили.

Она попробовала объясниться и в ужасе отшатнулась. Она не узнавала человека, которого любила. Как мог, как мог Левицкий так подчиниться чужому влиянию! «Он исключительный троцкист, вот кто он!» — крикнула она по неожиданной догадке. И оказалась права. «Ну и что же? — холодно спросил Левицкий. — Он разоружился. Он честно работает. Чего ты от него

хочешь? Чтобы он не работал, не жил, не думал?!» — «Я хочу знать, что думает твоя партийная организация о вашей дружбе!» — «А какое ей дело до моей дружбы? Я от этого работаю не хуже». Клара замолкла, потрясенная. Она заговорила об этом позднее, ночью. Он был нежен и вкрадчив: «Да пойми же ты, маленькая упрямица, я не могу обо всем говорить на бюро. Один поймет, а пятеро не поймут, как не поняла и ты... Они считают Лебедева замаранным его прошлым, — для них этого достаточно. А я опираюсь на его ум, на его талант, на его знания».

Лебедев снова появился у них в доме. Он приходил реже, смеялся тише, мило беседовал с Кларой. Она сопротивлялась этому вторжению. Ей хотелось пойти в институт, в партком, и поговорить. Но ей помешал случай. Она была больна. Левицкий сидел с Лебедевым в своем кабинете. Они занимались делами и тихо разговаривали. Зазвонил телефон. Левицкий с кем-то разговаривал, потом взял трубку Лебедев. «Лелик, ты зайди сюда за мной», — сказал Лебедев. Клара спросила потом: «Кто это Лелик?» Левицкий улыбнулся. «Не бойся, мой дорогой следователь, это коммунист, и даже секретарь нашего парткома. Знакомство вполне в твоем вкусе...»

На другой день Клара пошла в Контрольную комиссию.

Вспоминая те дни, Клара чувствует, что самая острая, мучительная боль рождена вечером, наступившим после посещения Контрольной комиссии. «Я знала этого человека как честного коммуниста, спасите его, пока не поздно». Так она тогда сказала. Идти прямо домой было невозможно — она пошла круговым путем, по Невскому, по набережной. Набережная была пуста. В тишине раздавались только ритмичные всплески струящейся воды и деревянный скрип баржи, покачиваемой волнами. Этот скрип напоминал о качелях времени далекого детства. Клара долго простояла, припав грудью к холодящему граниту. Она чувствовала себя бесконечно одинокой и маленькой, как в детстве. Но величавое течение Невы навевало спокойствие. Клара собрала все силы и пошла домой.

Левицкий лежал на диване и читал. Увидев его, Клара вдруг испугалась. Такого неудержимого, панического страха ей не приходилось переживать ни до, ни после того дня. «Что я наделала?!»

Он обернулся на звук ее шагов. Клара запомнила на всю жизнь его улыбку и тот нежный жест, каким он отложил книгу, чтобы протянуть ей руку.

— А Лебедев где? — спросила она резко, пересиливая страх, любовь, отчаяние, да нет — все ее чувства переплавились в тот вечер в один невыносимо тяжелый ком, навалившийся на сердце.

— А разве ты его ждешь?

— Я жду, чтобы его вывели на чистую воду. Его и его оригинальный ум.

Левицкий засмеялся несколько принужденно, но все-таки подкупающе мягко и славно. Клара была влюблена в его смех.

— Клара, детка, не сердись! Если ты не хочешь, он больше не придет...

Тогда она выпалила единым духом:

— Я была сегодня в Контрольной комиссии, я просила их заинтересоваться оригинальным умом Лебедева и твоей дружбой с ним и его друзьями...

Он поднялся одним гибким движением:

— Ты... шутишь или ты сумасшедшая?

— Я говорю правду.

Она спокойно чиркнула спичкой, закуривая папиросу, но затягивалась так глубоко, что ее легкие хрипели, задыхаясь от дыма. Она следила, как он метался по комнате, принимала, как удары, жесткие и презрительные звуки его погрубевшего голоса, не будучи в силах вникать в их смысл.

Потом он сел на диван и сказал расслабленно:

— Ну что же, Клара! Таков веселый финал любви. Теперь кончай — уходи. Не марай свое ортодоксальное имя близостью со мной.

Она еще пыталась объяснить:

— Я пошла, чтобы спасти тебя как коммуниста, пока не поздно... Ты не хотел слушать меня, ты не верил... Я не сумела удержать тебя сама. Партия это сделает.

Он выкрикнул зло:

— Партия! Партия! Какой-нибудь середнячок со стажем послушал тебя и ахнул: раз уж любящая жена прибежала с доносом, значит дело дрянь! И — раз! К ногтю! Нет коммуниста Левицкого! Зато Каплан отгородилась, Каплан — как стеклышко!

Он перевел дыхание и сказал почти шепотом:

— И как я не разглядел тебя сразу, как я не прогнал тебя давно с твоим глупым ханжеством? Да, да!

Из-за таких, как ты, я и задыхался в партии, из-за таких, как ты, меня и тянуло к Лебедеву!..

Она стояла не дыша. Ком навалился, давил, давил...

— Уходи отсюда — ну! Поскорее, чтобы я тебя не видел, святоша с партбилетом, узколобая сектантка!

Она не ушла. Она сидела без сна на кровати, стиснув колени руками, думая, думая, думая... Временами она на минуту забывалась. Это был скорее обморок, чем сон. Ее вызвали к жизни шаги Левицкого за стеной. Он ходил взад и вперед, взад и вперед, в дверную щель была видна мелькающая тень в косом луче настольной лампы.

Она ушла утром. Товарищи по работе испугались, увидав ее желтое лицо и пустой, отсутствующий взгляд. Она хотела что-то сказать, но только вскрикнула и медленно осела на пол.

Потом была больница. Клара сидела целые сутки, свесив ноги: она не могла лечь, потому что невыносимый ком давил на сердце, когда она ложилась.

Потом была Контрольная комиссия, вызовы в ГПУ, разговоры с партследователем, снова Контрольная комиссия. Они встретились там — два врага. Он усмехнулся, когда она сказала: «Я отдаю себе полный отчет в том, что произошло. Левицкий не враг, он запутался, его запутали. Операция тяжела, но она ему на пользу. Я говорю так не потому, что я его люблю, а потому, что я его знаю».

Она его не знала. Когда его исключили из партии, она готова была роптать. Но она не роптала. Она верила. Значит, она не до конца оторвалась от своей любви. Значит, так надо. Если он коммунист, он вернется в ряды партии. Ничто не может отбросить коммуниста от его партии, если он чувствует партию своей.

Он не вернулся. Она жила как призрак. Убитая любовь мстила ей, разрушая самую основу ее жизни — сердце. Клара взяла себя в руки и уехала лечиться. Потом она с радостью законтрактовалась на Дальний Восток. Хотелось начать все сначала в этом краю, где все ново, все рождается, где так нужны умелые руки для формовки созидаемой жизни.

Уже на вокзале она узнала: Левицкий арестован. Значит, она не ошиблась? Она не принесла своей любви в жертву ошибке — она уничтожила то, что ложно, ради того, что истинно и прекрасно.

Теперь боли уже не было, только легкое нытье, неопределенное покалывание...

Клара вытянулась на кровати, стараясь унять это покалывание. Память оживила прошлое, чтобы еще раз похоронить его. Ее мысли тянулись к будущему, к настоящему...

«Да, так что же такое Вернер?»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Она проснулась сразу, одним толчком сознания. Значит, она заснула. Часы показывали двенадцать. Патефон за стеною струил свою жалобу: «Я влюблен в вашу узкую бровь...» Она кашлянула, чтобы напомнить о себе. Двенадцать часов. Надо же дать покой хоть ночью... У нее болела голова. Слишком большая нагрузка для одного вечера. Воспоминания — излишняя роскошь для человека, интенсивно живущего настоящим и будущим.

— Клара, можно к вам?

Опять он, Гранатов. Он вошел на цыпочках. Хорошо и то, что смолк патефон. Эти музыкальные жалобы, надрывающие душу...

— Ну, что вам? У меня болит голова.

— Может быть, вам что-нибудь нужно? Намочить платок, сбегать за лекарством?

— Вы слишком солидны, чтобы бегать, Гранатов. Мне ничего не нужно.

Ей ничего не нужно. А ему нужна она. Она себя чувствовала сейчас только женщиной, желанной и равнодушной. Его желание не доставляло ей удовольствия. Она относилась бы к нему лучше, если бы он не желал ее.

— Вам пора спать. Ваш патефон навевает вам глупые мысли. Подарите его комсомольцам — они будут по крайней мере танцевать.

— Зачем вы издеваетесь надо мною, Клара?

Она не ответила. Она откровенно зевнула. Он топтался у порога, не смея приблизиться. Какими разными бывают люди на работе — в общественных проявлениях — и у себя дома — в проявлениях личных. Гранатов казался ей сейчас жалким, ничтожным, — отвергнутый мужчина без гордости.

— Я иногда слушаю ночью, как вы ходите по комнате, и мне страшно мутно... Ведь не обдумываете же вы очередной проект, когда вам не спится? Я хочу, чтобы вам было хорошо. Я бы носил вас на руках...

Клара приподнялась на локте. Как трещит голова! И это правда — она одинока, кто будет носить ее на руках? Ну вот, зачем же носить... Она ходит уверенной походкой.

— Вы ошиблись. Я именно обдумываю очередной проект, когда мне не спится.

— Почему вы так резки со мною, Клара? У вас хрипловатый голос и ледяная душа, в вас нет ни чувств, ни женской мягкости... Мне кажется, вы притягиваете меня как противоречие, как отрицание моего идеала женщины...

— Хватит! — Клара вскочила. — Я не желаю слушать. Мне нет никакого дела до вашего идеала. И идеал-то, наверное, жалконький, потрепанный.

Она мигом закусила губу. Это уже слишком. Он побледнел. Его руки нервно сжались — темные змейки шрамов мелькали перед ее глазами.

— Клара, вы может не любить меня, но презирать... Кто дал вам право думать, что мои идеалы жалки и потрепанны?

— Простите.

Она склонила голову. Ей стыдно. Он снова — Гранатов, нервный, но сильный и уверенный в себе. Гранатов, каким его знают все. Гранатов, которому она сегодня аплодировала.

— Вот видите, дорогой, до чего вы меня довели. Я не думала того, что сказала. Но, право же, у меня так трещит голова. Идите спать, Гранатов. И забудьте обо мне. Не надо. Я не хочу. Я хочу покоя. Я вас очень уважаю, Гранатов, но мы никогда не сойдемся.

Он пошел к двери.

— Если бы вы знали, как я тоскую иногда!..

Это был крик души. Клара стояла, опустив глаза, не зная, что ответить. Но Гранатов уже совладал со своими нервами и добавил с легким смехом:

— Все из-за вас! Но какое вам до этого дело!

Дверь за ним закрылась. Нет, Клара была уверена, что дело не только в ней. Его тоска была глубже. Она чувствовала эту тоску еще тогда, когда не занимала никакого места в его жизни.

Одиночество?

Она огляделась. Комната пуста. Кресло стоит в углу. Если бы сейчас пришел кто-нибудь, сел в это кресло, закурил длинную ароматную папиросу, говорил внимательно и нежно, ничего не требуя, ничего не желая!

Она знала, кого ей хотелось увидеть в кресле, в двух шагах от себя, чей спокойный, дружелюбный голос ей нужен. «Я когда-нибудь приду к вам в гости». Он не приходит. Его тянет к ней дружба и вражда. Он равен

ей или сильнее ее? Во всяком случае, с ним интересно померяться силами. Да нет! Нет! Снова борьба?

«Я устала. Я хочу видеть в людях только хорошее. Я хочу отдохнуть, поговорить... О чем? О книгах, о том, какой ветер над Амуром, о дружбе».

Наверху, над головою, возникли шаги. Он вернулся домой. Как просто было бы выйти в коридор и позвонить. «Вы собирались ко мне в гости...» Он сидел бы в кресле, вот там, откинувшись назад. Спокойные кольца дыма. Сдержанный голос... Снова патефон. Да что это за наказание!

Он все кричит «jamais, jamais»
И плачет по-французски...

Чепуха какая-то! «И плачет по-французски...» Вот он не стал бы тосковать под напевы Вертинского, даже если тоска невыносима.

Телефон в коридоре на стене. Выйти и позвонить. Потоварищески просто. «Алло! Зайдите ко мне, поговорим о чем придется...» Гранатов будет прислушиваться, — как глупо иметь влюбленного за стеной! Хотя какое ей дело? Он достаточно умен, чтобы отношения не переносить на работу. Не в ее правилах отступать.

В коридоре темно. Рука ощупью находит трубку. Голос тихо роняет номер. Наверху раздались шаги, и почти одновременно оборвалась на середине песенка патефона.

— Алло! (Голос слышен и в трубке и сквозь потолок сверху.)

— Это вы, Вернер?

— Это я. Кто говорит?

— Клара Каплан.

И почему-то не нашлось слов. Она ждала.

— Добрый вечер, товарищ Клара. Чем я обязан?..

— Вы ничем не обязаны. Я услышала ваши шаги над головой. У меня адски болит голова.

— У меня есть пирамидон. Я рад, что вы позвонили. Хотите, я приду к вам и буду вас лечить?

— Лечить не надо, но приходите. И принесите ваш пирамидон.

За стеной тихо. Гранатов прислушивается.

Свет в его комнате погас. Гранатов сердито напевал в темноте:

В бананово-лимонном
Сингапуре, тру-ре...

Клара вернулась в комнату, поправила покрывало, подошла к зеркалу. И вдруг, по мгновенному побуждению, скинула свою блузу и натянула шелестящий шелковый джемпер. «Укутав сердце в шелк и шеншиля...» Откуда это? Ах да, все тот же Вертинский!

Ощущение шелка на плечах было приятно. Вы находите, товарищ Вернер, что такие женщины выглядят плохо у себя дома?

«Что за глупости! Дурацкое настроение. Головная боль виновата. И эти песенки... „Укутав сердце в шелк и шеншиля..."»

Четкий стук.

Она открыла, смущенно отводя глаза. Вернер испытующе смотрел на Клару. Ей к лицу этот джемпер, у нее красивая фигура. И она его сама позвала... Что же... может быть, это начало романа?

Он взял ее руку и ласково пожал.

— Ваш пульс? Стойте, стойте, я к вам в качестве доктора. Вот пирамидон. У вас есть кипяченая вода?

Клара вышла на кухню за водой. Пробираясь со стаканом в руке по темному коридору, она представила себе отчетливо: сейчас она войдет в комнату, комната не пуста, в мягком свете настольной лампы, в кресле — Вернер. Они будут разговаривать тихо, не торопясь.

Вернер, все еще стоя, оглядывал комнату.

— У вас хорошо, — сказал он. — Я не люблю, когда в комнате много вещей.

— Да, не правда ли? Хорошо дышать.

— Хорошо жить, я бы сказал. Салфеточек нет. — Он посмотрел — поняла ли она. Она поняла. — Вот вам облатка. Глотайте. А теперь немного полежите.

Улыбаясь, она взяла папиросу из его коробки. Длинные, очень хорошие папиросы. Спокойные кольца дыма... тихий разговор...

— Ложитесь, — настаивал он. — От этих заседаний может заболеть самая крепкая голова. Бесконечная говорильня.

Она прикурила в эту минуту и вдруг откинула голову. Он говорил о совещании партактива.

— Вы напрасно не были до конца, — сказала она. — Вам было бы интересно и полезно. Говорили много дельного.

Он устало отмахнулся.

— Это все я знаю сам.

— А между тем актив искал путей, которые помогли

бы вам. Если вы знаете, почему вы не сказали? Но я сомневаюсь, что вы знаете. Вы не верите в то, что рядовые люди могут помочь вам. И в результате, растрачивая общественное доверие и свой авторитет, вы остаетесь в красивой изоляции. Конец этой изоляции может быть печален.

Вернер досадливо поморщился. Он хотел сесть в кресло, но не сел, а слегка оперся на его широкую ручку. Клара тоже стояла, серьезная, готовая к схватке. За стеною было тихо — ни патефона, ни шагов.

— Почему изоляция? Какие у вас доказательства?

— Доказательства? Вы бы посмотрели на сегодняшнее совещание! Вас ждали. Вас слушали с уважением, с доверием! Вы говорили умно, но с таким административным холодом! Вы еще верите, что приказами и выговорами можно двигать дело. Вам хотели помочь—вы прикрикнули: не нуждаюсь, сделаю все сам. Взрыва не было,— у вас еще остался некоторый запас авторитета. «Сильная личность», «фигура» — так про вас говорят. Когда вы ушли, все почувствовали себя как дома.

— Распустили брюхо? — зло блеснув глазами, бросил Вернер и тотчас же сдержанно добавил: — Итак, я вас слушаю дальше. Что же вы нашли, когда я ушел? — Она все-таки задела его. Этот злой огонек блеснул, какое бы внешнее спокойствие ни заслоняло его.

— Вам надо изменить методы,—сказала она мягко.— Меньше административного восторга, больше настоящей партийности.

Он изменился в лице.

— Послушайте, Клара. Я в партии много лет и всегда работал партийными методами. В чем вы меня обвиняете? Возможно, я мало уделяю времени партийной организации, но поймите же вы, неистовая женщина, ведь на мне лежит миллион забот! Ударные и сверхударные стройки, материалы, сметы, снабжение, нормы, фановое литье, стекло, алебастр, зарплата, жилищный вопрос, макароны, дверные петли... Черт знает что! За всем не углядишь.

— Да, — подхватила Клара. — Потому что вы работаете в одиночку, вы не хотите и не умеете работать с массами, прислушиваться к их голосу. В ваших мыслях партийная и комсомольская жизнь оторвана от плана, от стройки, от вопросов снабжения и труда. А потому и не нужны вам...

— Вы пересказываете слова Морозова! — недоброжелательно бросил Вернер.

— Если это слова Морозова, тем более надо к ним прислушаться, — резко ответила Клара.

— Благодарю вас за совет.

Они смотрели друг на друга, как враги. Ей вдруг стало очень грустно. Она отошла в другой конец комнаты, стиснув пальцы, злясь на себя.

— Не будем говорить об этом, Клара, — сказал он мягко. — Это очень серьезно. Возможно, вы во многом правы. Я не хочу спорить. Я обдумаю ваши слова. — И после паузы: — Пирамидон подействовал?

— Да.

Мягкий свет тепло разливался по комнате. Уютное кресло одиноко стояло в углу — одиноко и ненужно. Вернер притушил папиросу, вежливо улыбнулся:

— Ну вот я вас и вылечил. И вы мне сказали все плохое, что могли. Спасибо за откровенность. Это уже не пирамидон, а хорошая доза нашатырного спирта.

Неужели он уйдет? Клара чувствовала непоправимость случившегося. «Укутав сердце...» Какой глупый вечер, все как-то косо вышло.

Она не знала, что сказать, как удержать его.

Он оглядел ее всю—от взволнованного лица до узких носков изящных туфель.

— Я не представлял вас себе такою дома, — сказал он медленно, — вы красивее и изящнее, чем я думал. Но когда я шел к вам, я мечтал о том, что мы с вами поговорим сердечнее и спокойнее — ну, просто отдохнем немного.

— Я тоже... — еле слышно сказала Клара.

— Вышло иначе,—не расслышав, продолжал он.—Но я благодарен за хорошую дозу нашатырного спирта.

«Начало романа не вышло. До чего принципиальная женщина!»

«Вот и все. Он уйдет. Ветер на Амуре не для меня».

— А, может быть, теперь, после принципиальной части, можно поговорить сердечней и спокойней?

Она улыбнулась неуверенно, просительно. Она держалась за остатки иллюзии.

— Не выйдет, Клара. У вас болела голова, вам надо спать. А я пойду пройдусь перед сном.

— Вы имеете обыкновение гулять перед сном?

— Нет. Это дополнительно, после нашатыря.

Уходя, он пожал ее руку. Клара уже открыла рот,

чтобы сказать, что пойдет вместе с ним. Но дверь комнаты Гранатова открылась, на пороге появилась настороженная фигура.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Уходя к себе, она резко сказала Гранатову:

— И чего вы не спите? Если вы не можете спать, шли бы погуляли, или пошли в гости, или хоть почитали бы.

До нее донесся обиженный и грустный ответ:

— К сожалению, мне никто не позвонил, что болит голова, и у меня нет пирамидона.

Когда она ложилась, он запел за стеною, паясничая:

И углы оскорбленного рта...

Она заснула много позднее, уже после того, как по лестнице и затем наверху, над ее головою, прозвучали спокойные, уверенные шаги.

## 13

Геннадий Калюжный был прямодушен и упрям. Он принадлежал к породе людей, которые не дают себе труда много думать и охотно принимают готовыми результаты размышлений других. Он был силен как бык и чувствовал в этой силе свою лучшую защиту и лучшее подспорье. Но, как большинство сильных мужчин, он был добр и нуждался в любимом и более слабом друге, чтобы расходовать свою силу на двоих. Этим другом был Сема. Они подружились много лет назад, еще мальчишками, когда Геннадий защитил Сему в неравной драке, в которой Сема ни за что не соглашался отступить. Сема был слишком горд, чтобы благодарить его, он ушел с окровавленной губой и синяками, но сохранил в глубине души признательность и восхищение. Они ходили еще некоторое время друг около друга, не сближаясь, пока Семе не удалось доказать Геннадию превосходство своего ума и своих знаний, чтобы таким образом уравнять шансы. Геннадий отнюдь не был горд, он был молодым теленком, готовым одинаково и бодаться и тереться мордой о ласковую руку. Он ринулся навстречу дружбе, отдаваясь ей целиком и заранее признавая себя слабейшим во всем, кроме мощи своих великолепных мускулов. Как истинные одесситы, они оба были философами в мелочах повседневной жизни, оба избегали сентиментальных признаний и

скрывали под маской добродушного скептицизма порывистость своей дружеской любви.

На пути их дружбы еще ни разу не становилась женщина—это величайшее испытание мужской дружбы. Любовные приключения Геннадия развлекали, но не задевали Сему, — он следил за другом, внимательный и насмешливый. У самого Семы никаких приключений не было. Он увлекался в Одессе многими девушками, но каждый раз увлечение вытеснялось дружбой, он спешил передать все свои мысли и теории, больше заботясь о душевном росте своих подруг, чем о любви; он потворствовал их романам, выдавал их замуж, приносил погремушки их младенцам. Час любви еще не пробил.

Когда на горизонте двух друзей появилась Клава, Геннадий молча отступил — он не хотел ссориться с другом. «Нет так нет. Точка», — сказал Геннадий. Клава полюбила другого. И большое любящее сердце Семы откликнулось на эту любовь пониманием и грустью. Геннадий про себя улыбался: «Еще одна дружба! Ну что ж, он будет выдавать ее замуж».

Оба свободные от любви и соединенные всем укладом жизни на строительстве, два друга сошлись еще теснее. Они уже не представляли себе, что смогут разделиться, жить врозь. И тут появилась Тоня, Тоня — единственная из девушек, которую Геннадий считал совершенно неспособной привлечь внимание Семы. Как это случилось? Геннадий не знал, не видел. Любовь друга застала его врасплох, он к ней не подготовился. Он узнал о ней тогда, когда все было решено. И он ощетинился ревниво и враждебно против чужого посягательства на свободу его лучшего друга.

Сема Альтшулер вышел из больницы в конце октября и в тот же день, на последнем пароходе, должен был уехать в отпуск. Его ждали не раньше конца декабря, учитывая месяц пути и осеннее бездорожье.

Сема пришел домой слабый и сияющий. Геннадий ждал его в тревоге и волнении. Здесь наконец он мог откровенно поговорить с другом. Но Сема одним жестом отклонил разговоры. Он собирался в дорогу, как на свадьбу. Он надел лучший костюм и пестрый галстук, до блеска начистил рваные ботинки.

— По крайней мере за эти два месяца подумай... — начал Геннадий.

— Слушай, Геньчик! — сказал Сема торжественно. — Я знаю все, что ты можешь мне сказать. Все плохое я

знаю сам. И плохое для меня не существует. Не будем об этом говорить.

Пришла Тоня. Геннадий встретил ее с подчеркнутой учтивостью и быстро вышел.

Сема стоял посреди шалаша, жалко улыбаясь. Тоня смотрела на него, не узнавая. Он был чисто выбрит, принаряжен, далек. Он был не тем, каким она знала его и полюбила. Ее охватило чувство неуверенности, сковавшее ее движения и язык.

И Сема не знал, что сказать.

Они как будто впервые встретились.

— Пойдем пройдемся,—сказал Сема, чтобы прервать это тягостное одиночество их смятенных душ.

Они пошли вдоль шалашей, не разговаривая и не прикасаясь друг к другу.

Когда шалаши остались позади, оба остановились, не сговариваясь. Над ними было только высокое свободное небо. Вокруг них — только пеньки и полусгнивший, почерневший мох.

— Тоня,—сказал наконец Сема.—Я должен говорить с вами как товарищ с товарищем. Я храбрый человек. Я не хочу обманывать тебя и себя. Тонечка, вы меня спасли от смерти, вы были мне ангел-хранитель, невеста и мать, вы были очень умны, Тоня...

Тоня смотрела в сторону, на удаляющиеся черные пеньки с желтыми маковками.

— Это пустяки.. я сделала то, что нужно. О каком обмане ты говоришь, Сема?

— Тоня... Я говорю о вашем сердце, Тоня. Скажите мне как друг. Вот я перед вами на ногах, здоровый. Я поеду лечиться, потом я вернусь. Вы не раздумали, Тоня, вы и сейчас думаете, что я могу назвать вас своей женой?

— Да.

Она отвечала правдиво, она этого хотела. Но смятение охватило ее. Он был чужой, чужой. Немного ниже ее ростом, в пестром галстуке и блестящих рваных ботинках, с худеньким, досиня выбритым лицом,—он уже не был Семой, ее беспомощным, трогательным, ласковым питомцем, который затихает под освежающей лаской ее ладони. Он уже оторвался от нее, он уже существовал вне ее жизни. Удастся ли им снова слить свои жизни вместе?

— Я не хочу спрашивать, Тоня, любишь ли ты меня. Я знаю, ты меня полюбишь, Тоня. Но я прошу об одном.

Скажите мне честно, Тоня. Может быть, мы отложим до моего возвращения? Может быть, вы хотите проверить себя, обдумать, решить на свободе?

— Нет! — крикнула Тоня, прижимая руку к груди. Нет, она этого не хотела, ей это не было нужно. Она не хотела проверять себя.

Сема смотрел на нее с преданностью и волнением. С какой радостью он обнял бы ее, свою любимую, и спрятал лицо на ее груди, и прошептал ей слова любви, которые столько раз говорил ей мысленно, не смея произнести вслух! Но он и сейчас не смел. Сейчас больше, чем когда-нибудь. Они оба вернулись в жизнь. В этой жизни у Тони были свои, не связанные с Семой чувства, — забыты ли они или только загнаны внутрь двухмесячным напряжением сил, сосредоточенных на его спасении?

— Тоня, — сказал он, — подумайте хорошо. Его здесь нет. А если бы он вернулся? Если бы он пришел к вам и сказал: «Тоня, прости меня», — вы бы не пожалели? Вы бы не нашли в своем сердце любви к нему?

Этого не надо было говорить. Он почувствовал сам, что ставит ей ловушку, унижает ее.

— Нет! Нет! — выкрикнула Тоня, побледнев. — Я его презираю. Я не хочу вспоминать его. Это кончено, кончено! Ты меня оскорбляешь, я презирала бы себя...

Сема взял ее руку, медленно поднес к губам и поцеловал с торжественной почтительностью. Ему было стыдно за свой ревнивый порыв, за проявление мужской нетерпимости, чуждой всем его взглядам.

— Тоня, — сказал он тихо. — Я клянусь тебе, что если твое счастье зависит от меня...

У него пресекся голос.

Тоня обняла его и прижалась к его плечу лицом. Они не смели поцеловаться, но это невинное объятие сблизило их больше, чем поцелуй.

Они вернулись домой.

Геннадий сидел у входа в шалаш, подперев кулаками мрачное лицо. Он взглянул на Сему, потом на Тоню. Он понял, что все решено. Его больно кольнул понимающий взгляд, которым украдкой обменялись на его счет Сема и Тоня.

Дружба отступала перед любовью.

Удрученный, Геннадий поднялся им навстречу и придал своему лицу веселое и насмешливое выражение. Он был вынужден с улыбкой приветствовать обоих и затем

выслушивать, как Сема в пышных выражениях объявлял о предстоящем браке.

Геннадий боролся с собой, со своей ревностью и недоброжелательством, вплоть до момента прощания. Если бы Тоня ушла хоть на минуту, он обнял бы Сему и сказал ему что-нибудь такое дружеское, шутливое, снимающее тяжесть. Но Тоня не уходила ни на минуту. И Сема не подумал о том, что надо остаться наедине с другом, — он забыл о нем!

Когда прощались, Геннадий сделал последнее усилие.

— Отдыхай и толстей, Сема, и кланяйся Черному морю, — сказал он. — Я позабочусь о Тоне, и, когда ты приедешь, лучшая семейная комната в новом бараке будет отделана для тебя: я ее отделаю сам, можешь быть спокоен.

Сему провожали толпой, с песнями. Тоня запевала, но никак не могла допеть ни одной песни до конца. Счастье переполняло ее своей новизной. Она слушала шутки и пожелания, сыпавшиеся на них со всех сторон. Сема сжимал ее руку и заглядывал в ее лицо сияющими глазами, и Тоня верила, что счастье будет.

На берегу они снова не посмели поцеловаться. Но когда Сема был уже на борту и матросы готовились убрать сходни, Тоня рванулась вперед, легко взбежала по сходням и упала в объятия Семы. Она поцеловала Сему прямо в губы, и оба не могли оторваться от поцелуя, говорившего им так много о любви, о доверии, об ожидании, о надеждах.

Потом Тоня сбежала по сходням и смелым прыжком прыгнула прямо в толпу друзей.

Ей аплодировали. Пароход унес сияющие глаза Семы. Еще видна была его поднятая рука с кепкой.

Потом все слилось.

Тоня стояла, глядя вперед остановившимся взглядом. В сумерках никто не заметил ее помертвевшего лица. То, что происходило в ней, было так страшно, что не было сил поверить. «Нет, я просто неудачно прыгнула». В обострившейся памяти, как один день, промелькнули последние два месяца, полные тревоги и забот. «Но как же я не заметила?.. Или я забыла теперь?..» Она знала, что ничего не забыла, но правда была слишком неожиданна и страшна.

— Пошли, Тоня, — сказал Геннадий и взял ее под руку.

Впоследствии она не помнила, успела ли она сделать

несколько шагов или что-нибудь сказать. Она очнулась на мокрой земле, на чужом плаще. Голова и грудь были мокры. Катя Ставрова склонилась над нею и шлепала ее по щекам, чтобы привести в чувство. Тоня долго бессмысленно вглядывалась в лицо Кати, не узнавая ее и не понимая, что случилось. В голове стоял шум — грохот якорных цепей, плеск воды, вой прощальной сирены. И вдруг ужасная правда дошла до ее сознания. Тоня вспомнила все и закрыла глаза, ей не хотелось жить...

Но Катя шлепала ее по щекам, мокрый платок холодил лоб, струйки воды стекали по шее. Тоня встала, вытерла мокрый лоб и пошла домой, поддерживаемая с двух сторон Геннадием и Катей.

— Ну и влюбленные! — смеялась Катя, пытаясь расшевелить Тоню. — Может быть, и Семочка теперь в обмороке? Вот нежности, прямо как в романе!

— Тоня больше месяца спала, сидя на табурете. Вот тебе и нежности! — оборвал Геннадий.

У него могло быть свое мнение о Тоне, но он обещал Семе беречь ее, и с этой минуты никто не смел затронуть при нем невесту друга.

## 14

Сергей Голицын уже неделю жил в Александровске на Сахалине. В первый же день, торопясь уехать с острова, он отправился в порт. Дорога шла через болотистые пустыри, мимо складов и мастерских. На пустырях рядами раскинулись палатки. У палаток играли дети, на веревках сушилось белье, в канавах копошились свиньи.

— Эй, парень, — крикнул Сергей мальчишке, подстерегавшему с рогаткой воробья, — ты что, живешь здесь?

— Не. Парохода ждем, — равнодушно процедил парень. — На материк!

В порту Сергей узнал, что пароход с материка ожидается через неделю, но попасть на него будет трудно — большая очередь. «ОСУ!—ворчал Сергей, шагая обратно мимо палаток, где жили его конкуренты. — ОСУ — черт бы его драл!»

Мальчишка все еще был на том же месте, но теперь он оживленно размахивал рогаткой и что-то кричал Сергею. От его равнодушного недоброжелательства не осталось и следа.

— Мазурук! Мазурук! — кричал Сергею мальчишка, указывая на небо.

Серебристый самолет с двумя гондолами сделал приветственные круги над городом и пошел на посадку.

— Какой Мазурук? Самолет! — сказал Сергей.

Мальчишка с презрением оглядел невежду:

— У Мазурука синие полосы на крыльях, а у Иванова красные. Откуда ты взялся? В тайге, и то знают.

Сергей зашагал в аэропорт. Может быть, его возьмут в Хабаровск? Он увидел пилота, и сердце его сжалось,— подтянутый, синеглазый, самоуверенный, пилот стоял на крыле самолета, распоряжаясь разгрузкой почты, и синие глаза его с доброй насмешкой косились на сбежавшихся к берегу людей, из которых любой готов был принять его как лучшего друга. Из люка высунулось знакомое лицо бортмеханика. Сколько раз уже слетали они на Камчатку, на Сахалин, в Хабаровск? Сколько грузов и людей — ценных грузов, ценных людей — перевезли они на своих серебристых крыльях?

А Сергей все скитался.

Все жаждущие отъезда окружили летчика.

— Илья Павлович, меня... Илья Павлович, мне очень нужно... Илья Павлович, по срочному вызову...

Сергей вернулся в гараж. Он ночевал с шоферами. «Краденый» Валя предлагал ему остаться и учиться на шофера. Сергею надоели уговоры. Он сдружился с другим шофером, Костей, двадцатидвухлетним весельчаком, буйно и бестолково прожигавшим на Сахалине и жизнь и деньги.

Костя пригласил Сергея поехать в глубь острова, в долину реки Тымь, — он вез в гиляцкий колхоз учебники, хозяйственные грузы и почту. Валя посоветовал:

— Только берегись: соблазнять будут не хуже Доронина. Второй раз вызволять не буду. Скажи—отпускник, экскурсию совершаю, а вернешься — к нам поступишь. Самое милое дело!

Они выехали рано, по холодку. В машину попросился еще один парень—в кожаной куртке, в полосатой кепке, в желтых щегольских ботинках и с вещевым мешком за плечами. У парня было широкое скуластое лицо с узкими, косо поставленными глазами.

— Кто это? — спросил Сергей, когда машина понеслась через город, вздувая пыль.

— Нот. Гиляк. Учился в культбазе. Теперь председатель сельсовета на восточном берегу. До Тыми с нами

доедет, а там — на лодке. Другой дороги нету. А речка тоже коварная: порог на пороге. Мы бы шеи свернули, а они — ничего, управляются.

Город остался позади: деревянные дома, пыльные деревья, волейбольные площадки, рынок, снова волейбольные площадки на каждом свободном клочке земли.

Машина полезла на сопку по вьющейся зигзагами дороге, то скользя вдоль крутого обрыва, то въезжая в лес. Свинцовая громада затянутого облаками неба висела над головой, как потолок. Каждый звук был слышен в полной тишине леса.

— Хороша дорога! — похвалил Сергей.

Но дорога стала портиться. Недавно прошел дождь, и густая грязь, подсохнув, образовала глубокие и твердые борозды. Машина пыхтела, взбираясь на бугры и проваливаясь в ямы с застоявшейся черной водой. Кругом был лес — кедр, пихта, сосна, ель, береза. Кольцо сопок замкнуло горизонт. Некоторые сопки были голы; на черных склонах угрюмо торчали обгорелые коряги. Сквозь пепел лесного пожара уже пробивалась новая поросль.

Сергей заметил обрыв, обнаживший черную слоистую породу.

— Уголь, — небрежно бросил Костя. — Где ни копни, везде уголь. Да вот узкоколейка затирает — много ли по ней вывезешь?

Узкоколейка изредка выбегала навстречу и снова скрывалась в лесу. Один раз пересекла дорогу. Костя осадил машину, и только тогда Сергей сообразил, что и он слышал гудок, — родной предупреждающий гудок. Он так отвык от этого машинного голоса! Маленькая заезженная «кукушка» пронеслась мимо, таща за собой вагонетки с углем. Сергей успел увидеть склоненную голову машиниста. Над верхушками деревьев еще некоторое время клубился дымок.

— «Кукушка!» — с пренебрежением процедил Сергей и отвернулся от Кости, чтобы не выдать себя. Его глаза были полны слез. В другое время на такой машине он постыдился бы ездить. Но сейчас его охватила зависть и тоска. Любой паровоз — пусть хоть «кукушку»! — лишь бы рука могла повернуть регулятор, лишь бы чувствовать трепет машины, набирающей ход, лишь бы подминать под себя изгибающиеся покорные рельсы... Лишь бы работать, черт побери, работать, а не скитаться безбилетным пассажиром!

Тоска был острой, но недолгой. Сергей не любил задумываться над печальными вещами. Он вообще не любил, не привык думать, анализировать, решать. До последнего времени жизнь катилась сама собою, и он охотно отдавался ее течению. Он сам не заметил, как попал из хорошего течения в плохое. Он понял это слишком поздно и не сумел выплыть обратно. А теперь — что же делать теперь? Он дал нести себя дальше, куда придется.

Дорога становилась все круче и круче. В прогалинах, по берегам горных ручейков, вдоль реки цвели цветы — огромные, в человеческий рост. Белые, лиловые, желтые. И рядом с ними зарослями раскинулись лопухи — тоже огромные. В такой лопух может завернуться человек.

Машина непрерывно пыхтела и дребезжала, переваливаясь, как танк, по ухабам. Из-под колес летела грязь, комьями облепляя машину. Костя, сердито хмурясь, вел свой послушный «газ» вперед и вверх, по невероятной дороге, на вершину.

— Камышовый хребет, — процедил он на вопрос Сергея, не отрывая глаз от дороги. — Самая чертовня...

На одном из крутых подъемов Сергей увидел внизу, под склоном, среди травы и цветов, покинутый остов разбитой и ободранной машины. Костя заметил взгляд Сергея и еще крепче свел брови. Только позднее, когда перевал Камышового хребта остался позади, он передохнул и сказал весело, как бы невзначай:

— Видал покойничка? Наш чудак разбился. Не вытянул.

После перевала потеплело. Небо стало выше и легче, бегущие облака все чаще пропускали на землю жаркие солнечные лучи. Стало припекать, и Костя скинул теплую куртку.

Лес посветлел, повеселел, — лиственные деревья вытеснили хвою. Потом и лес остался позади, машина пересекала поля, свежевспаханные под озимые. На одном участке еще работали тракторы. Сергей с жадностью вобрал в свою память промелькнувшие перед ним закопченные и веселые лица трактористов. Он хотел бы оказаться на их месте.

Костя набавлял скорость, и полутонка бойко подскакивала на корявой дороге. Навстречу попался грузовик. Костя помахал рукой шоферу и сообщил, посмеиваясь:

— Его женка — моя зазноба. Он туда — я сюда. Сменщики.

Сергей и осуждал Костино легкомыслие и завидовал ему. Он завидовал всему и всем—любой работе, любому проявлению жизни, не омраченной внутренними терзаниями. Он был удивлен, когда понял, что есть человек, завидующий ему самому.

Они приехали в большое районное село. Костя бросил машину и спутников около почты и побежал «по делу», лукаво подмигнув Сергею. Сергей и Нот остались вдвоем у машины. Гиляк хозяйственно разложил на скамейке колбасу, хлеб, жареную рыбу и просто сказал:

— Давай кушай.

Сергей подсел к нему. Нот спросил:

— Комсомол?

— Да.

— Москва видал?

— Видал.

Нот вздохнул. Аккуратно завернул оставшийся хлеб.

— Тебе хорошо, комсомол, — сказал он. — Я тоже комсомол, а учился мало... Некогда было учиться. Рыба идет — надо ловить рыба. Тюлень пришел — надо бить тюлень. Зимой учился культбаза. Садился вместе с детьми. За два месяца учил три класса.

Он подумал, завистливо поглядел на Сергея:

— Ты, наверно, много читал? Все книги читал? Я тоже читал, только мало. Все не читал.

И поделился мечтами:

— Хочу в Ленинград. Институт Севера. Все книги читать буду.

Сергей слегка покраснел. Он мало читал и не приохотился к чтению, предпочитая в свободные часы гулять и развлекаться. Чтобы переменить тему, он рассказал о своей профессии машиниста. Нот отнесся спокойно — он знал узкоколейку и «кукушку», но, когда Сергей сказал, что можно сесть в поезд во Владивостоке и прямым сообщением доехать до Ленинграда, Нот просто не поверил.

Прибежал Костя с блестящими глазами и виноватой физиономией. Поехали дальше. Стало жарко. Костя сидел в одной майке, с ружьем на коленях, от него пахло водкой.

Узкая проселочная дорога шла тайгой. Все те же таежные виды, глушь, бурелом, спутавшиеся ветви, заросли кустарника. На дорогу то и дело выбегали маленькие полосатые зверьки. Они спокойно вытягивали любо-

пытные мордочки, подняв пушистые, как у белок, хвосты. Окраска делала их похожими на тигров, только крошечных, добродушных и любопытных.

— Бурундуки! — объяснил Костя и осторожно свернул, чтобы не задавить зазевавшегося зверька.

От жары и тряски Сергей задремал. Сильный рывок машины подбросил его, он больно стукнулся головой о крышу кабины. Костя застопорил и сразу выстрелил. С кустов малинника с тяжелым шумом поднялся выводок рябчиков. Костя выскочил из машины, снова выстрелил и побежал сквозь кусты за рябчиком. Где-то за деревьями прозвучал третий выстрел.

— Три птица есть, — сказал Нот одобрительно.

Сергей не поверил, но потом выяснилось, что Костя бьет без промаха. Он бросил в машину трех рябчиков и поехал дальше. Время от времени он снова тормозил и выскакивал, но Сергей был настороже и больше не стукался головой о крышу. Пока Костя охотился, Сергей и Нот забирались в малинники и лакомились ягодами.

— Поезжай к нам, — сказал Нот,—у нас хорошо. Весною много-много тюлень. Все охотники бьют тюлень. Тюлений жир кушал? Кто с чахоткой—очень хорошо. Поезжай. Учителем будешь.

В ранних сумерках подъехали они к селу Ада-Тымово.

— Здесь ночуем, — объявил Костя и отдал хозяйке рябчиков и темношерстную белку.

Пока хозяйка готовила ужин, трое юношей пошли прогуляться. Было тихо. В канавах медленно ворочались сонные свиньи. Прошло стадо коров, звеня колокольцами.

— Рыба идет? — спросил Костя встречного человека.

— Идет, — скучным голосом отвечал человек и спросил: — Вы откуда?

— Из Александровска.

— Почту привез?! — вскричал человек и, на лету поймав утвердительный ответ, со всех ног побежал на почту.

— Зоотехник, — сказал Костя. — Жену ждет с материка.

Он все и всех знал.

Они шли полем. В тишине все явственнее слышался глухой и злобный рокот, будто сыпался с обрыва обветренный щебень. Но гор поблизости не было, и рокот был несмолкающий, упорный. Водопад?

Они вышли к речке. Неширокая речка мирно лежала

в поросших травою берегах. Речку пересекал частокол. На доске, проложенной по частоколу, сидел человек. Другой стоял, то наклоняясь, то выпрямляясь, и мелодичным тенорком выкрикивал:

— Самец! Самка! Самец! Самец!

Рокот был рядом, он шел от реки. Сперва Сергею показалось, что вся река усеяна черными блестящими камнями. Но камни двигались и двигались против течения с невероятной быстротой, сталкиваясь и налетая друг на друга.

— Горбуша, — сказал Нот, — и глаза его жадно вспыхнули.

Сергей вышел на середину мостков. Он не мог оторвать глаз от необыкновенного зрелища. Сотни рыб, подняв над водой горбатые спины, неслись против течения, наталкивались на частокол и бились около него, стремясь прорваться. Они с размаху ударялись о жерди, толкались, перескакивали одна через другую. Их движение было так яростно и мощно, что казалось — река потекла вспять.

— А говорят — рыбья кровь,—сказал рядом Костя.— Любой парень спасует.

Техник на мостках открыл жердевую дверцу, и в этот желанный проход ринулись рыбы. Они сбились в кучу в узких воротах, проталкивая вперед своих самок, подпрыгивая, взметая тучи брызг. Они были безмолвны, но можно было поверить, что они кричат, ругаются, молят...

Дверца закрылась. Техник опустил большой сачок, вытянул наверх десяток рыб и стал перебирать их, лениво выкрикивая:

— Самец! Самка! Самец!

Сидевший на мостках человек ставил на листе палочки. Отброшенные рыбы летели в воду, отряхивались и устремлялись дальше. Некоторым рыбам не везло: техник передавал их женщинам на берегу, и женщины тут же, над ведром, опустошали их, заливая икру самок молокой самцов. Выпотрошенные рыбьи тела выбрасывались собакам, — целая стая собак сидела вокруг женщин, ожидая подачки.

— Искусственное оплодотворение, — объяснил Костя. — Рыборазводный завод.

Сергей заинтересовался, зачем считают и вновь отпускают рыбу и почему не всех берут для завода.

— Ну, куда их всех! — ответил техник, смеясь. — Их

же тут тысячи. Завод небольшой, на двенадцать миллионов икринок. А считаем — для статистики.

Сергей не совсем понял, но расспросить постеснялся.

Он грустно поник над рекой, над шумом и плеском рыбьей осады, рядом с техниками, которые так верят в свою рыбью статистику, рядом с комсомольцем-гиляком, мечтающим прочитать все книги и раздувающим ноздри при виде живого, любимого, до мелочей понятного рыбьего нашествия...

Костя потянул его на берег.

— Пойди погляди завод, — сказал он. — Девчата, возьмите с собой кавалера.

Сергей был не прочь пойти с женщинами, — одна, совсем молодая, то и дело улыбалась ему. Женщины понесли на завод наполненные ведра, ступая так медленно и плавно, будто несли новорожденных. Сергей взял ведро у младшей. Старшая покосилась, сказала:

— Смотри, Настя. Степан увидит, то-то обрадуется.

Молодая засмеялась и спросила:

— А вы неужели только проездом?

И предложила:

— Оставайтесь. Будем рыбок разводить. У нас любезные кавалеры очень даже нужны.

— Говорят, на Сахалине женщин не хватает, а у вас так мужчин мало?

— Ну, как мало! — засмеялась Настя. — Мужчин у нас—хоть пруд пруди, а вот кавалеров нет. Лапать каждый может, а ведро поднести, кроме вас, никто не догадался.

Озорная женщина возбуждала Сергея. Почему бы и не остаться, в самом деле? Ему все нравилось здесь: и река, осажденная обезумевшими рыбами, и тихая тропинка над горным ручьем в лесу, и вызывающие, простодушно-лукавые глаза Насти.

Им навстречу несся по тропинке велосипедист. Сергей разглядел молодое лицо под серой кепкой и выбившийся белокурый чуб.

— Я сейчас! — крикнул велосипедист Сергею.

— Директор,—шепнула Настя и взяла обратно ведро.

На маленькой площадке, отвоеванной у тайги, виднелись два жилых дома со служебными постройками, волейбольная площадка, качели и гигантские шаги.

— А где же завод? — спросил Сергей, оглядываясь.

— А вот он...

Под горкой, над ручьем, Сергей увидал длинный низкий сарай и какие-то трубы, лежащие на деревянных стойках.

— И все?

— И все, — сказала Настя.

Велосипедист вернулся. Он был молод, голубоглаз, приветлив. Сергей неуверенно представился и сказал, что хотел бы осмотреть завод.

— Ну конечно, конечно! — горячо подхватил директор и поставил велосипед к стене дома. — Я — Федотов. А вы?

Сергей назвал себя.

Они спустились по лесенке к сараю, усевшемуся прямо на ручей.

— Очистительная станция, — сказал Федотов.—Вода из горного ключа. Чудесная вода, холодная, прозрачная. Но мы еще фильтруем ее. Вы на заездке были? Видали? Рыба идет к чистым ключам. Икра любит чистоту и холод.

В очень светлом и чистом сарае пойманная в трубу вода пробегала по целой системе фильтров и, уже очищенная до предела, уносилась по трубам в цех икринок. В этом цехе, всегда погруженном в полумрак, вода струилась по черным ящикам, где на тонких сетках лежали икринки. В полумраке, похожем на полумрак речного дна, непрерывно омываемые холодной и чистой водой, эти беспомощные пузырьки медленно и загадочно превращались в живые существа. Сперва еле заметно менялась форма—пузырек растягивался в длину. Потом намечались крошечная головка и острый хвостик. Потом определялось брюшко. Но к брюшку прирос желтый пузырь икринки. День за днем всасывается пузырь, питая формирующийся организм.

И вот — малек созрел. Он хочет жить, хочет двигаться, плескаться в воде, играть и кувыркаться в обществе себе подобных, — существует же и под водой детский мир с его играми и шалостями! Заботливые руки переносят мальков в третий цех — мальковый питомник. Это длинный сарай. Здесь никогда не бывает солнца. Здесь плавно протекает по деревянному руслу тихая свежая вода. Здесь по краям цеха, вдоль стен, зеленеет чистая и нежная трава.

Федотов вел Сергея по доскам, любовно наклоняясь к воде, где Сергей ничего не мог разглядеть, а Федотов видел так много: тысячи крохотных рыбешек носились

в безопасных приветливых бассейнах, постепенно вырастая и хорошея, чтобы потом, в прекрасный весенний день, выскользнуть через распахнувшиеся ворота родного дома в притягательный, опасный и волнующий мир больших рек и морей.

— Многие гибнут в ранней молодости, — с отцовской грустью сказал Федотов, склонившись над прохладным бассейном. — Вот мы ведем учет нерестующей рыбы. Они ведь уходят в море, в глубины. Но через четыре года, к нересту, возвращаются метать икру в верховья рек, к чистым ключам. И если бы мы могли знать, запомнить, отметить каждого малька — какой страшный подсчет пришлось бы делать каждую осень! Сколько жертв, сколько смертей! Возвращаются одна-две сотых...

Он стоял, вдруг загрустив, над тысячами своих питомцев, обреченных в недалеком будущем на жизнь, полную опасностей, приключений и борьбы.

— Какой же смысл разводить их на заводе и выпускать? — тоже взволнованный, спросил Сергей.

Федотов вскинул голову. У него были убежденные вдохновенные глаза.

— Доказано, — сказал он деловито, — что больше всего гибнут мальки в первые месяцы жизни. От нас они уходят подросшими, окрепшими... Но этого, конечно, мало. Мы их выращиваем полгода, надо бы держать их еще год, в больших бассейнах, на воле. Я об этом писал в область, в край, я об этом кричу все время. Надо бы съездить самому — не на кого бросить завод!..

Заботы захлестнули его. Он тяжелой походкой побрел по доскам к выходу. Сергей смотрел на него с жалостью: как трудно быть отцом таких неверных, безвозвратно уходящих, обреченных детей! Но к жалости примешивалась зависть: Федотов верил, он был у дела, у любимого дела, он не знал других волнений, кроме тех, что несет с собой работа.

На подъеме Федотов остановился.

— И я добьюсь этого! — сказал он с полным спокойствием. — Еще год-два, ну — три, и я добьюсь. В первую пятилетку не влезу, так во вторую...

Год-два-три... Этот человек не думал покидать остров совсем. Ему не было скучно в этой глуши, на маленьком безлюдном заводе, затерянном в тайге!

— У этого дела — огромное будущее! — сказал Федотов, взяв Сергея под руку. — Огромное! — повторил он. —

Это еще не все понимают. В этом деле нужны преданные, любящие работники... Вы где работаете?

Сергей, стыдясь самого себя, рассказал придуманную историю про отпуск и желание посмотреть Сахалин.

— Чудесно! Чудесно, — воскликнул Федотов. — Вы смелый парень. На материке ведь до сих пор боятся Сахалина. Вы молодец, честное слово!

Они шли по тропинке над ручьем, в сумерках вечера.

— Рыба не любит света, — задумчиво сказал Федотов. — Мы выращиваем ее в тени и холоде. А человеку, чтобы расти, нужен свет и горячая жизнь. А горячую жизнь дает только работа, творческая работа — такая, какую любишь, какую, быть может, и во сне видишь. Вы не подумайте, что я лирик. Хотя, что ж... Я иногда и стихи пишу.

Уже у деревни Федотов сказал:

— Знаете что? Почему бы вам не остаться здесь работать? Это ведь так интересно. Вы еще не знаете, но вы полюбите это дело, я ручаюсь вам.

Сергей застал Костю и Нота за ужином. Жирная горбуша и рябчики в сметане были великолепны. Костя пил водку и всех угощал. У Сергея зашумело в голове — от водки, от долгой тряски в машине, от волнения и тоски... Понурившись над стаканом водки, он обдумывал предложение Федотова. Почему бы и не остаться? Найти покой, новые интересы, друга... Отрезать одним ударом все прошлое, выйти отсюда иным человеком—сильным, окрепшим, готовым на борьбу... Опьянев и размякнув, он рисовал себе новую, трудовую, деятельную жизнь рядом с Федотовым. И, любуясь ею, все-таки сознавал, что у него никогда не хватит решимости остаться.

В гиляцкий колхоз приехали к полудню. Сергей ожидал, что увидит юрты, вьющиеся через дымовые отверстия дымки и упряжных собак. Но он увидел только луг с густою сочною травой, человек восемь косцов в широкополых шляпах и низкий, без окон барак в конце луга, где по ивовым зарослям угадывалась река. Через луг к автомобилю бежал большой кудрявый человек, размахивая руками.

— Приехали, — сказал Костя.

Нот соскочил и стал вытаскивать свои вещи. Кудрявый подошел к машине, рассеянно поздоровался и полез проверять лично, что привез Костя. Он не обратил ни малейшего внимания на экскурсанта, путешествующего по Сахалину.

— Гвозди! Гвозди! — закричал он, багровея. — Гвозди, черт полосатый, где?!

Костя вытащил из-под сиденья ящик гвоздей. Кудрявый спрыгнул на землю, схватил ящик, засмеялся, бережно поставил ящик на крыло и, придерживая его рукой, обратился к Сергею:

— Так вы сюда зачем? Полюбопытствовать?

— Товарищ интересуется вашими достижениями, — солидно сказал Костя.

— Ладно.

Кудрявый с сожалением выпустил ящик:

— Ты поезжай. Катя начнет принимать, а мы подоспеем.

Они подошли к косцам. Это были молодые гиляки, шляпы закрывали от солнца их смуглые лица, у троих парней из-под шляп торчали туго заплетенные косички.

— Вот уговорил, волосы снимают теперь, — сказал кудрявый Сергею.—Зимой все еще носили. Теперь трое этих осталось да еще пятеро.

Он похлопал по плечу одного из косцов:

— Когда баню топить будем, Панько?

Парень широко улыбался подошедшим.

— Это наш главный комсомолец, — представил его кудрявый. —Актив. Первый в баню пошел. Жена первая дома рожала.

Он рассказал Сергею, что гиляки зимой и летом выгоняли женщину рожать на улицу, строили для нее палатку, у входа втыкали в землю два топора остриями вперед, чтобы отпугнуть злых духов. Три года велась с этим борьба. Панько первый согласился оставить жену в доме, но ходил сам не свой, пока роды не кончились благополучно.

— Теперь уже не то, — сказал кудрявый, подмигивая Ноту. — Нынче восемь рожали, и только две в палатках. Больницу строить начали — в больнице родильная палата, все честь честью.

Они вошли в барак без окон, где стояли два чана для засола икры.

— Сами, сами солят, — говорил кудрявый, радостно блестя глазами.—Раньше продавали икру сорок копеек пуд купцам. Мы научили их, дали попробовать—теперь сами все делают. Энтузиасты.

— А вы здешний?

— Я-то? — Кудрявый с улыбкой покачал головой.— Нет, я москвич. Был когда-то. Теперь здешний. Шесть лет.

Он был немногословен. Он не хотел говорить о себе. Он предпочитал рассказывать о тех, кто окружал его.

На просторной лужайке Сергей заметил несколько странных построек — не то избушки, не то амбары, без окон, без дверей, сколоченные из толстых неотесанных бревен. У Сергея мелькнула мысль, что это и есть гиляцкие дома.

— Пустые? — спросил Нот, кивая на избушки.

— Нет. Три в этом году. В прошлом было восемнадцать.

Подошли к ближайшей избушке. У нее оказалось одно узенькое, как щель, окошечко. Нот заглянул туда, и тотчас же в избушке что-то завертелось, зарычало, забилось об стенку. Мохнатая лапа с желтыми когтями просунулась в окошечко, царапая дерево.

Сергей отскочил.

— Не бойся! — сказал кудрявый.—Это медведь.

Нот смотрел на остервенело царапающую бревна лапу, и на его лице насмешка смешивалась с уважением и робостью.

— Наши люди так говорят: медведь самый большой, самый умный. Это священный зверь...—И добавил не совсем уверенно: — Такая вера раньше была, сейчас нету.

Кудрявый чуть-чуть усмехнулся.

— Изживается эта вера, — сказал он.—Раньше медведей выкармливали до трех десятков. А знаешь, сколько он лопает? Восемнадцать — двадцать рыбин в день. Гилякам самим рыбы не хватало. Хлеба, мяса, картошки не знали, масла не знали, корову и не видели, какая она. Одна рыба. Летом свежая, зимой вяленая. До середины зимы прокормятся и собак прокормят, а потом голодают. А медведей все-таки кормили.

— А зачем это?

— Обычай! Интересно у них бывает. Зимой—медвежий праздник. Убивают медведей. Целое торжество. Сложный обряд. Сперва его выпускают и гоняют, потом лучшие охотники убивают стрелой. Убитому медведю в подарок лучших собак закалывают, кушанья ставят, одежды для него складывают. Считают, что убитый становится духом и может заступиться за них перед злыми духами.

Гиляцкая деревня была похожа на обычную русскую: дома, сараи, огороды, бани у речки. Несколько зданий строилось — больница, школа, новый магазин. Кудрявый

мечтал об очаге и яслях, но пока не было средств и не было руководителей.

Он повел Сергея к председателю колхоза. Пожилой степенный гиляк сидел за столом, покрытым клеенкой, вытаскивал занозу из ноги четырехлетнего мальчугана. Кудрявый подошел и ловко вытащил занозу. Между кудрявым и председателем завязалась деловая беседа.

— Я решил, — говорил председатель,— вторую бригаду перекинуть на картофель. Надо нам и дров заготовлять. Женщин пошлем на уборку.

Они говорили долго о вещах, малоинтересных Сергею.

Когда распрощались с председателем и шли по улице, кудрявый сказал:

— Вот ведь как вырос человек. Ты слушал? Ведь государственный человек стал! Хозяин. Кругозор какой! Ему теперь и подсказывать почти не приходится. Все сам понимает, сам делает. А ведь с чего начали? Вот как дочку свою учил ходить шаг за шагом, так и с гиляками сперва. Поначалу приходилось все на свете делать: и солить, и пахать, и картошку сажать, и грамоте учить, и коров доить, и в бане отмывать вековую грязь, и младенцев принимать. Зато погляди, чего мы добились.

— Это кто — мы? — улыбаясь, спросил Сергей.

Кудрявый насупился.

— Кто мы? Ну, я! — И вдруг простодушно рассмеялся. — Так ведь то не я сам по себе, а Советская власть. Верно? Оттого и говорю — мы. А скромничать я не собираюсь.

После обеда Сергей сидел с ним на крыльце, пока Костя заправлял машину.

— Вы уже шесть лет здесь?

— Шесть.

— И вам не скучно? Не тянет в Москву?

Кудрявый вздохнул. Но глаза его были ясны, без грусти.

— Ну, чудак человек! Кого же в Москву не тянет? А только для меня и здесь Москва.

Сергей не знал, что ответить. Как он казался жалок самому себе!

— Конечно, общества не хватает. И кадров нет. Один за всех — это же не дело. Вот я и мечтаю иногда. Народу ведь много приезжает — любопытствуют вроде тебя. Я и мечтаю — приедет какой-нибудь хороший человек, поглядит, скажет: «Будем друзьями, давай двигать дальше вместе...»

Сергей покраснел.

— Ничего, ничего, не смущайся. Молод ты еще. Не останешься. Ты этого и понять еще не можешь. А поживешь, поработаешь — сам узнаешь: бывает душевное удовлетворение, когда никакая столица тебе не нужна. Вот вырастил, взлелеял, и плоды получаются, каких еще не было. Это я о людях говорю. Заново родился целый народ. Гиляки — по-старому, а называют себя — нивхи. Человек, значит...

Сергей уехал, наполненный до краев впечатлениями и надеждой на то, что и он может — может и должен — выбраться наконец на твердую почву настоящей, созидательной деятельности. Сидя в кабине рядом с беззаботно насвистывающим Костей, он обдумывал слова кудрявого. Потом вспомнил Нота и его наивную мечту прочесть все книги, «краденого» Валю, Федотова на лесенке, с вдохновенными глазами: «И я добьюсь!» Техника, считающего рыбу в реке. Неукротимого Доронина и Нюшку, которую тот увел от милиционера к Кольке: «Дело семейное, а мне терять лучшего моториста...» И дальше, дальше Морозов, Круглов, Тоня, Сема Альтшулер, стихи Гриши Исакова, Тарас Ильич у костра...

Он был переполнен — в то же время чувствовал себя глубоко опустошенным. В жизни ничего не было. Ни родного дома (туда немыслимо сейчас вернуться), ни комсомола (его уже давно исключили), ни работы, ни друзей, ни будущего...

Машина вступила в тайгу, над дорогой нависали темные ветви. Сразу спустилась ночь. Впереди была новая ночевка, под чужой крышей, с чужим гостеприимством, которое он принимал как самозванец, не имея на то права. Будет ли это в Ада-Тымове, в Дербинском, еще где-нибудь? Ему было безразлично. Он приветствовал ночь. Она закрывала от него все, кроме мыслей, становившихся ярче и острее. И он шел навстречу этому незнакомому чувству сосредоточенности в себе самом. Он впервые понял, что ему нужно подумать.

## 15

Коля Платт и Епифанов жили вместе и считались друзьями. Они и были друзьями. Еще дорогой в порыве тоски Коля рассказал Епифанову о своих несчастьях, и Епифанов откликнулся на несчастья товарища со всем пылом большого, нежного сердца. В первые недели жиз-

ни в палатках, когда холод пробирал до костей, Епифанов накрывал друга своим одеялом, уступил защищенную от ветра койку в глубине палатки.

Коля был благодарен ему и отвечал, сколько мог, дружеским расположением. Но его возможности были невелики. Сухой и эгоистичный по натуре, он не умел отдаваться чувствам. Он шел в жизнь, как маленький хозяин своих способностей, своего ума и своего упорства, поставив себе определенные цели — добиться как можно более почетного положения в своей профессии, жить обеспеченной жизнью и жениться на Лиденьке...

Все остальное, привносимое в его сознание обстановкой и средой, дополняло, но не изменяло его основных целей. Он вступил в комсомол потому, что считал принципиально необходимым для современного работника участие в общественной жизни, и все поручения комсомола выполнял добросовестно, но старательно следил, чтобы его не перегружали работой, и умел авторитетно требовать уважения к своему времени под предлогом работы над повышением своей квалификации. Он тянулся за инженерами и мастерами старого типа, вызывая у них одобрение своей серьезностью. Он сам был сыном техника-практика, ценившегося очень высоко, и пример отца стоял перед его глазами.

— Отчего ты в вуз не пошел, ты такой способный?— удивлялся Епифанов.

— Жить на стипендию — зачем? — отвечал Коля.— Я знаю больше, чем молодые инженеры. Меня и без диплома ценят. И зарабатываю я больше их.

Действительно, он хорошо знал свое дело, быстро подвигался в разрядах и тратил деньги с толком, всегда на самые лучшие, прочные вещи.

Встреча с Лиденькой произошла как раз в то время, когда он считал, что пора подумать о жене, и он быстро оценил ее: она была хорошенькой, веселой, деловитой, разумной. Но он влюбился в нее сильнее, чем хотел, и Лиденька сумела выбить его из колеи спокойно-размеренной жизни. Ухаживание Коли Платта польстило ее самолюбию, так как Коля считался на заводе серьезным и растущим специалистом. Коля попал в кольцо ее поклонников, в атмосферу песенок под гитару, танцев, шуток и проказ. Сперва Лиденька попыталась вовлечь его в общий круг, потом смеялась над ним, потом заинтересовалась его молчаливостью, которую молодые девушки при-

нимают за необыкновенность, потом влюбилась. Лиденька стеснялась своей семейной обстановки и того, что вынуждена скрывать от матери вступление в комсомол. Но Коле семейная обстановка Лиденьки понравилась: чинная благоустроенность, хорошо налаженное хозяйство, строгость матери, — это казалось ему гарантией нравственности девушки.

Мать все чаще болела, потом надолго слегла в больницу. Лиденька и слышать не хотела о замужестве, пока не поправится мать. Коля стал раздражителен и настойчив, Лиденька чувствовала себя виноватой. В один из самых грустных вечеров, когда положение матери казалось безнадежным, а Коля особенно разочарованным и обиженным, Коля увлек к себе взволнованную Лиденьку и добился того, что она ему отдалась. Он был очень влюблен, но природная сдержанность никогда не изменяла ему, и, если он поступил с Лиденькой, по собственному признанию, не совсем честно, это было вызвано не порывом чувственности, а сознательным стремлением закрепить ее за собою во что бы то ни стало. Он боялся, что Лиденька ускользнет от него.

Мобилизация на Дальний Восток разбила его планы. Ему и в голову не приходило отказаться от поездки. Он дорожил своей репутацией, своим положением, своим будущим. Он был дисциплинирован не от сознания, а от характера, не склонного к конфликтам. Он утешал себя надеждой, что на Дальнем Востоке займет еще более почетное положение, что старуха наконец умрет и Лиденька приедет. Письма Лиденьки подтверждали, что она его любит и стремится приехать. Но его пугали бесчисленные поклонники, окружавшие Лиденьку. А вдруг найдется мерзавец, который сумеет использовать одиночество девушки? Будет ли она непреклонна? Строгое воспитание, конечно, могло сыграть свою роль... Но ведь не помешало оно Лиденьке сойтись с ним, с Колей, до свадьбы?.. И, право, если вспомнить, это не стоило ему особых усилий.

Епифанов не проявлял никакого любопытства к внутреннему миру своего друга. Но сам охотно поверял Коле свои печали: Клава Мельникова так хороша, но она любит другого! На откровенность Епифанова Коля невольно отвечал откровенностью, — сочувственное внимание Епифанова облегчало его. Но рассуждения Коли удивляли и возмущали Епифанова.

— Да что ты, браток, — говорил он с гневом, смяг-

ченным лишь его природным добродушием, — ведь она же тебя любит! И как это можно — она же тебе поверила, а ты же ее за это подозреваешь?

Коля смущался, но подозрения не покидали его.

Если она могла уступить раз, кто может поручиться?..

В результате этих разговоров Епифанов обиделся за Лиденьку (она рисовалась ему похожей на Клаву и любящей всем сердцем), осудил Колю и решил, что Коля недостоин своего счастья. Лежа ночью в палатке и разглядывая в щель ночное небо, Епифанов видел перед собою, в свете звезд и луны, чудесные очертания девичьих лиц, в которых облик Клавы Мельниковой дополнялся русой косой неизвестной, но обаятельной Лиденьки. И мечтал о том, что найдется еще одна, пока незнакомая, но где-то безусловно существующая девушка, которая полюбит его.

— Ты будь настойчивее, ведь Круглов ее не любит,— советовал Коля, удивляясь тому, что Епифанов не делает никаких попыток отвоевать сердце Клавы.

Епифанов краснел до слез.

— Да нет, браток, не выйдет... Об этом и говорить нечего. Что не для меня, то не для меня.

Презирая друг друга в вопросах любви, Коля и Епифанов продолжали дружить и неплохо ладили между собою. Епифанов умел успокоить Колю, когда работа на корчевке выводила того из терпения. Коля был полезен Епифанову своими техническими знаниями, когда Епифанов перешел на монтаж электростанции и его жадный ум стремился восполнить недостаток подготовки. Они вместе — Епифанов с азартом, Коля с холодным упорством— участвовали в сверхурочном строительстве жилого барака и вместе поселились в нем, отделав свою комнатушку со всем возможным блеском.

Но когда они покинули переполненный топчанами шалаш и оказались вдвоем, вдруг выяснилось, что у них нет ничего общего, что им вместе нечего делать, что они даже мешают друг другу. С наступлением осени единственное общее развлечение — плавание — окончилось. В остальном у них были разные вкусы и повадки. Педантичная аккуратность Коли раздражала Епифанова: он злился и посмеивался, когда Коля с обиженным видом перевешивал его матросскую робу с одного гвоздя на другой, для робы предназначенный. Епифанова раздражало, что для Коли вымыть пол или постирать белье — целое событие, что Коля страдальчески корчится над мокрой тряпкой и

не умеет обслуживать себя быстро и весело, как привык по своей краснофлотской умелости Епифанов. Но больше всего надоедали вечные замечаиия Коли:

— Все-таки возмутительио вызывать специалиста, ие подготовив элемеитариых условий. Скоро выгребные ямы чистить придется.

Епифаиов совершеино не поиимал претеизий Коли. Комсомолец, рабочий, — откуда у него это шкуриичество, этот холодиый карьеризм?

Оии ие ссорились, потому что Епифаиов был слишком добродушеи и покладист, а Коля слишком спокоеи. И былая дружба исчезла. Теперь Коля, получив письмо с леиинградским штемпелем, читал его про себя и прятал, ие показав другу. И когда Епифаиов возвращался домой после длительной прогулки с Клавой, ои вздыхал молча, отвернувшись к стеие.

Епифаиов узиал в комитете комсомола, что Коля Платт добивается комнаты в доме иижеиерио-техиических работииков. Коля ничего не говорил ему об этом. По своей доброте Епифанов испугался, что мешает другу вызвать к себе иевесту, и в тот же вечер виновато сказал Коле:

— Ты, дружище, иапрасио хлопочешь. Приедет Лиденька, я в тот же деиь смотаюсь, только меия и видели. Считай комиату своей — и точка.

Но Коля ответил с презреиием:

— Поместить сюда мою жеиу? В этот хлев?

Образ Лиденьки стал меркиуть. Оиа уже мерещилась Епифаиову похожей иа тех иижеиерских жеи, которые ахали и плакали, приехав иа строительство, и портили нервы мужьям иевыполнимыми требоваииями. В конце концов, раз Лидеиька хочет выйти замуж за Колю, она должна быть ему под стать.

Дезертирство Сергея Голицыиа взволиовало обоих друзей. Епифанов был вие себя, что ие пригляделся к Сергею, не повлиял иа иего, ие сумел удержать его от преступиого шага. Коля Платт принял дезертирство Сергея по-иному. Для иего Голицыи был прежде всего железиодорожник, специалист, оказавшийся, как и ои сам, в неподходящих условиях. Голицыи не пожелал приспособиться к обстаиовке и уехал. Зачем же он, Николай Платт, механик восьмого разряда, продолжает жить в примитивиом бараке, не сиимая до иочи валенок, потому что от пола тяиет холодом? Правда, ои давно уже работал по специальиости — «в общем по специальиости»,

добавлял он. Но разве его оценили, разве он обеспечен жизненными удобствами?

— Но ты же, во-первых, комсомолец! — говорил Епифанов.

— Да, — соглашался Коля со своей обычной рассудительностью, — бежать — это не по-комсомольски. Я бы этого не сделал. Но, с другой стороны, — что делать, если комсомол о тебе не заботится?

Епифанов впервые по-настоящему вспылил:

— Чем больше я смотрю, тем больше удивляюсь — какой ты к черту комсомолец! Говорить с тобою тошно. Из тебя обывательщина так и прет, аж душу воротит.

— Однако, — невозмутимо сказал Коля, — я на хорошем счету, а ты умудрился заработать строгий выговор с предупреждением.

У Епифанова перехватило дыхание. Кража кирпичей была позором его жизни. Он тайно мечтал о том, что совершит какой-нибудь выдающийся, героический подвиг, добьется славы и похвал и тогда скажет: «Не надо почестей, браточки, лучше снимайте с меня выговор; честное слово, я его отработал».

Однажды пришла телеграмма от Лиденьки. Епифанов нашел ее под дверью, придя с работы. Сложенный и заклеенный листок испугал его. Епифанов заставил себя положить телеграмму на стол и ходил вокруг до около, не имея сил думать о другом. Конечно, у бедной девочки что-нибудь случилось. Умерла мать? Заболела она сама? Ей нужна помощь? Она выезжает?

А Коля все не шел.

Епифанов не мог больше терпеть. Он повертел в руках телеграмму, осторожно отогнул край и постарался прочесть ее. Ему бросились в глаза слова: «Готовлюсь отъезду». Он так обрадовался и взволновался, что забыл осторожность и надорвал обертку. Тогда он увидел другие слова. «Мама умерла». Он склонил голову перед чужим горем. Бедная девочка, как она, наверное, плачет сейчас... Лиденька спрашивала еще, как ей доехать до Коли. Ее слова казались беспомощными и жалобными, полными значения: «Телеграфируй, как до тебя доехать». Ему чудилось ее одиночество, ее неуверенность, ее страстная мольба о поддержке... Как до тебя доехать!.. Только бы доехать!.. Только не быть одной...

Епифанов был так силен и так мощно здоров, что девушки представлялись ему страшно слабенькими. Они так малы, так непрочны, у них такие нежные косточки,

такие слабые мускулы, такие маленькие ноги. Их слабость умиляла его и притягивала. Он твердо верил, что обязанность мужчины — охранять их, брать на себя все их заботы, быть их защитником и помощником. И вот теперь эта Лиденька — эта неизвестная девушка с длинной косой — одна с кучей забот о похоронах, о вещах, о квартире, о сборах в дорогу... Он так ясно представлял себе ее беспомощность среди нахлынувших житейских дел, над трупом любимой матери... Кто поможет ей? Кто снесет ей вещи на вокзал? Кто будет оберегать ее в поезде?

Он лег на койку, удрученный чужим горем. Он подыскивал слова, которые должен сегодня же послать ей Коля, чтобы утешить ее: «Не горюй, дорогая, приезжай скорей»; «Приезжай, я вытру твои слезы, моя маленькая жена...» Нет, эти слова не годились, их стыдно вручать барышне на телеграфе. Но Епифанов придумывал новые, еще более нежные: ему было приятно повторять их и горько сознавать, что Коля вряд ли сумеет придумать так же хорошо.

Пришел Коля. Еще от двери он заметил телеграмму. И все-таки сперва снял у порога грязные сапоги и сунул ноги в валенки, и все-таки сперва повесил на предназначенный гвоздь свое пальто и даже, подходя к столу, привычно провел гребенкой по волосам.

Епифанов уже готовился сказать: «Ничего, дружище, не грусти. Главное, пусть скорее приезжает, и горе забудется...»

— Так, — сказал Коля, отбросив телеграмму.—Устал же я сегодня...—проговорил он, зевая, и лег на кровать.—Ты спишь, Алексей?

Епифанов закрыл глаза и промолчал, чтобы пережить про себя мучительный стыд за другого, лежавшего в двух шагах от него человека. И подумать только: он уже час страдает за незнакомую, за нелюбимую, переживая ее горе... а тот даже не подумал, что его любимая в горе! Он даже не почуял тоски и беспомощности в ее словах! И неужели он так и не пойдет сегодня на телеграф? Телеграмма шла два дня... Значит, еще три дня Лиденька будет одна, без утешения... Епифанов вскочил.

— Я иду сейчас на почту, — сказал он безразличным тоном. — Тебе не нужно ничего?

Коля обрадовался. Написал текст, подсчитал число слов, дал Епифанову деньги.

Не взглянув на друга, Епифанов вышел в темноту

ночи. Шел мокрый снег, смешанный с дождем. Ветер пронизывал холодной сыростью. Епифанов крупно шагал, подняв воротник бушлата, сжимая в теплой ладони текст и деньги. Сейчас он узнает, что́ написал Коля, сейчас он узнает, какие слова заставят улыбнуться девушку.

На почте он забился в угол, к столу. Сырость, которой он не замечал на улице, вдруг пронизала его насквозь.

«Сейчас ехать невозможно сходи моим родителям помогут вещи не продавай при первой возможности телеграфирую целую Коля».

Да нет, это что-то не то... Не может быть, чтобы он правильно прочитал... Да та ли бумажка?.. Он тер виски, зябко поводя могучими плечами. Нет, посылать так невозможно. Быть может, она сидит в пустой квартире и плачет.

Он хотел бежать обратно — вскочил, запахнул бушлат, направился к двери... Но тут представил себе кислое лицо Коли Платта и его невозмутимый голос... Нет, он сам допишет, будь что будет!

«Не горюй, дорогая. Сейчас ехать невозможно без теплой одежды, запасись. Сходи моим родителям — помогут (он вспомнил свою мать — вот кто утешил бы лаской и добрым словом! А кто его знает, что за родители у Коли?). Вещи не продавай. (О каких вещах он волнуется? А на что же девушке купить билет, как она поедет без денег? Ну, это их дело!) Вещи лучше не продавай. Телеграфируй приезд, встретим (да, да, в крайнем случае сам поеду!) в Хабаровской конторе строительства. Нежно целую. Коля».

Он уже третий раз переписывал телеграмму, потея от усилий и волнения.

— Не так, приятель, — раздался над ним голос.—Уж вызывать, так по форме. Напиши адрес конторы, скажи, что там помогут. Вдруг тебе не удастся встретить?

Епифанов подскочил. Уполномоченный НКВД Андронников ласково улыбался прищуренными глазами и протирал платком запотевшие очки.

Епифанов чувствовал себя вором, пойманным на месте преступления. Конечно, он мог ни в чем не признаваться, выдать телеграмму за свою... Но раз уже попался, будь честен, говори правду.

— Дело в том, товарищ Андронников, что это не моя телеграмма. Я ее немного исправил. Это приятеля... невеста... у девочки умерла мать.

Андронников все улыбался, разглядывая Епифанова. Он взял оба текста, сверил их, одобрительно кивнул головой.

— Правильно исправил. Немного, но правильно. Так уж добавь заодно и адрес, а то вдруг она приедет и растеряется? И приятелю скажи — пусть вызывает не сомневаясь. Проживет дивчина и не растает, верно?

— Верно, товарищ Андронников, — радостно отчеканил Епифанов.— Не дадим растаять. Поможем.

Андронников спросил: — Чья невеста?

— Николая Платта. Механика.

— А ты ее знаешь?

— Нет, товарищ Андронников, не знаю.

Андронников поглядел еще пристальнее, и улыбка его стала еще мягче.

— Пусть едет, — сказал он. — Пока семейное дело не налажено, какой же у нас город?

— Так точно, товарищ Андронников, семейное дело сейчас самое важное.

Андронникова позвали к прямому проводу. Епифанов в четвертый раз переписал телеграмму, дождался Андронникова и протянул ему телеграмму, как соучастнику:

— Поглядите, товарищ Андронников, все ли в порядке.

Андронников посмотрел и одобрил.

— Как думаете, скандала не выйдет?

— Не выйдет. Приедет—разберутся. А не разберутся, мало ли здесь женихов ходит!

Так и пошла телеграмма с подписью Коли, с текстом Епифанова и Андронникова к неизвестной белокурой Лиденьке, которая ждет в пустой квартире и плачет.

Коля Платт попросил квитанцию, удивился:

— Там же двадцать слов было, откуда же сорок пять?

— А мне барышня велела обратный адрес приписать, — спокойно соврал Епифанов.

— Это еще что за выдумки! — возмутился Коля. — Им бы только денег побольше.

— Уж не знаю. Мне велели дописать, я и дописал.

— Надо было мне самому...

Коля подсчитал разницу в цене и отдал Епифанову долг. Епифанов со злостью думал: «Ну да, как же, самому!.. Ты бы такой замечательной телеграммы в жизнь не написал бы!»

— Чуть что, я мигом съеду, — повторил он свое давнишнее предложение.—Пусть приезжает.

Коля вздохнул, походил по комнате, грустно сказал:

— Не понимаешь ты, Алексей. Лиденька к такой жизни не привыкла. Да и куда ехать зимой, в морозы, на грузовике? И потом вещи там, квартира, мебель. Не век же мне торчать здесь! А в крайнем случае я весною съезжу за нею. Но здесь для нее не обстановка.

— А как же девушки наши живут?

— Я бы не хотел видеть свою жену на их месте,— сказал Коля. — Порядочный человек не смеет подвергать...

— И что это за слова у тебя: порядочный человек, порядочный человек! Сухарь ты!..—с сердцем сказал Епифанов.—Ты бы лучше подумал, что девочка одна, с покойницей. Ей утешение нужно...

Слова Епифанова, видимо подействовали. Коля сел писать письмо.

Епифанов лежал, слушая скрип карандаша, смотрел на Колин склоненный затылок и думал о письме,—может быть, оно более ласковое, более сердечное, чем телеграмма? Может быть, в письме он нашел настоящие утешающие слова? Ну да, черта с два, найдет!.. Вот если бы нам с Андронниковым! Епифанов так и заснул, размышляя, что́ надо написать и что напишет Коля этой маленькой белокурой девушке, тоскующей в одиночестве за тысячи километров от них.

## 16

На лесозаводе была вышка — самая высокая точка среди первых, еще низкорослых зданий строящегося города. С этой вышки, открытой ветрам и солнцу, была видна строительная площадка.

Клара Каплан любила приходить сюда полюбоваться и помечтать. Здесь было как-то особенно легко вообразить себе то, что еще не существует сегодня, но что будет существовать завтра. Стройные контуры завода вырастали на месте замусоренных строительных участков, на месте шалашей и бараков. Кларе виделись просторные проспекты и строгие ансамбли домов и площадей.

Сегодня она пришла сюда ранним утром. В холодном осеннем воздухе был особенно отчетлив и ярок пейзаж. Перила вышки серебрились от инея — первый сигнал зимы. «Какова-то она будет — зима?..» Забыв мечты, Клара с тревогой вглядывалась в жалкие ряды непрочных шалашей, в медленно растущие леса строек.

Лесенка заскрипела под грузными шагами. Клара нехотя оглянулась и радостно вскрикнула:

— Ты?!

Морозов поднялся на вышку, пожал ее холодную руку:

— Ты как сюда попала?

Клара почему-то стыдилась своих мечтаний, — может быть, потому, что сегодняшнее положение было очень напряженным.

— Я пришла проталкивать пиломатериалы на жилье. А ты?

Морозов понимающе усмехнулся:

— И я пришел проталкивать пиломатериалы на жилье... А как тебя занесло на крышу?

Улыбаясь, Клара повела рукой вокруг и спросила:

— А тебя?

Морозов тоже повел рукой. Стоя бок о бок, они смотрели на город, и, пусть по-разному, каждый в соответствии со своей мечтой, оба видели его прекрасным, могучим, счастливым.

— Когда приезжают новые строители, — сказал Морозов, — надо бы вести их прямехонько сюда...

— Я приводила. Тут есть паренек — Федя Чумаков, лесогон. Сема Альтшулер просил последить за ним, у парня настроения были... Он из больницы недавно. Так я его сюда привела и показала: «Смотри. И представь себе, что́ ты увидишь через пять лет».

— Ударник теперь?

— Ну да.

Объяснений не нужно было. Они хорошо понимали друг друга, хорошо знали людей и те многообразные каналы, по которым к сознанию и чувствам людей доходило величие большевистского дерзания, большевистских дел.

Морозов провел ладонью по заиндевевшим перилам, поколупал иней ногтем. И для Клары было естественным, что он сказал в раздумье:

— Проскочить бы эту зиму, а там...

Они помолчали.

— Я говорила с врачом. При нашем жилье и питании зима даст новый скачок заболеваний.

— Овощи! Овощи нужны! Клюква. Лук.

— У Гранатова они «на колесах», — недоброжелательно бросила Клара. — Значит, до весны не жди...

Морозов хмурился. Угрюмо смотрел перед собой. По корявым дорогам тащились грузовики с досками, и на-

встречу им порожние — на лесозавод. В воротах образовалась пробка. Клава Мельникова суетилась на лесной бирже, регистрируя отпуск материалов.

— Плеврит у нее прошел? — спросил Морозов.

— Прошел. Только вот сердечко...

— Сердечко — да... — вздыхая, подтвердил Морозов. — И черт дернул Круглова...

— Что же делать? Бывает...

— Бывает...

Пронзительно гудя, пронесся по узкоколейке паровозик с порожними вагонетками — в тайгу, к каменному карьеру. Сам карьер не был виден, но над деревьями вились дымки его поселка.

— Наладим, — сказал Морозов.

Клара поняла, что он говорит о каменном карьере; открытие этого карьера и организация работ на нем потребовали от Морозова много усилий и борьбы. Клара была там на днях. Было трудно дышать в клубах сухой каменной пыли, от скрежета камнедробилки сводило челюсти, но Кларе понравились четкость и быстрота работы, груды щебня и камней, грохот взрывов. Геннадий Калюжный, бригадир комсомольского ударного участка, привел ее к уступу, где подготовлялся взрыв. Возня. Шум. И до последней минуты все работают. Геннадий поднял красный флажок: опасность! Комсомольцы отбежали в сторону. Все смотрели на шнур. По шнуру будто бежит желтая змейка. И вдруг — гром, треск, столб густой пыли и дыма. Сквозь дым и пыль — взлетающие камни. И еще не улеглась пыль — флажок опущен, комсомольцы бросились на места, подтащили вагонетки, быстро и размеренно заработали лопатами.

— Каждый день двести процентов плана, — спокойно сказал Геннадий. — Если бы все так работали!

— Если бы все так работали, — вслух повторила Клара. — А вот с кирпичным...

Другой поезд выбежал из тайги — нагруженные камнем вагонетки неслись к бетонному заводу. В ясном воздухе был слышен далекий шум бетономешалок. Морозов с удовольствием прислушивался: темп работы бетономешалок был превосходен.

— Комсомолки! — сказал он.

Девушки заполонили бетонный завод. Они ежедневно повышали число замесов бетона. У них не было плохого качества. На заводе работало всего пять мужчин, и, когда Морозов зашел вчера на завод, девушки серьезно гово-

рили о том, что основиой иедостаток — отставаиие мужчии, иадо провести среди них работу. «Так вы что же, девчата, забили своих парией?» — спросил ои, смеясь. «Да мы ие забивали, — сказали девушки, — оии сами затерялись». Затеряешься среди таких вот востроглазых и иапористых!

— Все дело в людях, — сказал Морозов. — Вот ты посмотри. Условия равные. В одиом месте заведется червоточииа — и все не в лад. А подбросишь иастоящих людей — любо-дорого смотреть.

— Не хватает их.

— Людей-то? Людей — целый народ, и все — люди. Только выяви, научи, глаза раскрой — оии тебе покажут.

— Сейчас ие хватает...

— И сейчас хватило бы. А вот черви развелись. Грызут. Ты чувствуешь, как грызут?

Оба, каждый про себя, вспомиили десятки мелких и крупных безобразий, иеполадок, глупостей, которые мешали, тормозили, портили, исподтишка срывали удариую работу. Как-то иепоиятио, но упорно ие ладится строительство гофманской печи иа кирпичном заводе. Почему-то ие доходят, застревают в пути товары. Дефицитиые материалы попадают иа второстепениые участки...

— Надо бы их, червей этих...

Клару окликиули сиизу; Клава Мельиикова махала перчаткой и что-то кричала.

— Иду-у! — радостио откликиулась Клара и, уходя, сказала: — А все-таки — как хорошо!

Морозов остался одии иа вышке; ветерок шевелил его седеющие волосы. Острым, молодым взглядом следил ои за тем, как Клара и Клава, обиявшись, шли по двору. Клава вдруг оторвалась и побежала к подкатившему грузовику. Оиа звонко кричала иа шофера, размахивая нарядом, и Морозов догадался, что шофер хотел забрать пиломатериалы первого сорта вместо второго. Смущенио улыбаясь, шофер повел машину туда, куда полагалось.

Клава грозила пальцем и смеялась. Молодость!..

На озере покрикивали комсомольцы, сгоиявшие бревиа к лесотаске. Оии прыгали по вертким бревнам, рискуя свалиться, но никто ие сваливался; они были ловки и веселы, им самим, видимо, по душе пришлась их опасиая, красивая работа.

Морозов любовно иаблюдал за иими и за результатами их усилий, — лесотаска без перебоев вздергивала

на свои зубья и тащила к лесозаводу бревно за бревном. Да, пока дело зависит от этих парней, от Клавы, от девушек-бетонщиц, от Геннадия Калюжного, — дело будет идти споро. А чем лучше спорится дело, тем быстрее растут люди.

Две задачи — построить могучий город обороны, воспитать великолепное поколение новых людей. Две задачи, из которых каждая сама по себе огромна, — на всю жизнь хватит работы. И эти две задачи надо разрешить вместе, разрешить быстро, на ходу воспитывая и сразу же пуская в ход растущую сознательность и умелость. Да, Клара права — хорошо! Хорошо жить и бороться, мечтать, напрягать все силы, уставать до изнеможения и все-таки непрерывно восстанавливать силы в общении с жизнью, с людьми, с товарищами, — какая к черту усталость, когда самый воздух страны, воздух дружного коллектива — как кислород для легких! Живи, дыши, разворачивай силы вовсю — и все будет мало!

— Хорошо! — повторил он и медленно пошел по ступенькам.

Один из парней на озере все-таки сорвался в воду и теперь, как курица, отряхивался на мостках.

— Эй ты, прыгун! — крикнул ему Морозов. — Смотри не простудись.

— Простужаться-то некогда, — весело отозвался парень, — а я заместо бани искупался без всякой очереди — и ладно.

Морозов покачал головой и рассмеялся — сам с собой, негромко. Живительная бодрость переливалась в него — от морозного воздуха, от плавного бега бревен, от криков парней на озере, от шипения дерева под пилами, от бойкого ответа паренька.

Но, уходя, он все-таки заглянул к начальнику смены:

— Там паренек искупался — заберите-ка его в машинное в принудительном порядке, пусть обсушится.

## 17

Тоня так уставала теперь на работе, что приходила домой и сразу засыпала.

Сегодня она заснула, как всегда, и проснулась уже в темноте. Она лежала, не зажигая света. Она боялась увидеть эту старательно отделанную комнату, в которой ее поселил Геннадий. Она не могла отказаться от комнаты. То, что должно было произойти между нею и Се-

мой, касалось только их двоих. Она не имела права говорить что-либо Геннадию до того, как скажет Семе, до того, как решит Сема, а писать Семе было невозможно тоже. Она ограничивалась дружескими, веселыми телеграммами. А он писал ей восторженные, заботливые, нежные письма. Она не знала раньше, что человеческая любовь может быть так нежна и заботлива. Он находил десятки мелочей, в которых проявлялась любовь. Он предупреждал ее об опасностях, угрожающих ее здоровью, о которых она сама никогда бы не подумала; он там, в Одессе, покупал ей какие-то ботики, и теплые рейтузы, и двойные рукавички. И он волновался, как она будет обходиться без них до его приезда, и умолял беречься. Он давал ей трогательные советы, подчеркивая их жирной чертой, сопровождая их многими восклицательными знаками. В каждом письме он писал о своей любви неожиданно сдержанными, робкими словами. В этих словах Тоня читала жгучее радостное чувство. Он боролся за ее сердце, неуверенный в ее любви, жаждущий счастья.

Тоня испытывала страх и подавленность. Она боялась просыпаться утром, потому что пробуждение означало наступление нового дня, приближавшего ее несчастье. Она боялась людей, потому что они должны были ее презирать. Боялась самой себя, потому что не находила для себя ни оправдания, ни спасения. Вначале ей казалось, что она возненавидит и жизнь и людей, но былое ожесточение не вернулось к ней, — она слишком изменилась, она смотрела на жизнь глазами умной и много пережившей женщины, готовой страдать, но уже неспособной не любить. Она во всем обвиняла себя, только себя! Почему она одна живет так неумело, неудачно, несчастливо?

Проснувшись, она лежала в темноте, закинув руки за голову, покойно вытянув тело. «Я люблю Сему», — сказала она себе и удивилась: неужели это правда? Когда же это случилось? В больнице она еще не любила его, то есть не любила его настоящей женской любовью, в которой сливается воедино физическое и духовное влечение. Когда он уезжал, она тоже еще не любила... Нет, кажется, была минута... Она взлетела по мосткам, и поцеловала его, и смеясь спрыгнула обратно. А потом началось то... Потом все завертелось и померкло... Разве в ужасе последующего одиночества было место для рождения любви?

Она встала и зажгла свет, чтобы отогнать давивший ее страх будущего. Свежесть воздуха охватила ее, но была приятна. Она провела руками по бедрам, по животу, с ненавистью оглядела свое крепкое тело. Ее сердце было весело и чисто, оно забыло Сергея, оно билось новой любовью. Но тело не забыло. Оно питало в себе плод, он будет развиваться и продолжит неразрывную связь с человеком, которого она мечтала забыть навсегда.

Она села на кровати с сухими глазами, слишком несчастная, чтобы плакать. Выхода не было. Ее жизнь рушилась. Она не будет счастлива. Сема... Как отшатнется Сема, как он горько оскорбится!.. А Геннадий? Он скажет: «Я ж говорил!» Он презрительно подмигнет ей вслед, когда она пойдет по улице со своим разросшимся животом.

— Я не хочу! — сказала она вслух. — Не хочу!

Она уже просила отпустить ее в Хабаровск на несколько дней. Но Круглов отказал ей: «Зачем тебе? Для свадебных покупок? Ты пойми, если мы пустим тебя, надо отпускать и других». Она согласилась с ним и не настаивала. У нее не было смелости поговорить с врачом. Она избегала Соню, Клаву, Катю, Лильку. Она была одна. Совсем одна! И только в одиночестве еще можно было найти успокоение. В присутствии людей ею овладевал страх. Уже становилось заметно... Как объяснить им, что она ничего не знала, что она полюбила Сему, что она не ловила мужа, не лгала, не скрывала?

Ей послышались в коридоре шаги. А вдруг к ней! Она быстро выключила свет, чтобы к ней не постучались, и, накинув на себя одеяло, подошла к окну: «Да что же это такое?» Она смотрела на знакомый пустырь перед бараком и не узнавала его. Все было бело, нарядно, сказочно. Грязные лужи, стружки, обломки, пустые бутылки и банки, валявшиеся на пустыре, были покрыты белой гладью. Здание электростанции, совершенно белое, с загадочной, с одной стороны побеленной снегом трубой, казалось новым, никогда не виданным, выросшим за один час, как в сказке. И круглый фонарь говорил о незнакомом городе, о новых местах, может быть существующих, может быть увиденных во сне.

Ровный, неторопливый снег мягко кружился и оседал на землю, говоря о покое, о покое и умиротворении, о том, что все преходяще. Ясный ласкающий снег нежно струился перед возбужденными глазами Тони, и несчастье, выдуманное ею, стало уменьшаться, исчезать под

этим струящимся покоем, и в душе, далекой от природы, засоренной наносами привычек, воспитания, предрассудков, заговорила природа. Заговорила женщина, гордая своим материнством. «Я жду ребенка. Это мой ребенок. Мое создание. Работа моего тела, естественная, как вся природа. Что может быть плохого, неправильного в том, что совершает мое тело?»

Можно выдумать несчастья, стыд, сожаления, можно презирать себя, но тело, молодое и сильное, выполняет свою работу, создавая новую жизнь, и дело всех людей и ее самой в первую очередь — оградить новую жизнь от сожалений, обид, несчастий, нанесенных извне, от неумения жить и чувствовать.

Все показалось ей так просто, так легко, так жизненно.

Боясь растерять это чувство до того, как оно укрепится в ней, она захотела на воздух, под снег, в непосредственное общение с природой, с небом, с ласкающей свежестью снежинок. Она быстро оделась и, уже выходя, подумала, что хорошо было бы поговорить с кем-нибудь умным и смелым, кто понял бы ее, кто сказал бы ей: «Да! Ты права! Живи».

Она шла по безлюдным мосткам, по белой дороге, где ее следы отпечатывались темными лунками. Она вышла к дому дирекции и мимо него к реке. По краям реки уже образовались забереги, дальше, слегка сдавленная льдом, темнела быстрая упрямая вода, стремившаяся к океану.

Тоня смотрела жадно, смело, все понимающим взглядом. Она видела и чувствовала жизнь, — гигантскую жизнь мира, во много раз более мощную и значительную, чем ее маленькая жизнишка. Жизнь была вокруг нее: в падении снега, в корпусах растущих зданий, в неуклонном движении воды, в таинственном процессе созревания человека, происходящем в ее круглом эластичном животе.

Тоня впервые обрадовалась существованию маленькой, зреющей в ее теле жизни. Он выйдет из нее, утвердит свое бытие, будет смотреть чистыми и требовательными глазами. В чем можно обвинить его? Чем он виноват, что его появление принесло с собой слезы, насмешки, стыд? Его жизнь отбросит наносы прошлого, как шелуху. Его жизнь будет прекрасной и чистой.

Давая жизнь новому человеку, Тоня будет страдать. Это будет сильнее и длительнее, чем физическая боль. Косые взгляды, насмешки, одиночество, утрата только

что возникшей любви... Но ведь все проходит, как боль, как зима, как лед. И маленький сын будет говорить «мама» с тою же нежностью и потребностью в ласке, как и все другие маленькие сыны.

Тоня улыбнулась. Она стояла над обрывистым скатом берега, одна среди падающих снежинок и тишины. Она почти видела его рядом — крошечного, неуклюжего, в белом капоре, открывающем красные щеки и нос пуговкой, с игрушечным автомобилем, прижатым к груди... Какое ей дело до Голицына, до презрения Калюжного, до сплетен и косых взглядов! Махонький человечек протянет к ней руки и скажет: «Мама!» И она сумеет вырастить его так, что он будет уважать и любить ее.

Это давало ей отраду. Но боль оставалась. Если бы это открылось ей раньше... Теперь она связала свои надежды на счастье с человеком, который любил ее день ото дня сильнее. Он уже едет к ней, и она тянется к его страстной нежности. Как отказаться? Да ей и не надо будет отказываться!.. Он отшатнется сам. Он будет оскорблен, подавлен. Он убежит в отчаянии и ужасе. Хотя — в чем дело? Почему?

В ней вспыхнуло чувство протеста. Разве она сделала что-нибудь плохое? Она любила и зачала ребенка. Любимый человек оказался недостоин любви и сына. Она забыла его и успела полюбить снова, другого. Никто не имеет права презирать ее, смеяться над нею. Она женщина, она мать. Она никому и ни в чем не лгала.

Она вспомнила Сему таким, каким увидела его в последний раз. Белая рубашечка, яркий галстук, начищенные до блеска рваные ботинки, начисто выбритые щеки и пламенные глаза... Они стояли одни среди желтеющих свежими срезами пеньков... Он спросил: «А если бы вернулся Голицын?» А потом повел ее за руку и сказал товарищам: «Вот моя невеста!»

А Голицын вернулся. Вернулся вот в этом назревающем комочке жизни, чтобы сломать, искромсать, уничтожить ее новое счастье.

Но она не хочет. Она отрекается от Голицына. Сын не принадлежит ему, он принадлежит только ей. Ей и Семе, если Сема захочет. Из боли, из неустроенности, из сомнений и грязи он родится чистым и ясным — первый гражданин нашего города. Он вступит своими энергичными ножками в будущее, которое строим мы все, вы и я. Примите же его — это наш первый гражданин!

Полная решимости бороться за свое счастье и идти

к нему прямо, ничего не боясь, она подняла к небу разгоряченное лицо и всеми порами кожи принимала бодрящий холодок снежинок.

Она пошла назад. В окнах Гранатова и Клары Каплан горел свет. Она вспомнила о Гранатове, и сердце ее забилось. Ей снова захотелось поговорить с умным и сильным человеком, чтобы он понял ее и сказал: «Да, ты права! Живи. Ты рассуждаешь так, как должны рассуждать новые люди — люди социализма».

Тоня решительно взошла на крыльцо и потянула к себе дверь. Дверь была не заперта. Тоня очутилась в темном коридоре. Дверь Гранатова была приоткрыта, дверь Клары Каплан — тоже. И, прежде чем Тоня успела постучать или позвать, она услыхала задыхающийся, умоляющий голос, в котором с удивлением и страхом узнала голос Гранатова:

— Клара... умоляю вас... не будьте так жестоки...

Тоня замерла. Это показалось ей так странно. И той, другой женщине это показалось странно тоже.

— Опомнитесь, Гранатов! — крикнула она. — Уйдите!

Тоня не видела, что происходило в комнате Клары Каплан, но вместе с другой женщиной чувствовала стыд за человека, которого считала сильным.

— Я не могу уйти... — сказал Гранатов, и Тоня как будто видела его трясущиеся губы. — Я не могу жить без вас... Неужели в вас нет ни капли жалости?.. Неужели вам так трудно?

— Гранатов! — звенящим голосом крикнула Клара. — Вы позорите себя! Уйдите, а то я начну презирать вас...

Тоня выскочила на улицу, краснея от стыда. Неужели это был он? Неужели эти сухие руки, отмеченные следами гордого страдания, могли протягиваться с просьбой о жалости?

Жалость?

Ну, нет!

Она быстро шла домой, уверенная, непокорная. Она не хочет ни жалости, ни снисхождения, ни уступок. Как равная к равному, она пойдет навстречу Семе и скажет: «Вот я! Я и мой будущий сын! Решай, проверь, можешь ли ты любить меня. Я ничего не прошу. Я буду бороться за твою любовь и за своего сына, но я ничего не прошу...»

Дома она еще раз поглядела в окно. Снег падал, па-

дал, падал, медленно кружась, поблескивая в слабом свете фонаря. И чувство покоя и уверенности вошло в Тоню, вернув ей утраченные силы.

18

Наступила зима. От мороза схватывало дыхание. На Амуре забереги все увеличивались, течение несло ледяное сало, и казалось, вот-вот река станет на глазах у людей. Но стала она для всех незаметно, ночью, — поглядели утром, а перед глазами корявое ледяное поле, и свежий снежок посыпает его, ровняя поверхность.

В шалашах стало холодно и дымно. Всю ночь по очереди топили камельки, иначе к утру замерзала вода и страшно было вылезать из-под одеяла. В бараках было немногим лучше. Не хватало дров. Комсомольцы выходили с топорами и рубили деревья тут же, около домов. Были приказы Вернера, запрещающие рубку деревьев в черте города, но деревья исчезали одно за другим. В столовых экономили продукты. Ждали установления зимнего пути, чтобы по амурскому льду подбросить новые запасы.

От Хабаровска уже тянулись к строительству вехи будущей железной дороги.

Пока железной дороги еще не было. Были фаланги, рабочие участки, засыпанные снегом костры. От участка к участку тянулись наскоро расчищенные дороги. По этим дорогам, постоянно застревая в наметенных метелями сугробах, шли перегруженные грузовики. Дойдя до конца разработанного пути, они останавливались и ждали. Здесь надо было сворачивать на Амур, на лед, и еще много десятков километров идти по льду. А лед еще не укрепился. Люди, машины и товары ждали льда.

Начались болезни. Боялись цинги.

Касимов боролся с цингой по-своему — движением, баней, дисциплиной. На его рыбной базе, где комсомольцы осваивали новую науку — подледный лов, не было ни одного случая цинги. Касимов был безжалостен к своим рабочим: не давал много спать, каждый день гонял в баню, заставлял заниматься физкультурой и много работать.

Он обходил землянки, усеявшие весь берег на участке рыбной базы, следил за чистотой, поднимал с коек ребят, любивших поваляться. «Партизаны цингой не болели, — говорил он, — а питались хуже вашего».

Андрей Круглов созывал совещания по борьбе с цингой. Не хватало бань — начали наскоро строить простые деревенские бани. Катя Ставрова и Валька Бессонов выступили застрельщиками зимнего спорта. Было плохо с коньками и лыжами, но столяры сами мастерили лыжи, а в мастерских стали изготовлять коньки. Геннадий Калюжный с приятелями расчистили площадку для катка и заботливо поддерживали лед в хорошем состоянии. Геннадий организовал группу хоккеистов и восполнял настойчивостью и азартом плохую конькобежную технику. Комсомольские звенорги и бригадиры каждый вечер тянули своих ребят на воздух, на лед, на лыжи. Устраивали соревнования. Но занять всех было невозможно. О витаминах говорили, как о живых людях, — проникновенно и любовно. Местный лук — черемша — пользовался широким спросом. Черемшу жевали, черемшой растирали тело. В бараках и шалашах стоял острый невыветриваемый запах черемши.

Витамины находились в пути, — где-то на застрявших грузовиках ехали клюква, яблоки, лук, картофель. Комсомольцы смеялись и злобствовали: «Опять все на колесах, а здесь ничего».

Епифанов стал учиться на шоферских курсах, с ним учился и Кильту. Епифанову казалось, что шоферам застрявших грузовиков не хватает смелости и упорства, что можно пробиться к строительству и сейчас. Коля Платт издевался над ним, злился и все свободное время катался на коньках.

Однажды, придя домой, Епифанов увидел непривычный беспорядок. Колины валенки валялись посредине комнаты, пальто было брошено на стул, а сам Коля лежал на койке лицом в подушку.

— Колька, ты что? — окликнул Епифанов.

Коля повернулся и сел в постели. Он хотел что-то сказать, но губы его затряслись и выдавили непонятные звуки. Епифанов решил — лихорадка! — и тронул было лоб Коли, чтобы определить, есть ли жар, но Коля грубо оттолкнул его руку и с озлоблением, готовым прорваться слезами, закатал штанину и выставил ногу с небольшими бурыми пятнами.

— Сходи к врачу, лечись...

— Был!

— Ну и что?

— Мерзавец он, а не врач!

Епифанов никогда не видел Колю таким возбужден-

ным и несдержанным. Он с любопытством разглядывал его и слушал его злые, порывистые слова:

— Я просил отпуск. Не оставаться же в этой яме! Он говорит: «Что вы, что вы, у вас легкая форма...» Так я должен ждать, чтобы форма была тяжелая?! Наплевал я на всех.

Коля бушевал весь вечер. Он ругался, плакал, дрожащими пальцами ощупывал свои ноги, разглядывал в зеркальце здоровые розовые десны, ища на них следы болезни.

Епифанову было противно и немного жаль его. Он успокаивал Колю как умел. Но, успокоившись, Коля сказал упрямым тихим голосом:

— Они могут делать со мною все, что угодно, но я здесь не останусь. И дурак я, что не уехал еще осенью!

Наутро Епифанов предупредил Круглова о настроениях Коли Платта. Но Коля не заставил себя вызывать, — он сам подал завление о том, что требует немедленно отпустить его для лечения и помочь в отправке до Хабаровска.

Комсомольский комитет обсуждал заявление Коли Платта больше часа. Коля Платт был таким, каким его еще никто не видал: он ругался, требовал, на глаза наворачивались слезы. Он не хотел слушать никаких доводов.

Тогда Круглов, побледнев от гнева, скинул с ноги валенок и показал Коле свою ногу в бурых цинготных пятнах:

— Ну что? И мне вслед за тобою бежать? Комсомолец!

Тоже побледнев, Коля смотрел на бурые пятна. Потом повернулся и молча вышел.

Епифанову поручили воздействовать на Колю.

— Он просто трус, — сказал Епифанов. — Я с трусами не знаю, как и говорить.

И он с горечью подумал о белокурой девушке, полюбившей Колю. Знает ли она, что он за человек?

В последующие дни произошли события, оттеснившие дело Коли Платта.

Из тайги пришел на лыжах нанайский комсомолец Ходжеро. Он разыскал Кильту и Мооми и с ними вместе пошел к Круглову. Ходжеро рассказывал долго и сбивчиво. Он говорил о людях, которые «не хотят город», о нефти, которая будто бы отравляет рыбу, о Степане Парамонове, который говорит: «не надо ничего давать, нам город не нужен, кому нужен, пусть дает», который один

мог стрелять в Круглова («нанайцы стрелять не станут, нанайцы не стреляй человека»).

— Парамонов Степан Иванович? — спросил Андроников.

— Так, так — Степан Иванович! — обрадовался Ходжеро.

— Хозяин вашего Тараса Ильича, — объяснил Андроников. — Мы сейчас сидим с вами в его бывшем доме. Да, ему город не нужен. А где его брат?

Ходжеро не знал никакого брата.

— Есть, есть брат. Офицером был, — сказал Андроников. — После раскулачивания оба смылись в тайгу.

Он вызвал Тараса Ильича. Тарас Ильич неторопливо и злобно сообщил приметы своего бывшего хозяина.

— Так, так, — подтверждал Ходжеро.

— Жива змея! — стиснув челюсти, процедил Тарас Ильич, и лицо его налилось кровью. — Ползает еще...

Ходжеро поселился вместе с Кильту и Моомн и стал работать у Касимова на рыбной базе. Первые дни все шло хорошо, но, когда после большого улова его перебросили на обработку рыбы, он наотрез отказался подчиняться Моомн.

Круглова вызвали улаживать конфликт.

— Почему нет? — спросил Андрей. — Ты не любишь Моомн?

— Моомн — женщина, — твердил Ходжеро. — Моя не могу слушать женщина. Смешно слушать женщина.

Моомн плакала и сердилась. «Ты не комсомол! — сквозь слезы кричала она. — Русски комсомол слушают, а ты плохой, ты дурак! Я тебя не возьму работать, мне дурак не надо!»

Она говорила Круглову: «Не надо Ходжеро, не возьму, я начальник цеха, не возьму!» Она побежала к Касимову: «Возьми себе Ходжеро, мне дурак не надо, не возьму!»

Пришлось перевести Ходжеро на подледный лов, под непосредственное руководство Касимова. Комсомольцам было поручено вести с Ходжеро воспитательную работу, особенно по женскому вопросу. Морозов приглашал Ходжеро к себе в гости, туда же приходили Кильту и Моомн, и Морозов рассказывал им о том, о сем, искусно добивался примирения между Моомн и заупрямившимся парнем. Настал день, когда Ходжеро на собрании комсомольцев рыбной базы признался, что был неправ.

А вечером Кильту застал его в слезах. Он плакал и пел, раскачиваясь из стороны в сторону, нисколько не стыдясь своих слез:

«Богатые люди купили тебя, Урыгтэ. Твои шелковые халаты пригодились тебе только для похорон, Урыгтэ. А ты могла бы уехать со мной в город и была бы большим начальником, и русские люди слушали бы тебя, Урыгтэ...»

Кильту не мешал ему оплакивать свою подругу и преисполнился гордости, — он впервые понял, что Мооми стала «большим начальником».

В тот же вечер, часом позднее, они пошли втроем к Морозову. Морозов учил их читать и писать по-русски. Этот неутомимый человек с любовной настойчивостью воспитывал трех молодых нанайцев. Он возлагал на них большие надежды, связанные с планами серьезной воспитательной работы в окрестных деревнях и стойбищах, которую предполагал развернуть с весны.

Они засиделись до полуночи. Выходя из дома дирекции, они заметили человека, быстро шарахнувшегося от крыльца в темноту. Парни не обратили на него особого внимания, но Мооми, не раздумывая, бросилась вслед за человеком.

— Погоди! — кричала она. — На минутку! Погоди!

Они смутно видели быстро удаляющуюся высокую, слегка согнутую спину, темневшую среди хлопьев падающего снега. Человек шел быстро, осторожной и мягкой охотничьей поступью.

— Погоди! Тебе говорю! Погоди! — крикнула Мооми сердито и побежала за ним. Человек тоже побежал. Кильту и Ходжеро, не понимая, что нужно Мооми, последовали за нею.

Человек бежал к сараям. Мооми уже догоняла его, когда он юркнул в узкий проход между двумя сараями. Она бросилась было за ним, но сильный удар кулаком в лицо оглушил ее.

Кильту и Ходжеро нашли ее лежащей в снегу, с разбитой губой. Она всхлипывала и бранилась. Она не дала увести себя домой, а побежала к Морозову.

— Парамонов! — сказала она еще от двери, прижимая палец к кровоточащей губе. — Парамонов ходи здесь. Недобрый человек. Пак дружил. Самар дружил. От меня бежал. Зачем бежал? Меня в лицо бил. Зачем бил? Недобрый человек, хуже Пака!

Теперь и Кильту и Ходжеро сообразили, что высокий

человек со слегка согнутой спиной и мягкой поступью был знаком им.

Морозов позвонил Андронникову.

Обыскали все сараи — Парамонова не было.

Напали на лыжный след, он шел на лед и затерялся в полынье. Падающий снег заносил следы...

Выяснилось, что высокий человек появился на строительстве под вечер. Он назвался Михайловым и предъявил удостоверение уполномоченного Интегралсоюза. Он добился приема у Гранатова и вел с ним переговоры о поставках крупных партий дичи и лосиного мяса. У Гранатова на столе еще лежал подписанный ими договор. Гранатов описал внешность этого человека. Кильту, Ходжеро и Мооми утверждали, что это и есть Парамонов, брат Степана.

Тарас Ильич не видал его уже пять лет, но уверял, что помнит «ехидну» до мельчайшей черточки, и соглашался, что по описанию Гранатова Михайлов не кто иной, как Парамонов-младший.

Как бы то ни было, человек приходил неспроста. Если это уполномоченный Интегралсоюза, зачем он вертелся ночью у дома дирекции, зачем он бежал от Мооми, зачем ударил ее кулаком?

Мооми чувствовала себя героем. Она участвовала во всех поисках скрывшегося человека, а когда вернулась ночевать, нашла для своих друзей только одно слово.

— Дураки! — говорила она. — Дураки!

И парни не могли возражать.

А на следующий день еще одна новость облетела стройку: исчез Коля Платт. Он взял с собой лучшие валенки Епифанова, оставив свои старые и ботинки с коньками.

Епифанов нашел в ботинке записку: «До свидания, друг. Искать меня бесполезно. Я не желаю подыхать. Кто хочет, пусть дохнет. Извини, что взял валенки. Оставляю ботинки с коньками, они стоят дороже. Передай Круглову мой привет. *Коля*».

Епифанов взревел от возмущения и злости. Он прибежал к Круглову с валенками, коньками и запиской.

— Возьми все! — сказал он, бросая на пол Колино наследство. — Мне от этого гада гвоздя не нужно. И еще «до свидания»! До свидания! Я ему при свидании зубы выбью! Ноги выдерну! Зеленая сволочь!

Каким образом сумел уехать Коля, осталось тайной

для всех. Правда, выяснилось, что накануне Коля взял у Гениадня Калюжного лыжн, но было невероятно, чтобы один человек, да еще с тяжелым чемодаиом, решнлся отправнться на лыжах в такой далекнй путь.

## 19

Дальиевосточиый экспресс отошел от Москвы.

Лнденька отсутствующим взглядом смотрела в окиа, где мелькалн подмосковные дачи, сады в снежном уборе и белые поля.

Оиа все еще чувствовала себя иемного несчастной и какой-то потеряниой. И оттого, что вся жнзнь нзменилась в несколько дней, ощущенне потерянностн уснлнвалось.

Мать умнрала тяжело, долго, сопротивляясь смерти до последнего дыхання, изводя окружающнх н самое себя. За три дня до смертн ее наголо обрнлн. И когда Лидеиька думала о матерн, она вспомннала ее нменно такой — с жалким, сморщенным голым черепом, раздражеиио хиыкающей, с детскнмн жалобами и обостренной подозрительностью.

Лиденька осталась совершенно одна. Тетка бестолково суетнлась н ревела, ей ннчего нельзя было поручнть. Роднтелн Колн Платта пришлн выразнть сочувствие, но предложить свою помощь не догадалнсь.

На помощь прншлн совершенно чужне люди. Бывшая больная из соседней палаты, худенькая н веселая Танюша — Сюркуф Гроза Морей откуда-то узнала о смертн старухн н сразу же прнбежала к Лнденьке. Оиа привела с собою мужа — Ивана Гаврнловнча, мастера судостроительиого завода, степенного, сердечного н покладистого человека. Оин взяли иа себя все заботы по похоронам н увели Лиденьку к себе.

После похорон Лидеиька инкак ие могла решить, что ей делать. Ей очень хотелось поехать на Дальинй Восток: переменнть обстановку, попасть в чнсло героических строителей нового города. Ей хотелось к Коле... Но имеиио Коля смущал ее больше всех. Его пнсьма былн иеопределенны. Он уже давно ие просил ее приехать. За иежиымн н уклоичивыми словамн всегда чувствовалось плохое настроеиие. Может быть, он разлюбил ее? Может быть, он увлекся другой?

Лндеиька немиого отвыкла от иего, но разлука н чувство виины перед иим поддержнвалн ее любовь. И все-та-

ки она находила в нем противоречия, которые удивляли и огорчали ее. Его почтение к родителям возмущало ее. Ведь он презирал ее мать, ее мещанские взгляды, он и Лиденьку называл мещанкой и маменькиной дочкой. Но чем же его родители лучше? Такие сухие, педантичные, себялюбивые люди, живущие интересами своего благоустроенного дома, своей кухни и сберегательной книжки. Лиденька хорошо знала недостатки своей матери, но в матери ее пленяла широта натуры, любовь к жизни и веселью; мать сидела на своих вещах, это верно, но она никогда не жалела денег на сладости и на удовольствия, умела, вдруг заразившись весельем молодежи, пуститься в пляс или спеть старинный игривый романс. А что умели родители Коли? Они любили Лиденьку, но как они оскорбляли ее вечными расспросами о том, что она делала, где была, с кем была, как они надоедали нравоучениями. «Помни, ты невеста» — в их устах звучало: «Помни, ты связана!» Лиденька избегала их сколько могла, стараясь не нарушать приличий.

После смерти матери они с неприятной настойчивостью убеждали Лиденьку переехать к ним, а главное — ничего не продавать без их ведома. Они ссылались на желание Коли. Лиденька обещала подумать, убежала и стала проводить все свободное время у Танюши — Грозы Морей.

«Ехать к Коле или не ехать?»

Она бы, наверное, решилась не скоро, если бы не Иван Гаврилович и Танюша. Однажды Иван Гаврилович сообщил, что ему предлагают двухгодичную командировку на Дальний Восток, на тот самый завод, который строит Коля Платт. Гроза Морей радостно вспыхнула и заявила: «Конечно, соглашайся, едем!» Иван Гаврилович развел руками: «Да ты на дачу с трудом собираешься, а тут в этакую даль с ребятами?» — «С ребятами, с ухватами, со всем скарбом! — ответила Танюша, лукаво поблескивая глазами. — Нам и помощи не надо. Мы с Лиденькой в два счета соберемся».

И вот они ехали — с ребятами, с ухватами, со всем скарбом. Лиденька послала Коле одну коротенькую телеграмму. «Я не сама по себе, я с Танюшей: чтó бы ни было, я найду где переночевать, пока не устроюсь, — думала она, — пусть он даже женился. Я комсомолка, я еду строить город». Она распродала все вещи, кроме белья и платьев.

Теперь, освобожденная от своего прошлого, в поезде,

уносившем ее в незнакомый край, без малейшего представления о том, что будет с нею через десять дней, она думала о себе, о своей любви, о Коле... Она уже забыла его непонятные письма, его скучных родителей. Она помнила только хорошее: часы любви, нежные уверения, поцелуи, последнюю телеграмму... Ну, теперь она ему докажет, что она не мещанка и не трусиха! Она будет строить, как и все (ей почему-то представлялось, что придется таскать кирпичи). Он должен будет признать, что зря обвинял ее, он полюбит ее еще крепче.

— Лиденька! А кого я нашла! — закричала Гроза Морей, влетая в купе. — Иди сюда скорей, скорей!

Из-за ее плеча выглядывало любопытное и приветливое, востроносенькое и глазастое лицо. Лиденька уже видела этого парня — худенького, забавного, суетливого, с большими пламенными глазами под лохматыми бровями. На вокзале в Москве он суетился, кричал, привлек общее внимание. Он сдавал какие-то ящики и свертки в багаж, а затем три носильщика пришли с ним к вагону. Проводник не разрешал проносить столько вещей на один билет. Парень жестикулировал, требовал начальника поезда, кричал: «Да вы не знаете, какие это вещи! Что, это мои вещи?!» Лиденька не видела, чем дело кончилось, — у них были свои хлопоты.

— Альтшулер Сема из нового города на Амуре, — важно представился парень. Но важность тотчас же слетела с него, он потряс Лиденьке обе руки, потом так же потряс руки Ивану Гавриловичу и даже детям, присел на краешек скамьи и неудержимо заговорил:

— Вы едете к нам? О, вы сделали самое умное дело в своей жизни! Через три года вам будут завидовать все толковые люди! Вы знаете, что это за город? Вы не знаете! Вы себе представляете, что за перспективы имеет этот город? Это будет такой город, что фотографы не устанут снимать его и в кино будут показывать его, как чудо! Вы из Ленинграда, да? Так ваша Нева — ребенок рядом с Амуром! И ваши набережные!.. И ваши мосты!.. Да что ваши мосты! Вы видали, чтобы реки были в три километра? Черное море, а не река! Вы вступите на мост и будете идти, идти, идти, и все еще не будет конца!

— Там такой большой мост? — сумела ввернуть вопрос Лиденька.

— Вам этого не понять, я знал, — обиженно сказал Сема. — Вы приедете и скажете: грязь, шалаши, холод,

клопы, моста нет. А мы видим и набережные, и доки, и мост, и аэропорт, и бульвары...

— Прекрасно понимаю, — тоже обиженно сказала Лиденька. — Я комсомолка и еду строить, как и все.

— А что ваши парки! — без всякого перехода сказал Сема. — У нас тайга. Вы знаете, что такое тайга? Три человека не могут обхватить одно дерево, вот какие деревья!

Уже все три смены пообедали в вагоне-ресторане, а Сема Альтшулер все еще рассказывал — так, как ему вспоминалось, так, как подсказывало воображение, так, как ему казалось нужно для того, чтобы слушатели прониклись должным уважением к новому городу.

В первый же день будущие новые строители узнали десятки фамилий, десятки героических подвигов и забавных историй. Они узнали, как надо корчевать пни, и ясно представляли себе лесотаску, и понимали, какой щебень годится для бетона, а какой не годится. Лиденька мысленно поступала работать то на корчевку, то на лесопильный завод, то на каменный карьер.

— А вы где работали? — спросил Сема.

— Кладовщицей в инструментальной, — неохотно ответила Лиденька и тотчас же заявила: — Но я ни за что не стану кладовщицей, я буду строить!

Пропустив обед, они все вместе отправились ужинать. И снова Сема рассказывал, забывал есть, размахивал вилкой.

— Если вы думаете, что вам будет легко, лучше вылезайте на первой станции и езжайте домой, — говорил он. — Трусливым людям у нас нечего делать. У нас еще ничего нет, у нас плохо с кормежкой и плохо с жильем. Но если вы понимаете, ради чего надо пережить трудности, разве трудности вас испугают?!

— Да, да! — поддакивала Гроза Морей, и щеки ее горели.

Иван Гаврилович наблюдал за нею и нежно покачивал головою — та ли это ворчливая женушка, которой вечно всего не хватало?

— А вам, — говорил Сема, держа Танюшу за руку, — вам предстоит такая задача, какой вы себе и не представляете! Вы ведь что? Жена, домохозяйка, мамаша — и все? В Ленинграде это немного, но у нас — о! у нас домохозяйка — это и хозяйка всего города! Благоустройство города — вы понимаете, что это значит? И вы должны сунуть нос в магазин, и в помойку, и в уборные, и в баню, и везде, и пустить в ход всю свою женскую логику,

чтобы добиваться чего нужно, и посадить цветочки, и чтобы на помойках сделали крышки, и чтобы уборные вовремя чистили, и чтоб в магазинах были весы, и порядок, и гигиена всякая... Ну, я не знаю что, но вы сами увидите, — женщине у нас такой почет, такая работа!..

— А вы! — обратился Сема к Лиденьке и схватил ее за руку другой рукой. — О! Вы, конечно, выйдете замуж, и будете работать, и будете украшать собою весь город!

Лиденька покраснела.

— Нет, вы не должны краснеть. У нас семейный вопрос — это вопрос жизни и смерти. У нас семья — это общественное дело. Нам нужны семьи, нам нужны дети — разве может быть город без прироста населения?

Лиденька покраснела еще пуще.

— Дело в том, — сказал Сема и сам покраснел, — дело в том, что я женюсь! Я сам еду жениться!

— А вот это придется спрыснуть, — сказал Иван Гаврилович и заказал бутылку вина. — Кто же ваша невеста?

— Моя невеста! — воскликнул Сема в экстазе. — О, моя невеста!..

Вопреки ожиданиям он не нашел слов.

— Значит, погуляем на двух... — начал было Иван Гаврилович, но Лиденька толкнула его ногой под столом и сделала такие страшные глаза, что он смолк.

Сема вспомнил о вещах и побежал смотреть, не украли ли их. Лиденька посмеялась над ним:

— Много же вы накупили для семейного обзаведения!

— Я? — вскричал Сема. — У меня не хватило бы денег на восьмушку того, что я везу. И неужели я мог думать только о себе? Или вы думаете, что раз меня послали лечиться, так я лежал на пляже и ковырял в носу? По моим докладам три комсомольские организации приняли над нами шефство и послали подарки. Трусики, майки — раз, музыкальные инструменты — два, спортивные принадлежности — три. А потом я пошел в «Друг детей» и сказал: «Что же, вы будете сидеть сложа руки и вам нет дела до наших будущих молодых граждан?!» Уверяю вас, я сумел их убедить, они послали со мной тысячу метров полотна, пять детских ванночек и еще кое-какую мелочь.

Лиденька хохотала. Гроза Морей в восторге обняла Сему, и конец вечера они так и просидели в обнимку.

— Девушка, ты еще сбежишь от меня с чужим женихом, — добродушно сказал Иван Гаврилович.

— А неужели мне всю жизнь с тобой сидеть, со ста-

рым чертом? — откликнулась Гроза Морей. — В комсомольском городе да не завести комсомольца!

— Так ты хоть до места доберись...

— А вдруг на месте будет некогда?

Лиденька с удовольствием заметила, что Танюша ни разу не рассердилась на мужа за всю дорогу.

— Да, уж на месте будет некогда! — серьезно поддержал Сема.

На второй день разговоры носили более конкретный характер, — уже решалось, как взяться Грозе Морей за благоустройство бараков, шалашей и магазинов, где работать Лиденьке, как организовать стрелковый тир, в котором Лиденька должна стать инструктором. Уже волновался Сема, где бы достать ружья, и жалел, что не подумал о них в Одессе и в Москве, и решил, что сразу по приезде в Хабаровск отправится с Лиденькой добывать ружья.

На третий день снова начались рассказы о стройке, о героях, о забавных случаях... Скольких комсомольцев они уже знали так хорошо, как будто работали бок о бок с ними в тайге и грелись вместе у костров!

А имени Коли Платта они так и не слыхали. Лиденька боялась спрашивать сама и запретила спрашивать другим. Ее томили предчувствия. Нет, нет, она ничего не хотела знать. Она едет строить, она хочет строить, она не хочет печалей... Приедет — все увидит сама.

Она не отпускала от себя Сему. Она по привычке кокетливо смеялась над ним — такой бровастый, такой глазастый, такой хвастун! Впрочем, она прекрасно знала, что если Сема и привирает, то привирает от чистого сердца, от желания захватить и потрясти слушателей.

Лиденька познакомилась в поезде со многими дальневосточниками: командирами, рабочими, хозяйственниками, инженерами, моряками, летчиками. Они все охотно рассказывали про Дальний Восток и, видимо, тоже привирали. Но хотя они и поругивали край — кто за отдаленность от культурных центров, кто за жилищные трудности или за другие местные беды, Лиденьке было ясно, что любят его все. Это была особая любовь, рожденная в победах над трудностями, укрепленная личным участием в созидании края, — а поэтому очень крепкая и ревнивая. Как бы ни ворчал человек (он имел на это право, он ворчал на самого себя), он не допускал даже сомнений в том, что край — замечательный, исклю-

чительный, наиболее интересный, наиболее достойный любви и почтения.

Одним из пристрастий дальневосточников были патефоны. В каждом вагоне везли по нескольку патефонов. С утра до ночи то тут, то там звучала музыка. Сема тоже вез патефон и целый ящик пластинок, которые он, по собственному признанию, «и получил, и отобрал, и так взял». По вечерам в вагоне-ресторане танцевали, не обращая ни малейшего внимания на толчки вагона.

Здесь-то и произошло знакомство с Диной Ярцевой.

Лиденька первая заметила красавицу и указала на нее другим. Красавица была весела и кокетлива; она танцевала без передышки. Ее спутник казался влюбленным до потери разума.

Сема, любивший все знать, быстро выяснил, что она едет в международном вагоне и что все население этого вагона влюблено в нее. Сема подсел к ее спутнику — молодому застенчивому инженеру — и прибежал от него необычайно взволнованным и бледным.

— Это невеста Круглова, — сказал он таким тоном, как будто случилось большое несчастье.

Дина кончила танцевать и села за свой столик. Инженер что-то сказал ей; она вскрикнула, вскочила и пошла прямо к Семе, протянув руки:

— Вы друг Круглова? Как я рада! Боже, как я рада! — Она подсела к их столику. — Ну расскажите же, расскажите мне о нем, о вас всех! Костько! — крикнула она. — Идите сюда!

Она была нежна и требовательна. Она быстро пленила всех. Сема забыл свое огорчение и стал рассказывать. Он не жалел красок для восхваления Круглова.

— Я знаю, знаю! — сказала Дина. — Я знаю, он совсем особенный человек! — И метнула торжествующий взгляд на поникшего Костько. — Я потому и люблю его, что он самый лучший на свете.

Она говорила, как царица, чья любовь дается в награду за подвиги, и видно было, что она просто не поймет, если кто-нибудь в этом усомнится.

— Да, — сказала Лиденька, когда они вернулись в свой вагон, — она очень красивая, но это совсем не то...

За девять дней пути Лиденька прошла целую школу, на прохождение которой в других условиях понадобились бы месяцы. Она была предрасположена к восприятию всего нового. В ней было стремление к героизму, к романтике, к свежим впечатлениям и приключениям, —

не с этим ли ехали до нее по этому же пути сотни юношей и девушек? Но Сема, подчинив ее своему влиянию, заставлял ее день за днем переживать полугодовой опыт ее предшественников, со всеми его ошибками и уроками. На восьмой день Лиденька говорила о романтике со снисходительной улыбкой, скука казалась ей серьезным злом, дезертирство вызывало отвращение и гадливость, самонадеянность была вредным мальчишеством, а понятие «энтузиазм», растворившись во всем ее отношении к будущему, возродилось изнутри, действенно, конкретно, как собственная, личная необходимость полнее проявить себя в строительстве нового города. Она больше всего на свете хотела походить на замечательных девушек, о которых ей восторженно рассказывал Сема. Он так любовно говорил о каждой, что Лиденька не могла угадать, которая же из них его невеста, и только чутьем выбрала Тоню, ибо о ней он рассказывал меньше, чем о других.

В Хабаровске стоял сорокаградусный мороз. Сема побежал говорить по телефону и долго ругался, требовал и угрожал судом, пока его спутники сидели на чемоданах. Грузовик пришел через час. Они проехали на грузовике через весь город, то поднимаясь на гору, то спускаясь с горы для того, чтобы подняться на новую гору.

В конторе строительства они узнали, что их отправят через два дня, на рассвете, с целой колонной грузовиков, которые повезут лук, мясо, крупу и части машин.

Иван Гаврилович волновался: как ехать с ребятами на грузовике, по льду, несколько сот километров?

— Грузовик закрытый, вроде цыганской кибитки, — сказали ему. — Шубы дадим. Водки возьмите. Ночевать будете в фалангах. Чего вы еще хотите?

— Прекрасно! — говорила Гроза Морей. — Этого мы и хотим. А что такое фаланга?

Дина и Костько ходили на каток. Лиденька разок сходила с ними, но ей было очень некогда. Сема свел ее в крайком комсомола, ей выдали удостоверение, что она инструктор стрелкового спорта, и через час она уже бегала по городу, доставая ружья, мишени, патроны, смазочное масло. Она научилась говорить и требовать от имени комсомольцев нового города, научилась настаивать, ругаться и угрожать судом.

Накануне отъезда в общежитии, где они жили вповалку на нарах, появился Андронников. Даже чекистская форма и запотевшие очки не могли скрыть его смущения. Он старательно протирал очки, поглядывая на

всех близорукими, прищуренными глазами. Он поговорил о делах строящегося завода с Иваном Гавриловичем, рассказал Семе последние новости и только много времени спустя, отозвав Сему в сторону и скосив глаза на Лиденьку, шепотом спросил:

— Ты знаешь эту девушку?

Сема насторожился. Сердце его екнуло. Неужели он дал маху? Неужели девушка вызывает какие-либо подозрения? Он уже поручился за нее в крайкоме. Но ведь она комсомолка, и Иван Гаврилович — серьезный, партийный человек...

— К кому она едет?

— Ни к кому, по-моему... — пробормотал Сема. — Я не знаю... она едет вот с ними... строить... у нее комсомольское направление есть... ее уже утвердили стрелковым инструктором... — И, преодолев смущение: — А что? Есть сомнения?

Андронников вдруг расхохотался и с какою-то нервной радостью обнял Сему:

— Говоришь, уже утвердили? Значит, она стрелковый инструктор? Так, так! Нет у меня никаких сомнений. Очень хорошо! Тем лучше! Очень хорошо!

Но у Семы сомнения возникли и с каждым часом возрастали. Андронников проявил к Лиденьке непомерный интерес, его обращение с нею было очень странно и вопросы непонятны:

— А вы, уезжая, вещи распродали? А теплым запаслись? А вам кто помогал собираться?

Лиденька отвечала охотно и добросовестно. Но Сема сидел как на иголках. Какие вещи? Не все ли равно, кто ей помогал? Нет, раз НКВД интересуется, значит что-то есть! Он был готов всеми силами помочь Андронникову, и Андронников как будто хотел что-то сказать или спросить, но не решался.

— Я иду на телеграф, — вдруг заявил Андронников, вставая, — кому телеграмму послать, давайте.

Лиденька равнодушно потупилась.

— А давай-ка пошлем Коле, — нашлась Гроза Морей. — Лиденька, пиши телеграмму.

— Какой Коля? — напряженным голосом спросил Андронников.

— А знакомый наш, — бойко сказала Гроза Морей, — Коля Платт, механик. Ему и пошлем. Все-таки по знакомству встретит.

Андронников пожевал губами.

— Коля Платт? Не знаю такого, — буркнул он. — Нет у нас такого.

— Ну как так! Механик? — воскликнул Сема. — Еще, знаете, говорил всегда: «Я восьмого разряда».

— А, да! Как же... — вяло поддержал Андронников. — Как же, механик... — И вдруг со злобной решимостью громко, со звоном в голосе сказал: — Такой сухой, неприятный парень. Помню. Только его сейчас нет. Уехал.

Лиденька не поднимала глаз.

— Куда же он уехал? — спросила Гроза Морей, испуганно поглядывая на Лиденьку.

Андронников рассердился:

— Не знаю. В командировку, должно быть. Не знаю. Не уверен. Пишите, пошлю. Может быть, я ошибаюсь.

Он долго сидел на телеграфе, мучаясь над текстом в несколько слов. Телеграмма была адресована Епифанову, в комсомольский барак № 1:

«Она выезжает со мною завтра стрелковым инструктором открой запись стрелковый кружок приготовь комнату встречай грузовики надо выпутываться по-военному».

— Подписи не надо? — спросила телеграфистка.

— Не надо, поймет и так.

Грузовики шли пять суток. Первые двое суток погода благоприятствовала. Было ясно и морозно. Машины легко шли по расчищенной трассе. На остановках девушки и Гроза Морей играли в снежки. Шоферы почти не спали и не давали отдохнуть пассажирам, ведя машины до поздней ночи. На третье утро, после короткой ночевки в бараке фаланги, путешественники выглянули в окно и увидели белые вихри, слившие воедино небо и землю. От расчищенной дороги и следа не осталось, грузовики были занесены до половины. Ехать было немыслимо. Все стали развлекаться, кто как умел. Сема Альтшулер горел нетерпением — теперь, когда какая-нибудь сотня километров отделяла его от любимой, он понял, что ждать больше не может, — он должен ее увидеть, должен увидеть ее глаза и удостовериться, что любим. Стараясь утишить нетерпение, он пробовал понять беспокойство Андронникова. Лиденька играла какую-то роль в его беспокойстве — это было ясно.

Сема симпатизировал Лиденьке. Он употребил все усилия, чтобы подготовить ее к высокой чести строить новый город. Но если она не то, за что выдает себя? Если Андронников не случайно оказался в командировке,

а приехал специально ради нее? Почему же в таком случае он не арестовал ее на месте? А может быть, она только одна из нитей разматываемого клубка? Он рвался на помощь Андронникову и, не смея предложить свою помощь, вертелся около. Выйдя с Семой поглядеть, не утихает ли вьюга, Андронников неожиданно вздохнул:

— Хорошо вам, неженатым!

Сема вскинулся:

— Хорошо? Я не знаю, почему это хорошо, товарищ Андронников, но я... видите ли, я еду жениться. Я женюсь, как только доеду.

— О! — воскликнул Андронников. — Значит, ты тоже женишься?

Тоже?.. Что он хотел сказать этим «тоже»? Уж не думает ли он жениться сам? Но ведь он как будто женат...

— Бывают ситуации, друг мой, когда самый простой выход из создавшегося положения — жениться самому, — сказал Андронников, — женить другого гораздо труднее.

Сема окончательно запутался.

За долгим чаепитием от нечего делать Сема рассмешил всех рассказом о том, как комсомольцы украли кирпичи. Андронников неожиданно подхватил рассказ, хотя в то время не был на стройке, и стал расхваливать Епифанова. Сема попробовал возражать, — он только недавно предостерегал Лиденьку от комсомольского самоуправства, как от большого зла. Но Андронников перебил его:

— Что было, то прошло. Пустяки. У парня — чудное сердце, редкое сердце. Таких людей надо ценить и беречь!

Сема охотно присоединился к похвалам и добавил от себя, что Епифанов — бесстрашный парень и был героем еще раньше, в водолазах.

Лиденька с интересом слушала — фамилия Епифанова была ей знакома из писем Коли. Коля... может ли быть, что он уехал? Куда?.. И надолго ли?..

На следующий день к полудню вьюга поутихла, рабочие вышли расчищать дорогу. Шоферы и пассажиры помогали им и откапывали занесенные снегом грузовики. Дина очень веселилась, разгребая снег, но скоро устала и ушла в барак. Зато Гроза Морей не чувствовала никакой усталости: так она радовалась и поездке, и пурге, и всему своему будущему, которое могло быть суровым

и трудным, но уж, во всяком случае, не однообразным. Она весело болтала, и многие уже называли ее Татьяной Петровной и обещали навестить ее, когда они достроят дорогу и как строители с первым поездом приедут в город. Андронников тоже беседовал с ними.

На участке работала группа заключенных. Один из лишенных свободы, красивый, интеллигентный на вид человек, демонстративно держался в стороне. Андронников спросил про него. Ему сказали: «ка-эр».

Когда машины собрались трогаться, ка-эр подошел к Андронникову и спросил:

— Скажите, гражданин начальник, правду ли говорят, что в управлении стройки работает архитектор Каплан?

— Не помню точно. А вы ее знаете?

— Приходилось встречать, — он скривил тонкие красивые губы, — в прежнем моем состоянии.

— Ваша фамилия?

— Простите, я спросил из праздного любопытства. Так, от таежной скуки. Моя фамилия ни вам, ни ей ничего не скажет.

И принялся отгребать снег. Его тонкое лицо стало еще холоднее и строже.

Андронников успел до отъезда узнать, что фамилия заключенного — Левицкий. Левицкий? Андронников коечто знал об этой истории. Сказать Кларе, что он здесь? Нет, ни к чему.

Грузовики медленно тронулись в путь. Фанерная обшивка, превращавшая грузовик в ярмарочный фургон, почти не защищала от ветра и мороза. Резкий ветер пробирался под платки и тулупы. На открытых местах он бился в обшивку, казалось, вот-вот снесет ее; он поднимал и крутил снег, наваливая его на только что расчищенный путь. Машины останавливались через каждые четверть часа, застревая в снегу, и все вылезали раскидывать снег.

К ночи они заблудились. Они ехали прямо по льду, потеряв дорогу, объезжая сугробы. Иногда шоферы видели следы, говорившие о том, что дорога проложена именно здесь. Иногда подолгу и следов не было. Когда стемнело, они окончательно потеряли дорогу, а может быть, и проехали больше, чем думали, — деревушки, где предстояло ночевать, все не было. Продолжали ползти вперед наугад. К полуночи снова повалил снег, ветер закрутил его, облепляя фары, стекло, заметая дорогу, сле-

пя глаза шоферам. Передняя машина забуксовала. Вторая попробовала объехать ее и застряла тоже. Где они находятся? Где берег? Есть ли поблизости жилье? Ориентироваться в снежной мгле было невозможно.

Прижавшись друг к другу, ждали утра. Время от времени шоферы давали протяжные гудки, но гудки терялись в свисте ветра. Андронников с шофером пошли на разведку, но ничего не нашли и с трудом добрались обратно. Дети плакали. Гроза Морей бодрствовала над ними, согревая их своим дыханием. Дина притихла, Костько грел ее руки в своих. Сема непрерывно болтал, чтобы не заснуть самому и не дать заснуть другим, — спать на таком морозе было опасно.

Утром выяснилось, что они застряли в двух километрах от деревни. Они дотащили машины до деревни и бросились в избу греться. Андронников заставил всех выпить водки и растереться ею. Он помогал Грозе Морей растирать продрогших детей. Водка и горячий чай всех оживили. Сема заводил патефон. Лиденька достала гитару и пела под гитару веселые песенки. Танюша подпевала ей, слегка охмелевшая от водки, а может быть, и просто оттого, что ей было весело, как никогда.

Сема вертелся по избе, приставал к шоферам с бессмысленными вопросами, обдумывал, как бы приспособить к передку грузовика щетки, которые сами разметали бы снег.

— Жених наш прямо в горячке! — смеялась Лиденька, всячески скрывая собственное волнение и страх. Ей очень хотелось, чтобы пурга задержала их как можно дольше. Ей очень хотелось, как ребенку, закрыть глаза от беды. Сейчас ей было хорошо, весело. А что ждет ее в конце путешествия? Ее томили предчувствия...

В это время Епифанов метался по городу, поджидая грузовики. Он метался не один. Круглов, с трудом отвечая на обращенные к нему вопросы, целыми днями не уходил с берега. Строгой походкой, опустив глаза, приходила Тоня. Она ничего не спрашивала, смотрела на дорогу, вздыхала и уходила, чтобы через полчаса прийти снова. Епифанов в десятый раз осмотрел приготовленную комнату, из которой еще четыре дня назад унес свои вещи. Он уже три раза брился. Три раза чистил ботинки. А грузовиков все не было.

Они показались под вечер. Епифанов только что вернулся с работы и, в четвертый раз побрившись, чистил

ботинки, когда поставленный караулить Петя Голубенко постучал в окно и крикнул:

— Едут!

Епифанов бросился к берегу, где уже собралась толпа любопытных. Он чувствовал себя легким, веселым и немного сумасшедшим. Он увидел Круглова — с детски растерянным и счастливым лицом Круглов топтался на месте и наконец, не выдержав, побежал навстречу грузовикам по снежной целине, с удивительной ловкостью преодолевая сугробы.

Епифанов увидел его снова на подножке подъезжающего грузовика. Но он не разглядел Дины, хотя вокруг него все говорили, что она очень красива. Он ждал другую, тоже незнакомую, — но разве он мог не узнать ее? И он узнал ее. Из-под платков и одеял мелькнула белокурая прядь и глянул светлый любопытный глаз. Он готов был стать во фронт перед нею. Но Андронников крикнул: «Принимай!» — и ему пришлось запросто принять ее на руки и поддержать ее, пока она разминала затекшие ноги.

— Епифанов, — представился он, краснея. — Честь имею доложить: мы вас ждем. Завтра в шесть часов вам придется проводить первое занятие стрелкового кружка!

— Епифанов! — радостно вскрикнула Лиденька. Они внимательно смотрели друг на друга. Они знали... Что они знали? Знал ли Епифанов, что она мещанка и маменькина дочь? Знала ли Лиденька, что он неряха и получил выговор за самоуправство?

— Для вас готова комната, — сказал Епифанов. — Разрешите мне взять ваши вещи и проводить вас.

Ее глаза спрашивали. Он отвернулся.

— Но я не одна, — сказала Лиденька. — Тут, видите, целая семья... Поместимся?..

— В тесноте — не в обиде! Поместимся! — крикнул Епифанов и стал принимать из машины детей и чемоданы. Он был до последней степени доволен тем, что не останется с нею сразу один на один.

— Действуй, приятель, — сказал Андронников, взваливая ему на спину тяжелую семейную корзину. — Действуй. И делай вид, что ничего не знаешь. Чтобы хоть обидно ей не было.

— Товарищ Епифанов! — закричала Лиденька. — Что же вы не идете? Пошли!

И Епифанов побежал, подкидывая на спине корзину, бойко скрипя по снегу парадными ботинками. Если

бы ему сказали, что в корзине не меньше четырех пудов, он бы не поверил. Ему никогда в жизни не шагалось так легко, как сейчас.

## 20

Последние дни перед приездом Семы Тоня не могла уже ни спать, ни работать, ни даже думать. Все уже было решено. Все было пережито заранее. Оставалось ждать.

И вот он приехал.

Она стояла в толпе встречающих и думала, что он ее не сразу заметит. Но он увидел ее раньше всех, ее одну, и соскочил с грузовика, на ходу сбросив тулуп. Он не решился поцеловать ее при всех и только обнял и уткнулся лицом в мокрый от снега мех ее воротника. Они ничего не сказали друг другу.

Тоня залезла с ним на грузовик и помогала выгружать вещи. Там были десятки узлов, свертков, ящиков, корзин. Некоторые он передавал Тоне и Геннадию:

— Это для вас.

Остальные отдавал добровольным носильщикам из комсомольцев:

— В комсомольский комитет. Балалайки. Коньки. Фуфайки. Домино и шахматы. Книги. Еще книги. Гармошка. Осторожно! Ящик рыбьего жира. Не разбейте. Тысяча трусов и маек. Книги. Мешок лимонов — неужели померзли? А гитары где? Лиденька, где гитары? Вот они, осторожней. Еще книги. Струны. Еще коньки...

Они пришли домой уже в сумерки. Она заранее потихоньку унесла все свои вещи. Она надеялась, не обижая Сему, проводить его до двери и уйти. Пусть еще хоть один день...

Но с ними был Геннадий. Пока Сема умывался и переодевался, он раскладывал с Тоней Семины вещи. Она не могла уйти при Геннадии.

Сема восторгался комнатой, восторгался тем, что приехал, смотрел на Тоню пьяными от счастья глазами.

Дверь за Геннадием закрылась. Они остались вдвоем.

— Ты отдохни, Сема, — начала Тоня, — завтра...

— Что? — закричал Сема и схватил Тоню за руки. — Завтра? Я ждал этого дня больше двух месяцев, я торопил поезд, подгонял грузовик, подгонял время... Я хотел лететь самолетом, я готов был бежать пешком! Когда мы застряли, я мечтал превратиться в птицу, я хотел быть ветром, чтоб долететь к тебе единым духом, я весь

горю, я здесь, я с тобой, а ты говоришь — завтра? Завтра! Я умру до завтра, Тоня, сгорю, как свечка, ты найдешь обугленный труп!

Он обнял ее, спрятав лицо, быстро и громко дыша. Тоня не понимала, смеется он или плачет. Она хотела — она должна была его отстранить, но глубокая жалость охватила ее и заставила прижать к себе и целовать его склоненную голову.

— А ты, Тоня? — спрашивал он, целуя через платье ее плечо. — Ты ждала ли меня так, как я? Считала ли ты дни? Думала ли ты столько, сколько я о тебе?

Она с усилием выговорила:

— Мне нужно много сказать тебе...

— Много?! — воскликнул Сема. — Много? Скажи мне одно слово. Скажи, что ты меня любишь, больше этого нет ничего. Это все. Ты любишь, Тоня?

— Я люблю тебя, — сказала она твердо, закрыв глаза.

— Да, Тоня?! Да! Любишь. Это больше, чем много. Лучше и больше ничего нельзя сказать... Любишь? Ты уверена, ты это знаешь, ты проверила, — любишь?

— Да.

Она ничего не могла сделать ни с собой, ни с ним. Как нанести ему смертельный удар сейчас, в минуту такого безудержного упоения? Как оттолкнуть его? Как отказаться от часа, который уже никогда не повторится? Ради какой правдивости можно сделать законом бессердечие и жесткость? И ведь она любила, она тоже хотела любви, она так мало счастья видела в жизни... И Сема, Сема, который будет столько страдать из-за нее, — как не дать ему хотя бы два часа любви, чтобы он знал, что она его любит, чтобы он понял ее боль, чтобы его первый светлый порыв не был убит...

Он рвался к ней через двенадцать тысяч километров. Он хотел ее. И она хотела. И как еще могла она убедить его в своей любви, перед тем как сказать ему, что их любовь должна пройти мучительную проверку?

Она отмахнулась от всего разом и отдала ему себя чистой, ничем не омраченной. Это было счастье. Потом она на какой-то миг вспомнила Голицына, чтобы отвергнуть его навсегда, — как он был примитивен и груб! Пусть она прощала ему, но как ей не хватало всегда настоящей нежности, настоящего чувства, этих особых, быть может, бессмысленных, слов... Слезы навернулись на ее глаза.

Он осторожно ласкал губами ее плечи и груди, ее набухающие материнским соком груди... Острая боль пронизала ее. Она мягко отстранила его и быстро оделась. Зажгла электричество. И он, счастливый, трогательный, влюбленный, доставал какие-то сладости, печенье, закуски, вытащил бутылку вина:

— О Тоня! Южное чудесное вино! С южных золотых виноградников!

И помогал ей накрывать на стол, целуя мимоходом ее руки, ее строгие, обтянутые платьем плечи, примятые на затылке волосы.

Она была слаба перед его любовью. Она тешила себя перед страшным шагом. И наконец решилась. Она решилась, когда он сказал, лаская ее своими пылающими, красноречивыми глазами:

— И так будет всегда, да, Тоня, всегда?

— Нет, — ответила Тоня, сжав бледные губы. — Я тебя люблю, Сема, больше себя, больше жизни... Но нет...

И снова малодушие остановило ее. Она не могла выговорить приготовленные слова. Он выспрашивал ее, испуганный и огорченный.

— Нет, нет, не спрашивай, не сегодня... — бормотала она, пряча лицо в его руках.

Затем она все-таки сказала. Упрямо, резко, ничего не утаивая, ничем не оправдывая себя. Она не могла заставить себя взглянуть на него. А он молчал. Молчал. Сколько часов прошло в молчании? Через бесконечное время — сосчитать его было нельзя, оно отмерялось лишь в глубине их разбитых душ — он тихо сказал:

— Ты не виновата. Я понимаю. И ты ведь это хотела сказать мне сразу, да?

Она решилась взглянуть. Он ли это был? Его ли это лицо — эта серая безжизненная маска? Она хотела ответить, но у нее уже не было голоса. Горло не выдавливало звука.

— Попробуем жить как надо, — сказал Сема. — Я уважаю тебя по-прежнему, Тоня.

Он не сказал — люблю. Она сжалась, как от удара, и промолчала. А он стал ходить по комнате. Он убирал со стола, мыл посуду, стелил постели.

Он сказал ей:

— Ложись, Тонечка. Ложись. Я пока выйду.

Он вышел, чтобы она разделась. Испуганная, униженная, она быстро юркнула в постель и спрятала лицо.

Он долго не приходил. Вернувшись, подошел, тронул ее лоб рукой и проговорил:

— Это тяжело, Тоня. Это надо пережить... Но ты ведь не виновата. Все наладится... Ничего...

Он заставил себя поцеловать ее и пожелал ей спокойной ночи. Потушил свет и лег. Тоня была близко, — достаточно протянуть руку, чтобы коснуться ее. Его постель еще хранила тепло ее тела. Он содрогнулся от отвращения к этому любимому телу, которое недавно ласкал.

Они остались жить вместе, в одной комнате. Тоня порывалась уйти, но он не пустил ее. Он говорил ей, что они любят друг друга и никто из них не виноват. Он приводил ей доводы ума, — ума, но не сердца.

Они жили рядом, как чужие, боясь прикоснуться друг к другу. Их голоса дрожали, когда они вынуждены были разговаривать. Он исподтишка ощупывал взглядом ее располневшую талию, и Тоня, даже не глядя, чувствовала на себе этот наблюдающий, враждебный взгляд. Она пыталась заговорить, откровенно сказать: не будем мучить друг друга, разойдемся. Но он отстранял всякую попытку, он говорил: «Не надо, Тоня, подожди...» Они похудели и посерели оба. Товарищи посмеивались над ними: медовый месяц!

Так прошла неделя.

Тоня ждала, стараясь скрыть отчаяние под личиной спокойствия. Она много работала и не уходила из больницы, пока ее не выгонял врач. Приходя домой, она сразу ложилась, пытаясь уснуть до того, как придет Сема. Но сна не было. Она повторяла себе: «Завтра я уйду». Но Сема приходил, заботливый и взвинченный. Она видела, как он страдает, и оставалась.

Уже прошла неделя. Что передумал Сема за эти семь дней и ночей?

На восьмой день, поздно ночью, он пришел к Морозову. Морозов привычно поднялся: он привык к тому, что нужен всем, что все распоряжаются его временем. А Сема Альтшулер зря не придет.

Сема постоял и вдруг, уронив голову к нему на колени, разрыдался. Он рыдал долго, безысходно... Так не умеют рыдать женщины, — так рыдают мужчины, когда горе и отчаяние становятся сильнее их мужества.

— Ну-ну-ну, — слегка насмешливо сказал Морозов и потрепал курчавые волосы Семы. — Не реви. Выкладывай, что случилось.

Сема с трудом рассказал. У Морозова задвигались брови. Он спросил:

— Обманула тебя? Скрыла?

— Нет! Она сама сказала мне.

— Ты уже не любишь ее?

— Если бы я не любил ее! — воскликнул Сема, и слезы снова покатились по его щекам.

— Ну-ну, не раскисай, парень. — Морозов все курчавил Семины волосы, и брови его двигались, морщиня лоб. — Тут уж ничего не поделаешь. Если женщина не любит, ее не заставишь любить. Я это знаю. Я сам, видишь ли, любил одну женщину. А она меня не полюбила. И ничего, живу. Даже неплохо живу. Первое время трудно, потом привыкнешь...

— Но она любит меня!

Морозов не понимал или не хотел понять. Он развел руками и спросил грубовато:

— Тогда чего же ты ревешь?

Сема не ждал этого вопроса. Ему казалось, что все ясно и так, что Морозов сразу поймет и посоветует. Он не знал, как объяснить. Для таких чувств не было слов.

— Или ты детей не любишь, что ли? — продолжал допрашивать Морозов.

— Детей?

— Знаешь, парень, я вот бездетный черт. Но когда я вижу их круглые мордочки — так и взял бы на руки каждого бутуза, так бы и помял его в руках. Как это не любить их?

— Но тут совсем другое... Вы не понимаете...

— Тэ-тэ-тэ! Я не понимаю! — ворчливо отозвался Морозов. — Ты сам себя не понимаешь. Ты же умный парень. Комсомолец. И еще, поди, воображаешь себя большевиком. Воображаешь?

— А разве я не большевик? — запальчиво сказал Сема.

Морозов прошелся по комнате, остановился перед Семой, положил ему руки на плечи.

— Бросим этот разговор, — сказал он. — Ты сам решишь правильно... Но вот послушай, что я думаю. Я не хочу учить тебя, но я ведь тоже кое-что видел в жизни... Когда любишь женщину, любишь ее всю, — и ее и ее ребенка. Иначе это не любовь... Если ты не любишь Тоню так, чтобы принять ее ребенка, тебе не трудно уйти от нее и влюбиться в другую девушку, а потом в третью... А если ты не способен полюбить ребенка, ты, парень, дегенерат, и нам с тобой толковать не о чем. И чего тут

расстраиваться? Где он, твой Голицын? И какой он к черту отец для нашего первенца? А ведь это наш первый ребенок! Вот за Исаковой не уследили, не уберегли. Так ты что, хочешь, чтоб Тоня с горя утопилась или заболела? Преступление делаешь, дорогой! Родит она этого, а потом народит тебе еще троих, и этот будет твой и те. Кого он папой назовет? Тебя же — не кого-нибудь! А ребенок всякий достоин любви. Все это просто, проще и относиться надо. Если бы она тебя обманула или не любила, тогда дело другое. А ты чего же хочешь? Эгоисты вы, молодежь! Сердечности большевистской в вас нет! А тоже — большевик! До большевика тебе еще семь верст шагать.

Морозов сердился, отворачивался. Сема порывался было заговорить, потом затих. Он сам это знал — умом, Морозов заставил его почувствовать.

— Когда узнал? — резко спросил Морозов.

— Как приехал... В тот же вечер.

— Живете вместе?

— Вместе.

— Извел, поди, девку за столько-то дней? А? Говори прямо, извел? Ходит как мертвая, плачет?

— Она не плачет, — сказал Сема, — она сильная.

— Но извел? Правду говори.

— Да.

— И сам извелся?..

Морозов неожиданно обнял Сему, притянул к себе его голову и тотчас оттолкнул.

— Иди к ней, — сказал он. — Иди, прощенья проси. Утешь. Ты извелся, а она до тебя-то еще сколько изводилась! Думал ты об этом? Нет? Иди. А завтра я к вам в гости приду. И смотри, чтобы все было в порядке.

Проводив Сему, он сел на койку, покачал головой, пробормотал: «Д-да»... Долго сидел задумавшись, шевеля бровями. Потом вспомнил, что время позднее, что надо спать. Сам себя спросил: «Выйдет или не выйдет?» И, уже лежа, заворачиваясь в одеяло, ответил: «У такого может и выйти».

А Сема бежал домой, и тысяча нежных слов летела вместе с ним к Тоне. Тоня лежала. Казалась спящей. Он остановился над нею, не решаясь ее будить и не имея сил ждать.

Она вдруг открыла глаза, и в них он прочел ее му́ку, ставшую постоянной и невыносимой. Он упал на ко-

лени, обхватил ее плечи поверх одеяла, приник щекой к ее щеке и ничего не мог сказать. Они плакали оба.

Потом он сказал:

— Я люблю все, что твое. Он твой. Значит, он и мой. Да, Тоня?

Сема не упоминал о Морозове. Но когда назавтра Морозов забежал к ним «с холода чайку попить» и, обняв обоих, постукал их друг о друга головами, Тоня кинулась к нему на шею и поцеловала его колючую щеку.

— Ну вот, я ж еще не дедушка, — сказал он, освобождаясь. — Гляди, твой парень из ревности и чаю не даст. И что это за нежности? Я же секретарь горкома. Начальство. Уважать надо. А ты — целоваться.

Они втроем пили чай, и Морозов был дедушкой — тут уж ничего нельзя было поделать.

## 21

В то время как Сергею Голицыну больше всего хотелось окончить скитания, жизнь кидала его все в новые места. В Александровске он никак не мог попасть на пароход. Ему советовали пробраться берегом к угольным рудникам и там сесть на пароход, — так делают многие, чтобы уехать. Он был утомлен. Шоферы досаждали ему уговорами поступить в гараж. В порту его узнали и тоже предлагали работу, деньги, даже квартиру. Ему надоели люди, видевшие в своей работе самое лучшее занятие и в своем Сахалине — лучшее место в мире.

Он сбежал от них и пешком отправился через сопки к угольному руднику. Дорогу ему объяснили. Но через полчаса он понял, что объяснения ничего не стоят и он наверняка заблудится. Ему было страшно идти одному по тайге, карабкаясь с сопки на сопку. Испугавшись, он решил выйти к морю и берегом дойти до рудника, — пусть это будет дальше, зато не заблудишься.

У моря в лицо ударил свежий ветер. Сергей обрадовался ему: он приятно освежал разгоряченное тело. Но через несколько минут ходьбы Сергей устал: ветер бешено дул навстречу, приходилось делать добавочные усилия, чтобы двигаться вперед. В рыхлом мелком гравии увязали ноги. От ветра звенело в ушах.

— ОСУ! — ругался он. — Так и за сутки не дойдешь.

С распухшими ногами и мокрой спиной он к середине дня добрался до какого-то поселка. Он увидел при-

чалы, угольную баржу, черный скат, по которому спускают уголь к причалам. Рудник!

Сергей с трудом делал последние шаги. Первый человек, которого он увидал, был странный худенький субъект в голубоватом халате и деревянных сандалиях на босу ногу. Субъект подозрительно оглядел Сергея, отвернулся и ушел. Сергей заметил — сандалии держатся на ноге ремешком, пропущенным между большим и вторым пальцем. Большой палец смешно оттопыривался. Это еще что за чудак?

Невдалеке от Сергея на траве лежал парень и курил. Сергею остро захотелось курить. И еще больше хотелось узнать, куда он попал. Что-то странное почудилось ему в смешной фигурке с дурацкими сандалиями.

Сергей подошел к парню, попросил папиросу. Парень молча дал папиросу.

— Здесь что? — спросил Сергей.

Парень оглядел Сергея и вяло сказал:

— Кита Карафуто...

— Что?

— Кита Карафуто Коссио Кабусики Кайся.

— Что? Я не понимаю.

— Японцы, — сказал парень. — Теперь понимаешь? Концессия.

И спросил:

— А ты откуда взялся?

— На Октябрьский рудник иду.

— Поступать?

— Может быть, и поступлю.

Парень живо поднялся, схватил Сергея за руку:

— Поступай сюда! Честное слово, поступай! Я тебе рекомендацию дам и работать научу. Честное слово, поступай! Чего тебе идти! Поступай! На мое место встанешь.

Сергей привык к уговорам и уже научился отклонять их. Но тут он просто удивился:

— На твое? А ты?

Парень внимательно поглядел на Сергея, видимо решая вопрос, удастся или не удастся уговорить его, потом, решив вопрос отрицательно, засмеялся и сказал:

— А я туда... на социалистический.

И он объяснил:

— Посуди сам. Я вот забойщик. Завербовался сюда, думал: концессия, заграничные товары, заработок. А кой черт заработок? От силы триста рублей натягиваю, а на

социалистическом хороший рабочий тысячу выгоняет. Бросился на товары ихние, думал — костюм закачу! Импорт! Схватил три метра, принес домой, разглядел на свету — брак, черт бы их драл! Пятна, белые нитки. Самую дрянь привозят.. А потом, — ну...ну, пойми ты! Ну, работаю. Вижу, тут бы иначе расставить людей — вдвое больше выработаешь. Заикнулся было — и самого в жар бросило. Это зачем же? Для кого? Для японца? Для капиталиста? Читаешь наши газеты — аж слезы кипят. И ты понимаешь, — оживился парень, — какая наглость! Обратились они к нашему комитету: «Разрешите ввести на руднике социалистическое соревнование». Нет, ты понимаешь, чего захотели?

Приближался вечер. До социалистического рудника оставалось двенадцать километров.

— Ночевал бы, — говорил парень.

— Нет, я уж пойду, — отвечал Сергей упрямо.

У него было чувство, что он не дома, что надо скорее вернуться домой.

— Ну что ж, иди, — сказал парень. — Я вот контракт доработаю, тоже пойду на социалистический.

Он крикнул вслед:

— Прощай, друг! Кланяйся там.

Сергей шел по мокрому гравию, против ветра, в наступающих сумерках. «Социалистический — вот как они говорят, — думал он. — Вот мы не ценим. Я не ценил. Привык. А здесь ни ударничества, ни интереса к тому, что делаешь... И никто не уговаривал остаться. Сами норовят уйти на социалистический». «Кланяйся там». Если бы он узнал, что Сергей — беглец, дезертир социалистической стройки!..

Уже стемнело. Он шел упрямо, не останавливаясь, не разбирая дороги, царапая ноги о камни. Полоска берега становилась все у́же. Волны, налетая на берег, подходили иногда вплотную к скалам. И вдруг Сергей понял, что идет прилив, что береговая полоса скоро исчезнет совсем. Страх обуял его. Он побежал. Усталые ноги подворачивались, скользили, но он бежал, подгоняемый страхом. Темнело. Вдали вырисовывался острый мыс. Сергей знал, что за мысом и есть социалистический. Только бы добежать!

Споткнувшись, он упал и несколько секунд лежал неподвижно, сраженный усталостью. Холодные брызги окатили его. Он вскочил и побежал снова. Мыс был уже близко. В полумраке видно было, как ударяются о мыс

волны, взметая мощные фонтаны брызг. Поздно. Можно взобраться на какую-нибудь скалу и дождаться отлива. Но сидеть всю ночь на скале, на ветру? Сергею захотелось упасть и умереть. Пусть бьют его волны! Все равно, на кой черт его жизнь? Но он побежал дальше. Нет, он хотел жить. Все можно исправить. Только бы добежать, только бы спастись, а там он выспится, отдохнет, подумает и все решит.

Он добежал до мыса. Нагромождение скал омывалось волнами. Волны были свирепы. Сергей слышал, как трещат и скрежещут кидаемые волнами камни. Но за этими скалами была цель: социалистический рудник. Товарищи, покой, участие...

Сергей полез на скалы. Он крепко держался за каждый выступ и зорко следил за прибоем. Прижимаясь к скале, он пережидал удар волны и, пока море собиралось с силами для нового приступа, бросался вперед. Несколько шагов — и снова удар. Волны дрались как бешеные. Сергей был избит и мокр с головы до ног. Уже мелькнул впереди огонек. Ветер донес до него обрывок женской речи. Сергей рванулся вперед, и тотчас волна настигла его, оторвала от скалы, швырнула на камень. Потом, оглушенный, но поднятый на ноги смертельным страхом, он вскочил и побежал.

Его глазам открылись огни поселка. Цепочка фонарей тянулась по сопке, освещая узкоколейку. Сергей стоял под защитой утеса, уже недосягаемый для волн, и смотрел на огни социалистического рудника. От утеса надо было карабкаться вдоль обрыва и последним усилием проскочить узкий проход, омываемый волнами. Но последнего усилия он сделать не мог. Он израсходовал все силы.

Где-то недалеко прозвучал женский голос. Сергей закричал. Он кричал: «Спасите!» Кто-то бежал по берегу. «Спасите!» — крикнул Сергей снова. Он увидел, как маленький силуэт проскочил по узкому проходу. Женские руки тронули его. Девушка спросила:

— Ты кто?

Голос был мягкий и звучный. Сергей собрал все силы и пошел за этим голосом, за твердой и заботливой рукой. Рука вела его, голос крикнул: «Берегись!» Они припали к скале, пережидая волну, потом девушка толкнула его, и они побежали.

Он упал на землю. При свете спички он увидел двух парней и чернобровую девушку. Спичку задул ветер.

— Та это же совсем молодой хлопчик! — сказала девушка.

У него мутилось сознание. Он дал поднять себя и вести. Ноги не слушались. Парни тащили его в гору. Потом он оказался в комнате. Ему давали вина, кто-то растирал его чем-то жгучим и приятным, кто-то натянул на него чистую рубаху. «Петрушка, давай одеяло. Галчонок, возьми просушить...» Снова наклонилась над ним девушка и сказала: «От путешественник! Разве ж можно?!»

Он заснул.

Когда он проснулся, был яркий день. На столе он нашел хлеб, кусок жареного мяса, примус с еще теплым чайником, стакан с двумя кусками сахару. Рядом лежала записка: «Ушла на работу. Ешь, отдыхай. В четыре приходи в столовую».

Он поел, умылся, нашел свою высушенную и вычищенную одежду, вышел на улицу. Шахтерский поселок был зажат между сопками. На улицах было пусто, кое-где играли дети. Из магазина вышли две женщины с корзинками. Сергей узнал у них, что сейчас двенадцать часов. Потом он увидел человека в черной кавказской рубахе, с корейскими узкими глазами и резким очерком красивого лица. Человек пошел ему навстречу.

— Это вас вчера спасали? — спросил он.

Они познакомились. Товарищ Цой, секретарь парткома, ласково расспросил Сергея. Сергей привычно повторил историю об экскурсии по острову. Потом товарищ Цой ушел. Сергею захотелось остаться одному. В душе было мутно. Разгоняя тоску, он заставил себя взобраться на вершину сопки. Из-под ног сыпались камни. Местами приходилось ползти на четвереньках, хвататься за камни и кусты, чтобы не сорваться вниз. «Вот доберусь доверху и наконец подумаю и все решу...» Он выбрал ровную зеленую площадку и разлегся на ветру, на солнце, лицом к морю, один на один с целым миром.

Мир отсюда был очень широк. Прямо перед Сергеем, расходясь далеко в стороны и сливаясь вдали с лиловыми полукружиями берегов, лежало большое беспокойное море. Отсюда, с высоты, оно казалось синим и гладким. Но по белым неподвижным точкам, рассыпанным по гладкой синеве, угадывались штормовые волны, и внизу у скалистого мыса, такого безобидного издали, виднелись белые фонтаны и кипящие водовороты неуемных волн. И вон там, далеко-далеко, почти у горизонта, ка-

чается жалкая черная щепка, — даже отсюда видно, как взлетает и зарывается носом в волну страшно одинокий корабль...

Сергей представлял себе, как сильны и размашисты сейчас волны. Подхлестываемые ветром, они катятся по огромному пространству, приобретая сердитый размах, и обрушиваются на берег всей своей тысячепудовой тяжестью. Как жутко должно быть там, в просторах взбаламученной стихии, на одиноком корабле!

Это было не море, а только пролив. Но Сергею чудился бескрайний океан, и его подавляло ощущение собственного ничтожества перед мощным величием природы.

Сахалин. «Кругом вода — в середине беда». Нет, Сахалин представлялся ему другим. Доронин, моторист Коля и его славная подруга Нюшка, шофер «краденый» — Валя и шофер веселый — Костя, голубоглазый директор Федотов и преданные рыбьей статистике техники на заездке, лукавая Настя, гиляк Нот, мечтающий знать все книги, и русский кудрявый инструктор, которому и столица не нужна, так он доволен, синеглазый летчик Мазурук (сини ли его глаза или это так показалось от света, от синевы воды и неба?), девушка из шахты, чернобровая, с большим ласковым ртом и забавным именем — Галчонок... Вот это был Сахалин. Это был социалистический Сахалин; этого Сахалина не знал Тарас Ильич, но за него дрался Касимов. Все эти люди пришли после Касимова, после партизан и, наверное, впервые увидели, что Сахалин красив и богат. И потом, вложив в этот красивый остров свои трудовые усилия, решили, что остров — лучший в мире, и то, что они делают, — самое интересное дело из всех существующих дел.

На этом Сахалине, понимая его, даже восхищаясь им, Сергей чувствовал себя отверженным, затерявшимся, никому не нужным. Как беглый каторжник, скрывающий свое клеймо, он плутал по острову, нигде не смея задержаться. Его везде звали остаться — но звали не его, не дезертира Голицына, а того любознательного комсомольца, каким он представлялся. Смелому пареньку везде было место, везде находился приют, семья, дружба... Но если бы узнали под его личиной дезертира?

Он спрятал лицо в ладони. Ладони были перепачканы, от них пахло землей и древесиной. Запах был свеж и приятен, он облегчал одиночество. Зато ветер стал чувствительней и звучней, — единственный звук в чу-

жом огромном мире. Когда, пролетая, прокричала птица, Сергей обрадовался ей, как другу.

Он заставил себя думать обо всем до конца. Комсомол? Да, комсомол. Был и дом, и паровоз, и товарищи, и комсомол. Потрепанный комсомольский билет еще лежал в кармане. Но имел ли он право на этот билет? Не оставил ли он это право на берегу, покинутом ночью в чужой лодке? Тогда он успокаивал себя тем, что пойдет в ЦК комсомола и все объяснит. Какой вздор! Какая ложь!.. Он сам знает все, что там могут ответить. Его спросят: «Ты что, недостаточно силен и вынослив?» Поглядят в комсомольский билет и скажут: «Какой же ты комсомолец? За пять лет ты не понял, что такое высокая честь быть членом Ленинского комсомола?» Спросят, где родился, кто отец, и скажут: «Ты что, барышня? Ты же рабочий, сын рабочего! Почетный железнодорожный род!.. Стыдись!..»

Сергей заплакал. От горечи и стыда рождались слезы, слезы безнадежные и злые... Пашка Матвеев был очень болен, но отказался уехать. И Пашка погиб. Но когда его хоронили, все ринулись к работе и работали, как никогда, и если бы их спросили в ту минуту: «Вы можете сровнять сопки с землей?» — все сказали бы: «Можем». А Сергей был здоров, крепок, вынослив... Чего же в нем не было?.. Выдержки? Упорства? Мужества? Сознательности?

И вот — дезертир...

Мысли возникали и сменялись другими, но каждая новая мысль была безжалостней и горше предыдущей. Слезы катились и быстро высыхали на ветру.

Нет, выхода не было. Выход мог быть один — вернуться. Прийти назад, попросить самую тяжелую, самую опасную работу, перенести презрение Тони, насмешки товарищей, упреки Круглова.... Но на этот единственный выход у него никогда не хватит решимости. Лучше умереть.

Сергей вскочил и начал сползать вниз. Тоска была непереносима. Лучше не думать. Надо идти на люди, слышать голоса, разговаривать самому, все равно с кем, лишь бы не оставаться одному. Он еще не давал себе вспомнить самое страшное. Он отгонял мысль, но где-то в подсознании звучало напыщенное стариковское напутствие: «Вернись героем и коммунистом», и где-то в подсознании жила истина: он бездомен... У него нет больше отца. Он не может вернуться... Нет, нет, только не об

этом! От таких мыслей можно броситься вниз головой!..

А почему нет? Зачем жить? Может быть, лучше кончить все сразу?

Не зная зачем, он все-таки полз, скользил, цеплялся; камни и песок летели из-под ног. Один раз он оборвался над крутизной и повис на руках, вцепившись в прогнивший корень. Он висел так несколько секунд, испытывая страх и острую жажду жизни. Нет, умереть он не может тоже.

И тогда же, овладев собою и подтянувшись наверх, он вдруг решил, что делать.

Он пойдет к шахтерам, к Цою, к девушке с большим смеющимся ртом, он останется с ними, загладит вину честной, ударной работой, завоюет право на комсомол, на уважение товарищей, на отца. Берег Амура или Сахалин — не все ли равно, где строить социализм? И учетную карточку он попросит выслать. Он напишет Круглову (написать легче, чем вернуться): прости, виноват, решил загладить вину, выбрал труднейшие условия, не выдавай... Неужели Круглов не согласится?

Он пришел в поселок к концу дня. Наверху еще светило солнце, а в узкой пади, где скучились дома и склады, уже смеркалось. Он прошел сад, расположенный на крутом склоне сопки, — каждая дорожка была отвоевана у крутизны. Площадки для волейбола и футбола врезались глубоко в гору, — сколько сил и желания надо было потратить, чтобы сделать их!

Здоровый голод подгонял Сергея. Желудку не было дела до тоски. У столовой, у вынесенного на воздух, под навес, очага возились две девушки.

Сергей остановился, и сердце его вдруг забилось: одна из них была вчерашняя, Галчонок. Девушка с черными бровями, с большим ласковым ртом, с мягким и звучным голосом. Он стоял, томясь голодом и еще неясным влечением к этой девушке. После тяжелого одиночества там, на сопках, ему хотелось услышать теплое слово, на которое он не имел права. Но кто знал, что он не имеет права?

Галчонок увидела его, крикнула:

— Ага, путешественник заявился! — и подошла к нему с доверчивой готовностью. — Ну что, намаялся? Голоден?

Сергей безотчетно взял ее руку. Рука была шершавая и теплая. Как нежно и твердо вела она его вчера ночью! Галчонок выдернула руку, коротко, но пристально по-

глядела на Сергея и сказала по-прежнему ласково, но чуть замкнуто:

— Пойдем. Так и быть, накормлю.

Она повозилась у котла, потом подошла, что-то пряча за спиною, приказала: «Закрой глаза!» — и поставила на стол миску, полную вареников с черникой. Вареники дымились, плавали в черничном соку.

— Вот так Сахалин! — воскликнул Сергей, с жадностью набрасываясь на вареники.

Галчонок подбоченилась, бросила лукаво, с подчеркнуто мягким выговором:

— Та мы ж украинки!

И, довольная, отошла к очагу. Сергею страстно хотелось, чтобы она поболтала с ним, посидела рядом. Неужели ей неинтересно знать, кто он, откуда, почему очутился ночью на мысу? Но Галчонок была хлопотлива и строга, хотя, видимо, следила за своим гостем: едва он отправил в рот последний вареник, как она снова до краев наполнила миску. И на смущенное движение Сергея сказала ласково:

— Та ешь, не стыдись, наши хлопчики усе так едят.

— Присядь рядом, тогда съем.

Она засмеялась, но села. И с первых же слов выяснилось, что она была отлично осведомлена о нем, — очевидно, расспрашивала Цоя. Сергей удивился, как ладно они живут; ему нравились и вареники, и столовая, и физкультурные площадки, вгрызшиеся в бока сопок.

— Так мы же здесь два года! — сказала Галчонок. — Тысяча двести, комсомольская мобилизация, слыхал? Сейчас мы дюже гарно живем, а в первый год...ой-ой-ой! Чего только не натерпелись!.. Аж вспомнить страшно. Мы, дивчины, в тапочках приехали, а тут морозы, снег. Валенцев нема! В курятнике ночевали.

Сергей уткнулся в тарелку. Два года! Через два года и он мог бы говорить так же, с тою же веселой гордостью! Девушка в тапочках, привыкшая к вишням и солнцу Украины, высадилась на чужой берег... и пошла в тапочках по снегу... и создала комсомольскую ударную шахту и комсомольский образцовый поселок... и заменила вишни черникой, и срезала бока сопок, чтобы играть в волейбол...

Галчонок отошла к котлу. Может быть, ее обидело, что Сергей не поддержал разговора? Как-никак приятно похвастаться перед красивым парнем хорошо, красиво прожитыми годами. Получасом позднее, когда вторая де-

вушка отлучилась, Галчонок вдруг сказала, глядя мимо Сергея:

— Хорошо бы до моря сходить. Волны сегодня — у-ух какие! Сергей сказал сдавленным голосом:

— Что ж, сходим.

— Хлопчиков накормлю, зараз и пойдем, — просто отозвалась она.

Когда они пошли к морю, уже надвигалась ночь.

У него замирало сердце от ее мягкого украинского говора, от обаяния большого смеющегося рта и разлетающихся черных бровей.

Сейчас Галчонок была молчалива. Они шли осторожно, нащупывая в темноте дорогу. На спуске она вела Сергея, как вчера, но и он старался поддержать ее, а когда спуск кончился, они пошли уже под руку, и она доверчиво прижималась к нему, защищаясь от остервенелых порывов ветра.

По небу неслись быстрые черные облака.

В жидком мраке очень близко виднелось всклокоченное море.

— Ты здесь сколько пробудешь? — спросила Галчонок.

Сергей понял. Она тоже не хотела расставаться — украиночка, милая чернобровая девушка! Его переполняла влюбленность... И так хотелось счастья! Счастья и радости, хоть немного, но только сразу, сейчас, немедленно.

— Это зависит не от меня, — сказал он, чувствуя сухость во рту. — Может быть, совсем не уеду, а может быть, сегодня же уйду куда глаза глядят.

Она тоже поняла и не стала притворяться. В ней не было лицемерия. Ее влекло к этому нежданному, незнакомому красивому парню так же сильно, как его влекло к ней.

Она ответила простодушно:

— Ты не уходи, живи здесь.

Они прошли еще немного. Море было уже рядом, оно билось и ревело, ветер обдавал их распыленной влагой.

— Как хорошо, что я тебя встретил! — сказал Сергей, останавливаясь. Она очень низко опустила голову. Она ждала. Ничто не сдерживало ее. Здесь, на далеком острове, в замкнутом кругу товарищей, среди которых сердце не выбрало никого, — как можно было медлить перед возможным счастьем?

— Ты не подумай, что я это так говорю... — уверял Сергей, торопясь, — я серьезно говорю... очень серьезно...

В эту минуту он любил ее от всего сердца. Она была необходима ему как воздух.

Она подняла лицо — напряженное, открытое, с приподнятыми бровями. Он протянул руки, она сама сделала движение навстречу ему.

Ее губы и щеки были солоны от морской влаги.

— Я останусь, — сказал Сергей размягченным голосом. Он был очень взволнован, но все-таки мельком подумал, что все получилось прекрасно и сегодняшнее тяжелое решение станет легким и счастливым.

— Ты моя находочка! — приговаривала Галчонок, целуя его. — Я тебя нашла, я тебя привела, я тебя приворожила, я тебя не отдам. Серденько мое, серденько мое горячее...

И заметила:

— Как странно! Вчера в этот час — та ты ж не знал, як меня зовут...

— Я слышал — Галчонок, Галчонок, думал — парень...

Оба смеялись.

Клокотавшая вокруг буря не имела никакого значения. Они просто не замечали ее. Они видели только друг друга. И решили здесь же, не откладывая, что они поженятся, будут вместе работать, вместе читать и заниматься. Галчонок подчеркивала последнее.

— Ты знаешь, як це важно. Здесь хлопчики так и поделены: яки занимаются — це хлопцы деловые, настоящие комсомольцы в полном смысле. А яки не занимаются, то ж не комсомольцы, а тихая скука! Бражку варят, убиваются, на материк глаза пялят...

Сергей подумал: «Вот что надо было делать! Тогда бы не закис, удержался». И тут же он подумал: «Как хорошо, что не удержался! Уехал, скитался, томился и вот на Сахалине, на краю света нашел единственную в мире девушку...»

Они вернулись в поселок поздно. Она рассказала ему всю свою двадцатилетнюю жизнь, и он рассказал ей об отце, о паровозе, об Амуре, о строящемся новом городе.

— Как же ты уехал? — спросила она доверчиво.

Сергей помолчал. Он хотел сказать правду. Надо было сказать правду... Но вместо этого он коротко и скупо повторил свою выдумку про отпуск и желание поглядеть новые края. И добавил:

— А сейчас я напишу: так и так, жинка к подолу пришила.

Она прижалась к нему, но Сергей остался холоден. Эта ложь — здесь, сейчас, перед нею — была чудовищна. Он презирал себя. Он требовал от самого себя: скажи, признайся, будь честным, ты же любишь ее, и она тебя любит, она простит...

Но он не решился.

Обветренные и продрогшие, они пришли в общий барак, где собирались вечерами комсомольцы. В бараке было тесно; все сгруппировались кружком вокруг лампы, сидя и лежа на нарах. С верхних нар тоже свешивались лица. У лампы сидел с открытой книгой товарищ Цой.

Их приход прервал чтение. У Галчонка был такой ликующий вид, что многие парни хмуро покосились на Сергея. Галчонок сразу подсела к товарищу Цою и что-то шепнула ему. Он грустно и смущенно кивнул, отложил книгу. Сергей прочел на корешке — «Пушкин».

Все настороженно и недружелюбно молчали. Сергею дали место на нарах, но никто не заговорил с ним.

Товарищ Цой вздохнул, потом бодро улыбнулся и сказал, стараясь как можно правильнее выговаривать чуждые ему русские слова:

— Среди нас новый товарищ. Попросим нового товарища рассказать нам, что хорошего на материке, как живут люди, какие новые стройки...

Галчонок подхватила:

— Да, да, про комсомольский город. Он дюже хорошо рассказывал.

И всем умоляюще улыбалась: полюбите его, посмотрите, какой он славный парень, послушайте, как он чудесно говорит!

Сергей начал рассказывать и сам удивился, что в его правдивом рассказе оказалось так много героического и величественного... Как он не видел, не чувствовал этого раньше? Он рассказывал о жизни в палатках, о грозе и спасении ценных грузов, о соревновании бригад, работающих с рассвета до темноты по щиколотку в болоте. И слушатели одобрительно кивали головами: они понимали толк в героизме и трудностях, у каждого было что вспомнить за два года.

Сергей стал рассказывать о смерти Пашки Матвеева. Он вложил в рассказ особую теплоту, он хотел, чтобы ребята пережили эту смерть вместе с ним. Хотя, конеч-

но, они не могли понять, чем был для него Паша Матвеев, смазчик из родного депо, школьный товарищ, единственный друг!

Товарищ Цой прервал его, подняв руку:

— Ребята! Комсомольцы! Вот нам рассказали про молодого комсомольского героя, про настоящий комсомол. Он погиб на посту, его имя — Паша Матвеев, запомним это имя. У нас на Сахалине тоже погибли товарищи: вы знаете их имена — Петя Федоров, Нюра Асафьева, Петерс Коля... Эти люди были настоящий комсомол, они отдали социализму молодые жизни. Вспомним их, товарищи, и почтим их память и Пашу Матвеева вставанием.

Все поднялись. Лежавшие на верхних нарах приподнялись, их головы упирались в потолок. Интимность беседы пропала. Это была торжественная и суровая минута.

Помолчали.

Цой медленно опустился на табурет. Зашумели, усаживаясь, комсомольцы. Снова стало по-домашнему интимно. Свет лампы скользил по смягченным лицам.

— Мы слушаем, товарищ, рассказывай дальше, — предложил Цой.

Но Сергей уже не мог рассказывать. Он был потрясен, он снова чувствовал на себе груз проклятия и отверженности. И он посмел встать рядом с комсомольцами, когда они, сурово глядя перед собою, встали, чтобы почтить память погибших героев!

— Расскажи еще, — повторил Цой. — Твой рассказ для нас очень важен. Мы живем день за день, наши ребята работают как герои, но когда все герои — нет героя. И мы уже забыли первые трудности. А твой рассказ идет в каждое сердце. И если вчера кто-нибудь думал: «Хорошо бы удрать на материк, в большие города, в большую культуру», — сегодня он скажет: «Нет! Мой долг строить культуру здесь». Он снова почувствует в себе героя.

Сергей оглядел ребят, — да, они думали так, они думали, как Цой. Они смотрели на Цоя с преданностью и готовностью, он держал их сердца в мудрой и заботливой руке.

— Ты должен узнать, — сказал Цой Сергею, — у нас не все были такие. Хотя ты знаешь; ведь у вас тоже не все были герои, у вас тоже нашлись жалкие трусы, дезертиры, они не хотели трудностей и борьбы, они убегали, и ныли, и бросали свою комсомольскую честь, чтобы искать легкую жизнь. Верно я говорю?

Цой говорил просто, без всяких подозрений, он хотел усилить воздействие рассказа на комсомольцев — и только. Но Сергей стремительно откинулся назад, огляделся взглядом затравленного зверя и выдавил хрипло:

— Почему вы думаете?!

Все почуяли фальшивость этих слов.

Все посмотрели на Сергея, и его затравленный вид показался еще более странным.

Галчонок тихо ахнула и схватила Цоя за руку.

А Сергей, едва взглянув на нее, закрыл лицо руками. Он не шевельнулся, когда Цой сказал строгим голосом:

— Товарищ волнуется, он вспомнил своего погибшего друга.

Галчонок встретилась глазами с товарищем Цоем и увидела — он понял правду так же, как и она. Но он не хочет разбивать впечатление от рассказа. Он заговорил сам и в конце беседы снова обратился к Сергею:

— Не горюй, товарищ; умереть, как твой друг, — это счастье. Это лучше, чем жить с позором на голове.

В его ласковом обращении была внутренняя жестокость, которую понял Сергей. Цой все знал.

Сергей вскочил и вышел из барака. Ветреная ночь охватила его. Черная тайга подступала к поселку. По небу неслись рваные тучи, среди туч мелькали крупные звезды. Море было слышно и отсюда.

— Сергей, ты?

Галчонок не сразу нашла его в темноте. Он стоял, боясь коснуться ее, в страшном напряжении. Она еще сомневалась, но Сергей сам уничтожил последние сомнения подавленным молчанием.

— Значит, правда? — спросила она, и сухостью ее голоса отрицалась всякая возможность прощения. Он не стал ни возражать, ни оправдываться.

— Я думал сказать тебе, — ответил он.

— Когда думают, с этого начинают! — отрезала Галчонок.

Они постояли молча, более чужие друг другу, чем вчера. Потом Галчонок заговорила снова, и ее резкий голос сгладил мягкий украинский акцент.

— Слушай, ты! — сказала она. — Я не хочу, чтобы ты оставался. Ты должен уйти. Не было ничего и не будет. То был не ты. И не я. Ворожба это, обман, ложь! Понял? Уходи, сгинь, чтобы я тебя скорей позабыла, чтоб не узнала при встрече! И не спорь! — прикрикнула

она, угадав его движение. — Я тебя презираю! И себя презираю. Где были мои глаза, моя комсомольская совесть? Уйди, пропади, чтоб я о тебе больше не слыхала, чтоб очи мои тебя не видели! Прощай!

И она убежала обратно в барак.

Сергей остался на месте. Ему некуда было идти. Грохот моря угрожающе отдавался в ушах. Из барака долетели звуки голосов, потом они смолкли. Скрипнула дверь.

Две черные тени прошли мимо него. Сергей не столько видел, сколько чувствовал, что это были Галчонок и Цой.

— Ничего, — сказал Цой успокаивающе, — ничего...

Галчонок что-то ответила, не то «а я-то думала», не то «кто бы мог думать»...

Они удалялись; ветер унес их голоса.

Ворожба? Да. Она была готова любить его, но через неделю она забудет его лицо и, может быть, изредка вспомнит случившееся, как дурной сон. И, полюбив хорошего человека, расскажет ему о наваждении одного вечера.

Рассвет застал его у моря, в щели между двух скал. Серые волны все так же обрушивались на берег, но в них уже не было ярости. Ветер стихал. Сопки до подножий закутались в белый туман; за туманом угадывалось солнце.

Куда идти?..

Прошли месяцы. Сахалин был далек. Паровоз нес Сергея сквозь тайгу, посеребренную морозом, завернувшуюся в сугробы. Скитания продолжались. Десятки новых мест, сотни новых людей проходили перед усталыми глазами Сергея...

Но не было дня, чтобы он не вспомнил, холодея, прерывистую речь ее мягкого, звучного голоса, ее стройную тень, навсегда исчезнувшую в темноте ветреной ночи, и безысходно-тоскливое пробуждение в то бледное утро.

## 22

Морозов шел по улице и улыбался. На озабоченном, прорезанном морщинами лице улыбка была неожиданно светла.

Он знал, что делать. Прошедшие месяцы, когда он спотыкался, злился, искал причины неудач, выяснял, прощупывал людей, ошибался в них, снова прощупывал

и открывал в них новые стороны, — эти месяцы прошли недаром. Он хорошо поработал. Он был объективен к себе, он знал, что сделал много, сделал главное: коллектив строителей был крепок, спаян, готов на все. Морозов видел на людях следы своих формующих рук, своего осторожного дружеского воздействия. Тревога, не покидавшая его в последние недели, шла с другой стороны, — его тревожило медленное, перебойное движение огромной машины управления. Ему было трудно разобраться, в чем дело. Опыта еще не было, первая пятилетка еще только создавала опыт напряженного по темпам и небывалого по размаху строительства. Его выручало чутье большевика: откидывая всю массу причин и фактов, он искал основное, решающее, чтобы затем, осмыслив целое, вернуться к мелким причинам и фактам.

Выбравшись из-под груды повседневных, требующих внимания мелочей, он понял, что основная беда на строительстве — руководители. Они работали много и как будто самоотверженно, но работали не так, как надо.

Захлестнутые волнами планов, приказов, смет, ведомственных споров, балансов, они не умели (или не хотели?) разбить аппаратную рутину, перешагнуть через бумажный поток к самой стройке и там, на месте, в общении с замечательным коллективом строителей, выступить настоящими организаторами настоящих дел. Они плелись за аппаратом, громоздким и неповоротливым, и, воображая, что руководят им властной рукой, зачастую сами шли у него на поводу.

Морозов понял это не сразу. Первые тревожные признаки обнаружились осенью, когда вдруг оказалось, что прекрасные планы обеспечения стройки на зиму расползаются по всем швам под напором весьма неприглядной действительности. Первое звено аппарата, особенно важное в условиях отдаленности от железной дороги—заготовители, — не оправдало ни доверия, ни надежд. Гранатов разогнал их, отдал под суд, но время было упущено, и героические усилия автоколонн должны были в аварийном порядке поддерживать строительство до весны.

Второе звено — жилье. Пользуясь энтузиазмом молодежи, руководители решили, что с созданием жилья можно потерпеть ради досрочного окончания строительства завода. Что двигало Вернером? Он говорил: «Построить завод раньше срока — для меня дело чести». Он говорил: «Эти дни войдут в историю». Он был честолюбив и самоуверен. Разве не честолюбивые планы заставили его за-

быть о людях, которые должны эти планы выполнить? Не решил ли он про себя, — может быть, даже не сознавая всей тяжести своего решения,—что лучше пожертвовать несколькими сотнями людей ради осуществления своих планов? У Гранатова это проявилось еще ярче: «Построить, хотя бы и на костях». Но ведь это было не большевистским решением! Ведь гениальность большевистского метода основана на том, что работа с людьми, забота о людях поднимают их на небывалые подвиги. В самые тяжелые годы интервенции и голода партия заботливо хранила человеческие кадры. Пренебрежение ими, их потребностями, их жизнью противоречит всей сущности большевизма. Это противоречит и чисто деловым соображениям: закрепление кадров есть основа движения вперед, растрата кадров — это неминуемый крах плана. Но можно ли отрывать деловые соображения от политических? Разве можно решать вопрос: как делать, не поняв, что делать? Вернер и Гранатов рвались вперед, не поняв толком — чтó, не решив до конца — кáк делать. Они гнали строительство на полный ход, лихорадочно закладывая фундаменты, разворошив всю строительную площадку, игнорируя очередность объектов, желая сразу сделать все. У них не оставалось ни времени, ни сил, чтобы обеспечить тыл, создать резервы, подготовить почву для дальнейшего увеличения стройки, позаботиться о людях, о строителях. Скорее, скорее, скорее! В этом стремлении они встречали поддержку молодого и пылкого коллектива рабочих. Может быть, никогда еще не была так ярко выражена, так сильна коллективная мечта о завершении гигантского строительства, которое еще только начиналось. Морозов знал эту молодежь, — они ждали первого корабля, как личного счастья. Они не умели рассчитывать силы и не щадили себя. Но именно поэтому надо было особенно заботливо беречь их, именно потому так высока была ответственность руководителей.

Вернер и Гранатов взяли большой разгон. Морозов сравнивал этот разгон с поведением нерасчетливого бегуна, расходующего максимум сил на первых же километрах и не умеющего сберечь себя для финиша. Он пытался противодействовать линии хозяйственников. Он доказывал, что строить зимою все цехи не удастся, что придется законсервировать ряд объектов до весны. На зимнее строительство не хватило бы ни сил, ни оборудования. Правительственные задания устанавливали очередность строительства, при которой некоторые, уже зало-

женные, объекты надо было законсервировать надолго. Вернер заупрямился. Он мечтал и верил, что сумеет значительно сократить правительственные сроки. Зима, о которой столько говорили, застала его все-таки врасплох. Бедственное положение с жильем и снабжением дополнялось нехваткой кадров, а вербовка новых кадров еще более усложняла положение с жильем и продовольствием. Тогда Вернер понял: лето упущено. Морозов был прав, Каплан была права... Но он отстранил от себя неприятную истину. И Вернер и Гранатов продолжали упорствовать. Они рапортовали о процентах готовности цехов, уже обреченных на консервацию. Они увлекались подсчетами: за пять месяцев сделано столько-то, за шесть месяцев — столько-то... Вернер уже предвидел неизбежность зимней консервации, но пугался и не принимал решений, когда Морозов нажимал на него. Гранатов не видел и не хотел видеть. «Еще напряжение, еще добавочные жертвы, но будем продолжать». То, что было ясно Морозову, то, что сразу зорким глазом увидела Клара Каплан, того не желали понимать хозяйственники. Почему? Может быть, потому, что двигаться прямо вперед легче, чем маневрировать по сложному плану? Или потому, что для этого надо отказаться от рапортов, от увеличивающихся процентов, от славы сегодняшнего дня? Или есть еще причина — более скрытая и потому более страшная?

Морозов шел и улыбался. Собственно говоря, радоваться было нечему. Морозову было очень тяжело работать. Но, как свойственно сильным людям, он радовался своим силам. Сегодня в резком столкновении с руководителями стройки он решил, что́ надо делать, и в предстоящей борьбе ему все было ясно.

Они крупно поспорили сегодня — Вернер, Гранатов и он. Вернер нарушил свое обычное спокойствие и сказал сдавленным от бешенства голосом:

— Странно, что ты, секретарь парторганизации, не понимаешь, что мы работаем на оборону и каждый день нам дорог.

— Да,— сказал Морозов,— я понимаю это глубже, чем ты. Я хочу дать продукцию скорее и лучше. Именно поэтому надо в корне изменить методы. Надо отказаться от широкого фронта работ, обеспечить строителей, запастись стройматериалами, форсировать подготовительные цехи, а потом развернуться на этой основе вдвое быстрее. Мы спорим не о сроках — мы спорим о методах.

— Ты не веришь в наши силы,— сказал Гранатов.— Ты не веришь в силы рабочих, комсомольцев!

Кто из них сопротивлялся упорнее? И почему они так сопротивлялись? Где кончается искренность убеждения? Неужели они так ослеплены? Нет ли тут более серьезного зла? Была минута, когда Морозов крикнул, потеряв терпение:

— Я начинаю думать, что здесь не только заблуждение, но и злой умысел.

Он тотчас спохватился. Вернер стал очень бледен. Гранатов вспыхнул, его щеки задергались.

— У кого же злой умысел?— справившись с собою, холодно спросил Вернер.— У меня? У Гранатова? У обоих?

Морозов уже жалел об этом преждевременном выкрике. Если есть хотя бы один шанс против девяноста девяти, что здесь налицо злой умысел, зачем открывать карты заранее? Но есть ли, возможен ли этот один шанс? Или их десять против девяноста, или пятьдесят против пятидесяти?

— Ну что же,— сказал Гранатов с неожиданным хладнокровием,— посмотрим, может быть злой умысел и есть. Будем говорить прямо — вредительство. Ты ведь это имеешь в виду? В заготовительном аппарате оно было. Я уверен, что следствие подтвердит мои предположения. Может быть, оно есть и выше. Присмотреться не мешает никогда.

Морозов стал совершенно спокоен. Выдержка, хладнокровие, острая наблюдательность—вот что теперь нужно. Поговорить с Андронниковым... Продумать, вспомнить, оценить весь пройденный путь... Проанализировать каждый недостаток, каждую ошибку... А пока — выдержка.

Разговор стал деловым. Решили проверить работу во всех звеньях, проверить безжалостно, до конца выявляя недостатки собственного руководства. Начать с подсобных предприятий: лесопильный завод, каменный карьер, кирпичный завод. Не откладывая, сегодня же вечером решили пойти по предприятиям, собрать рабочих и инженеров, поговорить по душам, выяснить их требования, поднять их настроение. Распределились: Вернер — на лесопильный завод, Морозов — на кирпичный, Гранатов — на каменный карьер.

— Хочешь, поменяемся?— предложил Морозов Гра-

натову. Он хотел подчеркнуть свое доверие — Гранатов много занимался кирпичным заводом.

— Нет, нет,— категорически отказался Гранатов,— я могу быть пристрастен. Ты лучше уловишь плохое и меня проверишь.

И вот Морозов шел на кирпичный завод. Дорога лежала через тайгу. За полчаса ходьбы можно было хорошо и свободно подумать. Ошибки — или злой умысел? Нет, это не только ошибки! Значит?.. Как бы там ни было, он докопается до всего, что тормозит дело. Он знает, что делать. Он перевернет все управление, он сделает его гибким, смелым, конкретно руководящим. Он напишет письмо в край, в ЦК. Общая линия должна быть проверена и выправлена, он этого добьется. А если враги есть — найдет и врагов. Мало ли врагов сломили на недолгом веку! И ведь не зря ему кажется, что он ухватил какую-то нить... Да. Да. И не один шанс против девяноста девяти, а пятьдесят против пятидесяти... Как он поймал нить?.. Легкое подозрение. Движение. Взгляд... Проверить надо. Проверить!

Мысли его устремились вперед, к предстоящей работе. Он обдумывал, что скажет комсомольцам, мастерам, инженерам. От того, насколько быстро на месте этого кусочка тайги, разделяющего промплощадку и кирпичный завод, вырастут многочисленные дома нового города,— от этого зависят сила Родины, сила края, его обороноспособность, его несокрушимость.

Враги работают. Будьте наблюдательны, проверяйте каждую ошибку, возражайте против каждого мелкого недостатка,— кто знает, к каким крупным открытиям может привести ничтожная деталь!

Тайга была беззвучна. В синем небе дрожали ясные крупные звезды. Скрипел под валенками снег.

Откуда-то издалека донеслись веселые голоса. В тишине можно было уловить даже скрип лыж. Лыжники удалялись в сторону сопок.

Потом послышался другой звук — вблизи. Щелчок? Треск ветки? Морозов огляделся, но увидел только неподвижные деревья, посыпанные снегом. Ни следов, ни шороха, ни качающейся ветки. И все-таки у него было ощущение, что он не один в этом пустынном лесу.

Чистый воздух с каждым глотком проникал в легкие. Силы удесятерялись при этом кратком общении с природой. Нет, здесь никого не было. На маленьком отрезке тайги, сохранившемся между двумя участками

строительства, он был наедине с природой, с небом, со звездами. Все было бело, все нежно светилось в рассеянном свете звезд. На дороге не было ни одного следа, кроме тяжелых вмятин от его валенок.

Он старался представить себе молодых ребят, которые окружат его через полчаса. Любят ли они этот край? Он им скажет о новых условиях, о том, что надо работать не покладая рук во имя богатства и мощи края. Они готовы на любое усилие. Но ему хотелось, чтобы они по-настоящему оценили и полюбили край, ради освоения и обороны которого им приходилось столько переносить. Он будет говорить с ними не только о кирпичах,— нет, он им скажет также: выйдите вечером в тайгу, посмотрите на зимнюю тайгу, освещенную звездами. Чем больше любви к стране, к краю, тем больше будет и кирпичей... Посмотрите, ребята, посмотрите на тайгу, освещеную звездами...

Острая боль ударила между лопатками, подкинув его тело. Вспышка сознания отметила резкий сухой треск, оживила ощущение — я не один, вернула воспоминание— щелчок!.. Щелчок не ветки, а курка... Забила тревогу: «Я никому не успел сказать...»

Широко раскрытые глаза увидели звезды — уже не наверху, а прямо перед собою. Взмахнув руками, он повернулся на месте и боком повалился в нетронутый ласковый снег.

## 23

Катя и Валька шли рядом на лыжах по тихой, озаренной звездами тайге.

— Остепенишься!— говорил Валька.

— Не остепенюсь! — отвечала Катя и, оттолкнувшись палками, выносилась вперед.

— Остепенишься,— повторял Валька, догоняя ее.

— А вот не остепенюсь!

— А вот остепенишься,— настаивал Валька.— Сына заведем — остепенишься.

Катя вспыхнула и пустилась бежать. Валька погнался за нею и уже настигал ее, когда она крикнула:

— Вот еще! Жены ему мало, сына захотел!— и залепила в него огромным снежком. Но она была благородна и не побежала дальше, пока он фыркал и отряхивался.

— Ну и захотел,— упорствовал Валька, крутя головой, чтобы стряхнуть снег.

— Ну и хоти!

— А ты не хочешь?

Катя снова умчалась вперед и оттуда крикнула:

— Некогда!

— А бегать время есть?

— Бегать — это организованная борьба с цингой.

Они снова пошли рядом.

— В здоровом теле здоровый дух,— важно продолжала Катя,— а ты с глупостями. Ты сперва заслужи сына, а потом проси.

— А разве я не заслужил?

— А что ты такого сделал?

— А ты?

— Я тебя спрашиваю, на обратных не ездят.

Валька схитрил:

— Раз я заслужил тебя, наверно я что-нибудь да сделал.

Катя запнулась было, но потом нашлась.

— Я тебе поверила авансом,— сказала она.— Ты еще должен оправдать доверие.

— Я тоже тебе поверил авансом,— буркнул Валька.— Можешь особенно не задаваться, я не хуже тебя.

— Хвастун!— крикнула Катя.— От такого хвастуна и сын хвастунишка будет!

Он нагнулся за снежком, но Катя изо всех сил побежала вперед. Они долго гонялись по тайге, крича и смеясь. Когда Валька настиг ее и хотел натереть ей лицо снегом, она с размаху кинулась к нему на шею; он выронил снег, поворчал для виду и поцеловал ее. Все еще запыхавшиеся от быстрого бега, они стояли, опершись на палки, очень счастливые.

В морозной тишине отчетливо прозвучал выстрел.

Они стояли и прислушивались.

— Охотится кто-нибудь?— неуверенно сказал Валька.

Но Кате вдруг стало страшно. Тайга показалась темной и время — поздним.

— Пойдем,— шепотом сказала она и направила лыжи в сторону, где раздался выстрел.

Они вышли к кирпичному заводу и, обогнув его, пошли по снежной дороге в город. И оба разом остановились.

На снегу, раскинув руки в обледенелых рукавицах, лежало запрокинутое назад неподвижное тело.

Они наклонились над ним и узнали. Широко раскрытые глаза Морозова остекленели, в них отражались звезды. Катя и Валька, дрожа, смотрели на него и друг на друга.

Потом Катя сказала:

— Беги скорее.

Он без слов надел лыжи и побежал.

Катя сидела одна в лесу около трупа, слишком подавленная, чтобы бояться.

По дороге, взметая снежную пыль и подпрыгивая, летели сани. За санями на лыжах несся Валька. Андронников соскочил на ходу. За ним выскочил врач, спрыгнул с облучка с докторским чемоданчиком в руке Тарас Ильич.

— Незачем,— сказал Андронников, отстраняя врача.— Поздно.

Катя быстро рассказывала:

— Идем мы, остановились. Вдруг выстрел. Валька говорит — охотятся. А я подумала — нет. Говорю — пойдем. И так мне стало страшно. Бежим, бежим... А тут он лежит...

Она заплакала и снова села на снег рядом с Морозовым.

Андронников осматривался по сторонам: «Морозов шел из города... Стреляли сзади. Справа или слева? По тому, как упало тело, скорее справа». Он надел лыжи и вошел в тайгу. Валька и Тарас Ильич шли по бокам, настороженно вглядываясь в каждую тень. Тарас Ильич первым крикнул:

— Здесь!

Они увидели примятую в снегу ямку, потревоженные оголенные ветки куста и уходящий в тайгу лыжный след.

— Так!— сказал Андронников и приказал Тарасу Ильичу:— Возьмите у Ставровой лыжи.

Они втроем шли по следу. Но убегающий был хитер. Он добежал до чужого следа и пошел по нему. Валька узнал следы свои и Катины. Вот здесь они поспорили, вот здесь, где взрыхлен снег, Катя лепила снежок, чтобы бросить в него. Здесь он догнал ее, и они поцеловались.

Немного далее беглец свернул в сторону. Они побежали по его следу. Но он снова свернул на чужие следы. Он бежал до сопки, где Катя и Валька катались по склону. Здесь следы спутывались.

Три человека внимательно обошли весь склон.

— Вот!— крикнул Валька в середине склона.— Вот глядите, он прыгнул в кусты.

Беглец сделал искусный прыжок в сторону, в кусты, продрался сквозь них и снова побежал, заметая веткой лыжный след. Вот и обломанный сучок, а вот дальше брошенная ветка. По редким и сильным отпечаткам палок можно понять, как быстро он бежал.

Они побежали тоже. След вел к узкоколейке. Вот он нырнул в канаву около полотна, вот следы ног человека, взбиравшегося на полотно. Тарас Ильич лег, разглядывая след.

— В унтах был,— сказал он, вскакивая, и схватил Андронникова за локоть.— Чуешь? В унтах... Не иначе, как он... ехидна! Вот он кого караулил у дома дирекции...

На полотне узкоколейки следы терялись на промерзшем истоптанном снегу, где постоянно ходило много людей — на каменный карьер и обратно. Три человека долго шарили кругом при скудном свете звезд, пытаясь найти потерянный след.

А в клубе строительства коммунисты и комсомольцы укладывали на последнее ложе тело своего руководителя... В клубе было тихо и очень тесно. Раздавались только краткие распоряжения Круглова:

— В комитете кумач. Флаги несите. Хвои побольше. Девчата, венки делать!

На полу, обхватив руками ножку стола, плакала Мооми. Она хотела плакать громко, плакать и завывать, как полагалось около покойника. Круглов сказал: «Не надо, тише». Она поняла, что у русских другой обычай, и подчинилась. Но тогда слезы хлынули непроизвольно, от жалости и горя.

Прибежал Вернер. Он скинул у двери шапку, торопливо подошел. Губы его были плотно сжаты, скулы напряжены. Он очень торопился сюда, а теперь застыл, без слова, без жеста. Сотни глаз смотрели на него,— он их не замечал. Текли минуты. Его рука вдруг поднялась и каким-то теплым, товарищеским движением дотронулась до холодной руки покойного. Он отвел руку, резко повернулся и почти бегом вышел из клуба.

Гранатов пришел вместе с Андронниковым, прямо с дрезины, на которой они примчались с карьера. Андронников разыскал среди собравшихся Касимова и Епифанова и ушел с ними. А Гранатов остановился перед по-

койником, низко склонив голову, положив свои израненные руки на край стола. Комсомольцы смотрели на его руки, на склоненный профиль. Они видели, как судорожно задергалась щека Гранатова, как скатилась по ней одинокая слеза.

Тоня подошла, коснулась пальцами его плеча, сказала:

— Не надо.

Он вскинул голову. Узнал ее. Удивленно оглядел ее и снова поник головой. Когда он вышел из клуба, Тоня догнала его. Она вся дрожала.

— Не ходите один!— крикнула она.— Не ходите!

Он снова удивленно оглядел ее и, слегка улыбаясь, взял ее под руку:

— Ну что ж, пойдемте вместе. Но почему же мне нельзя идти одному?

— Довольно одной жертвы,— все еще дрожа, сказала она.

— Но вот вы же идете и не боитесь?

— Я?— вскрикнула Тоня с презрением.— Кому нужна моя жизнь?.. А вы... вы...

— Девушка, вы слишком пылко ко мне относитесь. Пылко... а может быть, и нежно, а?

И он сжал ее руку. Тоня дернула руку, обиженная и удивленная:

— Как вы можете шутить в такую минуту?

Но он не выпускал ее локтя, только сказал серьезнее:

— Не сердитесь, девушка. Я немного взволнован сейчас... Второй раз касается меня смерть — и все проходит мимо... Пуля предназначалась мне — но вот я жив... А Морозов погиб.

— Вам?

— Да, девушка, мне. Ведь это я должен был идти на кирпичный. Было известно, что мы сегодня идем на подсобные предприятия. Я прикреплен к кирпичному, я там постоянно бываю... И сегодня хотели, чтобы пошел я. Но пошел Морозов... И вот...

Тоня поняла, как ему должно быть больно. И она боялась за него—всматривалась в темноту, прислушивалась.

— Не бойтесь,— насмешливо сказал Гранатов.— Сегодня он больше не выстрелит.

Она вздрогнула. Смерть караулит его. Сегодня—нет... Но завтра? Послезавтра? Если бы она могла быть рядом, заслонить его своим телом!

А он сжимал ее руки, почти прижимаясь к ее плечу.

Она не понимала, зачем он это делает, ей было неприятно и как-то стыдно за него.

Он заговорил:

— Тоскливо... Вы не знаете, девушка, что такое тоска и одиночество... И вы, наверное, думаете, что в нашем мире не может быть одиночества? Вы еще молоды, дорогая...

Нет, она знала, что бывают такие часы. Она сама испытала многое. А он? Почему он одинок? Его уважают и любят. Он заслужил почтительное восхищение комсомольцев. Его рассказы о пережитых им истязаниях слушают со слезами на глазах. И неужели у него нет друга? Тоня вспомнила случайно подслушанное объяснение Гранатова с Кларой Каплан, и все представилось ей в новом свете.

— Если бы я могла помочь вам!

— Помочь?— Он засмеялся, и снова ее неприятно поразил его насмешливый тон.— Вы меня проводили, это уже помощь. Вы меня спасли от смерти, правда?

Тоня морщилась и страдала. Он насмехается снова. Или он не может принять ее всерьез, как равного собеседника? Конечно, перед ним она девчонка, без заслуг, без опыта, без знаний... Она снова вспомнила Клару Каплан, но лишь для того, чтобы осудить. Ее-то Гранатов признал за равную, но как она безжалостна к нему!

— Ну, вот вы и доставили меня в полной сохранности. Спасибо. Но как вы теперь пойдете? Может быть, мне проводить вас?

— Нет, что вы! Что вы!

— Неужели вы меня считаете трусом?

— Я?.. Вас!?

Она крепко пожала его руку.

Вернер сидел один в своей комнате. Он сидел в той же позе уже давно, сгорбленный, постаревший, с повисшими руками. Зазвонил телефон — он подошел, дал нужные распоряжения и снова сел на тот же стул, и снова повисли руки.

Поздно ночью он спустился по лестнице. Шел, как больной, спотыкаясь в темноте. Остановился у двери Клары Каплан. Дома ли она? Неужели спит? Тихонько постучал.

Возбужденный голос сразу откликнулся:

— Сейчас.

Клара впустила его, накинув поверх рубашки пальто, и сразу забралась на кровать, подобрав голые ноги. Она ничего не сказала и не удивилась его приходу.

Вернер сел рядом и долго молчал. Она курила, судорожно втягивая дым.

— Почему не в меня?— проронил он.— Почему? Почему?..

Она внимательно смотрела на него и не отвечала.

— Я все думаю — почему?— продолжал он.— Я руководитель стройки. Я форсировал работы, нажимал, ничего не жалел. Я был непреклонен. Всем известна моя властность. Почему же они стреляли не в меня?

— Может быть, линия Морозова опаснее для врага, чем ваша властность?

Вернер не заметил жестокости ее слов.

— Я об этом и думаю,— сказал он,— думаю все время, с первой минуты... Значит, он прав? Значит, его линия вернее? Нет, Клара, это же не может быть! Они били по руководству, по всем... И разве они могли знать о наших разногласиях?

— Там, где враг не знает, он чувствует,— ответила Клара.— Это страшно говорить, Вернер, но ваша политика на руку врагу. Вот почему стреляли не в вас.

Он откинулся назад. Он был почти без сознания. Клара погладила его светлые прямые волосы.

— Надо думать, как исправить,— сказала она мягко.— Вы же можете исправить. Неужели вы не найдете в себе мужества признать ошибку и выправить линию?

— Если бы я был уверен, Клара!.. Но я ни в чем не уверен. Может быть, я поддаюсь глупым сомнениям? Может быть, это неврастения, вздор?.. Ведь я же хотел сделать дело, нужное всей стране...— Он чувствовал, что неправ, но цеплялся за последнюю надежду.— Они не могли знать... Может быть, они поджидали меня или Гранатова? Я ехал на машине, им не удалось...

— Может быть, и так,— с горечью сказала Клара.— Но неужели вы не понимаете до сих пор, что ваша линия порочна, что беспочвенные лозунги — вредные лозунги, что вы уже сейчас поставили под угрозу не только ваши сроки, но и правительственный срок? Вы знаете, сколько кадров вы уже растеряли, сколько растеряете до весны? А фундаменты, которые будут стоять еще два, еще три года! Фундаменты, в которые вложено столько комсомольского энтузиазма, столько средств, столько сил! Вы нарушили очередность строительства...

— Вы же знаете!— вскричал Вернер.— Вы же знаете, я надеялся закончить все строительство в два го-

да...— Он запнулся и горячо добавил:— И я надеюсь. Я умру, но я добьюсь этого!

Клара бросила с отрезвляющим спокойствием:

— От вашей смерти легче никому не будет.

Губы Вернера мучительно сжались.

— Даже врагу...— сказал он в порыве глубокого отчаяния...

Он вышел в темный коридор. Здесь он был одинок со своим смятением. Но он не мог быть один. Он устал от нахлынувших сомнений. Он не верил самому себе. Он толкнулся к Гранатову.

— Кто там?— нервно откликнулся Гранатов.

— Открой. Вернер.

Гранатов был раздет и щурился на свет после темноты, но Вернер мог бы поручиться, что он не спал. Его бледное лицо носило следы тревоги, размышлений, страданий, а не сна.

— Я тоже не могу спать,— сказал Вернер.— Ты скажи мне, Алексей, ты ведь не мог не подумать об этом — почему Морозова, а не тебя или меня? Почему?

— Да! Да!— подхватил Гранатов.— Это гнетет и меня. Ведь он предлагал мне поменяться. Если бы я пошел, как всегда, на кирпичный, Морозов был бы жив... Я чувствую себя убийцей...

Вернер быстро вскинул голову:

— Ты думаешь, они не знали, кого поджидают?

— Это и гнетет меня. Ведь он предлагал поменяться. Он мог бы не пойти туда...

Вернер круто повернулся и ушел к себе. Усталость, страшная усталость охватила его. Было четыре часа. В семь часов срочное заседание парткома. Он свалился на кровать и как-то сразу провалился в пустоту тяжелого сна.

## 24

В кабинете Андронникова шла напряженная работа. Приходили и уходили люди, звонил телефон, зашифровывались телеграммы. В середине ночи Андронников вызвал Тараса Ильича.

В кабинете были Касимов, Епифанов, Бессонов и помощник Андронникова — Власов.

— Вот что, Тарас Ильич,— сказал Андронников,— если убийца выйдет в жилые пункты, он будет задержан.

Но есть основания думать, что он скрывается в тайге. Вы хорошо знаете тайгу. Где он может укрыться?

Тарас Ильич не спеша ответил:

— Поищем. Тут километров за двадцать зимовище есть, и еще километров двадцать пять — другое. Они эти зимовища знают.

— Кто они?

— Парамоновы, — мрачно сказал Тарас Ильич. — Кто ж еще? И Николай Иванович знает и Степан. Охотники ж... Ну, да и мы охотники,— добавил он.— Живого ли, мертвого ли — найдем.

— Живого,— твердо сказал Андронников.

Маленький отряд под командой Власова вышел затемно, перед утром. Никто не знал о его выходе. Только Катя Ставрова, видимо, догадалась, зачем уходит среди ночи ее муж, и крупно поссорилась с Валькой из-за того, что ее отстранили от дела, участвовать в котором она считала себя вправе. «Да мы никуда не идем!»— уверял Валька, страдая от необходимости лгать. «А куда ты собрался?»— «Катя, что́ бы ты сказала о мужчине, который разбалтывает жене секретные вещи?»—«Ах! Так я для тебя только жена? Можешь убираться!»—«Катя!..»— «Убирайся скорее, пока я тебя не ударила!»—«Катюша!»—«Была Катюша, а теперь Екатерина Петровна. И убирайся, не мешай мне спать!»

По случаю ссоры Валька был насуплен и молчалив.

Держась в стороне от дороги и жилья, отряд пошел тайгой. Тарас Ильич и Касимов шли впереди, по неуловимым для других признакам выбирая направление. Они уже были в полутора часах ходьбы от города, когда в бледном свете утра Власов заметил в ста шагах от них маленькую фигурку, пробиравшуюся на лыжах в одном направлении с ними. Оставив отряд, Власов осторожно скользнул за фигуркой и, вынув револьвер, крикнул:

— Стой! Руки вверх!

Фигурка подняла руки и оглянулась. Власов подошел и увидел смеющееся лицо Кати Ставровой. У нее был довольный и виноватый вид.

— Ты что здесь делаешь?— резко спросил Власов.

Катя облизнула языком обветренные губы, втянула воздух и затараторила без передышки:

— Я первая увидела Морозова и послала за вами Бессонова, я сторожила Морозова, я дала Тарасу Ильичу лыжи, я все рассказала Андронникову, я отлично стреляю, я отлично хожу на лыжах, я ничего не боюсь,

вы не имели права меня оставить, если я женщина, так это еще ничего не значит, я выносливее вашего Бессонова и лучше хожу на лыжах, чем Епифанов, я его учила, это все знают, и я такая же комсомолка...

— Подожди!— прервал Власов.— Откуда ты взялась?

— Я шла за вами все время, вот откуда!— вспылила Катя.— И теперь вы меня возьмете с собой. Вот и все!

Власов отрицательно покачал головой:

— Ступай домой, и притом быстренько.

— Не пойду!— дрожащим голосом, но твердо сказала Катя.

— Нет, пойдешь!

— Не пойду. Я заблужусь. Я боюсь идти одна.

— А сюда идти не боялась?

— Не боялась,— сказала Катя, доверчиво улыбаясь.

К ним подошел весь отряд. Валька ахнул и пытался подмигнуть Кате, но Катя явно не хотела замечать его.

— Ничего, товарищ Власов,— сказал Касимов.— Куда же ее теперь денешь? К нам вот тоже одна женщина пристала, два года партизанила. Ну, уж та не сдавала.

Отряд двинулся дальше. Катя усердно скользила рядом с Власовым. Власов нехотя дал ей револьвер, но после этого упорно не слышал ее заискивающих вопросов и смотрел через нее, как будто ее не было. Она не обижалась, но полностью копировала пренебрежение Власова в своем отношении к Вальке.

Они пришли к первому зимовищу и окружили его со всеми предосторожностями. Но в занесенной снегом хибарке не было никого. Власов, Касимов и Тарас Ильич все осмотрели и обнаружили, что после позавчерашнего крупного снегопада здесь кто-то был, по всем признакам — два человека. Они варили картошку, съели банку консервов, но не ночевали. Власов оставил Епифанова и Вальку в засаде, остальные пошли дальше. Катя была не прочь, чтобы оставили ее: она сильно устала от быстрой ходьбы и бессонной ночи. Но Власов продолжал не замечать ее, ничего не сказал, и она пошла с отрядом. Не застав своего врага в первом зимовище, Тарас Ильич помрачнел. Глаза его горели охотничьим жадным огнем. Он упорно искал следы и проклинал начавшийся снежок. Касимов, напротив, был спокоен и весел. Он шел по бездорожным партизанским маршрутам, память возрождала далекое прошлое, он чувствовал себя легко и привыч-

но, будто и не кончилась борьба,— да и кончилась ли она? Изменилась, только и всего.

Снегопад усиливался. Катя смертельно устала, но ни за что не призналась бы в этом. Ведь та женщина ходила же! Два года партизанила. Наверное, и ей случалось уставать, но она не сдавала. И как она выдерживала? Главное — идти, идти и не падать: если упадешь, уже не встать... Она смотрела на Касимова, на Власова, на Тараса Ильича,— они шли, как будто и не зная, что такое усталость. Власов вдруг спросил:

— Устала?

— Ну вот еще! Нисколечки!— гордо ответила Катя и независимо спросила:— А вы?

Пройдя через силу несколько километров, Катя почувствовала себя бодрее. Усталость рассосалась, ноги снова двигались легко, без усилий. Ага! Вот так и поступала та женщина! Главное — не сдавать!

В темноте ночи они подошли к зимовищу.

— Там кто-то есть,— тихо сказал Касимов.— Слышишь?

Катя ничего не слышала, но Тарас Ильич потянул носом и подтвердил:

— Тянет дымом.

Власов тихо распоряжался. Он и Касимов идут к двери; если закрыто, Касимов выдает себя за охотника. Тарас Ильич и Катя остаются снаружи, с двух сторон домика. Если внутри враг, он может попытаться бежать. Кате было очень обидно: Тараса Ильича поставили у окошка, а ее — около глухой стены, где уж наверняка никто не появится. Разве что подкоп под стену. Но какой там подкоп, когда снег до крыши!

Она стиснула револьвер одеревеневшими от холода пальцами и про себя решила: при первых звуках борьбы внутри домика бежать на помощь. Там увидят, годится она или не годится.

Касимов подергал дверь, постучал и попросил открыть. Его что-то спрашивали, он сказал, что охотник, и удивлялся: «От кого запираетесь, от воров, что ли?» У него был мирный, добродушный голос, без всякого напряжения, без дрожи. «Нет,— подумала Катя,— тут нужен опыт. Я бы никогда не сумела так спокойно держаться!» Человек в хибарке медлил открывать. Касимов начал сердиться:

— Совести в тебе нет, старик, боишься, что ли?

Катя ясно услышала громкий старческий голос:

— Сейчас, сынок, сейчас.

Она вздрогнула от того, что голос показался ей знакомым. Дверь заскрипела. Касимов и Власов вошли в хибарку.

Катя вся сжалась, готовая бежать им на помощь, но в это время она услышала снаружи, за углом хибарки, дикий звериный рев и шум борьбы. Она кинулась туда, еле живая от страха. Она увидела в снегу два сцепившихся тела. Одно из них было Тарасом Ильичом. Снежные вихри взлетали вокруг них. Обезумев от страха и возбуждения, Катя выстрелила в воздух и прыгнула на оба тела, пытаясь понять, кто из них свой, а кто враг. Тарас Ильич по-звериному выл и тяжело сопел; короткие злые слова срывались с его губ. Катя получила сильный удар кулаком в челюсть, снопы искр брызнули из глаз, она мельком подумала: «Вот что значит — искры из глаз сыплются!»— и, навалившись на борющихся, вцепилась в голову противника и всеми силами вдавила ее в снег.

— Попался, сволочь! Посчитаемся! От меня не уйдешь!— с хрипом бормотал Тарас Ильич.

— Попался, сволочь!— вторила Катя, вдавливая в снег голову обессилевшего и задыхавшегося человека.— От меня не уйдешь!..

От боли, волнения и страха слезы текли по ее разгоряченному лицу, но она их не чувствовала. Противник изловчился и нанес ей второй мучительный удар снизу вверх, в подбородок. Она вскрикнула, последним усилием придавила всем телом голову врага и потеряла сознание.

Она очнулась в хибарке на лежанке. На камельке шипел растапливаемый снег. Касимов аккуратно резал хлеб охотничьим ножом. Кто-то большой и ласковый сидел около Кати и нежно гладил ее по голове холодной рукой. Она покосилась на ласкового человека и с удивлением увидела Власова.

— Молодец, девочка,— сказал он и пошлепал ее по щеке.— Молодец, товарищ! Держала себя — лучше не надо.

Тогда она сразу все вспомнила и приподнялась, чтобы понять, что же произошло. Она увидела на полу двух связанных людей. Одного из них — высокого, худощавого человека в унтах — она видела впервые, но глаза его, полные ненависти, так злобно впились в ее лицо, что она угадала своего противника. Другой, старичок, сидел

сгорбившись, опустив глаза, беспомощно шевеля пальцами связанных рук.

— Семен Порфирьевич!— вскрикнула Катя.

— Нет, зачем же,— сказал Власов,— он такой же Семен Порфирьевич, как я. Назовем его Михайловым Иваном Потаповичем. Так будет правильнее.

Старик узнал Катю и не то обрадовался, не то испугался.

— Старик, — сказала Катя, — и туда же, в убийцы!

— Доченька, дочка,— слезливо заговорил старик,— видит бог, ни при чем я здесь. Старик я, верное твое слово. Охотился я. Пришел этот человек — пусти. Ну как же не впустить, не мой же дом, общий... А тут вон какое дело... Ты же меня знаешь, дочка...

— Знаю,— мрачно сказала Катя.— Не прикидывайся. И никакая я тебя не дочка. Каждому бандиту буду я дочкой!

Касимов засмеялся, протянул ей хлеб с маслом.

— Ты наша дочка,— сказал он.— Партизанская. И к тому же с воинским отличием.

Он осторожно коснулся ее челюсти.

— Больно?

— Немножко,— пренебрежительно ответила Катя. Но есть она не могла — рот как будто склеился, а разжимать зубы было очень больно.

Власов делал ей холодные примочки.

Как в тумане, плыли перед глазами лица, стены, огонь в камельке.

— Спи, товарищ,— сказал Власов, заботливо прикрывая ее шинелью.— Заслужила отдых, спи спокойно.

— Вы меня разбудите, когда караулить надо. Я как все, — борясь со сном, пробормотала Катя.

— Ты — как все,— сказал Власов и снова погладил ее по голове.— Спи.

Катю не пришлось уговаривать — она уже спала. Утром обнаружилось, что у нее огромный кровоподтек на шее и распухла челюсть. Но эти повреждения казались ей верхом блаженства. Она торопила весь отряд, предвкушая свое торжество над Валькой и славу, которая ждет ее в городе. Она выдержала стиль и предоставила другим рассказывать Вальке и Епифанову о ее подвигах. Она холодно поздоровалась с Валькой и всю дорогу болтала с Власовым, который оказался очень славным и разговорчивым. Он доставил ей самое лучшее удовольст-

вие, какое мог: она вступила в город, шагая за арестованными с револьвером в вытянутой руке.

Валька, страдавший всю дорогу, пошел рядом и пытался заговорить, но она отрезала:

— С часовым не разговаривают! Пора знать.

И только когда он, оробев, поплелся в хвосте отряда, она обернулась, высунула язык и уже совсем ласково подмигнула ему.

В тот день хоронили Морозова. Длинная процессия в сосредоточенном молчании шла мимо новых домов, мимо шалашей, мимо мастерских, мимо строящихся цехов. Над процессией клубился пар горячего дыхания. Скрипели валенки по снегу.

— Учитесь у него работать по-большевистски,— сказал Вернер над могилой, и лицо его было так напряженно, что мускулы вздувались желваками.— Он, как никто из нас, умел идти к цели с непреклонным упорством, вести за собою массу и видеть в этой массе каждого отдельного человека.

Вечером Гранатов был вызван на очную ставку с Парамоновым. Гранатов сразу признал в нем человека, который под именем Михайлова приходил договариваться о поставках. Их взгляды встретились — пристальные, испытующие взгляды.

— Он обещал прийти к вам на следующий день,— сказал Андронников.— Он приходил?

— Нет, вы обещали, но не пришли, — сказал Гранатов, обращаясь прямо к Парамонову.— Зато, как я понимаю, вы поджидали меня вечером у дома дирекции? Очевидно, уже с другой целью?

Их взгляды снова скрестились. Парамонов помедлил, потом зло рассмеялся.

— Я не сделал — другой сделает!— сказал он с ненавистью и прямолинейной откровенностью и обратился к Андронникову:— Что ж, я свое сделал. Моя фамилия Парамонов. Я убил Морозова и хотел убрать все руководство. Можете записать мои показания.

Вернер ждал Гранатова в своем кабинете. Гранатов от порога крикнул:

— Он хотел убить всех троих, и тебя и меня! Всех троих!

И Вернер выпрямился, оживился, как будто этой подстерегавшей его пули ему только и не хватало.

Андрей Круглов читал в романах, что люди глупеют от счастья. Теперь он испытывал это сам. Он был опьянен, сбит с толку, заворожен, глуп. Он с трудом работал и никак не мог сосредоточить мысли на работе.

У них была волчья шкура. Дина приняла ее как исполнение желаний. Она лежала на ней, вешала ее на стену, прикрывала ею кровать, закутывалась в нее сама. «Вы грезите всю ночь на волчьей шкуре»,— напевала она, раскинувшись на ней и кокетничая перед Андреем своими стройными ногами.

Ей понравился барак. «Как смешно! Даже мыться негде! Ты будешь приносить воду в комнату».

Андрей готов был никуда не уходить весь день, но Дина была любопытна. Она жаждала окунуться в романтику. Ее белые боты оставляли на снегу такой изящный крохотный отпечаток, какого еще не бывало в этих местах. Она хвасталась двойными рукавицами: «Смотри, совсем деревенские, даже каемка крестиком». Андрей улыбался: в ней не было ничего деревенского, рукавицы казались изящными безделушками.

Пошли на лесозавод. Очутившись среди друзей, Круглов на минуту почувствовал стыд за нее: Дина была туристкой, она разглядывала всех, как забавных туземцев. В ее представлении между ними и Андреем лежала пропасть.

— Смотри, какая забавная девушка! Как зверек!— вскрикнула она настолько громко, что ее могли услышать.

Это была Клава.

В бараньем полушубке поверх рабочего комбинезона, в меховой шапке, Клава шла к ним, привычно увертываясь от падающих из-под пилы досок.

— Это мой друг, Клава Мельникова,— успел шепнуть Андрей, со страхом ожидая, что произойдет.

Клава остановилась и побледнела. Она была подготовлена к тому, что Дина очень красива, но не ожидала увидеть ее такой нарядной и снисходительно-любезной.

— Познакомьтесь,— сказал Андрей, умоляюще глядя на Клаву.— Познакомьтесь и подружитесь.

— С приездом,— натянуто сказала Клава и протянула маленькую, покрасневшую от мороза руку.

— Вам страшно идет этот костюм!— весело сказала Дина, беззастенчиво разглядывая Клаву.— Вы что же,

работаете здесь? Неужели здесь работают женщины? Вам не холодно?

— Наши девушки везде работают наравне с нами,— краснея, объяснил Круглов.

— Да, да, я читала. Но вы такая молодая! Сколько вам лет?

Клава ответила сердито:

— Двадцать.

Андрей заговорил с нею о работе. Дина прислушалась, но разговор был неинтересен ей, и она стала глядеть по сторонам. Ее развлекало всеобщее внимание. «Ну и красотка!»— доносилось до нее. Она не поняла, что в этом внимании было очень мало дружелюбия.

— Ну, я пошла,— сказала Клава.— Вы что будете здесь делать?— спросила она Дину, стараясь быть ласковой.

— Что я буду делать, Андрюша?— кокетливо спросила Дина и рассмеялась.

Клава, не дожидаясь ответа, повернулась и побежала прочь.

— Забавная девушка!— сказала Дина.— Почему она убежала?

Они пошли смотреть шалаши. Дина восторгалась и жалела, что будет жить в бараке. Но когда они вошли внутрь, она уже не жалела, что ей не придется жить здесь. Ее удивляли топчаны — на них ведь жестко?— и печки — они ведь дымят, наверно? Она осторожно ходила по земляному полу, боясь испачкать свои белые боты.

Она захотела увидеть шалаш, где жил Андрей. В шалаше было тепло и сыро, на одном из топчанов спал Тимка Гребень, вернувшийся с ночного дежурства на электростанции.

— Ты с ним жил?— шепотом спросила Дина, косясь на грязную ногу Тимки, торчавшую из-под одеяла.— А где у вас моются? А прачка у вас есть?

Узнав, что нет прачек, она расстроилась. «Кто же будет стирать белье?» Андрей не знал, что ответить. Ему не приходило в голову, что Дина не может стирать.

— Я сам прачка,— сказал он наконец.— Твои пустячки стирать — это ерунда. Я брюки сам выстирал.

Дина ежилась. Ей захотелось домой. Вопрос о прачке озадачил ее, стал символом предстоящих неудобств.

— А инженеры тоже сами стирают?

— Нет. Не знаю. Кажется, у них есть уборщицы.

Дина повеселела, и снова все ей понравилось.

Они обедали в столовой. Дина хохотала, получив у входа жестяную миску и прибор. Она хвалила суп, но каша смутила ее, и она не стала есть.

— Я не голодна, Андрюша,— деликатно сказала она.

По дороге домой они встретили главного инженера Сергея Викентьевича. Он смотрел на Дину с восхищением и сразу заговорил о том, что ей готово место в конторе.

— А ты, Круглов, следи за нею,— сказал он на прощанье.— Наши мальчики все с ума сойдут.

Инженеры очень быстро узнали о том, что приехала красавица. Вновь прибывший инженер Костько был допрошен очень подробно. Вечером около комсомольского барака появилась группа инженеров на лыжах,— они громко острили, играли в снежки, принимали изящные позы, смотрели на окна.

Круглов, смеясь, завесил окно. Дина закрыла двери на ключ. Им никого не нужно было, они никого не хотели впускать. Когда рано утром Андрей уходил на работу, Дина проснулась. Она осмотрела его со всех сторон и сказала теплым со сна, счастливым голосом:

— Такие люди у Джека Лондона. Ты воды принес?

— Принес.

— А тебе нельзя не идти?

— Нельзя. Я тебе приготовил растопку. Дрова в печке. Чайник налит.

— Хорошо,— улыбаясь с закрытыми глазами, сказала Дина.

Он был доволен, что избавил ее от хлопот. Но к часу, когда он вернулся домой, Дина прибрала комнату, расстелила скатерть на столе, расставила свои флаконы и безделушки и напекла оладий, которые показались Андрею восхитительными.

— Видишь, достала муку и масло,— хвасталась Дина.— Ты не думай, я не бездельница. А мне не придется потрошить убитых лисиц и кабанов?

Она начала работать в конторе, и через неделю все прорабы, включая Павла Петровича Михалева, стали бегать в контору с делом и без дела.

Дина забавлялась: «Женщина в тайге! Совсем как у Джека Лондона. Только там убивали соперников!»

Дни шли как в тумане. Андрей работал, но все его мысли были с Диной. Выстрел Парамонова прозвучал в этом тумане как сигнал. Андрей впервые забыл Дину. Он вернулся под утро, измученный, возбужденный; горе

пробудило в нем энергию мысли; он шел и думал о том, как теперь надо крепко, интенсивно работать. Дина встретила его истерикой. Она удивила и напугала его. Она обхватила его руками и повторяла, заливаясь слезами: «Уедем! Я боюсь! Тебя убьют! Уедем! Я не могу здесь жить! Если ты меня любишь, ты должен увезти меня! Мне страшно!» Он успокаивал ее до утра и пришел на срочное заседание парткома совершенно разбитым, с гудящей головой. Ему пришлось окунуться в работу. Весь день шли митинги. Он выступал, разъяснял, поднимал настроение растерявшихся. Вечером Дина снова плакала и умоляла увезти ее. Только на третий день она пришла в себя и сказала: «Я была трусихой, я знаю. Но я была ею только потому, что люблю тебя». В этот вечер он совсем опьянел от счастья. И снова потянулись дни, окутанные туманом.

Однажды Круглов пригласил к себе Тимку Гребня, Исаковых, Катю с Валькой, Клаву и Епифанова. Он хотел сблизить Дину с комсомольцами, втянуть ее в общую комсомольскую жизнь. Дина была любезна и старалась найти тему для разговора. Но все держались натянуто, без простоты, и после этого вечера дружба между комсомольцами и Диной не установилась.

Соседи по бараку тоже сторонились Дины. Только Лиденька и Гроза Морей останавливались поболтать с нею, но к ней не заходили и не приглашали к себе. Сема Альтшулер забегал только по делу к Андрею и с Диной был оскорбительно вежлив. Тоня проходила, гордо подняв голову и не желая здороваться первою, а так как Дина тоже не желала, то они перестали здороваться совсем.

— И чего она гордится?— усмехаясь, спросила Дина у Круглова.— Ее счастье, что этот еврейчик женился на ней, а то что́ бы она стала делать?

Андрей побледнел.

— Дина... Как ты можешь?.. Ты не понимаешь...

Дина улыбнулась.

— Ах, Андрюша, мне, право же, все равно! Мне нет никакого дела, чей это ребенок. Из вашего Семы выйдет нежный папа. Только я ему не завидую. Имею я на это право? Я ведь ничего не говорю ему.

Комсомольцы не заходили к ним. Зато инженеры бывали постоянно. Дина не приглашала их, но они сами находили предлоги. Костько смотрел на Дину глазами ошалевшего от любви человека. Он таскал узлы с бельем

к прачке и обратно. Доставал для Дины продукты. Принес порошок от клопов и вместе с Диной старательно посыпал все щели. С Андреем он вел себя услужливо и покорно, как с высшим осчастливленным существом.

Сергей Викентьевич сказал Круглову, что «по-стариковски» имеет право ухаживать за Диной, и однажды пригласил Круглова и Дину к себе на дружескую вечеринку, предупредив, что смертельно обидится, если они не придут. Они пошли. Собрались инженеры, секретарши, две чертежницы. Одна из чертежниц была комсомолкой, и присутствие Круглова стесняло ее. Поклонники Дины наперебой любезничали с Кругловым, называли его «наш комсомольский вождь» и к середине ужина напоили его. Клара Каплан рано ушла к себе и попыталась увести Кругловых, но Дина не хотела и слышать об этом. Дина много ела и пила, все время смеялась, ее глаза так блестели, что Андрей зажмуривал веки. Предлагались тосты все более и более лирические. Андрей, давно отвыкший от вина и музыки, азартно поддерживал каждый тост.

Инженер Слепцов, с красивым разгоряченным лицом, вскочил на стул и провозгласил, высоко поднимая рюмку:

— А я пью за того, кто осчастливил нас всех, заманив в нашу глухую тайгу прекраснейшую из женщин!

И, нагнувшись, потянулся чокаться с Андреем. Круглов растерянно озирался: ему смутно не нравилось то, что происходило, ему не нравилась дерзкая улыбка Слепцова. Он вдруг понял, что тот его спаивает.

Но Дина, протянув рюмку к Андрею, сказала многозначительно и ласково:

— А я пью просто за тебя.

Они выпили, глядя друг другу в глаза.

Окончательно опьянев, Андрей пробовал танцевать с Диной, но у него заплетались ноги. Дина ласково оттолкнула его и пошла танцевать со Слепцовым, а Андрей лег на кровать Сергея Викентьевича, и все поплыло у него перед глазами.

Он проснулся, ничего не помня, не понимая, что случилось. Рядом с ним храпел главный инженер. Дины не было.

Сразу отрезвев, Андрей накинул полушубок и выбежал из дому. Он бежал к своему бараку, готовя слова извинений и стыда. Но дома Дины не было. Ему пришло в голову, что Дина уже в конторе. Но в конторе было и

тихо и пустынно. У входа он столкнулся с одной из вчерашних чертежниц. Она заговорщицки улыбнулась и прошла мимо. Он постеснялся спросить ее, где Дина. Он метался по городу, потеряв голову, и снова оказался у дома инженеров.

Строго кивнув головой, прошла Клара Каплан.

Выбежал, запахивая на ходу шубу, заспанный Слепцов. Он не узнал Круглова, и Андрей не решился остановить его.

Он ходил по коридору, прислушиваясь, страдая, сходя с ума. Где она могла быть? Почему она не разбудила его? А что, если ее напоили тоже?

Он снова толкнулся к Сергею Викентьевичу, но тот спал, прикрыв голову подушкой. В открытом ящике патефона лежала пластинка, прижатая иглой. Под столом валялась пудреница,— но была ли это пудреница Дины? Он не видел у нее такой.

Он опять метнулся в коридор и увидел Костько. Накинув на плечи пиджак, Костько шел из кухни с ведром воды. Он не мог не заметить Круглова, но не поклонился, а постучал в свою комнату и что-то сказал, просовывая ведро в приоткрывшуюся дверь. Потом, не глядя в сторону Андрея, постучался и вошел в соседнюю комнату.

Круглов бросился к двери, за которой исчезло ведро. Он прильнул ухом к двери; он слышал плеск воды, стук каблучков.

— Дина!— крикнул он отчаянным голосом.

Из соседней комнаты выскочил Костько с приветливо протянутыми руками.

— А, товарищ Круглов! Мы вас будили, будили, но вы так спали! Ваша жена в полной сохранности, я устроил ее у себя, а сам — у соседей...

Он был болтлив и несколько смущен.

Не отвечая, Андрей дернул дверь и вошел к Дине. Она вскрикнула, рассмеялась и бросилась к нему на шею. Она была полуодета; на раскрытой постели валялась ее гребенка, на полу — чулки.

— Негодяй! Соня! Алкоголик!— смеясь и целуя Андрея, говорила Дина.— Бросил меня и заснул! Разве так охраняют молодых жен?

Она ласкалась к нему, глаза ее все еще блестели.

— Я никогда еще так не веселилась, как вчера,— заявила она.— Правда, такой чудесный вечер?

Он помогал ей одеваться, целовал ее коленки, никак не мог застегнуть подвязки.

— Да не так! Вот бестолковый. Костько и то умеет...— сказала она.

— Костько?

Дина смеялась.

— Ну да! Я ведь вчера еле дошла сюда. Он мне туфли снял, чулки снял, платье расстегнул. У меня ведь сзади застежка, такая трудная. Да ты не смотри так, он же не съел меня! Он же ручной, его можно на веревочке водить...

Она болтала, слегка покраснев.

В дверь постучали.

— Нельзя!— резко крикнул Андрей.

Дина подставила спину застегивать платье. Андрей путал застежки, его пальцы дрожали. Она увидела его состояние и заставила его целовать себя, пока он не стал улыбаться.

Снова постучали. Костько принес два стакана чаю и печенье—«для дорогих гостей». Андрей хотел отказаться, но Дина так обрадовалась чаю, что Андрею пришлось выпить с нею чай и, уходя, благодарить Костько за гостеприимство, оказанное жене.

После этой вечеринки недели две было все спокойно, даже Костько заходил реже. Потом вечеринку устроил Слепцов, и снова пригласили Андрея с женой... Андрей отказался.

— При чем здесь я? Меня зовут из вежливости. Я никогда не бывал у него до твоего приезда.

— И мне не идти?— покорно спросила Дина, но упрямая складка обозначилась между ее бровей.

Андрей поцелуем загладил складку:

— Тебе хочется? Значит, иди. Я провожу тебя и зайду за тобой. А Слепцову скажи, что занят.

Дина была очень довольна. Она надела пепельно-серое платье с высоким воротником, очень скромное и до того очаровательное, что Андрею было страшно отпускать ее. Он уже сожалел, что отказался идти.

Чтобы убить время, он навестил старых друзей. Идя к ним, он сообразил, что уже давно не бывал вечерами в комсомольских шалашах и бараках. Он пришел искусственно веселым и смущенным. Но его встретили с искренней радостью. Некоторые посмеивались: «Любовь не картошка, не выкинешь в окошко!», «С такой красоткой не до нас».

Клава отвела Андрея в сторону:

— Андрюша, она не думает вступать в комсомол?

Андрей густо покраснел: за месяц он ни разу не выбрал времени, чтобы поговорить об этом.

— Видишь ли, Андрюша,— сказала Клава, сама страдая от того, что надо было сказать,— ребята недовольны тобой: говорят, что ты оторвался. Знаешь, сплетни пошли. Будто ты уборщицу нанял. Здесь ничего плохого нет, если и нанял, но только ни к чему это... Уж очень на виду все! Раньше ты с нами одной жизнью жил... Вот, говорят, ты на вечеринке напился пьяным... Я не верю этому... Только ты сам виноват, ты не отрывайся. Заметь, ребята к тебе и не заходят теперь, даже если надо. Мне это очень обидно...

Тимка Гребень встретил его угрюмо:

— Что за чудеса! Я думал, ты теперь только с инженерами знаешься! А ты нас, грешных, вспомнил. Или по делу?

Андрей впервые, точно очнувшись от наваждения, понял, что с приездом Дины его былая дружба с комсомольцами оборвалась.

Он весь вечер ходил из барака в барак, из шалаша в шалаш, заглаживая свою вину. И ребята быстро простили его. Епифанов открыто заступился: «Поглядел бы я на вас! Дай вам такую кралю, вы бы и работу забыли».

Андрей зашел за Диной в два часа ночи. Издали слышались музыка, голоса, шарканье подошв. Андрея встретили общим криком: «Рано! Рано! Рано!» Кто-то, сообразив, крикнул: «Раздевайтесь, идите сюда. У нас еще две бутылки есть. Догоняйте!»

Дина танцевала в венке из бумажных цветов.

— Меня выбрали королевой бала!— крикнула она, продолжая танцевать. Ее кавалером был Слепцов; на нем тоже был венок.

Андрей заметил, что на этот раз не было ни Сергея Викентьевича, ни Федотова, ни Клары Каплан. Костько, понурясь, пил водку у патефона. Незнакомый пожилой инженер обнял Круглова и сказал, чуть не плача:

— Мы интеллигентные люди... Мы столичные люди... Но кто понимает нас? Ваша жена поймет, больше никто...

Круглов сбросил с плеча его вялую руку.

Круглову было неприятно и дико все, что творилось здесь. А Дина не замечала. Она была так весела, в ее глазах отражалось столько радости!

— Если вы интеллигентные люди, почему вы не поможете наладить культурную жизнь?— спросил Круглов у инженера.

Инженер покачнулся и вдруг заплакал:

— Культурную жизнь! Я умываюсь в холодном углу, у нас плевальничек... плевальничек — так его и называют!— и тот один на весь барак... Я здесь девять месяцев, и только раз, в Хабаровске, принял ванну!

Круглов отстранил его и подошел к Дине. Дина перестала танцевать, но Слепцов все еще держал ее, и казалось, она лежит в его объятиях.

— Я за тобой, Дина,— сказал Андрей мрачно.

Слепцов выпустил Дину из объятий и бросился к Андрею:

— В самом разгаре веселья? Мы все умоляем вас! И почему вы не сняли пальто? Почему вы не примете участия? Мы весь вечер ждали вас, и вот вы пришли только затем, чтобы увести от нас нашу звезду, нашу великолепную звезду!

Это прозвучало так неуместно, что Дина нахмурилась и повернулась к нему спиной.

— Подожди, Андрюша,— нежно попросила она, но радостный свет уже померк в ее глазах.— Еще полчасика потанцую, и пойдем. Согласен?

Он сразу согласился. Он был благодарен ей за то, что она согласна уйти через полчаса.

Она танцевала со Слепцовым медленное танго. Андрей смотрел с неприязнью и невольным восхищением, как изгибались и кружились, в лад с ногами Слепцова, ее длинные, стройные ноги. Когда он поднял глаза, краска ударила ему в лицо: Дина танцевала, прильнув щекой к щеке Слепцова, полуоткрыв рот, с опущенными ресницами, из-под которых томно светились глаза.

Пластинка докрутилась до конца. Дина отстранилась, вздохнула и невнятно сказала:

— Хорошо.

Она увидела Круглова. Улыбка наслаждения сошла с ее лица. Она дружески кивнула ему и подошла к зеркалу снимать венок. Слепцов удерживал ее.

— Нет, нет, я ухожу, — говорила Дина. — Это было слишком хорошо, больше так не выйдет.

Она ушла, провожаемая воплями сожалений. Круглова не замечали, ему не глядя совали на прощание руки.

— Ты очень рано зашел за мной, — сказала Дина, когда они вышли на мороз.

— Как раз вовремя, — желчно отрезал Андрей.

— Почему?

— Потому что тебе вскружили голову, ты сама не замечаешь, как они нахально, отвратительно себя ведут.

— Ты злишься? — холодно спросила Дина.

Он был так поражен ее холодностью, что не ответил.

— Странно, — сказала Дина. — Ты комсомольский руководитель, а ведешь себя как мелкий собственник. Ты сам не умеешь веселиться, и тебе жалко, если веселюсь я.

— Но этот твой Слепцов...

— Что?

Он не мог сказать — что. Он все еще видел ее со Слепцовым, щека к щеке, и их сплетающиеся в ритме танца ноги. Но для этого не находилось слов.

— Ну, хорошо — раздраженно сказала Дина. — Слепцов плох, Костько плох. Но кто же хорош? Может быть, твой Епифанов, твой Тимка Гребень, твоя овечка Клава?

В эту ночь они впервые заснули как чужие, без единой ласки, ненавидя друг друга. Круглов лежал долго и думал, — мысли его были горьки и печальны. Вот рядом с ним лежит красивая чужая женщина. Она совсем чужая. Ей безразлично все, что дорого ему, и дорого все, что ему чуждо. Но ведь она приехала к нему. Ведь она любит его? Да любовь ли это? Короткая вспышка страсти, неделя любви перед отъездом... Они даже не узнали друг друга как следует. И ведь она медлила полгода, прежде чем приехать. И вряд ли решилась бы, если бы не нашелся попутчик Костько... Но она была так нежна, так очаровательна... Нет, если бы она любила по-настоящему, она интересовалась бы его работой, его друзьями, нашла бы общие интересы. Она не испугалась трудностей. Но какие у нее трудности? Она со второго дня устроилась обедать в столовую ИТР, ее обслуживают, ее балуют, за нею ухаживают... Романтика трудностей — это новая форма ее кокетства, а на самом деле даже вопрос о прачке поверг ее в отчаяние.

Утром Андрей ушел, не разбудив ее. Он провел весь день в состоянии плохо скрываемого отчаяния. Дина стояла перед его глазами — обаятельная, нежная, кокетливая, любимая, несмотря ни на что. Он побежал домой, как только рассчитал, что Дина может быть уже дома. Она бросилась к нему на шею, рыдая. Она просила прощения и во всем упрекала себя; и он тоже просил проще-

ния, ругал себя ревнивым дураком и умолял забыть его глупость.

Она возражала и предложила навсегда отказаться от всяких приглашений.

— Нет, ни за что! — горячо сказал Андрей. — Я рад, что тебе весело, я тебе обещаю никогда не мешать. Я так счастлив, что ты здесь, со мной, что ты любишь меня.

С этого дня Дина часто ходила на домашние вечеринки, и как-то само собою получилось, что Круглова больше не приглашали. Сначала он заходил за нею. Но Дина скоро устроила иначе: «Они все рады меня проводить, зачем же тебе мерзнуть? Я приду не поздно». Иногда она добавляла, чтобы смягчить его: «А ты ложись и нагрей постель. Я приду такая замерзшая!» У нее были сотни уловок, чтобы заставить Андрея замирать от счастья.

Андрей был даже рад ее отлучкам. В эти свободные вечера он навещал комсомольцев. Он видел, что его дружба с ребятами выродилась в официально-приятельские отношения, и всеми силами старался возобновить былое доверие и близость. Но Дина стояла между ними. Пока Дина была так далека от комсомольцев, было трудно приблизиться к ним Андрею. Вся жизнь Кругловых была слишком на виду.

Однажды он заговорил с нею о вступлении в комсомол.

— А зачем? — удивленно сказала она. — Раньше еще имело смысл для вуза или чтобы работу найти, а сейчас и так все люди нарасхват.

Круглов даже не понял сразу, а поняв — растерялся. Дина почувствовала, что ее точка зрения кажется Андрею ужасной.

— Право, Андрюша, я не такая плохая, — сказала она с наивной улыбкой. — Не всякая комсомолка поедет вот так, наобум, в тайгу, в дощатый барак. А я живу и не жалуюсь. Вы называете это — строить социализм. Я говорю — просто работать. Но суть дела от этого не меняется.

Она добавила, ласкаясь к нему:

— Я тебе не говорила, а меня в конторе решили премировать: сто рублей или полушерстянка на платье.

Она смеялась, потому что никогда не носила платьев из полушерстянки.

— Мне показали — такая синяя, в полоску, как на матрацы берут. Видишь, значит, я тоже строю социализм. Иначе зачем меня стали бы премировать полушерстянкой?

Андрей уже не заговаривал с нею о комсомоле. Но Дина была достаточно умна, чтобы понять, что волнует Андрея.

— Я понимаю, — сказала она, — тебе неловко, что у тебя такая жена — интеллигентная и беспартийная. Не беспокойся, я все устрою.

Она приняла участие в комсомольском вечере самодеятельности и оказалась очень полезной, так как умела играть на рояле. Даже Тоня подобрела к ней, потому что Дина ей аккомпанировала. Дина записалась в стрелковый кружок Лиденьки и не могла не заметить, что многие парни очень охотно помогают ей учиться стрелять. Она каталась с Катей и Валькой на коньках, приняла участие в лыжной вылазке и была так мила и весела со всеми, что расположила к себе комсомольцев.

Клава сказала Круглову, страдальчески прикрыв глаза:

— Она славная, веселая. Пусть она почаще будет с нами — ты увидишь, к ней привыкнут.

Андрей пожал ее руку; ему нечего было сказать ей.

— Ничего, Андрюша, ничего... — прошептала Клава дрожащими губами. — Ты увидишь, все наладится...

Андрей ходил счастливый. Ему казалось уже, что все наладилось, что Дина вошла в жизнь города, что счастье безоблачно.

Но однажды Сергей Викентьевич пришел к нему для «очень важного разговора» и начал говорить осторожно, как с больным:

— Э-э-э... Вот что, Круглов... как бы это сказать... у тебя жена... э-э... ну, слишком красивая...

Андрей покраснел и улыбнулся.

— Ты не улыбайся, это не так уж хорошо, когда на двадцать хлопцев одна красавица. Сам понимать должен... Она... э-э... развлекается, а у меня работа стоит.

— Дина не работает?

Сергей Викентьевич даже руками развел:

— Эх, батенька, да на что мне твоя Дина! Пусть бы на здоровье не работала, не в ней дело. У меня два прораба перегрызлись, сроки монтажа срывают, проект засыпали.

Андрей все еще не понимал.

— Вот у таких, как ты, жены и крутят хвостом, — обозлился Сергей Викентьевич и тут же, спохватившись, извинился. — Ты знаешь, я сам Дины Сергеевны поклонник и все такое. Но Дина твоя — кокетка. Она им головы

задуряет. Сегодня — с одним, завтра — с другим. А мои мальчики — как собаки над костью, шерсть дыбом и зубами в горло... Слепцов с Костько на производственном совещании переругались, наговорили дерзостей, теперь не здороваются... Федотов — а еще коммунист, сукин сын! — Слепцову чуть в морду не дал, растащили. Гавриленко спился, по ночам ревет, как баба.

— И все из-за Дины?

— Спроси ее. Думаешь, она не знает?

— Но что же она может сделать?

— Э-э! Да ты, я вижу, сам под каблучком и ее словами говоришь! Так я тебе всю правду скажу: она сама их стравливает, ей, видишь ли, забавно. Джек Лондон, Клондайк, страсти. Вот вечеринки эти... Я и сам виноват, первый пригласил ее. Но я же не знал, что она у тебя с таким ветерком в голове, думал — почему не развлечься? А вот пойми. У нас к трем инженерам жены приехали. И ты думаешь, в этих семейных домах Дина бывает? Она с этими мужьями больше всего кокетничает, надо ей, чтобы у ее ног все лежали вповалку. Она одного закрутила, жена плачет, он ходит сам не свой, стреляться хотел. Ее к семейным и приглашать перестали.

Круглов сидел бледный, уничтоженный. Он не мог не верить. Он и раньше смутно догадывался, что Дина такая. Он не знал, что делать, не знал, что сказать.

— Ты не огорчайся, — успокаивал его Сергей Викентьевич. — Ничего страшного пока не произошло. А ты останови ее, возьми в руки, приструни. Уж очень нехорошо получается... Я вроде судьи стал: все мирю да уговариваю...

Круглов еле дождался вечера. От разговора с Сергеем Викентьевичем осталась горечь во рту, как после попойки. У него была одна надежда: он поговорит с Диной, убедит ее, будет умолять вести себя иначе.

Но разговор с Диной не вышел.

— Ну, а я что могу сделать? — сказала она насмешливо, разводя руками. — Ну, влюблены они, так я же не могу им запретить? Женщин мало, я не урод. Ты ведь тоже влюбился в меня с первой встречи!

Вспомнив ее недавнее предложение отказаться от вечеринок, он заикнулся о том, что считает это сейчас необходимым.

Дина передернула плечами, отвернулась и сказала спокойным, ясным голосом:

— Они дикари, а я должна сидеть взаперти? Нет,

Андрюша, этого не будет. Я вижу, я здесь вообще не ко двору пришлась. Может быть, мне лучше уехать?

Андрей испугался при одной мысли, что она может покинуть его, вся его решимость исчезла, он бросился обнимать ее и просить прощения. Дина долго отталкивала его, плача и возмущаясь, и он был очень счастлив, когда к ночи вынудил у нее обещание не покидать его и оставить все по-прежнему.

## 26

Епифанов никак не мог решиться рассказать Лиденьке правду о ее женихе. А Лиденька, чутьем уловив, что с Колей случилось что-то позорное, ничего не спрашивала. Оба делали вид, что Коля Платт не существует на свете.

Зато Гроза Морей, взволнованная исчезновением жениха и строгой молчаливостью Лиденьки, быстро заставила Епифанова разговориться. Они вместе обсудили, что делать.

— Скажу как есть, и делу конец, — решила Гроза Морей. — А ты, дружок, ничего не знаешь. Горе пережить легче, чем стыд. Легко ли невестой дезертира числиться!

— Об этом никто не знает.

— И ты не знай. А к нам ходи чаще, ей веселость нужна.

И Епифанов ходил.

В его бывшей комнате жили на корзинах и топчанах трое взрослых и двое детей. Тихий Иван Гаврилович много работал, а после работы околачивал пороги, требуя квартиры. Квартиру ему обещали со дня на день, но не давали.

— Вы хоть под крышей, — говорили ему. — У нас есть такие, что им и ночевать негде.

Гроза Морей не жаловалась и как будто позабыла сердиться на мужа. Ее новая деятельность началась с похода на клопов. Она отобрала ключи от комнат у всех соседей по бараку и безжалостно шпарила топчаны и корзины кипятком и посыпала щели порошком. Потом она вызвала на соревнование женщин других бараков. Она без стеснения забиралась в шалаши, наводила порядок, вытаскивала из темных углов грязное белье. Организовала прачечную. Она не робела, когда нужно было идти к Вернеру или Гранатову, умудрилась подружиться с

«Амурским крокодилом» и бесстрашно кричала на всех, кто не выполнял ее требований. Она выкрикивала свои упреки быстрой и звонкой скороговоркой, какой, бывало, кричала на мужа. Ей никто ничего не поручал, она не занимала никакой должности. Но ее худенькую скромную фигурку, голубые глаза под кудельками светлых волос и настойчивый характер узнала вся стройка. Парни пугали друг друга: «Перемени рубаху, Гроза Морей увидит». Она отчитывалась только перед Семой Альтшулером. Сема поощрял ее, обсуждал вместе с нею все планы.

Бегство Лиденькиного жениха расстроило ее. Как-никак это она привезла Лиденьку сюда. Она долго обдумывала, как лучше сказать Лиденьке, а потом рассердилась и выпалила все одним духом. И добавила:

— Наплюй на него, Лида! Он дрянь. Слезы твоей не стоит. Не такого ты любила, и не такого тебе оплакивать.

— Я так и чувствовала, — сдержанно сказала Лиденька. — И не будем о нем говорить.

Вечером, вернувшись с занятий стрелковой группы, она села писать письмо.

«Ты называл меня мещанкой, — быстро писала она, глотая слезы, — за то, что я не хотела оставить маму и ехать с тобой. Но я была права. Пусть мама была мещанка и собственница, но она моя мать, она меня любила и была при смерти. Я не могла убивать ее. А что сделал ты? Ради чего бросил ты комсомол и свою честь? Пусть я боялась мамы, я не отрицаю, это была моя слабость, но я никогда не изменяла комсомолу и была комсомолкой, несмотря на ее запрет. И если бы тогда комсомол мне приказал, я бы поехала. А ты подло изменил комсомолу. Ты пожалел не мать, умирающую больную, а себя, ты продал свою честь за спокойное житье и теплую комнату. А кому нужна теперь твоя жалкая, презренная жизнь? Не думай, что я ехала к тебе и теперь буду плакать. — Она всхлипнула и еще быстрее заскрипела пером по бумаге. — Я приехала строить город, а ты не стоишь ни одной слезы. Я сейчас сижу в бараке, в окно дует, стынут ноги, я, может быть, тоже заболею цингой, но я никогда не уеду, не буду изменником и трусом. Я о тебе и не думаю вовсе, а сейчас пишу только для того, чтобы ты знал, как я тебя презираю, и знал, что между нами все кончено и мне стыдно, что я тебя любила. Но я не знала, что ты такой мелкий, жалкий трус».

Этим письмом был подведен итог прошлому, слезы

высохли, наступил новый день, и она стала смотреть только в будущее.

В возрасте Лиденьки будущее неразрывно связано с настоящим, и нетерпение усиливает энергию. Лиденька мечтала о спортивном клубе и превосходном тире. Она деятельно обучала стрелков. Разучивала с Тоней новые песни и вместе с нею организовала хор. Она быстро и легко сдружилась с комсомольцами. Не хватало ей только одного — любви. Она уверяла себя, что не хочет любви, и усиленно старалась не кокетничать, так как твердо усвоила от Семы, что кокетство есть буржуазный пережиток. Только с Епифановым ей никак не удавалось сдерживать себя. «Это потому, — объясняла она себе, — что он бывает у нас дома, а дома не кокетничать трудней, чем на работе».

Епифанов приходил ежедневно. Он работал на электростанции и учился на шоферских курсах, но для Лиденьки время у него всегда находилось.

— Я на одну минутку, — заявлял он у порога, а потом сидел до тех пор, пока Гроза Морей не выгоняла его.

Он садился на корзину, мял в руках шапку и возил по полу каблуками. Разговаривать с Лиденькой ему становилось с каждым днем все труднее. Выручали дети. Дети обожали его. Он рассказывал им всевозможные водолазные истории. Когда он явно завирался, Лиденька насмешливо подмигивала, и он, краснея, бормотал:

— Вы не слушайте, Лиденька, я же для ребят...

В хорошую погоду он осмеливался приглашать Лиденьку гулять. Лиденька охотно соглашалась, но Епифанов каждый раз испытывал страх и смущение, очень забавлявшие ее. Она угадывала его намерение задолго до того, как он решался высказаться, но никогда не выручала его и даже не прочь была заявить вопреки истине: «Ну и холод сегодня! Отвратительная погода!» Он начинал спорить. Тогда она восклицала: «Почему же вы не приглашаете нас погулять?»

И начинала звать с собой Грозу Морей и Ивана Гавриловича.

— Кокетка, чего мучишь парня? — упрекала ее Гроза Морей.

— А ты посмотри, ему же нравится, что его мучат!

Постепенно вышло так, что они обо всем рассказывали друг другу, и, если Епифанов не мог прийти, Лиденька скучала и не знала, куда девать вечер. Но о любви не было сказано ни слова.

Прошел месяц. Прошло два месяца.

Епифанов все так же мял в руках шапку и возил по полу каблуками. Лиденька смеялась:

— Смотрите, на вашем месте в полу углубления сделались.

Прошло три месяца. Иван Гаврилович получил новую квартиру. Лиденька выпустила первую группу ворошиловских стрелков и отклонила четыре предложения выйти замуж. Епифанов уже самостоятельно водил машину и три раза ездил в Хабаровск и обратно. В пути он мучился ревностью, так как Лиденька не скрывала от него настойчивых предложений своих поклонников. Преодолевая сугробы и метели, он чувствовал себя могучим и смелым, рассчитывал на благосклонность Лиденьки. Он выдумывал слова любви — красивые и звучные... Но, очутившись под лукавым взглядом Лиденьки, он забывал все слова и убеждался, что Лиденька не может любить его, такого неуклюжего. Он мялся и заводил длинные, нудные разговоры о вещах, не интересных для Лиденьки и для него самого, — лишь бы отдалить страшную минуту объяснения. Когда ему становилось невмоготу, он убегал и с горя, без удовольствия, выпивал стопку водки, а потом возвращался и сидел тихо, отворачивая лицо, чтобы Лиденька не почуяла запаха.

Гроза Морей пожимала плечами, усмехалась и боялась вмешиваться.

Андронникову было не до них. Он только разок зашел навестить Лиденьку, застал у нее Епифанова и решил, что все в порядке.

К концу третьего месяца он поинтересовался, как подвинулось дело. Гроза Морей сердито дернула плечом и накричала на Андронникова, уверяя, что «Епифанов просто тюфяк и сам виноват будет, если Лиденьку уведут у него из-под носа».

Андронников вызвал к себе Епифанова:

— Ходишь?

— Хожу.

— Влюблен?

Епифанов безнадежно вздохнул.

— А мне говорили, что ты водишь девушку за нос и не хочешь жениться? Это, приятель, не по-военному.

— Я... не хочу?

— А чем же тогда объяснить, что ты, как осел, не можешь сдвинуться с места? Мое дело сторона, но для девушки это просто обидно.

Потом зашел к Лиденьке, вызвал ее в коридор.

— Товарищ Гаврилова, у меня к вам поручение,— сказал он строго.— Вы хороший стрелок и хорошая девушка. Поручение вам вполне по силам. Вы знаете, что Епифанов пьет?

— Неужели? — вскрикнула Лиденька и тотчас вспомнила, что однажды ей показалось...

— Так вот. Этого не должно быть. Он пьет с горя.

— С горя?

— Ну да, черт возьми, не с радости же! И запил он только с тех пор, как приехали вы. Поняли теперь?

— Поняла.

— Короче, почему вам не выйти за него замуж? Не бойтесь, он не алкоголик, он раньше не пил и впредь не будет. И я за него ручаюсь. Что, он вам не нравится?

Лиденька не ответила, но лукавые глаза ее потупились.

— В общем, подумайте. Насчет замужества — дело ваше. Тут я не компетентен. А только пить он не должен. Это я поручаю вам.

Через неделю они поженились и пригласили Андронникова на свадьбу.

## 27

Хотя во время следствия Парамонов признался, что в его планы входило обезглавить стройку и убить не только Морозова, но и Вернера и Гранатова, в глубине души Вернер все еще переживал вопрос: «Почему не меня?» Парамонов упорно отрицал свою зависимость от кого бы то ни было и объяснял свои преступные намерения личной местью за то, что его раскулачили, и желанием не допустить создания нового города на месте его бывших владений.

— Врет! — говорил Андронников.— Во всех его показаниях правильно только то, что хотели обезглавить стройку.

В минуты тяжелого раздумья Вернер понимал, что убийце было трудно рассчитывать на три или хотя бы на два террористических акта, и он начал с того, который считал наиболее важным. Это сознание делало Вернера несчастным и неуверенным в себе.

Он осудил все, что делал до сих пор, и написал по этому поводу откровенное письмо в крайком и ЦК. Из-за письма он впервые резко поссорился с Гранатовым и

тогда же понял, что восторженная торопливость Гранатова была во вред делу, мешала организованному развитию стройки и сбивала его, Вернера, с толку. Впрочем, Вернер обвинял в первую очередь самого себя, так как считал Гранатова еще молодым, неврастеничным, легко увлекающимся энтузиастом, которым надо руководить, которого надо повседневно направлять. Как можно было поддаваться его влиянию?

Убедившись в том, что деловые качества Гранатова не соответствуют серьезности задач, Вернер взялся сам руководить снабжением и подсобными предприятиями, а Гранатову поручил руководить строительством тех объектов и жилых домов, которые не были законсервированы до весны. Гранатов проявил на новом поприще большую энергию и умение. «Я только сейчас понял, что сидел не на своем месте», — сказал он Вернеру виновато. «Это нам дорого обошлось», — хотел ответить Вернер, но удержался — ведь он должен был понять это раньше Гранатова!

В середине зимы положение было такое, что снабжение лимитировало всю жизнь строительства, а условия зимних перевозок вынуждали прекратить до весны всякий подвоз механизмов и материалов, так как колонны грузовиков с трудом перебрасывали на строительство лишь самые необходимые продукты питания.

Плохо было с пиломатериалами, кирпичом и цементом. Особенные трудности обнаруживались в снабжении лесом. Хотя стройка шла в тайге, леса не было. Лесозавод вечно лихорадило, топлива тоже не хватало, комсомольцы вырубали все деревья, оставшиеся на площадке. В окружающей тайге преобладали нестроевые породы, хорошие участки строевого леса были найдены только на другом берегу Амура, в восьми километрах вверх по течению. Чтобы спасти положение и обеспечить лесом весенний разворот строительства, надо было срочно наладить лесозаготовки широкого масштаба и, главное, перебросить этот лес на площадку до начала весны. Вопрос о лесе стал первоочередным и решающим. И Вернер понял, что еще раз придется возложить все надежды на героизм комсомольцев.

Он вызвал Круглова и долго обсуждал с ним, что делать. Потом они срочно созвали комсомольский комитет. Был объявлен ударный комсомольский поход в лес, а участие в нем — почетной обязанностью комсомольца.

— Сделаем! За нами дело не стаиет! — говорили ребята.

Целевые бригады в полиом составе отправлялнсь иа лесозаготовки, объявляя между собою соревиоваине.

На правом берегу, возле лесоучастка, возиикалн времениые бараки, иизкне, темиые, — лишь бы обеспечнть крышу для иочлега. Работали с утра до темиоты. Чтобы сэкономнть время, точнлн пилы ночью, после работы.

Аидрей Круглов руководил мобилизацией комсомольцев, несколько раз ездил сам иа лесоучастки, ио переехать туда совсем, иа долгое время, ие решался. Ои ежедиевио говорил себе, что лес — ианболее важиый участок, где сосредоточены сейчас осиовные комсомольские силы, что, следовательно, его присутствне там иеобходимо. Но когда ои попадал домой, тяжелый дурмаи любви размягчал волю, прнтуплял созиаиие. От ясиого упоеиия первых дией осталось только болезиеиное воспоминаиие. Он мучился, задыхался, терял себя и снова среди ночи находил свою былую сущность, ио лишь для того, чтобы терзаться вдвое сильнее. Диа по-прежиему была нежна и лукава, она как будто продолжала любить его и не скупилась на ласки, и он любил ее тем острее и иеутолимее, чем лучше поиимал, что она отравляет его мозг и сердце своим опасиым очароваиием. Иногда на работе, вдалн от иее, ои спрашивал себя: «В чем дело? Ведь у миогих коммуиистов беспартийиые жены? Почему же я мучусь?» Но ои тут же сам себе отвечал: «Оиа ие друг мие, оиа заполоиила и отравила меня. Я иду к ней встревоженным и голодиым, ухожу от иее разбнтым и опустошеииым. Вие этого стремлеиия к наслаждеиию для иее иет ии идей, ии иитересов, ни обязанностей».

На одном из заседанні комсомольского комитета, когда обсуждался вопрос о ходе лесозаготовок, Катя Ставрова в упор спроснла:

— А ты, Аидрюша, разве ие поедешь сам?

Аидрей не сразу ответил. Члены комитета затнхли, смотрели по стороиам. Аидрей почувствовал, что сейчас его ответом является волиующнй всех вопрос — вопрос о ием, о его воле, его созиательиости, его пригодности как коммуииста и руководнтеля.

— Конечно, поеду, — сказал он, пересиливая себя. — Я выдвигаю предложение: создать брнгаду комсомольского актнва во главе со миою, чтобы бригада вела за собой всех и стала центром политико-воспитательиой работы...

Он продолжал развивать свою мысль. Он видел, какое облегчение испытывали товарищи. Он был растроган: они любили его, волновались и страдали за него.

В тот же вечер он сообщил Дине о своем отъезде. Она огорчилась, но, как ему показалось, слишком быстро утешилась. Она обещала не скучать. Не скучать? Он боялся именно того, что она совсем не будет скучать!

Он уехал печальным. Но предаваться печали не было времени. Надо было расставить силы в бригаде, распределить активистов по другим бригадам для ведения комсомольской работы, обеспечить вечерний отдых, политзанятия, читку газет, изучить нормы и ход соревнования, научиться работать самому так, чтобы перегонять остальных лесорубов. Его очень обрадовала шумная встреча, устроенная ему комсомольцами. Они приняли его как друга и авторитетного руководителя, они простили ему Дину. Все чаще официальное обращение сменялось ласковым — Андрюша, Андрей. Он стал весел и очень доволен собой.

Поздно ночью на нарах, бодрствуя в холодной темноте среди храпа спящих лесорубов, Андрей пережил приступ безысходной тоски. Хотелось выть, кусать одеяло, умереть... Дина! Дина! Что ты делаешь сейчас? Он понял, что совершенно не верит ей, ее лукавым словам, ее щедрым ласкам, что она страшна ему своей красотой и спокойным эгоизмом. Он вдруг вспомнил ее танцующей в объятиях Слепцова и вороватый вид Костько, когда тот шел по коридору с ведром воды и передал ведро в дверь, что-то тихо сказав Дине... Что? Что он сказал? «Осторожней, здесь ваш муж...» Андрей вспомнил все так ясно, как будто это было вчера. Передав воду и шепнув свое предупреждение, Костько сперва постучал, а потом уже вошел в соседнюю комнату. Значит, он там не был раньше? Где же он был? У Дины?.. Дина сказала, когда Андрей не справился с ее застежками: «Даже Костько умеет!» — и покраснела... Как он не понял этого раньше! Как он не понимал ее и самого себя! Теперь он осознал, что это мучило его и прежде, он все время носил в себе воспоминание о Костько и его вороватом виде, о предупреждающем шепоте... Он только отгонял эти мысли, как невыносимые, как угрозу своему призрачному счастью...

А Дина развлекалась его наивностью. Она должна была смеяться про себя, когда он благодарил Костько за гостеприимство... И она осмелела. Конечно, чего же

бояться! «Он ручной, его можно на веревочке водить». Так она говорила о Костько. А может быть, и о нем?

«Нет, надо вырваться... Надо кончить... Кончить? Что? Потерять Дину? Нет! Нет! Надо только все выяснить, подчинить ее своему влиянию... Но как? Как, когда она делает со мною все, что хочет?»

Физическая усталость одолела его. Он заснул. А утром было уже некогда думать. Но, выводя комсомольцев в лес, запевая песню, расставляя членов бригады, он все время думал — у него есть то мучительное и главное, что надо решить, от чего надо освободиться.

Было тихо и морозно. Недвижимый лес стоял весь в снегу. На снежном насте виднелись острые птичьи следы. Звякнули о промерзшие стволы первые удары топоров — и звонко ахнуло эхо в глубокой тишине леса. А потом звуки труда пересилили тишину; они шли со всех сторон, особенно четкие и вызывающие в морозном воздухе. Андрей на миг залюбовался, заслушался, потом размахнулся и всадил в дерево острие топора. Это физическое движение обновило его силы. Он размахнулся снова и подумал: «Ничего, все еще исправимо!» Размахнулся в третий раз и подумал: «Мне хорошо сейчас, хорошо и без нее. Я молод, силен, крепок, полезен». Потом он целиком отдался работе. Он уже несколько месяцев не работал физически. Теперь ему показалось, что он застоялся, обмяк, оттого и цинга пристала к нему, оттого и любовь сумела одурманить, разбить его, лишить равновесия. Ему было приятно думать, что все это позади, приятно чувствовать, что он рубит хорошо, правильно, быстро, что физическая сила не убыла.

Вечером он отдал дань сомнениям любви и ревности, но скоро заснул, и с каждым днем припадки вечерней тоски были слабее и короче. Он сам себе удивлялся, но ощущал всем своим существом, что отдыхает физически и морально в этой суровой жизни и в напряженном труде с утра до ночи.

На лесозаготовках была только одна комсомолка — Катя Ставрова, прибывшая с бригадой актива. Девушек вообще не брали в лес, но от Кати не было возможности отвязаться. Когда Андрей заикнулся о физических силах, она сказала, сердито блеснув глазами:

— С Парамоновым драться была сила, а лес рубить не хватит?

На лесозаготовках Катю сделали главным кашева-

ром. Ее присутствие радовало Круглова,—она была очень полезна в устройстве всех развлечений и занятий, у нее был неиссякаемый запас веселости: ее любили, уважали и охотно слушали. Катя не стеснялась ударить или вытащить на публичный суд любого парня, попытавшегося за ней ухаживать, но как друг была незаменимо внимательна и участлива.

В эти дни лесозаготовок Круглов очень подружился с Катей. Он завидовал ее веселому спокойствию и самостоятельности. Валька остался в городе, на штукатурных работах в новых домах, и Андрей сильно подозревал, что она поехала без него с двойным удовольствием, потому что могла еще раз подчеркнуть свою самостоятельность. Она освежающе влияла на Андрея. С нею все нерешенные вопросы казались проще. И она хорошо понимала его.

— Лечись, лечись, парень, — сказала она однажды, глядя, с каким запалом он работает.

— А что? — откликнулся Андрей, не совсем понимая, о чем она говорит.

— Дела больше — любви меньше, — сказала Катя.— Любви подчиняться, так лучше на свете не жить!

Он много думал о ее словах. Конечно, она не знала и не понимала такой любви, как у него. Хотя кто знает? Они с Валькой очень любят друг друга. Но она не испытывала любви мучительной, томящей, разрушающей душу. Такую любовь она отождествляла с болезнью? Что же, тогда он болен. Болен глубоко.

Как бы ни был он занят, Дина незримо присутствовала во всей его жизни. Он думал о ней постоянно, всегда по-разному, но никогда не освобождаясь от любовного стремления к ней, от надежды вернуться к ней. Только теперь он умел анализировать и критиковать. Это еще не избавление от любви, но это начало его.

Он чувствовал себя день от дня лучше. Бригада актива шла первой, но с каждым днем держать первенство становилось все труднее, потому что было много хороших бригад и всех охватил азарт соревнования. К концу третьей недели азарт достиг высочайшей точки напряжения: бригада Пети Голубенко (Пети! Мальчишки! «Пирата!») сравнялась с бригадой Круглова и угрожала оставить ее позади.

— Догоняй, пират, — сказал Круглов и почувствовал себя таким же озорным мальчишкой, готовым пуститься наперегонки.—Только не догнать тебе!

Бригада Круглова работала весь день еще небывалы-

ми темпами. Весь в поту, несмотря на жестокий мороз, Андрей не выпускал из рук пилы и то и дело веселыми окриками подбадривал своих товарищей.

Голубенковцы работали неподалеку от них, за деревьями не было видно, что́ они делают, но по звукам работы можно было уловить, что и у них темпы такие же небывалые.

В обед обе бригады перемигивались, переругивались, на вопросы отвечали сдержанно: «Двигаемся помаленьку... Мы-то ничего, а вот вы как?» Бригада Круглова, отказавшись от послеобеденной папиросы, побежала на участок, но бригада Голубенко оказалась уже на месте.

Круглов окончательно освободился от ощущения запутанности. Он ничего не забыл. Дина присутствовала и тут, и он любил ее, но силы его окрепли, и голова была ясна. Подчиняя мысли ритму работы, он отрывисто говорил себе: «Если ошибка — исправлю! Не хочет — не надо! Тяжело? Не умру! А я—коммунист и рабом не буду!..»

Катя била палкой по куску рельса — сигнал к окончанию работы и к ужину.

— Петька, конча-ай! — крикнул Круглов, продолжая работать.

— А вы что же? — ответил Петька, тоже продолжая.

Они бы так и не кончили, но пришел обмерщик.

Они заторопились ужинать, потому что были очень голодны и надо было заполнить время до тех пор, пока обмерщик подсчитает выработку бригад и запишет мелом на доску соревнования.

В середине ужина Катя подошла к Андрею и сообщила ему на ухо:

— Вывесил.

Стараясь не привлекать внимания, Круглов вышел из столовой и побежал к доске; он не видел, но слышал, что за ним бежит еще кто-то и еще; у доски он оказался уже в целой толпе, стиснутый со всех сторон. От волнения он не сразу понял цифры...

— Гады, перегнали все-таки! — раздался рядом с ним любовный голос, и Петя Голубенко обнял его, обиженно улыбаясь.

— Публика! — кричала Катя, расталкивая парней.— Ужин стынет! Этак я кормить отказываюсь!

Андрей был счастлив. Целиком, весело счастлив.

Он обхватил и привлек к себе Петю и Катю, сказал:

— Я счастлив, как мальчишка, честное слово!

Петя буркнул:

— Не беспокойся, мы еще перегоним...

Катя поняла лучше и сказала серьезно:

— Вот видишь, я же говорила.

Они пошли в столовую, обнявшись все трое. Андрей проверял себя. Да, он выздоровел. Он может быть счастлив внутренним жаром своей жизни, и в нем силы хватит и для любви, и для преодоления, и для борьбы.

Он поднял лицо и увидел красоту леса, снега, молодого месяца, запутавшегося в ветвях, синих теней на снегу...

Счастье! Как ты всегда неожиданно! Как ты всегда ново!

## 28

Дина протирала молоком светлые туфли. В дверь постучали.

— Войдите! — нараспев крикнула Дина и быстро приняла позу деловую, но очаровательную. Она думала, что это Костько.

Вошла Клава.

— Вы к Андрюше? — небрежно бросила Дина.—Но ведь он на лесозаготовках.

Клава стояла у двери, перебирая замерзшими ножками.

— Нет... я к вам... Можно? — с усилием пробормотала она.

— Отчего же нельзя? — весело откликнулась Дина и сняла с табурета туфли.—Садитесь. Поскучаем вместе.

Клава скинула пальто. Она надела сегодня свое лучшее полушерстяное платье, пришила к нему белый воротничок, даже валенками пожертвовала и прибежала в новых ботинках. Она чувствовала себя очень нарядной, когда выходила из дому. Но сейчас это чувство исчезло. Дина была в юбке и блузке, но юбка какого-то особенного фасона, а простая блузка повязана восхитительным пестрым галстуком, и на ногах у Дины туфли, каких никогда не носила Клава: на очень высоких тонких каблуках, вырезные, чудесного кофейного цвета. Клава растерялась и почувствовала себя жалкой и уродливой.

— Скоро нечего будет носить, — болтала Дина, протирая тряпкой еще более прекрасную туфлю.—Вот и эти

уже поцарапались, и на других каблуки шатаются. Вы не знаете, в Хабаровске можно купить?

Клава, страдая, вытянула ногу в новом ботинке на шнурках:

— Вот эти Соня купила мне, когда ездила...

Дина посмотрела и рассмеялась:

— Боже, какие смешные! Их называют «мальчиковые». Но какая у вас крохотная ножка! Если бы вам хорошие чулки и туфли, да вы бы всех с ума свели вашими ногами.

Клаве была приятна похвала, но снисходительно-веселое обращение Дины оскорбляло ее. И она вспомнила, что пришла для другого, важного разговора. К тому же она не могла поддерживать болтовню о нарядах, хотя в другое время любила поболтать о платьях и туфлях,— сейчас эти интересы слишком далеки от нее; со дня приезда сюда у нее не было ни одной обновки, кроме «мальчиковых» ботинок.

— Я пришла поговорить с вами, — сказала она робко. — Вы не рассердитесь?

— Разве я кажусь сердитой?

— Нет. Но я хочу говорить откровенно. Я хочу говорить о вас. Вы можете обидеться.

— Обо мне? — Дина пожала плечами и улыбнулась. — Что же вы хотите сказать обо мне?

— Только выслушайте меня, — умоляющим голосом сказала Клава.—Я по душам хочу... Мне кажется... я скажу правильно. И это очень важно и для вас и для Андрюши.

— Но что же это такое?

— Вы поймите, Дина... Андрюша — руководитель комсомольской организации. Он авторитет. Он показывал пример нам всем. И он такой замечательный, такой хороший человек...

— Да вы, дорогая, просто влюблены в него, — смеясь сказала Дина и отставила в сторону туфлю.—Просто влюблены, — повторила она, со злым удовольствием разглядывая сильно покрасневшую Клаву.

Клава готова была заплакать.

В дверь постучали.

— Войдите!

Вошел Костько.

— Нет, нет, Костько, вам придется уйти. Вы вернетесь позднее... У нас тут такой важный, такой интересный разговор... о любви.

Она закрыла за ним дверь и прислонилась к двери, улыбающаяся и внутренне настороженная.

Клава успела побороть смущение и подготовиться.

— Вы должны иначе жить, Дина, — сказала она твердо.—Вы слишком легкомысленно, несерьезно живете. Это здесь нельзя, уверяю вас. Вы посмотрите на всех нас и на себя. Андрюша вам верит, а вот теперь он уехал, вы ночевали в доме инженеров, и если бы он узнал...

— Вы с ума сошли! — вспыхивая, крикнула Дина.— Да кто вам разрешил отчитывать меня? Вам-то какое дело? И для чего, хотела бы я знать, вы меня выслеживали, где я ночую? Тоже из уважения к авторитету Круглова?

— Я не выслеживала, — дрожащим голосом сказала Клава.—Как вы можете думать, что я выслеживала... Но это все говорят...

— «Говорят, говорят!» Вы сами, голубушка, раздуваете сплетни! И кто знает, может быть, именно вы и заинтересованы в том, чтобы поссорить меня с Андреем.

Клава вскрикнула и закрыла лицо руками. Но Дина разозлилась всерьез, — эта овечка пришла учить ее? Так пусть получает!..

— Батюшки, сколько переживаний! А еще пришли наставлять меня на путь истинный! — зло насмехалась Дина.

— Да! — вскрикнула Клава и вскочила, открыв раскрасневшееся от гнева лицо.—Да, пришла! Мне совсем не хотелось идти, но это мой долг. Комсомольский долг. И я скажу вам все, что думаю. Только вы напрасно делаете такие намеки... Неужели вы ревнуете?

— Я ревную? — неестественно рассмеялась Дина. — Этого еще не хватало! Ревновать Андрея? К вам?..

Она полулегла на кровать, вытянув длинные стройные ноги. В ее словах и в смехе звучало оскорбительное презрение. Клава готова была провалиться.

— Тем лучше, — не сдаваясь, пробормотала она. — И вы меня не обижайте! Я все равно скажу, что думаю. Я пришла как друг, ради Андрея и ради вас, потому что без вас Андрей счастлив не будет. А что я чувствую— зачем вы этого касаетесь?

С каждым словом чувство собственного достоинства возрастало в ней. Она вспомнила все, что передумала дома, все, что много раз обсуждала с Соней Исаковой, с Лилькой. И кто такая Дина, чтобы презирать ее, Клаву?

Что она сделала, чем отличилась? Клава почувствовала себя выше Дины и, откинув мелкие и, как ей показалось, недостойные девичьи чувства, гордо сказала:

— Вы говорите — я влюблена? Нет, я люблю Андрея, люблю по-настоящему. И желаю ему счастья.

— Ну? — растерянно поторопила Дина. Откровенность Клавы была неожиданна и смутила ее.

— Мне очень жаль, — сказала Клава решительно,— что его счастье — это вы. Но раз это вы, я хочу, чтобы это счастье было счастьем.

Дина поднялась, удивленная и раздосадованная.

— Вы редкая девушка, — сказала она.—Чего же вы от меня хотите?

Вспышка враждебности прошла. Клава заметила перемену в настроении Дины и воспользовалась ею:

— И потом — я думаю о вас. Вы же наш, советский человек. А живете вы не так, не по-хорошему, примиренчески живете.

— Примиренчески? — повторила Дина, слегка усмехнувшись.— Я не понимаю. Как это?

— Как вам объяснить... Ну, служите. Ну, ударница. Вы и газеты, наверное, читаете. А жизнь ваша стороной, мимо идет. И ничто это вам не интересно, и другим не интересно смотреть на вас... Живете себе и живете, а какой толк от вашей жизни?..

Дина была слишком удивлена, чтобы сердиться.

— Ах, боже мой! — сказала она.—Да разве я сама довольна своей жизнью?

Она это сказала так же, как говорила и Костько, и Слепцову, и другим. Но Клава была иная, с нею надо было говорить иначе. Дине захотелось расположить ее к себе, — бессознательная потребность нравиться всем, часто свойственная женщинам, была в ней сильно развита. Кроме того, Клава произвела на нее большое впечатление.

— Может быть, я плохая, не знаю, — грустно сказала Дина, хотя она никогда не считала себя плохой,—но я такая, какая есть. Если меня не увлекает ударничество, что я могу сделать? Я люблю веселье, люблю танцы, люблю, чтобы в меня влюблялись. Это скверно, по-вашему? А что я могу сделать?

Она ждала, что Клава признает это скверным, и уже готовилась ответить: «Я молода и красива. Если бы я была уродом, я тоже увлекалась бы работой».

— Но кто ж этого не любит!—вскричала Клава.—

Я сама ужасно люблю танцевать и люблю, когда влюбляются.

Дина с интересом оглядела Клаву. Она впервые заметила, что Клава очень хорошенькая, — как ее портит плохое платье и этот нитяный дешевый берет!

— Я не знаю астрономии, — сказала Клава. — Мы в школе проходили, только очень мало. Но я помню, мы учили — если какое-нибудь тело попадает в орбиту планеты, планета увлекает его с собой. И вот у нас тоже такие были. Да вот хоть Валька — вы его знаете. Он сперва все не ладился. Другие работают и радуются, а он все не то, все не так. То корчевать не хотел, то из-за девчат драку устроил, даже удрать хотел, право. Привыкнуть не мог. А потом захватило. В орбиту попал.

— Значит, по-вашему, я вроде Вальки? В орбиту не попала? — полушутя-полусерьезно спросила Дина.

— Нет, вы хуже, — искренне воскликнула Клава, — вы гораздо хуже! В орбиту вы не попали, да только в орбиту всей жизни советской, а Валька только к здешней пристать не мог.

— Что же, я, выходит, антисоветский элемент?

— Да нет. Я же сказала: вы примиренчески живете. И да и нет. Вам вроде все равно, было бы весело.

Дина надулась. Эта девчонка слишком много позволяет себе, пора одернуть ее. Но Дина не знала, как это сделать. И ссориться с овечкой нельзя, — еще дойдет до Андрея, нехорошо. И неужели действительно все знают, что она ночевала в доме инженеров? Глупо!

— Честное слово, я безобидная, — сказала она с самой добродушной улыбкой, какую умела делать.—Я никому не мешаю, и мне никто. Какое вам дело, увлекаюсь я социализмом или нет? Ведь работаю я хорошо?

— Да кто вам сказал, что хорошо?

— Ну, знаете, это слишком! — возмутилась Дина.— Я ударница, наконец меня премировали...

— Да вы не знаете, как можно работать, — возразила Клава. — И потом... Вы мечтать умеете?

— Мечтать? — переспросила Дина, не понимая, куда клонит Клава.

Клава молча кивнула головой. Очевидно, она придавала этому вопросу большое значение.

— Ну, конечно, случается...—Дина сама почувствовала, что отвечает как-то не так.—Ну, вот в Ростове я очень мечтала приехать сюда.

Но Клава слушала с таким видом, будто жалеет и даже презирает Дину. Что это за ловушка?

— А вы к чему спросили?

— Мне кажется, — снисходительно и мягко объяснила Клава, — что в наше время без мечты и работать нельзя. То есть хорошо работать. По-настоящему. Теперь-то легко, а вот в первое время страшно было: холод в палатках, ветер воет... Ну, всего натерпелись... Но мечтали... Даже не рассказать теперь, как мечтали. Соберемся у костра, греемся, платья сушим и мечтаем... А от мечты работа так шла, что вместо десяти кубометров тридцать делали. Ведь когда мечтаешь, хочешь, чтобы исполнилось, а раз хочется, ну и стараешься вовсю.

И она доверчиво улыбнулась Дине.

Дина молчала. Она не знала, что говорить. Ее раздражало то, что девочка явно поучает ее и что ей нечего противопоставить мучениям Клавы, что в разговоре Клава взяла перевес над нею. «Глупости! — убеждала она себя.—Какой там перевес! Я интеллигентный человек, а она... овечка, конечно овечка, да еще влюбленная в Андрюшу. Смешно! Пришла читать сопернице нотации!»

— Разве все советские граждане обязаны мечтать?— раздраженно спросила она.

— Ну что за чепуха! — не стесняясь, ответила Клава.—При чем здесь обязательства? Просто, если человек не мечтает о будущем, не видит перед собой цели, не хочет сделать страну социалистической, радостной, —это узкий, мелкий человек.

— Спасибо.

— А как же? И спасибо здесь ни при чем. Вы же действительно узкий человек. Себя видите, а больше ничего. И не вы одна такая. Вот у Путина жена, у Вахрушева— они тоже такие. Как будто отгороженные.

— Вы им тоже нотации читаете?

Клава запнулась, покраснела и сказала:

— Я этого слова не понимаю — нотации. Но я ничего им не читаю. И говорить с ними почти не приходилось.

— За что же мне такое предпочтение?

Снова в голосе Дины звучала насмешка. Она радовалась: «Девчонка! Необразованная девчонка! Простых слов не знает. Нотация! А нотации читает...»

— Если бы вы не были такая красивая, я бы к вам не пошла, — сказала Клава мрачно. Она уловила насмешку, и ей было обидно.

— А красота при чем?

Клава ответила, сердито краснея:

— Да как вы не понимаете, что такие женщины — один вред? А если красивая — двойной вред. Вот у Путина жена — пилит его дома и пилит. А вы людей разлагаете. Вы всех взбаламутили. Слепцов и Костько друг другу палки в колеса ставят, люди перессорились, из-за каждого гвоздя придирки, споры, волокита. Дерутся из-за вас, зубы выбивают, а вам весело.

Дина все это знала. Когда Круглов заговаривал об этом, она обезоруживала его кокетливой фразой: «Но что мне делать, чтобы они не влюблялись?» Андрей сам любил ее сильнее всех. Клаве так не ответишь.

— Они дураки, а я виновата? — неуверенно сказала она.

— Да вы же их сами стравливаете!—возмущенно закричала Клава.—Вы их сами подзуживаете! Что, разве я не вижу, как вы с ними кокетничаете? И куда вы их толкаете? До вас ничего подобного не было, а теперь как вечер, так в итеэровском доме пьянка, танцы, драки. Вы с ними ночью вздумали в снежки играть — крик на весь поселок, визг, двое подрались... А что говорят? Не знаете? Вы бы послушали рабочих! Не говорят — Дина Ярцева, а говорят — жена Круглова. И еще говорят... Вы уж простите за грубое слово, но вы по баракам пройдите, сами услышите... Говорят — шлюха. А вы же молодая, мне за вас стыдно. Стыдно! А за Круглова прямо сердце разрывается.

И Клава, прокричав все, заплакала.

Дина сидела на кровати, униженная, потрясенная. Если бы Клава не заплакала, она бы, наверное, разозлилась и накричала в свою очередь. Но Клава плакала от стыда за нее. Ей самой хотелось плакать. И ничего другого не оставалось делать.

— Ужасно! Ужасно! — драматически воскликнула она и зарыдала.

В дверь постучали снова. Вернулся Костько. Дина рывком распахнула дверь.

— Убирайтесь вон! — закричала она.—Все вы лезете ко мне, а потом говорят черт знает что! Убирайтесь, чтоб больше я вас не видела! Я знать никого не хочу, поняли?

И она захлопнула дверь.

— Ну зачем вы так? — испуганно прошептала Клава. — Вы бы по-хорошему...

Но Дина упала на кровать и возобновила рыдания,

истерически ломая руки. Клава присела рядом, обняла ее за плечи.

— Не плачьте, все это можно исправить, — заговорила она заботливо и рассудительно, как старшая с младшей. — А если вас любят, это же хорошо. Это большой двигатель. Вот Андрюша нас всегда посылал, если где затирает: девчата, подогрейте. Вы читали про Жанну д'Арк? Мне всегда казалось, что она была очень красивая. И за нею шли на смерть. А вы бы могли так вдохновить их, чтобы они не зубы вышибали, а за выполнение плана дрались, за первенство. И водиться с ними бросьте... Зачем вам? Андрюша вас любит, вы его любите. Зачем вам к другим бегать? И себя позорите, и Андрюшу позорите, и радости никакой...

Дина вдруг поднялась, отбросив обнимавшую ее руку Клавы.

— Хватит учить меня! — сказала она упрямо и зло. — Или вы на самом деле думаете, что вам удастся перевоспитать меня? В орбиту свою включить?

Клава не ждала нового возмущения. Она сказала запальчиво:

— Рано или поздно — конечно! Не я, так другие. Такое по стране движение идет, неужели и вас не захватит? — И сама себе бодро ответила: — Захватит! Смотрите: налетчики бывшие, на трассе, — и те как работают!

И, чувствуя себя победителем, но победителем страшно утомленным, Клава собралась уходить.

— Ну, поживем — увидим, вежливо сказала Дина, провожая ее.—Во всяком случае, спасибо за откровенность.

Она смотрела в окно, как бежала к своему бараку Клава. Расскажет она Андрею или не расскажет? «Нет,— решила Дина, вспомнив, как раскричалась, а потом заплакала Клава, — она хорошая, не расскажет. Но, боже мой, сколько обидного она наговорила! И какая уверенность — такое движение, орбита, даже преступники... Поздравляю, Дина, тебя поставили в ряд с преступниками! Нет, даже позади них. Они уже в орбите, а ты нет. Твое место в полете будет за бандитами и наводчицами. Шлюха...»

Она содрогнулась. Какое слово! Какая гнусность!

И вдруг узнает Андрей? Вдруг дойдет до него?..

Раздался робкий стук. Ну, конечно, Костько выжидал за углом, пока Дина освободится.

Он целовал ее руки и умолял не сердиться, как будто не она на него кричала, а он на нее.

— Что ей понадобилось, этой каракатице? — спрашивал он.

Каракатица? Ну, конечно. Девчонка, влюбленная дурочка... А она развесила уши, разревелась, расчувствовалась!..

— Нет, она не каракатица, — из духа противоречия заступилась Дина, — и, честное слово, она прехорошенькая. Я не понимаю, от чего вы все за нею не ухаживаете?

— Когда существуете вы! — пылко вскричал Костько.

Дина испытывала торжество. Вот бы услыхала овечка!

— И все-таки хватит безобразничать! — сказала она решительно. — Я вам запрещаю бегать за мною, и ссориться с другими, и страдать бессонницей. Извольте перевыполнять план!

Она и смеялась и говорила серьезно.

Она отправила Костько и даже сама затопила печь. И когда Слепцов прибежал за нею, чтобы идти танцевать, она прогнала его.

— Нет, нет! — сказала она.—Я становлюсь монахиней. Никаких фокстротов. Промфинплан — и больше ни слова.

Она держалась три дня, но потом оказалось, что надо наколоть дров, и было немыслимо самой колоть. Надо было нести прачке белье — такой большой уродливый узел. Да и, наконец, надо было коротать холодные, темные вечера. Она с ненавистью оглядела свою жалкую комнату, этот грубый стол, эту убогую волчью шкуру на кровати... И когда же вернется Андрей?

Ей принесли очередное письмо. Она рассеянно пробежала слова любви. Они раздражали ее. Если он любит, зачем он уехал? Жена лесоруба — чудесно! А вот самое основное! «Я мог бы вырваться на денек, но я заставляю себя не уезжать. Ты понимаешь, я убеждаю других не ездить, пока мы не кончим, поэтому я должен показывать пример...»

Она швырнула письмо в огонь. Нет, не понимаю и не хочу понимать. Пример? Пусть показывает пример, но тогда к черту любовь, верность, этот паршивый барак, эту жалкую монастырскую обстановку!

Она надела лучшее платье, слегка подкрасила губы и, сразу развеселившись, позвонила Слепцову, что сейчас придет.

Была весна, но такого холода Епифанов не испытывал в самые суровые дни зимы. Он промок и промерз насквозь, сырой стремительный ветер непрерывно произывал его, и тело под влажной одеждой ныло от холода.

Это был его четырнадцатый рейс, — четырнадцатый и последний в эту зиму. Колонна везла груз горючего и должна была пробиться на стройку во что бы то ни стало, иначе стройка останется без горючего до начала навигации.

А в природе была весна. По трассе будущей железной дороги стояли лужи, и размякший снег превратился в кашу. Теперь они свернули на лед и, переезжая с берега на ледяную дорогу, вымокли насквозь, потому что пришлось перебираться через прибрежную полынью: две машины забуксовали, их вытаскивали вручную.

Ледяная дорога доживала последние дни. Верхний покров подтаивал, под напором весенних вод пошли глубокие трещины, из трещин выступала черная вода, между торосами разливались полыньи, пересекая дорогу. Под колесами тяжело нагруженной машины лед ухал и трещал.

Они ехали уже четвертые сутки. Машина Епифанова шла за головной, головную вел Гриша Исаков, третью— Кильту.

Епифанов знал, что промокли все. Но он чувствовал себя так непривычно плохо, что ему не верилось, будто другие испытывают то же. Вода, конечно, мокрая, и уж кому-кому, а Епифанову не привыкать стать. Но водолазное дело — техника. А тут по-глупому влез в одежде и в валенках в ледяную воду, а теперь сиди на ветру и коченей. Гробовая история! Только бы доехать!.. Хабаровск остался где-то далеко. И последняя фаланга, где можно было обогреться у печки, тоже далеко... И где-то бесконечно далеко город, ожидающий горючего, гараж с шоферской теплушкой и Лиденька — Лиденька! Ясная и всегда энергичная женушка, с которой он еще не успел освоиться, так что самое ее существование до сих пор ослепляет, как слишком яркий свет. Неужели она действительно есть? И любит его? Он сомневался каждый раз, когда возвращался к ней из поездки, и смотрел на нее испуганно-недоверчивыми глазами, обнимая, ощупывая руками ее плечи, ее руки, ее косу, будто проверял — да вправду ли она существует, вправду ли она вот здесь, с ним, в его объятиях...

Машина глухо рычала и вздрагивала всем корпусом.

В серой мгле холодного облачного дня не было видно ничего, кроме пустынных берегов, далеких и близких торосов, спекшихся сугробов, черных пятен проступившей воды и кузова передней машины. Епифанов думал о том, что собачий холод и что ехать придется еще не меньше двух суток; что Лиденька ждет и, наверное, волнуется, потому что он уехал уже десять суток назад; что ветер может взломать непрочный лед — тогда все пойдет к черту, рыбам на обед... что впереди двести километров, а доехать нужно во что бы то ни стало.

Он резко осадил машину и выскочил, потому что передняя машина застопорила на всем ходу. Гриша Исаков стоял на льду, покачивая головой. Дело было дрянь. Шагов на двести дорогу залило водой, и ветер поднимал на воде крупную рябь.

Они пошли искать объезд, палками пробуя лед. Но что узнаешь палкой, когда в машине добрых шесть тонн весу?

Выругавшись, они залезли в машины. Гриша повел колонну в объезд, без дороги. Грузовики, как танки, карабкались вверх, ухали вниз, под ними трещало.

Епифанов зажмурился и взялся за ручку дверцы, чтобы вовремя выскочить, если машина провалится. Исаков снова застопорил и дал условных три гудка. Шоферы выскакивали с лопатами и ломами и бежали вперед. Передняя машина уткнулась в непреодолимое нагромождение торосов и сугробов.

Шоферы кололи лед, расчищая дорогу.

Вдруг Кильту вскрикнул и отскочил. Его лом зацепился за странный предмет, вмерзший в сугроб.

— Валенок, — сказал Исаков.

Ребята переглянулись и стали быстро, осторожно обкалывать лед и снег. Уже вырисовывались ноги в валенках — одна нога подвернута, другая вытянута.

— Мои валенки, — хрипло сказал Епифанов.

Он узнал их — высокие, с надрезом на том месте, где валенок при ходьбе натирал колено, с пятном от пролитого смазочного масла.

— Колька...

Испуганные и притихшие, все продолжали работать. Постепенно открывался человек, сидящий на чемодане, привязанном к сдвоенным лыжам, человек, скорчившийся под накинутым на голову одеялом. Было видно, что метель застигла его здесь, и он забился между торосами,

чтобы переждать, и видно было, как он ежился от холода и зажимал под мышками закоченевшие пальцы.

— Колька, Колька! От цинги спасался, дурной...

Лицо Коли Платта было сморщено болезненной гримасой, испуганно и совсем не тронуто разложением.

— Медлить некогда, за работу, братки!—искусственно бодрым голосом крикнул Епифанов.

Через полчаса можно было ехать.

Шоферы окружили труп. Нехорошо оставлять его здесь, но кто захочет взять его на свою машину?

— Я возьму, — сказал Епифанов, бледнея, — до первой деревни. А там сдадим, пусть хоронят...

Труп привязали веревками поверх груза, чемодан и лыжи засунули в кабину.

Поехали.

Что скажет Лиденька?.. Лучше бы не говорить ей... Она любила его. Первая любовь... А вдруг эта любовь вспыхнет снова, когда она узнает, что он погиб?.. И все-таки надо сказать...

Машина подпрыгивала на неровностях пути. При каждом толчке стучал о крышку кабины плохо привязанный окостеневший труп.

Епифанов сидел, помертвев от страха. Труп постукивал, ворочаясь над ним, как живой. Серая мгла клубилась вокруг в порывах ветра. Жуть... Хоть бы человеческий голос!

И вдруг — треск, толчок, звон бидонов... машина осела задом. Епифанов выскочил и по колено провалился в воду. Задние колеса были в воде, вода булькала и пузырилась.

Епифанов был почти рад, что кончилось жуткое одиночество в машине с постукиванием трупа над головой.

— А ну, водолазы, принимайся!

Шоферы окружили машину, безропотно влезая в воду. Епифанов включил мотор. Но колеса бестолково крутились, не двигаясь с места, взбивая воду. Трещал лед.

Стали подводить под колеса доски. Упираясь в скользкий лед, дружно толкали машину. Епифанов чувствовал, как под передними колесами дрожит и оседает лед. Страшный треск едва дошел до его сознания, когда он, в припадке отчаяния, рванул вперед машину... и вырвал ее из трещины.

Сзади кричали. В образовавшейся яме барахталось несколько человек. Их вытащили. Сушиться было некогда и негде.

Машины осторожно двинулись вперед. Шоферы то и дело вылезали, чтобы расчищать путь.

Спрашивали друг друга:

— Сколько еще впереди?

— Километров полтораста...

— Доберемся?

— Надо...

Через полчаса застряла в трещине другая машина. Снова вытаскивали общими силами. Хмурились. Ругались. Не смотрели друг на друга.

— Долгонько пробираться будем...

— Проберемся...

И снова, в уже начинающихся сумерках, ехали по зыбкому льду. И снова, бледнея, одиноко маялся за рулем Епифанов, и страшнее, чем треск льда под колесами, было непрерывное, осторожное, как будто вкрадчивое, постукивание трупа над головой. Сказать Лиденьке?.. Не надо... Нет, нужно... Как смотреть ей в глаза, скрывая?..

У нанайского стойбища, где предстояла ночевка, выводили машины со льда на берег, и у самого берега сели три машины. Нанайцы помогали вытаскивать.

— Нельзя ехать, — говорили они. — Дорога нет. Ваша не могу доехать.

— Врешь, доедем! — по-шоферски, с ухарством отвечал Кильту.

И пока Епифанов с шоферами сдавали труп и устраивались на ночлег, Кильту сидел на корточках у машины, окруженной нанайцами, и объяснял им устройство мотора.

— Так доедем? — спросил у него Епифанов за ужином.

— Моя доедет, а ты? — лукаво ответил Кильту.

Ранним утром выехали снова. Полынью проскочили без приключений и часа три ехали спокойно, хотя и медленно. А потом раздался сзади протяжный гудок. Епифанов ругнулся и пошел вытаскивать, — завязла машина Тимки Гребня, шедшая последней.

Машина завязла не сильно, возились с нею меньше получаса, но шоферы уже не обольщали себя надеждой, что эта авария последняя. Вода выступала то тут, то там на протяжении всей реки; трещины расширялись на глазах.

— Здесь со спасательным кругом ездить надо, — острил Тимка Гребень.

— Из-подо льда не выплывешь, — отвечали ему серьезно.

В этот день девять раз вытаскивали машины и к ночи прошли всего двенадцать километров. Начался новый день — и через час подсохшие за ночь штаны и валенки были уже пропитаны ледяной водой, и каждый шофер знал, что сушиться не только негде, но и бесполезно, так как все равно придется влезать в воду.

Двадцать машин шли одна за другой. Двадцать шоферов — двадцать комсомольцев — вели машины, всем корпусом подавшись вперед, сдвинув брови, напружинив мускулы, вперив глаза в неверную дорогу, навострив слух, — в любую минуту готовые ко всему. И каждый, подавляя внутреннюю дрожь, вызванную холодом и нервным напряжением, думал: «А все-таки пробьемся. Надо».

На четвертый день этой непрерывной борьбы один из шоферов сказал:

— К черту! Я больше не могу.

Епифанов возмущенно оглянулся и увидел Тимку Гребия. Тимка качался и был желт. От мокрой одежды валил пар. В необычно блестящих глазах горела лихорадка.

Товарищи поглядели на него и ничего не сказали. Тимка сел прямо на лед и сидел, опустив пылающую голову. Он долго безучастно слушал, как пыхтят шоферы над очередной завязшей машиной. Неожиданно вскочил и бросился помогать. Епифанов оттолкнул его:

— Посиди, браток. Отдышись.

Тимка хотел возразить, но покорно сел.

Окончив дело, шоферы разошлись по машинам. И Тимка, сказавший, что больше не может, пошел тоже. Он вел машину, как и другие. От него шел пар. Иногда он на минуту прикрывал глаза, и снова они раскрывались и вглядывались в набегающую дорогу.

На ночлеге он отвел машину, сунул в карман ключ, дошел до избы — и тут же свалился. Ему дали водки, набросили на него тулупы.

— Я же говорил, нельзя без запасного шофера,—сказал Гриша Исаков, трогая горячий лоб Тимки.

— Доеду, — сказал Тимка и заснул.

Утром он встал со всеми, выпил чаю и, качаясь, пошел к своей машине. Его спросили:

— Дотянешь?

Он пожевал ссохшимися губами, спросил:

— Сколько осталось?

— Километров семьдесят.

Он с усилием выдохнул:

— Дотяну.

Епифанов видел, что Тимка болен. И знал, что сам он, несомненно, здоров. Но минутами его охватывала такая усталость, что тоже хотелось сказать: к черту! не могу!

Он проехал километров пятнадцать и уже утешал себя мыслью, что дорога стала лучше, как вдруг его машина ухнула и задними колесами ушла в воду до кузова. Он выскочил. Это был самый серьезный случай за все время пути.

Сбежались шоферы. Пришел и Тимка.

— Иди, иди, без тебя одолеем, — сказал Епифанов.

Они вертелись около машины, пробовали и так и этак, — ничего не выходило. Машина села прочно, всей своей тяжестью давя лед, и лед продолжал трещать — вот-вот все будет кончено...

— А ну, разгружать! — сказал Епифанов.—Отдохнули за дорогу, братки, поработаем.

Никому не хотелось разгружать. И ноги и руки уже отказывались слушаться. Но делать было нечего. Начали выгружать и относить вперед бидоны с бензином. Тимка тоже присоединился. Епифанов вздохнул, но не препятствовал: каждая пара рук была нужна. Облегчив машину, возобновили попытки вытянуть ее. Тимку посадили за руль, остальные раскачивали и толкали машину, поднимали ее на руках. Колеса буксовали, мотор задыхался, лед трещал. Люди ругались, скользили, падали, снова по команде наваливались. И вдруг машина дернулась и выскочила. Ее с криком протолкнули еще несколько метров и стали нагружать снова.

Другие машины осторожно объезжали опасное место, где быстро выступала, булькая, вода.

В этот день было еще четыре аварии, а к концу дня заболели еще два шофера.

На рассвете Епифанов проснулся первым и разбудил других:

— Браточки, светает. Айда до дому.

Гриша Исаков поднял изнуренное, неотдохнувшее лицо и тупо спросил:

— Ехать?

— Ехать, браток.

— Ехать так ехать, — сказал Тимка Гребень, поднялся и сразу повалился назад.

Его лицо заострилось, глаза горели, губы пересохли и потрескались до крови. Увидев его лицо, Гриша торопливо встал, — Тимке было, во всяком случае, хуже, чем ему.

— Захворал? — тихо спросил Епифанов у Гриши.

— Пустяки, — сказал Гриша. — Так, знобит чего-то... Пустяки.

— Дотянем?

— Дотянем.

Тимку подняли, подкрепили чаем. Свели под руки к машине.

Так прошел еще день—шестой день борьбы со льдом. На новой ночевке было веселее,—оставалось километров двадцать пять, следующую ночь надеялись ночевать дома.

И на рассвете, повеселев, шоферы вывели свои машины. Дорога была лучше, полыньи реже, трещин меньше, — весна еще не добралась сюда, не проделала своей разрушительной работы.

«Дотянули, — думал Епифанов.—Вот ведь невозможно казалось, а дотянули. И все так бывает: любую трудность можно одолеть, была бы настоящая охота!.. А Колька? Эх, дурной! Цинги испугался! Сдрейфил! И что же нашел? Снежную могилу... Только бы Лиденька не расстроилась... А вдруг она еще любит его в глубине души?.. Не говорить бы... Нет. Подло. Скажу, и как не сказать?.. Кажется, трудно сказать, а скажешь—и ничего. Вот как с этой дорогой. Знай мы в Хабаровске, что двести километров будем семь суток ехать, не поверили бы. Знай мы, что такая маета будет, испугались бы. А проехали — и дело с концом. Нам—слава, стройке—горючее. Что это?»

Сзади неслись настойчивые, непрерывные, какие-то жалобные гудки. Епифанов опрометью бросился к задней, Тимкиной машине. Машина застряла в трещине задним колесом. Ничего серьезного не было. Но Тимка, навалившись головой и руками на руль, давал непрерывные гудки и, когда все сбежались к нему, продолжал гудеть и не откликался на голоса товарищей. Его оторвали от гудка, подняли. Он смотрел горячечными, непонимающими глазами и что-то бормотал. Епифанов обнял его за плечи:

— Что, Тимка, плохо?

— Врешь, доеду! — выкрикнул Тимка и повалился на бок.

Машину вытащили, но управлять ею было некому. Тимку на руках снесли в другую машину. Он выбыл из строя.

— Придется оставить. Доедем — пошлем за нею на лыжах, — говорили ребята.

— Нельзя! — вспыхнув, сказал Епифанов. — Всю дорогу тянулись, и вдруг угробить одну машину?

Кто-то предложил буксир. Попробовали. Но буксировать машину, лишенную управления, на ледяной дороге, где требовалось непрерывно и умело направлять руль, оказалось невозможно.

Снова сгрудились для совещания шоферы.

— Делать нечего, придется оставить.

— Ну уж нет, — сказал Епифанов. — А вдруг машину угонят, тогда что?

— Да кто угонит-то? Здесь сам черт по своей воле не поедет!

— А вдруг бензин покрадут!

Шоферы молчали.

— Позор-то какой! — воскликнул Епифанов, распаляясь. — Доверили нам ценный груз, а мы его посреди Амура бросили.

— Так что же делать?

Епифанов думал, чесал затылок, шевелил бровями. Спросил:

— Колькины лыжи, кажется, остались?

Лыжи были.

— Езжайте до места, — сказал он. — Как доедете, высылайте сюда шофера.

— А ты?

— Я поведу две машины.

— Две?

— Очень просто, браточки, две. Епифанов еще нигде не пасовал и здесь не спасует. Езжайте.

Подавленный тревогой, он глядел, как вся колонна удаляется, объезжая его машину. Потом подогнал Тимкину машину на самое сухое место, подстелил брезент под колеса, чтобы они не врезались и не оседали в лед, пересел на свою и поехал. Он отъехал на километр. Колонны уже почти не было видно. И Тимкина машина казалась небольшой одинокой точкой. Он надел лыжи и побежал за оставленной машиной.

Когда он пригнал Тимкину машину к своей, колонны уже не было видно. Острая тоска охватила его — тоска и неуверенность. Он заехал на километр-полтора вперед

и снова, надев лыжи, пошел обратно—за второй. Он попробовал смеяться над собой: вот так шофер на пешем ходу! Но смеха не получалось.

Когда он снова поехал, машина завязла в талом снегу и забуксовала. Он чуть не взвыл от злости. Он громко ругался, чтобы подбодрить себя звуком голоса. Он бился с машиной минут сорок, весь измокший от пота, пока ему не удалось вывести ее из ледяного болота. Езда успокоила его, но, когда пришлось снова надевать лыжи и бежать за второй машиной, силы ему изменили. Бежать он уже не мог. И лыжи помогали плохо: налипал снег, они не скользили, а затрудняли ход. Он швырнул их в машину и пошел пешком.

Тяжело волоча мокрые, в разбухших валенках ноги, он думал только об одном: выдержать! Не сдать, пока не придет подмога... Позорище — взялся и не сделал... Две машины горючего... Горючего и так в обрез... Надо дотянуть...

В середине пути он покачнулся и привалился спиной к торосу. Ноги подгибались, в глазах прыгали река и небо, черная точка машины казалась то близкой, то бесконечно далекой.

«Отдохнуть?.. Так погиб и Колька». Он вдруг очнулся с этой мыслью и понял, что заснул. Сколько времени он спал? Наверное, несколько минут.

Он пошел снова, быстрым шагом, пересиливая дрожь в ногах и во всем теле.

Начало слегка темнеть. Вспыхнул огонек на правом берегу — лесозаготовки. Значит, восемь километров, десять, — не больше... Главное — не упасть, не заснуть, не сдаться... Он боролся с усталостью, уже ни о чем не думая, сосредоточив все физические и духовные силы на последовательно сменяющихся действиях, — шел, вел машину, пересаживался, снова шел, снова вел машину, снова шел.

Он увидел бегущих к нему людей только тогда, когда они были совсем рядом. Он сел на крыло своей машины и тупо смотрел, как пошли за другой машиной. Потом до его сознания дошло, что рядом с ним стоит Гриша Исаков.

— А ты зачем пошел? — сказал Епифанов. — Ты же больной.

Гриша не ответил, спросил:

— Замаялся?

— Ничего, — сказал Епифанов.

Они подождали вторую машину и поехали.

Встречать их сбежались товарищи, друзья, начальники. Все знали о десятидневном рейсе, о найденном трупе, о героическом поступке Епифанова.

Епифанов искал глазами Лиденьку, — ее не было. Ну, конечно. Ей уже сказали. Она в слезах, она даже не захотела встретить его...

Он возился у машины, ожидая, пока ее разгрузят, чтобы отвести в гараж, но начальник гаража оказался здесь. Он пожал руку Епифанову и сказал:

— Спасибо, друг! А теперь марш домой. Я сам отведу.

Епифанов кивнул и поплелся домой, но ему как-то трудно было идти. Что ждет его? Какова будет Лиденька? Не оттолкнет ли она его?

Его остановила Соня Исакова. Она просто обняла его, похвалила за героизм и шепнула:

— А насчет Коли ты Лиде ничего не говори. Ее теперь нельзя волновать. Я всех предупредила....

Епифанов так ничего и не понял. Почему нельзя волновать? Может быть, Лиденька больна? Ну конечно, больна, иначе она прибежала бы встретить.

Он помчался домой, забыв усталость. А навстречу ему выскочила в одном платке на плечах Лиденька, и первое, что он увидел даже в сумерках, были ее сияющие каким-то особенным светом глаза.

Ее руки обвились вокруг его шеи, ее губы целовали его, она что-то быстро, между поцелуями, говорила, что ее почему-то не пустили, — или не сказали ей, он не расслышал,—и она прильнула к нему, к его мокрой грязной одежде. Он хотел отстранить ее, потому что почувствовал себя рядом с нею отвратительно мокрым и грязным, но у него не было сил прервать это счастье, и они вместе вошли в комнату. Он все вглядывался в нее и не мог понять: то ли она действительно по-новому светится особой, небывалой радостью, то ли ему просто кажется.

Он уже лежал в постели, обмытый, переодетый и насильно уложенный Лиденькой, когда она подсела к нему и нерешительно сказала:

— А у меня для тебя новость...

И по тому, как она вспыхнула и потупилась, а потом быстро вскинула на него вопросительные, ждущие, каким-то совсем особенным женским выражением освещенные глаза, он сразу понял и вскрикнул:

— Правда? — И уткнул в ее ладони смущенное, гордое, счастливое лицо, так что ничего уже не надо было объяснять.

Уже неделю на строительстве работала комиссия из пяти человек. Они прилетели на самолете и в тот же день начали изучать состояние строительства. Они облазили все объекты, вечерами обходили бараки и шалаши, беседовали с комсомольцами, вызывали к себе по очереди лучших ударников, инженеров, мастеров.

На завтра было назначено в клубе открытое партийное собрание с участием комсомольского и инженерно-технического актива.

Вернер осунулся, посерел. Он еще не знал выводов комиссии, но обычная самоуверенность покинула его, и то, что назревало в нем с ночи, последовавшей за убийством Морозова, теперь оформилось,—он сам себя судил и снял с должности. Он уже не чувствовал в себе силы, необходимой для руководства большим делом. Он внутренне, для себя, решил вопрос. И завтрашнее собрание пугало его только потому, что он не знал, что, как, с каким настроением будут говорить люди. Он проработал с ними свыше десяти месяцев, и вот теперь он не знал их. Среди них были хорошие и плохие исполнители, хорошие и плохие работники. Но что они думают? Как относятся к нему? Какие обвинения они выдвинут? Он не прислушивался к их голосам, а завтра они будут судить его...

Он не мог ни работать, ни отдыхать. Он рано лег спать, отменив вечерний прием, но спать тоже не мог. Утром он пошел по стройке. Он любил ее, как свое детище. Он любил маленькую, смешную первую электростанцию и гордые контуры второй, еще не достроенной. Знакомые силуэты строящихся цехов. Ряды невзрачных бараков. Ряды кургузых, заметенных снегом шалашей. Трубу лесозавода, торчащую над деревьями. Далекий дымок кирпичного завода. Он живо вспомнил летнее утро, когда загудел первый гудок в тайге. Он вспомнил свои радужные мечты о том, что правительственный срок будет сокращен намного, что недалек триумф, чествование, ордена... Честолюбие?

Вернер оказался около шалашей и вдруг остановился, потрясенный. В лучах раннего солнца по дорожке между шалашами тихо двигались несколько сгорбленных фигур с палочками. Они осторожно передвигали распухшие, согнутые в коленях ноги. И они смотрели на него без злости, без презрения, но и без дружелюбия. Они не здоро-

вались и не отворачивались, а шли навстречу и мимо, постукивая палочками, шаркая валенками по талому снегу. Он узнал двоих из них: одного он видел на монтаже первой электростанции, другой был известным силачом в бригаде лесогонов. Что? Что он может сказать сегодня в свое оправдание?

И вот настал час собрания. Председатель комиссии сказал краткое и суровое вступительное слово.

Вернер не захотел сесть к столу президиума. Он сидел внизу, у самого помоста, подтянутый, замкнутый, с неприятно сухим выражением лица. Он смотрел в зал на сотни лиц и не встречал ни одного дружелюбного взгляда. Напротив него, с другой стороны помоста, сидела в группе комсомольцев Клара Каплан. Она заметила его взгляд, кивнула ему головой и сочувственно улыбнулась, — улыбка оскорбила его, как признание его слабости. Потом он увидел испуганный и преданный взгляд Кочанера. Вспомнил определение Клары — «бритое ничтожество». Он сердито отвернулся от Кочанера. Как он не понимал его раньше? Он ценил в нем идеально исполнительного, безотказного работника и только сейчас понял, что Кочанер — мелкий подхалим, карьерист и стяжатель, который всегда умел выговорить себе и лишнюю зарплату, и квартиру, и премиальные, и лечебные, и подъемные.

Ему стало стыдно и страшно. Он жалел, что не сел в президиум, — может быть, там, на привычном месте, не было бы ощущения такого полного одиночества. Вон Гранатов, сидя рядом с одним из членов комиссии, переговаривается и шутит как ни в чем не бывало. «Конец этой красивой изоляции может быть печальным», — сказала тогда Клара. Это было уже очень давно. Тогда он был смел, упрям, независим, самоуверен. А сейчас он одинок, он почувствовал себя обнаженным на глазах у сотен людей. «Король гол». Пафос дистанции исчез, ореол всезнающего, всемогущего превосходства померк, и его будут судить сегодня, — судить по делам, по результатам: омертвление капитала в незаконном строительстве ныне законсервированных объектов; срыв снабжения; массовые авралы на запущенных участках — лесозаготовках, транспорте; пшенная каша утром и вечером; цинготные заболевания...

Собрание было судом. И первое же выступление мастера — судостроителя из Ленинграда, уважаемого всеми Ивана Гавриловича Тимофеева — подсказало приговор.

Тимофеев говорил очень спокойно и деловито только об одном — о том, как плохо и неумело готовилось руководство к скорейшему началу судостроения. И Вернеру самому стало ясно, что его честолюбивая спешка была во вред делу. Ему нечего было возразить. «Я не учел... У меня были хорошие побуждения... Я ошибался...» Об этом можно говорить жене. Какое до этого дело людям, испытывающим на своей спине последствия его ошибок?

Вернер ждал, что каждое выступление будет углублять мысль Тимофеева и добивать его, Вернера. Он сидел, уперев подбородок в стиснутые руки, готовый принимать удары.

И вдруг он прислушался. То, что говорили выступающие, было для него неожиданно. Они говорили не о нем. Они говорили о себе и о стройке, о стройке и о себе. Выступали коммунисты, комсомольцы, беспартийные. Многих он знал как рабочих-ударников, как техников и инженеров, некоторых видел впервые. Но именно они были хозяевами и говорили как хозяева. Сперва он поморщился: при чем здесь клопы и порубка деревьев на площадке, зачем уводить от основного вопроса к вопросам о бане, о плохой нормировочной работе на шестом участке, о пренебрежении инженера Слепцова к заметкам в стенгазете? Вот Гроза Морей, раскричавшись на весь зал, потребовала прекратить «салон флирта» в техническом отделе. Вернер вздрогнул и возмущенно обернулся к президиуму, где, весь бледный, сидел Круглов. Как неуместно говорить об этом сейчас, здесь, на большом собрании, при Круглове! Вернер думал, что эту неловкость замнут. Но вскоре другой оратор поддержал Грозу Морей: «Мы знаем, что это неприятно слушать Круглову, но, я думаю, лучше сказать прямо в лицо, чем шептаться за углом; неподходящая жена у тебя, Андрюша, надо решать: или приструни ее, или делай другие выводы». И, видимо, так и надо было. Никто не вступился, все считали, что это правильно и уместно. Говорили о каком-то Сережке Смирнове, который развел вшей и не стирает своего белья. И тут же говорили о заложенных фундаментах, куда зря ухлопали средства, о плане строительства, о бюрократизме стройуправления... Большое и мелкое — все было нужно, значительно. Самокритика! Это и есть самокритика, беспощадная и одновременно дружеская, хозяйственная, заботливая. Он когда-то смеялся над остротой приятеля: «Самоеды себя не едят. Самокритики себя не критикуют». В глубине сознания он думал так же.

Он никогда не придавал самокритике ее настоящего значения, пренебрежительно расценивал ее как демократическую формальность. Он всегда был уверен, что сам прекрасно все знает и понимает, что рядовые люди не могут сказать ему ничего нового, и самокритику понимал больше всего как воспитательное средство для масс, а не для руководителей. И вот теперь он впервые увидел, понял ее. Значит, он был до сих пор слеп и глух? Большинство людей, сидевших в зале, были молоды. Он привез их сюда, как папаша. Вот эта девочка, Катя Ставрова, плакала из-за подстреленного коршуна. Этот вихрастый и даже зимою веснушчатый Петя Голубенко был главарем «пиратов» на «Колумбе», и даже теперь у него был вид не столько серьезного, сколько притворяющегося серьезным мальчика. Но как они выросли! Как они повзрослели за десять месяцев! Их руками было сделано все, что Вернер считал своим детищем и даже (где-то в глубине своих мечтаний) своим памятником. Он не умел ни беречь их, ни использовать. Он не ценил их жизни. Но во всех трудных случаях рассчитывал на их героический энтузиазм и никогда не был обманут. А теперь они, чувствуя себя подлинными хозяевами и стройки и самого Вернера, жестоко критиковали самих себя, свою работу, свою стройку, свое управление. И он, Вернер, должен был выслушивать эту хозяйскую отповедь, и учиться у них, и понять, что именно такой самокритики, такого общения со строителями ему и не хватало, что именно такое общение могло бы уберечь от роковых ошибок.

Провал. Вот что с ним произошло. Поручили, а он провалил. Взялся — и не сумел...

Он собрал все свои силы для того, чтобы выступить спокойно и мужественно. Никто не должен был видеть, как он подавлен. Его слушали с большим вниманием и недоброжелательным интересом. Он увидел лицо шофера Епифанова и на минуту сбился с мысли, — так угрюмо глядел Епифанов. Это был тот самый водолаз, который влюбленными глазами смотрел на него на первом митинге и потом гаркнул по-военному: «Есть построить палаточный лагерь!» А потом он украл кирпичи для больницы, для больных товарищей, о которых не позаботился Вернер. А потом у него дезертировал приятель, хороший механик, но слабовольный, эгоистичный человек, у которого не хватало сознательности для преодоления трудностей. А потом этот же Епифанов проделал героический рейс по талому льду и вытаскивал машины из воды, спа-

сая горючее, думая о стройке, которую Вернер не сумел заблаговременно обеспечить горючим, мукой, мясом. А теперь он ждал рождения ребенка; и его жене, белокурому стрелковому инструктору, негде будет рожать, так как Вернер не позаботился о родильном отделении, и у ребенка не будет молока, так как Вернер не позаботился о молочном хозяйстве. А вон там сидит Тоня Васяева, одна из лучших комсомолок. Она сидит в пальто, чтобы скрыть свой беременный живот, и лицо ее истомлено беременностью и сверхурочной работой в больнице, которую Вернер не сумел обеспечить ни достаточным помещением, ни штатом, ни медикаментами...

Он сам громогласно подписался под приговором, прочитанным в их глазах, и даже не заметил, как все удивились, — только его слова открыли им, что начальника строительства надо сменить, что Вернер должен быть снят.

Он в последний раз почувствовал свою силу, когда сумел очень ясно и коротко рассказать, что́ надо делать для исправления ошибок, как надо направить теперь строительство.

— Это мог бы сделать и я, поскольку я хорошо понимаю, в чем ошибки и как их исправить,—сказал он жестким, ровным голосом. — Но для пользы дела лучше будет, чтобы пришел новый, свежий работник, не запятнанный ошибками, авторитетный для всех нас. Я многому научился сегодня, но научился поздно.

Он спустился с трибуны и снова сел. Его речь произвела неприятное впечатление. Искренность была скрыта жестким, властным голосом, а его манера держаться и говорить отталкивала.

Он хотел уйти, но ему было интересно, что́ будут еще говорить. Он поглядел на Клару, — она поняла его, он видел. В ее глазах светилась сердечность и немного торжества.

Закрыв глаза, он слушал ее низкий, неровный от возбуждения, слегка задыхающийся голос:

— Мы знаем, что большевистский стиль работы — прежде всего в умении вести за собою массы, опираться на массы, заботиться о них. Если человек отрывается — ничего хорошего у него не выйдет. И чем сильнее и умнее человек, тсм глубже и серьезней он должен работать с людьми, тем больше с него спрашивается. И второе — тем нужнее ему опора на массу, на коллектив. Потому что нет хуже положения, чем положение сильного чело-

века, который остается один, когда вокруг него, за ним — пустота. Вернер этого не понял, и за ним образовалась пустота. Но пустота всегда чем-нибудь заполняется. И ее заполнили подхалимы типа Кочанера — да, да, Кочанер, можешь не дергаться, я говорю то, что есть. И такие Кочанеры, глядя в глаза своему всесильному хозяину, похамски разговаривают с рабочими, оперативность подменяют суетой, требовательность — бюрократизмом, и массы людей, обращаясь в контору, судят о ней не по Вернеру, а по Кочанеру, так как попадают к Кочанеру чаще, чем к Вернеру.

В зале неожиданно вспыхнули аплодисменты. Клара свободно рассмеялась.

— Вот видишь, товарищ Вернер, что у тебя получилось. Кочанер заслонил Вернера. А получилось это потому, что Вернер понадеялся на себя и забыл, что наши партийные задачи в одиночку выполнять невозможно. Его собственное «я» вытеснило в его сознании «мы». А тот, кто зазнаётся, кто влюбляется в самого себя, кто забывает о других ради своего честолюбия, — тот неизбежно оказывается изолированным, одиноким и — хуже того — отсталым человеком. А этой отсталостью пользуются не только бюрократы, а — будем говорить прямо — этой отсталостью пользуются наши враги.

Было уже поздно, когда Вернер вышел к Амуру. После душной и напряженной тесноты зала Амур освежил свободной массой холодного, свежего воздуха. Трещал лед. Привыкнув к темноте, Вернер стал различать медленное движение взломанного, вздыбленного льда. Льдины, как живые существа, лезли вперед и вставали дыбом, наполняя весь простор реки треском и скрежетом. Ледоход уже начался где-то дальше, выше по реке, и лед напирал, давил, подгонял еще не тронувшиеся поля.

Непривычно сутулясь, засунув руки глубоко в карманы кожаного пальто, Вернер шагал по берегу, глядя кругом с грустным вниманием.

Сколько раз он проходил здесь упругой, четкой походкой, каждым движением тела ощущая силу, уверенность и прочность всей организации своей жизни! Именно — организации. Он привык (и любил в себе эту привычку) подчинять обдуманному плану и твердым принципам свою жизнь. Утренняя прогулка была зарядкой здоровья, подготовкой нервов и мозга к рабочему дню. Вечером он тоже всегда возвращался домой пешком, не спеша, — освежение головы, подготовка здорового, крепкого сна.

Он не позволял себе опаздывать на работу, ограничивал часы заседаний и разговоров, запрещал курить в кабинете, вводил во всем порядок и четкость, — гигиена труда, охрана нервов и мозга. Никто из сотрудников не видел его раздраженным или взволнованным: раздражение и волнение — элементы эмоциональные, а эмоциям не место в работе. Они подавлялись им, загонялись внутрь. Он умел тренировать свои нервы и добился того, что во всех трудных случаях владел собою и демонстрировал выдержку и бесстрастность. Сознание своего превосходства и демонстрирование его казались ему неизбежными и нужными. Не полубог, нет! не сверхчеловек, нет! — но руководитель на голову выше других, авторитет безусловный и непоколебимый.

Что же случилось? Он слишком поверил в себя? Он отдался честолюбию? Забыл о самокритике?

Вернер привычно чуть-чуть усмехнулся, но усмешка была искренняя. Да, самокритика. Вот она какая — беспощадная и хозяйственная, жестокая и заботливая. Он считал себя хозяином, но хозяевами оказались они — эти Пети, Кати, Андрюши, Сережки.

«Отрыв от масс». Ему никогда не приходило в голову, что они, эти люди, так важны и необходимы лично для него. А сегодня они его учили. Учили так, как Каплан, объясняя ему его же ошибки, и так, как большинство, — забыв о нем ради вопросов сегодняшней борьбы, которую они поведут уже без него.

— Вернер, подождите!

Он с удивлением увидел Клару.

Она взяла его под руку, и они пошли рядом не разговаривая.

Он попробовал заговорить.

— Не надо, — сказала она, — отдохнем. Неужели нельзя просто помолчать, подышать ветром с Амура, подумать о будущем?

Они шли под руку молча, каждый со своими мыслями.

Расставаясь у лестницы в темном коридоре, он снова хотел заговорить.

— Не надо, Вернер, — почти умоляющим голосом остановила его Клара. — Сейчас еще рано говорить. Подумайте еще. Я так хочу, чтобы вы поняли до конца.

— Я уже понял, — просто сказал он.

— Я так хочу вам добра и успеха, — быстро сказала она и ушла.

Ее суровая дружба не могла вытеснить горечи краха, пережитого им. Но она смягчила горечь, как глоток воды.

### 31

Новый начальник принимал стройку. Звали его Сергей Петрович Драченов. Он был широкий и грузный человек, с большой головой и мясистым розовым лицом, с мощным басом, с волосатыми грубыми руками, с хитрой усмешкой, блуждавшей где-то около рта и глаз, не выступая полностью, но все-таки присутствуя и приятно смягчая лицо. Он приехал с женой и тремя детьми, со всякой домашней утварью, с мебелью и охотничьей собакой. Было видно, что приехал он солидно, надолго и прочно. И стройку он принимал как-то солидно, не торопясь, обстоятельно.

В первый же день он сказал Гранатову:

— Как тебя звать-то? Алексей Андреевич? Так вот, Алексей Андреевич, я бы тебя снял, прямо говорю, снял бы без долгого разговора за снабжение. А не снимаю потому — говорят, ты за последние месяцы здо́рово себя показал, и для преемственности нужно, и Вернер тебя выгораживает. Так что оставайся, но работай, дружок, иначе шкуру спущу.

Он картавил; его картавость так же смягчала раскаты его голоса, как блуждающая усмешка — грубость лица.

Сергею Викентьевичу он сказал так:

— Вы человек знающий, коммунист. А организатор, говорят, плохой. Я вам, голубчик, изо всех сил помогу. Может быть, у нас с вами получится хорошо. Я вас подкреплю, но и вы меня подкрепите — знаний у меня для этого дела недостаточно.

Он уволил без слов Кочанера и «Амурского крокодила». По совету Круглова он вызвал Соню Исакову и предложил ей работать его секретарем.

— Ой, нет! — воскликнула Соня. — Я совсем не умею... Я никак, никак не смогу...

— Ай-ай-ай! — загрохотал Сергей Петрович. — Комсомолка испугалась: не может, не умеет. Тебя разве этому в комсомоле учили?

Соня оробела, но улыбнулась. Ей нравился новый начальник.

— Если не можешь писать бюрократические писульки — не беда. Суть дела поймешь — напишешь как-ни-

будь, и ладно. По крайней мере меньше писанины будет. А нужна ты мне вот для чего — чтобы бюрократизмом у меня не пахло. Всех принимать не могу и не буду. На то у меня целый аппарат есть. А твое дело — спроси, направь, проверь, проследи, добились ли чего надо. Сама помоги, чтобы добились. Ежели, к примеру, послала посетителя к Гранатову, спроси потом — ну как? А не вышло толку, тащи ко мне того и другого. У тебя муж кто?

— Шофер.

— И еще кто? Ты не скромничай, я ведь знаю, стихи пишет. Поэт. Так вот, имей в виду: если сама забюрократишься, заставлю его про тебя стихи сочинять—эпиграммы, что ли, называются. Заставлю и повешу над твоим столом — пусть все читают. Согласна?

— Да, — с удовольствием согласилась Соня.

Соня начала работать и на второй день попала в переделку. Сергей Петрович повез ее, Гранатова и Сергея Викентьевича по стройке!

— Возьми большой блокнот, будешь все записывать, — сказал он Соне.

Подали машину, Гранатов уверял, что на машине не проедешь, дороги не позволят.

— Это ты настроил такие дороги, что ездить нельзя? — спросил Сергей Петрович. — Не ты? Ну, все одно. Поедем, проверим. А ты, Соня, запиши, где надо дороги чинить, сегодня же приказ дам. Чтобы в три дня было! Грузовики у вас из ремонта не вылазят, а дороги чинить не додумались?

Дороги были ужасны. Дважды машина буксовала в густой грязи. И все вылезали раскачивать и толкать машину. Облепленные до колен грязью, они приехали к стройке жилых домов, но подъехать вплотную не могли, так как дорога была занята застрявшими в грязи грузовиками.

— Запиши, Соня! — бросил Сергей Петрович и устремился на стройку каменного дома.

Его окружили. Прораб Солодков с планом в руке начал объяснять, какой будет дом. Но Сергей Петрович вдруг, ничего не сказав, побежал по лесам туда, где работали каменщики.

Каменщики работали на высоте трех-четырех метров на кладке внутренней стены. Кирпичи были подвезены на другую, внешнюю стену. Молодой парень стоял на внешней стене и бросал кирпич за кирпичом, а другой —

кладчик — ловил их с акробатической ловкостью и укладывал.

Сергей Петрович стоял и наблюдал, сопя носом. Подошел Солодков. Он заговорил, продолжая объяснения, и тогда Сергей Петрович вдруг закричал:

— Это что за гимнастика? Может быть, вы не прораб, а инструктор по легкой атлетике? Может быть, вас целесообразнее передать в бюро физкультуры или прямо под суд? Соня, запиши!

Каменщики смеялись и подмигивали Соне.

А Сергей Петрович уже действовал: заставил раздобыть доски, сам сколачивал лоток и тихо, чтобы не дошло до Сониных ушей, ругался. Потом он беседовал с рабочими, подхватывал их замечания и на лету бросал Соне: «Запиши!» Тут же, на месте, отдавая распоряжения, как устранить недостатки, опять бросал Соне: «Запиши, через три дня проверю. Все записывай!»

Солодков, сразу осунувшийся, тоже записывал. Когда они уезжали, Сергей Петрович сказал ему:

— Я, голубчик, для пользы дела, а не в порядке угрозы, но если еще раз увижу такое безобразие — отдам под суд, и не обижайся.

В машине он обратился к Соне:

— Записала? Все записывай и мне потом листочек— для проверки. Не сделают — шкуру спущу.

На стройке другого дома он залюбовался работой штукатура Бессонова. Он подошел к стене, приблизил лицо к самой штукатурке, чтобы лучше увидеть ее гладкую поверхность, понимающим взглядом поглядел на работающие руки Вальки и сказал:

— Хорошо.

Вальке было приятно, но он не был склонен благоволить к начальству, пока не убедится в том, что начальство того стоит, и ответил сдержанно:

— Сергей Миронович Киров смотрел — и то одобрил.

— Вот как? — с удовольствием откликнулся Сергей Петрович. — Ленинградец, значит?

Валька кивнул.

— А я с ним в Баку работал, — сообщил Сергей Петрович. — Век не забуду.

Валька сочувственно смотрел на него. Ему нравилось, что Драченов знает Кирова и что он сразу понял, как хороша Валькина работа.

А Сергей Петрович уже расспрашивал о неполадках,

и Вальке вспомнился такой же вопрос Кирова, и на сердце стало тепло.

Он рассказал все, что мог, об организации работы, о подвозе материала, о неразберихе в планах, о плохой подготовке кадров.

— Сами судите, — сказал он, — специалистов нехватка, а мы работаем с растопыренными пальцами, удержать не умеем.

— Вот-вот, именно с растопыренными пальцами.

Драченов обернулся к Сергею Викентьевичу и Гранатову:

— Слышите? Это он о вас! — и снова к Вальке: — Ну, а что надо сделать? Исправить как?

— Так, сразу, не скажешь. Подумать надо.

— Подумай. Хотя надо было и раньше подумать — комсомолец ведь, а? Ну-ну. Поручаю тебе — обмозгуй, с приятелями обсуди. Потом ко мне придешь. Два дня хватит? Соня, запиши: послезавтра, к восьми часам вечера. Сговорились?

— Сговорились.

— Если приятели толковые, приходи с приятелями.

На лесозаводе Сергей Петрович собрал вокруг себя рабочих и провел летучее производственное совещание.

Директор лесозавода, вялый и растерянно озирающийся человек, явно расстроился оттого, что ему приходится говорить с новым начальником в таком большом окружении. На неприятные вопросы он отвечал уклончиво:

— Я вам потом доложу... Я потом покажу вам.

— Да вы чего мнетесь? Говорите при рабочем классе, не бойтесь. С такими ребятами, как эти, говорить веселее. Они и поправят, и укажут, и совет дадут. Говорите, не стесняйтесь.

Директор мялся, отвечал отрывисто.

— Ну ладно, потом так потом, — буркнул Сергей Петрович и больше к нему не обращался.

Вместе с рабочими он пошел на горку, куда по рельсам лебедкой втягивали бревна. Его познакомили с Семой Альтшулером, автором этой примитивной механизации.

— А ведь этого еще мало? — спросил его Сергей Петрович.

— И как еще мало! — подхватил Сема. — Я уже два раза предлагал. Вы посмотрите свежими глазами, и вы придете в ужас. Вот мы тащили бревна вручную на бир-

жу, а тащить в гору сорок — пятьдесят метров. Потому я предложил лебедку и рельсы. Бремсберг — так называется эта штука. Ну, а дальше? Вот сейчас подъем воды, бревна не так далеко. Но вы знаете, что такое Силинка? Это коварнейшее озеро! Пройдет весна—вода спадет, и мы будем тащить бревна издалека, потогонным способом. Я уже дважды предлагал прорыть канал к самому бремсбергу, — вы думаете, это трудно? Я ручаюсь за всех парней. Объявить небольшой аврал — и все будут рыть канал как черти, и канал будет готов, и бревна будут рядом, тут как тут — зацепил багром и тащи.

— Пойдемте со мной, товарищ Альтшулер, — сказал Сергей Петрович, уходя в контору лесозавода.

В тот же день приказом был освобожден от работы директор лесозавода, на его место назначен молодой инженер-коммунист Федотов, а помощником директора выдвинут комсомолец Сема Альтшулер.

— Значит, канал будет, — сказал Сема, узнав о назначении.

— Думай дальше, — сказал ему Сергей Петрович. — Это еще начало. Для тебя дело чести. Ну, да тебя учить не надо. Работай, дружок, покажи, что может сделать умная комсомольская голова.

— Покажу.

— Запиши, Соня. Через месяц мы с него спросим, что он надумал.

Машина начальника, пыхтя и разбрызгивая грязь, до ночи моталась по площадке. Сергея Викентьевича растрясло до тошноты. Он был бледен и огорчен, потому что Драченов все чаще и чаще поворачивался к нему с милой усмешкой: «Это ведь о вас, а?»

Гранатов был подтянут и спокоен; он не стеснялся выражать свое восхищение методом работы нового начальника. Соня исписала почти весь блокнот и еле передвигала ноги от усталости.

А Драченов бодро носил свое грузное тело, усмехался, иронизировал, ругался, отдавал приказы, диктовал Соне заметки для памяти, бегал, лазил, расспрашивал, снова ругался.

К концу дня они добрались до участка работ, условно называемого «доки». Доков еще не было, была развороченная земля с начатыми котлованами, залитыми грязной водой, горсточка рабочих-комсомольцев, два инженера и руководитель участка — инженер Путин (тот

самый пожилой инженер, который со слезами жаловался Круглову, что моется у плевальничка).

Драченов вызвал всех трех инженеров. Один из них, Костько, горящими от ожидания глазами впился в нового начальника.

— Наколбасили тут много, — сказал Сергей Петрович, — фундаментов позакладывали, денег натратили. Точка! Больше этого не будет. До лета основная рабочая сила будет работать на жилье и на подсобных. Второстепенные объекты консервирую. А вот доки с завтрашнего дня — на полный ход. Рабочую силу надо — подбавлю. Материалы — дам. Все, что надо,—дам. Только лишнего не просите, я не дурак, разберусь сам. У вас план — сорок процентов, к концу мая — полное выполнение месячного плана. Есть такое дело?

Инженер Путин начал длинно объяснять, что требование чрезмерно, что есть обстоятельства...

— Какие? — озабоченно спросил Сергей Петрович и сел, готовясь слушать.

Путин испуганно объяснял, волнуясь и сердясь. Костько, дрожа от нетерпения, все порывался вмешаться, но сдерживался.

— А он у вас кто? — без видимой связи с темой беседы спросил Драченов, кивнув на Костько.

— Прораб. Инженер Костько. Молодой специалист из Ростова.

— Так, так. Ну, я вас слушаю дальше.

Путин продолжал доказывать и возражать. Драченов снова поглядел на Костько:

— А ваше мнение, товарищ Костько?

И, не дослушав, спросил, какое у него образование, опыт, стаж работы. Молодые горящие глаза Костько ему нравились. И Костько считал, что требование Драченова выполнимо и желанно, что все рабочие с энтузиазмом подхватят его, что все технические препятствия можно устранить.

— Так, так, — пробормотал Драченов и вдруг прямо сказал: — Так что, товарищ Путин, мои слова считайте приказом. Ваши возражения я выслушал и считаю их неосновательными. Напрягитесь — и сделайте. А без напряжения здесь сейчас ничего не выйдет.

Путин покраснел, презрительно скривился, выдавил из себя:

— Ваш приказ есть приказ. Но я заявляю, я предупреждаю, что при таких требованиях... при таком поло-

жении... при таких темпах... я... я просто не могу работать.

— Не можете? — задумчиво переспросил Драченов и помолчал. Взволнованное, оживленное лицо Костько снова попалось ему на глаза. — Нет, отчего же, сможете,— сказал он, — я не буду вас насиловать. Я вам дам работу поменьше, поскромнее. Ну, скажем, прорабом, а начальником участка посажу другого, который сможет работать при таких требованиях и темпах. Ну, хотя бы... ну, хотя бы прораба Костько. Он сможет. И вам будет легче, спокойнее... Так, небольшая внутренняя перестановка...

Путин вспыхнул, потом побледнел, потом снова залился краской.

А Сергей Петрович уже беседовал с Костько:

— Начинайте учиться с этой минуты,—вам, конечно, еще многого не хватает для такой крупной работы, верно? В течение первого месяца можете приходить ко мне в любое время и по любому вопросу вне всякой очереди (Соня, запомни!), Сергей Викентьевич тоже не откажется учить вас, помогать вам. Помощь будет любая и конкретная: материалами, консультацией, людьми. Но приказываю вам — работать лучше вашего предшественника. И через декаду план должен перевыполняться.

— Есть работать лучше, — сверкнув глазами и юношески розовея, по-военному ответил Костько. И непривычное ощущение своей полезности, самостоятельности, в то же время полной независимости от приказывающего ему симпатичного и немного страшного начальника охватило его.

— Вот-вот... Да вы ведь самолюбивый черт, вы же на стену полезете, лишь бы сделать!

Сергей Петрович изучающе поглядел в молодое, счастливое, озабоченное лицо.

— Учитесь, учитесь, голубчик. Через пять лет на мое место сядете, — сказал он не то грустно, не то ласково и пожал руку Костько своей большой запыленной рукой.

— Это для подначки, — сказал он Гранатову и Сергею Викентьевичу, когда они сели в машину. — Но через десять лет он всех нас обскачет. Вот увидите. Хватка у него моя... Но молодость! Мо-ло-дость! Если бы мне в его годы да его знания, я бы сейчас черт те что был...— и, прервав свои размышления, обратился к Сергею Викентьевичу: — Вы с него глаз не спускайте, пусть учится. Иностранные журналы там, если можно... Консульта-

цию... И вообще. Следите, вам поручаю,—кончил он сердито и затих.

Сергей Викентьевич был ошарашен, утомлен и обижен. Это молниеносное перемещение без согласования с ним казалось ему неоправданным и нелепым. Уже подъезжая к конторе, он заговорил о Путине, которого не любил, но уважал как специалиста:

— Какой смысл сажать его под Костько? Он же все равно работать не будет!

— Эге, голубчик, и вы туда же? «Не будет, не будет!» А что мне, выгонять его? Выгнать проще всего. Если ты инженер, знаток — поработай прорабом, перетерпи, покажи себя... Будет мешать — голову оторву. Возьмется за ум — премируем, деньгами засыплем... И потом, что же, разве я его обидел?—с ехидцей сказал он. — Он же первый заявил — «не могу». Не можешь — не надо. Я чуткость проявил, пожалел дяденьку. Я его проучу! — прикрикнул он и засмеялся. — Барышня с нервами! «Такие темпы... Такие требования...»

Они добрались наконец до конторы. Все были голодны и измучены.

Но Сергей Петрович прошел в кабинет и крикнул Соню.

— Теперь выводы, — сказал он, потирая лоб рукою и прикрывая глаза. — Пиши. Приказ о лесозаводе — перемещения, канал, подвоз леса, регулирование отпуска пиломатериалов, договориться с краем о новых балиндеровских рамах...

Вошел Гранатов. Он сел в сторонке и слушал, иногда вставлял совет или просто слово одобрения.

— Вы знаете, Сергей Петрович, — сказал он, когда выводы по всем событиям дня были записаны, — у меня впечатление такое, будто я постигаю премудрости с азов...

Польщенный Сергей Петрович буркнул:

— Ну, чего там... Премудрости... Постигаю... Это мне Вернер не зря говорил, что ты впечатлительный... — и отвернулся, прикрикнув на Соню:

— А ты что сидишь? Глаза уже ввалились! Обедать надо. Отдыхать надо. Ступай. Заморилась...

Придя домой, Соня повалилась на топчан, блаженно улыбнулась и сказала:

— Может быть, я тоже впечатлительная, Гриша... но он мне ужасно нравится!

Итак, все было решено!

До последней минуты Андрей еще надеялся, что найдется какой-нибудь выход, отодвигающий от него ужасное горе... Каким образом? Он не знал, но Дина так умела все устраивать и сглаживать...

Вернувшись с лесозаготовок, он быстро узнал о том, что происходило без него. Но Дина встретила Андрея взрывом радости, любви, нежности. Он был готов простить ей все за ее радость, за свет в глазах, за чудесные слова, которые она находила для него. Он попробовал спросить ее прямо о ее любовниках. Она ответила, лениво улыбаясь: «Ах, ты все преувеличиваешь!» Она отклонила объяснения: «Ну что за допрос? Тебе мало, что я тебя люблю?» Она так умела подтвердить свои слова лаской, взглядом, милой ужимкой... Он еще раз закрыл глаза, чтобы не видеть, что счастья уже нет.

Партийное собрание заставило его открыть глаза. Он понял, что закрывать глаза не имеет права, что дело уже не в нем, что легкомысленная жажда развлечений сделала Дину вредным общественным явлением. Он сидел опозоренный, смешной перед сотнями людей. «Рогоносец...»

Он примчался домой, готовясь к длинному, тяжелому, решительному разговору. Он еще верил, что она поймет и ужаснется сама, когда узнает, как о ней говорят.

Но Дина уже все знала. Откуда? Кто мог ей сказать?

Красивая, с искусно растрепанными волосами, она встретила его не слезами — нет!—не раскаянием, не стыдом! — нет! — она набросилась на него с упреками и оскорблениями. Она играла, ломая руки, презрительно кривя красивый рот:

— Трус! Трус! Смолчал! Позволил чернить любимую женщину! Испугался! Жалкий человек, без самолюбия, без чести! Не мог дать в морду этим мерзавцам! Трус! Трус! И я тебя любила!

«Что с нею? — думал Андрей. — Ведь она лжива насквозь, каждое движение, каждый звук голоса... Было это в ней и раньше или только сейчас?»

— Дина, они правы! — резко сказал он, чтобы прекратить ее игру, чтобы вызвать слезы, злость, возмущение — все равно, только бы игра заслонилась подлинным человеческим чувством.

— Они правы?!—драматически воскликнула Дина.— Так вот какое оправдание ты нашел для своей трусости.

Впечатления сегодняшнего собрания были еще слишком сильны в нем. Он не дал сбить себя с толку.

— Да! — крикнул он. — И если ты не поймешь наконец...

— Что же тогда будет? — насмешливо спросила она.

Он не нашел нужных слов. Она дерзко и насмешливо наблюдала за ним, сидя на постели и покачивая красивыми ногами.

— Тогда нам придется расстаться, Дина.

— А ты думаешь, мне некуда пойти? Ты думаешь, я буду плакать и умолять, чтобы ты меня не бросил? Таких женщин, как я, не бросают, мой дорогой!

Она была дерзка, она насмехалась, она дразнила его. Нет, нет, только не поддаваться ей.

— Об этом нечего говорить, Дина. Я всегда любил тебя гораздо сильней, чем ты меня. Я тебе все прощал. Но больше этого не будет. Хватит!

— Хватит? Ну, хорошо же...

Она вскочила, рывком выдвинула из-под кровати чемодан и, разбрасывая вещи перед Андреем, начала укладываться. Лживая. Лживо все! Он с ужасом смотрел на красивое лживое лицо, на ее нежные, прекрасные руки, игравшие перед ним... Все, все ложь! Перед его глазами мелькали воздушные сорочки, удлиненные душистые флаконы, изящные коробочки, футляры, прелестные туфли, шарфы, расшитые платочки, безделушки... С видом оскорбленной невинности она бросала вещи в чемодан, но даже в ослеплении горя Андрей не мог не заметить, что она не забывает завернуть туфли в бумагу и складывает платья осторожно, по складкам, чтобы они не помялись...

Она уже кончила укладываться, а он все молчал. Должно быть, она решила, что игра зашла слишком далеко. Она сказала дрожащим голосом:

— Лучше умереть, чем жить с человеком, который не любит и не понимает...

Он не ответил. Зачем? Чтобы поддержать игру? Он опустился на стул, закрыв лицо руками, и слушал звук ее голоса, стук каблучков, шелест шелка, дребезжание флаконов.

Он еще не знал, сможет ли жить без нее и как это будет. Но он уже знал, что с нею жить не может.

Черное горе надвинулось на него, и он судорожно искал в этой черноте просвета. То новое, особое чувство, возникшее на лесозаготовках,—найдет ли он его снова?..

Вернется ли оно?.. Иначе не спастись, не выжить, не поднять головы.

Дина захлопнула чемодан. Напудрилась. Передвинула стулья.

— Если ты можешь оказать мне последнюю услугу, снеси мне чемодан.

Он поднялся, не глядя на нее, спросил спокойно:

— Куда?

— К Слепцову! — злорадно бросила она и подошла к зеркалу надеть шляпу.

В ту же секунду Андрей вырвал у нее шляпу, ударом ноги отправил чемодан в угол и, рванув ее за руку, швырнул на кровать так, что она стукнулась плечом о стенку.

— Нет! — заорал Андрей. — Нет! К Слепцову ты не пойдешь. Ты уедешь, как только придет пароход. Я тебе дам деньги, билет — все, что тебе нужно, но ты уедешь! А пока ты здесь, ты будешь жить в этой комнате и прекратишь свое распутство. Поняла? Я не позволю пачкать мое имя! Я не позволю тебе позориться! Пока ты здесь — ты моя жена. Уедешь — делай что хочешь, губи себя, кривляйся, продавай себя, делай все, что тебе будет угодно.

Она смотрела на него с удивлением и восторгом, потирая ушибленное плечо. Теперь она уже не играла. Она слишком удивилась. Если бы он ее бил, она бы, наверное, любила его.

Он пошел к двери и от двери сказал:

— То, что я сказал, Дина, это окончательно. Я тебя ушиб — прости. Но это пустяки перед той болью, которую ты принесла мне... И я требую одного — не жалости, нет, только уважения ко мне. На несколько дней. Ничего другого мне от тебя не нужно.

Он пришел в шалаш, где жил Тимка Гребень. Все уже спали. Андрей растолкал Тимку, лег с ним рядом на жесткий топчан и застонал от душевной боли. Но Тимка, ничего не спрашивая, стал тихо говорить о том, что все проходит, потом о сегодняшнем собрании, о комсомольских делах, о строительной весне, о том, каков-то будет новый начальник.

Так началась для Андрея жизнь без Дины. И оказалось, что жизнь идет своим чередом, как ни велико, ни черно горе.

Он боялся только встречи с Диной. Хватит ли у него

сил? Не опрокинется ли разом все его шаткое, с таким трудом установившееся равновесие?

И вот они встретились. Он был в гостях у Тони и Семы. Она заглянула в дверь, мило поклонилась, мило сказала:

— Зайди ко мне на минутку, Андрюша.

Сейчас все должно было решиться. Если бы она сразу бросилась к нему на шею и расплакалась — кто знает?..

Он вошел, мрачно насупившись.

— Что ты хотела сказать?

Она прошептала:

— Андрюша...

Он, не глядя, видел ее любимое, красивое лицо с умело подцвеченными губами, ее лживую трогательную улыбку.

Он сухо повторил:

— Ну что?

Она поняла, что все кончено.

— О пароходе ничего не слышно?

— Завтра приедет новый начальник. Значит, дня через два пароход пойдет обратно. Я сообщу тебе.

Если бы она заплакала, или подошла, или сказала, что просит простить ее...

— Хорошо. Прости, что побеспокоила.

— Пожалуйста.

Он ушел. Дверь закрылась. Конец.

Больше не было ни сомнений, ни надежд, ни сил для нового чувства. И то, найденное в лесу, необыкновенное ощущение внутренней собранности и счастья не приходило.

А Дина металась. Жить стало душно и неинтересно. Бывало, жизнь представлялась ей сияющей цепью удовольствий, и она, конечно, в центре, красивая и всегда торжествующая. Но вот оборвалось одно звено, и вся цепь распалась, а за ней оказалась пустота. Пустоту нечем было заполнить. Работа? Но работа никогда не интересовала ее. Поклонники вызывали раздражение и обиду. Они были виноваты во всем — так она убеждала себя. Они поссорили ее с Андреем. Они трусы и мелкие люди.

Она боялась признаться себе самой, что они изменились к ней. Они избегали ее. Все знали, что она разошлась с Андреем. И что же? Хотя бы один попытался предложить ей выйти за него замуж! Мерзавцы! Слепцов, этот красавец, казавшийся таким влюбленным, дер-

жался очень сдержанно. Она была у него в гостях (украдкой, чтобы никто не видел). Они болтали как друзья.

— Второго такого мужа вам не найти,—шутливо говорил он.

Она была готова остаться у него от тоски и от злости, но он первый поднялся:

— Пойдемте, Дина Сергеевна. Я жду сюда жену. Сидеть по ночам с девушками мне уже неудобно.

Он смеялся, но Дина видела, что он не хочет компрометировать себя.

Костько вдруг пропал. Он день и ночь торчал на своем участке.

Она вызвала его к себе. У него был смущенный, растерянный вид. Чтобы не разозлиться, Дина расплакалась. Она знала обаяние своих глаз, когда в них блестят крупные слезы.

— Что делать? Что делать, Костько? — сказала она, подняв глаза, полные слез. — Вы один поймете меня. Вы знаете, что я не плохая. Все они бегали за мною, а теперь все правы, а я виновата... И Круглов гонит меня, потому что у него не хватает мужества плюнуть им в лицо... Какое право имеют они вмешиваться в личную жизнь?

— Кто? — спросил Костько.

— Кто? — запальчиво вскричала Дина. — Партийное собрание — вот кто! Они там вынесли решение, что я неподходящая жена.—Она побледнела от злости и расплакалась по-настоящему. — И они правы... Вы сами говорили мне, что Круглов для меня не пара. Да, он грубый, низкий человек. Я была слепа. Я не видела, что он способен променять меня на первый протокол. Он некультурный, ограниченный человек.

Еще недавно Костько так ждал этих слов! Но теперь он только втянул голову в плечи и отвел глаза. Или он тоже не верит ей больше?

— Мне надо покончить с собой! — решительно сказала она. — Я вас позвала... У вас есть револьвер?

И вдруг Костько рассмеялся. Он смеялся и целовал ее руки, она отнимала руки, сердилась и сама невольно смеялась злым, истерическим смехом.

— Вы?! Вы — покончить с собой?! Вы—такая красивая? Вы — такая трусиха?

— Так что же мне делать?

Костько опустил голову.

— Мне тяжело отвечать вам, Дина. Я режу самого себя. Но я должен сказать правду. Вам надо уехать, Дина, и уехать как можно скорее. Если вам нужна помощь...

Дина брезгливо отстранилась.

— Деньги? Зачем мне деньги? Круглов дает больше, чем мне нужно. — Она вздохнула. — К тому же мне уже ничего, ничего не нужно!..

Она поняла, что Костько ничего больше не предложит. Он, который еще так недавно не смел и мечтать о возможности жениться на ней!

Ей хотелось знать, что же он думает делать без нее.

— Довольно обо мне, — скромно сказала она. — Я уеду. Может быть, я научусь жить иначе. А вы, Костько? Вы были мне другом. Что же вы думаете делать?

Румянец покрыл его щеки. Он выглядел совсем юным. Сколько ему лет? Дина всегда забывала спросить, но сейчас ему нельзя было дать больше двадцати пяти.

— Во-первых, надо построить доки, — сказал он радостно, с таким видом, как будто он один будет их строить. — Это такая работа! В центре я бы никогда не получил такой самостоятельности. Такой масштаб! Драченов доверил мне целый участок... У меня сейчас такое впечатление, что я сам слышу свой рост. Вот расту и расту, как дерево. — Он нежно улыбался, в глазах вспыхнули теплые юношеские огоньки. — А потом у меня еще мечта... Вы знаете, здесь будет строиться металлургический завод. Я хочу перейти на домны. Вы никогда не видели сборку домен? Это изумительно красивая, тонкая работа. И если я хорошо справлюсь на доках, я добьюсь того, что мне дадут домны...

Дина подняла брови. Ее тонкие пальцы дрожали.

Костько, видимо, понял. Ему стало стыдно. Он приник лицом к ее дрожащим пальцам. Как-никак он любил ее два года. Он укорял себя за бесчувственность.

— Дина, я виноват! Я виноват перед вами. Я никогда не рассказывал вам о работе, никогда ничего не показывал вам. Я знаю, вы сами увлеклись бы, вы бы поняли...

— Увлечься сборкой домен?!—Она оттолкнула Костько. Ее охватил гнев. — Уходите! Уходите! Вы ничем не лучше Круглова. Нет, вы хуже, в тысячу раз хуже. Он благородный человек, он никогда не лгал мне, он писал мне в первом письме: «Я оправдаю доверие комсомола». Я сама не сумела понять, что он за человек. А вы пол-

зали на коленях, клялись, упрашивали: «Вы — вся моя жизнь», «Я дышу только вами». Уходите! Убирайтесь, а то я вас ударю!

Костько привык к этим приступам гнева. Но сейчас он обиделся и рассердился.

— Ну что ж... Прощайте! — сказал он, низко склонив голову, и вышел.

— Костько! — испуганно крикнула Дина.

Он не вернулся. Она видела в окно, как он прошел по мосткам. Вид у него был огорченный, но совсем не такой несчастный, как того хотелось Дине.

Она бросилась на постель и разревелась всерьез. Она впервые поняла, как все гадко вышло и как она одинока.

## 33

Поезд на полном ходу прошел Кизиловку. Сергею достаточно было взглянуть мельком, чтобы увидеть и потемневшее, хорошо знакомое станционное здание, и старую водокачку, и прежнюю толстую стрелочницу на путях. Только дежурный по станции был новый, молодой, в аккуратной форменной одежде, и станция будто помолодела вместе с ним — появились цветники у перрона и свежий дощатый настил. «Принарядилась старуха», — подумал Сергей и жадно приник к оконному стеклу.

Все было знакомо до мелочей. Он заранее говорил себе: сейчас будет поворот — и был поворот; сейчас гудок — и гудел гудок; замедление хода — и поезд послушно замедлял ход. Черные вспаханные поля лежали по обе стороны пути. Сергей знал их: вот сейчас будет овраг и речушка, куда они с Пашкой Матвеевым бегали в детстве, а за речушкой — невозделанное поле, поросшее кустарником, где играли в войну. Уже мелькнула речушка с новым мостиком, а кустарника все не было. Может быть, он забыл, ошибся? Вспаханные поля лежали, сколько глазу видно, ровные, жирные, без единой межи, чуть тронутые зеленью первых всходов.

А вот уже хибарка путевого обходчика, а вот огороды, палисадники, красная крыша Совета.

Сергей схватил вещи и вышел в тамбур.

Он стоял на подножке, вытянув голову вперед, к наплывающей на него серенькой станции с молодой, весенней зеленью...

Сжавшееся сердце вдруг застучало, забилось — он увидел отца. Оторвавшись от толпы встречающих, отец

без шапки бежал по перрону навстречу поезду. Сергей вглядывался в него, и моложавость отцовского лица так поразила его, что он не догадался спрыгнуть на ходу и только кивал головой и улыбался, а отец бежал рядом, уже за поездом, и что-то кричал на бегу. Сергей, как в тумане, заметил, что на перроне много народу. Потом он узнал мать и прыгающих от нетерпения сестренок (как они выросли!). С последними оборотами колес грянул на перроне оркестр.

Под звуки марша Сергей спрыгнул и сразу оказался в объятиях отца и ощутил под губами шершавую, жесткую кожу отцовских щек. А сбоку налетели сестренки, и нежные, облегчающие руки матери охватили его шею, и счастливые глаза матери, подернутые слезами, заглянули ему в глаза... Дома! Конец скитаниям, несчастьям, страху... Дома!..

— Ну-ну, мама! Чего ты плачешь? — говорил он, обнимая мать, и спросил, чтобы рассеять волнение первых минут: — А это кого встречают?

И вдруг раздался смех. Сергей отшатнулся, еще не понимая, но уже охваченный смятением. Он увидел вокруг десятки знакомых оживленных лиц, увидел комсомольского секретаря, с которым вместе подрастал, учился в фабзавуче, в комсомоле, в депо... и молодого кочегара отцовского паровоза Свиридова, приветствовавшего его широкой улыбкой.

Сергей глядел на них испуганно и растерянно. Но уже не было пути к отступлению. Все намеченное должно было свершиться независимо от его воли.

Марш оборвался. Свиридов взмахнул кепкой и крикнул звонким счастливым голосом:

— Дальневосточному герою и сыну героя — ура!

Растроганный отец кричал «ура» со всеми, а потом, потянув к себе сына, хвастливо сказал:

— Вот как, сынок! Пока ты там геройствовал, твой батька тоже в герои попал. Первый ударник и удостоился от правительства почетного звания Героя Труда.

Мать заторопилась рассказывать:

— Уже месяц, как звание получили. В клубе справляли, старик речь в стихах сказал... А тут как раз и твоя телеграмма, что едешь в отпуск... Уж как мы радовались!

Сестренки, перебивая мать, сообщали:

— Патефон подарили с пластинками. Цветов кучу — папа в книжках засушил. Грамота какая, в рамке!..

Стиснутый со всех сторон друзьями, Сергей беспомощно позволял обнимать себя, пожимая руки, отвечал на поцелуи, что-то говорил и спрашивал... Он улыбался потому, что так надо было, но в то же время какая-то странная сильная дрожь, начавшись в коленях, поползла по его телу, скривила его рот, холодом прошла по спине... Дрожь была единственным реальным ощущением, все качалось в тумане, и, как из тумана, доносились до него слова комсомольского секретаря, произносившего речь:

— Мы гордимся, что через тебя и Пашу Матвеева наша ячейка тоже участвовала в героическом освоении Дальнего Востока... Семья Голицыных — гордость нашего депо.

Сергей томился желанием поскорее уйти, остаться одному, опомниться, понять, что случилось, унять невыносимую дрожь. Но отец, блестя ликующими, помолодевшими глазами, настойчиво шептал:

— Речь скажи, сынок... Речь скажи... Хоть пару слов скажи...

И Сергей сказал чужим, напряженным голосом:

— Спасибо, ребята, за встречу. Но я совсем не герой, работал, как и все. Если всех так встречать, оркестров не хватит... Ну вот и все. Увидимся вечером в клубе...

Теперь дрожь охватила его всего, и когда он нагнулся за вещами, то не мог затянуть ремень.

— Эк ты разволновался! — сказал над его ухом любовный голос Свиридова, и руки с черными от угля трещинками мягко отстранили его. Свиридов понес вещи, отец взял под руку, с другой стороны прижалась мать, впереди бежали сестренки, кругом шли друзья, играл оркестр...

Очутившись в комнате, Сергей сел в кресло и закрыл глаза.

— Устал, Сереженька? — спросила мать и погнала сестренок из комнаты.

Сергей слышал, как шептались за стеной сестренки, как спорили мать и отец, похудел ли он или только устал с дороги, слышал хозяйственную возню на кухне.

Дрожь постепенно затихала. Но от этого еще невыносимее показалось Сергею страшное двойственное положение, в которое он сам себя поставил. Что же делать? Если бы не встреча, еще могло бы хватить сил честно признаться отцу, Свиридову, друзьям. Но теперь, когда он принял встречу, музыку, поздравления, сам сказал речь, — что делать теперь? «Еду в отпуск». После восьми месяцев ски-

таний он надеялся, прикрывшись отпуском, провести дома хоть месяц, отдохнуть, подумать, принять решение.

Он раскрыл глаза и огляделся. Он еще не понимал, что изменилось в родном доме, но с домом произошло то же, что с отцом: он помолодел. Сергей понемному открывал новшества, омолодившие комнаты: новые обои, голубое покрывало на кровати, вышитую скатерть на столе поверх знакомой с детства клеенки, грамоту под стеклом, окруженную цветами. Он подошел к грамоте, усмехаясь, но тотчас же все та же дрожь прошла по телу: вспомнился оркестр на перроне, и речи, и ликующие глаза отца, и ласковые, в черных трещинах, руки Свиридова.

Сергей быстро обернулся на шорох у двери. Мать заглядывала в щелку — не спит ли он. Увидав сына на ногах, подошла к нему на цыпочках, взяла рукой за плечо, зашептала:

— Уж как хлопотал старик, чтобы встречу тебе сделать. В комсомол целую неделю бегал, как на службу. Свиридову покоя не давал — всех дружков твоих обегал, музыкантов пивом угощал — хотел, чтоб торжественность была. Он тебе сказывать не велел. Да ведь все одно — ребята скажут!.. А старик все блажит. Он у нас нынче в большом почете, от народного комиссара телеграмму получил, три премии за год... Банкет делали...

Она смолкла, потому что вошел отец. Увидев отца в домашней обстановке, Сергей сразу понял, что молодило его: отец снял усы. Но, кроме того, в его лице было новое выражение ликующей радости, вызванной, очевидно, и приездом сына, и званием Героя Труда, и общим уважением окружающих.

Тимофей Иванович подмигнул сыну и не спеша завел патефон. Сергей вздрогнул от ворвавшегося в тишину взволнованного женского голоса:

Пускай погибну я...

Отец слушал, сложив руки на коленях, следя взглядом за сыном. Сергею хотелось разреветься, как в детстве. Он пошел мыться и долго плескался в кухне, чтобы не возвращаться в комнату, под любовный взгляд отца.

Мать принесла расшитую узорами веселую косоворотку:

— Надень, сынок, тебе к приезду вышила...

Мать взяла его за плечи, потянула к себе, прижала, сказала тихо:

— Ну, вернулся, значит?

И, словно стыдясь своей чувствительности, отодвинулась от него и заговорила вполголоса, чтобы не слыхал отец:

— Я Матвеевым не сказала, что ты приедешь, и к нам не звала: уж очень горько им будет, на нас глядючи... А ты, как пообедаешь, сходи к ним. Легко ли им, уже скоро год, и ничего толком не знают. Хоть бы расспросить у кого — и то отрада сердцу. Так ты уж сходи, погорюй с ними.

Но Матвеевы прибежали сами. Не успел Тимофей Иванович чокнуться с сыном стопкой вина, как в комнату вбежала старуха Матвеева, а за нею вошел, по-стариковски передвигая ноги, и сам Матвеев — механик из мастерских. Сергей даже не сразу узнал их: так постарели и съежились оба.

Они разом остановились, увидев нарядно убранный стол, стопки в руках обедающих, патефон на табурете возле Тимофея Ивановича.

Матрена Спиридоновна густо покраснела: до того неуместно и стыдно показалось ей их семейное торжество перед горем двух одиноких стариков.

Но Матвеевы тактично поклонились и поздравили с приездом. Старуха поцеловала Сергея, всем поклонилась и молча села в сторонке. Старик, сдерживаясь, по-мужски потряс руку Сергею, чинно приветствовал Матрену Спиридоновну и Тимофея Ивановича, чинно сказал:

— Хлеб да соль. Извините, что не вовремя. Кушайте, выпивайте. Мы со старухой подождем.

И вдруг заплакал. Он плакал, стыдясь своих слез, отворачивая лицо, и в лад ему всхлипывала жена.

Сергей стоял, все еще держа в руке стопку.

— Я собирался к вам после обеда, — неуверенно сказал он. — Паша вспоминал вас перед смертью.

Он солгал невольно, по первому побуждению... Но эта ложь вывела стариков из состояния молчаливого горя.

— При тебе это было, был ты около него? — спросила старуха, перестав плакать.

И Сергею пришлось рассказать, как все произошло, как несли Пашку по тайге в лагерь, как сидели около него всю ночь, как хоронили, как ударно, в честь Пашки, скатывали лес... Старуха разрыдалась, и Матрена Спиридоновна увела ее в спальню успокаивать. Старик, наоборот, как-то оживился, подсел к столу, выпил за здоровье Сергея. Но в его трясущихся руках и мигающем взгляде

была такая глубокая старческая беспомощность, что Сергею было страшно смотреть. Сергей вспомнил Пашку так, как давно не вспоминал, — живого, грубоватого, всегда веселого, с украинскими прибаутками и крепкими словечками, готового к любой работе и к любой забаве. Вспомнился летний день, когда солнце золотило речку и бревна и Сема Альтшулер казался карликом с волшебным жезлом, а Пашка был, как всегда, в самой гуще работы, и над рекой неслись его выкрики, полные безобидной ругани и подбадривающих шуток. И сразу вслед за этим вспомнилось другое: товарищ Цой в тесном кругу комсомольцев, торжественное вставание в честь незнакомого комсомольца Матвеева, погибшего на посту, низкий потолок барака, неровный свет лампы, молчание, строгое лицо Галчонка с опущенными глазами.

По его щекам текли слезы. Он не скрывал их. В конце концов эти слезы накипели давно. Как еще он выдержал все эти месяцы, и встречу с отцом, и оркестр, и подарок матери!

Старик Матвеев обнял его и сказал растроганно:

— Не плачь, Сережа. Нам тяжело, и тебе нелегко было. Не плачь. Ты новых друзей найдешь, а нам со старухой недолго коротать осталось.

Сергей выбежал из дому и вдохнул весеннюю свежесть вечера. Но облегчения не было. «Что же это? — думал он. — Значит, никакого отдыха не может быть, все надежды — вздор, и надо снова бежать, бежать, бежать... Но куда?»

Из темноты вынырнула светлая тень, — вынырнула и прижалась к забору.

— Сережа! — не столько услышал, сколько почувствовал Сергей.

Ну да, это она, Груня, милая, простая девушка с пушистой косой... Когда-то он так робел перед ее серыми глазами, перед простодушной улыбкой и детским звонким голосом.

Сам себе удивляясь, Сергей сказал смело и грубовато:

— Выходи, выходи, не прячься. Покажись, какая ты стала.

Светлая тень неуверенно приблизилась. Сергей слышал, как она часто, взволнованно дышит.

— Не забыла меня, Груня?

— Ну что ты...

С новой для самого себя развязностью Сергей взял ее

под руку и ласково потрепал ее косу. Коса была пушистая, растрепанная, мягкая.

И голос мягкий:

— А ты, Сергей, и думать про меня забыл?

Это не имело значения, вспоминал ли он ее, любил ли. Она была тут — простая, милая, нетребовательная. С нею можно болтать о чем придется, и все будет умно и значительно и она примет его таким, какой он есть, ничего не требуя, ничего не ожидая.

Они вышли за поселок в поле.

— А я весь год готовилась, как тебя встретить, — сказала она важно.

— Это у забора-то?

— Ну вот, глупый. Я серьезно говорю. Я много о тебе думала.

— И что же ты надумала?

— А вот что. Только ты не смейся, Сереженька. Я не могу говорить, когда ты смеешься. Это очень серьезно.

— Смотри на меня — ни тени улыбки. Говори.

— Видишь... Я думала: что я такое? Что во мне есть? За что Сергею любить меня, когда во мне ничего нет?

— Ну, вот так серьезно! А у кого глаза серые? У кого коса пушистая? У кого губы вот такие?..

Он хотел поцеловать ее, но она оттолкнула его без притворства. Она была взволнована.

— Да ты что?

— Я же тебе сказала, я серьезно. Ну что я была? Семнадцатилетняя дурочка, и все. Только коса да глаза, как ты говоришь.

— Разве это мало?

— Мало.

— А ты что же хочешь — профессором быть?

— Нет, — торжественно сказала Груня. — Только теперь я — комсомолка.

— Ну... — растерянно протянул Сергей и почувствовал, как снова зарождается в ногах мучительная дрожь.

— Вот тебе и «ну», — весело сказала Груня. — И это еще не все. Я теперь пионервожатая, у меня целый отряд, курсы кончила. В международную детскую неделю обо мне в газете статья была.

Они стояли в темном поле. Прокричал паровоз. Недалеко от них по невидимым рельсам промчался товарный поезд. Они видели только светлое окошечко паровоза, искры, улетающие в поле, и яркий луч, устремленный вперед.

— Твой папа покатил.

— Узнаешь?

— Я его всегда узнаю...

Сергей не смел обнять ее. Этот проклятый озноб... даже руки дрожат... Только бы она нс заметила. Но Груня сама обняла его, припала к нему нежным движением и быстро, как будто боясь что-нибудь забыть, заговорила:

— Я ведь тебя по-хорошему, Сережа... по-настоящему... Я о тебе весь год думала... До отъезда твоего я так, просто, — веселый ты, нравился мне, ну и гуляла... А теперь я полюбила тебя — за то полюбила, что ты смелый, что ты герой, что ты не побоялся...

Сергей резко отодвинул ее от себя.

— Значит, — сказал он, плохо сдерживая отчаяние и злобу, — значит, ты любишь не меня, какой я есть, а героя, комсомольца, ударника, только не меня?

И, сказав это, израсходовал все силы, державшие его на какой-то последней грани, за которой должно было начаться исступление.

Он услышал ее смех — глупый, счастливый, беззаботный смех девочки, уверенной, что ее любят.

— Чудак, вот чудак! Да разве ты можешь быть другим, не таким, какой ты есть?

Сдерживающих сил уже не было. Но еще можно было спастись молчанием.

— И ты знаешь, Сережа, я своим ребятам рассказала о тебе на сборе. О том, что ты строишь большой город в тайге. Они завтра придут к тебе, на беседу приглашать, с цветами придут.

— Что-о?

«Кончено. Прорвалось. Не сдержаться. Кончено». Потом он смутно помнил, что оттолкнул ее и кричал:

— Дура! Интриганка! Детей натравила? Доконать хотите? — и, сам ужасаясь происходящему, побежал обратно к поселку, изредка оборачиваясь, чтобы крикнуть еще что-нибудь оскорбительное.

Где-то сзади, в темноте, громко, навзрыд плакала Груня. Он знал, что надо вернуться, и не мог. Он сам не помнил, как он попал в клуб, как посылал за водкой. Пили водку в углу сада, в беседке, и Сергей хвастался, что он герой. Потом размяк, бил себя по голове и пьяно каялся, что он подлец. Подвыпившие товарищи под руки свели его домой, посмеиваясь над его пьяным бредом.

Матрена Спиридоновна ахнула, увидав во дворе упи-

рающегося, грязного, разбуянившегося сына. Она повела Сергея в дом и на пороге прикрикнула:

— А ну, потише! Девочек разбудишь.

Сергей, качаясь, на цыпочках прошел в комнату, но там, потеряв равновесие, повалился как был, в сапогах и заплеванной одежде, на голубое покрывало.

Нежные руки матери раздели его, уложили, освежили голову мокрым полотенцем.

Всю ночь мать сидела около него, сменяя полотенца и вытирая его мокрые, безвольно открытые губы. Просыпаясь, Сергей встречал вопросительный и обожающий материнский взгляд. Он искал ее руку и нежно сжимал ее. А мать целовала его грязную руку и тихо плакала от нежности к этому большому, новому, не похожему на прежнего сыну.

Первые сутки дома остались в памяти Сергея как кошмар. Следующие дни он отдыхал, стараясь уединиться от всех. Он ничего не делал, только читал книгу за книгой. Лежал в густой траве на берегу реки, смотрел в небо, ловил шорохи листьев и журчание воды у прибрежных камней. Он не только не сблизился с прежними друзьями, но отдалился от них, — он так упорно избегал их, боясь расспросов, что друзья обиделись и забыли его.

Только кочегар с отцовского паровоза, Свиридов, иногда приходил на речку, фыркал в воде, ложился рядом с Сергеем и говорил любовно:

— Притомился? Ну лежи, лежи...

Свиридов снабжал Сергея книгами, которых он читал множество. С ним Сергею было легко, потому что Свиридов перенес на Сергея любовь, которую чувствовал к старику Голицыну. За год Свиридов и старик очень сдружились. Сергей догадывался, что их сблизили его отсутствие и разговоры о нем. Свиридов учился на машиниста, и старик с гордостью говорил: «Моей выучки будет, голицынской...»

Свиридов был молчалив и мечтателен. Сергей открыл в нем трогательную нежность к природе. Большой краснощекий парень с угольной пылью в морщинах кожи ласково слушал тишину, приглядывался к оттенкам неба и дроблению света в листве; он сажал на ладонь букашек, жучков, улиток, подолгу рассматривал их и указывал Сергею на их повадки, на способы самозащиты; он умел свистеть через травинку и различал птиц по голосам; он много знал и рассказывал Сергею о жизни птиц, зверей, растений. Казалось, в природе нет секретов для Свири-

дова, и потому Сергею было странно видеть его на паровозе, в угольной пыли, у машины, жившей своей, особенной, машинной жизнью, такой далекой от жизни птиц и трав. Но в Свиридове любовь к природе и к машине уживалась и даже сливалась в одно чувство, — он был вдумчив, умел видеть глубокие связи явлений там, где их видит только созерцательный и самобытный ум.

Иногда Сергей завидовал Свиридову, иногда посмеивался над ним. Ему казалось, что у Свиридова женский ум. Только у женщин он замечал эту способность воспринимать чувством и, нарушая обычную логику, тем не менее гораздо глубже и правильнее понимать жизнь. Слушая Свиридова, он вспомнил Галчонка и создал себе поэтический, нежный и глубокий образ, который потом уже не оставлял его.

Но к концу месяца он разошелся со Свиридовым неожиданно и бесповоротно.

— Уезжать скоро? — участливо спросил Свиридов.

Они лежали у самой воды. Сергей свесил руку и пропускал сквозь пальцы прозрачную чистую воду. Не отрывая глаз от воды, он сказал как можно равнодушнее:

— Не знаю, ехать ли. Стариков жалко. Да и призыв скоро. Может быть, договорюсь в комсомоле и останусь, на паровоз пойду.

Это была мечта, которую он лелеял весь месяц. Он хотел знать, что скажет Свиридов. Он не мог признаться, что ехать некуда и незачем.

Свиридов молчал.

— Ты как смотришь? — спросил Сергей, начиная раздражаться.

— Ты Молчанову говорил?

Сергей кивнул головой. Молчанов был секретарь комсомольской ячейки, и Сергей на днях сказал ему, что жалеет родителей, что отцу жить недолго и не хочется волновать его.

Свиридов вдруг сел и заговорил, и видно было, что он охвачен порывом решимости — быть откровенным до конца, чего бы ни стоило. Сергей снова вспомнил Галчонка, ее сбивчивую, тревожную, задушевную речь...

— Ты знаешь, как я к тебе отношусь. И знаешь, как старик тебя любит. Так ты ему худшее беспокойство сейчас доставляешь. Ты приехал не тот, что был. Разве не видно? Ты скажешь — устал. Мы все так и думали сначала. А только нет, не то. Мне иногда кажется, что болен ты или скрываешь что-то. И отец твой говорит: «Не пой-

му Сережку — как будто и умнее стал, и книги полюбил, и жизнь узнал, а в глаза не смотрит». О чем ты все думаешь, Сергей? Я вот прихожу к тебе, наблюдаю тебя весь месяц. Невесело тебе. Неспокойно.

— Так ты шпионить за мной приходишь? — со злостью бросил Сергей.

— Дурак ты, Сережка, — мягко сказал Свиридов. — По-дружески я смотрю, понять хотел. Отец ведь гордится тобой, вся жизнь его — в тебе. Ты бы посмотрел, что с ним было, когда насчет Пашки узнали. Сам не свой стал. И старухе показать боится, и перед другими стыдно, молчит, а сам осунулся, посерел весь, дряхлеть стал.

— Вот как раз наоборот: помолодел даже, — злобно прервал Сергей и сразу застыдился: от отлично знал, как беспокоился о нем отец.

Свиридов удивленно поглядел на приятеля и отвернулся. Когда он заговорил снова, его голос был сух и недружелюбен:

— Вчера Молчанов приходил к твоему отцу, предлагал, если старик хочет, задержать тебя. А знаешь, что старик ответил? Я, говорит, удостоен звания Героя Труда, и я не баба, чтобы отрывать сына от социалистической пользы, мы со старухой скорее сами на Дальний Восток поедем, чем сына задерживать.

Сергей положил голову на руки, чтобы Свиридов не мог увидеть взволнованное, пристыженное выражение его лица. Он знал, что отец не мог ответить иначе. И он сам хотел быть таким же, но он не знал, как разрубить опутавшую его сеть.

— Я тебе прямо скажу, — продолжал Свиридов, — не нравишься ты мне, и не усталость это, и не стариков тебе жалко. А ты раскис, ты трудностей не хочешь, ехать не хочешь, и прямо не говоришь, а виляешь, предлоги выдумываешь. Верно я говорю, Сергей? Скажи!

Сергею хотелось облегчить душу, все рассказать, свалить с себя тяжелый груз проклятого одиночества. Но вместо этого он сказал с ядовитой улыбкой:

— Тебе, конечно, легко рассуждать, как это в болоте да в холоде жить.

Свиридов сказал спокойно:

— Я дважды писал заявления в обком, чтобы меня послали на Дальний Восток.

Ужасная мысль осенила Сергея: Свиридов поедет и все узнает. Он еще раз подумал: «Надо рассказать ему теперь же, и уехать вместе с ним, и все загладить... Сви-

ридов поймет». Но сила инерции заставила его сказать:

— Поезжай, а тогда говори. Такие храбрецы, как ты, первыми из болота убегали, чуть промочат ноги.

И он поднялся, бросил Свиридову взятую у него и недочитанную книгу и пошел прочь. Обидные слова не облегчили его, потому что злился он на самого себя.

С тех пор Свиридов больше не приходил на их излюбленное место у реки.

Прошли последние дни, и Сергей стал собираться в дорогу. Накануне отъезда он прочел в толстой книге красивую легенду об Агасфере — вечном страннике, носителе вечного проклятия. Легенда потрясла Сергея. Впервые в жизни он не мог уснуть всю ночь от страшных мыслей. Не он ли этот жалкий странник, не находящий нигде успокоения? От родной станции до Сахалина — везде растут люди, растут великие дела, создаваемые свободными и веселыми людьми. Люди живут в труде и почете. А он? Трусливым, позорным шагом он обрек себя на одиночество и проклятие в этом мире, таком близком ему, где он стал чужим.

Его провожали только родные и Свиридов. Отец смотрел как-то растерянно. Он сразу постарел, не находил слов. Мать плакала, и в ее глазах тоже дрожал немой вопрос. Свиридов молчал. В последнюю минуту он вскочил на подножку и сказал, схватив Сергея за руку:

— Если я ошибся, ты прости! Будь здоров!

Сергей ушел в вагон и забрался на свою полку. Он не знал, куда он едет и зачем. Где начнет он новую полосу своей бессмысленной жизни? Какие странствия и удары ждут его завтра?

За окном тянулись жирные, без единой межи колхозные поля, светло зеленеющие молодыми всходами. Поезд прибавлял ходу.

## 34

Сема Альтшулер сидел на ступеньке больничного крыльца и ждал. Тоня рожала. Вчера днем он привел ее сюда, увидел в последний раз ее расширенные строгие глаза, сдал ее врачу.

Он волновался уже тогда, но вчерашние волнения были ничтожны перед тем, что пережил он позднее. Роды были очень трудными, и мать и ребенок были в опасности.

Увидев испуганное, виноватое лицо врача, Сема побежал к Драченову. Драченов не удивился, что его разбу-

дили ночью из-за трудных родов комсомолки Васяевой. Он оделся и поехал с Семой к прямому проводу. Пока Драченов разговаривал с Хабаровском, Сема сидел в машине в полном смятении. Что может сделать Хабаровск, когда жизнь Тони в опасности сейчас, сию минуту?

— Спать тебе не придется,—сказал Драченов шоферу, усаживаясь в машину. — В пять часов поедешь в аэропорт: летчик Мазурук вылетает на рассвете с профессором.

Сема всю ночь сидел на ступеньке. Он с мольбой смотрел в темное небо, торопя рассвет. Потом, в аэропорту, он с мольбою смотрел в светлеющее небо, торопя самолет.

— Будь спокоен, — говорил шофер. — Раз Мазурук обещал — значит, будет.

— Гудит! — время от времени восклицал Сема, но это был самообман.

Стояла глубокая предутренняя тишина. Туманная дымка смягчала и без того бледные рассветные краски. Неподвижно лежал спокойный, как озеро, Амур... Вдруг по этой неподвижности, как вздох пробуждения, прошел ветерок. Дымка стала рассеиваться. Розовый свет упал на мачту и сигнальную колбасу. Второй глубокий вздох зарябил ожившую воду. И утро, светлое, прозрачное, несказанно нежное, поднялось над рекой, над тайгой, над спящим городом.

— Смотри! — воскликнул шофер.

И Сема увидел, как очень далеко в призрачно-светлом небе блеснула на солнце серебряная точка. И сразу уловил еще совсем смутный говор мотора.

Серебряные крылья с голубой каймой были все ближе. Тишину заполнил торжествующий гул. Самолет пошел на посадку; его крылья и гондолы были розовы от утреннего солнца. Всплеснула вода, задетая полетом металлической чайки, потом еще и еще, все сильнее всплески, и вот чайка врезалась в воду, разбрасывая вокруг сверкающие брызги, и уже видно в стекле кабины уверенное лицо летчика.

Самолет подрулил к берегу. Перекинуты мостки... Сема взбежал по мосткам, а навстречу ему вышел летчик. Его светлые волосы были так же розовы, как самолет, как самый воздух.

— Вовремя? — спросил летчик, и в его глазах мелькнуло удовлетворение: он вылетел задолго до рассвета и знал, что прилетел в рекордный срок.

Сема бросился к нему на шею, и летчик охотно при-

нял поцелуй, так как знал, что его крылья везли спасение.

— Отец? — спросил он.

— Отец! — подтвердил Сема и метнулся подать руку маленькому профессору, вылезавшему с чемоданом из гондолы.

Летчик не обиделся, когда Сема и профессор побежали к автомобилю, забыв попрощаться. Он смотрел им вслед и от всей души желал, чтобы профессор сделал свое дело так же хорошо, как он сделал свое.

Профессор пробыл в больнице больше часа, прежде чем позвал Сему.

— Очень трудные роды, — сказал он вполголоса, оглядываясь на дверь, за которой лежала Тоня. — Можно попробовать операцию, но тогда спасти ребенка не удастся. Как вы — согласны?

Семе хотелось крикнуть: «Лишь бы она была жива!» Но он спросил:

— А что говорит она?

— Она хочет сохранить ребенка, — сказал профессор. — Благополучный исход возможен, но ручаться я не могу.

— Пусть будет так, как сказала она, — пересохшими губами выговорил Сема.

И снова потянулись часы ожидания.

Розовое утро сменилось днем, полным солнечного блеска. Где-то неподалеку от больницы нестройно, наперебой гудели духовые инструменты. Оркестр? Днем? Ах да, сегодня в три часа митинг по случаю призыва в Красную Армию. Геньчик тоже призывается... А на митинге должен выступать Сема Альтшулер.

Он не знал, что будет в три часа. Будет ли он жив? А она? Он-то будет! А она? Все мысли были прикованы к Тоне, к тому страшному и естественному акту, в итоге которого, может быть, жертвуя собою, Тоня даст жизнь будущему человеку.

Хотел ли он, Сема (совсем искренне, положа руку на сердце), чтобы будущий человек родился и жил? Сильнее всего он желал, чтобы жила Тоня. Но и того, маленького, желал тоже. Из-за него так много выстрадано, что сердце привязалось к нему заранее. В нем чужая кровь?.. Но что значит кровь перед тревогой и болью вот этих часов!..

После той ночи, когда Морозов подсказал Семе решение, прошло много дней. Эти дни были не так уж легки. Пропасть закрылась, но трещина осталась. В самые

счастливые мгновения где-то в глубине дрожали накипающие слезы и, проявляя самые нежные заботы о Тоне, Сема делал внутреннее усилие, чтобы преодолеть протест мужского самолюбия, не желавшего мириться с тем, с чем уже примирились ум и сердце.

Если трещина все же не увеличивалась, а постепенно уменьшалась, в этом была заслуга Тони. Она заставляла Сему гордиться и восхищаться ею. Бесстрашная и гордая, она ходила с независимо поднятой головой, с выражением счастья и довольства в определившемся, строгом лице. Она нисколько не стеснялась своей беременности и проходила на глазах у всех, выпрямив спину, выпятив круглый живот, и беременность не безобразила ее, а придавала ей какую-то особую материнскую статность и величие. Весь ее вид, казалось, говорил: «Я мать, я права, я горжусь своей правотой». Она очень похорошела.

Сема обожал ее за эту спокойную, величавую уверенность.

Но месяца два назад случайно ему пришлось услышать грязные игривые пересуды насчет Тони. Сема знал, что таких пересудов не могло не быть, но он их до этого не слышал. И вот они дошли до него — и от кого же? От чудесных парней из бригады лесогонов, которых он любил и которые любили его.

Парни не видели Сему и злословили добродушно, по дурной привычке, которая еще не вывелась и среди лучшей молодежи. У Семы потемнело в глазах. Если бы у него был револьвер, он выстрелил бы в них.

Он ринулся в середину группы, выхватил из кармана свой обыденный самодельный нож и, вскинув над головой руку с ножом, вытянувшись во весь свой маленький рост, сказал громко и раздельно:

— Первого, кто скажет еще слово, заколю на месте!

Никому не показалась смешной его угроза.

И пересудов больше не было.

Но Сема, вспоминая эти гнусности, каждый раз дрожал от омерзения и желания защитить свою честь ножом, кулаками, зубами — любыми средствами боя. Желание было тем сильнее, что Сема и сам страдал от двусмысленности своего положения. Но ему помогали одобрением и поддержкой и Круглов, и Генька, и другие приятели. Генька сказал с дружеской прямотой:

— Я бы, Семка, удавился, а не смог бы... Но если бы кто сказал мне, что ты поступишь иначе, я б набил ему морду.

Тоня была вполне счастлива. Она конечно, знала, что трещинка еще существует, но верила, что она зарастет. Близость родов вызывала у Тони приподнятую торжественность мысли. Она гордилась собою и тем, что ей суждено дать новому городу первого гражданина. Она педантично выполняла все предписания врача, но работала до самых последних дней, и никто не мог убедить ее, что работать не надо.

— Ничего, Семен Никитич. Вот Павлушу выхожу, а там и на покой.

— Еще недельку, Семен Никитич. Вы же видите, Митя ко мне привык, как же мне его бросить.

Так отвечала Тоня — и была права. В эти месяцы беременности она давала больным столько тепла и покоя, что была действительно очень нужна им. Она переносила на них пробудившееся материнское чувство. Ее уверенные нежные руки ловко делали уколы и компрессы, ставили горчичники и банки, растирали, поднимали, переворачивали больных. «Наша Тоня» — так называли ее в больнице.

— Если вы не пойдете учиться на врача, — говорил ей Семен Никитич, — я с вами больше не знаком; это будет величайшая глупость, — да нет, не глупость, а преступление.

— Посмотрим, — отвечала Тоня. — Сначала достроим город.

Она не знала, что будет делать потом. Ее мечты были смелее и глубже, чем мечты о помощи больным. Она хотела помочь всему миру. Всем, кто борется, терпит поражение и не отчаивается, а снова копит силы для того, чтобы победить. Пойти бы в подполье, на баррикады... В грядущей борьбе двух миров ей хотелось занять самое трудное, опасное, решающее место. Ее не удовлетворяла перевязка ран, — ей хотелось сражаться как бойцу.

За несколько дней до родов она прекратила работу в больнице, но продолжала вести подвижную, деятельную жизнь, подготовляя все мелочи для будущего ребенка.

Роды не страшили ее, — во всяком случае, Сема не замечал у нее ни страха, ни волнения...

Ее поместили в ту самую комнату, где она когда-то выхаживала Сему.

— Вот мы и поменялись местами, — сказала она, когда ее уложили. — Иди, родной. И не волнуйся. Ты же видишь, я совсем не боюсь.

С тех пор прошло около суток. Она лежала там, за стеною больничного барака, борясь со смертью за жизнь свою

и ребенка. А Сема сидел на ступеньке, бессильный помочь, помертвевший от страха и усталости. В муках рождался первый гражданин нового города, в муках физических и духовных. «Не так ли и вся жизнь? — думал Сема. — В муках и борьбе возникает новое общество. И рабочий класс не только уничтожает эксплуататоров — он в борьбе очищает самого себя от наносов прошлого, переделывает себя, чтобы войти в новый дом полноценным и чистым. И я очищал себя, ломал себя, давил в себе недостойное, мелкое, грязное... И Тоня... Разве виновата Тоня, что Голицын привез с собой в новый город мелочный эгоизм прежних человеческих отношений? И разве он один такой? А Коля Платт и другие дезертиры? А лесогоны, чудесные парни, — как повернулся у них язык болтать гнусности, лишенные уважения к человеку, к товарищу, к женщине? Ничего, — успокаивал он себя, — ничего, это отсеется, перемелется, будет вытравлено, как ржавчина. И я добьюсь того, что мой сын — да, да, он мой, а не Голицына! —что он будет шагать по Новому городу своими маленькими ножками и будет встречать одни улыбки и ласковые слова, и никто не посмотрит косо — или им придется иметь дело со мной!»

Задремал ли он или просто глубоко задумался?

Семен Никитич тряс его за плечо.

Они смотрели друг на друга. Сема ничего не мог разобрать. Умерла?.. Лицо Семена Никитича было бледно и дрожало.

— Что? — крикнул Сема, но вместо крика вырвался еле слышный хрип.

— Бла-го-по-лучно, — сказал Семен Никитич, и челюсть его прыгала, и утомленное лицо было не способно выразить радость.

— Ну-с! — раздался за ним веселый бас, неожиданный в маленьком профессоре. — Ну-с, первый папаша, можете взглянуть на вашего гражданина. Прекрасный, замечательный парень и будет озорником — экий скандал поднял, чтобы выйти на свет!

Сему повели смотреть ребенка. Ребенок кричал с жизнерадостным азартом, широко разевая беззубый рот. У него были Тонины, смелого рисунка, брови, и Сема жадно ухватился за это сходство, чтобы не найти другого, возможного...

— А как Тоня?

— Ваша Тоня — героиня, — с удовольствием сказал профессор. — Я уж говорил ей — покричи, легче будет.

Так ни одного крика. А уж роды были — ой-ой-ой! Я таких трудных родов давно не видел.

Тоня была слишком утомлена, и Сему не пустили к ней. Он вышел на залитое солнцем крыльцо и привычно опустился на ступеньку.

За домами, вдалеке, грянул оркестр. Снова оркестр? Ах да! Митинг. Он вдруг вспомнил, что должен был выступать. В три часа. А сейчас сколько?

Было уже четыре. Не кончился ли митинг? Он сорвался с места и побежал. Он с трудом протискался сквозь толпу к деревянному помосту. Он увидел на помосте красивого и юного командира Красной Армии, широким жестом рук, как бы обнимающего всю толпу, всю стройку.

— Многие из вас, из вашего героического коллектива, — говорил командир, — уйдут в этом году в ряды славной Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Да, уходил Генька, лучший друг, и Тимка Гребень, и Костя Перепечко, и еще многие.

— Они пойдут защищать, оберегать ваш мирный, созидательный труд. Они переменят оружие, но смысл жизни останется тот же. Как здесь, вместе со всеми вами, они отдавали все силы для построения города обороны, так и в рядах Красной Армии они отдадут свои силы, а если понадобится, и жизнь, для обороны своей любимой Родины.

Сема увидел Геньку. Генька слушал, улыбаясь во весь рот.

— Спокойно отпустите ваших товарищей. Напрягите силы еще больше, чтобы дать Родине новые средства обороны быстрее и лучше. Работы у вас еще много, но и сил, как видно, немало. И я заверяю вас от имени Красной Армии, что Красная Армия вам поможет.

Хлопая вместе со всеми, Сема вскарабкался на помост.

Он требовал слова, страшно боясь, что уже поздно, что ему не дадут сказать. Слово ему дали. Но когда он вышел вперед, он вдруг забыл все то, что приготовил сказать, и другое, важное, волнующее всплыло в памяти, и он понял, что торопился сюда именно для того, чтобы сказать это важное, чтобы немедленно, окончательно, навсегда утвердить свои права на сына. Надо говорить о Красной Армии? Но кто скажет, что его сын не имеет отношения к Красной Армии? Кто посмеет сказать?

— Час назад у меня родился сын! — выкрикнул он и не мог продолжать — ему вдруг стало страшно, и он, не слыша рукоплесканий, искал в толпе знакомые лица и

чувствовал, что разразится слезами, если увидит хоть одну усмешку, хоть один косой взгляд. Вот бригада лесогонов... Они кивают ему и машут руками... Вот преданные глаза Геньки... со всех сторон дружелюбные улыбки, приветствия, выкрики... — Я знаю свою ответствениость, — звонко выкрикивал он, в упоении размахивая руками. — Большую ответственность! Да, большую, огромную, потому что наш мальчик — это наш первый гражданин, и на него будут смотреть все, какой он, этот первый! Но я обещаю вам, — ребята, друзья, товарищи! — я обещаю, что наш первый парень будет умным и бесстрашным, как богатырь, и город будет доволен. А когда придет время, я поведу его на призывной участок, как подарок Красной Армии, и Красная Армия будет довольна.

Командир стиснул его пальцы в крепком рукопожатии. Шумные аплодисменты прокатились по толпе из конца в конец.

— Товарищи! — раздался мощный голос Драченова.— Сообщение пришло как раз вовремя. Смотрите, вот он! Растет! Наш город! Наш завод! Наша социалистическая жизнь! Все видят? Все чувствуют? Поздравим же товарища Сему и друг друга с днем рождения нашего желанного первенца.

# Часть третья

## 1

Сергей Голицын уже два месяца работал на строительстве шоссейной дороги. Работа была тяжелая, но ему нравилось работать на воздухе, под летним солнцем, и нравились машины, которые укатывали гудрон, и самый запах гудрона, смоляной, терпкий, въедающийся в кожу.

На участок поступил новый землекоп. Сергей столкнулся с ним лицом к лицу и поспешно отвернулся, — ему были знакомы дерзкие, внимательные глаза, низкий лоб под свалявшимися русыми волосами и вялые губы, приоткрывавшие два ряда мелких желтых зубов. Где он встречал этого парня? Сергей не любил встречать знакомых людей, боялся расспросов и разоблачений.

— Э-э, земляк! — окликнул его парень, потянув за рукав. — Или не признал?

— Нет, не признал, — с досадой сказал Сергей. — Обознался ты.

— Ну, как бы не так. Неделю тебя ухой кормил, водкой поил — неужто забуду? Цельную ночь рядом с тобою греб, мозоли натер. Или у тебя память отшибло?

Сергей сразу вспомнил постыдные, бездельные дни на берегу Амура, вечернее пьянство в сарае Пака, стихи, которые Гриша Исаков выкрикивал с бочки, свое смятение и готовность остаться и осторожный голос из темноты: «Серега, по сходням не попасть. А тут лодка... объедем... пошли...» и плеск под веслами, и скорчившегося у руля Пака, и своего соседа с дерзкими, внимательными глазами и вялыми губами, налегавшего на весла.

— Из одной чертовой дыры земляки, — продолжал парень, — а признать не хочешь. Или ты как рассердился тогда, так и по сию пору не остыл? Товарищами были.

— Ну и ладно, — буркнул Сергей, отходя.

Он старался не встречаться больше с неприятным знакомцем, радовался, что парня назначили в другую бригаду. Но парень все поглядывал, подмигивал, норовил подойти, а вечером сразу подсел к Сергею:

— Или ты не хочешь старое житье-бытье вспоминать? Чего нос воротишь? Пока нужда была, Николкой звал, а нужда прошла — узнавать не хочешь? А я обрадовался — все родная душа встретилась...

— Моя душа для тебя не родная, — со злостью сказал Сергей. — И вспоминать тошно. Сманил ты меня, с толку сбил. До сих пор стыдно.

— А чего же стыдного-то?

Сергей не знал, уйти ли просто или начать объяснения. Но этот Николка прилипчивый — от него не уйдешь. Сплетничать начнет — еще хуже. Лучше объясниться. Не может быть, чтобы он хоть немного не чувствовал позора своего поступка.

— Извелся я с того дня, — сказал Сергей. — Ты ведь тоже комсомольцем был, понимать должен. Места себе не нахожу... Был я на Сахалине, во Владивостоке, в Иркутске, в Ярославле... дома месяц прожил... потом в Орле был... здесь уже третий месяц... Жизнь везде. Люди работают, в почете. Отец — Герой Труда. Везде достижения. А я что? Отщепенец какой-то! Кругом смотрю — сердце радуется, а на себя взглянешь — болеть начинает.

— Это с чего же? — спросил Николка, насмешливо приглядываясь к Сергею.

— Да ты что, совесть совсем растерял? — удивился Сергей. — Ведь дезертиры мы. Дезертиры социалистической стройки. Убежали ночью, как воры... Комсомольские билеты пропили... Неужели тебе не жалко?

— А пошел он... — флегматично отозвался парень.

Сергею было ясно, что разговаривать, убеждать, раскрывать свою душу — бесполезно. Но он уже не мог остановиться. Он говорил для себя впервые за все месяцы скитаний, и этот дезертир Николка был единственным собеседником, которому Сергей осмеливался говорить правду. Поймет или не поймет — неважно. Он рассказал Николке легенду об Агасфере, вечном страннике, носителе страшного проклятия, и сравнивал себя с Агасфером.

— Дурак ты, я погляжу! — зевая, сказал Николка. — Есть из-за чего казниться — из-за чертовой дыры! Нашел беду — из болота спасся. Ты, может, за свою жизнь тогда единственное умное дело сделал, а хнычешь!

— Сволочь ты! — крикнул Сергей, бледнея. — Я и тогда понял: кулак ты, кулацкая душа. Змея ползучая. С тобой как с человеком говорят...

— А при чем кулацкая душа? — тоже бледнея, вспылил Николка. — И кто ты такой, чтобы передо мной гордиться? Что ты, что я — одним миром мазаны.

— Врешь! — заорал Сергей. — Врешь, кулацкое отродье! Я рабочий, я с тобой одним воздухом дышать не хочу, я потомственный пролетарий, машинист, ты со мной равняться не смей!

— Оно и видно, машинист, дороги копаешь!

Они подрались. Их разняли и развели по баракам. А на следующий день, не взяв расчета, Сергей пешком ушел с участка. Было знойно и тихо. Сергей шагал по пыльной дороге и думал о том, что Николка прав, что гордиться ему нечем, что он ничем не лучше кулацкого обломка, шатающегося по стране без смысла и без интереса, лишь бы заработать, выпить да протянуть время... И что толку в том, что он всей душой тянется к подлинной, интересной жизни? Он не знает, как выпутаться... Дурак! Он боялся вернуться в Новый город с Касимовым, боялся насмешек и позора... Но как они пустячны перед теми муками, которые он испытывает с тех пор!

На первом ночлеге он написал отчаянное, длинное письмо, еще не зная точно, кому он пишет. Но в конце из-под карандаша непроизвольно вырвались слова: «Напиши, что ты меня поддержишь, и я завтра же поеду на Сахалин», — и тогда только он понял, что все время говорил с Галчонком. Он ни на что не надеялся, — это был вопль, обращенный через нее ко всему тому миру, который он любил и от которого отбился.

Он послал письмо с обратным адресом: Ярославль, до востребования. Почему он выбрал Ярославль? Должно быть, потому, что здесь он впервые понял, что никогда не забудет ее. Он был здесь несколько месяцев назад временным рабочим. Он жил в бараке сезонных рабочих, он стал пить и сошелся с девицей, гулявшей со всеми холостяками барака. Девица неожиданно полюбила его преданной, жалостливой любовью. Сергей охотно путался с нею, заглушая тоску, но именно тогда, когда она полюбила его, перед ним возник образ Галчонка — образ чистый, строгий и недоступный в своей строгости. Сергей выгнал и оскорбил девицу, две недели ходил сам не свой и однажды написал Галчонку бредовое, полное признаний письмо, которое тут же разорвал.

А теперь новое письмо уже неслось в почтовом вагоне по бесконечным путям, и Сергей снова впал в состояние безнадежной тоски и презрения к самому себе. Встреча с Николкой обострила его мучения. Жить такой раздвоенной жизнью он больше не мог. Или идти вместе с Николкой, пасть окончательно... Или вырваться, признаться, очистить себя. Он ждал ответа от Галчонка, как дружеской руки, которая вытянет его из омута. Но время шло, ворчливая старушка на почте, завидев Сергея, привычно отмахивалась: «Нету!» — и решительный шаг не был сделан.

И тут, как избавление, пришел срок призыва. Сергей боялся, что его забракуют по состоянию здоровья, но его признали годным. Он просился во флот, чтобы уйти на четыре года, но его, как строителя и машиниста, зачислили в специальную строительную часть. Два года. Это было хуже, чем четыре, но все-таки очень хорошо.

В карантине Сергей с наслаждением подчинился дисциплине, руководству, твердому распорядку жизни. Его радовало, что нельзя пить водку, что не выпускают в город, что нельзя ослушаться приказа. Он охотно учился, записывался во все кружки, сочинял статьи для стенной газеты. Он быстро освоился, сжился с товарищами, ему стало очень весело и легко, как только его — до этого бессмысленное — существование вошло в русло общей здоровой и деятельной красноармейской жизни.

Через несколько недель часть погрузили в вагоны и отправили по Сибирской дороге на восток.

В эшелоне развернулась обычная учебная, деловая жизнь. Изучали винтовку, воинский устав, занимались в политкружках, устраивали вечера самодеятельности. В каждом вагоне выходила походная «Ильичевка», и Сергея назначили редактором. Стенгазета доставляла много хлопот, — делом чести было выпустить ее к утру, а писать и рисовать можно было только на станциях. Сергей ложился спать, свернувшись у большого листа бумаги, и просил дежурного будить его на остановках. Иногда бывали удачные ночи, когда поезд подолгу стоял, но случалось и так, что Сергей успевал написать всего несколько строк. Как бы там ни было, к утру газета была всегда готова, и Сергей испытывал настоящее счастье, когда у ярко раскрашенного листа, хохоча и переговариваясь, толпились красноармейцы. Из товарищей Сергей особенно выделял маленького и веселого Цибасова, напоминавшего Сему Альтшулера своей подвиж-

ностью и любовью к рассуждениям и прозванного Цибулькой. Цибулька помогал Сергею разрисовывать стенгазету и разгонял дремоту своей болтовней. Привлекал его и Ли Хо, веселый китаец, выросший в России, на Мурманке, и слывший в эшелоне лучшим портняжным специалистом. Сергей учил Ли Хо грамоте.

Эшелон двигался на восток, но места назначения никто не знал. Говорили всякое, многие мечтали о Дальнем Востоке, но большинство склонялось к утверждению, что везут их в Иркутск. Сергей волновался больше всех и каждый день порывался поговорить с комиссаром, но не смел.

Проехали Иркутск, обогнули Байкал, миновали Читу. Разговоры о Дальнем Востоке стали определеннее. И однажды в вагон пришел комиссар батальона, собрал бойцов и объявил, что едут в Новый город на Амуре, заложенный два года назад комсомольцами, что от Хабаровска до места назначения пойдут маршем и что все бойцы должны готовиться к суровому зимнему переходу на несколько сот километров, подогнать одежду и обувь, чтобы не натирала, не жала, не чувствовалась в походе. Все заинтересовались, засыпали комиссара вопросами, но комиссар ничего точно не знал. Тогда Сергей, сам не веря, легко и весело сказал, что знает Новый город и может рассказать о нем. Его сразу же окружили, затискали, а Сергей радостно утверждал, что в Новом городе будет прекрасно, здоровый климат и чудесная стройка, народ отборный, комсомольский, что он очень рад туда вернуться.

Сергея таскали из вагона в вагон, везде он должен был рассказывать. Он проговорил весь день, а вечером разыскал комиссара батальона и, с удовольствием вытянувшись во фронт, сказал новым, воинским голосом:

— Товарищ комиссар, прошу разрешения поговорить по личному делу.

— Садитесь, — кратко сказал комиссар и закрыл купе.

Он приветливо смотрел на Сергея, которого знал уже как активного и сознательного, хорошо грамотного бойца.

И то, что так долго казалось невозможным, что было невыносимо трудно сказать отцу, Свиридову, Галчонку, товарищам, вдруг оказалось очень просто.

Сергей рассказал, ничего не утаив, о своем дезертирстве, о скитаниях по стране, об оркестре на вокзале, Гал-

чоике, Груне, о Доронине и Свиридове. Он запнулся и покраснел, заговорив о Николке, но комиссар сказал:

— Не стыдись. Выкладывай все до конца, чтобы ничего не осталось.

Это неофициальное обращение на ты и ласковый, изучающий взгляд комиссара подбодрили Сергея. Он выложил все. Он физически ощущал новую легкость во всем теле, — до того тяжек был груз, до того полно было облегчение.

— И я вас прошу, товарищ комиссар, какие бы ни были трудные, невыполнимые поручения...

Комиссар задумчиво кивнул:

— Я так и сделаю. А ты не побоишься рассказать товарищам о своем поступке?

Сергей побледнел и сказал:

— Не побоюсь.

— Хорошо. Пока не надо. Испытаем тебя: испытания предстоят большие для всех. А там посмотрим. Но мой тебе совет: напиши все как есть отцу. Любить он тебя не перестанет, а если кончать ложь — то кончать сразу, одним ударом. Правильно?

— Правильно, товарищ комиссар.

Сергей уже уходил, когда комиссар окликнул его:

— Вы вот что... Когда напишете, зайдите ко мне с письмом. Хороший у вас старик. Расстроится. Я ему от себя несколько слов добавлю.

## 2

В Хабаровске три дня отдыхали. Но какой там отдых! Предстоящий поход не давал успокоиться. Ли Хо с утра до ночи портняжил, подгоняя по фигурам гимнастерки, шинели. Все бойцы превратились в подмастерьев. На второй день батальон вышел в пробный поход на несколько километров. Шли бойко, с песнями, никто не устал. «Поход — ничего. Плохо, что состав молодой, невтянутый», — говорили командиры. Бойцы обижались: им казалось, что они уже «втянулись» в поход. Впрочем, всем было жутковато.

Накануне выступления выдали полушубки, валенки, теплые подшлемники, шлемы, рукавицы. Командиры учили бойцов ловко скатывать скатки, экономно укладывать вещевые мешки. Ранним утром начались сборы.

Сергей был в веселом, приподнятом настроении. «Мы тебя испытаем», — так сказал комиссар. «Пожалуйста,

любое испытание. Вы увидите, что я не сдрейфлю, что́ бы ни случилось».

Он тщательно обернул портянками ноги и, надев валенки, прошелся, чтобы убедиться, что нигде не трет и не давит; натянул подшлемник и шлем; надел и плотно перетянул ремнем полушубок; приладил на спине вещевой мешок, чтобы он не ездил и равномерно отягощал оба плеча; надел скатку; вскинул на спину винтовку — все сделано на совесть. Он оглядел себя — ну и вешалка! Оглянулся на товарищей — ну и пугала! Бойцы шутили, кряхтели, некоторые сидели призадумавшись... «Невтянутый состав»... А если втянешься, неужели и тяжести не чувствуешь и не страшно?

— Берегись, Цибулька, — крикнул Сергей, чтобы подбодрить себя и товарищей, — тебя перетянет, шлепнешься назад!

— Ты лучше себя береги, — отвечал Цибулька, — я небольшой, да крепкий.

Батальон построился во дворе. Бойцы старались глядеть молодцами, но спины сами сгибались. Командир произнес короткую речь, призывая оправдать звание бойца Красной Армии... Он еще раз дал указания, как идти, чтобы сэкономить силы, как уберечься от обмораживания, как держать себя на ночевках в деревнях. Комиссар начал рассказывать о международном положении. Он умел говорить так, что любой политический вопрос приобретал злободневное значение. Сергей сперва удивился — зачем международные дела, когда всем хочется идти, когда стоять тяжело и холодно? Но то, что говорил комиссар, оказалось самым важным и нужным, потому что и Сергея и всех бойцов вдохновила мысль, что предстоящий поход—дело чести и славы Красной Армии, дело, необходимое для укрепления обороноспособности Родины.

Батальон вышел на дорогу. Каждый в отдельности был неуклюж и смешон, но, когда они двинулись вместе, в рядах, общим стройным шагом, впечатление неуклюжести исчезло. Сергей видел, что зрелище сурово и величественно, и сам себя ощущал таким же суровым, величественным олицетворением непреклонной боевой силы, грозной для врагов. Раз-два. Раз-два. Раз-два. Раз-два. Вдоль дороги, по обочинам, и сзади, за батальоном,— лыжники, мальчишки. Они провожают, машут руками, приветливо улыбаются бойцам.

Постепенно они начинают отставать, но две девушки

в синих фуфайках бегут рядом еще долго, а потом останавливаются на пригорке, сдергивают шапочки, размахивают ими над головой и кричат бойцам:

— Счастливого пути!

Их лица ярко-розовы от мороза, ветер треплет короткие волосы. До свидания, девушки, спасибо! Можете полюбоваться нашей молодцеватой выправкой, нашими веселыми лицами!..

Девушки остались позади. Дорога пустынна. Снег блестит ослепительно. Мороз щиплет нос и щеки, в лицо заглядывает не греющее, но веселое зимнее солнце.

— По такой погоде шутя дойдем, — говорят в рядах.

Исчез из виду город. Сопки, снег, извилистая дорога. Скрипит снег под валенками, скрипят мешки, трущиеся о ремни... Скрип-скрип... Скрип-скрип... Раз-два... Раз-два... Интересно, сколько пройдем сегодня? И будут ли привалы? Хорошо бы привал!

Должно быть, прошли километр или полтора, не больше. И Сергей вдруг почувствовал, что невероятно устал от тяжести амуниции, от ходьбы по снежной дороге, от испарины. Он был весь мокрый от напряжения, пот струился из-под тяжелого подшлемника. Что же это? Ведь это только начало пути. Отстанешь — позор всему батальону, а уж самому лучше помереть на месте. Он испуганно покосился на товарищей, на шедшего рядом Колю Вардина, и на всех лицах прочел то же напряжение.

— Ну как, Колька? Устал?

— Нет, — коротко, сквозь зубы, бросил Вардин.

Раз-два. Раз-два. Еще шаг. Еще шаг. Попробую считать шаги, все-таки отвлечешься. Два, три... десять... двадцать... двадцать восемь... А ноги не двигаются, каждый шаг — усилие всего тела... И сейчас он остановится или упадет, позорно собьет строй... Ну, этого не будет. Двадцать девять, тридцать, тридцать один...

Он смотрел на командира и комиссара, — они шли впереди батальона, комиссар еле заметно прихрамывал. Отчего он прихрамывает? Старая рана? Ревматизм? Интересно, как чувствует себя Цибулька. Сергей оглянулся, чтобы найти в задних рядах маленького приятеля, и невольно замедлил шаг. Он тотчас же спохватился, что может сбить строй, но строй не сбился, потому что и другие сразу замедлили шаг — без приказа, без всякой сговоренности, — общая потребность была так велика, что стоило одному задержаться, как все перешли на замедленный ритм.

— Бодрей! Бодрей! — закричал командир, оборачиваясь и пятясь задом перед батальоном.—Бодрей, товарищи! Перетерпеть надо, три километра пройдем — полегчает.

И они шли — два километра, три километра... Долгожданный привал. Все повалились на снег, ложились на спину, чтобы хоть немного отдохнуть от тяжести мешка и винтовки.

— А ну, ребята, песню! — сказал, подсаживаясь, комиссар. — Неужели мы позволим себе раскиснуть?

Петь не хотелось совершенно. Но выскочил вперед Цибулька, совсем маленький под мешком и скаткой, вибрирующим тенорком запел «Походную». Покрасневшее лицо его, в крупных каплях пота, играло всеми мускулами в лад песне. И не поддержать его было бы стыдно.

Спели песню. Курильщики жадно курили. Теперь бы вздремнуть на минуту... Вот только холодно на снегу... Но уже раздалась команда:

— Стано-ви-ись!

Тело протестовало: что же это, и отдохнуть не дают! Еще бы немножечко... Сила воли подняла на ноги, и по тому, как трудно было подниматься, Сергей понял, что командир прав: разморишься лежа — еще хуже станет.

В середине пути батальон повеселел. Усталость рассосалась. Раздались шутки, смех. Завели песню. Радуясь нежданному облегчению, прошли километров десять, и тогда усталость вернулась и с каждым новым шагом становилась все сильнее, все требовательнее.

— Веселее, ребята! Еще немного — и деревня.

Близость отдыха прибавила сил. Снова шли, за каждым поворотом, за каждой сопкой ожидая увидеть деревню. И наконец — поворот, а за поворотом — белая ширь Амура, а по берегу, — она, полузасыпанная снегом, с уютными дымка́ми изо всех труб.

Через десять минут после обеда все спали. В избах лежали вповалку, привалясь друг к дружке, в парном тепле, и каждый храпел во всю силу своих легких. Хозяева, забравшись на печные лежанки, с дружелюбным любопытством смотрели оттуда на своих гостей: вот это парни так парни! Вот это сон так сон!

...Забрезжило утро второго дня. Просыпаться было очень трудно.

— А ну-ка веселей! — сказал командир. — Имейте в виду, ребята: самое тяжелое в длинном походе — это

второй километр и второй день. Потом пойдет как по маслу.

И действительно, второй день был тяжел.

На привале комиссар скомандовал:

— Коммунисты и комсомольцы — ко мне!

Сергей сделал движение вперед и, краснея, замер на месте. Комиссар заметил, не улыбнулся, а только чуть двинул бровями, как бы говоря: «Ничего, потерпи, я о тебе помню».

Сергею стало легко на сердце от безмолвного обещания комиссара. И вопреки усталости он почуял в себе какие-то еще не использованные, свежие силы и даже пожалел, что сейчас привал, — он готов был немедленно идти дальше быстрым шагом и шел бы, шел — до самой цели.

Ночевали в большом русском селе. Батальон встретили с почетом. Сбежались девушки. В красном уголке заиграла гармонь. И где уж вспоминать про мозоли и усталость! Бойцы торопливо скидывали валенки, вытягивали из вещевых мешков сапоги, лихо разминали ноги. И часу не прошло с минуты, когда усталые люди входили в село, а уже кружились в танце пары, выскакивали в круг удалые плясуны, в перерывах звучали песни. Девушки, неуверенно вступая в мужской хор заливистыми голосами, просили приглянувшихся парней списать им на память слова песен.

В эту ночь, готовясь к завтрашнему походу, бойцы перекладывали свои вещи так, чтобы сапоги были на самом верху, под рукой, на случай танцев.

На третий день пути было легче, — втянулись. Только мороз крепчал, спускаясь на землю с открытого холодного неба. На привале достали в обозе термометр: минус 36 градусов. Сильно мерзли носы и лбы. Все были начеку. Неслись предостережения: «Нос побелел!», «Щеку потри!». То и дело, выбегая из рядов, бойцы хватали пригоршнями снег и докрасна растирали лица. К металлическим частям винтовок было страшно прикасаться — обжигали.

Четвертый день начался сорокаградусным морозом. Привалов делали мало, чтобы не простыть, а во время коротких остановок приходилось пританцовывать на месте — мерзли ноги. Зато вечером, на ночлеге, их ждала баня. Крестьяне охотно топили бани, приглашали бойцов попить чайку и побеседовать. Бойцы натаскали воды и парились всласть. Сергея и Цибульку зазвали к себе слав-

ные люди, осенью проводившие сына в Красную Армию. Они расспрашивали о жизни в центре, о заводах, о колхозах. Цибулька очень подробно и красноречиво рассказывал о работе машинно-тракторной станции, на которой работал до призыва, о типах тракторов, о строящихся тракторных заводах. Сергею было стыдно пользоваться наблюдениями, сделанными во время его скитаний,—ведь когда рассказываешь, невольно прихвастнешь, а хвастать было нечем. Но поговорить хотелось. И Сергей заговорил о международном положении, пересказывая речь комиссара. Его слушали внимательно, а потом хозяин стал задавать вопросы, один другого труднее, и между прочим спросил, какое теперь правительство в Румынии и как дела в Бессарабии. Сергей пробовал увильнуть от ясного ответа, но хозяин настаивал. Оказалось, он переселенец из Бессарабии и его родные остались там. Сергей понятия не имел, что происходит в Румынии. Цибулька покраснел и шепотом признался ему, что тоже не знает. Но бойцам Красной Армии было стыдно не ответить на вопрос.

— Подождите минуточку, — сказал Цибулька,—мы для верности спросим комиссара.

Они оба пошли по избам искать комиссара, и Цибулька стал спрашивать, а Сергей смущенно топтался в сенях. Но комиссар позвал его:

— Чего же вы сами не спросили, а посылаете Цибасова? Идите, я вам объясню.

Утром командиры обходили крестьян и спрашивали, нет ли у них претензий к бойцам, и Сергей обрадовался, когда хозяин сказал:

— Да я бы таких молодцов в сыновья принял. Какие уж претензии, одна благодарность!

Так проходили дни похода. На шестой день небо замутилось, горизонт заволокло серым туманом, и в потеплевшем воздухе предвестниками бури пронеслись первые порывы ветра.

— Пурга будет.

— Пурга... пурга... пурга...

Люди еще не знали, что такое дальневосточная пурга, но слышали о ней. Сергей немного знал, но не хотел пугать товарищей. Товарищи и так притихли, вглядываясь в наплывающий серый туман. Сергей тоже вглядывался. Он вспомнил, как пурга застала его на паровозе, в пути, как дрожала машина под ударами ураганного ветра, как упирались лучи прожекторов в непроницаемое белое ме-

сиво... Идти пешком во время пурги и не потеряться, не отстать, не свалиться с ног — хватит ли сил?

Он подошел к комиссару:

— Товарищ комиссар, как бы нас пурга не захватила в пути.

— Неужели Красная Армия отступит перед пургой?

— Я не к тому сказал, товарищ комиссар. Отступать мы не будем.

Комиссар с живым интересом смотрел на Сергея.

— Чувствуешь в себе силы, а? — спросил он.

И Сергей почувствовал силы. Уж кто-кто, а он не отступит.

— Подойдите к товарищу Пучкову, — сказал комиссар, — и скажите, что я направил вас для включения в комсомольское ядро.

Пучков был комсомольский организатор. Сергей явился к нему и отрапортовал по-военному.

— Ладненько, — добродушно сказал Пучков, —ядро у нас всего-навсего — Коля Вардин, Цибулька, Сидоров Яша, Липавский, Восков и я. Теперь, значит, и ты будешь. Дело такое — следи, ежели кто упадет, отстанет, из сил выбьется... Кого увидишь — подойди, помоги. Шуткой подогрей; словом — кого как. Чтобы ни одного отставшего, ни одного обмороженного

— Хорошо, — сказал Сергей.

Пурга началась в середине дня. Как-то разом налетел, рванул ветер, закрутился крупный снег, стало темно, как вечером, и в полчаса замело дорогу. Колючий вихрь бил в лицо, налетал сбоку, со спины, на глазах заметал свежий след, — и чуть упадет человек, на нем уже целая гора. В этой горячей снеговой постели можно навеки остаться.

Строй разбился, — в двух шагах ничего не видно, дороги нет. Батальон растянулся цепью. Впереди шел командир, посохом прощупывая путь. В проложенные им следы ступал весь батальон. Шли с трудом: ступишь в пробитую ямину, а потом вытягивай ногу и снова заноси ее вперед, в следующую. Шли с полузакрытыми глазами, втянув голову в плечи, стараясь повернуться к ветру боком, но все-таки шли, затрачивая громадные усилия на каждый шаг.

«Но мертвые, прежде чем упасть, делали шаг вперед», — вдруг вспомнил Сергей. Откуда? Что это? Отец ли читал или Гриша Исаков? «Но мертвые, прежде чем упасть, делали шаг вперед...» Он старался вспомнить, где

он слышал эти строчки, старался так, как будто от этого зависит все. И память воскресила перед ним вечер в тайге, близкий рокот речки, костер... Как хорошо летним вечером у костра! Трещат сучья... Гриша Исаков читает стихи... Дымок от костра щекочет глаза...

Сергей упал. Костер ласково обдавал теплом... «И мертвые, прежде чем упасть, делали шаг вперед...» И вдруг вспыхнул костер — не костер, а мысль: что-то большое, важное поручено и не сделано. Очень большое. Очень важное. Что?

Он вскочил. Его подняла воля, — физические силы были ни при чем. Он не комсомолец, а его включили в комсомольское ядро. «Испытаем тебя — испытания будут большие для всех». А ты падать, сукин сын?! Он пошел, вглядываясь в темнеющие перед ним спины. Вот кто-то споткнулся, упал, поднялся, пошел дальше.

Сергей догнал его.

— Давай винтовку, — сказал он и, придвинувшись вплотную, заглянул в лицо бойца: это был веселый парнишка, замечательный плясун. Сейчас он смотрел виновато, жалобно.— Ах ты, плясун! Давай винтовку.

Парень хотел, но не мог прекословить. Сергей взвалил на себя его мешок и винтовку.

— А ты как? — сконфуженно спросил плясун.

— Как видишь.

Они пошли дальше. Сергей узнал, что помочь человеку приятно, даже если помогаешь через силу.

Два дня подряд бушевала пурга. И два дня подряд батальон шел сквозь пургу без единого отставшего или обмороженного. Командир прокладывал путь, комиссар шел сзади, чтобы увидеть, если кто отстанет.

Ночевали в нанайских стойбищах.

И вот в беседе с двумя нанайскими подростками Сергей впервые услышал новости из Нового города. Он вспомнил о парне и девушке, пришедших из далекого стойбища на стройку.

— О! О! Мооми Наймука — дилектор! Кильту Дигер — шофер! — вскричали подростки, оживляясь. — Кильту каждая зима ездит на машине, нас зовет.

Сергей удивился: Мооми — директор! Какой директор? Где? Подростки рассказывали. Они были в курсе всего, что происходит в Новом городе. Да, Мооми — директор засолочного цеха вместо корейца Пака, а Пак — в тюрьме, вредитель. И еще в тюрьме Парамонов и Михайлов, бывшие кулаки, они убили Морозова.

Сергей так взволновался, что забыл о сне. Морозова убили! Старик Семен Порфирьевич оказался подручным убийцы! А Пак — вредитель, злобный враг. И это Пак сплавлял по реке дезертиров!

Сергей разбудил Цибульку и все рассказал ему.

— Ты подумай, Цибулька! Он нарочно спаивал нас и подбивал удрать!.. Ты подумай, какой подлец!

— А ты, милый, что же думал? Что во вред пролетариату, то буржуазии на пользу, — убежденно ответил Цибулька. — И тактика тут старая. Возьми, к примеру, с колхозами. Уводили крестьян из колхоза? Уводили. Скот резали? Резали. Кулацкая политика — она, брат, известная. А тебе удочку закинули — ты и клюнул.

Чем ближе подходил батальон к Новому городу, тем мучительнее волновался Сергей. Что он увидит? Кого встретит из старых друзей? Живы ли они? Узнают ли? Захотят ли узнать?

А батальон пробивался к цели со все возраставшими трудностями. Погода была на редкость неустойчива. То пурга, то мороз, то пурга и мороз вместе, то ветер без снега, то снег без ветра, то ветер и снег вместе. Комиссар не забывал о Сергее. На десятый день похода застрял в глубоком снегу обоз. Дорогу так завалило, что только изредка попадались вешки, обозначавшие путь. Кони вязли в снегу и не могли вытащить повозки. На помощь обозу послали группу бойцов, и комиссар включил в нее Сергея. Работа была адская: грузы тащили на себе, впрягались в лямки. Расчищали сугробы — их наметало снова. Кони храпели и упирались, их ноги то разъезжались на скользком льду, то проваливались в метровый снег.

Иногда Сергею казалось, что он не сделает ни шагу больше, что он свалится на месте. Но он шел, тащил, падал, снова шел и снова тащил. Он научился отвлекать себя, чтобы меньше чувствовать утомление. Он вспоминал разные случаи из далекого детства, из жизни в Новом городе (только о своих скитаниях он не хотел помнить). Он твердил обрывки стихов, слышанных от отца или от Гриши Исакова, старался восстановить или сочинить забытые строки. Он повторял строчку до того, что слова теряли смысл, звучали странно, незнакомо, как на чужом языке: «Сочтемся славою — ведь мы свои же люди...»; «Свои же люди...», «Свои же люди...», «Своиже люди, свои желюди...»

Настал двенадцатый, последний и самый трудный день похода.

Сергей слышал редкие возгласы, тяжелое дыхание людей, скрип снега под валенками, скрип трущихся ремней, визг ветра, но все это как сквозь стекло, отдаленно и невнятно: «И яблочко-песню несли на губах...» Только эти слова звучали громко и убедительно, хотя они были беззвучны. Эти слова сопровождали его уже второй день. Их не было на привалах, они исчезали на ночевке,—но как только нагруженный и построенный батальон выходил в поход и ноги возобновляли страшную борьбу с сугробами, слова возникали в мозгу, ясные и навязчивые. «И яблочко-песню...» Почему на губах? Губы, снег, яблочко... «И яблочко-песню несли на губах...» Он упал, споткнувшись. Поднялся. Пошел снова. «И яблочко-песню несли на зубах...»—не на зубах, а в зубах... Нет, что-то не то... Для рифмы — или нет, как оно называется — для размера... «И яблочко-песню несли в зубах...» Не выходит.

Серый туман становился все гуще, — вечерело. Привалов давно не было, и никто не хотел их, — после привала тяжелей. Метель крутила ожесточеннее, все убыстряющимся темпом. И все назойливее и быстрее звучали слова, неизвестно почему застрявшие в мозгу: «И яблочко-песню несли на губах...»

И вдруг Цибулька пропал во мгле. Было почти невозможно повернуть назад, — каждый пройденный шаг был подвигом. Но Сергей все-таки повернул назад, натыкался на белых согнувшихся людей, с трудом различая их лица.

Цибульки не было.

Сергей бежал, проваливаясь в снег и почти рыдая, по уже пройденному пути, обшаривая сугробы обледенелыми руками. Он был уверен, что Цибулька упал, что его занесло, что он где-то здесь, вот тут, и, может быть, уже замерз... Но вдруг он увидел Цибульку живым и неутомимым: едва видный под грузом двух мешков и винтовок, он под руку тащил спотыкающегося, обессилевшего парня. Парень был выше его на голову.

— Черт живучий!..

Сразу все стало безразлично. Сергей не стал разговаривать с ним и пошел вперед, сквозь метель, по пробитым в сугробах следам, снова одолевая уже пройденные сажени.

Стемнело. Затихла метель. По ледовому, засыпанному снегом пути шла масса людей. Масса чувствовалась по громкому дыханию, по скрипу снега, по скрипу ремней.

Сергей шагал, не открывая глаз, — все равно ничего не видно, пусть отдохнут веки. Но что это? Неужели

правда?.. Он встрепенулся, остановился, напряг слух... и крикнул полным, молодым, совершенно свежим голосом:

— Ребята, паровоз!

Где-то вдали, за снегами, за темнотой, молодо и пронзительно прокричал паровоз.

Уже для себя, тише, Сергей подтвердил:

— «Кукушка»...

Опытный слух различил голос, который не мог принадлежать большому, настоящему паровозу. А по цепи неслось сбивчивое, радостное, взволнованное:

— Пришли! Паровоз слышен. Ого, там уже паровозы... Нажимай, ребя-а!

Шли еще километр, другой, третий. Около Сергея возник Цибулька:

— Сергей, тебя как железнодорожника — факт! —на паровоз...

Сергей улыбался и все прислушивался. Временами ему начинало казаться, что он ошибся. Но ведь и другие слышали гудки. Однако там уже паровозы... И домов, должно быть, много... Пожалуй, и не узнаю, где что. Новый голос закричал еще радостнее:

— Хлопчики, электричество!

Вдали, во мгле, колебались невнятные мигающие огни.

Люди шагали быстрее. Выпрямились спины. Никто уже не падал. Никто не отдавал своих мешков и винтовок.

Значит, вернулся... А город, наверное, совсем другой, неузнаваемый... Пойдешь — да и заблудишься. Скорее, скорее шагать!..

Прошли еще километр, второй. И вот уже близко— ну, совсем близко, хоть перекликайся!—знакомый крутой берег, и дома, и люди, и цепь фонарей.

Сергей давно забыл навязчивые слова. Неужели это то самое.. то самое? Вот этот дом как будто знаком... а тех не было... деревьев нет, а ведь их здесь было... Или не то место? Теперь шли строем, подтянуто, молодо. На берег сбегались люди, махали руками. Хорошо, что вечер. В темноте не узнают. Какие-то мальчишки кубарем скатились по откосу и побежали навстречу. Откуда мальчишки? Мальчишек тоже не было раньше.

Неожиданно из середины рядов поднялся залихватский, вибрирующий тенорок Цибульки:

По долинам, по за-а-го-о-рьям...

Сергей подхватил песню, как подарок, — откуда сила взялась? — молодцевато и свежо звучал его голос. И рядом, и впереди, и далеко сзади — все запели, как будто и усталости не стало, и с песней, с поднятыми, облепленными снегом головами, с новой пружинистой силой в ногах стали подниматься по склону. И Сергей вспомнил, как чудесный образ пережитого, как правду: «И яблочко-песню держали в зубах...» И тут же понял, почему в зубах, и улыбнулся, и помахал рукой мальчишкам, девушкам, рабочим, старикам (откуда старики?), толпившимся на пути.

### 3

Город возмужал и вырос. Сергей узнавал его, но узнавал так, как после длительной разлуки узнают в юноше черты ребенка, которого когда-то хорошо знали...

Первое ознакомление с Новым городом произошло через газету, — через настоящую, ежедневную, печатную газету. Ее роздали всем бойцам. Первая полоса была посвящена им: «Привет героическим участникам ледового похода!» Бойцы читали правдивые рассказы о двенадцатидневном марше и с некоторым удивлением соглашались, что поход был героичен и труден. Командование объявило благодарность участникам комсомольских групп... Голицын... Голицын... У Сергея забилось сердце. Догадаются ли, что это он? Захотят ли по-товарищески протянуть ему руку?..

Потом его сердце забилось еще сильнее, — он прочел, как ударно, в сорокаградусный мороз, в метель комсомольцы строили для них жилье. «Трое суток не уходила со стройки знаменитая бригада плотников тов. М. Знайде...» (Мотька?! Ты?! Мы же вместе ждали на берегу, ты показывал рваные ботинки и клялся, что с тебя довольно!.. Но тебя вернула Клава... Или стихи Исакова?.. И вот ты — знаменитый бригадир!..), «Как всегда, образцы работы показали штукатуры бригады В. Бессонова...» (Валька, и ты здесь? И ты уже давно известен?! «Как всегда... образцы работы...» А я? Разве я не мог быть таким же?..)

На второй полосе бросился в глаза крупный заголовок: «Соревнование знатных бетонщиков...», «Бригады тт. Ф. Чумакова и Е. Савеловой борются за первенство», «253 проц. и 256 проц. плана...», «Сегодня женская бригада обещала перекрыть свои прежние показатели...»

Женщины-бетонщицы... Ишь ты!.. Е. Савелова — это новая... такой как будто не было... Савелова... нет, не помню такой... А вот Чумаков... Да это же Федька! Ну, конечно, Федька Чумаков!.. Лесогоном был... И настроение у него было не ахти какое... цингой болел, слег в больницу... Федька, Федька! Ты тоже сделался знатным работником!.. Как выросли, видимо, ребята!

«Открывается «Гастроном»...», «Зав. магазином «Гастроном» т. Ставрова в беседе с нашим сотрудником сообщила, что в новом каменном доме отводится помещение для образцового гастрономического магазина. Прилавки будут покрыты мрамором, панели покрашены масляной краской...» Вот это да! Катя! Катюшка! «В беседе с нашим сотрудником!..»

Объявления: «Готовится к постановке «Лес» А. Н. Островского...», «Общеобразовательная школа доводит до сведения учащихся...», «Открыта запись в новые группы планеристов, стрелков, парашютистов...», «Кружок сольного пения объявляет...», «Загс переехал в новое помещение на набережной Амура, амбар КБО, возле оранжереи...»

«Отв. редактор Г. Исаков». (Г. Исаков? Гришка?.. Ответственный редактор?.. Сколько же времени прошло с тех пор, как мы с тобой вместе сбрасывали бревна в Силинку?!)

Город жил полной жизнью. Здесь не тратили времени зря. За каждый день, прожитый Сергеем в бесполезных скитаниях, город успевал создать что-либо новое и прекрасное — из кирпича, из бетона, из дерева, из металла. И одновременно создавал новых, прекрасных людей.

Сергей потянулся туда, где он жил когда-то. Шалаши. Да вот они. Но их стало меньше. Он не мог найти шалаша, в котором прожил лето с Епифановым и Колей. Или он ошибся? Нет, на том месте, где стоял шалаш, поднимались леса строящегося дома.

А барак? Первый комсомольский барак? Сергей не сразу нашел его в ряду других. Старик приукрасился новыми крылечками. Около него мальчишки играют в снежки. Вышла женщина с ведром, неторопливо пошла к водоразборной колонке. А вот и окно Епифанова... За стеклом видна девочка лет десяти. Она читает книжку. Подняла голову, с любопытством оглядела Сергея, улыбнулась. Женщина с ведром шла обратно.

— Гражданочка, в каком доме живет Епифанов?

— Епифанов?.. Такелажник, что ли?

— Алексей Епифанов, бывший водолаз.

— Что бывший, не знаю, а если такелажник, то идите в соцгород.

— А что это — соцгород?

— А вон — большие дома. Спросите дом старых комсомольцев.

Сергей стоял в нерешительности. Его окружили мальчишки. Самому старшему из них было лет десять.

— Дяденька, вам водолаза? Давайте мы вас проведем.

— А вы знаете?

— Как не знать. Его жена — Лида, которая стрелять учит. А сам он шофер был, а теперь такелажник, потому что учится. У них Гроза Морей — знакомая, а вот ейный сын.

«Ейный сын», шморгая носом, важно смотрел на Сергея. Ему было лет шесть.

— Ну, провожайте, — скомандовал Сергей, хотя не знал ни Лиды, ни Грозы Морей, ни того, что Епифанов был шофером.

Они повели его не к новым домам, а прямо на стройку.

— Вы куда же идете?

— Так вам ведь самого́ надо? Он на «индустриале».

— Это что — «индустриал»?

— Кран. Большущий. Разве не знаете?

С каждым шагом Сергей открывал новые изменения. Здесь был старенький сеновал, примыкавший к дому Тараса Ильича, — а теперь выросло двухэтажное здание конторы. Тут был пустынный берег и... да, где-то здесь сарай Пака. Теперь раскинулись склады, причалы, вьется узкоколейка. «Вход строго воспрещен», «За курение — штраф». А вот тихий пригорок, где схоронили Пашу Матвеева. Но что это? Весь пригорок захвачен стройкой. Везде — леса, под которыми вырисовываются контуры зданий. Паша... над твоей могилой воздвигаются здания Нового города. Ну что ж! Ты любил жизнь, Паша, ты любил стройку. Ты был бы доволен, Пашенька, славный друг.

Они остановились на краю обрыва. У Сергея захватило дух от того, что он увидел. Десятки стройных колонн подымались к небу двумя ажурными рядами. Они были так легки и воздушны на фоне серого зимнего неба, словно вырезаны из бумаги, а не отлиты из бетона. Перед ними, размахнувшись на месте бывшего озерка,

где Касимов когда-то охотился на уток, на месте тайги, где первые бригады начинали корчевку и обедали, сидя на пеньках (где они, эти пеньки? И что стало с Клавой и Лилькой — их тогда, бывало, так ждали с обедом!), — теперь распростерлась ровная площадь, в нескольких направлениях пересеченная рельсами. Площадь упиралась в дамбу, около которой они украдкой встречались с Тоней. (Тоня! Что-то стало с нею?.. Как она страдала и как она была горда!..) За колоннами эллинга виднелись склады, здания, леса строек, за ними отгороженный забором участок с новыми цехами, а за ними лесозавод. (Лесозавод! Он тоже вырос на целый корпус. А как его открывали, какую радость принес с собой первый гудок!.. Даже плакать хотелось...)

— Вот «индустриал»! — сказали мальчишки. — Вы по обрыву слезете, товарищ красноармеец?

Они все вместе скатились по снежной крутизне на площадку и пошли напрямик по истоптанному, загрязненному снегу.

— Здесь Чумаков с Савеловой бьются, — серьезно сообщил «ейный сын» и высказал предположение: — Только ему за ней не угнаться.

Бетонные работы шли в головной части дока. На двух смежных участках работали соревнующиеся бригады. Маленький паровозик подвозил на платформах громадные бадьи с бетоном. Кран подхватывал бадьи и подавал их бетонщикам.

Кран не казался ни гигантским, ни мощным рядом с колоннами эллинга. Его мощность выявлялась только в работе, в том, как он легко и непринужденно поднимал, опускал, кружил в воздухе тяжелые бадьи. Он был очень послушен. Крановщик еле заметными движениями управлял им, в свою очередь послушный сигналам Епифанова. Епифанов стоял на опалубке головной части и колдовал пальцами: «майна» и «вира» он кричал очень редко. У него была целая система знаков: палец вверх, палец вниз, палец вбок, повернутая кверху ладонь, разные колебания руки — все это быстро и безошибочно передавалось крану. И громоздкая бадья, которая летела вниз по прямой, как коршун, так, что казалось, вот-вот с размаху врежется в хрупкие леса и сомнет их, — громоздкая бадья мигом застывала в воздухе, плавно поворачивалась, нежно обходила доски, брусья, канаты и плавно садилась, но не плашмя, а как бы на корточки, не увязая в болотной гуще бетона. И едва рабочий вска-

кивал на нее, она легко приподымалась и предоставляла ему раскрыть ее тяжелые створы, и бетон лился из нее, как каша из опрокинутой кастрюли.

Рабочие увязали в этой каше резиновыми сапогами, разбрасывали ее лопатами по всей плоскости, забивали в нее ребром до́ски, украшали ее рядами металлических штырей. А бадья уже взлетала вверх, несколько секунд пари́ла над головами, как коршун, и, взяв вбок, спускалась на платформу, прямо на предназначенное ей место.

— Леша! Алексей!

Епифанов обернулся. Сергей узнал бы его сразу где угодно. Почему же Епифанов не узнает?

— Леша. Это же я, Голицын... Сергей...

— Ты?

Сергей видел, что его появление не вызвало никакой радости.

— Так как же, Леша... Не узнаешь?

Епифанов деликатно уверял, что узнал и помнит. Вскользь спросил, комсомолец ли.

— Буду, — сказал Сергей решительно. — Что было, то прошло. Газету читал?

— Это ты?

— Я.

— Ну, добре. Ну, здравствуй, приятель!

Паровозик подвел новые платформы. Сергей с опаской стал рядом с Епифановым. Ему интересно было взглянуть на Федьку Чумакова и на женскую бригаду. Но он никого не мог разглядеть в этих одинаковых неуклюжих фигурках, одетых в теплые комбинезоны, резиновые сапоги и широкие шляпы. Женщин он угадал лишь потому, что они были меньше и круглее.

— Нам давай, какого черта! — закричали из мужской бригады, и Сергей узнал Федьку Чумакова. Федька сердито жестикулировал, требуя к себе бадью. Но тут через край опалубки выглянула бригадирша женской бригады и закричала неистовым голосом:

— Это еще что такое? Почему вам? Чего лезешь не в очередь? Катись, голубчик, ничего не получишь! Давай бетон живо, ну!

Епифанов, усмехаясь, двинул пальцами, и бадья мягко пошла к Чумакову. Савелова повернула к Епифанову покрасневшее от негодования лицо:

— А я что, стоять должна, что ли? Ты этому паршивцу не подыгрывай! Я до тебя тоже доберусь! Небось

сговорились?! А ты, — обратилась она к Федьке, — не моргай, не корчи ангела, лукавый черт!

Федя Чумаков, беспомощно улыбаясь, легко вскочил на бадью и стал колом отбивать приставший к стенке бетон.

Пораженный перепалкой знатных бетонщиков, Сергей спросил:

— Да что же это она? И чего Федька терпит?

Епифанов, усмехаясь, заботливо направлял работу крана. Савелова ругнулась еще раз и сердито, исподлобья, поглядела на Сергея. Она не узнала его и отвернулась. Но, увидев этот сердитый и одновременно добрый взгляд исподлобья, это пополневшее, но по-прежнему румяное, курносое миловидное лицо, Сергей мигом узнал ее и даже вскрикнул от удивления. Лилька! Была Лилька и Лилька, даже фамилии никто не знал, а теперь, пожалуйста, — знатная бетонщица Савелова!

Отправив бадью, Епифанов ответил:

— Как не терпеть?.. Она ведь ему жена! А с женой да с радио, известно, не спорят.

И, поколдовав пальцами, отправил вторую бадью на участок женской бригады.

После работы в новом, только что отделанном клубе начиналась жизнь. Навстречу Сергею из всех дверей рвались звуки духовых и струнных инструментов, неуверенно пиликала скрипка, и над всеми этими звуками несся свободный и сильный женский голос, разучивавший упражнения. «А-а-а-а-а-а-а...» В физкультурном зале тренировались гимнасты. У модели планера занимались планеристы. Из стрелкового тира выскочила белокурая молоденькая женщина, крикнула Епифанову:

— Леша, тебя на репетицию ждут!

И, увидев Сергея, приветливо поклонилась:

— Здравствуйте, товарищ. Посмотреть пришли?

Сергей удивился ее приветливости, но вспомнил о своей красноармейской форме, — это она открывала ему все двери.

— Лиденька, покажи ему клуб, — сказал Епифанов. — А я, браток, побежал... И я уже не Епифанов, а купец Восьмибратов... Пока!

Он скрылся за одной из дверей.

Сергей слушал женский голос, царивший над всеми звуками.

Лиденька охотно болтала, показывая клуб. И Сергей не стеснялся расспрашивать ее.

— А кто секретарь комсомола?

— Круглов Андрюша... Чудесный парень!

— А много осталось старых комсомольцев?

Она называла фамилии, — почти все были известны ему. Конечно, Катя и Валька женаты. А Генька Калюжный в армии. Она не назвала Семы Альтшулера.

— А Сема Альтшулер?

Она вскинула на него удивленные и внимательные глаза:

— А вы откуда его знаете?

— Да так, приходилось...

Лиденька подозрительно оглядела его и сдержанно сказала:

— Он здесь. Он на лесозаводе был, а теперь на доках. Теперь лозунг: «Комсомольцы строят доки». Все старые комсомольцы там.

Женский голос запел за стеною:

На нивы желтые нисходит тишина...

Этот голос... Может ли быть? Как она пела тогда... у озера... Она говорила, что музыка льется с неба... Неужели она? Он хотел заглянуть в дверь, но Лиденька испуганно остановила его:

— Нет, нет, туда нельзя. Там кружок сольного пения.

— А это кто поет? Такой голос!

— Это директор больницы. Тоже старая комсомолка. И такой молодец! Она в заочном медвузе учится и поет так замечательно. Ее в консерваторию послать хотели, но она отказалась.

... Душа моя полна
Разлукою с тобой и горьких сожалений...
И каждый мой упрек я вспоминаю вновь...

Голос разливался, ничем не сдерживаемый, окрепший, звучный, напоенный искренней страстью.

— Васяева? — замирая, спросил Сергей.

Лиденька в упор смотрела на него. Ее лицо стало очень серьезно.

— Да, — сухо сказала она, — Васяева. Она замужем. У нее двое детей. Она очень счастлива.

Проводив Сергея до двери, она побежала за сцену, нашла Епифанова:

— Это Голицын?

— Да... Понимаешь ли... я не знал, как сказать при нем...

— Сказать, сказать! Ты лучше подумай, что теперь делать... Говорить ей или нет?

А Сергей шел по улице, оглушенный, подавленный, преследуемый страстным голосом, звучавшим в ушах. Все, что было пережито, передумано, что волновало и мучило его два года, вдруг разом прорвалось и ослепило его острой болью. Он был одинок, покинут, бесконечно несчастен. Жизнь развивалась без него. Он стал никому не нужен. Его забыли. Тоня, так сильно любившая его, забыла, счастлива, окружена уважением... У нее двое детей... Двое? Уже?.. Значит, она сразу же вышла замуж... А впрочем, что ему до этого! Все равно она далека, бесконечна далека ему... И Галчонок... Где теперь Галчонок? Она тоже далека и равнодушна... Он узнаёт всех, а его никто. Лилька, глупая веселая Лилька, — и та теперь знатная бетонщица Савелова, и у той муж! И та не узнала... Один, отвергнут... Чужой! Чужой!..

И что делать? Ну, он покаялся комиссару. Он неплохо вел себя в походе. В газете напечатана благодарность. Но разве этого достаточно, чтобы старые друзья простили ему, приняли как своего? А без этого — как жить? Как ходить по городу чужим, если все здесь дорого, близко, интересно! Как смотреть в глаза встречным, если встречный, узнав, может отвернуться и сказать: «Дезертир... ты вернулся поздно. Главные трудности уже пережиты!..» Нет, мало покаяться перед комиссаром. Надо пойти к Круглову, все объяснить, сказать: «Забудьте! Испытайте на деле».

Он вздрогнул и остановился посреди улицы. Круглов шел ему навстречу в распахнутом у ворота полушубке, неторопливой походкой спокойного, уверенного в себе человека. Он был все такой же, но выражение его лица изменилось. Как-то резче, мужественнее очерк губ, определеннее морщины на лбу. И глаза иные — без юношеской мечтательности, озарявшей их таким нежным светом, когда комсомольцы, бывало, спорили и мечтали у костра в холодные ночи. Глаза стали глубже, строже, сосредоточеннее. В их твердом взгляде отражалась углубленная работа ума, много продумавшего и пришедшего к четким выводам. Человек с такими глазами может все понять, выслушать; с ним не страшно говорить о самом мучительном.

Сергей стоял посреди улицы, поджидая. Его пугали только первые слова, первый взгляд. Он не сомневался, что Круглов узнает его. Он живо вспомнил злосчастный

вечер своего бегства. Лодка крутилась на волнах. Круглов кричал в темноту отчаянным и сильным голосом: «Ребята! Комсомольцы! Вернитесь!..» Ему ответили матерщиной и угрозами.

Как встретит он теперь? Как с первых же слов внушить ему, что того Голицына уже нет, что тот Голицын проклят самим собою?

Пять шагов отделяло их... четыре... три...

Взгляд Круглова коснулся Сергея, осветился благожелательной приветливостью... Узнал? Не сердится? Читал в газете? Сергей хотел заговорить — и ничего не сказал. Он ждал...

Но взгляд Круглова скользнул дальше.

Круглов, свободно размахивая руками, прошел мимо красноармейца, глазеющего на Новый город, и стал удаляться. Не узнал! Забыл... Голицын для него уже не существует, он канул в прошлое, он похоронен в старых списках, сданных в архив... И Сергей почувствовал себя так, будто его и на самом деле не существует.

## 4

Строительство вступило в самый напряженный период, когда так называемые «пусковые объекты» стали в центре всеобщего внимания. С чертежей и планов завод перешел на грунт, выпирал из-под одежды строительных лесов. Размах работы увеличивался с каждым днем. То, что вчера казалось несбыточным, сегодня оказывалось ничтожно малым. Росло население, росли подсобные предприятия, все цифры, определявшие рост строительства, лезли вверх по круто поднимавшейся кривой, а не хватало ни людей, ни материалов.

Помощь строительных частей была той свежей и сильной струей, которая, влившись в общие усилия, должна была во много раз ускорить темпы. Грядущая весна была отправной точкой нового развернутого наступления. В ожидании весны Драченов готовил все средства наступления и как главную задачу решал вопрос о лесе. Лесозаготовки шли всю зиму. Лесоучастки на правом берегу были завалены лесом. Грузовики и тракторы в три смены возили его по ледяной дороге через Амур. Но ни грузовики, ни тракторы не могли вывезти нужное количество леса до начала весны.

Накануне весны, в марте, в голове Семы Альтшулера родилась фантастическая идея.

Драченов и Сема любили друг друга. «Это мой комсомольский контроль, — говорил Драченов про Соню Исакову. — А вот это — моя комсомольская выдумка», — говорил он про Альтшулера. Он любил пофилософствовать с Семой, посоветоваться, дать ему трудную задачу. Он охотно посылал Сему на ответственные участки, где Сема всегда приносил пользу острым глазом и выдумкой.

Фантастическая идея Семы Альтшулера увлекла Драченова. Они поехали на Амур, то и дело останавливали машину, вылезали, шептались и усиленно жестикулировали — Сема широко, безудержно, Драченов скупыми и резкими движениями. Они доехали до лесоучастков, опять шептались и жестикулировали на берегу, а потом велели шоферу мчать во весь опор в контору, и там Драченов срочно собрал инженеров и хозяйственников.

Через день началась неслыханная работа: на протяжении свыше восьми километров от лесоучастков до города рабочие и красноармейцы прорубали во льду Амура неширокий канал — метр глубины, метр-полтора ширины. Масса добровольцев приходила помогать. Работали инженеры. Сам Драченов, почти не уходивший с канала, время от времени хватал кирку и с плеча крушил лед, пока его грузное тело не начинало задыхаться. «Душа просит, а брюхо не пускает», — с сожалением говорил он, бросая кирку, но продолжал носиться без устали из конца в конец. У берега, куда тракторы подвозили лес, возле проруби установили мощную помпу.

Как только последние удары инструментов докончили русло канала, Драченов на машине понесся к лесоучастку. По всему каналу, в нескольких шагах друг от друга, выстроились люди с баграми. Заработала помпа. Бурлящая вода хлынула в ледяной желоб, подхватывая ледяную крошку и обмывая ледяные стенки, и за нею, покачиваясь на бурлящей поверхности, поползли бревна.

— Пошла-а! — заорал Драченов, провожая багром первое бревно.

— Пошла-а! — кричал Сема Альтшулер, подталкивая второе.

На перемычке, отделявшей берег от канала, рабочие перекатывали бревна. Бревна шлепались в воду, обдавая рабочих холодными брызгами, и пускались в путь, неохотно, как бы удивленно ползли по каналу, ныряя, переваливаясь, обдирая бока о ледяные стенки.

— Но, но, веселей! — кричали люди, толкая и направляя бревна.

Так начался небывалый ледяной сплав.

Весь город жил в эти дни каналом. О нем писала газета, о нем говорили на работе, в столовых, дома, о нем думали засыпая. Дети играли только в «ледяной канал». Не было в городе ни старого, ни малого, кто бы не побывал на реке, не подивился на необычайное зрелище. Не было трудоспособного человека, который не поработал бы на канале хоть несколько часов. Мальчишки, как величайшую милость, выпрашивали багор. Девушки ссорились с Кругловым, требуя отправки на канал.

Андрей Круглов и сам проводил на канале бо́льшую часть суток. Мало было вывести людей, обеспечить людьми всю восьмикилометровую цепь, — надо было заботиться о них, чтобы не перенапряглись, не простудились. Работа была нелегка. Днем, несмотря на морозы, пригревало весеннее горячее солнце. Но к вечеру становилось очень холодно, на открытой амурской ширине гулял ветер, багор обледеневал, жег руки, воду то и дело схватывал мороз, — знай руби лед да проталкивай бревна! Иное бревно зацепится, упрется, а мешкать нельзя: сзади напирают другие, лезут одно на другое. Что тут делать? Навалится человек, распалится, вскочит на бревно, чтобы утопить его, да и сам окунется, поскользнувшись, в ледяную ванну. А в канале кое-где ямы, — лед пробит насквозь, до речной воды, тут недолго и утонуть, если затянет под лед. Да и ветром прохватит мокрого — тоже до беды недалеко.

Была ветреная, морозная ночь, когда Андрей Круглов с комиссаром пошли в очередной обход по каналу. Люди усиленно работали баграми, и с нуждой и без нужды, лишь бы согреться.

Андрей натолкнулся на Катю Ставрову:

— А ты здесь зачем?

— Затем же, что и все, — отрезала Катя, налегая на багор, чтобы сдвинуть застрявшее бревно.

— Ведь сказано было...

— Протри глаза. Что я, одна здесь, что ли?

Андрей, приглядевшись, увидел, что тут и Клава, и Лилька, и Соня, и другие девчата.

— Не сердись, Андрюша! — крикнула Клава. — Все равно ничего ты с нами не поделаешь!

Комиссар смеялся:

— Женщинами, брат, командовать трудней, чем бойцами. Мы своих ребят и то подчас отогнать не можем. Разрешите да разрешите, — что будешь делать?

Они дошли до участка канала, где работали бойцы. В ночной мгле не разглядеть было лиц, но видно было, как ловко и споро работали парни.

— Не мерзнете товарищи?

— Нам не привыкать, товарищ комиссар, — в походе холодней бывало!

Когда вылезла из-за облаков кривая, ущербная луна в ее зеленоватом свете вырисовывались напряженные фигуры бойцов и черные качающиеся бревна, ползущие мимо них. Казалось, это не бревна, а какие-то грузные тупорылые чудовища, затравленные на охоте: люди колют их бока не баграми, а острыми пиками, а чудовища ползут, скрежещут, рычат от злобы, подпрыгивают от боли и торопятся уползти. А зайдет луна — еще сказочнее невнятные фигуры, еще необычнее рычание мертвого дерева и шипение льда.

— Разрешите доложить, товарищ комиссар.

— Ну?

— Так что здесь имеется боец, вторую смену добровольцем работает, еще вечером скупался в канале и не хочет уходить. Опасаемся, товарищ комиссар, потому человек не в себе.

— Давай-ка его сюда!

— Эй, Сережка, Серега!

Круглов вглядывался в подошедшую фигуру. Бойцу никак не удавалось стать как полагается, с военной выправкой. Чувствовалось, что человек дрожит крупной лихорадочной дрожью.

— Отчего не ушли на медпункт?

— Прошу прощения, товарищ комиссар. Разрешите доработать до смены.

— Экой вы, право! Заболеть хотите? — Комиссар потрогал его мокрую, обледенелую одежду. — Да вас же лихорадит! Ваша фамилия?

Боец молчал. Он косился на спутника комиссара. Потом неуверенный голос проронил:

— Это я, товарищ комиссар, Голицын... Разрешите остаться.

Круглов встрепенулся. Он не то чтобы узнал этот голос, но как-то почуял, что голос дрожит не только от лихорадки. Да, боец имеет к нему какое-то отношение, и надо только вспомнить, какое...

— Разрешить не могу и не разрешаю, — мягко сказал комиссар. — Не глупите, Голицын.

Выглянула луна и снова зашла за облако. В беглом луче, осветившем бойца, Круглов увидел знакомое лицо и воспаленные глаза. И сразу одновременно вспомнил и давно минувший вечер на берегу Амура, у отходящего парохода, и недавнюю встречу — боец стоял посреди дороги и пристально смотрел ему навстречу, улыбаясь испуганной (застенчивой, как подумал тогда Андрей) улыбкой.

— Здравствуй, Голицын, я рад, что ты вернулся, — сказал он, протягивая руку. — Здравствуй и не упорствуй. Твоя жизнь еще пригодится. Верно?

Из глаз Сергея вдруг хлынули слезы. Они скатывались и застывали на щеках.

— Быстро, быстро, пошли! — сказал комиссар.

Сергей положил багор и неверной, спотыкающейся походкой побрел к городу.

— Я вам должен рассказать о нем, — сказал комиссар. — Однако смотрите, надо вызвать машину. Он же совсем больной.

Когда пришла дежурная машина, Сергей Голицын был уже в полубредовом состоянии. Круглов помогал уложить его в машину. Сергей очнулся, схватил Круглова за рукав и пробормотал:

— Андрюша... я...

— Вижу сам. Лежи. Я к тебе зайду.

Сергея увезли в больницу.

Тоня Васяева с семьей жила в деревянном флигельке во дворе больницы. Здесь ей жилось спокойней, — как бы много ни приходилось работать, дети были рядом. Младшую она еще не отняла от груди, а старший был здоровым и непоседливым мальчишкой; за ним надо было смотреть в оба глаза.

Во флигельке было тепло и тихо. Тоня спала чутким сном матери, привыкшей и во мне прислушиваться к дыханию ребенка. Ребенок завозился и закряхтел, еще совсем сонный, но уже предчувствующий час кормления. Тоня нащупала выключатель, открыла один глаз и увидела, что пора кормить.

Сема недавно вернулся с канала, но спал тем же чутким сном, сходным с материнским, — никакое утомление не могло вытеснить мысли о детях. При первом движении Тони он разом проснулся.

— Я тебе подам, — сказал он, вскакивая с кровати.

Он бережно и умело вынул дочь из колыбели и подал ее Тоне. Дочь зачмокала губами и запищала.

— Сейчас, Света, сейчас, маленькая, — приговаривала Тоня, придерживая ее и обтирая грудь. Она сама еще почти спала, но никогда не иссякающее наслаждение уже наполнило ее — наслаждение кормлением своего ребенка.

Светлана разевала рот и все громче кряхтела. Тоня дала ей грудь. Девочка уткнулась в грудь кулачком, жадно запищала, водя неловкими, неумелыми губами, потом, найдя, со стоном радости схватила сосок и затихла. Отец и мать, улыбаясь, слушали, как она деловито и быстро сосет.

За окном взвыла сирена автомобиля. Тоня насторожилась:

— Наверное, с канала.

— Пойти узнать?

— Нет, я сама. Все равно распорядиться нужно. Спи, Сема.

Светлана сосала все медленнее, временами совсем засыпала и вдруг, с неутолимостью молодого зверька, снова хватала сосок.

Тоня прислушивалась к звукам извне: скрип двери на блоке, голоса, шум отъезжающей машины. Она быстро уложила спящего ребенка, оделась, накинула белый халат и побежала через двор в больницу.

Дежурная сестра на ходу объяснила ей, кого привезли и что сделано. Сестра не могла решить, вызвать ли сейчас врача или можно подождать до утра.

— Температура какая?

— Тридцать восемь и девять. Сильный озноб.

— Я посмотрю его сама.

Она склонилась над больным и в ту же секунду резко выпрямилась. Она не проронила ни звука, только бледность разлилась по лицу и пальцы судорожно сцепились.

Больной не открывал глаз, сухие губы двигались, нижние веки ввалились. Его голова была выбрита, и незнакомая линия голого черепа не вязалась с такими знакомыми, такими близкими чертами крупного и красивого лица.

— Как вы решаете с врачом? — спросила сестра.

Тоня обернулась на звук. Что?.. Какой врач? Что она говорит?.. При чем здесь врач?.. Не отвечая, Тоня снова впилась глазами в лежащего перед ней человека.

Он задвигался, задрожали ресницы.

Она стремительно отвернулась и непонимающим, полным ужаса взглядом уставилась на сестру.

— Со сна-то вас подняли... — сказала сестра.

Какой сон? Она спала? Когда это было?.. Светланка сосала ее грудь, чмокали жадные губки... Это действительно было?.. Только что?.. Но тогда — какой страшный сон! Так бывает, говорят, — забудешься и увидишь во сне такое, от чего вскрикнешь и опомнишься вся в поту, с трепетной слабостью во всем теле. Не глядя, она увидела, что глаза больного раскрылись и прикованы к ней. Ей хотелось бежать, бежать, бежать как можно скорее.

— Немедленно разбудите врача, — четко сказала она. — И приготовьте компрессы.

Сестра вышла. Едва закрылась за нею дверь, как Тоня всем своим существом почувствовала, что она наедине с ним. И бежать было уже поздно, бесполезно, невозможно.

— Дай... те... руку, — тихо попросил Сергей.

Она овладела собою, только чтобы скрыть от него свою глубокую, совершенную беспомощность.

— Дай... — повторил он, протягивая руку.

Она сурово взяла его руку и нащупала пульс. Пульс бился неровно, быстро, громко.

— Дышать больно? — заученно спокойно спросила она.

— Тоня...

— Лежи спокойно, Сергей. Сейчас придет врач.

Она высвободила руку и метнулась к двери, но умоляющий шепот остановил ее:

— Не уходи.

Она медленно подошла. Он смотрел жалким, просящим взглядом. Кто из них двух слабее? Кто из них более жалок?

— Тоня, мне ничего не надо... Ты прости... — услышала она тот же тихий шепот.

Как мучительно слабеет сердце... и все труднее дышать!

— Об этом говорить не надо, — произнесла она внятно. — Ни к чему это.

— Прости!

— Прощаю. И... и мне надо идти.

Она выбежала из палаты и остановилась за дверью. Навстречу шел врач:

— Да вы что, Антонина Авдеевна?

— Ни-че-го...

Ее губы тряслись. Она пропустила врача и осталась в коридоре. Она слышала, как Семен Никитич задавал вопросы, просил дышать, не дышать, дышать глубже... Он отдавал распоряжения сестре.

Когда он вышел, Тоня подошла к нему вплотную и тихо сказала:

— Спасите его.

— Да он вне всякой опасности. Вы что, Тоня? Отчего вы подумали?..

— Ах, мне все равно! — сказала Тоня и ушла.

Дома она на цыпочках подошла к детской кроватке. Володя лежал на спине, забавно раскинув слегка согнутые в локтях ручонки. Красивые влажные губы приоткрылись. Покой... покой и безмятежное довольство освещали это чистое, здоровое существо. Тоня стояла и смотрела. Где-то хлопнула дверь. Тоня быстро наклонилась, прикрыла одеялом и заслонила собою маленькое тело сына. Ее сердце билось так громко, что ей казалось — можно услышать его.

— Он такой аппетитный, когда спит, правда, Тоня?

Она вздрогнула и отшатнулась от кроватки. Она с трудом поняла, что говорит Сема, говорит ей, говорит о Володе. Уже лежа в постели и поджав заледеневшие ноги, она поняла, что́ значили его слова, — что он не спал, поджидая ее, что он тоже любовался спящим мальчиком, что он его любит... Он?!

— Ты чем-то взволнована, Тоня?

— Я? Нет, нет, что ты...

— Ты мало спишь... Ты устала, да?

— Что?.. Да, да. Немного.

Она заставляла себя понимать и отвечать.

— Ничего, Тонечка. Скоро кончится кормление, будет легче.

Светлана вдруг завозилась и захныкала. Тоня лежала, не обращая внимания. Потом до ее сознания дошел детский плач. Кто это?.. Ах, да, Светлана! Дочь. Их дочь...

— Лежи, лежи, Тонечка, я перепеленаю сам.

Тоня наблюдала за его ловкими движениями. Потом она закрыла глаза, чтобы он подумал, что она спит.

Сема подошел. Она чувствовала, что он рядом и смотрит на нее. Затаив дыхание, он пригнулся, осторожно поцеловал ее в висок и отошел. Чувство благо-

дарности и нежности охватило ее. Как хорошо! Как спокойно!

Спокойно? Нет!.. Мысль трепетала, разгоняя покой. Вернулся. Вернулся. Здесь. Рядом. «Прости...» Бритая голова и эти знакомые, изученные черты... Покоя нет. Но усталость... Ах, какая усталость!.. Вернулся? Все равно! Только бы спать, спать, спать, не думать.

5

Третья весна Нового города была как-то особенно цветуща и весела. По всему городу сажали молодые деревца, устраивали цветники и газоны. Открылся городской сад с качелями, эстрадой и буфетом; столики стояли в саду, под тентами, вечером их освещали цветными фонариками.

— Помнишь, Сема, ты мечтал в больнице? — говорил Федя Чумаков.

— Ого! То ли еще будет, друг! Это только начало.

Весной обнаружилось, как много в Новом городе детей. Дети были маленькие и большие, местные уроженцы и приезжие. Они наполнили улицы своей возней и криками. Их оживленные мордочки выглядывали изо всех окон.

— Вот он — прирост населения! — говорила Танюша Гроза Морей. — Стараемся для Нового города.

Танюша была членом городского Совета и занималась благоустройством. Мальчишки со всего города сбегались к ней по первому зову; она их называла «моя команда» и поручала им охрану древонасаждений и цветников. Ее располневшая, но все такая же быстрая фигурка ежедневно появлялась в столовых, в бараках, в школе, в магазинах. У нее был актив — жены инженеров и рабочих. Она была энергична, криклива и весела. Ее кроткие голубые глаза и звонкий требовательный голос покоряли всех непослушных. Бюрократы ее боялись. Муж удивлялся и радовался. Он вез сюда одну Танюшу, а привез другую. Где ее воркотня, апатия, капризы, сердитые слезы? Впервые за десять лет супружества она прекрасно ладила с мужем. Но любовь была деятельной — Танюша вовлекала мужа в свои дела, беспощадно критиковала его работу и устраивала скандалы, если в его цехе не выполнялся план. «Сам позоришься и меня позоришь! — кричала она. — Как мне с людей требовать, если муж в хвосте плетется?»

Он пробовал объяснять причины... «Слышать не хочу! Кто-то виноват или нет? Вот ты виноватого и вытащи и раздень! Ты мне объективными причинами рта не затыкай, я сама разберусь, что почем».

Она родила третьего ребенка и сделала это как-то легко, незаметно, между делом.

— Какая же тут трудность? — весело отвечала она, когда женщины выражали ей сочувствие. — И какие вы здесь хлопоты видите, не пойму! Это первого трудно, а потом один к одному. Пускай растут! Жизнь-то интересная. Живи да живи. А для них, пожалуй, еще интересней будет.

Впрочем, она хорошо понимала трудности материнства, и по ее инициативе был построен детский комбинат с яслями и очагом. Комсомолку Клаву Мельникову сняли с производства и послали в Москву — на курсы дошкольных работников. Красноармейцы пришли на помощь и ударно, в два месяца, построили здание комбината.

Когда Клава вернулась из Москвы, в здании кончались отделочные работы, и Клава с первого же дня с головой окунулась в хлопоты. Столяры делали по ее заказу столики, стульчики, полочки, кубики. Женщины под руководством Грозы Морей шили занавески, простыни, наволочки, детские платья и клеенчатые нагрудники. Сама Клава носилась из комбината в швейную мастерскую, из швейной в столярную, в оранжерею, к завхозу, на огород, к начальнику стройки, в механический цех, по баракам, — она доставала мыло, кастрюли, щетки, баки, водопроводные краны и муфты, договаривалась о цветах и овощах, уточняла списки своих будущих питомцев.

— Эх, ну и девушка пропадает! — тихонько вздыхала Гроза Морей. — Ей бы своего ребятенка завести!

Клава выросла, окрепла, очень похорошела. Она была все так же застенчива и ласкова, но ее нежная и сильная воля определилась: в работе Клава была настойчива и непреклонна.

— Товарищ Драченов, я к вам, — говорила она, смело входя в кабинет начальника строительства. — Как хотите, а вам надо лично нажать на отдел снабжения.

— А что вам нужно?

— Мне нужно сто детских горшков, — застенчиво улыбаясь, решительно объявляла Клава.

— Сто горшков?

— Да, сто. Каждому свой. Так во всех образцовых учреждениях. Они говорят, что им некогда заниматься горшками. А я без горшков открывать не буду, вот и все.

В другой раз она требовала премий:

— Мы на открытие лучших ударников-бойцов пригласили. И если вы не дадите премий, да мне им в глаза смотреть стыдно будет! А я, по плану, должна речь говорить. Вы мне и речь испортите.

Она часто приходила к Андрею Круглову. Они уже давно, со времени отъезда Дины, избегали друг друга. Он следил за нею с нежной симпатией, но не решался подойти к ней. А она... может быть, она ждала его первого шага и одновременно боялась этого? Но вышло так, что они долго уже не встречались.

Теперь, поглощенная заботами, энергичная, похудевшая от беготни, возбужденная успехами, она приходила к нему уже не робея:

— Андрюша, мне нужно немедленно хорошую комсомолку завхозом. Давай-ка подумаем, кого взять. Чтобы была хозяйственная и детей любила.

— Андрюша, я включаю в план беседы старых комсомольцев: как мы строили город. Твоя беседа — первая.

Иногда она требовала:

— Андрюша, сходи в механическую, подогрей. Они мне замки вторую неделю тянут. Я же не могу, у меня белье украдут.

Андрей с нежностью вглядывался в ее светлое озабоченное лицо. Под его взглядом она розовела, еще чище и яснее становились ее глаза.

— Так, пожалуйста, Андрюша, — повторяла она, — сегодня же сходи.

— Ну конечно, Клава. Сегодня же все сделаю.

Она убегала, подпрыгивая на ходу от удовольствия, что все дела хорошо налаживаются. А Круглов грустно задумывался. Эта девушка любила его. Что мешает ему? Откуда у него нерешительность и страх?.. Время идет. Любит ли она и сейчас? Он не уверен. Но она не любит никого другого. И есть в ней что-то беспомощное и нежное, когда она обращается к нему, и как-то особенно деловит ее тон, как бы прикрывая то, что может прорваться.

Он выполнял все ее требования и чаще, чем нужно, заходил в детский комбинат.

Так проходил этот весенний месяц, полный бодрости и надежд. Деловые и неуловимо нежные встречи с Кла-

вой не вызывали волнений любви, а только прозрачную, спокойную радость. Андрей много работал, настроение было ясным. Лишь иногда, по ночам, ему снились тревожные сны. Проснувшись, он никогда не мог вспомнить их содержание, но осадок тревоги томил его в течение дня... «Что? Почему? Отчего я страдаю?» Он не помнил.

В этом году он впервые получил отпуск и собирался поехать в Ростов. Отношения с Клавой были все так же неопределенны. Он ежедневно решал, что пора объясниться с нею, но со дня на день откладывал. Может быть, потому, что Клава была слишком занята.

Накануне его отъезда состоялось торжественное открытие детского комбината. Он пришел в числе самых первых гостей и был поражен новым, никогда не виданным обликом Клавы: в светлом платье, привезенном из Москвы, она как бы вся светилась оживлением и счастьем. Окруженная десятками детей, которыми она мило и властно управляла, она была олицетворением молодости и жизни. Робость и затаенная грусть, к которым привык Андрей (не отдавая себе отчета в том, что сам был их причиной), исчезли. Она встретила его ликующим взглядом. Она видела, что он любуется ею, и хотела этого. Андрей растерялся. Он был влюблен, весел, неловок, проявил полное неумение в обращении с детьми и произнес самую неудачную речь из всех, какие когда-либо говорил. Когда он кончил, он встретился глазами с Клавой. «Я люблю тебя!» — сказал он. «Я так рада», — ответила она. Они тотчас же отвели взгляды, и Клава вернулась к своим обязанностям хозяйки торжества.

Гости сидели по краям садовой площадки и смотрели на игры детей. Здесь были руководители стройки, родители и ударники-бойцы, построившие комбинат. Родители первых детей города сияли от гордости. Это были Тоня и Сема со своими двумя ребятами, Лиденька и Епифанов, Исаковы, Мооми и Кильту. Черноглазая и бойкая нанайская девочка привлекала особое внимание. Позднее, на празднике взрослых, каждый оратор говорил о ней, она стала символом новой жизни, принесенной комсомольцами в тайгу.

Андрей плохо следил за играми детей и за речами взрослых. Он целиком принадлежал Клаве. Он радостно покраснел, когда, оказавшись рядом с Клавой, услышал одобрительный возглас Грозы Морей:

— До чего же они хороши вместе! Вот парочка — лучше не сыщешь!

Какое-то смутное воспоминание шевельнулось в его мозгу, но он отогнал его. Клава тоже слышала и, быстро взглянув на Андрея, убежала в дом. Кругом сразу все померкло. Он ждал ее возвращения в сад. Драченов по-хозяйски рассаживал гостей за длинными столами в саду. Клава выглянула в дверь и снова исчезла, — он знал, что сейчас укладывают детей отдыхать, но ее отсутствие казалось слишком долгим. «Ты как луч света», — думал он, не отрывая глаз от двери. И вот она вышла. Мелькнуло ее светлое платье. Но что с нею? Она выглядела испуганной и расстроенной, насильственная улыбка портила ее, как искусственный цветок, вплетенный в букет, портит естественную простоту живых цветов.

— Мельникова! Клава! Речь! Речь! — кричали ей.

Она знала, что говорить надо, и сказала то, что полагалось. Возможно, что другие не заметили перемены. Ее голос звучал искренне и тепло, он немного сбивался, но волнение было понятно. К концу речи она взяла список, поданный ей Драченовым, и ее волнение усилилось.

— Мы особенно благодарны нашей Красной Армии, нашим прекрасным строителям. (Что с нею? Что изменило ее? Что омрачило?) Я должна отметить ударную работу товарищей Цибасова, Вардина, Ли Хо, Семенюка, Голицына...

Она была бледна и не поднимала глаз от списка. Охваченный любовью и беспокойством, Андрей не заметил смущения, которое передалось от Клавы другим.

Веселый бас Драченова разрядил напряжение. Драченов раздавал бойцам премии, для каждого находил новое поощряющее слово, улыбку, жест. Но последним подошел красноармеец Голицын, и снова почувствовалось напряжение. Голицыну аплодировали. Он молча принял премию и спрятался за товарищами, в самом конце стола. Сема Альтшулер аплодировал вместе со всеми, но его подвижное лицо непрерывно подергивалось.

— И еще одна премия, особая! — весело басил Драченов, подмигивая Клаве, которая одна знала предстоящий сюрприз. — Мы не случайно назначили открытие детского комбината на сегодня. Два года назад в этот день родился Володя, вернее, Владимир Семенович Васяев-Альтшулер, первый коренной гражданин Нового города. Отмечая это событие, мы преподносим подарок Володе и его славным папе и маме. Получите!

Так как Тоня и Сема не двигались, он сам пошел

к ним с пакетами в вытянутых руках. Напряжение дошло до крайней степени. Клава спрятала лицо и бочком, за кустами, побежала в дом. Круглов закусил губы. Но тут поднялась Тоня, потянулась за подарками и сказала своим отчетливым, звучным голосом:

— Если мы достойны премии, так только за то, что мы дали Новому городу уже двух граждан — и Володю и Светлану. Спасибо, товарищи, и следуйте нашему примеру!

Она засмеялась, с нею засмеялись и другие, с облегчением переводя дыхание.

Круглов нашел Клаву в самой веселой комнате комбината. Клава стояла среди игрушек и горько плакала.

— Клава... ну что ты? Родная... из-за чего?

Его нежные слова вызвали новый поток слез. Она позволила обнять себя и уткнулась в его плечо мокрым лицом.

— Я такая дура! Такая дура! — с отчаянием бормотала она. — Сама придумала... сама подготовила... а вышло такое... такое... я совсем не знала, что он тоже ударник... и теперь все испорчено... такое... издевательство...

Он успокаивал ее как мог.

Из сада неслись веселые голоса, смех.

— Ты преувеличиваешь... Тоня прекрасно все исправила... И ты не виновата...

— Ах, оставь! Я сама знаю, что я, я, именно я одна виновата... Надо было узнать... а вышло, как будто со зла придумано...

Он осторожно прижал к себе и поцеловал ее гладкую голову. Клава быстро отстранилась, подняла на него заплаканные глаза:

— Нет... все, все испорчено!

И пошла из комнаты.

Он стоял один. Игрушки окружали его наивными пестрыми красками... И на сердце легла такая тяжесть... «Все, все испорчено...» Нет, он не думал о тех трех, переживших в течение нескольких минут сложную драму. Он думал о себе, о Клаве, о чем-то хрупком и нежном, что испорчено...

Ее шаги вернули ему надежду. Он узнал их — легкие, быстрые шажки маленьких ног.

— Андрюша, там в саду Голицын... Бродит. Ты бы поговорил с ним...

Вздохнув, он пошел в сад. Голицын сам подошел к нему.

— Ему два года, — сказал он странно тихим голосом. — Ты ведь знаешь... Значит, я двойной подлец?

— Ты был им. А теперь забудь. Понял? Забудь. Это все, что ты можешь сделать.

Голицын был страшно возбужден:

— Нет, постой, но ведь у меня есть обязанности... я должен... если я отец...

Радостный шум и топот помешали Круглову ответить. Розовые после сна, оживленные непривычной, праздничной обстановкой, в сад выбежали дети. Они останавливались посреди площадки, искали взглядом родителей и с криками радости бросались к ним, размахивая полученными игрушками. Первыми выбежали дети старших групп. Затем появились маленькие. Впереди всех малышей, смело переваливаясь на круглых и крепких ножках, бежал Володя. Прижав к себе медвежонка, он остановился и неторопливо, как хозяин, огляделся. На какую-то секунду его внимательный взгляд коснулся застывших в стороне фигур Круглова и Голицына, но сразу скользнул дальше. Должно быть, он не видел того, кого хотел. Он капризно надул губы, отставил ножку и во все горло требовательно крикнул:

— Папа!

Сергей видел, как рванулся на зов Сема, как он подхватил ребенка на руки и поднял над головой.

— Первому гражданину — ура! — крикнул Драченов.

— Ура! Ура! Ура!

Круглов спросил коротко:

— Понял?

Голицын молча кивнул головой.

Когда все разошлись, Андрей подошел к Клаве. Клава с помощницами убирала со стола остатки угощения. Увидев Андрея, она поставила обратно тарелки и вопросительно поглядела на него.

Они молчали. Молчание становилось томительным.

— Ты еще долго будешь занята? — с усилием спросил он.

— Да.

— Ну, до свидания, Клава!

— До свидания, Андрюша!

Она проводила его до выхода. Он нерешительно раскачивал калитку, калитка скрипела. Надо было сказать... сейчас или...

— Я ведь уезжаю завтра.

— Но ты же вернешься?

Как мало слов! И почему, почему он не может сказать то, что так просто и отчетливо сказал взглядом час назад... Испорчено? Но это же вздор! Это же не то...

Он не уверен. В чем? Разве он не любит ее?.. Что-то мешало, тревожило, убивало готовые сорваться слова.

— Ну, до свидания, Андрюша!

— До свидания, Клава!

Она медленно пошла назад, опустив голову. Уже от стола оглянулась, махнула рукой. Луч света блеснул и погас... «Ты же вернешься», — вспомнил он, бесцельно бродя по городу. Что она хотела сказать? Неужели только то, что сказала?

## 6

Тоня подолгу со страхом разглядывала своего сына. Все говорили, что он похож на нее, и он действительно был похож чертами лица, разрезом глаз, уже проявившейся страстностью характера. Но под этим сходством Тоня улавливала и другое, незаметное для посторонних глаз: она помнила, как откровение, голый череп Сергея и находила у сына ту же круглую линию черепа, тот же упрямый затылок. В минуты раздражения он дергал губами совершенно так же, как Сергей. У него была та же манера смешливо морщить нос. В нем была неуравновешенность, проявления которой Тоня ненавидела, потому что они напоминали Сергея.

Она страстно любила сына, но иногда боялась его. Он значил для нее больше, чем любой сын для любой матери. В нем была ее победа над условностями жизни, большая победа ее гордости, ее любви, ее человечности. Но он был напоминанием о пережитом чувстве, с годами должны были проявиться чужие черты, и она со страхом разглядывала его — какой же он есть, какой же он будет, ее маленький сын?

Встреча с Голицыным взволновала ее сильнее, чем она могла предположить. С первой же минуты Тоня знала, что все пережитое должно быть пережито вновь, с новыми столкновениями, с новой борьбой. Дремавшее чувство вспыхнуло жарким пламенем, — не любовь, нет, но жадный интерес к своему противнику. Она могла не любить Сергея, но быть равнодушной к нему она не могла, не умела. Чего он захочет? Неужели только проще-

ния? Она надеялась, что он не захочет сына и не узнает о нем, но если бы так случилось, она была бы оскорблена и несчастна. С прямолинейностью человека, уверенного в своих силах и ничего не простившего, она хотела обнажения всего скрытого, острой борьбы и окончательной победы.

На третий день после встречи с Сергеем она смогла управлять собою настолько, что спокойно сказала Семе:

— Знаешь, Голицын вернулся. Я говорю об этом потому, что ты мог бы узнать сам. Я не хочу, чтобы ты думал, что это имеет для меня значение.

Борьба касалась только ее и Сергея, — она не хотела, чтобы Сема страдал.

В больнице она уделяла Сергею внимания ровно столько же, сколько другим больным. Но когда Сергея навестил комиссар, она пригласила комиссара к себе и узнала от комиссара все, что тот знал сам. Она была объективна и не хотела Сергею зла. «Он хороший парень, — сказала она, — вы сумеете сделать из него человека».

Окна палаты выходили во двор, где играли дети. Иногда, в припадке женской слабости, Тоня торопливо уносила сына в дом. Но слабость была чужда ей, и снова она выпускала ребенка во двор и была рада, когда замечала в окне внимательные глаза Сергея.

— Спасибо, Тоня! — сказал Сергей на прощание, выписываясь из больницы.

— Не за что, — резко ответила она.

Но он не хотел уходить так.

— Тоня... мы, наверное, говорим в последний раз. Не поминай меня лихом, Тоня.

— У меня нет ни злых, ни добрых воспоминаний, — сказала она спокойно. — Будь здоров.

Они встретились снова на детском празднике. Она увидела Сергея гораздо раньше, чем Клава, и одновременно с Семой. Но в то время как Сема растерялся и взволновался, она почти хотела развязки и успела внутренне собраться для любой схватки. Когда раздавали премии, она была спокойнее всех. И, встретив вопрошающий отчаянный взгляд Сергея, она гордо и приветливо кивнула ему головой. От ее внимания не ускользнули ни смущение Клавы и Круглова, ни мрачное уединение Сергея, ни разговор Круглова с Сергеем. Она не могла слышать разговор, но знала, о чем они говорят. Ее мальчуган помог ей. Он появился и крикнул: «Папа!»

Она стушевалась и предоставила Семе испытать всю полноту торжества. Но с этой минуты она была целиком захвачена напряжением начинающейся борьбы.

Сема ни словом не обмолвился о Голицыне. И в последующие дни о нем не говорили. Но думали. Трещинка, почти совсем затянувшаяся, снова разошлась и пугала обоих. Тоня делала все, чтобы уничтожить ее, и напряженно ждала, — она знала, что развязка будет, и только в ней находила выход.

Проходили недели. Голицына не было ни видно, ни слышно. Но он присутствовал в семье, и его присутствие яснее всех ощущал Володя, хотя он один не имел о нем ни малейшего представления. Его чаще ласкали, упорнее баловали, все шалости сходили ему с рук. В эти дни Сема, как никогда, дорожил его любовью, и маленькое существо торопилось использовать свое преимущество. Сема мастерил ему игрушки, рассказывал ему сказки, ловил ему жуков, гулял с ним в тайге, запускал воздушного змея. «Я хочу!» — заявлял маленький деспот, и Сема ни в чем не мог отказать ему. Даже Светлана, его родная и обожаемая маленькая дочь, была оттеснена на задний план, — она не участвовала в борьбе.

Сергей Голицын не появлялся. Но издали, украдкой, он наблюдал. Его неудержимо тянуло к румяному мальчугану, который оказался его сыном. При первой возможности Сергей приходил к забору детского комбината и в шумной массе ребятишек искал своего сына. Однажды он подозвал мальчугана и дал ему конфету. Володя взял конфету, оглядел чужого дядю и равнодушно отвернулся. Сергею стало стыдно, как будто он хотел украсть.

Он был очень одинок в эти летние дни, заполненные трудом и военными занятиями. Отец не хотел писать ему. Мать писала: «Не обижайся на старика, очень уж он расстроился, пусть переживет, тогда напишет». Она сообщила, что Свиридов полгода назад уехал на строительство тракторного завода и «старик совсем осиротел». А Груня вышла замуж и работает в райкоме, руководит пионерами, «все получилось не так, как мы думали, а отец ведь старый, нелегко ему...» Сергею тоже было нелегко, он не умел, как прежде, откинуть и забыть все тяжелое. Редкие и безмолвные встречи с сыном стали для него единственной отрадой. Тоня не играла никакой роли в его переживаниях. Только один женский образ жил в его мечтах — Галчонок. Он ее знал так мимолет-

но, что никак не мог вспомнить ее лицо. Он представлял себе ее разлетающиеся брови, ее большой смеющийся рот, ее ласковые и строгие глаза, но лица не получалось. Это была тень, полувымысел-полуправда. Он не думал о женской любви. Другое томило его. Он хотел подняться в собственных глазах, стать достойным уважения и любви, он хотел стать лучшим, чтобы его приняли как своего лучшие люди, его бывшие, ушедшие далеко вперед друзья. Вся потребность любви обратилась на Володю, на славного и недоступного сына.

В конце июля Володя перестал ходить в очаг. Когда Сергей впервые заметил это, он совершенно растерялся. Он не мог ни спросить о нем, ни пойти к сыну. Он даже не мог попросить командира: «Разрешите сходить узнать, что с моим сыном». Только через неделю, встретив больничную уборщицу, он сумел выведать, что у директорши заболел сын. С этой минуты страх за сына глодал его днем и ночью. Он ходил в гости к Епифанову, к Бессоновым, к Чумакову, чтобы хоть что-нибудь разузнать. Но они очень неохотно разговаривали с ним о Тоне, — все были на ее стороне. Больничная уборщица была словоохотлива, но бестолкова. «Кажись, полегчало». — «А что у него?» — «А не знаю. Говорили, да мне ни к чему». — «Опасно это?» — «Маленький он еще, маленькому все опасно».

Сергей все лето готовился занять на стрельбах первое место и попасть в число отличников боевой подготовки. Он добился этого, но испытал очень мало радости. «Сын болен... сын...»

В середине августа Володя снова появился в саду комбината. Сергей увидел сына, проходя в баню. Он не мог задержаться, не мог выйти из строя. Мальчики подбежали к забору, чтобы поглядеть на красноармейцев. Володя взобрался на перекладину и воинственно размахивал руками.

Его похудевшее оживленное личико вдруг расплылось в тумане. Сергей понял, что плачет, и торопливо вытер глаза.

Вечером он был свободен. Товарищи собирались идти гулять и звали его с собой. Но он не пошел. Он не мог терпеть дольше эту невыясненность. Он будет добиваться сына. Он имеет право знать своего сына. Кто посмеет отказать ему?

Он знал, что его право очень шатко. Обращаться к Тоне бесполезно, — он заранее знал ее ответ. Кто-то

должеи помочь ему. Но кто? К кому пойти? Кто захочет? Клава... Нет, оиа скажет то же, что сказал Круглов. Епифаиов? Ои слишком дружеи с Семой Альтшулером, и Лидеиька иикогда ие позволит ему. Лилька? Но она ие сумеет, даже если захочет.

Катя Ставрова готовила к открытию новый образцовый магазин, где паиели были выкрашеиы масляиой краской и прилавки покрыты мрамором. Ее фигурка вся округлилась, расширилась, беременный живот был плотио обтянут узким халатом, ио ее походка была все так же легка и лицо сохранило выражеиие девичьей иепосредствеииости и добродушиого лукавства.

Открытие магазииа веселило и пробуждало мысли, от которых становилось еще веселее жить. Ведь оиа удрала имеиио от торговли, от прилавка! Ирииа упрекала ее: «Ромаитики хочешь?»

Притаицовывая вокруг прилавка, на котором она расставляла товары, Катя распевала во весь голос:

Ну что же, я хотела ро-ман-тн-кн!
А ты хотела, чтобы я торговала?
По-жа-луй-ста!
Но я пред-по-чи-таю
Сперва раскорчевать тайгу,
Потом постронть новый город,
Потом постронть магазнн...
И чтоб его оштукатурил Валька,
И чтобы я сама украсила прнлавкн...

Оиа выкатывала круглые красиые сыры, подвешивала колбасы, строила башни из консервиых баиок и продолжала выкрикивать свою песию:

А вот теперь я буду торговать!
Кому сыры, сыры, сыры?
А вот чудесные со-сн-скн!
О!-гур!-цы! бак!-ла!-жа!-ны! и ком!-пот!
А вот вам мншкн, мншки, мншки!
Косолапые! Шоколадные!
Мы сейчас съеднм одну —
Это нам полезно!

Она подошла к зеркалу и критически оглядела свою округлившуюся фигурку. О-го-го! Завмаг толстеет с каждым дием... «И действительио толстеет!» — тотчас спела оиа и замерла, потому что иеизвестиое существо в ее теле бурио завертелось, толкаясь в стеики живота.

— А мой мальчик физкультуриик, — пропела она, когда возия затихла. — Ои боксер! Боксер! Весь в Бессоиова! А пожалуй, и в меня, и в меня! А пожалуй, в иас обоих. И это очень хо!-ро!-шо!

Она быстро оглянулась, почувствовав за спиной присутствие постороннего. Сергей подмигнул ей, смеясь, — он слышал ее песню. Ему было легко говорить с ней.

— Ты будущая мать. Ты поймешь...

Поняв, что разговор будет серьезным, Катя приняла таинственный и сосредоточенный вид. Она внимательно выслушала Сергея, сочувственно кивая головой, но, выслушав, сказала:

— Это все верно... Только ты брось. Не выйдет.

— Да я имею право! Это мой сын.

— Зачем же ты удирал от него?

Сергей разозлился, потому что Катя была права.

— Хватит об этом. Я вернулся. Я уже не такой, как тогда.

— Но и Тоня уже не такая. Она замужем... Сема принял ее ребенка как своего...

— Это очень благородно. Но я здесь, и отец все-таки я, и Тоня не может... Она же любила меня, ты знаешь...

Катя тоже разозлилась:

— А ты не знаешь, что теперь она любит Сему?

Ему говорили это. Но он не верил. Он слишком живо помнил, как она любила его. Он сравнивал себя с Семой. Ему казалось, что она подавила в себе былую любовь, что она не может, не может любить другого и забыть его...

— С ним она тоже слышит музыку с неба? — со злостью бросил он.

Катя не поняла, о какой музыке с неба он говорит, но, не желая сдаваться, заносчиво ответила вопросом на вопрос:

— А ты слышал, как она поет?

Она сбила с него спесь. Он поник головой. Торжествуя, Катя заговорила уже по-хорошему:

— Я тебе посоветую, Сережа. Хочешь поступить честно? Так не шебарши. Лучше всего забудь. А не можешь — пойди и поговори начистоту. И не с Тоней, а с Семой.

Она обещала ему устроить встречу с Семой так, чтобы Тоня не знала. Через день она сообщила ему, что в намеченный час Сема Альтшулер будет ждать Сергея в лаборатории по испытанию бетона на доках.

В лаборатории кроме Семы находились инженер Костько и подсобный рабочий. Шло испытание на прочность и водонепроницаемость новых проб бетона. Серые кубики бетона загромождали комнату. Сергею пришлось

переступить через них, чтобы пройти. Сема пожал ему руку и нагнулся за кубиком. Устанавливая кубик на гидравлический пресс, он искоса изучал решительное лицо Сергея.

— Я хочу говорить с тобой как мужчина с мужчиной, — сказал Сергей вполголоса, чтобы не слыхали Костько и рабочий.

— Сейчас поговорим. Погляди, как испытывается бетон. Это интересно. Видишь, кубик зажимается, вот этим насосом подается масло...

Сема суетливо объяснял. В данную минуту обоих интересовало другое, и поэтому Сема объяснял, а Сергей слушал, и никто из них не рсшался заговорить о том, ради чего они встретились.

Рабочий вручную накачивал масло. Очевидно, давление пресса усиливалось. Но кубик стоял недвижимо. Сергей машинально следил за стрелкой, которая ползла по циферблату: 40, 50, 70, 100, 110.

— Чего ты хочешь, Сергей? — тихо спросил Сема, не отрывая глаз от стрелки.

— Я хочу исправить... я знаю, как я виноват...

Стрелка ползла дальше — 120, 140, 160...

— Я полюбил этого мальчугана... И поскольку я отец...

170, 180...

Кубик не шелохнулся. Но он начал слегка шипеть, как масло на подогретой сковороде. По серым бокам тонкими нитями разбежались трещинки — и вдруг ахнул взрыв, кубик разлетелся вдребезги, посыпались камни, песок, взвилась темная пыль...

— Сто восемьдесят!—крикнул Сема инженеру Костько, сидевшему за столом. — Хороший бетон, а?

Рабочий обметал пресс, сгребал осколки.

— Выйдем, — сказал Сема.

Они прошли в соседнюю комнату, где стол и полки были заставлены стаканчиками с образцами песка, щебня, цемента. Назойливо лезла в глаза непонятная надпись: «Пуццолановый». «Что это такое, — настойчиво думал Сергей, — что это такое? Песок? Цемент? Пуццолановый...»

— Ну что ж, давай говорить, — сказал Сема, переставляя на столе стаканчики, — давай говорить... Но ты не обижайся, Сергей, потому что я буду говорить с тобой прямо, я тебя не пожалею, я скажу все как есть... — Он отстранил стаканчики и выпрямился. Уверенность в себе

делала его выше. Сергей сел и согнулся, он вдруг испугался предстоящего разговора.—Как мужчина с мужчиной, — повторил Сема его слова. — Ну что же, слушай. И первое, что надо понять: ты не имеешь на него никаких прав. Никаких. Если бы ты явился год назад, я бы не стал с тобой разговаривать. Но сейчас ты мне товарищ, и я буду говорить с тобой как товарищ с товарищем. Ты хочешь знать своего сына. Он не твой сын.

— Но послушай...

— Что «послушай»? Смотри глубже, Сергей. Что значит твоя кровь, когда вся боль, все тревоги, бессонные ночи, страхи, радости связали меня с ним крепче, чем кровь? Он мог быть твоим. Но он — мой сын. Мой, и ничей больше. Я не хочу говорить за него, он слишком мал, он ничего не поймет, но погляди на него и подумай — кто для него отец? Со дня своего рождения он видел мое лицо, дергал мой палец, поворачивал глаза на мой голос, понимал мои руки. А ты говоришь — кровь! Он бегает во весь дух, не боясь расшибиться, — и это моя школа. Он никогда не плачет, когда ему больно,—и это моя школа. И если его ударят, он не бежит жаловаться, а дает сдачи, — и это тоже моя школа. Ему два года, но он уже мастерит из дерева, из картона, из бумаги — у него мои руки, мой ум, мой характер, — ты не будешь этого отрицать, нет, ты увидишь в нем мой характер, если захочешь увидеть правду...

Его щеки разгорелись, он мог говорить без конца. Но он сдержал себя. Перед ним сидел человек, готовый отнять у него сына. Человек этот был его товарищем и имел другие права.

— Но это все ни к чему, этот разговор, — сказал Сема печально, — ты хотел говорить со мной, но что я могу сказать? Все будет так, как решит Тоня. Если Тоня скажет «да», я тоже скажу «да». Пойдем к ней. Поговорим. Ты посмотришь сам... Пойдем.

Сергей не хотел. Он понимал безнадежность своей затеи.

— Нет, нет, пойдем, — настаивал Сема. Он схватил Сергея за руку. — Пойдем сейчас, сейчас, сразу, потому что, видишь ли, я уже не могу ждать...

Тоня была в больнице, она увидела их в окно. И первым чувством, которое она испытала, была ярость из-за того, что ее обошли, что Сергей посмел обратиться к Семе помимо нее, что он заставил Сему волноваться и страдать. Она побежала домой.

— Что тебе нужно, Сергей? — задыхаясь, спросила она. — Зачем ты пришел?

Они мерили друг друга взглядами. Нет, эта женщина не любит его больше. Но какая она... большая! Большая и сильная. Она была ниже его, но ему казалось, что она смотрит на него сверху вниз.

Сема начал объяснять, стараясь успокоить Тоню. Вмешательство Семы взорвало Сергея. Какого черта он лезет со своим заступничеством! Как бы там ни было, Тоня любила первой любовью Сергея, и от него у нее сын...

— Я пришел потому, что имею право прийти к своему сыну! — крикнул он грубо, чтобы скрыть свою растерянность.

Тоня сразу подтянулась, овладела собой.

— Ты ошибаешься, — сказала она жестко. — У тебя нет сына и нет прав. Ты можешь просить, но требовать ты не можешь ничего.

Дверь из соседней комнаты мягко скрипнула, и сын— важный, независимый сын — чинно вошел в комнату. Он был полон важности и скрытого любопытства, потому что голоса взрослых были чересчур громки и позы необычны. Он вошел, остановился и огляделся. Все смолкли.

— Папа, — сказал сын, хорошо почувствовав значительность своего появления, — заело винт.

Он держал в руках самодельный самолет. Он поднял его и нажал пальцем на пропеллер, который действительно не хотел крутиться.

«Папа»,—сказал он... и Сергей отступил в смущении. Сема взял самолет, осмотрел его.

— Сейчас исправим. — И увел мальчика в другую комнату. Он прикрыл дверь, не глядя на тех, что оставались. Тоня села, сцепив на коленях руки:

— Рано или поздно поговорить было необходимо. Так давай поговорим как люди. Садись.

Он ждал, пока она обдумывала свои слова. Но она только спросила:

— Что тебе нужно? Для чего ты пришел?

Тогда, под ее спокойным взглядом, он со слезами выложил все, что его терзало эти годы,—свое одиночество, томление, свою неожиданную любовь к неожиданному сыну.

— Я тебя понимаю, — сказала Тоня. — Я рада за тебя. Теперь я верю, что ты станешь человеком. Если бы ты не пришел, я бы тебя презирала.

Они помолчали.

— А теперь слушай... Наши чувства—чепуха. Важно воспитать его настоящим человеком. Он должен жить спокойно, ясно, счастливо. Я ненавижу всякую путаницу, всякую неясность. Я выстрадала много, но его я буду оберегать всеми силами, его жизнь должна быть ясной. И разбивать семью — его семью — я никому не позволю!

Теперь он понимал. И он видел, что она много выстрадала. Может быть, потому и казалась она такой большой и сильной.

— Я знаю, Тоня... я страшно виноват перед тобой... я себе представляю...

— Ты ничего не представляешь, Сергей. Ты не знаешь, как я тебя любила, и не знаешь, как я уничтожила тебя в своем сердце. Ты ничего не знаешь и не поймешь...

— Тоня... Ты так говоришь...

— Я знаю тебе цену, Сергей. Разве я не любила тебя сильнее жизни?

— Я не понимал тогда, Тоня.. Но сейчас...

Он хотел взять ее руку. Она засмеялась:

— Брось, пожалуйста. Если я говорю об этом так легко, то потому, что та любовь умерла очень давно. И я могу вспоминать ее без боли. Я рада, Сергей, что все случилось именно так. С тобой я никогда не была бы так счастлива.

— Ты очень любишь Сему? — покорно, но с некоторым недоверием спросил он.

— Да,—серьезно ответила Тоня и сама взяла Сергея за руку материнским, утешающим движением. — Постарайся понять, Сережа, это тебе пригодится в жизни. Да, я люблю Сему. Он мне гораздо больше, чем муж. Я знаю, что ты сейчас думаешь. Ты думаешь, что ты высокий, красивый, что тебя любят женщины, а Сема мал ростом, некрасив и много в нем смешного. Да? И ты не веришь, что Сему можно предпочесть тебе?

Сергей слабо возражал—он действительно думал так еще вчера, еще сегодня... и даже сейчас...

— Быть красивым мужчиной — не большая заслуга, — презрительно сказала Тоня, — красивых мужчин много. Их всегда можно найти—не одного, так другого. А вот найти товарища всей жизни... найти в мужчине большого друга... такого, которому все скажешь, все доверишь... который хорошее в тебе поймет и плохое поймет...

Она не докончила, обрезала мысль.

— Я не знаю, чем ты еще станешь, Сергей. А Сема такой человек, которому я с закрытыми глазами доверю лучшего ребенка. И Сема — отец моих детей. Пока я жива, другого не будет.

Она дала ему справиться с волнением и позвала Сему.

— Сергей все понял и со всем согласен, — ласково касаясь плеча Сергея, сказала она. — Он сейчас уходит.

У Сергея хватило сил попросить:

— Можно мне взглянуть на него?

Тоня ввела мальчика. Сергей погладил его голову, провел пальцами по крутой линии черепа. Стриженые волосики щекотнули его ладонь. Володя неодобрительно ежился и тянулся обратно, к игрушкам. Впрочем, ему было интересно, потому что взрослые вели себя не так, как обычно, и смотрели на него особенно и внимательно. Но тем более можно было не стесняться с ними. Он вырвался и убежал.

— Прощайте, — сказал Сергей и надел фуражку.

## 7

Андрей Круглов сам не мог уяснить себе причины беспокойства и нерешительности, сковавших его волю в те дни, когда отношения с Клавой могли и должны были определиться.

Прощаясь с провожающими, среди которых не было Клавы, он не мог перебороть недовольства самим собой. Пароход плавно отчалил от родного берега. Круглов ушел в каюту, заперся и лег на койку. Он был недоволен, он сердился на себя за то, что уезжает. Конечно, надо было остаться, жениться на Клаве, провести отпуск вместе с нею. Что она думает о нем сейчас? И что он станет делать в Ростове? У него не было там никого, кроме довольно сварливой тетки, которую он не любил, и товарищей, которые, наверно, разъехались кто куда. Новый город стал роднее Ростова. Там — воспоминания, а здесь—плоды собственных усилий, друзья, единственная девушка, привлекающая его внимание... Зачем же он едет?

Заходящее солнце и речной ветер проникали в щели деревянной шторы. Шумела вода, взбиваемая колесами. На палубе топотали и болтали дети.

Андрей заснул. Тревога не отступала и во сне. Сон

был крепок и недолог, это было забытье, в котором терялось ощущение сегодняшнего дня, но зато из-под спуда случайных переживаний и впечатлений выступало неосознанное, но еще усиленное сном беспокойство. Оно становилось вещественным, принимало очертания человеческого тела, руки, поправляющей рыжеватые волосы, красиво разрезанных глаз, блестящих из-под полуопущенных век... Дина!

Он разом проснулся. Солнце уже зашло. Дети затихли. Дыхание реки заполнило каюту вечерней сыростью.

Дина... Значит, еще не решено? Не изжито? Значит, он носил ее где-то внутри, спрятанную от сознания. Это она тревожила его сны. И сейчас он едет, чтобы увидеть ее наяву. Задача еще не решена. А без этого решения нельзя подойти к Клаве. «Будем смотреть истине в глаза. Ты еще не знаешь, сможешь ли ты взглянуть на Дину равнодушными глазами. Поедем. Проверим. Разберемся в себе самом». Беспокойство рассосалось. Ясность положения дала внутреннее освобождение. И отпуск показался тем необходимым для каждого человека временем, когда можно взвесить, понять, направить самого себя.

Уже ночью он вышел на палубу. Шум воды в колесах был единственным звуком, подчеркивающим беззвучность темной реки и берегов. Один за другим возникали впереди разноцветные огни. Они перемещались, находили друг на друга, расходились; по ним читался курс корабля, огибающего обмелевшие места. Кое-где на самой воде, как светлячки, мерцали фонари на бакенах.

Засунув в рукава озябшие руки, Круглов стоял у борта, и после долгого времени, перегруженного работой и волнениями, он снова до конца почувствовал свою близость к природе и слушал ее величавую тишину.

«Как часто мы еще не умеем жить просто, ясно, отчетливо, — думал он.—Какая неустроенная наша личная жизнь! Мы сами осложняем ее, мучимся, спотыкаемся. Мы делаем ошибки ума и сердца. Проходим мимо счастья и путаемся в нами созданных тенетах. Но разве виноваты мы, сегодняшнее поколение? Сколько создано препятствий, оков, уродливых условностей, чтобы лишить людей спокойствия, наслаждения, радостного труда, общения с природой. Процесс разобщения человека с природой шел веками. Напластования культуры шли параллельно с напластованиями все более изощренных форм закабаления и уродования человека. Достижения

человеческого ума и человеческих рук потрясающи. Но другие человеческие умы (умы ли? или хитрость, жадность, злоба, жестокость?) торопились сделать все для того, чтобы массы людей были несчастны, одиноки, угнетены, лишены результатов своего труда, солнечного света, воздуха, цветов. Искусственная темнота — вот что создал хищный и цепкий класс эксплуататоров! В этой искусственной темноте столетиями билось трудящееся человечество, грязь забрызгивала его, испарения буржуазного строя отравляли дыхание. Но к свету все-таки пробилось — с кровью, с жертвами... Источник света в наших руках.

И мы боремся за то, чтобы в полной мере дать людям солнце, свет, труд, свободное дыхание, свободное чувство. О гармонии человеческих чувств мечтали лучшие люди всех веков. А мы создаем ее.

Очевидно, мы еще не научились мыслить и чувствовать глубоко — я, мои товарищи, молодежь... Мы не всегда ощущаем всю грандиозную широту наших задач. Что такое социализм, мы знаем, — мы его делаем своими руками. Но мы не всегда чувствуем, что такое социализм во всем своем освежающем благородстве, обновляющем умы и сердца. А ведь он уже тут, в нас, в нашем отношении к жизни, к труду, к женщине, к товарищу, в новизне наших мыслей и чувств. Но не об этом ли говорил Морозов? Создавая город, создавать людей! Я и тогда понял, но не до конца, не во всем объеме. Я два года воспитываю людей (и вместе с ними себя). В горячке работы не успеваешь все хорошо осмыслить. А ведь эти два года были годами социалистического созидания людей. Труд. Производство. Для нас труд — это творчество, созидание. Творческое отношение к труду при капиталистическом строе возможно только у самоотверженных одиночек — изобретателей, ученых, писателей, исследователей; при социализме—это достояние масс. И в этом новом труде естественно возникают новые основы человеческих взаимоотношений».

В памяти проходили вереницы молодых людей — несовершенных, противоречивых, разнообразных. Он видел, как у них ломался голос, как они учились дышать и мыслить по-новому. Сергей Голицын — как дорого обошелся ему его легкомысленный эгоизм! А Тоня и Сема?.. Найдется ли более яркий пример новых жизненных отношений? Федя Чумаков и Лилька—забавная пара, у которой переплетаются любовь и соревнование. Нанайская комсо-

молка Мооми, покоренная светом, бегущим по проводам. Она не побоялась отказаться от профессии монтера, чтобы дать строительству рыбу, а теперь изучает электросварочный аппарат. Катя Ставрова, сбежавшая от скучного прилавка, создала образцовый магазин. А Валька — как он обломал себя, каким чудесным парнем он становится! Поручай ему любое дело, не подведет... Новое богатство дружбы, любви, патриотизма...

Свежий воздух социализма распахнул для полной жизни умы и сердца. А ведь это еще первые часы социализма — только первые часы! Как же прекрасна будет жизнь, когда освобожденный человек полностью использует все веками добытые победы человеческого ума и богатство самой природы! Да, человек сольется с природой, но не упрощением жизни, а тем, что будет уничтожено насилие и человек вернется к естественному состоянию свободы гармоничного развития, но теперь на основе величайшего торжества ума и воли над слепой стихией.

И тогда, наверное, наши шаги к счастью будут увереннее. Мы не будем так ошибаться, так путаться. Новая Тоня придет к радости без страданий, без боли. И новый Круглов... он не повторит моих заблуждений?..

Так думал Андрей. И был счастлив и горд оттого, что живет в эти дни созидания и отдал себя целиком борьбе за такое прекрасное всечеловеческое дело. Как значителен становишься сам, когда значительна твоя партия, твое дело, твоя эпоха!

Теперь его собственные, личные горести показались мелкими. Да они и были мелки. Что значит неудачная любовь в потоке разворачивающейся большой жизни? Пусть гложет временами беспокойство и тоска — может ли он сказать, что был несчастен эти полтора года? Как ни велика потеря, несчастным делает человека только сознание пустоты, одиночества, отсутствия надежд. Такого сознания у него не было даже в самые острые минуты горя.

Бесцветный рожок месяца вылез из-за сопки в серое блеклое небо.

Светало.

Андрей ушел в каюту и заснул чудесным сном здорового, счастливого человека. Никакой тревоги. Он верил, что держит жизнь в своих руках. И новый день не развеял ночного успокоения.

В таком настроении он доехал до Ростова. В Ростове все оказалось лучше, чем он предполагал. Нашлись старые друзья, погода баловала его, и даже у тетки как будто смягчился характер. Андрей много купался, загорал, гулял с друзьями, часами рассказывал им о Новом городе и начал писать нечто вроде воспоминаний или хроники. Писать было трудно. Ему хотелось ярко рассказать о процессе формирования нового человека, о процессе, происходящем в нем и у него на глазах. Но рассказ получался бледнее фактов. Тогда он стал записывать только факты, поступки людей. Работа очень увлекла его, он думал о ней и днем и ночью.

Он узнал, что Дина в городе, но его не тянуло встретиться с нею. Она вышла замуж за известного врача, который изменял ей направо и налево. Говорили, что она самая красивая женщина в городе, и удивлялись ее терпению. Андрей увидел ее на улице издалека. Она показалась ему человеком с другого берега, бесконечно чужим. Горькая складка портила ее рот. В глазах уже не было победного блеска. И она стала беззастенчиво краситься.

Она узнала его и искренне обрадовалась. Горькая складка разгладилась, но Дина уже не могла обмануть его беспечной болтовней.

Они свернули в безлюдный переулок, душный от зноя, и ходили взад и вперед по узкой полоске тени, под самыми домами. Дина нервничала оттого, что Круглов оставался совершенно спокойным. Она не знала, как держаться, пожаловалась на скуку, сказала, что ей хочется чего-нибудь красивого, яркого, необыкновенного.

Адрей откровенно рассмеялся:

— Ты проглядела его, когда оно было перед тобою.

В том состоянии душевного подъема и напряжения мысли, которое его не покидало с бессонной ночи на пароходе, Дина показалась ему неинтересной и жалкой — человек вчерашнего дня.

— А что овечка Клава? — раздраженно спросила она.

— Я женюсь на ней.

— О!

И она вдруг рассказала ему о последнем посещении Клавы, о ее нотации и признаниях, — все, без недомолвок, не щадя себя. Это был щедрый жест, но Андрей понял, что этим щедрым жестом она маскирует свою злость.

Без сожаления расставшись с Диной, он побежал на

телеграф и послал Клаве нежную, дружескую телеграмму. Он не решился доверить проводам слова любви. Но она и так поймет.

В Новом городе начиналась осень. В темные вечера, под шум ветра и дождя, Клава сидела в темноте у печки. То, что происходило в ней, требовало уединения и сосредоточенности. Только дети не мешали ей. Соседские девочки прибегали к ней сумерничать у печки, жмурясь от страха и удовольствия. Они сидели, обнявшись, в прыгающих отсветах огня, и Клава рассказывала им сказки. Это были старые бабушкины сказки. Но Клава меняла их на ходу, пополняла своими домыслами, вносила в них дыхание современной жизни. В сказочном мире жили оборотни и колдуны, но там же были водолазы, экскаваторы и самолеты, и добрые духи говорили по радио, — сказка и жизнь сливались. И часто жизнь врывалась в сказку, и Клава думала вслух, вплетая свои мысли и чувства в сказочную ткань.

В этот вечер она рассказывала, пригорюнясь у печки:

— ...и долго искала она своего Ивана-царевича. Искала по темному лесу — шумит, звенит темный лес, кивают головками цветы, прыгают с ветки на ветку пушистые белки,—но нету Ивана-царевича. Искала у синего моря— плещет, бьется синее море, кричат над волнами белые чайки, — но нету Ивана-царевича. Искала она в больших городах, в высоких теремах, искала в деревнях и в рыбачьих хижинах — всякий рад красной девице, всякий ее приветит, всякий ее приголубит, только нет среди них Ивана-царевича.

Крупные слезы катились по ее щекам. Притихшие девочки жались вокруг нее. Она обнимала их узкие плечики, гладила русые головы и туго заплетенные косички и рада была, что в темноте не видно слез.

— А дальше? А потом? — шепотом торопили девочки, прижимаясь к ее рукам и коленям.

— А где он нашелся? — спросила самая маленькая, которая верила, что все кончается хорошо.

— А потом, — весело сказала Клава голосом, полным слез, — а потом было так, что нашелся Иван-царевич в новом, красивом городе, на берегу огромной реки, в чаще дремучего леса. Только далек был путь до этого города! Через горные хребты по звериным тропам, вверх по горным ручьям шла красная девица три года и тридцать три дня. Исцарапала белые рученьки о колючие ветки, в кровь разбила белые ноженьки об востры камни. Но знала крас-

на девица — надо дойти. Если что задумала — доведи до конца. Так она поступала, так и вы поступайте.

...И вот, на исходе третьей весны, подошла она к заповедному городу. Дома-то все новые, улицы широкие, в новых доках корабли стоят, в небе самолет кувыркается, между сопок по стальной дорожке поезд бежит и гудки подает... Обрадовалась красна девица, ступила в город. А навстречу ей — Иван-царевич. Лицо белое, очи ясным огнем горят. И поклонился он ей как своей нареченной, снял для нее с руки заветное колечко, и повел ее в новый каменный дом, вводил ее в самую светлую горенку и называл ее любимой и дорогой...

Слезы все текли, одна за другой.

— Не зажигайте! — крикнула она, услышав шаги.

Андрей Круглов стоял в дверях:

— Прямо с парохода — и к тебе.

Слезы сразу высохли. Было хорошо, что в темноте не видно вспыхнувших щек.

— Ты нас испугал, Андрюша... Я сейчас...

Он подождал ее на крыльце. Молча поздоровались. Она знала, зачем он пришел. И все, что мучило ее, все, что не могло решиться, вдруг стало ясно. Решение пришло сразу и не могло быть другим.

Они пошли по мокрым мосткам. И он говорил ей, что был слеп, что он виноват перед нею, что он любит ее и хочет назвать ее своей женой. Клава качнула головой:

— Нет.

Он не сразу понял. Ему никогда не приходило в голову, что Клава может отказать ему.

— Нет, Андрюша. Спасибо тебе. Только не надо, не выйдет ничего... Перегорело это все. Изболелось.

Он пробовал убедить ее, что все забудется, что он будет очень любить ее.

— Нет, нет! Не могу я. Я много думала, Андрюша. Два месяца все думала. И нет, не могу, не хочу, не выйдет.

Видя его недоумение, она объяснила:

— Ведь каждый человек хочет в жизни полного счастья. И я хочу. И ведь хорошие мы люди, неужели не имеем права на него? А у нас с тобой все наболевшее, перегорелое.... Нет, Андрюша, и мне это не нужно и тебе не нужно.

— Каким я был дураком!

Она промолчала.

— Но я люблю тебя, Клава...

— Так же, как любил Дину? — быстро, в упор спросила она. Он сам знал, что не так. Он и сейчас чувствовал боль, стыд, сожаление, но не отчаяние.

— Я ведь веселая, — сказала она застенчиво, — а с тобою у меня веселости нет. Грусть у меня. Вот на празднике, помнишь... показалось мне, что настоящая радость... а потом чувствую — нет! Не то. И ты, если подумаешь, согласишься. Тянет меня к тебе, а увижу — грустно, как будто все хорошее прошло.

Возвращаясь домой, он испытывал горькое облегчение. Он совершенно свободен от всякой связи с чувствами прошедших лет. Надо смотреть только в будущее, и смотреть умным, зорким взглядом, чтобы сердце не сделало ошибки. И работать, работать, выращивать в людях новые чувства, гордые мысли, чтобы не довольствовались малым, чтобы жизнь у них была деятельная, творческая, полнокровная, радостная... Вот и Клава поняла, не сдалась, пересилила старую любовь, не сулившую желанного счастья. Подумав так, он чуть не заплакал от обиды на самого себя.

## 8

Уже наступала осень. И воздух был так свеж и чист. Каждый день казался неповторимо прекрасным, но дни повторялись прозрачные, золотистые, упоительно свежие.

Клара много гуляла в эти дни. Так хорошо дышалось! В тайге опадали листья. Амур был полноводен и тих. Она ходила всегда одна. Друзей у нее было — почти вся стройка, но не было одного, самого близкого. Зато сколько есть вещей, о которых хочется подумать на свободе! «Город стоит перед глазами, — писала она Вернеру. — Эту картину я вижу с первых дней своей работы. Построенные улицы и дома вносят реальные черты, но, когда я закрываю глаза, я вижу не менее отчетливо и те, что еще не построены. Какое счастье!»

— Вы ходите, как лунатик, — сказал Гранатов, встретив ее вечером над Амуром.

— Потому что я вижу то, чего вы еще не видите, — ответила она.

— Свою славу?

Она даже удивилась. Славу? Какую? Почему? Ей никогда не приходило в голову, что Новый город может

прославить ее. Зато как ей хотелось прославить Новый город.

— Я хочу предложить вам прогулку как раз по вашему вкусу, — сказал Гранатов. — Завтра я поеду на трассу.

Она медлила с ответом. Ухаживания Гранатова прекратились уже давно, но лишь потому, что она всячески избегала его. И он стал сдержаннее, суше. Это ей нравилось, так же как и то, что он казался влюбленным попрежнему. Неужели он хочет разрушить установившееся равновесие?

— Подумайте — на машине, по тайге, километров двадцать...

Она упрямо отмалчивалась. Поездка соблазняла ее.

— Со мною поедут Исаков и Андрей Круглов.

Тогда она согласилась:

— Отчего же, с удовольствием.

— Клара, вы согласны терпеть меня лишь в присутствии представителей комсомола и печати?

— Я еду — не все ли равно почему?

Они выехали рано утром.

Железная дорога, без которой задыхалось строительство, подходила к городу все ближе. Сейчас дорогу строили с двух концов. Зимою, частью по готовому пути, частью по времянке, должны были двинуться к Новому городу первые товарные составы.

Миновав жилые поселки и каменный карьер, автомобиль вышел на ухабистую, наскоро проложенную лесную дорогу. Дорога то подходила вплотную к железнодорожной насыпи, то углублялась в тайгу. В тайге воздух был еще свежее и душистее. В золотистой глубине леса отражались и замирали звуки труда — скрежет камня, шорох песка, гудки машин, лязг, вскрики.

«Работа, наверное, тяжелая, — думала Клара,— но как хорошо здесь работать! Как хорошо для души и тела!»

Они ехали по участку, где работали заключенные. Гранатов вылезал поговорить с начальниками и инженерами. Клара с доброжелательным интересом разглядывала заключенных. Они работали дружно, весело. Иногда ей удавалось поймать обрывок разговора: они говорили о своей работе, об инструменте, — обычный рабочий разговор. Она вглядывалась в их лица — хорошие, здоровые лица, и взгляд прямой; только изредка ловила она злой, мрачный взгляд; большинство смотрело друже-

любно, с интересом. Она вглядывалась в их движения, — привычные, скупые движения рабочих, знающих свое дело. И у многих чувствуется сноровка, доставляющая удовольствие.

У фаланги Клара задержала машину, чтобы прочесть показатели ударных бригад на доске соревнований. Хорошие показатели. Надо работать с душой, чтобы добиться таких. Фамилии лучших ударников остались в памяти. Калачев, Пушкин и Васюта... Чем они занимались на свободе — эти Калачев, Пушкин и Васюта? Грабили, убивали, поджигали колхозный хлеб, делали фальшивые деньги? Как это просто и гениально — исправление трудом, сознательным, творческим, осмысленным трудом! Но есть и неисправимые? Хотелось думать, что в каждом человеке есть возможности для преодоления дурного. Но Клара знала, что есть люди слишком испорченные или слишком ненавидящие. Таких изолируют или расстреливают. Можно исправить человека запутавшегося, загрязненного средой, не видевшего других путей, кроме преступных, но врага? Сознательного, умного, ненавидящего врага? Такого не исправишь.

Она вспомнила Левицкого. Его исправить? Враг. Хитрый, умный враг. Он лгал даже ей — женщине, которую любил. Какую ненависть надо иметь, чтобы ничего не пожалеть, все загрязнить! Как душно жить, когда знаешь, что враги дышат и живут совсем, быть может, рядом, замаскированные, коварные, готовые ужалить исподтишка.

Сзади шел оживленный разговор. Гранатов перегнулся через спинку сиденья и сказал:

— О чем вы думаете, Клара?

— О врагах.

— Вы думаете, это все враги?

Она не ответила. Нет, она не думала, что это все враги. Калачев, Пушкин и Васюта — они не могут быть врагами. Нет, конечно. Они были налетчиками или фальшивомонетчиками, но сегодня они уже не враги, а почти товарищи. И многие из них вместе с новой дорогой придут в Новый город новыми людьми. Пушкин... Кто он, этот бандит с громким именем? А Васюта? Как хотелось бы увидеть Васюту! Представляется лукавое лицо, светлый чуб, глаза со смешинкой.

— Что? — спросил шофер.

Очевидно, она вслух произнесла забавное имя. Она засмеялась, возвращаясь к действительности. Тайга редела, обнажая болотистые пустыри. Здесь уже не было на-

сыпи, землекопы рыли канавы, осушая почву. Сзади спорили.

— И все-таки мы строим не так и не то, — говорил Гриша Исаков. — Вот я смотрю на наши дома и радуюсь, потому что это наши дома. Но когда мне попадаются в журналах здания Растрелли или Росси, я злюсь. Конечно, новые дома в десятки раз лучше старых рабочих домов, в них солнце, свет, стройность. Но в них мало красоты. Разве мы не можем строить так же красиво?

— Подожди. Ты же путаешь. Они строили дворцы, а кроме того, строили тысячи коммерческих домов-колодцев. А мы строим сотни тысяч и не можем строить каждый как дворец. Но домов-колодцев мы не строим ни одного.

Это говорил Круглов.

— Мы просто недостаточно богаты, — сказал Гранатов, — и у нас еще нет Растрелли.

Клара удивилась — как она могла прослушать начало такого интересного разговора? Она все еще не совсем вернулась к действительности. Пушкин и Васюта... А здесь говорят о дворцах, о Растрелли. Ну что ж, это имеет взаимосвязь. Конечно, имеет! Надо только уловить ее. И надо суметь высказать то, что составляет основу ее творческого мышления. Она повернулась через спинку сиденья назад.

— Когда создаешь что-либо, — сказала она, — нельзя задаваться целью сделать красиво. Что такое красота? Красива раззолоченная мебель или нет?

— Нет.

— Смотря какая.

Автомобиль встряхнул их на ухабе и остановился.

— Дальше не проедешь, — сообщил шофер.

Вдали видны были десятки людей, работавших на стройке моста через небольшую горную речку. Все вышли из машины и медленно направились к месту работы.

Клара продолжала:

— В Ленинграде, в Эрмитаже, есть полотно Рибейры, замечательного испанского мастера, «Самоубийство Катона». Изуродованное криком мужицкое лицо, красная дыра раскрытого рта, рука как-то снизу вверх воткнула нож в голую желтую грудь. Красиво это или нет? Я не знаю, скорее нет. Но это гениальная вещь. Рядом висят сладостно-красивые полотна Мурильо, но вы даже не задержите на них взгляда. Дело не в красоте, а в совер-

шенстве формы, выражающей содержание. Это совершенство достигается не сразу.

Клара шла тяжело дыша. Не только от ходьбы, но и от волнения, — без волнения нельзя было думать об этом.

Она вспомнила о Пушкине и Васюте. Их судьбы вплетались в то сложное, любимое жизненное основание, из которого росло ее творчество.

— Вспомните женщин первых лет революции, — без видимой связи с предыдущим сказала она. — Мне иногда кажется, что наша архитектура похожа на тех женщин — кожанка, гладкое платье, гладкие волосы. Аскетизм революции.

— А может быть, просто конструктивизм, некритическое усвоение западной архитектуры плюс наша бедность? — возразил Гранатов. — Вспомните дома-коробки первого года пятилетки!

— Подождите, подождите! — вскрикнул Исаков. — Продолжите свою мысль, Клара. Это интересно.

— Насчет конструктивизма и прочего я знаю лучше вас, — резко сказала Клара, — но для меня это не объяснение. Я люблю свое сравнение, пусть оно кажется наивным. И вы меня не убедите, что дело в конструктивизме и бедности. Разве наши женщины еще недавно не стеснялись изящества, ярких красок, оригинальных линий? Я не осуждаю, в этом пуританстве и аскетизме большое величие.

— В вас самой много аскетизма, — шепнул Гранатов.

Клара отмахнулась:

— А разве сейчас мы не радуемся тому, что есть шелка, яркие цвета, красивые вещи?

Круглов подумал о Дине и поморщился:

— Неужели наши женщины вернутся к прежнему облику? Право, я не хочу.

— Когда возвращаются к прежнему, бывает глупо или смешно. Разве вы не замечаете, что у нас уже создалось новое представление о женской красоте?

Над участком бригады землекопов развевалась красное знамя. От бригады отделился молодой парень, пошел навстречу. Очевидно, он принял их за начальство. Вскинув чубатую белокурую голову, отерев рукой запыленное лицо, он весело отрапортовал, что бригада два месяца держит первенство, план выполняется на триста процентов, сейчас заняты на рытье котлована.

— А вы кто? — быстро спросила Клара.

— Бригадир Антон Васюта, — дерзко улыбаясь женщине, представился парень.

Это был он. Воображение не обмануло. Правда, он выше и еще моложе, чем думалось, но глаза со смешинкой и светлый чуб... Антон Васюта, как приятно не обмануться в тебе!

Спутники Клары пошли к палатке, где помещался прораб участка. Клара не хотела уходить. Она заговорила с Васютой, не смущаясь его ласковой дерзостью, очевидно привычной для него в обращении с женщинами. Она старалась пробиться сквозь эту внешнюю оболочку к душевной сути Антона Васюты. Почуяв, что женщина понимает толк в строительстве, он стал почтительней. Ему было уже интересно, что́ она скажет.

— Красивый будет мост? — спросила она.

— Ого!

Он присел на корточки и нарисовал будущий мост палочкой на земле. Она присела рядом и смотрела, как он рисует.

— У вас хорошее чувство формы и верный глаз, — строго, как профессор, объявила она. — Вам надо учиться. Вы...

Она замялась, она на минуту забыла, что перед нею заключенный.

— Мне два года осталось, — так же строго сказал он. — Но, я думаю, скостят за ударность. А чему учиться?

Она сама точно не знала. Стала расказывать ему об архитектуре, о творчестве.

— Я рисую хорошо, воображение есть, — сказал он и вдруг озорно подмигнул: — Фальшивые деньги делать — тоже искусство, а?

— Но профессия архитектора все-таки лучше, а? — в тон ему ответила Клара.

— Ну, факт, лучше.

Он был, видимо, смущен и, наверное, жалел, что открылся ей. Клара спокойно продолжала разговор. Из палатки вышли ее спутники с высоким, стройным человеком в кожаном пальто.

Круглов пошел звать Клару — пора возвращаться. Прощаясь, она дала Васюте свой адрес:

— Будете в городе — разыщите меня, хорошо? Я вам покажу архитектурные журналы.

Он кивнул очень гордо, без малейшего признака благодарности. Клара поняла, что это чувство собственного достоинства, и обрадовалась. Она сказала Круглову:

— Главная задача искусства — подымать в людях чувство собственного достоинства.

Он не совсем понял ее, задумался.

— Можно сказать иначе: главное для всякого работника, не только в искусстве, любить людей и труд, заботиться о людях и людском счастье.

Она вдруг беззвучно ахнула и покачнулась, почти упав на руки Круглова. Краска сбежала со щек, губы помертвели. Сердечный припадок? Круглову казалось, что она умирает.

Клара резко повернула к машине. По необъяснимому побуждению Круглов оглянулся. Стоявший рядом с Гранатовым человек пристально смотрел вслед Кларе. Встретив взгляд Круглова, он быстро поклонился своим собеседникам и вошел в палатку. Круглов запомнил только гладко выбритые щеки, проседь в темных волосах и стройную подтянутость фигуры. Какое отношение может иметь Клара к этому заключенному?

— Сердце? — спросил Андрей, чтобы помочь ей справиться с собою.

— Ты отлично знаешь, что сердце здесь ни при чем, — с обычной прямотой отрезала Клара. — Просто я встретила человека, который... которого...

— Мне незачем знать, в чем дело, Клара.

Он вел ее под руку. Ее ноги казались совсем слабыми, как у больной. Андрей не знал, о чем говорить с нею, что делать.

— Погоди, Клара, ты завоевала поклонника.

У машины поджидал Васюта, букет полевых цветов был стыдливо опущен книзу.

— Нате вам цветов, — сказал Васюта.

— Ох! Вот спасибо.

Она крепко пожала ему руку и повторила приглашение.

Автомобиль увозил их обратно в город. Клара сидела откинувшись, закрыв лицо руками.

— Интересная бывает жизнь, — заговорил Гранатов. — Вот этот прораб осужден за контрреволюцию. Сегодня мне говорили о нем как о лучшем прорабе, ударнике, энтузиасте. Он полностью раскаялся в своем прошлом, просил дать ему возможность загладить...

Гранатов не отрывал глаз от изменившегося, посеревшего лица Клары.

— Что с вами? Вам дурно?

— Растрясло, — решительно заявил Круглов. — Чертовская дорога. Мне — и то тошно.

Клара тихонько сжала его руку.

Автомобиль довез их до конторы. Клара пошла домой, и Круглов вызвался проводить ее.

— Нет, зачем же, — сказала она, но охотно оперлась на его руку. Ее походка была все такой же неуверенной.

У дома она схватила Круглова за рукав и быстро, раздраженно заговорила:

— Пожалуйста, не думай, что я нуждаюсь в помощи. Пожалуйста, не воображай, что эта встреча поразила меня чем-нибудь, кроме неожиданности. Тут нет ничего, что могло бы меня волновать. Я встретила человека, с которым я не хочу, с которым не надо встречаться, вот и все. Забудь об этом и не веди меня, как больную.

— Я провожаю тебя из вежливости. — Он довел ее до крыльца. — Мы достаточно старые друзья, чтобы не разводить церемоний, правда?

На крыльце она дала ему цветок из букета Васюты и сказала, что будет учить Васюту архитектуре. Она казалась оживленной и оправившейся.

Но, очутившись наконец одна в своей комнате, она оглядела ее с недоумением, как чужую, припала всем телом к дверному косяку и громко сказала:

— Боже мой, у него поседели волосы!..

## 9

В жизни Вальки Бессонова наступил выдающийся день. В этот день его бригада кончала штукатурить внутренние стены эллинга. Работы оставалось еще на три дня, но срок был к первому. Первого в док придут судостроители. Значит, первого надо кончить.

Накануне решающего дня Валька собрал свою бригаду.

— Виртуозы! — сказал он, оглядывая каждого по очереди. — Знаете ли вы, что такое настоящий, действительный виртуоз? Это значит работать без промаха, каждое движение на учете, каждое — с умом. Можем мы работать так? Если можем — завтра, кровь с носу, работа будет кончена. А не можем — будем писать заявление в богадельню. Так можем или нет?

— Можем! — сказали тринадцать виртуозов.

— Ладно, — сказал Валька и побежал в эллинг присмотреться к стене.

Стена была огромна — не охватить глазом! — и пестрела тусклыми разводами углебетона. Только небольшая часть ее плоскости пряталась под гладкий слой штукатурки. Многоярусные леса подчеркивали ее размеры. Плотники устанавливали леса, они не торопились, — пока лебедка подтягивала доски, они лежали, свесив вниз головы, и казалось, они там дремлют, презирая высоту и темпы.

— Эй вы, соколы! — крикнул Валька, сложив рупором ладони. — Чтоб утром было готово.

— Куда торопишься? — лениво крикнул плотник.

— У меня как у фотографа: утром снял — вечером готово! — Валька делал веселое лицо, но ему было не до шуток. — Сколько? — спросил он у десятника.

— Тысяча двенадцать метров, — с уважением сказал десятник. — Кроме тебя, надеяться не на кого.

— На меня понадеешься — не ошибешься! — успокоил его Валька и полез на леса.

Он долго щупал стену, отметил все выбоины, потребовал тут же каменщика и сам проследил, чтобы каменщик заделал дыры. Потом набросал в записной книжке расстановку сил. Проверил, откуда пойдет материал: на верхние ярусы — по желобу с крыши; на нижние—в тачках снизу. Потребовал, чтобы подсобники вышли на работу за час до штукатуров, и сам обещал прийти поговорить с ними.

— У меня знаешь как? — сказал он десятнику.— У меня люди орлы, у меня слово такое есть.

Поздно вечером Валька снова собрал бригаду. Так и так, тысяча двенадцать метров, норма двадцать метров, а выходит по семьдесят два квадратных метра на душу и еще хвостик для разгону.

— Кабы ровная стена, — сказал один из орлов,—а то ведь колонны.

— Ну да! — подхватил Валька с таким видом, будто колонны были неожиданной радостью.—Потому я и сказал, что больше семидесяти двух на человека не сделаем. Я так и сказал: если бы не колонны, мои виртуозы по восемьдесят метров сделали б, а при таком положении как раз семьдесят два и хвостик для разгону.

Уложив бригаду спать («и чтоб спали как черти, чтоб утром были как огурчики!»), Валька пошел к начальнику участка инженеру Костько.

— От имени лучшей бригады штукатуров, — сказал он, скромно потупив глаза, — прошу вас завтра вечером принять работу.

Затем, отдавая дань любви к славе, забежал к Исакову в редакцию «Ударника», а конец вечера посвятил Кате. Катя не выходила днем, стеснялась своего большого живота, и Валька бережно водил ее гулять по вечерам. Они ходили взад и вперед мимо бараков и болтали о чем придется. Вальке нравилось, что Катя такая же веселая и подвижная, как была раньше. Ему постоянно приходилось уговаривать ее беречься. Но сегодня он сам повел ее на доки, хотя приходилось лазить по доскам и спускаться по скользким тропинкам. Катя посмотрела на стену, потом на Вальку.

— Можно сделать? — спросила она осторожно.

— Можно не можно, а сделаем,—бодро ответил Валька, не отрывая взгляда от стены: в ночном освещении, со дна темного дока, стена казалась еще необъятнее.

Утром Валька побежал на работу часа на полтора раньше, чем полагалось. При нем начали собираться подсобники. Он их повел по лесам, объяснил, как пойдут штукатуры и как обеспечить штукатуров раствором. Потом проверил, как дела с материалом. Узнав, что цементу хватит лишь на половину дня и что подвоз его еще не обеспечен, Валька побежал поднимать с постели прораба. Инженер Путин, протирая заплывшие глаза, сваливал вину на десятника. Валька понесся обратно и жестоко поругался с десятником. Но когда собралась его бригада, он вышел навстречу с веселым и спокойным лицом:

— Доброе утречко, орлы! Выспались? Как огурчики? Ну, стали смирно, слушай мою команду!

Он кратко объяснил план работы и указал каждому его место и путь.

Без десяти восемь четырнадцать штукатуров заняли свои места. Ровно в восемь все соколки поднялись кверху, как палитры художников, а все кельмы блеснули еще не измазанным блестящим металлом, подбрасывая и поворачивая сочный раствор, как хорошие хозяйки подбрасывают и валяют тесто, — и первые порции безукоризненной штукатурки легли на стену в четырнадцати местах, разбрызгиваемые, уминаемые, разглаживаемые точными движениями соколков.

— Поехали! — закричал Валька и покосился на док, где уже вертелся корреспондент газеты и собирались первые зрители. — Поехали, орлы, виртуозы!

И ловко, на красоту, подбрасывая и размашисто раскидывая по стене свинцово-серое штукатурное тесто, он отдался работе, подгоняя себя и других безукоризненной точностью движений.

Слух о задании бригады Бессонова с утра облетел стройку. Весь день внизу приходили, уходили, спорили и молча глазели болельщики. Сдержанный гул шел снизу — музыка приближающейся славы. Но Валька слушал другую музыку, звучавшую внутри, — мелодичный ритм трудовых движений, безошибочных и четких, как звуки танца. Ритм владел им и владел его тринадцатью товарищами. Они изредка переглядывались, без слов понимая друг друга. Они то вытягивались на носках, то приседали, то перегибались влево или вправо. Это был своеобразный танец, только танцевали не ноги, а руки, зато работа этих четырнадцати пар умелых рук была поразительна. В их движениях не было спешки, иногда даже могло показаться, что они слишком медлительны, особенно на отделке колонн, когда они терками и полутерками осторожно и любовно разглаживали, выравнивали и шлифовали до полной гладкости острые выступы и края. Весь смысл, вся красота их работы была не в спешке, а в той продуманной четкости и безукоризненности трудовых движений, которые дают больше, чем любая спешка. Ритм был основой слаженности маленького трудового коллектива. Этот ритм перекинулся к подсобным рабочим, без отдыха подвозившим материал и месившим раствор. Согласованность движений и действий установилась с первой минуты, когда бригада и подсобники, подобно гимнастам на арене, стройно заняли свои места.

— Качество, орлы! Качество, виртуозы!—выкрикивал Валька, отрываясь от работы, чтобы пробежать по лесам и посмотреть, все ли в порядке.

В середине дня начало затирать с цементом. Валька побежал к инженеру Путину, его губы побелели от злости.

— Вы что, шутки со мною шутите? За одну минуту простоя — да я весь док разнесу в щепы!

Но в работе он был расчетлив. Пока доставали цемент, Валька перевел бригады на отделку колонн. Не только зрители, но и сами штукатуры не знали, что блестящий темп чуть не сорвался, — Валька оберегал их настроение.

В обеденный перерыв толпа внизу так увеличилась, что казалось: прыгни с лесов — попадешь прямо на мягкую кучу тел. В конце рабочего дня толпа снова стала

сплошной, и те, кто уже побывал здесь утром и днем, не верили глазам: стены как будто сами покрывались темным слоем мокрой штукатурки. Было невероятно, что четырнадцать человек могли столько сделать за восемь часов работы. Теперь никто уже не разговаривал. Было так тихо, что слышно было легкое шипение раствора под металлическими лопатками штукатуров и тихий скрежет терок, шлифующих поверхность стены.

В четыре часа в толпе появилась Клава. Она поняла значительность происходящего и несколько минут, жмурясь, смотрела наверх. Но то, что привело сюда Клаву, было слишком важно, она не могла задерживаться. Она разыскала Круглова и быстрым шепотом сообщила принесенную новость.

— Сейчас нельзя, — сказал Круглов.—Ты же видишь сама...

Оба смотрели вверх на Вальку. Штукатуры работали, не прерывая ритма. Они работали уже девятый час. Уже должна была проявиться усталость, но на лицах четырнадцати виртуозов было не утомление, а упоение боем.

— Я скажу, как только он кончит, — обещал Круглов.—Ты пойди к ней... объясни... Она будет рада...

Последние голые пятна исчезали на глазах. Подсобники укатывали вниз тачки, материал больше, не понадобится. Но, откатив тачки, они не уходили, а замирали на месте, забыв и усталость и голод, — они были участниками торжества.

И вот Валька Бессонов оторвался от своего участка, кивнул соседу и перешел вперед. Все поняли его порыв: Валька хотел собственноручно закончить последний метр. Он перебежал вперед и сразу включился в прежний ритм, но под его руками ритм убыстрился, как убыстряется ритм огневого танца перед самым концом.

Толпа внизу была беззвучна и только в такт движениям Бессонова слегка покачивалась.

Протекали минуты.

Один за другим штукатуры наводили на своих участках стены последний лоск. В тишине отчетливо шипела терка Бессонова: шу-шу-шу...

И вдруг разом зашевелилась, зашумела вся масса людей. Ритм оборвался. Валька Бессонов повернулся лицом к зрителям, поднял руку с уже ненужной теркой, и вся толпа дружно ударила в ладоши.

Вытирая мокрый лоб, Валька улыбался навстречу приветствиям. Потом, как актер на сцене, подал руку

ближайшему штукатуру. Они обменялись рукопожатием, подумали и поцеловались. Валька поцеловался со всеми по очереди — со всеми тринадцатью орлами. Нет, это не было театральным жестом, это были свои ребята, ученики, братки, верные товарищи, в работе они сливались в одно целое. А зрители внизу? Что же, зрители тоже друзья, и разве им не радостно видеть победу четырнадцати славных штукатуров и друзей?

Валька первым двинулся вниз. За ним медленно, равняя шаг, спускались по лесенке тринадцать виртуозов.

Внизу их приняли на руки, качали.

Бессонова захватил корреспондент газеты.

— Интервью, — уверенно сказал Валька. — Бригада Валентина Бессонова оштукатурила сегодня тысячу двенадцать метров стены. Каждый штукатур сделал семьдесят два с хвостиком квадратных метра при норме двадцать метров за восемь часов. Все дело в организации работы и умении. Моя бригада...

Но тут он увидел за плечом корреспондента лицо Круглова, и выражение этого лица заставило Вальку забыть корреспондента.

— Катя?!

— Да, — сказал Круглов, — еще в обед свезли в больницу.

Они выбежали из дока, взявшись за руки.

— Что? Что? — спрашивали в толпе.

Весть о том, что Катя Ставрова рожает в больнице, мигом облетела всех. Всем надо было отдыхать, все были голодны, но многие, не сговариваясь, пошли к больнице.

И снова, как недавно в доке, вокруг дверей больницы сгрудились люди. Мороз щипал щеки, леденил ноги, сковывал дыхание. Предприимчивые штукатуры из Валькиной бригады разложили костер и расположились вокруг огня, как на привале.

— Что? — спрашивали у каждого, кто выходил из больницы.

Прошел час.

Валька Бессонов слонялся по коридору больницы, прислушиваясь к незнакомым сдержанным стонам, которые — он знал — были стонами Кати. Она не кричала, Катя, нет, — она была храбрая и сильная. Но ей, наверное, было очень тяжко. Валька томился за нее и вместе с нею. Отзвуки сегодняшней славы, страх за Катю, радостное ожидание и усталость — все перемешалось в его голове.

Круглов сидел в углу коридора, прикрыв глаза. Мучи-

тельные, неизбывные сожаления охватили его перед фактом нового торжества жизни.

— Валька, — позвала Клава, высовываясь в дверь.

Валька хорошо изучил по книгам, как все должно произойти. Раздается пронзительный крик роженицы, затем крик новорожденного, а потом уже позовут отца. Он все ждал этого крика. Но Клава сама подбежала к нему, крикнула:

— Сын! Сын! Мальчишка!—И, обняв, поцеловала его.

— Уже? — глупо спросил Валька, не понимая.

Но в это время, утверждая свое существование, голосисто и требовательно закричал новорожденный. Валька бросился в палату.

Врач пытался вытолкнуть его назад.

— Нельзя же, нельзя!—говорил он, загораживая проход. Но к врачу подбежал Круглов с искаженным злобою лицом.

— Что значит «нельзя»? — закричал он, отталкивая врача.—Бессонов сегодня поставил такой рекорд, и его не пустить к жене?

Вальку пустили.

Катя встретила его совсем прежней простодушной улыбкой. Он осторожно, боясь дышать, подошел к ребенку. Закутанный в пеленку мальчишка кричал, морща красный лобик.

— В меня! — сказал Валька, виновато улыбаясь врачу, и на цыпочках подошел к Кате. Он хотел сказать ей многое. Он любил ее, он был благодарен ей, он все еще боялся за нее. Он не знал, как это выразить при посторонних, и сказал другое.

— Катюша, а мы сделали все тысяча двенадцать метров, — сказал он робко, сжимая ее руку в своей.

Врач передернул плечами, возмущенный.

Но Катя поняла. Она знала, что дело не в тысяче двенадцати метрах, а в том, что они оба достойны друг друга, жизни, любви, сына.

— Мне совсем не было трудно, — заявила она и, приподняв голову, покосилась на сына.—Он тебе понравился?

Врач выпроводил Вальку из палаты. Катя счастливо вздохнула и закрыла глаза. Засыпая, она слышала гул голосов во дворе, но сон уже обволакивал сознание, и она не разобрала приветствий, адресованных ей, ее мужу, их прекрасному сыну.

А Валька прибежал домой, не зная, что делать с со-

бой. Он бегал по комнате, натыкаясь на стулья, разговаривал вслух, громко смеялся. Должно быть, он был смертельно утомлен, но возбуждение вытеснило усталость.

Он шумно обрадовался, когда пришли друзья из комсомольского комитета—Круглов, Сема Альтшулер, Тоня. Они осмотрели комнату и приданое сына. Тут же наметили, что еще нужно. Сема сказал, что завтра установит радиоприемник. Тоня обещала детскую коляску, Круглов — ватное одеяло и материи на занавеску.

Они силой увели Вальку ужинать. В столовой Валька узнал, что начальник строительства Драченов премировал всю бригаду. После ужина друзья проводили Вальку до дверей комнаты:

— Ты же устал, спи.

Но Валька не мог спать. Подождав, пока уйдут друзья, он побежал в холостяцкое общежитие, к своим штукатурам. Штукатуры спали, их богатырский храп был слышен из коридора. Валька потоптался в дверях, послушал, кто как храпит, и побежал в больницу—мало ли что могло случиться за три часа! Он долго стучался. Наконец вышла сердитая санитарка, и Валька с трудом добился от нее сообщения, что роженица чувствует себя прекрасно, а ребенок спит, потому что больше ему делать нечего.

Вальке также было нечего больше делать, и он побрел домой. Но спать было невозможно. Все самые лучшие мысли оставались невысказанными. Нужно было немедленно излить свое счастье понимающему другу, но он не знал кому. И вдруг он нашел этого друга.

Он достал чистую бумагу, сел к столу и задумался. Потом неуверенно написал: «Глубокоуважаемый...» Нет, не то. «Уважаемый, любимый...» Нет, он снова зачеркнул. Надо проще, дружески. Как тогда, в минуту встречи. Он поймет. И Валька стал писать, уже не отрываясь:

«Дорогой, дорогой Сергей Миронович! Я давно собираюсь Вам написать, но не было ничего отличительного. А сегодня самый счастливый день в моей жизни: я сделал с бригадой 1012 квадратных метров стены, никто не брался, а я взялся и сделал. И у меня родился сын, Сергей Валентинович Бессонов. Его еще не записали, но у нас с Катей (это моя жена) давно решено назвать сына Вашим именем, а если дочка — Кирой. Но родился сын одиннадцати фунтов весом. Это здесь первый такой круп-

ный ребенок — больше десяти с половиной не было, а ребят родилось уже больше сотни.

Не удивляйтесь, Сергей Миронович, что всего сотня. Ведь город у нас совсем новый, молодой, мы его построили своими руками на чистом месте. Вы знаете, я штукатур, но я не только штукатурил, а корчевал тайгу, прокладывал дороги, строил шалаши, потом дома, рыл землю, сплавлял лес—всего не перескажешь. Скажу Вам без утайки: вначале мне не понравилось, я даже чуть не убежал, но Катя мне напомнила Ваши слова, Сергей Миронович, чтобы я не подкачал ленинградский авторитет. Тогда я выправился, и стал лучшим ударником, и вот уже второй год бригадир отличной, краснознаменной комсомольской бригады штукатуров, и наше переходящее Красное знамя от нас никуда не перейдет, этого мы не допустим. Вы помните, как я работал? Я научил всех ребят работать так же. И не будет на заводе такого сооружения, где бы не было нашей штукатурки. А завод будет первоклассный, по самой передовой технике. И город будет мировой. Вот бы Вы приехали посмотреть! Здесь места очень красивые. Тайга, сопки, горные речки. А сам Амур гораздо шире Невы. Я слышал, Вы любите охотиться, так охота здесь замечательная: зайцы, утки, белки, всякое зверье есть, а если подальше забраться, найдете и лося и медведя. Так что приезжайте, дорогой Сергей Миронович! А мы Вам покажем нашего сына Сергея. И я Вам обещаю комсомольским словом, что он тоже не уронит ленинградский авторитет и будет достоин Вашего имени.

Простите, что отвлекаю Ваше внимание. Вы, может быть, забыли меня, но я Вас всегда помню и по Вашему совету сюда приехал. А когда сын подрастет, я расскажу ему про Вас и научу его любить Вас, как лучший пример и образец, каким Вы являетесь для меня, дорогой Сергей Миронович. И еще передаю Вам привет от жены Кати и всех комсомольцев, строителей нашего города.

Остаюсь с уважением любящий Вас Валентин Бессонов, мобилизованный ленинградский комсомолец».

Дописав письмо, Валька запечатал его, сбегал опустить в почтовый ящик и только тогда, успокоенный, заснул. И так спалось ему, что даже снов не видел.

Утро встретило его метелью. Но Валька, как именинник, носился по городу, не замечая холода. Он успел побывать в больнице до работы и снова сбегал туда в обе-

деный перерыв, а после работы добился коротенького свидания с Катей. Катя была здорова и упрашивала доктора, чтобы ей разрешили встать. «Я же физкультурница! — убеждала она врача.—Для меня сроки совсем другие!» Сын был добродушный и покладистый, санитарки уверяли, что лучшего ребенка не видели.

Дома Валька застал детскую коляску, одеяло, занавески и Сему Альтшулера, возившегося с приемником. Не обращая внимания на ветер, они вдвоем лазили на крышу устанавливать антенну. Валька ничего не понимал в радио, но с уважением и готовностью выполнял мелкие поручения Семы — разматывал провод, подавал ролики и гвозди, держал стремянку.

Поздно вечером все было готово. Очень довольные, уселись они перед чудесным ящиком. Сема включил провод, повернул рычажок, и оба слушали, как тихо гудели, накаляясь, лампы. Потом, еще издалека, донеслись волны музыки. Друзья торжественно переглянулись. В приемнике что-то гудело и трещало, но музыка росла, приближалась. Величественные звуки неслись из маленького ящика.

«Вот это жизнь! — думал Валька. — Поработал на славу, пришел домой, а тут у тебя уют, и отдых, и сын растет под музыку...» Но от маленького ящика, в пришедших издалека волнах музыки, струилось что-то неуловимо тревожное. Звуки распирали ящик, тяжелые, мощные, мятущиеся, скорбные.

«Что это?» — хотел спросить Валька, но не посмел. В лице Семы он прочел тот же испуг и тревогу, что охватили его.

Музыка смолкла. Ящик гудел, что-то лопалось и трещало в неведомых пространствах. И вдруг, после паузы, из неведомых пространств зазвучал низкий и напряженный мужской голос:

— От Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии большевиков...

Обманывая себя, Валька произнес пересохшими губами:

— Ого, тут узнаешь все новости!

Тревога, тревога и горе просачивались в комнату вместе с низким и напряженным голосом:

— Центральный Комитет ВКП (большевиков) с величайшим прискорбием извещает партию, рабочий класс и всех трудящихся...

Голос говорил медленно, угрожающе, отчетливо.

Приятели неотрывно смотрели в черную сетку ящика.

— ...что первого декабря в Ленинграде от предательской руки врага рабочего класса...

Валька и Сема одновременно поднялись. Валька дернулся вперед, готовый выключить приемник, лишь бы защититься от зловещего голоса.

— ...погиб выдающийся деятель нашей партии, пламенный, бесстрашный революционер...

«Кто?!» — хотел крикнуть Валька, но крик застрял в гортани.

— ...любимый руководитель большевиков и всех трудящихся Ленинграда, секретарь Центрального и Ленинградского Комитета ВКП (большевиков)...

«Нет, нет, не может быть, ошибка!..» — протестовал Валька всем своим существом, не желающим верить страшному, непонятному, неотвратимому несчастью, выползавшему из маленького ящика отчетливым голосом чтеца.

— ...член Политбюро ЦК ВКП(б)...

И наконец, когда напряжение стало непосильным, голос закончил:

— ...товарищ Сергей Миронович Киров.

В беспамятстве Валька вцепился руками в зловещий ящик и тряхнул его. А голос, вздрагивая, продолжал:

— ...кристально чистого и непоколебимо стойкого партийца, большевика-ленинца, отдавшего всю свою яркую, славную жизнь делу рабочего класса...

Валька выпустил из рук приемник. Поздно. Несчастье неотвратимо. Оно уже вошло в жизнь... А голос продолжал, и какие-то обнадеживающие, бодрые ноты появились в нем:

— Центральный Комитет верит, что память о товарище Кирове, светлый пример его бесстрашной неутомимой борьбы за пролетарскую революцию...

Сема Альтшулер подошел к Вальке и прижался к его плечу, этой близостью защищаясь от возникшей пустоты. Тогда Валька опустил голову и заплакал. Киров! Светлый Киров!.. Он вспомнил внимательные, наблюдающие глаза с веселым прищуром, вспомнил теплые нити, протянувшиеся от него к Вальке, когда Валька понял, что он тоже любит и понимает ладную, умелую работу. И теплый голос, спросивший: «Едешь с охотой?»

— Кто?! — крикнул Валька, поднимая лицо с пятнами слез на щеках.—Кто мог это сделать?! Да я бы!..—

Его сотрясали злоба и ненависть к тому неизвестному, кто посмел посягнуть на его Кирова. Он задыхался от сознания, что находится так далеко, что он бессилен что-либо сделать.

— Ты не знаешь, что такое был Киров!—крикнул он Семе Альтшулеру.—А я его знал! Знал!..

Часом позднее, по затихшему городу, Валька ходил из барака в барак. Забывая отряхнуть налипший снег, он собирал людей и рассказывал, что такое был Киров и как Киров послал его на Дальний Восток. И в бессонную ночь, сплотившись в тесные группы вокруг Вальки, комсомольцы слушали его рассказ, а потом шли за ним в другой барак и снова слушали и вместе сочиняли гневную и скорбную резолюцию, вставляя в нее каждый свое слово любви, ненависти, непреклонной решимости.

Маленький Сергей спал в больнице в своей постельке рядом с тремя другими маленькими существами. Он лежал спокойно, чуждый миру волнений, тревог и борьбы, сам — средоточие жизни в ее самом радостном проявлении. Катя прокралась в детскую и сидела над ним, поджав под себя босые ноги, и, глотая слезы, всматривалась в него с надеждой, облегчающей и оттесняющей скорбь.

## 10

Начиная редактировать газету, Гриша Исаков еще не представлял себе, чем станет для него газета. Он только радовался: вот когда можно будет писать стихи!

Но писал он очень мало. Были недели и даже месяцы, когда он не писал ни строчки. Стихи бродили в нем, не выходя наружу. Мелькнет строфа, рифма, несколько стихотворных мыслей — он не давал им оформиться. Его поэтический опыт помогал ему писать прозу — его статьи были лаконичны, ясны. Он умел ценить слово и строчку. В прозе, как и в стихе, он не допускал пустых мест. Но статьи, которые он обдумывал ночами, повышали его требования к стихам. Редактор газеты направлял поэта. Кипучая, требовательная жизнь говорила с поэтом полным голосом. Этому упрямому голосу вторил другой, громовой голос поэтического руководителя — голос Маяковского. «В наше время тот — поэт, тот — писатель, кто полезен». Из прошлого звучал третий голос: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».

Гриша всегда жил жизнью своего народа, своего коллектива. Но, мечтатель, он нередко скользил над собы-

тиями, над людьми, воспринимая их сквозь мечтательную, лирическую задумчивость. Он часто видел жизнь не такой, как она есть, а такой, какой хотел ее видеть. Газета — литературная практика, черновая работа поэзии — заставила его спуститься к самой низкой реальности, войти в нее, разобраться в ней, понюхать и хорошие и дурные запахи, увидеть и солнце и мрак. Тогда он понял, что «жизнь как она есть» сложней и прекрасней его выдумок. Противоречивее и многограннее люди. Сложнее события. Глубже процессы изменения и развития. Что же он писал до сих пор? Все чепуха, вздор, пустяки, побрякушки!

Он вмешивался и созидал жизнь, и жизнь предъявляла требования — писать остро, глубоко бить в цель, доходить до масс, действовать. Не только жизнь — он сам, один из ее творцов, диктовал эти требования самому себе.

А писать он не мог. Разучился. Не получалось того, что хотелось. Писать же такие стихи, как прежде, было уже стыдно...

Секретарь горкома партии Готовцев упрекнул его:

— Заленился ты, Исаков. Что́ бы дать на развороте стишки — всю газету украсило бы!

— Я не могу, — удрученно сказал Гриша.—Понимаешь, стихи должны жечь, переворачивать, бить, а у меня не выходит.

— А ты не жги, не переворачивай. Тебя ведь никто Пушкиным не считает. А что за газета без стихов?

Готовцев не понимал. Гриша не обижался, он знал, что он не Пушкин, но он вспоминал Морозова,—Морозов понял бы. Писать стишки для украшения он не мог и не хотел.

— Я бездарен, — говорил он Соне. — Все, что я написал, никому не нужно!

— Спроси об этом Мотьку Знайде, — спокойно отвечала Соня.—Кто вернул его с пристани, если бы не твои стихи?

— Да, но это единственное поэтическое дело моей жизни, которое имело смысл.

Он преувеличивал, но мысли его были правильны. Сознание шло дальше его умения. Он хотел того, что еще не мог осуществить. Но в этот период газетной работы и стихового затишья в нем зрели новые силы.

Ощущение сегодняшнего было в нем всегда. Газета доводила это ощущение до предельной остроты. Он был

в центре всего и должен был не только откликаться на все, но чуять назревающие события, угадывать, вызывать к жизни новые процессы. Он думал: разве не это — задача поэта? Разве поэтическая мысль не должна устремляться вперед, так же как мысль политика, чтобы понять будущее и бороться за него?

Он узнал напряжение боевой готовности. Страна жила мирным трудом, спокойно спала, просыпалась веселой и деловой. А на границе вспыхивали выстрелы, под пулями падали люди, взлетали боевые самолеты. Это не было войной. Это называлось «пограничный конфликт». Но в тех пунктах, где бьется пульс страны, тень войны проходила по лицам, делая их строже и старше, придавала словам суровую четкость. Здесь не спали, ожидая приказа, известий. Здесь концентрировалась боевая готовность. Редакция газеты была одним из пунктов готовности.

А поэт? Разве поэт — не тот же часовой страны? Разве его слово не должно звучать в те минуты, когда винтовки взяты наизготовку и не спят штабы?.. Если он не найдет нужного слова, он жалок, он пуст.

Андрей Круглов показал Грише начатую в отпуске хронику и поделился своим неосуществимым желанием показать становление новой психологии.

— Да, да, вот что нужно!—воскликнул Гриша. — Показать и подгонять это становление. Если не суметь этого, зачем писать?

— Мало наблюдать и описывать новые явления,— говорил он Соне, — надо вызывать их, подгонять, торопить. Кто этого не может, тот не поэт своей эпохи, как бы талантлив он ни был!

В другой раз он сказал ей:

— Чем быть плохим поэтом, буду лучше хорошим газетчиком.

Соня не возражала, — она знала, что он лжет самому себе, что новые стихи, когда он начнет писать снова, будут лучше прежних.

Смерть Кирова оглушила его. Он долго не верил в нее. Даже тогда, когда траурные полосы газеты выходили из печатной машины, он все еще не верил, что Сергея Кирова нет в живых. Никто не хотел верить. Страна отвыкла от горя. Страна была счастлива и — в счастье — доверчива. Как хороший человек никогда до конца не понимает подлости, так и коллектив страны, увлеченный созиданием нового строя, хотя и знал, но не мог постиг-

нуть того, что вот тут, рядом, под личиной друга копошится такой враг, что есть люди (не где-то, а вот здесь, близко), которым ненавистно то, что для коллектива свято и любимо.

Еще не были ясны размеры чудовищного зла. Но первый болезненный удар был нанесен. Удар поразил одного из самых светлых людей страны и рикошетом поразил каждого, кто вчера беспечно улыбался и спокойно работал.

Поздно ночью Гриша сел писать стихи. Он еще не знал, что напишет. Но взволнованное напряжение всех чувств должно было вылиться в стихи и закричать на весь город, на всю страну о бессмертной живучести большевика, о неумирающей силе большевистского дела, которое опрокинет любые замыслы врага, о силе, которая живет в рекорде Бессонова, в бетонных колоннах эллинга, в будущем корабле, в каждом из нас.

Творческая мысль уцепилась за подсказанный жизнью образ: сквозь одетую в траур страну идет живое письмо к живому, к вечно живому.

На рассвете он разбудил Соню:

— Родная, слушай. Или я ничего не понимаю, или это лучшее, что я написал в жизни.

После этого взлета он снова долго молчал. Но теперь он уже знал, что будет писать, и только ждал с медлительностью человека, накапливающего силы для решающей схватки. Схватка предстояла с самой жизнью, он должен был овладеть ею и повести ее за собой. Так учил Маяковский: «Вперед забегайте, не боясь суда. Зовите рукой с грядущих кряжей: пролетарий, сюда!» Он бросился в гущу жизни, стал в центре ее как строитель, как газетчик, как поэт. Он учился у нее, чтобы потом учить и менять ее самое.

Жизнь Нового города развивалась стремительно. Работал завод—еще не достроенный, еще в черновом виде, но уже завод. Судостроители начали сборку первого корабля. Город определился — улицы, дома, районы. Новые кварталы оттеснили бараки, смели шалаши. Люди выросли, много учились и работали с азартом. «Правительственный срок будет выдержан!» Это был лозунг, впитавшийся в быт всего коллектива строителей. Это было частью большого созидательного движения, охватившего всю страну. Из глубин этого движения родилась новая, высшая форма. Она носила имя донецкого забойщика Стаханова, в течение месяца ставшего самым по-

пулярным работником страны. Оказалось, что пример Стаханова разбудил, вызвал к жизни массовое явление, уже назревшее в передовых слоях рабочего класса. Желание, соединенное со знанием и умением, было основой этого явления.

В Новом городе прогремело имя стахановца Валентина Бессонова. То, что он осуществил с бригадой год назад, стало теперь не одиночным рекордом, а системой работы. «Организация, подготовка, умение — вот и весь секрет!»— заявил Валька.

Гриша хорошо понимал побуждения Вальки: для Вальки город и завод были родным, кровным делом, труд веселил его, а трудовая слава вдохновляла. Он был первым стахановцем, иначе и быть не могло. Но тут появилась новая стахановская бригада Тимченко, она перекрыла производительность Вальки Бессонова. Тимченко стал героем дня.

Гриша с интересом наблюдал, что переживает Бессонов, лишенный первенства. Валька удивился и через два дня перекрыл показатели Тимченко. На следующий день Тимченко снова вырвался вперед. Валька сказал: «Вот черти!» — и оставил его позади. Гриша освещал в газете ход соревнования и наблюдал. Жизнь преподнесла ему неожиданность: он вдруг заметил, что Бессонов и Тимченко подружились. «Моя хватка!» — говорил Валька. «Ничего работают!» — с огоньком в глазах признавал Тимченко. Они поддразнивали друг друга, ни за что не хотели уступить один другому, но их все чаще видели вместе. Гриша думал: вот таких отношений не выдумаешь, их надо открыть и понять. И как все просто. Слава одного не мешает славе другого, — жизнь просторна, работы хватит на всех, только двигай, только поторапливай, только душу вложи, а результат нужен всем и для всех дорог.

Работали не только руки, — работали головы. Пытливая мысль, рабочая смекалка, подкрепленные накопленными техническими знаниями, освещали трудовой опыт и создавали новый, еще небывалый.

Петя Голубенко, бригадир плотников на доках, придумал новый и на редкость простой способ поднимать опалубку колонн. Стахановская семья Чумакова — Савеловой изменила процесс бетонирования.

Сергей Голицын, работавший каменщиком на ударной стройке, ввел новую систему кладки стен. Он делал

на общегородском собрании каменщиков доклад и написал статью «Моя система кладки».

Гриша с жадным любопытством приглядывался к стахановцам. Что двигало ими? Может быть, тщеславие, корысть? Жажда выдвинуться? Нет. Это был социализм в действии, социализм, вошедший в быт и сознание. Огромная сила социалистического притяжения неудержимо влекла людей на трудовые подвиги, и если были у каждого человека свои побочные, личные побуждения, элементы тщеславия, корысти, карьеризма — эти чувства перерабатывались, оттирались, вытеснялись основным характером движения, поднявшего в людях умное и творческое отношение к труду, гордость своим ремеслом, чувство собственного достоинства, радость свободного развития и благодарность своей Родине.

Но в жизнь вкралась тревога. Счастье живых дел, молодость обновления мира — и наряду с этой радостью почти физическое ощущение близости затаившегося врага. Какие-то неуловимые руки вызывали непонятные аварии, резали пожарные шланги, портили оборудование, вредили исподтишка.

«Как все сложнее и глубже, чем мы себе представляли, — думал Гриша, вспоминая беспечную радость, с какою они все, комсомольцы, ехали сюда.—«Прекрасное содружество упорства и мечты»... Да, это так. Оно есть. Но враги впились шипами в наше содружество. Кто? Кто враг? Где?»

Грише очень не хватало Морозова. Готовцев не мог удовлетворить его. Это был спокойный, слишком спокойный человек. Он не вносил в работу жара душевного, был расплывчат, нерешителен, по каждому вопросу искал директивы сверху, а если директивы не было, приходил в смятение от любого смелого начинания.

— Ты знаешь, — говорил Гриша Круглову, — даже когда я пощипываю его в газете, он не огорчается, потому что есть директива о самокритике.

С Кругловым Гриша дружил. Круглов понимал его творческие дерзания, наталкивал его на новые мысли. Он понемногу писал свою хронику и говорил Грише:

— Если суметь показать становление новой психологии, то можно было бы предсказать появление стахановцев. Они должны были получиться в моей хронике как естественный вывод.

— И в моих стихах, — добавлял Гриша.

В его голове зрел замысел целого цикла стихов: «Книга нового человека».

Но теперь ему было действительно некогда. Приближался правительственный срок. Сборка первого корабля вступила в самый ответственный период. Вчера под кораблем нашли бочку с горючим. Сегодня покосилась набок ряжевая набережная, и оказалось, что заиленное дно под нею не было расчищено. Кто-то испортил пожарную сигнализацию. Напряжение коллектива строителей дошло до предела. Кто? Кто? Газета искала, влезала во все детали, звала к бдительности. Никогда еще не приходилось Грише так горячо работать и так много думать. Он привлек в газету новых людей, которым верил, которые были смелы и внимательны. У него стала сотрудничать Тоня Васяева. Тоня писала плохо, но вносила в работу бесстрашие и пылкость, у нее был пристальный взгляд. Она хорошо умела привлекать в газету новых рабкоров. Поговорив с нею, каждый понимал, что он отвечает за стройку, за корабль, за неразоблаченного врага. «Кто? Кто?» — спрашивал себя каждый.

Гриша не успевал писать стихи.

— Какие уж тут стихи! — сказал ему как-то Готовцев. — Такое время...

Гриша и сам на минуту согласился: «Да, не до стихов. Мало сейчас стихов». «Впрочем, может, это и не нужно», — вспомнил он строку Маяковского. Но, вспомнив всю поэзию Маяковского, возмутился и против этой строки и против своей мысли. Не нужно? Стихи не нужны? Он старался охватить всю жизнь и найти в ней место стиха. Каково оно? Стоит ли вкладывать в стихи свою душу и силы?

У него росла дочь. Он много размышлял и обсуждал с Соней, как воспитать ее умной, чудесной женщиной, как создать из нее настоящего человека с большими чувствами и мыслями, чтобы она вошла в «коммунистическое далеко» созидателем этого строя.

Он следил за тем, как Тоня и Сема воспитывали своего Володю. У них тоже были жгучие мечты о будущем мальчика. Они закаляли его тело и прививали ему бесстрашие, упорство, силу воли. Сема вдохновлял его рассказами о героических людях и подвигах; казалось, он больше всего хочет, чтобы мальчик выбрал какую-нибудь самую опасную профессию: стратонавта, исследователя действующих вулканов.

Гриша хотел, чтобы его дочь любила стихи. Может

быть, она будет той первой женщиной, которая войдет в литературу как равная великим, и голос ее, чуждый ахматовской любовной истоме, зазвучит как голос большого поэта своей эпохи? Женщины еще не поднимались до самых высот литературы. Но с развитием социалистического общества женщина будет подниматься все выше во всех областях, ибо не только ее быт, но и ее психология очистится от плесени рабства, от рабского бессилия и робости. И тогда таланты не будут глохнуть в обреченности женской судьбы.

Дочь должна быть такой женщиной.

Но на чем воспитать ее? Где книги, открывающие глаза на жизнь во всей сложности, на жизнь, которая сегодня иная, чем вчера, а завтра будет еще иной, лучшей! Где эти стихи? Их мало. А они так нужны!

Разве слащавые романы Чарской не создали поколение дур? Разве Вертеры и Чайльд-Гарольды не расплодились по свету? Какие-нибудь унылые строчки: «Вы, баловни судьбы, слепые дети счастья» — с детства западали в душу, воспитывая представления. Озорная песенка «Шел я верхом, шел я низом, у милашки дом с карнизом» отдавалась в душе подростка целой программой отношений к женщине, к жизни. Гриша помнил, как зажгли его воображение слова песни «Не ходил с кистенем...». И разве сейчас Корчагин — Островский не вошел в нашу среду как товарищ, при котором стыдно поступать мелочно и трусливо, стыдно не отдавать свои силы без остатка борьбе за коммунизм!

Да, вот что надо делать! Вот это и есть — инженер человеческих душ. Какое точное определение! Но для того чтобы стать таким инженером-человекотворцем, как много надо!

«А я еще никакой писатель, — думал Гриша.—Я не создал ничего значительного. Ну что же! Будущее за мною. Надо сперва самому стать значительным, чтобы было что сказать. А для этого — глубже, глубже в жизнь. Строителем, газетчиком, оратором, чекистом — глубже в жизнь. Меня интересует все, я залезаю везде, я хочу видеть все — и действовать. Не только наблюдать, но действовать. В действии рождается новый человек, в борьбе, в дерзании».

Он потерял робость. Он много писал — и статей, и заметок, и стихов. Он не боялся черновой работы, лозунга, рифмованной шутки, подписи под рисунком. Однажды он напечатал рисунок с подписью:

Вглядись, товарищ, зорким взглядом:
Не действует ли враг с тобою рядом?

Он сочинил подпись в одну минуту и немного стыдился печатать ее. На следующий вечер к нему на дом пришел инженер Костько. Костько был бледен, возбужден, расстроен. Он ткнул пальцем в Гришину подпись:

— Я страшно колебался, а сегодня подумал, что нельзя... У меня страшное, ужасное сомнение... Если бы я имел факты... Но я все-таки поделюсь с вами... У меня кошмарное подозрение... Видите ли, инженер Путин...

Гриша не спал всю ночь от счастья. Что, стихи не нужны? В такое время не до стихов?.. Нет, в такой напряженный момент опускаются руки лишь у тех, кто жмется в сторонке, пропуская мимо бурлящую жизнь! А у того, кто смело бросается в гущу событий, у того все острее мысль, все полнее чувство, все настоятельнее потребность писать. В эти дни Гриша начал свою «Книгу нового человека».

## 11

Снова настала весна. Бодрящий ветер носился над котловиной, где вырос город, — ее город. Клара Каплан ощущала весну всем сердцем, всем телом, всеми порами кожи. Как хорошо жить! Как неутомимы тело и мозг!

Она была очень занята. Работы архитектора было совсем недостаточно для ее энергии. Она работала еще и в горсовете. К ней пришел Тарас Ильич. Длинный, худой, веселый, он сказал ей:

— Барышня, дорогая... Я ведь когда-то хороший садовник был. Возьмите меня к цветам поближе.

Они вместе создавали оранжерею. Клара не побоялась послать Тараса Ильича с большой суммой денег в командировку за семенами и рассадой. В свободные минуты она помогала ему ходить за цветами. В парном тепле стеклянных галерей они беседовали неторопливо и рассудительно.

— Ведь это какой круг жизни, — говорил Тарас Ильич, — с этого начал и вот вернулся к начальной точке.

— Да разве это то же самое? — отвечала Клара. — Теперь вы в своей стране: и город ваш и цветы ваши, свои.

Он срезал ей самые лучшие, самые душистые цветы.

Горком партии прикрепил ее к стапельной площадке. Здесь она проводила добрую половину суток. Вся пар-

тийная организация, все старые комсомольцы так или иначе участвовали в сборке первого корабля. Начальником площадки был Гранатов. На всех участках были расставлены самые надежные, самые проверенные люди. Сема Альтшулер ведал спецчастью и хранил чертежи. Андрей Круглов, выдержав крупные споры с Готовцевым, вернулся на производство и монтировал электрооборудование. В комсомольском комитете его заменяла Тоня, которая успевала работать в комсомоле, сотрудничать в газете и руководить больницей. Тоня тоже постоянно бывала на стапельной. Мастером сборки был Иван Гаврилович Тимофеев; его жена, все еще сохранившая кличку Гроза Морей, ведала столовой для ударников. Ударниками были все.

Клара вела на стапельной партийно-воспитательную работу. Ощущение близости притаившегося врага не покидало ее ни на минуту; ее целью было привить это чувство каждому рабочему. Она проводила летучки, беседы, разговаривала с каждым человеком в отдельности. Она залезала во все уголки корабля, во все подсобные цехи. Заметив упущение, не отступала, пока упущение не исправляли.

«Первый корабль будет пущен в срок»—говорили строители.

А враг был вблизи.

Под стапелем лежала бочка с горючим. Кто закатил ее сюда? Как? Клара наткнулась на нее во время очередного обхода участка. Клара позвала рабочих, охрану. Но к ней уже бежали Гранатов и Сема Альтшулер. Оказалось, что беспартийный разнорабочий Сазонов заметил подозрительную бочку и побежал сообщить о ней. Клара была возмущена очевидностью враждебного замысла. Но в то же время глубоко обрадовалась. Сазонов был еще недавно аполитичным, малограмотным человеком. Она много беседовала с ним; его настороженность была результатом воздействия коллектива и лично ее, Клары.

Через несколько дней в одном из отсеков корабля вспыхнуло ведро с бензином. Работавший здесь Епифанов набросил на ведро брезент и сам придавил его всем телом. Пожар был прекращен в зародыше. Епифанов отделался легкими ожогами. Но кто оставил здесь бензин? Как попал огонь на бензин?

Подозрение пало на клепальщика Нефедова. У него нашли спички и паклю в кармане. Нефедов с возмущением и обидой отрицал свою вину. Многие рабочие воз-

мущались тоже. Нефедов был тихий, замкнутый человек, работал ударно, не имел замечаний. Но через две недели выяснилось, что Нефедов совсем не таков, каким казался. Уволенный с Николаевского завода и исключенный из партии как троцкист, он сумел скрыть свое прошлое и пробрался на самый ответственный участок стройки.

Следствие продолжалось.

Клара много беседовала с рабочими о Нефедове. Она сама многому научилась на этом примере. Как мало мы знаем, изучаем людей! Как мы доверчивы! Она сама не раз проходила мимо тихого, замкнутого клепальщика и ни разу не поинтересовалась, кто он и откуда, не присмотрелась к нему.

Разоблачение Нефедова всколыхнуло весь коллектив. Строители корабля работали в напряжении, спаянно, очень дружно, но дружба не исключала, а увеличивала настороженность, — каждый человек был на глазах у всего коллектива.

Клара приходила домой только ночью. Она сбрасывала туфли с онемевших ног, расстегивала ворот спецовки, в одних чулках подходила к окну. В распахнутое окно врывался весенний ветер. Ветер шевелил цветы и письма на столе. Клара вдыхала влажный ветер и пряный запах цветов, усталой рукой вынимала из конверта очередное письмо Вернера:

«Вчера я собрал лучших рабочих завода и выслушал все их замечания и соображения о работе завода. Я вспомнил Вас, Клара. Как полезен и суров оказался Ваш урок! Я работаю теперь совсем иными методами, и я беру на себя смелость признать, несмотря на свой опыт и стаж, что только теперь становлюсь настоящим большевиком...»

Она усмехнулась: «...беру на себя смелость признать...» Ее щеки и глаза горели.

«Дорогая. Вы из породы тех людей, которые требуют от каждого максимум возможного и сами дают сверх своих сил...»

Он переоценивал. Да нет, она и впрямь из этой породы, но в этом нет особой заслуги: она большевик, вот и все. Может ли большевик работать иначе?

Она откладывала письма и ложилась в постель; ветер путал ее волосы, освежал разгоряченное лицо.

Замуж? Она знала, что Вернер очень сильно хочет этого. На первый же намек она ответила решительно, беспрекословно. Она будет здесь до конца, она построит

город, а там — посмотрим. Придет отпуск — проведем его вместе. А пока... какую отраду дают его письма! Как хорошо чувствовать через десять тысяч километров его восторженную преданность.

Простая любовная песенка сочилась сквозь стену. Песенка заполнила комнату, ее подхватил ветер и закружил над Амуром. И стало грустно... Баба! Баба! Томишься?.. Захотелось любви и ласки?.. Нет, для любви нужно очень много. Нужно знать человека, как самого себя, верить человеку, как самому себе. Нет, Вернер, нет! Проверим себя временем, посмотрим, что каждый из нас сделает. А главное, сперва — город. Сперва — первый корабль... Она засыпала.

В выходной день, провалявшись с книгой в постели, она медленно одевалась и, сидя у окна, ждала Васюту. Васюту, как ударника, свободно выпускали из лагеря.

Гранатов ревниво спрашивал:

— Что за белокурый красавец допущен к вашей строгости?

— Красавец здесь ни при чем, Гранатов. Научитесь видеть во мне не только женщину.

Гранатов резко ответил:

— Я и так начинаю сомневаться, женщина ли вы.

Он злился. Но что же делать? С тех пор как они вместе работают на стапельной площадке, встречаться приходится очень часто, и Гранатов снова настойчиво добивается любви и дружбы. Но если не лежит к нему сердце?

Васюта приходил, строго отводя глаза, очень почтительный. В первый раз он стеснялся сесть, стеснялся подать руку. Клара быстро приучила его. Они устремлялись мыслями в его будущее: он должен был забыть, что он еще заключенный. Она учила его рисовать, показывала ему журналы, давала книги. Он занимался в лагере на общеобразовательных курсах, и Клара помогала ему разбираться в трудностях алгебры и геометрии. Васюта был умен и талантлив. Клара наслаждалась его быстрым духовным ростом, его неудержимой жадностью к познанию нового.

В последний выходной день мая Клара, как всегда, занималась с Васютой. Солнце пригревало уже по-летнему. Окно было раскрыто, широкий разлив Амура нежно голубел и золотился на солнце.

— Хорошо! — сказал Васюта, задерживаясь у окна.

— Что?

— Вот это все... и вот вы... ну, да все...

Она вышла проводить его на крыльцо. У Гранатова играл патефон. Клара была довольна, что музыка заглушает голоса и шаги. У Гранатова была несносная привычка выглядывать в дверь, это смущало Васюту.

Васюта уходил, оборачиваясь, чтобы еще раз улыбнуться Кларе. Белый чуб развевался по ветру, загорелое лицо было здорово и ясно. «Если он станет полезным, хорошим человеком, — думала Клара, провожая его взглядом, — в этом будет доля и моего влияния».

После солнечного блеска в коридоре показалось совсем темно. В этой темноте совсем рядом с нею кто-то вполголоса позвал:

— Клара!

Чьи-то руки схватили ее. Она все еще ничего не видела, но сразу узнала голос, прикосновение.

— Как вы смеете!

Она толкнула свою дверь, чтобы не оставаться с ним в темноте. Но Левицкий бросился в комнату, увлекая Клару за собой, притворил дверь, умоляющим движением протянул руки:

— Клара! Выслушай. Я должен поговорить с тобой. Только выслушай. Неужели это так много?!

Сердце сжалось, дернулось, замерло. От слабости задрожали ноги. Она прислонилась к стене, чтобы устоять на ногах. Ее голос сказал:

— Мне не о чем с вами говорить. Уходите!

— Клара, но это жестоко... Я столько пережил... Я хочу, чтобы ты знала...

— Не мучай меня! — крикнула она и распахнула дверь. — Я не желаю ничего знать, не желаю вспоминать, не желаю помнить, что вы существуете. И как посмели вы прийти? Уходите, или я позову на помощь!

Он подчинился. Гранатов стоял в дверях своей комнаты. Он мог видеть бледное лицо Клары и согнувшуюся фигуру Левицкого, пробежавшего к выходу.

Клара закрыла за Левицким засов, безмолвно прошла мимо Гранатова к себе, заперла дверь на ключ. Как он посмел прийти? Зачем он пришел? Кто сказал ему адрес? Какая наглость!.. Но из-за этого не стоит волноваться. Не надо думать... Да, так что́ я хотела делать? Какой летний, искристый день! «Хорошо...» Так, кажется, сказал Васюта?

Она взяла книгу, чтобы отвлечься чтением, хотела придвинуть кресло к окну, но вместо этого только обхва-

тила его руками и припала к холодной коже, сгибаясь от невыносимой боли в сердце.

12

На партийном собрании обсуждалось состояние работы на стапельной площадке. Дни были тяжелые, тревожные. Радио принесло весть о суде над группой шпионов и предателей. Возбуждение, негодование, недоверие, тревога томили коллектив строителей. Здесь, в Новом городе, тоже действовали враги. То тут, то там видны были их грязные следы. И они где-то рядом, может быть, и здесь, на собрании. Кто?

Андрей Круглов выступал одним из первых. То, что он сейчас говорил, было плодом долгих и тяжких размышлений. Он чувствовал себя гораздо старше и умнее, чем какие-нибудь две недели назад. Жизнь учила, жизнь продолжала учить его все суровее и углубленнее.

— Будем откровенны. Многие из нас растерялись. Но растерянность у большевика не может продолжаться больше минуты. На это мы не имеем права. Раскрытие змеиного клубка шпионов — большая победа. И для нас, для большевиков Нового города, вывод один: есть и у нас враги, мы их еще не распознали. Убийство Морозова. Кто поверит теперь, что руку Парамонова не направляла другая рука? Авария на электростанции, на стройке, бочка с горючим под стапелем, ведро с бензином в отсеке— что это такое, как не работа врагов? Враги среди нас, вот тут, в нашей среде. Надо ли от этого впадать в панику? По-моему, нет. Единственное, что мы можем и обязаны сделать,—жестоко, беспристрастно, невзирая на лица, просмотреть всю нашу работу и найти для каждого факта, для каждого неверного решения имя и фамилию виновника и прощупать этих виновников — ошибка ли тут или враждебный акт. Я много думал эти дни. И я пришел к выводу, что нефедовы и другие мелкие люди не могли бы творить свои дела, если бы им, вольно или невольно, не помогал кто-то из руководства.

Пауза подчеркнула его мысль. Он видел покрасневшего Драченова, искаженную нервной судорогой щеку Гранатова, напряженное лицо Готовцева, строгий и настороженный взгляд Клары Каплан. Он продолжал свою речь. Он анализировал положение на площадке, перечислял упущения, недостатки, безобразия.

— Я не могу еще назвать фамилии. Мы их пока не

знаем. Но каждый из нас должен превратиться в чекиста, быть прямолинейным и беспощадным. Только так можно вскрыть работу врага.

Поднялся Гранатов.

— Я целиком согласен с Андреем Кругловым,—медленно заявил он и обернулся к председателю:—Товарищ Готовцев, прежде чем говорить, я прошу разрешения задать несколько вопросов члену партии Каплан.

Это было необычно. Те, кто не расслышал, удивленно спрашивали: «Кому? Кому?»

Заинтересованная и спокойная, Клара приподнялась и прямо, внимательно смотрела в подергивающееся лицо Гранатова.

— Товарищ Каплан, правда ли, что ваши родители—белоэмигранты и находятся за границей?

Собрание зашевелилось и стихло. Круглов видел, как дрогнуло, вспыхнуло, побелело лицо Клары. Она ответила очень громко:

— Правда. Но я с семнадцатого года не имею ни связей с ними, ни сведений о них.

— Второй вопрос. Правда ли, что заключенный Левицкий, контрреволюционер-троцкист, работающий на трассе, является вашим бывшим мужем?

По собранию прошел ропот. Пересиливая шум, прозвучал отчетливый голос Клары:

— И это правда. Но горком партии должен знать мою роль в деле Левицкого.

Все взгляды устремились на Готовцева. Готовцев, растерявшись от неожиданности, неохотно промямлил: «Кое-что... очень мало...»

— Третий вопрос. Известно ли горкому партии также и то, что Каплан, в свое время якобы разоблачившая мужа, продолжает с ним встречаться теперь, и даже у себя в комнате?

Тишина лопнула. Выкрики, шум. Коммунисты вскакивали, чтобы лучше видеть и слышать. Андрей тоже поднялся. До этой минуты он не хотел верить. Не может быть!.. Но неужели?.. Он ждал, что Клара наконец оправдается, разъяснит все каким-нибудь ясным словом. Но Клара втянула в себя воздух, посиневшими губами выговорила:

— Нет, горкому это неизвестно... — и опустилась на место.

— Четвертый вопрос. Правда ли, что к вам еженедельно приезжает заключенный, по фамилии Васюта, ко-

торый работает на участке вашего мужа Левицкого?

Совсем тихо Клара подтвердила:

— Да.

— Это все, что я хотел выяснить.

Гранатов подошел к столу и налил себе воды. Он медленно пил, уверенный в себе, спокойный. Собрание смотрело, как он пьет, и ждало. Наконец он вернулся на трибуну:

— Товарищам известно мое отношение к Кларе Каплан. Сама Клара может подтвердить, что отношение было исключительно хорошим.

— Подтверждаю! — вскинув голову, бросила Клара.

— Мне тяжело выступать сейчас. Но молчать нельзя. С некоторых пор поведение Каплан заставило меня призадуматься. Я видел, что на стапельном неблагополучно, враги работают. Вот хотя бы история с бочкой горючего.

— А кто ее нашел, эту бочку? — крикнула Клара.

— Бросьте, пожалуйста! — с неожиданной грубостью откликнулся Гранатов.—Вы ее нашли, да, но вы нашли ее тогда, когда она была уже найдена! Сазонов побежал за мною, мы уже приближались, а тут и вы якобы нашли ее. Может быть, зная, что бочка найдена, вы предпочли сами проявить бдительность и заодно заработать доверие?

Клара стремительно рванулась вперед, к столу президиума:

— Это чудовищно!.. Готовцев! Я требую слова! Он не имеет права...

Готовцев поднял руку, требуя тишины.

— Вам уж лучше пока молчать, — неприязненно сказал он. — Когда товарищ Гранатов кончит, вам дадут слово.

Клара села тут же, на ступеньку. Над нею звучал уверенный голос Гранатова:

— Каплан всегда проявляла большую активность. Но теперь мы знаем, что это может быть и формой маскировки. Ее активность подкупила и меня, я считал ее хорошей коммунисткой. Тем более, что я слышал историю с разоблачением мужа. Но вдруг я вижу, что этот самый Левицкий бывает у нее дома, в ее комнате. И, как видите, эти встречи с врагом народа она скрывала от партийной организации... Дальше... Заключенный Васюта приходит к ней заниматься якобы алгеброй и рисованием. Это странно, но допустимо. Однако сопоставьте факты: встречи с Левицким—раз; Васюта с участка Левицкого—

два. Разве не ясно, что под видом благотворительности — это форма связи с Левицким, которого, как контрреволюционера, очевидно, не очень-то выпускают из лагеря? А рисование и алгебра—ширма для отвода глаз. Если к этому добавить, что Каплан—дочь белоэмигрантов, человек из чужой среды, имеет родителей за границей...

Собрание клокотало. Казалось, вот сейчас, перед всеми, сорвана еще одна маска. Только Андрей Круглов, оглушенный и смятенный, все еще не мог поверить.

— Я хотел бы, чтобы мои подозрения не подтвердились, — сказал Гранатов сдержанно, — но я считал себя обязанным высказать их. Мы сейчас многое подвергаем переоценке. Мне ясно, что настоящей бдительности у нас не было. В частности, не было у горкома, у Готовцева. Как можно было, не проверив, прикреплять Каплан к стапельной площадке? Но лучше поздно, чем никогда. Я требую проверить Каплан и отстранить ее от работы на стапелях.

Из зала кричали:

— Тут не отстранять, тут исключать надо!

Выступил Сергей Викентьевич, смущенно потирая ладонью взмокший лоб:

— Круглов прав, надо критиковать, проверять, невзирая на лица. И вот вам пример... То, что мы узнали сегодня о Каплан, поистине... ошеломляюще. И вот в свете новых фактов я вспомнил недавнее прошлое. Помните, как выступала Клара против Вернера? Мы еще не знаем истинной роли Вернера, но факт остается фактом: Каплан боролась с ним, выступала против него, требовала его снятия. А между тем переписывается с ним до сих пор, дружна с ним. Получается та же история, что с Левицким: разоблачила, а связь осталась. Что это такое? По-моему, типичное двурушничество.

Клара вскочила, резко сказала:

— Вернер — коммунист! При чем здесь переписка? Я имею право переписываться с кем хочу.

— Даже с мужем-контрреволюционером? — подал реплику Готовцев.

— Позор! Стыд! Исключить!—неслось из зала.

Клара стояла лицом с собранию. Она еще не опомнилась от неожиданности, не собралась с мыслями, не поняла толком, что случилось. Исключить? О ком это? О ней? Ее исключить?.. Она — враг?.. Да нет, это же сон, это бред!..

— Товарищи, у меня предложение.

Снова—Круглов. Он был бледен, говорил через силу:

— Можете судить меня, товарищи, но я лично не могу поверить, что Каплан враг. Между тем факты, которые здесь выяснились, говорят против нее. Мы их не знали. Наша обрязанность — хорошо проверить. И, во-первых, внимательно выслушать ее объяснения. Пусть Каплан расскажет свою биографию, свою историю с Левицким, с Васютой. Честно, подробно, без утайки. А пока кричать об исключении рано.

— Но ведь она сама признала факты? — пожимая плечами, возразил Гранатов. — При чем здесь биография?

Выскочил вперед инженер Федотов:

— Нет, я требую биографию! Как попала Каплан в партию? Дочь белоэмигрантов — тут что-то не так! Может быть, она при вступлении не все сказала?

По выступлению Федотова, молодого и спокойного человека, очень дружественно относившегося к ней, Клара вдруг и до конца осознала, как возбуждено против нее собрание, как трудно будет сейчас оправдаться.

Иван Гаврилович сказал с места:

— Андрей прав. Исключить мы всегда успеем. Выслушать надо и разобраться, что и почему. Каплан хорошо работала, с душой. Таких людей с маху не выбрасывают.

— Ну что ж, предоставим слово для изложения биографии и фактов товарищу Каплан.

Клара медлила. Вся жизнь нахлынула на нее, вся жизнь, и вот она висит на волоске, и от того, чтó сейчас скажешь, кáк сумеешь сказать, зависит — оборвется волосок или нет.

— Давай, давай рассказывай, не волнуйся, — из президиума дружески подтолкнул ее Драченов.

Она ожила от этого дружеского голоса. В чем дело? Действительно, волноваться нечего, надо только рассказать все как есть, раскрыв себя так, как она понимает и чувствует себя сама, и все кончится.

— Мои родители — крупные торговцы. Детство прошло в добротно-буржуазной обстановке. Я никогда ничего не скрывала, в анкете написано все подробно. Я училась в гимназии, в Москве. Потом началась революция, и моя семья бежала от революции в Ригу. Мы ехали много дней, подолгу стояли на станциях и разъездах, поезд был переполнен. Моя мать была очень больна. И вот на одной из станций я побежала за кипятком

для нее. И заблудилась. Мы стояли на шестом пути, все пути были забиты составами, я сбилась, пролезала под вагонами, металась по путям — и вдруг увидела свой поезд, вернее — угадала что это он. Я слышала лязг колес и видела в пролеты между вагонами двигающийся поезд. Я побежала еще шибче, но поезд шел уже быстро, а я была мала, я бы все равно не уцепилась за поручни. Я ошпарила ноги кипятком и упала.

Меня подобрал один добрый человек. Он железнодорожник, но главным образом занимался спекуляцией. И я должна была помогать ему. Я не училась, я совсем одичала, я не знала ничего, кроме теплушек, буферов, мешочников и страха. И мне опротивело.

А тут началась эвакуация. Наступали белые. И я вдруг решила, что уеду тоже. Я прибежала к последнему поезду, уходившему в центр. На станции было битком набито, и поезд уже облеплен людьми до отказа. Только один вагон был пустой, но его охраняли красноармейцы. Я видела, как туда прошли двое военных, нагруженных папками. Они держали в зубах серые пропуска. Потом они ушли. Я сама не знаю, как у меня хватило смелости. Я разыскала на полу клочок серой бумаги, зажала его в зубах и пошла к вагону, прижав к себе узелок. Меня пропустили. В вагоне никого не было, лежали ящики и папки с делами. Я забилась в угол и сидела часа два. Стемнело. Поезд тронулся. Кто-то в последнюю минуту вошел в вагон. Он чиркнул спичкой и увидел меня. «Это еще что за фрукт?» — спросил он грубо и поднес спичку к моему лицу. Я увидела ремни, кобуру, гранату и серое, страшное в своей усталости лицо. «Я... я в Москву», — прошептала я. «Как прошла сюда?» — резко крикнул он, стоя надо мною. Он был большой и страшный. «По... пропуску...» — сказала я. «А кто тебе дал пропуск?» — «Ляус» (Ляус был комендант города, гроза всех мешочников). — «А ты знаешь, кто я?» — «Нет». — «Я Ляус». Не знаю, как это случилось, но я вдруг сказала: «Ах, вы Ляус? Здравствуйте», — а потом уже заплакала. Он, кажется, засмеялся. Он сказал, что на ближайшей станции меня расстреляют за подлог и чтобы я все рассказала начистоту, хотя он вряд ли мне поверит. Я стала рассказывать, что мне надоело возить муку, что я хочу в Москву, хочу учиться.

Готовцев постучал карандашом по графину:

— Покороче, здесь не вечер воспоминаний.

Клара опомнилась. Картины прошлого померкли, пе-

ред нею снова было собрание, возбужденное, недоброжелательное, и она стояла здесь как обвиняемая.

— Я рассказываю об этом потому, что без Ляуса, без чувства к нему моя биография неполна, — с трудом выговорила она. — Я буду короче. Ляус привез меня в Ленинград и поселил в общежитии военных курсов. Курсанты называли меня Кларой Ляус. Сам Ляус был на фронте, но он дважды приезжал. Я ходила на курсы ликвидаторов неграмотности: мне очень хотелось работать и оправдать доверие Ляуса. Там, на курсах, я вступила в комсомол и была организатором субботников. Я отдавала этому делу все силы и пропустила субботник только один раз, когда пошла провожать Ляуса на фронт. Когда он прощался со мною, он погладил меня по волосам и сказал: «Ну, расти, черноглазая. Когда подрастешь, я на тебе женюсь». Он шутил, наверное, но я была так рада...

Она смахнула слезы с ресниц. Зал плыл перед глазами. Она старалась не видеть его, не видеть лиц, — надо досказать все как есть, раскрыться до конца...

— Зачем это все? — вполголоса заметил Гранатов. — Целый роман!

Действительность врывалась в рассказ, путала воспоминания, мысли.

— Ведь Ляуса убили! Убили тогда же, через месяц. Я долго ждала его. Потом позвонила по телефону, и мне ответили: «Ляус убит». Я проревела несколько суток подряд и вернулась на курсы. И тут, на курсах, меня поддержали комсомольцы, не давали мне быть одной. Я много работала на курсах и по ликбезу на обувной фабрике, а потом, окончив курсы, уехала в деревню. Уехала я уже настоящей комсомолкой — именно в те месяцы, после смерти Ляуса, я нашла в комсомоле семью, родину, содержание и смысл жизни.

В деревне я учила неграмотных, организовала комсомольскую ячейку, стала секретарем сельсовета. Это смешно, я еще не имела права голоса, но меня выбрали, потому что я была комсомолкой и единственной хорошо грамотной на селе. Так я проработала год и вступила в партию. А потом у нас в уезде вспыхнуло кулацкое восстание... Кулаки и пробравшиеся к нам белогвардейцы. Мы два дня отстреливались из церкви, а потом они ворвались в церковь. Харитонова и еще семь человек повесили, а меня избили шомполами и не прикончили только потому, что я потеряла сознание...

Клара передохнула, смолкла. Собрание не прерывало, не торопило. Андрей Круглов радовался: нет, все разъяснится, она не лжет, так лгать нельзя. При чем здесь родители-эмигранты, если она с детства не знала их? А сейчас она расскажет и о Левицком и о Васюте. Как она испугалась тогда, при встрече с Левицким! Неужели она еще любила его? И, может быть, любовь оказалась сильнее сознания? Андрей знал, что жизнь сложнее, чем кажется на первый взгляд. Но можно ли простить коммунисту, если сознание отступает перед любовью?.. «Ведь я-то! — думал он. — Ведь я-то наступил на свою любовь, растоптал ее!.. А тут враг! Контрреволюционер!»

Иронический голос Гранатова прорезал внимательную тишину собрания:

— Если вас действительно избили шомполами, очевидно, остались следы?

Клара откинулась назад, покраснела. Кто-то засмеялся, кто-то крикнул: «Да! Шомпола — не шутка!» Тогда Клара закрыла глаза, рванула ворот спецовки, сбросила ее с плеч и повернулась к залу спиной. На матовой белизне плеч отчетливо выделялись сморщенные бурые рубцы.

Было очень тихо. Клара вцепилась пальцами в край трибуны. Задергался подбородок. Она чувствовала, как он скачет, слышала, как стучат зубы. Потом задергались губы, щеки, глаза. Это было странно. Глаза как будто двигались каждый по-своему. Эту скачку нервов нельзя было унять.

Драченов подошел к Кларе, натянул на ее плечи спецовку и подал ей стакан воды. Клара старалась пить, но пляшущие губы не слушались, вода лилась мимо.

— Глупо... Глупо... Сейчас... — приговаривала она. Теперь ее пальцы впецились в рукав Драченова.

— Ну, истерику разводить не к чему, — сказал Готовцев, стуча по графину. — Если можете рассказывать дальше, рассказывайте. А собрание ждать не может.

Злой окрик подействовал. Клара усилием воли преодолела дрожь, повернулась к залу, заговорила снова. Теперь она рассказывала о Левицком. К ней вернулось спокойствие. Она вдруг поверила, что сейчас все кончится, что страдать не из-за чего. Но голос Гранатова снова прервал ее:

— Но как же совместить ваши слова с тем, что вы до последних дней встречались с Левицким у себя дома?

— Я не встречалась с ним, — четко сказала Клара.

Снова шум пошел по собранию.

— Значит, я лгу?

Она пыталась рассказать так, как было. Встреча в коридоре. Выгнала. Отказалась выслушать.

— А Васюта кто? — спрашивали из зала. — А зачем ходил Васюта?

Она снова утратила власть над собой. Объяснение звучало неубедительно: алгебра, архитектура, интерес к человеку... Она и сама как-то не верила в свои слова, слушая свой срывающийся, неуверенный, неестественно звонкий голос.

Она запиналась, путала. «Что я делаю? Что со мною? — с ужасом спрашивала она себя. — Ведь так не поверят, не поверят...»

— А Вернер? — настаивали из зала.

— А чем вы можете подтвердить, что именно вы разоблачили Левицкого?

— А как он попал в ваш коридор?

Готовцев, стоя за столом президиума, сказал:

— Васюта ушел, Левицкий пришел — хорошее общество для коммуниста! — И спросил: — А почему вы скрыли эту встречу от партийной организации?

Она ответила слабым голосом:

— Я не скрыла. Мне просто не пришло в голову сказать. Повторяю, я с ним отказалась говорить, я его выгнала. Гранатов стоял в дверях. Он должен был слышать, что я его выгнала.

— Нет, не слышал! — отрезал Гранатов.

— Подозрительная история, — сказал с места Иван Гаврилович. — Проверить надо. Уж очень как-то все сошлось.

Клара уже не могла больше стоять, не могла говорить, бороться, отстаивая себя.

— Проверьте, — еле слышно сказала она. — Я ни в чем не виновата. Проверьте... проверьте...

Она пошла по ступенькам в зал, но Готовцев остановил ее. Он заговорил спокойно и веско. После нервной речи Клары его было приятно слушать.

— Каплан очень художественно рассказывала. Но вы сами видите — факты разоблачают ее. Дело более чем подозрительное. Если она не хотела впускать Левицкого, зачем она впустила? Гранатов живет рядом, могла позвать его. И Васюта — опять же с участка Левицкого. Каплан просит проверить. Горком партии сам

знает, что надо проверить. Но я полагаю, что до проверки Каплан не может быть допущена к партийной работе.

— А на собрания? — спросил Гранатов.

— И на собрания. Товарищ Каплан, будьте добры, отдайте свой партийный билет.

— Да мы же еще не исключили ее? — вскакивая, крикнул Круглов. — Зачем это?

— Затем, что оставлять партбилет в кармане весьма сомнительного человека нельзя!

— А разве мы имеем право до исключения отбирать билет? — громко спросил у Готовцева Драченов.

Но Готовцев отрезал с необычайной для него грубостью:

— А доверять партбилет подозрительному человеку мы, по-твоему, имеем право?

— Да чего там! Ясно! — подхватил Гранатов.

— Нет, не ясно! Голосовать надо! — настаивал Андрей.

— Хорошо, — с досадой подчинился Готовцев. — Поскольку некоторым товарищам все еще не ясно, что у возможного врага нельзя ни на минуту оставлять партийный документ, придется голосовать.

— Ишь ты, как поставил вопрос! — качая головой, буркнул Иван Гаврилович.

Клара стояла на ступеньке. «Кто за?» Как в бреду, мелькали перед ней белые пятна поднятых рук. Как много их, этих белых пятен!.. «Кто против?» Кто же? Кто?.. Да, Круглов, Иван Гаврилович. И Гриша Исаков. И Федотов тоже... И еще в президиуме — Драченов...

— Меньшинство. Товарищ Каплан, сдайте партийный билет.

Клара схватилась за сердце, — нет, не за сердце, за карман спецовки, где лежал маленький красный билет.

«Не отдам!» — мысленно крикнула она. «Дисциплина, дисциплина, Клара!» — остановил ее голос рассудка. Ее пальцы расстегнули карман, вынули красную книжечку. Она сделала шаг к столу. Готовцев взял книжечку. Вот и все. Теперь три ступеньки вниз, взять пальто на спинке стула, двадцать шагов через зал к двери.

— Вернемся к основному вопросу. В порядке записи слово имеет товарищ Драченов.

Еще не все шаги были сделаны. Она слышала первые слова Драченова. Он говорил о противопожарных мероприятиях. В охватившем ее спокойствии отупения она вспомнила, что сама хотела говорить о том же, что се-

годня днем специально подбирала факты. Она потянулась было за блокнотом, но не вынула его. Потом дверь захлопнулась и отрезала от нее собрание.

## 13

До спуска корабля оставались считанные дни. Напряжение коллектива строителей было так остро, что люди не могли уснуть ночью, не могли отдыхать в выходные дни. Иван Гаврилович и Круглов почти ежедневно проводили летучки: «Бдительность! Бдительности больше!» Нефедова уже не было на стапелях, не было и Клары Каплан, но вражеская работа продолжалась. И чем ближе ко дню спуска корабля, тем наглее действовали враги. В опорных подшипниках гребного вала нашли стекло. Кто-то разрезал шланг, подающий сжатый воздух для пневматической клепки. Неизвестно куда пропали дефицитные детали.

Касимов, уже год работавший в НКВД, дневал и ночевал на площадке. Гранатов не спал, не ел, ходил с покрасневшими от бессонницы глазами; нервный тик все чаще подергивал его щеку.

Рабочие заботились о каждой мелочи, даже не имевшей отношения к их работе, как настоящие хозяева. «25 сентября корабль будет спущен на воду» — этими мыслями жил весь коллектив.

До 25-го осталось полтора месяца.

В середине августа был арестован инженер Путин.

Через день рабочие электростанции предотвратили крупнейшую аварию на станции, и в тот же день был арестован инженер Слепцов. К вечеру стало известно. что утром на трассе железной дороги бригадир Васюта предотвратил крушение, подготовленное Левицким. Левицкий был взят под стражу.

Комиссия горкома партии изучала дело Каплан. Председатель комиссии Драченов много раз беседовал с Кларой. Вопреки фактам он верил ей. Но интуицию надо было подкрепить фактами. А дело запутывалось все больше и больше. Левицкий оказался хитрым и ловким врагом. Правда, Васюта как будто бы доказал свою непричастность к вредительству, но кто знает, нет ли здесь такого же очковтирательства, какое подозревает Гранатов в истории с бочкой горючего?

В партийном деле Каплан не было никаких документов, подтверждающих ее роль в разоблачении Левицко-

го и Лебедева. Запросили Ленинград, но ответа не было. Клара написала Вернеру, поручая ему съездить в Ленинград и разыскать подтверждающие материалы. Но и от Вернера ответа не было.

Она побежала к Андронникову добиваться очной ставки с Левицким.

— Когда вы понадобитесь, мы вас вызовем, — строго ответил Андронников и, провожая ее до двери, коротко бросил: — Терпение! Терпения побольше.

На следующем собрании Драченову и Готовцеву задавали вопросы: что выяснилось с Каплан?

Они давали неопределенные ответы. Еще ничего не было выяснено. Тогда начали звучать голоса коммунистов и комсомольцев, требовавших ускорить разбор дела Клары Каплан. Иван Гаврилович прямо заявил, что прошлое собрание сделало ошибку, что оно не имело никакого права до выяснения дела отбирать партбилет. На собрании работников газеты в горкоме выступила Тоня Васяева. Она резко осуждала руководство стапельной площадки. Она доказывала, что кадры набираются от ворот, без проверки, что администрация не обеспечила подлинной ответственности работников, что за обезличкой в руководстве легко скрываться врагам. Под конец речи она помолчала, затем махнула рукой, словно отгоняя робость, и заговорила стремительно и пылко:

— Права я или не права, а мое дело сказать, что думаю. У нас представили врагом Клару Каплан. Вот убейте — не поверю! Из комсомола исключайте — не поверю! Я и сначала не поверила, а теперь чем больше думаю, тем меньше верю. Вот проверяешь работу на стапелях — кроме хороших, других следов Клара не оставила... Искусственное это дело! А этим разоблачением в кавычках прикрываются как щитом: мы-де разоблачили, мы-де проявили бдительность. Вот я скажу о Гранатове. Гранатов был для меня вроде святыни, я ночами мечтала, чтобы стать такою, как он, чтобы вытерпеть столько ради нашего дела. А в этой истории мне Гранатов не нравится. Он за Кларой два года увивается; сама слыхала, как она гнала его от себя и стыдила. И вот кажется мне, что он личные счеты сводит. Убейте меня — как чувствую, так и говорю! Что хотите со мной делайте — не поверю, что Клара вредитель! Вся она — в этом городе, в этом корабле.

В «Ударнике» появилась статья Исакова о том, что

горком и руководители стройки, незаконно лишив партбилета и отстранив от работы одного человека, очень мало делают для действительного очищения организации и производства от врагов. Имя Каплан не было названо, но все понимали, о ком идет речь. Готовцев поставил на пленуме вопрос о том, что редактор Исаков берет под защиту врагов. Но Исакова поддержал Андрей Круглов: не пора ли по-настоящему проверить наши ряды, нечего ссылаться на Каплан; ее виновность вызывает сомнения, а действительные враги продолжают работать.

Исаков поместил новую статью с резкой критикой Готовцева. Теперь Готовцев уже не радовался тому, что директива о самокритике выполняется. Он назначил новый пленум горкома, где собирался провести решение о снятии Исакова с работы.

Гриша Исаков бессонно томился до утра, но днем держался весело и писал все более острые и злые статьи.

А Клара сидела дома одна. Она не пускала к себе ни Круглова, ни Тоню, ни Исакова, — не надо, не надо, пусть сперва все выяснится. Она отказалась от занятий с Васютой. В знойной духоте летних дней и в свежие тихие ночи она была все время одна, без облегчающего сна, без слез, без чего бы то ни было, что отвлекает мысли. Стараясь занять голову, она решила изучать английский язык и историю философии. Но заниматься было трудно. Абстрактные понятия не воспринимались, когда так реально, так ошеломляюще конкретно стояло перед нею ее собственное горе. Широкая жизнь вдруг стала до жути тесной. Не было света. Очнувшись от тяжелого сна, она каждое утро заново удивлялась, что солнце продолжает светить, как будто ничто не изменилось. Когда ветер влетал в комнату, шевеля ее волосы и старые письма на столе, она не верила, что это все тот же освежающий амурский ветер, — дышать было нечем.

Цветов уже не было, — она запретила Тарасу Ильичу присылать ей цветы. Писем тоже больше не было. Вот уже месяц, как от Вернера не было ни слова. Не верит ей? И он не верит? Или боится? Что же, тогда тем лучше... или тем хуже... Друг без доверия или без смелости — это уже не друг! И вот пришло письмо. Авиапочтой. Клара сама приняла конверт и заперлась в своей комнате, сдерживая бешеное биение сердца.

Уже смеркалось. Она разодрала конверт и высунулась в окно, пробуя разобрать знакомый колючий по-

черк. Ничего не было видно. Она не сразу догадалась зажечь электричество. Свет ослепил ее. Руки так тряслись, что невозможно было читать. Наконец она увидела первые строки, написанные с несвойственной Вернеру краткостью:

«Клара! Потрясающая новость, я сам еще не опомнился. Я только что узнал, что...»

— Лелик! — воскликнула она и стиснула в пальцах письмо. Перед глазами вертелись круги, круги, круги...— Лелик! Как сдавлено сердце... Но что же я, ведь надо дочитать...

Она расправила бумагу и прочитала еще несколько строк. Сердце куда-то падало, падало... Ей почудилось, что она не успеет, что еще немного — и оно провалится совсем. Она всунула ноги в туфли и, задыхаясь, побежала через весь город в НКВД.

Дежурный остановил ее. Андронников был занят. Допрос. К ней вышел Касимов. У Касимова был вид человека, ошеломленного радостью. Он испугался желтого лица Клары и усадил ее на диван.

— Доложите... срочно... очень важно... — говорила Клара, согнувшись на диване от боли и от страшного ощущения, что сердце проваливается.

Касимов снова ушел в кабинет Андронникова.

Из кабинета провели под конвоем инженера Путина.

Снова вышел Касимов; его глаза горели охотничьим жадным блеском.

Клара вошла в кабинет. И у Андронникова был такой же воспаленный, неестественно возбужденный вид, и близорукие глаза под стеклами очков сверкали.

Он схватил Клару за руки, потряс их, усадил ее в кресло:

— Измучилась?

Она ничего не могла сказать. Она протянула письмо. Андронников читал без удивления, только кивал головой и посматривал на Клару все тем же неестественно горящим взглядом.

— Это новая деталь, — сдержанно сказал он, возвращая письмо. — Остальное я уже знаю.

Он подошел к Кларе и провел ладонью по ее склоненной голове.

— Я вас попрошу зайти ко мне завтра, — сказал он. — А сейчас... отправлю вас домой на машине.

Клара встала:

— Нет, нет. Я пройдусь. Мне надо прийти в себя. Я впервые дышу полной грудью.

Она вышла на крыльцо и остановилась. Как все переменилось! Как тепел и чист воздух! И даже темнота ночи мерцает нежным светом. Какой странный свет! Ей представилась луна, какою она бывает на восходе: багровая, растрепанная, большая.

Она сделала несколько шагов и вдруг пронзительно закричала. Ее крик прорезал тишину, и тишина разом откликнулась многоголосым гулом. Через этот гул посыпался дребезжащий звон — как будто в НКВД зазвонили разом все телефоны. Мерцающий свет был все ярче.

— Андронников! — закричала Клара, взбегая на крыльцо. — Что это?! Что это?! Андронников!

Она рухнула на лестницу, и гудящий мрак поглотил ее, в то время как ее тело, конвульсивно вздрагивая, еще сползало со ступени на ступень.

## 14

Андрей Круглов работал в ночной смене. Он любил эту смену за особую, деловую сосредоточенность. Стапеля стояли во мгле островком света. Свет освещал только то, что нужно. Свет приковывал взгляд к работе. В ночи существовала только работа, — все остальное лежало вне поля внимания, во мгле.

Сегодня Андрея отвлекла на несколько минут Мооми. Она попалась ему навстречу, девочка в синем комбинезоне, с мальчишеской прической коротко остриженных волос.

— Я сама работай сегодня! — крикнула она восторженно. Она верила, что Андрей обрадуется так же, как она. И Андрей обрадовался:

— Ну, пойдем, погляжу.

Он полез за Мооми внутрь корабля. Сварщики толпились в отсеке, принимая и сдавая смену. Нахмурив косые брови, Мооми приняла смену от бородатого рабочего. Ее маленькие огрубелые руки уверенно взяли держатель. Она закрыла глаза щитком и сквозь стекла поглядела на Андрея. Она была похожа на парашютистку, вышедшую на крыло самолета для первого прыжка.

— Не подкачай, Мооми, — сказал бородатый.

Мооми включила аппарат, и синие искры посыпались вокруг нее, как падающие звезды, и аппарат гудел, как

мотор самолета, и она улыбнулась, как не может не улыбаться парашютистка, почувствовав всем телом толчок благополучно раскрывшегося парашюта.

Андрей одобрительно кивнул Мооми и полез в крайний отсек, где уже начался монтаж электрооборудования.

— Погляди на Мооми, — сказал он товарищу, принимая смену.

— Только бы не подкачала, — улыбнулся товарищ. Он верил в победу Мооми так же, как верил весь коллектив.

Андрей занял свое место. Пока он налаживал инструменты и проверял материалы, образ Мооми еще витал в его мыслях. Девушка из тайги со сварочным аппаратом! Вот о чем надо писать поэму! И почему Исаков не пишет о ней? Надо будет сказать... Потом точная, кропотливая работа поглотила целиком, она требовала внимания и искусства, и Андрей любил ее. Он привычно не слышал гудения сварочных аппаратов и грохота клепальных молотов. Эта музыка сопровождала его работу изо дня в день и стала составной частью рабочего места, так же как покатый потолок над головой.

Он работал точно и быстро. Руки были искусны. Материал хорош и лежал под рукой, инструмент проверен и удобен. И вдруг он выпрямился, роняя инструмент. Что-то случилось. Чего-то не хватало.

Потом он понял, что не хватало привычного гула и грохота.

На корабле стало тихо.

Но едва он осознал, что удивился именно тишине, как тишина заполнилась звуками, доносящимися извне. Кто-то кричал высоким голосом, где-то топотали шаги, что-то звенело и лязгало, а над всем этим царили настойчивые, пронзительные, непрерывные гудки. Гудел заводской гудок, гудели паровозы, экскаваторы, катера, гудела землечерпалка, гудели автомобили.

Андрей дернулся к выходу, и первое, что он увидел, было искаженное ужасом землисто-серое лицо Мооми.

— Беги! — крикнула она. — Огонь!

Ее шаги загремели по железным листам и затерялись в плаче гудков.

Андрей выскочил наружу. Ему в лицо пахну́ло дымом и сухим теплом. Он увидел совсем близко, в каких-нибудь десяти метрах от себя, непонятное, незнакомое здание, охваченное дымом и ползучими струями огня. Здание было приземисто, его крышей была огненная завеса, по

которой быстро и весело скакали бойкие желтые струйки.

«Механический цех и контора», — сказал себе Андрей, потому что ничем другим оно не могло быть. Но в то же время оно ничем не было похоже на длинное побеленное здание, которое приходилось ежедневно огибать по пути к стапелям.

У горящего здания носились черные силуэты людей. Они были точеными на ярком фоне огня. Они влетали в огонь и вылетали оттуда, втянув голову в плечи, нагруженные бесформенными предметами. Они бросались под струи из брандспойтов, сваливали свой груз и бежали обратно. В ворота со звоном влетел пожарный автомобиль с торчащим сверху указательным пальцем пожарной лестницы.

— Очистить до-ро-гу! — кричал за воротами зычный голос.

Гремели подъезжающие машины. Пожарные соскакивали на ходу и стремительно тянули за собой по-змеиному изгибающиеся шланги.

Черные тени метались у дома, но уже никто не смел забегать внутрь. Целые потоки били в огонь и бесследно испарялись, не принося видимой пользы. И вот маленькая черная тень метнулась у сорванной двери и пропала внутри. Круглов не узнал, но почувствовал, кто это был. «Двадцать пятое... чертежи... первый корабль», — мелькнуло в памяти.

Черная тень выскочила, качаясь как спьяну, взмахнула руками и упала. К ней побежали люди. Круглов рванулся вперед и остановился. «Двадцать пятое... первый корабль...»

— Все по местам! — крикнул он себе и другим, принимая на себя бремя ответственности и организаторства. — Все по местам, никто не смеет уходить!

А Мооми, сбежав со стапелей в припадке звериного ужаса, инстинктивно побежала дальше, дальше, дальше от огня. Ее суеверная душа панически боялась сокрушительной, всепожирающей стихии, перед которой так беспомощен маленький и слабый человек. От огня надо бежать, — Мооми узнала это еще в раннем детстве. Они бродили с Кильту по тайге и, заплутавшись, попали в полосу лесного пожара, раздуваемого сильным ветром. Тогда они побежали; их перегоняли белки, сохатые, птицы, они бежали, слившись в едином порыве со всем перепуганным таежным зверьем; бежали так, что подкашива-

лись ноги. И когда Моомп падала, Кильту лупил ее кулаками и кричал: «Беги!»

И теперь Моомп побежала, как подсказывал закон жизни, в темную прохладу ночи. Но вдруг остановилась. Она почувствовала в руке холодящую ручку щитка. Она вспомнила сварочный аппарат. Она его добивалась целый месяц. Сегодня ей доверили. Бригадир сказал Ивану Гавриловичу: «За Моомп будь спокоен, не подкачает!» Моомп хорошо знала слова: «не подкачай!» — их постоянно говорили ей и бригадир, и комсомольцы, и даже Кильту.

Моомп стояла, зажмурив глаза. Огонь плясал, как злой черт. И там был сварочный аппарат... «Двадцать пятое... первый корабль...» Моомп подсознательно открыла, что есть другой закон жизни. И побежала обратно.

— Все по местам! — крикнул Круглов сверху.

И Моомп взбежала наверх, по нагретым мосткам, глотая горячий и дымный воздух. И стала на свое место.

Маленького задохнувшегося Сему Альтшулера отнесли в сторону и положили на землю. Он полежал, глядя перед собою невидящим взором, потом вдруг пришел в себя, вскочил и побежал прямо в огонь.

Его перехватил Андронников.

— Обалдел? — спросил он мягко. — Иди, иди, не будь дураком. Жизнь еще пригодится.

А пожар клокотал, и десятки мощных струй ударяли, мучили, но не сбивали огонь. Как солома, пылали деревянные перекрытия, шипело расплавленное стекло, корчились тяжелые балки. В тихом воздухе летней ночи огонь поднимался ровным столбом, и в темном небе, в облаке желтого дыма, взлетали и падали искры, высокие и яркие, как ракеты. Ночь отступила.

Далеко вокруг все озарял зловещий светильник.

— Сволочи! — шептал Семен Альтшулер, не чувствуя ожогов, машинально обрывая истлевшие лохмотья рубахи.

— Сволочи! — бормотал Круглов, быстро принимая и передавая по цепи ведра воды из озера.

Ведра летели по цепи, не успевая расплескаться. Их опрокидывали над дымящимися лесами. Их отправляли назад. Ведра дробно звенели.

— Сволочи! — шептали сотни губ.

Гранатов подбежал к Андронникову. Лицо Гранатова было мертвенно-бледно, щека дергалась, глаза горели безумным возбуждением.

— Это поджог! — крикнул он. — Несомненный под-

жог! Надо закрыть все выходы! Чтобы ни один человек не вошел и не вышел!

Андронников взял его за плечи.

— Истерику отставить! — сказал он властно. — Без вас знаю, что делать. Никто не уйдет. А если вы хотите уйти — пожалуйста. Истерика сейчас вредна. Выпейте валерьянки и ложитесь спать.

И он посмотрел в лицо Гранатову своими пристальными близорукими глазами.

За забором, оцепленным красноармейцами, тесно стояли рабочие дневных смен. Многие прибежали сюда с первыми гудками тревоги и уже пережили приступ первого отчаяния и гнева. Другие еще тяжело дышали от бега и спрашивали, проталкиваясь вперед:

— Что? Что?

В толпе тихо говорили:

— Только бы стапеля...

Кто-то простонал:

— А чертежи... чертежи!

Цедили сквозь зубы:

— Сволочи...

В ровном столбе пламени, разрушавшем с лихорадочной быстротой то, что было еще час назад тихим убежищем важнейших чертежей и цехом с нужнейшими станками, — в этом желтом страшном пламени угадывалась рука врага. Одна спичка... одна спичка в руке врага...

И оттого, что эта спичка казалась ничтожной перед последствиями ее жидкого огонька и в то же время такой сокрущающе-могучей, именно потому, что ее так трудно вовремя заметить, все подтянулись, недоверчиво вглядываясь друг в друга, и, когда кто-то взволнованно закурил, десятки голосов заорали:

— Не курить!

И многие взгляды обратились к земле, усыпанной порыжевшей стружкой, к штабелям бревен, к обрезкам досок...

Всем хотелось действия. Но никто не жаловался, что не пускают на завод. Глядя на сосредоточенно-молчаливых бойцов, оцепивших завод, каждый хотел сказать им: «Смотри зорче! Не пускай никого!»

Только красноармейцы — рота за ротой — подходили из ночной темноты. То и дело раздавалась команда:

— Красноармейцы, бегом, марш!

И мимо толпы, крупным шагом, не сбивая строя, пробегали в ворота красноармейцы; по их молодым лицам красным загаром полыхали отсветы пожара.

Там, вокруг горящего цеха, шла борьба.

Командиры прибывших рот на бегу получали приказания и, не останавливая бега, разводили людей на работы.

Спасти цех было невозможно. Надо было спасти все остальное и не допустить огонь к стапелям. А на маленьком пространстве в десять метров лежали сложенные в штабеля доски и бревна, громоздились тяжелые ящики с моторами и частями... и старый сарай лепился метрах в трех от пожара. Сарай уже трещал рассохшимися досками, когда десятки топоров со всех сторон обрушились на него, отрывая доски от разогретых балок, отбивая крышу, врезаясь в податливое мясо бревен. И сарай распался в несколько минут, обнажив сваленные в кучу инструменты и части машин. Доски, бревна, инструменты, части — все поплыло на сильных руках и спинах. Через десять минут там, где стоял сарай, протянули толстый шланг, и по шлангу ринулась к огню новая сильная струя воды.

Рота шла на переноску бревен и досок. Взволнованные пожаром, воодушевленные желанием победить огонь, красноармейцы схватились было за бревна кое-как, наспех, лишь бы оттащить подальше, но спокойная команда остановила их:

— Назад! Командиры отделений, построить людей! Работать спокойно, организованно, складывать по порядку. Начали!

И порядок наладился. Тяжелые ящики с моторами были неподатливы. Бойцы облепили ящики со всех сторон, но эта возня казалась бесцельной. Ящики не двигались, будто вросли в землю многопудовыми махинами. «Раз-два — взяли! Раз-два — взяли! Еще раз — взяли!» Ритмичные движения людей, удвоивших свои силы страстным желанием, сделали свое дело: ящики качнулись, сдвинулись, поползли. Почти незаметно, но поползли. Красные искры падали на ящики, на спины бойцов, их вдавливали в землю ногами. Лица людей были совершенно мокры от пота.

На стапелях шла непрерывная упорная борьба. Каждый метр был занят человеком. Каждый человек отвечал за свой метр. Не сходя с мест, комсомольцы принимали из темноты бегущие по цепи ведра и методически выливали их на дымящиеся доски, на горячие бока корабля и на самих себя. Мокрые, дымящиеся, с почерневшими лицами и руками, они работали как механизмы — без слов, без лишних движений. И только воспаленные внимател-

ные глаза выражали нечеловеческое напряжение борьбы.

Мооми работала так же, как все. Она снова подняла свой щиток — жара и дым разъедали глаза. Она покорно обливала водой тлеющий комбинезон и вскрикивала каждый раз, как вода пробиралась к потному, разгоряченному телу.

Мооми щупала доски рукой, и казалось — она их гладит и упрашивает не гореть. Она старалась закрыть своим телом корабль, чтобы не перегрелись, не покорежились от жара его бока. Она уже не боялась огня, — она забыла, что ей страшно. И ее радовало, что вокруг — товарищи, друзья, что они все вместе спасут корабль, работу, сварочный аппарат.

А пожар умирал. Усилия тысячи людей сделали свое дело. Огню было некуда деться. У него не было выхода,— все, что может гореть, было убрано, унесено человеческими руками, а там, где огонь только что буйствовал на свободе, теперь скрещивались, как мечи, десятки сокрушительных струй воды, и огонь метался, падал, бросался из стороны в сторону и снова падал, шипя и плача...

Уже уходили красноармейцы.

Уже перестали дымиться остывающие доски стапелей.

Отъезжали автомобили с опустошенными цистернами.

Распалась цепочка комсомольцев, подававших воду. Звякнули в последний раз и застыли на своих местах ведра. Мооми вытирала лицо мокрым платком и блаженно улыбалась.

— Работа должна продолжаться, — сказал Круглов негромко. — Двадцать пятого корабль пойдет...

И комсомольцы, посмеиваясь над своим мокрым и растрепанным видом, вернулись на рабочие места.

В освобожденной комнате комендатуры инженеры и чекисты приводили в порядок помятые, обрызганные водой и грязью, но все-таки спасенные чертежи.

Сема Альтшулер сбросил отрепья сгоревшей рубахи и пошел домой, сверкая голыми плечами.

У ворот, где шла строжайшая проверка документов и пропусков, Гранатов подошел к Андронникову. Андронников обнял его за плечи: — Успокоились?

И потом, потянувшись за папиросой, добавил:

— Да, большое несчастье!

Гранатов смотрел на догорающие угли бывшего цеха. Его лицо было расстроено и бледно. Глаза блуждали; в них отражались красные вспышки огня.

Андронников сунул в рот папиросу, полез в карман за спичками, не нашел их, ощупал себя со всех сторон и обратился к Гранатову:

— Можно попросить у вас спичку?

Гранатов подал спички с предупредительной поспешностью. Андронников обрадованно чиркнул спичкой, со вкусом несколько раз затянулся и сказал шутливо:

— А вы запасливый... Не курите, а спички держите.

И посмотрел на Гранатова в упор пристальными близорукими глазами. У Гранатова судорогой передернулась щека. Он улыбнулся в ответ:

— А вы курите, но спичек не держите? Моя система лучше.

Андронников засмеялся, продолжая жадно затягиваться ароматным дымом. Гранатов отвернулся, — он смотрел на угли, уже подернутые синим мертвенным покровом.

— Вот вы говорите о системах... — начал Андронников.

Гранатов вздрогнул и повернул к нему бледное лицо:

— Простите, вы что-то сказали?

— Да, я продолжил вашу мысль о системах, — сказал Андронников и взял его под руку. — У нас разные системы, вы говорите. Это верно. У каждого система, разработанная вплоть до деталей. Но какая из них лучше, покажет жизнь. Не так ли?

— О чем вы говорите? — закричал Гранатов, и щека его запрыгала. Он хотел выдернуть руку, но маленький аккуратный револьвер мягко тронул его грудь.

— Вы нервничаете, это нехорошо, — почти любовно сказал Андронников и сделал знак сотрудникам, ожидавшим у ворот. — Вы арестованы, Гранатов.

На потемневших от воды стапелях в черной пасти спасенного корабля загудели сварочные аппараты. Не были видны, но угадывались синие звезды, летящие вниз вокруг молчаливых, усталых, но счастливых людей.

## 15

В палате было тихо и полутемно. Тоня читала у завешенного окна в луче света, падавшего в щель. Изредка она поднимала голову и вслушивалась. Ее слух улавливал невнятное бормотание:

— ...если бы раньше... на один день... если бы раньше...

Она подходила к постели.

— Клара, не думай об этом... — склонялась она над

синевато-серым лицом Клары. — Дорогая, не думай! Ведь все хорошо.

— ...если бы на час раньше...

Уже три недели шла борьба за жизнь Клары Каплан. Из Хабаровска дважды прилетал профессор. Тоня целыми ночами дежурила у больной, не доверяя сиделкам. Она знала удушье бессонницы, когда пережитое наваливается на тебя из темноты, обостряя все чувства. Она знала, что в эти часы никакой медицинский уход не заменит дружеской ласки, что тут нужно пожатие руки, неторопливое слово, очень тихий разговор.

Тоня никого не пускала к больной, — врачи запрещали всякое волнение. Но однажды в больницу пришел застенчивый парень с белым чубом, который ни за что не хотел уходить. Вызвали Тоню. Парень передал для товарища Каплан букет необъятных размеров. Тоня взяла цветы в охапку и с трудом удержала их. Парень отказался назвать себя и порывисто сказал:

— Передайте, и все. От кого ей приятней, пусть на того и думает.

Но Клара сразу догадалась:

— Васюта?!

По ее лицу прошла улыбка. Позднее Тоня заметила, что улыбка то и дело возвращалась к ее губам отсветом радости. И тогда Тоня нарушила приказание врачей: она стала пускать к больной посетителей. Друзья приходили, напуганные предупреждениями Тони, тихонько сидели, осторожно пожимали худую руку Клары, вполголоса рассказывали новости (только приятные новости, ничего волнующего!). Клара почти не разговаривала с ними и быстро уставала, но провожала их счастливым взглядом, от которого у Тони сжималось сердце.

— Ты поверь мне, Тоня, — сказала как-то Клара, — самое страшное в мире — одиночество. Хуже одиночества нет пытки. Я говорю об одиночестве большом, общественном — ты меня понимаешь?

Бодрствуя около Клары, Тоня обдумывала ее слова. И собственные тяжелые переживания, стоившие ей так много душевных сил, казались ей теперь ничтожными, малюсенькими. Ведь она никогда не знала того, что делает жизнь более страшной, чем сама смерть, — изоляции от среды, единственно для тебя возможной и любимой. Какая неразделенная любовь, какое горе может сравниться с опустошительным действием такой изоляции?

«Я только теперь становлюсь борцом, большевиком,—

думала Тоня. — Пока я этого не понимала, пока я думала, что мое горе было самым горьким из возможных, я еще не была настоящим большевиком. Какой бесконечный процесс — развитие человеческой души!.. А я-то воображала, что рождение Володи — почти подвиг. Я-то думала, что закалена для любого страдания. Как бы я смогла вынести, если бы хоть на одну неделю коллектив отвернулся от меня, изгнал меня?» Вспоминая свое выступление в защиту Клары Каплан, она поняла, что это было возможно. Ведь хотел же Готовцев расправиться с Гришей Исаковым! Могли исключить и ее. Она сама сказала: «Исключайте меня — не поверю!..» Как хорошо, что у нее хватило бесстрашия на такое выступление! Но она не отдавала себе отчета в том, как невыносимо может быть осуждение коллектива. А если бы отдавала отчет — тогда?..

«Нет, я бы не побоялась тоже — говорила она себе,— но я бы выступила еще резче, еще прямолинейней. Я бы рассказала все: и подслушанный разговор, и ночь после убийства Морозова, и его странные жалобы, и свои мысли о том, что большие люди не могут быть жалкими и беспомощными даже в любви».

Она упрекала себя: «Я была легкомысленна. Я не решалась обобщать и доводить мысль до конца. Я верила внешности и словам, и оправдывала то, что меня смущало, и не хотела слышать фальшь... А ведь если бы я шла напролом и без оглядки, если бы я подняла голос — смотрите, как противоречат один другому два образа, заключенные в одном человеке! — кто знает, может быть, в Гранатове разобрались бы раньше?»

Ее жгло воспоминание о том, что она поцеловала его руку... Но как понять? Как совместить?.. Человек осквернил, запятнал грязью свои собственные святые раны — во имя чего? Как? Почему?

Клару тоже жгли воспоминания.

— Я ведь чувствовала, что это безвольный, мелкий человек, — тихо говорила она Тоне. — Когда я приехала, я сразу невзлюбила его. А потом — эти руки, эти перенесенные мучения. Мне стало так стыдно, когда Вернер сказал мне... И вот я дала обмануть себя показной горячностью, жертвенностью, нерасчетливым энтузиазмом!

Она рассказала, через силу выговаривая слова, которые томили ее и днем и ночью:

— Однажды я случайно зашла к нему. На столике лежало полученное им письмо: «Дорогой Лелик...» Он сразу убрал его... Ты понимаешь, у меня вдруг шевель-

нулось воспоминание... Лелик! Так они называли своего секретаря парткома, своего троцкистского подручного... Лелик!.. Я отогнала воспоминания, как навязчивый кошмар... Ах, зачем, зачем я их отогнала?!

Как хотелось вернуть прошлое!

— Ты пойми, Тоня... Если бы я тогда же написала Вернеру — узнайте, кто был секретарем парткома при Левицком... Только это... только фамилию... Как просто! И почему самые простые вещи никогда не приходят в голову?..

Иногда среди ночи она вскрикивала и пыталась вскочить. В темноте ей чудился мерцающий странный свет и многоголосый гул, сквозь который сыплется телефонный трезвон.

— Стапеля! — кричала она.

Тоня удерживала ее в постели и успокаивала, как ребенка, ничего не отрицая:

— Уже кончается, уже потушили, стапеля в безопасности, ты же слышишь, уже нет гудков...

— ...если бы на один день раньше... на один день... на один день... — обессиленно твердила Клара.

Потом она вдруг спрашивала:

— Он арестован, да? Он не убежит? Ведь у нас нет тюрьмы... Тоня, его надо стеречь, стеречь!

И вдруг расширяя зрачки, удивленно роняла:

— А эти руки?.. Как же так? Как это могло быть?.. Эти страшные шрамы... Как же это возможно?

В эти дни Андронников и Касимов переживали острое возбуждение. Они смиряли возбуждение холодной работой логики. Запершись вдвоем в кабинете, они выверяли, обдумывали, анализировали, проверяли друг друга, до конца используя все свое знание жизни, психологии, тактики борьбы. Их вели опыт и предвидение. После длинных собеседований они расходились и в живом столкновении с людьми и фактами снова выверяли, анализировали, дополняли, опрокидывали или подтверждали свои предположения и домыслы.

Касимов с наслаждением чувствовал ту особую подтянутость, которую он знал, бывало, в опасных разведках, когда малейшая неосторожность могла погубить и малейшая невнимательность — сбить на ложный путь. Он знал это чувство и по охоте, когда над бурыми зарослями травы поднимался медведь и все чувства и мысли собирались, подтягивались, подчинялись одному желанию — победить, и все движения делались точными, скупыми, безошибочными.

Теперь задача была трудней и значительней. Уже не своя жизнь, а жизнь народа — Родины — стояла на карте.

Он выслеживал каждую нить, каждый след преступления, и, когда по схваченной на лету нити удавалось добраться до ее конца, когда неясный след определялся и шаг за шагом приводил к потайной норе, он, как охотник, задыхался от страстной радости, он, как партизан после удачного набега, ликовал и смеялся — сам с собою, от избытка чувств. А потом, как чекист, начинал все снова, подчиняя чувства уму, выверяя и докапываясь до конца, чтобы не сделать ошибки, не пропустить ни одной мелочи, не забыть ни одной возможности. Он возвращался к старым делам и переворачивал, перерывал новые, и, подобно тому, как на отпечатанной фотографии, положенной в проявитель, постепенно вырисовывается снимок, так в протоколах допросов постепенно проступали сперва общие контуры, затем определялись люди и связи, затем дальнейшие функции каждого, сделанное, задуманное — и вся картина ясна.

«Это посложнее партизанского горя, — думал Касимов, это похитрее всех прежних боев... А враг — все тот же. Насколько он стал коварнее и ловчее! Ну, да и мы за это время поумнели».

Они проходили перед ним один за другим. Тихий и злобный Нефедов не признавался ни в чем, если его не уличали неопровержимые доказательства. Это был ожесточенный враг. Касимов чувствовал себя с ним как в бою — лицом к лицу, вооруженным до зубов. Инженер Путин, с красными от слез глазами, каялся, изворачивался, лгал и был готов выдать всех своих сообщников, лишь бы спасти себя. Наглый и самовлюбленный Слепцов старался подавить Касимова своим культурным превосходством; он употреблял слова, которых Касимов не понимал, и пускался в философские рассуждения о носителях великой культуры, к которым причислял себя. «Бросьте, — сказал ему Касимов, — люди культуры создавали машины, а вы их взрываете! Не вам говорить о культуре». Он узнавал Слепцова как старого, изученного врага. Разве не тот же хам под лощеной внешностью открылся ему в белогвардейском офицере, захваченном в плен партизанами?

Снова свела его судьба с Парамоновым. Старый знакомец, земляк, вековечный враг. Как два охотника, настороженные, подтянутые, они прощупывали друг друга разговорами и взглядами. Касимов понимал Парамонова

больше, чем кого-либо другого. От первой стычки в тайге, когда подростком-батраком взбунтовался против зверского произвола своего хозяина, он знал этих таежных обнаглевших кулаков, этих кулацких сынков, выходивших в купцы и в офицеры; со времени, когда он сам проводил раскулачивание разжиревших богатеев, он знал силу их ненависти,—он их бил всю жизнь; против них шли партизаны, отощав от голода, по звериным тропам и амурскому льду; против них лелеял единственный пулемет его друг и одногодок Сашка; против них он создавал колхоз; против них строил завод; против них росла его страна, его молодежь, его дети, — борьба продолжалась, только менялись формы. И против них, чтобы никогда не вернулось кровавое господство, пошел он из партизан и строителей в чекисты. Чекистом он снова встречал врага лицом к лицу. Нефедов, Парамонов, Слепцов, Путин, слезливый старичок Михайлов — все они были перед ним в одной смрадной куче, и, как бы ни были разны их побуждения, их приемы, их дела, все это был враг, враг как единое понятие, как опасность, которую надо уничтожить.

Андроников передал Касимову почти все дела, кроме одного, основного. Спокойный и внимательный, он проводил часы с глазу на глаз с молчаливым собеседником, не желавшим ни признавать, ни отрицать, не желавшим давать показания. Он собирал весь свой многолетний чекистский опыт, чтобы молчаливый собеседник заговорил. Он убеждал его, высмеивал, разворачивал перед ним доказательства, улики, документы. Он сводил его с Путиным, с Нефедовым, с Парамоновым, со Слепцовым. Он приберег встречу с Левицким под конец. Его пристальные глаза уловили в лице Гранатова выражение полной растерянности, когда вошел Левицкий. Левицкий подтвердил свои показания. Андроников отправил его. Он видел, что противник слабеет, сдается, не может больше сопротивляться. И тогда он сказал, презрительно щуря глаза:

— Ведь, собственно говоря, вы трус. У вас нет ни идеи, ни гордости. Вы не знаете, во имя чего вы вредили. Вы боитесь отвечать за то, что делали.

Гранатов передернулся, побелел. Он еще пробовал сопротивляться, но злоба и отчаяние прорвались бессвязной скороговоркой:

— Пусть будет так!.. Вам нужно знать? Да, я враг! Да, я вредил и буду вредить!.. Но я не преступник. Я идейный враг. Я троцкист. Сознательный и убежденный. Я ненавижу вас, я ненавижу ваши идеи, ваши пя-

тилетки, ваш энтузиазм, ваших стахановцев! И пусть не я, пусть меня поймали, есть еще другие.

— Хорошо, — сказал Андронников,—я рад, что вы идейный человек, а не продажный жулик. Но вас поймали, разоблачили, вас будут судить. Имейте же смелость рассказать о ваших убеждениях, о вашей вражеской работе. Если вы убеждены, почему же вы боитесь правды?

Но Гранатов уже съежился, увял. Он был очень мало похож на идейного человека. Андронников подтолкнул к нему стакан с водой:

— Выпейте, и перейдем к делу. Сегодняшней темой нашей беседы будет: как, когда, по каким побуждениям вы начали враждебную против Советской страны работу. Мы оба устали, давайте не тянуть.

Гранатов ерзал на стуле, его щеки уродливо прыгали.

— Я буду говорить... только...

— Да?

— Нет, все равно...—Он отмахнулся было от своего желания, но не удержался, вопрос горел на его губах:— Скажите... Это психологически интересно... Если бы я не дал вам спичку, вы бы меня арестовали?

Андронников улыбнулся:

— Это психологически интересно, вы правы. Могу вам ответить. Если бы вы не были вредителем и диверсантом, я бы вас не арестовал. А теперь потрудитесь отвечать по существу.

Наступили часы и дни увлекательного разматывания картины, как в кинематографе, только в обратном порядке. Прошлое приближалось и прояснялось. Далекие события стали свежими, обнажилась их истинная сущность.

— Вы не предполагали так быстро убить Морозова и разрабатывали план более замаскированного убийства, не так ли? Несчастный случай, авария машины — так? А потом вдруг дали Парамонову задание «покончить с Морозовым сегодня же вечером». Это правильно?

— Вполне.

— Отчего же вы так быстро переменили решение?

— Мне стало ясно, что Морозов... что-то заподозрил... напал на след... Надо было убрать его, пока он ни с кем не поделился своим подозрением.

— И вы же дали Парамонову директиву заявить, что он хотел убить и Вернера и вас?

— Да!—воскликнул Гранатов со злым смехом.—Да, да, я дал эту директиву, вот в этом самом кабинете, у вас на глазах. Вы были так любезны, что устроили очную став-

ку. Он понял меня с полуслова. Я вам очень благодарен.

— Это было бы очень забавно, если бы вам удалось обмануть меня до конца. Но смеяться последними будем мы, а не вы.

Гранатов втянул голову в плечи, поежился. Он быстро переходил от вспышки злобы к состоянию подавленности и страха. Он нервничал. Бывали дни, когда он замыкался в молчании, а потом в минуту раздражения выкладывал то, что старательно скрывал и отрицал. Только в одном он был сдержан до конца: он утверждал, что действовал сам по себе, что ни с кем не был связан, ни от кого не получал директив. Андронников особенно не настаивал. Его интересовала пока главным образом деятельность Гранатова в Новом городе.

— Убийство Морозова было единственным убийством, которое вы замышляли?

— Да, единственным.

— Вернер вам не мешал?

— Почти... Во всяком случае, до смерти Морозова он не мешал. Вы знаете, он был честолюбив и властен. Через него мне было легко проводить свою линию...

— Линию, которую вам поручили проводить?

— Я уже сказал, что никто мне ничего не поручал!

— Хорошо. Пусть будет так. Какова же ваша линия?

— Необоснованные темпы, сокращение правительственного срока почти вдвое, а в результате — отсутствие снабжения, резервов, стройматериалов, кадров... Ну и, конечно, как основной результат — провал, срыв даже правительственного срока.

— Понятно. Значит, вы утверждаете, что убийство Морозова — единственное, которое вы замышляли?

— Да.

— А разве ваша провокационная работа в снабжении, в жилищном строительстве, ваша агитация «хоть на костях, да построим» — разве это не было широко задуманной системой массового уничтожения кадров? Вы получили задание сорвать строительство путем деморализации и даже физического истребления кадров. Правильно?

— Я ни от кого не получал никаких заданий.

— Ладно. Запишем, что вы сами наметили себе такое задание и с этим приехали на строительство. Верно?

— Верно. — Он помолчал, дернулся вперед. — Нет, это неверно. Это не совсем так. Видите ли, во мне шла борьба. Я колебался. Я начал сомневаться... Я старался

уменьшить зло. Я сам отдал под суд вредителей из отдела снабжения.

— Когда вам грозило разоблачение, не правда ли?

— Да, но...

— Мы условились не лгать. Когда вам грозило разоблачение и когда снабжение на зиму было уже сорвано. Не виляйте. Правильно я сформулировал?

— Да.

— Итак, вы имели задание преступными мероприятиями создать такие условия, при которых неминуемы болезни, гибель людей, дезертирство. Выступая перед комсомольцами с горячими речами, вы сознательно и провокационно вели к тому, чтобы запугать их, чтобы неустойчивые, слабые люди заколебались, дезертировали.

— Ну что ж! Да. И я кое-чего достиг!

— Но сорвать строительство вам все-таки не удалось!

Молчание.

— Вы знаете, корабль будет спущен в срок. Ваше задание не выполнено. Почему?

Молчание.

— Что же вы не отвечаете?

— Вы сами знаете — почему. Несознательные бежали, но вся масса парализовала действие дезертирства своим необычайным упорством.

— Тем самым энтузиазмом, который вы так ненавидите?

— Ах, поверьте мне, в глубине души я восхищался им и радовался. Я — раздвоенный человек. Ведь я все-таки коммунист и...

— Вы смеете говорить это мне, сейчас, здесь!

Глубокое молчание.

Близорукие глаза Андронникова хорошо видели. Они улавливали каждое изменение, каждую судорогу в лице Гранатова. Зачем он так виляет? К чему эти вздохи, эти слова о раздвоенности, о «глубине души»? Что он пытается скрыть во что бы то ни стало?

— Как видите, ваше задание было составлено без учета людей нашей страны. Очевидно, составители его плохо знают нашу страну, а может быть, и наш язык, а?

— Я не знаю, о ком вы говорите.

— Вы знаете, о ком я говорю.

Но Гранатов не хотел знать. От этого последнего, основного признания он уклонялся с упорным ожесточением.

Шли дни. Прошлое разматывалось. Божий старичок Михайлов завел в пургу механика Николая Платта и бросил его на амурском льду. Михайлов, Парамонов Николай и Парамонов Степан должны были сорвать заготовки в деревнях и стойбищах. Пак портил рыбу, отдел снабжения путал и перевирал заказы и адреса, сам Гранатов взял на себя дезорганизацию подсобных предприятий и лесозаготовок.

— Этот период мне ясен. Объясните вашу тактику после смены начальника строительства, то есть при Драченове.

— Тогда я работал честно. И вплоть до самого пожара...

— Слово «честно» тут не подходит. Что заставило вас прекратить вредительскую политику?

— Было ясно, что она не удастся.

— Может быть, сыграло роль и то, что ряд ваших помощников был арестован?

— Ну да.

— Вы испугались провала?

— Да, и я прекратил вредительство.

— Прекратили?

— Да.

— Вы лжете!

Они смотрели друг на друга. Гранатов жадно вглядывался в глаза Андронникова, пытаясь понять, что́ тому известно. Потом он отвернулся, понурился. И снова в тиши полутемного кабинета звучали ясный любознательный голос Андронникова и отрывистые ответы Гранатова.

— Вы не прекратили вредительства. Будьте точны. Именно в те дни вы привлекли в свою организацию инженера Путина. Так?

— Я его поймал на сопротивлении мероприятиям...

— Больше ясности. Как было дело? Помните, что показания Путина у меня под рукой.

— Я его поймал на сопротивлении мероприятиям Костько. Он был очень обижен Драченовым...

— И вы подогревали обиду как могли?

— Да.

— Что же было потом?

— Костько мне пожаловался, что дела идут плохо. Я быстро разобрался, что Путин делает это сознательно... С расценками, с переброской бригад, с опалубкой...

Я вызвал Путина. Пригрозил разоблачить его. Предложил работать вместе.

— Что же он?

— Он очень удивился. Струсил. Но взгляды его таковы, что он быстро согласился.

— Контрреволюционные взгляды?

— Да. Я их использовал.

— И он стал беспрекословным исполнителем вашей воли?

— Ну да. Хотя, что ж, постепенно он стал даже проявлять инициативу.

— Вошел во вкус?

— Я бы сказал — из страха. Хотел ускорить события.

— Понятно. Вернемся к вашей тактике. Вербуя кадры для будущего, вы временно притихли. Вы решили работать как можно лучше, восстановить свой авторитет и добиться назначения на самый ответственный участок — на стапеля. Так?

— Так.

— Может быть, это было связано и с новыми директивами ваших руководителей?

— Я уже говорил, что у меня нет руководителей!

— Но скажем, Лебедев вам писал письма?

Гранатов быстро вскинул глаза, запнулся, покраснел:

— Я получил одно письмо, совершенно частное.

— Где это письмо?

— Я его бросил, наверное. Не знаю. В нем не было ничего, кроме дружеских слов.

— А инженер Слепцов, ездивший в командировку в Хабаровск, вам ничего не привез?

Теперь Андронников видел, что Гранатов еле владеет собою. Как запрыгали его щеки! Как бегают глаза!

— Нет, ничего. Может быть, какие-нибудь деловые бумаги...

— А если я вам покажу, что́ он вам привез?

Пауза. Мертвая пауза. Как дрожат у Гранатова ресницы опущенных век!

Но после паузы Гранатов пожал плечами:

— Интересно. Я не помню, чтобы он мне что-либо привозил, разве что патефонные пластинки.

Спокойствие. Спокойствие. Андронников удержал вопросы, которые были сейчас бесполезны. Он еще не знал... Но он был уверен. Он чувствовал. Ничего, доберемся и до этого!

Картина разматывалась дальше. Напряженная работа анализирующей мысли, допросы, очные ставки, снова допросы — с глазу на глаз в тиши кабинета.

— Вам сильно мешала партийная организация?

— Да.

— И, в частности, прикрепление Каплан к стапелям?

— Да. И я убрал ее.

— И вы ее убрали. У вас были с нею и личные счеты?

— Нет.

— Но вы за нею ухаживали, и, по-видимому, безрезультатно?

— Это совсем другое. Это не имеет отношения...

— Но, по моим сведениям, задание сойтись с нею во что бы то ни стало вы получили от Левицкого и Лебедева?

Молчание.

— Говорите!

— Да. Они считали ее очень опасной. Она знала их обоих... Она могла узнать о наших связях. Однажды это чуть не случилось...

— Когда?

— Она неожиданно зашла ко мне. Она никогда не заходила, а тут было что-то срочное на стапелях. Она увидела у меня на столе письмо Лебедева. К счастью, она, видимо, не знала почерка. Но обращение заставило ее что-то вспомнить...

— И тогда вы решили скомпрометировать ее встречей с Левицким?

— Это не было решено. Я даже не хотел... Уверяю вас, я к ней хорошо относился. Даже, если хотите, любил ее.

— Это вы доказали. Я хочу услышать от вас, как была организована встреча Левицкого с Каплан.

— Видите ли... Я уже не мог ездить на трассу. А нам надо было встретиться. Левицкий знал, что его пустят в город, в управление. Я предложил ему зайти ко мне на квартиру. Он очень волновался. Но я сказал, что бояться нечего. Если они столкнутся, он должен сделать вид, что пришел объясниться с нею.

— Он согласился?

— Он ухватился за эту мысль. Сказал, что надо обязательно встретиться с нею и устроить так, чтобы я оказался свидетелем. Это может помочь нам погубить ее, когда понадобится.

— Вскоре это поиадобилось?

— Да.

— Прн ней вам было трудио осуществить порученное вам дело?

— Мие ннкто ие поручал.

— Вы не думаете, что запираться дальше бессмыслеиио?

— Мне нечего говорнть.

Но вот настал день, которого оба ждалн, один — всячески приближая его, другой—сопротнвляясь его иаступлеиию всеми силами самозащнты. Не деиь, а очеиь ясное, светлое утро, когда свет падает прямо в лицо, когда обиажается каждая морщннка, каждое двнжение мускулов.

Голос Андроиннкова был особеино любозиателен и безмятежен.

— Вы, кажется, очень любнте музыку?

Свет бил в лнцо Гранатову. Нельзя было спрятать страшиую судорогу всех нервов. И даже голос обнажался, — ои уже не помогал запираться, он выражал полную растеряиность.

— Я не поннмаю... При чем здесь музыка?.. Да, я люблю... — Он еще пробовал засмеяться.

— И патефон играл в вашей жнзнн большую роль?

— Роль? Нет... так, от скуки... вечерамн...

— Во всяком случае, ои играл двоякую роль, не правда лн?

Молчанне. Слышио было дыхаине Гранатова.

— Надо лн мне иапомннать вам о том, что́ вы хранилн под обшивкой днска?

Гранатов не отвечал, а Андроиинков не торопил его. Он с интересом и презреннем иаблюдал, как постепенно сходило с лица Гранатова все наносное, выработанное, сделаиное, как открывалась истиииая суть человека,— суть жалкая, гаденькая, перепуганная.

— Полноте, не огорчайтесь так, — сказал наконец Андроиинков. — Мы с вамн говорилн о том, что вы ие продажиый жулик, а идейный человек. И вот мы подошли к нтогу: вы не идейный человек, а продажный жулик. Будьте же самнм собою. Едниственио, что вам остается,— дать откровеииые показания. Вы приехали в Харбнн в августе. Когда вам предложили стать японским агентом?

Молчанне.

— Я же зиаю все. Вы поехалн в Харбни с иииструкциямн Лебедева и с адресом одного человека, с которым вам предстояло связаться. Так?

— Д-да...

— Наберитесь смелости. Не запинайтесь так. Я вам могу прочитать показания Лебедева, Левицкого, Парамонова, Слепцова. Они исчерпывающи. Отрицать бесполезно. Зачем же кончать карьеру таким трусом? Когда вы начали, вы были смелее. Вы не побоялись дать себя искалечить—во имя чего?—Он помедлил и бросил с усмешкой:—Правда, и тут вы постарались избежать боли!

Гранатов подскочил.

— Подозревайте меня в чем хотите, — истерически закричал он,—но не отнимайте у меня того, что я выстрадал! Можете упрекнуть меня в том, что я не выдержал пыток до конца... если вы так думаете. Можете упрекнуть меня за все последующее. Но вот это?..

Он поднял свои искалеченные руки. На месте ногтей темнели красные спекшиеся бугры. По белой коже змеились шрамы.

— Чистая работа, — одобрительно кивнул Андронников.—Под каким наркозом вам это сделали—под общим или местным?

Гранатов кусал губы, его глаза бегали, он старался прикрыть их веками, но веки прыгали, обнажающий свет бил в лицо.

— Может быть, вы хотите, чтобы я вам прочел показания вашего старого руководителя, Вадима Лебедева? Или вызвать сюда вашего друга Левицкого, чтобы он напомнил вам ваш собственный рассказ о блестящей хирургической работе харбинских заплечных дел мастеров? Вы можете не отвечать на мой вопрос о наркозе. Я уже знаю, что это был местный наркоз.

— Хорошо,—сказал Гранатов, смачивая языком искусанные, потрескавшиеся губы. — Хорошо. Теперь я расскажу все.

В этот самый день в горкоме партии только что закончилось бурное заседание пленума.

Когда Сема Альтшулер, растерянный и красный, ворвался в кабинет секретаря, Готовцев сдавал дела новому секретарю, Андрею Круглову.

Сема остановился у порога. Круглов показался ему старше, чем вчера, чем сегодня утром, — он выглядел совсем взрослым. Только в глазах мелькнул юношеский задорный огонек, когда он увидел взлохмаченного и возбужденного приятеля.

— Ну что, Сема?

Сема подошел к столу и, не здороваясь, категорическим движением шлепнулся в кресло.

— Я, конечно, еще кандидат,—заговорил он быстро и пламенно,—но я все-таки большевик! И скажите мне вы, партийные руководители, неужели вы сами не понимете, что, когда человек лежит болен и у него чуть не разрывается сердце, нельзя ждать ни минуты с партийным билетом? Я хожу к ней каждый день, я вижу, что она улыбается каждой доброй улыбке, но я все думал— чего ей еще не хватает? Почему ее сердце не бьется ровно? Почему в ее глазах еще нет покоя? И тогда я вдруг вскочил и спросил Тоню, и Тоня сказала: в том-то и дело, что нет! Я бежал сюда, как сумасшедший, и я хотел вас бить. Вы мне ответьте, вы, партийные руководители: чуткость к товарищу — разве она не записана в партийной программе как закон?

Круглов повернулся к Готовцеву:

— Ей до сих пор не вернули билета?

— Но она же в больнице. Я ждал, когда она выйдет.

Сема встал и взмахнул руками, собираясь произнести длинную речь. Но длинной речи не вышло.

— Знаете — хорошо, что вас сняли! — сказал он с сердцем и выбежал из комнаты.

Клара лежала у окна, когда к ней пришел Круглов. На ярком фоне окна, высоко на подушках, неподвижно выделялся ее заострившийся профиль. Она повернулась на звук шагов, ее лицо осветилось, робкое ожидание прошло по нему и погасло.

— Ну как, Клара, молодцом?

— Да, почти совсем хорошо.

Она безучастно отвернулась.

— Тебе не вредно радоваться, Клара?

Она почти не двинулась, но у Андрея создалось впечатление, что она вся взметнулась.

— Радоваться?! Андрей! Если тебе внушили, что радость вредна, ты не верь. Радостью можно лечить, как лекарством.

— Я принес тебе твой партийный билет.

Она приподнялась, потянулась рукой. Пальцы плотно охватили маленькую красную книжечку. Она раскрыла ее, чтобы действием погасить волнение. Да, ее номер, ее фамилия, ее фотографическая карточка... Она закрыла книжечку, но не могла спрятать, а снова и снова трогала ее, поворачивала, ощупывала пальцами. Вся жизнь осязалась, здесь, в маленьком куске красного картона.

Она вдруг заплакала. Слезы катились по щекам, к шее, к ушам, висели каплями на коротких, примятых подушкой волосах.

— Клара, ну что ты... Ну вот видишь... Клара...

— Ах, дай... дай... оставь...—бормотала она.—В первый раз за все время... это же от радости.

И она всхлипывала, отирая слезы тыльной стороной руки, чтобы не замочить зажатый в руке билет.

## 16

Как бы трагичны и тяжелы ни были события, как бы ни оглушали они на первых порах, как бы ни был велик наносимый ими вред, жизнь всегда торжествует, и то, что жизненно, то, что исторически оправданно и неизбежно, развивается тем неизменней и победоносней, чем глубже было потрясение.

Андрей Круглов стоял в самом центре развивающейся жизни Нового города. Ему было трудно, он был молод, неопытен, искусством руководства надо было овладевать на ходу. Чувство ответственности мешало спать по ночам, он боялся что-либо забыть, за чем-либо недоглядеть, не сделать чего-то самого важного. Тревог, забот, трудностей, было много, но и радости было больше, чем когда-либо, — радость давали люди, дела, развитие жизни.

Судостроители готовили к спуску первый корабль.

Мощный кран поднимал литые колонны новых эллингов...

Клара Каплан проектировала первые кварталы каменных домов.

Городской Совет приступил к устройству набережной, той самой набережной, о которой мечтали у первых комсомольских костров.

Приехала группа инженеров для проектирования трехкилометрового моста через Амур.

Открылся дом отдыха строителей.

На стадионе состоялся первый футбольный матч.

В двух километрах от Нового города поднимался новый завод — металлургический. На его строительство съезжались тысячи комсомольцев, и они уже считали город старым, а свой поселок—новым, и первых молодых строителей города называли не иначе, как старыми комсомольцами.

Демобилизованные из Красной Армии бойцы прихо-

дили в управление, в горком и заявляли: «Хочу остаться строить город! Принимайте на работу».

Железная дорога полными составами подвозила новых жителей. Вновь прибывшие не напоминали первых молодых «колумбов», — они ехали солидно, с багажом, с хозяйственной утварью, с малыми ребятами. Новый город стал городом, — он приобрел солидность, устойчивость, привычки, он имел уже свою историю и возбуждал своими перспективами.

В центре внимания Андрея Круглова были люди. «Люди — дороже золота»,—он узнал теперь всю глубину этих слов. И он воспитывал людей, выдвигал, встречал вновь приезжающих, размещал их, думал об их будущем. Надо было создавать новые магазины, ясли, очаги, строить кинотеатры, школы и клубы, открывать учебные заведения для молодежи. Он добился открытия вечернего судостроительного техникума и повседневно следил за строительством огромного здания будущего института.

Он заботился о том, чтобы вся масса новых строителей знала героическую историю города.

Когда ему нужно было найти работника на ответственный участок, его взгляд прежде всего обращался к тем, кто вместе с ним пережил все трудности первых лет строительства. Уж эти не подведут! Эти знают, как надо работать!

Он выдвинул на место Гранатова мастера-большевика Ивана Гавриловича и дал ему заместителем Сему Альтшулера. Он не побоялся рекомендовать инженера Костько начальником строительства доков, а помощником его — Петю Голубенко.

— Ух ты! — вскричал Петя, узнав о своем назначении.—А ты не боишься, Андрюша, что у меня слишком моложавый вид?

Андрей рассмеялся:

— Действуй, Петя! Все поймут, что внешность обманчива.

Петя начал действовать. Он иногда по-мальчишески срывался, его приходилось поправлять и учить, но все требования стахановцев выполнялись быстро и беспрекословно. Петя ожесточенно боролся с медлительностью и косностью.

Андрей хотел рекомендовать Епифанова председателем горсовета. Но тут запротестовал Епифанов.

— Дело такое, — сказал он, отводя глаза в сторону.— Председатель, конечно, очень почетно... Но, видишь, у нас

с Лидой решение... не мешай ты нам, Круглов!.. Я знаю, ты скажешь — романтика и прочее. А у нас вся жизнь рушится.

— Да что такое?

— Мы хотим еще построить, — сказала Лиденька,— и чтобы с самого начала.

— Уезжать вы хотите, что ли?

— Да!

— Куда?!

— А вот за соседнюю сопку, — сказал Епифанов. — Гидростанция будет строиться? Вот мы ее и построим.

Епифанова пришлось отпустить, — впрочем, на гидростанции тоже нужны были настоящие работники.

Хорошим председателем оказался Валька Бессонов. У него был острый взгляд строителя и презрение к бюрократам.

У него появилась степенная повадка и новая, хозяйская интонация голоса,—он был уже не Валька, а Валентин Иванович, хозяин города. Он начал свою деятельность с того, что крепко поспорил с Драченовым и заставил его капитально отремонтировать все дороги. Прием, который он применял для убеждения Драченова, был прост: он закрыл проезд по всем испорченным улицам.

— Да ты же меня без ножа зарезал!—кричал Драченов, лишенный возможности подвозить материалы к строительным участкам. — У меня же грузовики стоят!

— А ты подвези на них щебенку да в два дня отремонтируй, — невозмутимо сказал Валька и добавил: — А еще с Кировым работал... Он бы тебя научил, как дороги портить!

Андрей решил выдвинуть Катю Ставрову заведующей горторгом. Он зашел к ней в техникум. Необычайно гордая, Катя бросилась на шею к Круглову:

— Посмотри на меня, дорогуша, чем я не студентка? Ты не думаешь, что из меня выйдет очень представительный инженер?

Круглов рассказал ей о своих планах.

— Раз надо, так надо,—откликнулась Катя.—Только страшно мне туда идти. Не знаю почему, но с бюрократами в одной комнате я даже полчаса просидеть не могу. Честное слово!

— А ты на что?

— Думаешь, разгоню?

— Факт, разгонишь.

— В самом деле, разгоню,—согласилась Катя.—Но вот пока не разгоню — страшно.

Андрей намекнул на то, что совместить новую работу с учебой будет трудновато.

— А вот это нет! — вскричала Катя. — Я еще пять лет назад решила, что буду судостроителем, — значит буду. А если трудно — так разве мы когда-нибудь боялись трудностей?

И она не побоялась.

Андрей следил, как они все работают—старые друзья, товарищи героических дел. Какая крепкая связь соединила их друг с другом и всех вместе с Новым городом! Они, конечно, думали иногда о том, что есть в стране места, где мягче климат, и культурнее жизнь, и легче работа, но ни один из них не уедет отсюда, за это можно поручиться. Андрей вспоминал первую беседу с Морозовым в Хабаровске. Старый друг, первый учитель, твое задание выполнено! Люди притерлись, полюбили, стали патриотами своего края.

Однажды ночью во дворе больницы появилась шумная толпа молодых людей в шинелях, с чемоданами на плечах. Они ввалились в домик, где жили Тоня и Сема.

— Принимайте гостей!—кричал тот, кто вошел первым. — Горная батарея Н-ской части в полном составе. Прибыли строить город до победного конца!

— Геньчик!—заорал Сема и, как был, в подштанниках, бросился к другу.

Парни заполнили квартиру. Тоня смеялась и не знала, как разместить такую ораву.

— Ничего, как-нибудь, на один день, — говорили парни.—Завтра с утра пойдем устраиваться.

— А куда вы пойдете устраиваться?

— Да куда пошлют. Пойдем в комитет комсомола и скажем: так и так, принимайте!

— В таком случае вы уже пришли, — сказал Сема. — Вот перед вами товарищ Васяева, комсомольский секретарь. По опыту советую — слушайтесь и уважайте.

Утром Тоня зашла к Круглову:

— Андрюша, помоги. Тут приехала целая горная батарея—народ отличный. Где у нас люди нужнее всего?

— Если сказать правду — везде.

В тот же вечер Круглов и комиссар части встречали эшелон с семьями демобилизованных красноармейцев, закрепившихся на стройке.

На вокзале было весело. Из вагонов вылезали ребя-

тишки, молодки с малыми ребятами, старики и старухи. Бойцы сгибались под тяжестью корзин и узлов.

— А вот и они,—сказал комиссар, увлекая Круглова к одному из вагонов. — Пойдем, познакомлю. Тут мой подшефный.

Статная пожилая женщина, откинув руку с тяжелым узлом, всем телом припала к сыну. Рядом с ними вертелись две девчонки, смущенно переминался с ноги на ногу нагруженный чемоданами румяный юноша. Из вагона, пригнувшись под огромной корзиной, вылез небольшой суетливый старик, — вылез и остановился, забыв снять с плеча корзину.

Сергей Голицын освободился от объятий матери, сделал движение вперед и тоже остановился. Он не догадался взять корзину. Они стояли и смотрели друг на друга.

— Сын, сын... — пробормотал старик, и все упреки, столько раз повторенные в одиночестве бессонных ночей, на секунду отразились на его постаревшем лице. Но он подавил в себе то, что было теперь не нужно. — Ну, давай руку, сын, поздороваемся! — сказал он, молодо скидывая на землю корзину.

Круглов и комиссар подошли знакомиться.

— Хороший у вас парень,—сказал Андрей.—Один из лучших стахановцев. Теперь на железную дорогу пойдет. Надеемся, и там хорош будет. Нам машинисты нужны.

— Потому я и приехал, что нужны, — пряча радость, ответил Тимофей Иванович и подозвал румяного юношу, переминавшегося в сторонке.—Вот, рекомендую. Тоже вроде сынка. Выученик мой, Свиридов Ванюшка.

Круглову понравились ясные, умные глаза и молодое, чистое лицо Свиридова.

— Вместе с Голицыным — на паровоз?

— Нет, я на стройку!—вспыхнув, сказал Свиридов.— Я ведь строитель тоже. Я Тракторный строил. А о вашей стройке я четыре года мечтал.

Андрей запомнил: Свиридов. Надо будет проследить за этим парнем! «Четыре года мечтал...» Вот такие люди — золотой фонд строительства.

Круглова назвали по имени. Он обернулся и оказался окруженным молодыми людьми в шинелях. Он вглядывался в их лица и никого не узнавал.

— Я, конечно, похорошел, и форма меня украшает, — сказал один из молодых людей. — Но ты, Андрюха, мог бы меня узнать!

— Тимка! Гребешок!

— Он самый. А вот эти парни — всё дружки мои, одного отделения. Вместе служили, вместе демобилизовались, ну и вместе прикатили сюда. На спуск корабля мы не опоздали?

Через несколько дней наступило двадцать пятое сентября.

Продолговатый и неуклюжий остов корабля легко и как-то незаметно соскользнул по рельсам и раздвинул тихую воду озера. Этой минуты ждали пять лет, о ней мечтали у первых костров. Все строители собрались сюда, как на праздник осуществления мечты. И быстрота, ловкость, незаметность спуска ошеломили и сперва даже разочаровали. Как, и это все? Но когда корабль закачался на воде, еще неуклюжий, не отделанный, но все-таки тот самый, о котором мечтали,—крик счастья прокатился по трибуне, по ряжевой набережной, по берегу озера, запруженному народом. Это было не то «ура», не то просто торжествующий вопль. Люди обнимались, вытирали слезы, вдруг говорили неразборчивые, веселые слова. Давние друзья осознали, что любят друг друга до гроба, и никогда не расстанутся ни друг с другом, ни с городом, и никогда не забудут полного счастья этой минуты, которой ждали пять лет. Незнакомые стали знакомы и близки.

Клава стояла на берегу, у самой воды. Корабль качался посреди озера; от него широкими полукружиями разбегались волны. Вот первая волна уже ударила о берег с шумом морского прибоя. За нею нагрянула вторая, и в столкновении встречных потоков воды весело застрекотала галька.

— Пять лет мечтали, — сказала Клава никому и всем. — И вот он! Вот!

Рядом с ней оказался высокий юноша в лиловой трикотажной рубашке, стриженный ежиком, с чистым румянцем во всю щеку. И глаза его показались Клаве неопределенного цвета — светлые-светлые, с желтовато-зеленой искоркой.

— Вы, наверное, чертовски счастливая сейчас? — сказал он. — Вы ведь из старых комсомольцев?

Клава охотно ответила:

— О, я из самых-самых старых! С первого парохода. А вы новый?

— Вы понимаете, я строил Тракторный, надо было сперва кончить его.

— Но Тракторный — это тоже важно!

— Я давно мечтал попасть сюда! На судостроительный опоздал, а вот металлургический успею. Мне было так обидно!..

Клава успокоила его:

— Ничего. Металлургический — это тоже важный завод. И вы еще увидите первое литье! Вы кто?

Он понял вопрос сразу и ответил правильно:

— Был кочегаром, помощником машиниста, потом землекопом, каменщиком, мотористом, а теперь корчую тайгу.

И спросил: — А вы кто?

— Была ткачихой, потом корчевала тайгу, работала в столовой, строила лесозавод, была учетчицей, бетонщицей, теперь заведую детским комбинатом.

Юноша вопросительно посмотрел на Клаву. Она вспыхнула, проговорила еле слышно:

— Вы что подумали? Нет, там не мои, там наши дети... первые...

И, сообразив, что он не спрашивал, покраснела еще больше. Но он так обрадовался, что краснеть было незачем.

Они ушли с берега вместе и у ворот столкнулись с Андреем Кругловым. Андрей был без кепки, ветер курчавил его волосы, задумчивые глаза были сегодня не задумчивыми, а очень счастливыми. Клава увидела его, и на секунду привычная боль защемила сердце, но это была сила инерции, а не сила чувства. Она крикнула ему, улыбаясь:

— Андрюша, какой день!

Он настороженно оглядел ее спутника. Клава тоже поглядела на своего спутника — на его стриженную ежиком голову, на свежие губы и светлые-светлые глаза. Нет, ей не захотелось отрывать взгляда от светлых глаз.

— Это наш секретарь горкома, Андрей Круглов, — сказала она светлым глазам, и беззвучно рассказала им все, и отреклась от всего, и обещала с сегодняшнего дня все иное.

— Мы знакомы, — сказал Круглов.—Свиридов Иван, правильно?

Круглов и юноша разговорились.

«Как хорошо — Иван...—подумала Клава.—И как я не догадалась сразу? Конечно, он Иван, Иванушка-царевич из сказки, младший сын, самый красивый, самый ловкий, на все руки мастер».

— Вечером будет бал на спортивном поле,—сказала она (Иванушка из сказки был плясун и затейник).

У Ивана, стоявшего перед нею, сделалось простодушное, с хитринкой лицо.

— Но я не знаю, где это поле, — сказал он.—Я зайду за вами, вы меня проводите. И мы попляшем на славу.

— Но вы и моего дома не знаете, — ответила она лукаво.

Доверчивость первых минут отошла. Игра была весела и увлекательна, в ней было счастливое правило — побежденный вместе с тем и выигрывал.

— Ваш дом я как-нибудь найду.

— Но поле легче найти, чем дом! Поле одно, а домов — ого!—домов целый город!

В ее голосе звучала гордость — о городе нельзя было говорить без гордости, невзначай, как о чем-то само собой разумеющемся. Он сдался.

— А если я хочу именно с вами? Разве нельзя?

И по счастливому правилу игры выиграл.

— Ну конечно, можно, — сказала Клава.

Круглова уже не было с ними. Он ушел. Когда? Еще в самом начале разговора. Она не заметила. Но об этом не стоило думать.

Андрей Круглов бродил в оживленной толпе, останавливаясь то с одним, то с другим, отвечая на приветствия, вступая в разговоры. Сколько друзей, сколько замечательных товарищей видел он вокруг! С одними он корчевал тайгу, с другими рубил лес, работал на ледяном канале, спорил о комсомольских делах, защищал от огня стапель, мечтал о будущем, строил корабль, — товарищи! Друзья! Что может быть страшно и невыполнимо, когда так несокрушима сила этого содружества?

Перед ним мелькнула Мооми — в шелковом платье, с каким-то новым сиянием в раскосых глазах. Кильту шел с нею. Он крикнул Круглову:

— Сделали, да?!

Он говорил о корабле.

Уже разошелся народ, а Круглов все еще ходил по берегу. Он на минуту с грустью вспомнил Клаву. Но мысль скользнула дальше. Он смотрел на корабль, такой простой и такой грозный. Он чувствовал, что вся его жизнь связана с этим кораблем, с будущими кораблями. И он чувствовал в себе силу, большую зрелую силу строителя и организатора. Он стоит во главе большого содружества. И он не даст ему ослабеть. Он будет

укреплять его как основу движения — неотступного движения созидающей жизни.

— Андрей!

Это была Клара. Бледная и счастливая, она сидела на штабеле досок и смотрела на корабль.

— Хорошо?

— Хорошо.

Он присел рядом.

— Вот, посмотри.

Она протянула телеграмму. Вернер звал ее, умолял ее приехать. «Молнируйте ответ».

— Ну и...

— На днях поеду, — медленно сказала она. — В отпуск. Разве я могу уехать совсем, пока не дострою город?..

## 17

Горизонта не было. Горы и лес сдавливали путь. Сергей видел только снежную тесноту, окружившую паровоз, и две стальные полосы, поднимаемые колесами. Зима, снег, мороз, а между тем ему было душно, словно теснота и белизна окружающего спирали дыхание. Даже быстрое движение не помогало.

Письмо, спрятанное в кармане, пришло сегодня утром. Оно было коротенькое, не очень грамотное, написанное торопливой рукой на листке из школьной тетради:

«Здравствуй, Сережа! Я так за тебя рада. И ты не думай, что я тебя не помнила, но на то твое письмо не надо было отвечать. Я спросила свою комсомольскую совесть и решила, что если ты честный комсомолец, ты сам должен вернуться, а не из-за меня. И не на Сахалин, а именно в Новый город. И я не сержусь на тебя, но я все время о тебе думала и даже плакала, и на том камне, где мы тогда стояли, много раз с тобой разговаривала. И когда получила второе твое письмо, подумала, что ты меня услыхал, то есть почувствовал мои мысли. Но это, конечно, глупости, а я очень за тебя рада.

Я работаю, как прежде, но теперь — начальник сектора кадров и секретарь комсомола. Работы очень много, и есть достижения. Ты бы теперь не узнал нашего поселка, все переменилось. Горит электричество, на сопке, где парк культуры, устроили хороший стадион и детский городок. Комсомол вырос вдвое, ребят много новых, ста-

рых все меньше, но основная группа не сдает до победного конца. А у меня сын, маленький Цой, ему уже пять месяцев, и мы с Цоем смеемся, что это будущий председатель Сахалинского облисполкома. У меня было много горя, но все стало хорошо, и все так и будет. И тебе я желаю счастья, и жены хорошей, и сына. Сережа, дружок, прощай, прощай».

Что тут скажешь? Мечтал — и не сбылось. Она разговаривала с ним на том камне... Да. А потом маленький Цой. «Все стало хорошо, и так и будет». Кого тут осудишь? Жизнь не хотела подождать, пока он спотыкался, поднимался и наконец твердо стал на собственных ногах. Он нашел самого себя, но это далось ему трудно. Кем он был? «Галчонок, я был красивый, легкомысленный парень, самоуверенный и избалованный,—вот кем я был! То, что я имел, пришло ко мне само. Я не знал цены ни жизни, ни знаниям, ни любви. Еще ничего не заработав, я считал естественным получать все. Я умел брать и не хотел давать. И я потерял все... А потом восстановил, нашел все: комсомол, уважение, трудовую славу, друзей... Но не тебя, Галчонок! Не тебя...»

Он старался вспомнить ее и не мог. Почему он никогда не мог вспомнить ее? В отдельности он видел ее разлетающиеся брови, выражение ее большого ласкового рта, слышал интонацию мягкого голоса. Но целого не получалось. Вот он в столовой, она угощает варениками. Живы в памяти узор на клеенке, зазубринки на миске, даже ее подруга. А ее нет! Вечер. Ветер. Соленость ее губ и щек, влажных от брызг. Он помнит ее губы, ее полуприкрытые глаза. А лица нет! Барак. Все встали, размягченные и строгие. Запомнились все лица, каждое он мог бы описать подробно. А ее лицо расплывается в светлое пятно, остается только ощущение чего-то неуловимо близкого, трогательного, бесконечно любимого.

Мечта. Свет, мелькнувший в черноте горя, чтобы чернота стала еще безотрадней. И тут уже ничего не исправишь. Он выкарабкался из черноты, он вышел к свету. Но Галчонка не вернешь! И если вновь будет любовь, это будет уже другая. «Галчонок, надо жить без тебя. Без тебя...»

— Ты что-то сказал, папа?

Отец уже давно говорил что-то, но не было сил вслушиваться.

— Говорю, пироги завтра будут, мать испечет. Случай торжественный. Неужели так, без внимания пропустить?..

Тимофей Иванович сердился. Последний раз вместе на паровозе, а сын что-то задумывается, не слушает, не вникает душой.

— Первый самостоятельный рейс — этого раньше по десять лет ждали. Десять лет помощником отъездишь, а потом еще взятку давай, иначе паровоза не получишь. А теперь — видишь как. Ценить надо. Все внимание, всю прилежность свою приложить надо, чтобы такую раннюю честь оправдать.

Сергей усмехнулся, обнял отца за плечи, заглянул в глаза:

— Да ты мне все еще не веришь, отец?

Отец покраснел, как будто его поймали на чем-то дурном. Отвернулся, завозился.

— Не веришь, старик ты мой, а?

— Ну, привязался. Не верю, не верю! К слову сказал, и все. И «старик» ни при чем. Какой я старик? Если старик, ты мне внуков давай... Тоже молодец!

Они помолчали.

Вечерело. Все белое стало серым, а за деревьями уже совсем черно. Вспыхнули огни прожектора, засветились полоски рельсов, в луче замелькали снежинки, — их не было видно при дневном свете, они падали редко и тихо, как будто они сонные и никуда не торопятся.

— Вот думал я—перееду на новые места, все другое будет,—заговорил Тимофей Иванович.—И люди, и дороги, и порядок. Природа, конечно, другая. А смысл все тот же. Пробыл я четыре месяца, а словно всю жизнь прожил — все близко. И снова с тобой, сынок, на одном паровозе, как будто пяти лет и не бывало. — Невольная грусть звучала в его голосе.—И снова мы с тобой прощаемся. Будем ездить друг другу навстречу — ты из города, а я в город...

Сергей не чувствовал грусти. Отец вернул его от мечтаний к реальной жизни, и в этой реальной жизни все складывалось великолепно. Завтра он сам поведет паровоз. Первый самостоятельный рейс. Это возбуждает и слегка томит.

— Первый рейс — это, сынок, большое событие. Душа замирает небось?

— Ну, замирает, — сказал Сергей неохотно.

— Тут уж ничего не поделаешь. Летчику впервой летсть еще страшнее.

— Да мне не страшно.

— Ишь ты, не страшно! Мать и то боится, еще от вол-

нения тесто испорит. Ты гостей-то позовешь или как?

— Позову.

— А кого позовешь?

— Ну, Цибульку позову, Свиридова с Клавой, Андрея Круглова позову.

— Придет?

— Думаю, придет.

Оба помедлили. И оба, пораздумав, разными путями пришли к одинаковому решению: придет.

— Девушек позвал бы. Есть у тебя знакомые девушки?

— Знакомые есть, а звать некого.

— Что ж так? Не завел?

— Некогда,—хмуро отозвался Сергей.

Тимофей Иванович понимающе пожевал губами, сощурился, прикидывая в уме, из-за чего это сыну некогда и чего тут надо ждать.

— Ну что ж, мы с тобой, сынок, машинисты, — сказал он. — Возим людей взад и вперед. Может, привезем случайно такую девушку, что и время найдется.

Сергей с улыбкой посмотрел на отца... Каким-то скорбным сжатием сердца он ощутил письмо, спрятанное на груди. От него становилось душно. Но он не дал воли своему чувству. Надо жить и смотреть вперед.

— Может быть, и привезем, — ответил он весело.

— Смотри,—сказал отец, подталкивая его к окну,— красота какая!

Горы раздвинулись. В беловатом сумраке, вольно раскинувшись по широкой котловине, тысячами огней сверкал Новый город. Ух, до чего ж их много, этих огней! Тут уж не скажешь — поселок, стройка... Нет, это город, большой, настоящий город! И видно, что городу уже тесно в котловине. Он перекинулся на другой берег,— вон цепочки фонарей вдоль каменоломен и, немного дальше, редкие огоньки домов отдыха. Он протянул свои щупальца в тайгу, к сопкам, — то тут, то там поблескивают разбросанные огоньки вокруг подсобных предприятий, рыбной базы, поселков, а чуть в стороне — целый пук огней; это растет второй сын Нового города — металлургический гигант. И где-то еще дальше, за тайгой, за сопками, вспыхнуло желтое зарево. Или оно только почудилось Сергею? Неважно, где-то там оно есть, зарево новых огней, где-то там, на берегу стремительной горной речки, среди замшелых камней и вековых сосен, уже взрывают скалы, очищая место для мощной гидростанции. Ту-

да уже поехал неугомонный Епифанов со своей Лиденькой. И гидростанция — это тоже для тебя, Новый город!

— Привезем!—крикнул Сергей отцу и глотнул морозного встречного ветра, чтобы прогнать духоту, чтобы дышать вовсю, как надо.

— Кого?

Отец уже забыл про девушку. Да и разве Сергей имел в виду именно девушку? Жизнь, всю жизнь, неистребимую, свежую, многообещающую...

— Все привезем! — крикнул он еще веселей. — Все будем возить, что только понадобится! Верно, отец?

Отец ответил рассудительно, и только хитрая усмешечка промелькнула в зорких глазах:

— На то мы и машинисты.

*Ленинград — Дальневосточный край*
*1934—1938*

## ДОРОГАМИ МУЖЕСТВА

Роман Веры Кетлинской «Мужество», впервые опубликованный в 1938 году, — одно из ярких свидетельств той удивительной эпохи в жизни Советского государства, когда, казалось, все необозримое пространство нашей страны превратилось в громадную стройку. Огромный революционный размах этого строительства был поразителен и не имел примера в истории. Борьба за социалистическое преобразование общества вовлекала несметные массы людей в невиданное еще коллективное — творческое, воодушевляющее и перевоспитывающее человека — единое трудовое усилие.

Это удивительное время послужило толчком для создания многих книг, посвященных изображению социалистического строительства — таких, как «День второй» И. Эренбурга, «Время, вперед!» В. Катаева, «Соть» Л. Леонова, «Люди из захолустья» А. Малышкина, «Большой конвейер» Я. Ильина, пьесы Н. Погодина, стихи Н. Тихонова, В. Луговского, И. Сельвинского и многие другие произведения.

Книга Веры Кетлинской — живое свидетельство великого времени, в котором исток и начало многого из того, что происходит и в наши дни. Она сохранила свежесть и непосредственность острого впечатления той подвижной, «тронувшейся с места» и набирающей скорость жизни. Молодость ее автора — едва ли не самый существенный фактор нестареющей популярности «Мужества» у читателей; душевная молодость, помноженная на незаурядное профессиональное мастерство писателя.

В одной из своих последних книг — в автобиографическом романе «Здравствуй, молодость!», ставшем своеобразным творческим завещанием, — В. Кетлинская вспоминает, как она в свои восемнадцать лет над чистым листом бумаги решила, что будет профессиональным писателем. Тогда у нее за плечами еще не было ничего, кроме ее коротенькой и ничем не замечательной биографии. Не замечательной ничем, кроме времени, на которое падали детство ее и юность.

Вера Казимировна Кетлинская родилась в 1906 году, в Севастополе, в семье военного моряка; потом семья переехала в Мурманск, затем — в Петрозаводск.

Семнадцати лет В. Кетлинская приехала учиться в Ленинград, с которым связана вся ее дальнейшая жизнь. Около двух лет она проучилась в существовавшем тогда так называемом внешкольном институте; потом работала на ленинградских заводах. Активная комсомолка; с четырнадцати лет — комсомольский работник; газетный корреспондент...

Первая книжка Веры Кетлинской была продолжением ее газет-

ной работы. Называлась она «Девушка и комсомол». Эта очерковая, публицистическая книжка вышла в Ленинграде в 1926 году. Уже и тогда хотелось Вере Кетлинской писать об этом же повесть или рассказ. «Чтоб о нашей жизни, о нас самих, комсомольцах, — ведь ни одной книжки!» — вспоминала она. Писательство виделось ей не только главным делом всей жизни — прямым комсомольским долгом!

В 1934 году был опубликован первый роман Веры Кетлинской «Рост».

К тому времени, когда возникли первые замыслы большого романа о современной молодежи, конечным итогом которых и было «Мужество», у Кетлинской уже вышло несколько книг, не считая многочисленных газетных корреспонденций, полудетских стихов и неудавшейся пьесы. Позади было десять лет серьезного писательского труда. Был и важнейший, высоко ценимый В. Кетлинской всю жизнь опыт повседневной журналистской страды.

С годами это стало ее основным писательским правилом: не быть никогда простым наблюдателем жизни, всегда чувствовать себя соучастником в деле, о котором собираешься рассказать в очередном романе. В период освоения материала для будущей книги возникала, естественно, газетная публицистика. Она неизменно предваряла работу собственно художественную.

Так, роману «В осаде» — о героических днях ленинградской блокады, — вышедшему вскоре после окончания войны, в 1947 году, предшествовала публицистика, очерки, рассказы. В 1944 году была издана книга Веры Кетлинской «Рассказы о ленинградцах». Работа над романом велась одновременно, параллельно. Трагический опыт пережитого в первые, самые трудные месяцы блокады был настолько поразителен и велик, что уже в 1942 году Кетлинская приступила к работе над произведением эпическим, монументальным.

Кетлинская оставалась в городе все время блокады, принимала участие в оборонной работе, и фронт был рядом, на городской окраине, пешком можно дойти. «Я и бывала, — рассказывает она, — то пешком, а чаще на попутках — на многих участках фронта, беседовала со множеством фронтовиков; десятки офицеров и солдат охотно помогали мне «изучать материал»... я добросовестно старалась все охватить, то есть как можно больше видеть, как можно тщательней изучать...»

«В осаде» — один из первых романов о войне, о Ленинграде. От многих позднее написанных книг о ленинградской блокаде его выгодно отличает живое, непосредственное ощущение времени, обилие и подлинность реалий городского военного быта; судьбы его героев по-своему художественно убедительны и — при всей их публицистической обнаженности — достоверны, как и вся нравственная

атмосфера осажденного Ленинграда, показавшего себя сильнее блокады, голода, обстрелов...

Поразительна способность Веры Кетлинской в работе над каждым своим произведением увлекаться самою сутью, спецификой жизненного материала, который будет положен в основу романа. Собираясь рассказать о научном открытии молодых ученых-химиков (в романе «Иначе жить не стоит», задуманном еще до войны, но завершенном спустя более чем два десятилетия, опубликованном в 1960 году), Кетлинская со всей основательностью берется за изучение проблем и способов подземной газификации угля. Задумав роман о жизни большого заводского коллектива, она несколько лет отдает изучению заводского быта и технологии производства. Процесс производства захватывает ее ничуть не меньше, чем сплетение человеческих судеб в громадном разнохарактерном коллективе.

В. Кетлинская вспоминала, как в ходе работы над романом «Дни нашей жизни» (1953) она чувствовала себя дирижером, управляющим сложнейшим многоголосьем, умело и ловко сплетающим многообразные сюжетные линии, соединяя их в каких-то важнейших кульминационных местах, на общих событиях и интересах.

Александр Фадеев писал об этом романе: «Форма, избранная Кетлинской, очень точно выраженная в названии «Дни нашей жизни», позволяет автору ввести в роман много разных судеб для выражения главной мысли. Мысль эта в общих чертах сводится как раз к тому, насколько многообразны, различны, индивидуальны в своих стремлениях, радостях и горестях советские люди, как по-своему выражаются в людях пережитки старого, собственнического мира и как крупное производство организует, объединяет этих людей, перевоспитывает их в процессе коллективного труда, общественной деятельности, а также общественного воздействия на них, где главная роль принадлежит партии, партийному коллективу»[1].

В сущности, это была главная тема всей ее творческой жизни — формирование нового человеческого сознания, воспитанного коллективным трудом.

Истинное рождение этой темы — начало литературной биографии Веры Кетлинской — созданный в середине тридцатых годов роман «Мужество».

...Широко задуманная книга о комсомольцах начала тридцатых годов находилась уже в работе, но трудно себе представить, какою она сложилась бы, если бы как раз в это время Вера Кетлинская не получила заманчивого предложения от газеты «Комсомольская правда». Ей предложили поехать в длительную командировку с целью написания серии очерков для газеты о молодежи, осваивающей Дальний Восток. Эти очерки были написаны, потом они со-

---

[1] *Фадеев А.* За тридцать лет. М., 1957. С. 625—626.

ставили книгу «Строители нового города», вышедшую в 1941 году. Материал для газетных очерков собирался в строившемся на большой дальневосточной реке Новом городе, впоследствии получившем имя Комсомольск-на-Амуре.

В повести «Здравствуй, молодость!» В. Кетлинская вспоминает, как она «просто жила среди прототипов своих будущих героев, дружила и спорила с ними, ходила к ним в бараки и землянки, танцевала, когда они танцевали, купалась в Амуре или шла на прогулку в тайгу, когда они купались и гуляли». И та непосредственность молодости, легкость общения, естественность, с какою она включилась в повседневную жизнь дальневосточников-комсомольцев, строителей города на Амуре, та заразительная горячность, с какой переживались ею все трудовые достижения и неизбежные тяготы этой первой увиденной собственными глазами великой стройки, несомненно, содействовали успеху написанного в результате газетной командировки романа.

Созданный, что называется, на едином дыхании, роман Веры Кетлинской «Мужество» по праву оказался в ряду лучших произведений советской литературы тридцатых годов, посвященных героическим стройкам первых трудовых пятилеток.

Она сумела показать в романе не только возвышенный пафос эпохи, но и ее неизбежные противоречия. Ей удалось завязать крепкий узел, вокруг которого развивается многоплановый, сложный сюжет романа и набирает силу его внутреннее движение, придающее повествованию живость и увлекательность. Сегодня, когда построены и строятся многие новые заводы и города, когда об этом написаны многие книги, роман В. Кетлинской «Мужество» сохраняет не только свою увлекательность, но и бесспорное воспитательное значение.

В романе дышит суровое время, бурное, социально и политически не устоявшееся, со всеми его тогдашними сложностями и крайностями, с его накаленными общественными страстями. Все это сегодня видишь уже как бы издали, в историческом ракурсе. Однако и сегодня нельзя не почувствовать заразительную атмосферу героического труда, фантастического по своим темпам, происходившего в условиях более чем трудных и неблагоприятных. Атмосферу труда, немыслимого без вдохновения, творчества масс. И невозможно не верить в истинность этого всеобщего духовного порыва, бывшего источником мужества строителей Нового города — строителей нового мира!

Руководящую строительством города «итээровскую» верхушку возглавляет волевой и знающий дело, но по-человечески черствый, холодно-деловой инженер Вернер, начальник строительства. Вернер, каким он изображен в романе Кетлинской, не ощущает потребности в повседневной живой связи с людьми. Молодые

строители Нового города для него всего лишь «кадры», которыми, он это понимает, надо распоряжаться бережно. Однако же «ради дела», считает он, иногда можно и пренебречь какими-то личными человеческими интересами и житейскими нуждами, опустить их во имя, так сказать, высшей идеи. Может быть, даже чем-то пожертвовать. Ведь «жертвовать кадрами» — вовсе не то же, что жертвовать живыми людьми. Потому-то, может быть, и не хочется деловому инженеру Вернеру знать своих рабочих в лицо. Субъективно Вернер ощущает себя человеком, безусловно и безоговорочно преданным делу, хотя объективно его действия выглядят иногда неоправданно жесткими, даже жестокими.

Окружавшие Вернера «спецы» в романе показаны в образах более «заостренных», нежели внутренне развитых и глубоких. Автора больше волнует их позиция в коллективе, чем их психология. «Спецы» — не энтузиасты строительства, а только необходимые для нормального хода дела специалисты, без которых нельзя обойтись. Такими они и сами себя ощущают, по крайней мере — в начале строительства. Их не смущает рискованный лозунг «строить любой ценой». Отсюда и отношение автора к «спецам» — отчужденное, даже несколько настороженное: Кетлинская смотрит на них глазами комсомольцев начала тридцатых годов. Однако же в ходе строительства такое соотношение мало-помалу меняется.

На тот же туго затянутый сюжетный узел работает и детективная, в романе, пожалуй, побочная, но все же достаточно важная для понимания существа происходящего линия, по тем временам тоже очень типичная: разоблачение классового врага, проникшего в район строительства, и даже в его руководящее звено. В сущности, подсунутый честному инженеру Вернеру демагогический лозунг «строить любой ценой» — то же, что выстрелы из засады, что поджог едва отстроенных мастерских. Враждебная стихия в романе В. Кетлинской — вполне живая реальность. И все же эта сюжетно-острая, детективная сторона, при всей ее отчетливости и занимательности, не заслоняет в романе «Мужество» главного — того, ради чего, собственно, и была задумана книга. Главное здесь — рождение нового человеческого содружества.

Роман начинается описанием судеб и характеров единичных, индивидуальных, которые — как ручейки сливаются в речку, как малые речки сливаются в большую реку, — соединяясь, образуют сперва простое содружество, трудовое товарищество, а вслед за тем — и своего рода новое патриотическое сообщество. Они — творцы и первые граждане Нового города.

Был тут и своеобразный символический, обобщающий смысл, имевший в виду нечто более широкое — повсеместно происходившее в это время в Стране Советов глубокое общественное преобразование...

В построенном Новом городе естественно растворилась и очень заметная в начале строительства социальная неоднородность его участников. Из среды «спецов», отторгшей враждебные и чужые общему интересу элементы, вышли люди, искренне, всей душой преданные делу, ставшие столь же глубокими патриотами Нового города, как и вся масса строителей — патриотами города, построенного своими руками.

Многоликий герой романа «Мужество» — комсомол — предстает в нем не только как обобщение, символ. Его целостный облик складывается из множества очень непохожих лиц, из десятков рассмотренных пристально человеческих судеб, простых и сложных, обыденных и драматических, счастливых и неудачливых. Это и подруги-ткачихи, и продавщица, и рабочий-строитель, и водолаз, и изобретатель, и комсомольский работник... Среди этих судеб нет, кажется, ни одной статично застывшей; все — в развитии, в движении; каждая достойна внимания и читательского сочувствия.

Цель автора — показать характеры своих героев в процессе их становления. «Была ткачихой, потом корчевала тайгу, работала в столовой, строила лесозавод, была учетчицей, бетонщицей, теперь заведую детским комбинатом», — так в самом конце романа подводит краткий итог своей трудовой биографии Клава Мельникова, из числа самых «старых» комсомолок города — еще с первого парохода! В. Кетлинскую привлекает возможность исследовать путь героя к душевной зрелости. Одна из важнейших задач в романе — показать, как постепенно образуются твердые характеры будущих «отцов города», организаторов производства, людей нового склада, выдвинутых самою рабочей массой. Таких, например, как талантливый комсомольский вожак Андрей Круглов, как вдохновитель соревнования Валентин Бессонов.

Не все характеры выписаны в романе достаточно рельефно, не все судьбы равно запоминаются. И все же в целом остается впечатление завершенности — возникает образ истинного человеческого единства. И в конце концов, может быть, самое сильное в романе «Мужество» — не отдельные персонажи, а вот эта биография коллектива, который на глазах у нас складывается из множества собранных отовсюду, со всей страны, разнообразнейших человеческих лиц. Не о каждом из них можно было уже в начале его пути сказать: это — личность.

Из случайно собранных гигантской стройкой людей жизнь и труд лепили и мастеров-умельцев, и деловых организаторов, новых руководителей стройки, и попечительно готовых взять на себя всю ответственность хозяек Нового города.

«Отцы города» — еще не вышедшие из комсомольского возраста, но уже способные взять на себя всю меру ответственности за мир, сотворенный их собственными руками...

А с ними рядом, как своего рода психологический противовес, — герой совершенно иного типа — Сергей Голицын, сквозная фигура в романе, знакомством с которым роман «Мужество» начинается; и расстаемся мы с ним на последней странице. Единственный в произведении выписанный подробно душевно слабый герой. Не будь его, возможно, и цельность сложившегося в этом всеобщем героическом усилии духовного единства не выглядела бы столь выпукло ощутимой.

Любопытную роль в композиции романа Кетлинской играет этот «беглец», Сергей Голицын, судьба которого может на первый взгляд показаться случайной, а роль в романе — необязательной. Что заставляет автора выделить в многообразии лиц это растерянное лицо, в пестром разнообразии судеб поставить на первый план судьбу дезертира, в трудный момент бросившего товарищей?

По натуре Сергей Голицын человек того рода, о каких говорят: он один из многих, — имея в виду их душевную заурядность, обыкновенность. Но, в сущности, он чем-то душевно уязвимей других. Чувствительней к окружающему — к трудностям и переменам. К своим слабостям и недостаткам — тоже. Сергей не прощает себе ни своих слабостей, ни «предательства»; он сам казнит себя за свое малодушие. Это гордый, упрямый, но это душевно неустойчивый, слабый характером человек. Случившееся с ним он воспринимает как свою нравственную катастрофу...

Отношение автора к Сергею Голицыну — своего рода критерий, определяющий в романе уровень нравственных представлений.

Многое пережив, осознав во всей глубине меру своей беды, подойдя к границе отчаяния, Голицын находит в себе силы вернуться в Новый город...

Но путешествие этого «беглеца» по городам и весям — это в романе В. Кетлинской еще и способ, не нарушая сюжетных границ произведения, показать живую связь строительства города на большой таежной реке с происходящим повсюду; способ показать стихию преобразований, охвативших всю страну.

О конструктивном, жанровом своеобразии романа «Мужество» необходимо сказать особо, — потому, главным образом, что такого типа роман оказался весьма характерным для советской прозы не только предвоенного, но и первых послевоенных десятилетий. Многолюдный, сюжетно широко разветвленный, в чем-то подобный симфонии, одушевленный единым порывом гражданского и социального пафоса, этот роман возник вследствие закономерных потребностей времени одновременно в творчестве многих несхожих между собою писателей. В определенный период развития нашей литературы этот роман играл главенствующую, ведущую роль, хотя не лишен был и своих слабостей, одну из которых подчеркивало не вполне правомерное, но распространенное в литературно-критиче-

ском обиходе его наименование: «производственный роман». Да, случалось нередко, что произведения этого рода отличал подход к жизни односторонний и вследствие этого неглубокий. Вера Кетлинская, бывшая несомненно в числе первооткрывателей этого жанра, приложила немало усилий, чтобы избавить его от справедливых подчас упреков в обеднении жизни, в однобоком подходе к реальной действительности. Да и самый этот жанр она избегала называть «производственным романом», предпочитая более широкое и емкое определение: «советский социальный роман».

Это, в сущности, было одно из самых больших открытий литературы социалистического реализма: роман, героем которого стал производственный и всякий вообще живой человеческий трудовой коллектив — подвижное, развивающееся, объединенное общей идеей, вдохновляемое единым пафосом, внутренне спаянное содружество — порождение социалистической действительности.

«Я большой сторонник того, чтобы в романах о людях и их делах раскрывалась самая суть их дел, их трудовых творческих интересов, чтобы писатель не боялся вносить в роман интересный познавательный материал», — писала Вера Казимировна Кетлинская в статье «О труде писателя», обращенной к литературной молодежи.

«Сама наша жизнь, — писала Кетлинская в той же статье, — эпоха, когда народы берут свою судьбу в свои руки, требует от литературы романов, отражающих ее главные черты».

Даже прозе сугубо автобиографической стремилась она придать эпическую масштабность, щедро насыщая ее документальным историческим материалом. Роман В. Кетлинской «Вечер. Окна. Люди» намеренно полемичен и не чуждается открытой, прямой публицистики. Лирическая «Здравствуй, молодость!», последняя книга Кетлинской, завершается размышлениями о жизни и об искусстве, о воспитании молодежи сегодня, собственном творчестве...

Романы В. Кетлинской, с их достоинствами и недостатками, рождены своим временем, их диктовала готовность писателя идти навстречу важнейшим идейным требованиям эпохи. Они — воплощение гражданского долга литератора — сохраняют поныне как своеобразие своего художественного звучания, так и способность воспитывать в человеке принципиальность и мужество, стойкость в преодолении трудностей, высоту нравственных идеалов.

*Г. Цурикова*

## СОДЕРЖАНИЕ

**Вера Казимировна Кетлинская**

**МУЖЕСТВО**

Зав. редакцией Л. П. Чебаевская
Редактор Н. А. Страхова
Мл. редактор А. Г. Бойчук
Переплет художника В. М. Аладьева
Художественный редактор М. Г. Мицкевич
Технический редактор Н. В. Яшукова
Корректор З. Г. Карабанова

ИБ № 6721

Изд. № РЯ—295. Сдано в набор 29.01.86. Подп. в печать 28.05.86. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бум. кн. журн. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Объем 33,6 усл. печ. л. 33,6 усл. кр.-отт. 37,15 уч.-изд. л. Тираж 400 000 экз. (2-завод 100 001—250 000). Зак. № 435. Цена 2 р. 70 к.

Издательство «Высшая школа», 101430, Москва, ГСП-4, Неглинная ул., д. 29/14

Владимирская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7